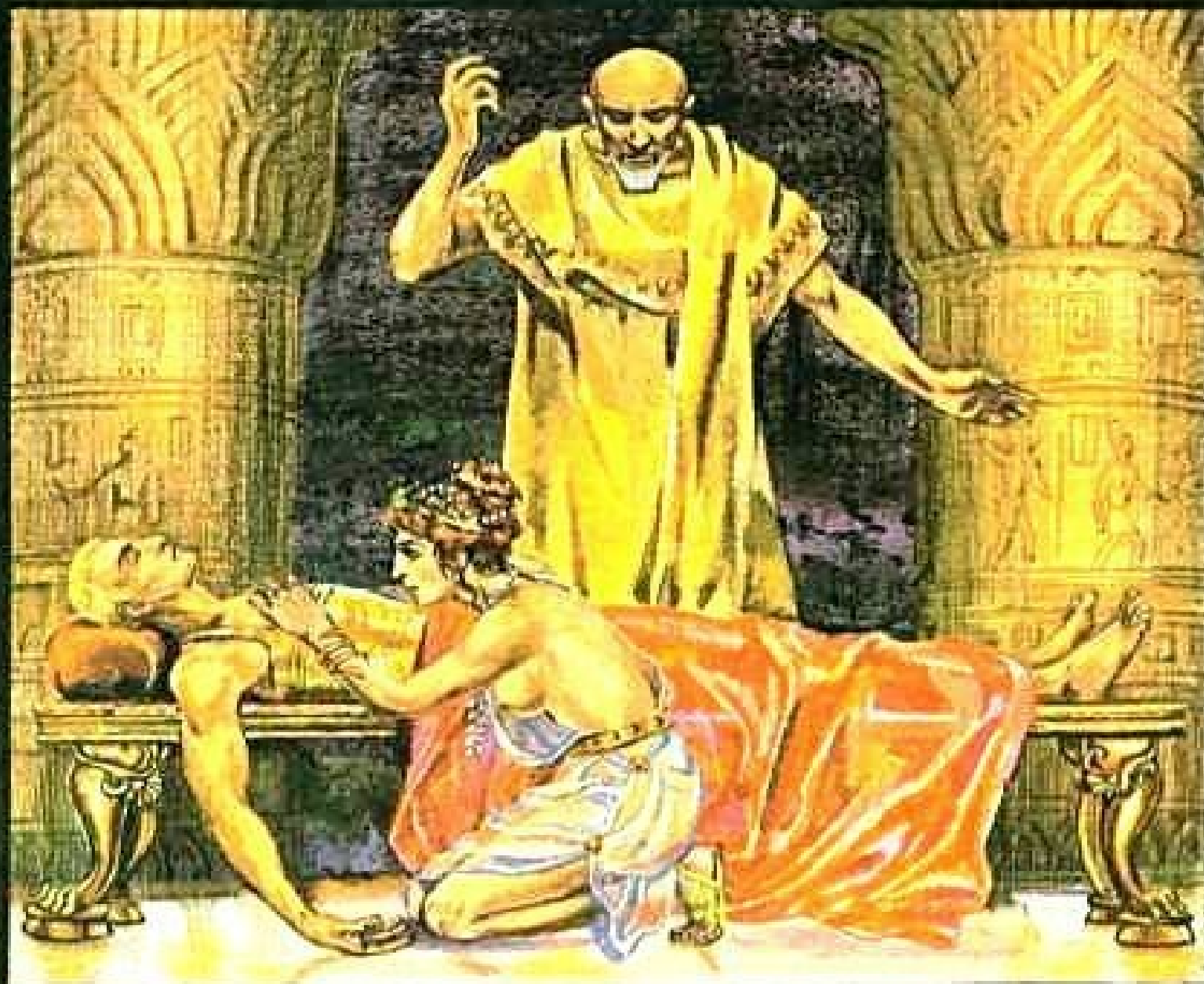


# Γ. Ρ. ΧΑΓΓΑΡΔ



## Annotation

В шестой том Собрания сочинений известного английского романиста Генри Райдера Хаггарда (1856-1925) вошли романы «Луна Израиля» и «Клеопатра», посвященные истории Древнего Египта, и роман «Жемчужина Востока», рассказывающий о некоторых страницах истории раннего христианства.

---

- - 
  - [ЛУНА ИЗРАИЛЯ](#)
  - [I. Писец Ана приходит в Танис](#)
  - [II. Разделение чаши](#)
  - [III. Таусерт](#)
  - [IV. Обручение при Дворе](#)
  - [V. Пророчество](#)
  - [VI. Страна Гошен](#)
  - [VII. Засада](#)
  - [VIII. Сети дает совет фараону](#)
  - [IX. Поражение Амона](#)
  - [X. Смерть фараона](#)
  - [XI. Коронация Аменмеса](#)
  - [XII. Миссия Джейбиза](#)
  - [XIII. Красный Нил](#)
  - [XIV. Ки приезжает в Мемфис](#)
  - [XV. Ночь ужаса](#)
  - [XVI. Джейбиз продает лошадей](#)
  - [XVII. Сон Мерапи](#)
  - [XVIII. Коронация Мерапи](#)
  - [КЛЕОПАТРА](#)
  - [Вступление](#)
  - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
  - [Глава II, повествующая о том, как Гармахис нарушил запрет отца, как он победил льва и как старая Атуа рассеяла подозрения фараонова соглядатая](#)
  - [Глава III, повествующая о неудовольствии Аменемхета; о молитве Гармахиса; и о знамении, которое явили ему всемогущие](#)

боги

- Глава IV , повествующая о том, как Гармахис отправился в Ана и встретился со своим дядей, тамошним верховным жрецом Сепе; о его жизни в Ана; и о том, что поведал ему Сепе
- Глава V , повествующая о возвращении Гармахиса в Абидос; о церемонии Мистерий, посвященных смерти и воскресению Осириса; о призываниях Исиды; и о напутствии Аменемхета
- Глава VI , повествующая о посвящении Гармахиса; о явленных ему видениях; о пребывании в городе, который находится в царстве мертвых; об откровениях Исиды — Вестницы Непостижимого
- Глава VII , повествующая о пробуждении Гармахиса; о его коронации венцом Верхнего и Нижнего Египта; и о совершенных ему приношениях
- КНИГА ВТОРАЯ
- Глава II , повествующая о приходе Хармианы и о гневе Сепе
- Глава III , повествующая о том, как Гармахис пришел к царскому дворцу; как он заставил Павла войти в ворота; как увидел спящую Клеопатру и как показал ей свое искусство волхвования
- Глава IV , повествующая о том, как Гармахис дивился поведению Хармианы, и о том, как его провозгласили богом любви
- Глава V , повествующая о том, как Клеопатра пришла в обсерваторию к Гармахису; о том, как Гармахис бросил с башни шарф Хармианы; как рассказывал Клеопатре о звездах; и как царица подарила дружбу своему слуге Гармахису
- Глава VI , повествующая о сцене ревности и о признании Хармианы; о том, как Гармахис рассмеялся в ответ; о подготовке к кровавому деянию и о весте, которую старая Атуа передала Гармахису
- Глава VII , повествующая о загадочных речах Хармианы; о появлении Гармахиса в покоях Клеопатры; и о его поражении
- Глава VIII , повествующая о пробуждении Гармахиса; о трупе у его ложа; о приходе Клеопатры; и о словах утешения, которые она произнесла
- Глава IX , повествующая о пребывании Гармахиса под стражей; о презрении, высказанном ему Хармианой; об освобождении Гармахиса; и о прибытии Квинта Деллия
- Глава X , повествующая о смятении Клеопатры; о ее клятве Гармахису; и о тайне сокровища, лежащего в сердце пирамиды,

- которую открыл Клеопатре Гармахис
- Глава XI , повествующая о том, как выглядела погребальная камера божественного Менкаура; о том, что было написано на золотой пластине, лежащей на груди фараона; о том, как Клеопатра и Гармахис доставали сокровище; о духе, обитающем в погребальной камере; и о бегстве Гармахиса и Клеопатры из священной гробницы
  - Глава XII , повествующая о возвращении Гармахиса; о его встрече с Хармианой; и об ответе, который Клеопатра дала послу триумвира Антония Квинту Деллию
  - Глава XIII , повествующая об обвинениях, которые Гармахис бросил в лицо Клеопатре; о сражении Гармахиса с телохранителями Клеопатры; об ударе, который нанес ему Бренн; и о тайной исповеди Клеопатры
  - Глава XIV , повествующая о нежной заботе Хармианы; о выздоровлении Гармахиса; об отплытии Клеопатры со свитой в Киликию; и о словах Бренна, сказанных Гармахису
  - Глава XV , повествующая о пире Клеопатры; о том, как она растворила в кубке жемчужину и выпила; об угрозе Гармахиса; и о любовной клятве Клеопатры
  - Глава XVI , повествующая о плане побега, который замыслила Хармиана; о признании Хармианы и об ответе Гармахиса
  - КНИГА ТРЕТЬЯ
  - Глава II , повествующая об отчаянии Гармахиса; о страшном заклинании, которым он призвал Исиду; об обещании Исиды; о появлении Атуа и о ее словах, сказанных Гармахису
  - Глава III , повествующая о жизни того, кто стал известен всем под именем ученого затворника Олимпия, в усыпальнице арфистов гробницы Рамсеса близ Тапе; о вести, что прислала ему Хармиана; о советах, которые он давал Клеопатре; и о возвращении Олимпия в Александрию
  - Глава IV , повествующая о встрече Хармианы с мудрым Олимпием; об их беседе; о встрече Олимпия с Клеопатрой; и о поручении, которое дала ему Клеопатра
  - Глава V , повествующая о том, как Антоний был привезен из Тимониума к Клеопатре; о пире Клеопатры; и о том, какой смертью умер управитель Клеопатры Евдосий
  - Глава VI , повествующая о беседах ученого Олимпия с жрецами и правителями в Мемфисе; о том, как Клеопатра отравила своих

- слуг; как Антоний говорил со своими легатами и центурионами; и о том, как великая богиня Исида навек покинула страну Кемет
- Глава VII , повествующая о том, как войско и флот Антония сдались цезарю у Канопских ворот; о том, как благородный Антоний умер; и как Гармахис приготовил смертельный яд
  - Глава VIII , повествующая о последнем ужине Клеопатры; о том, как Хармиана пела ей прощальную песнь; как Клеопатра выпила смертельный яд; как Гармахис открыл ей свое имя; как вызвал перед нею духов из царства Осириса; и о том, как Клеопатра умерла
  - Глава IX , повествующая о прощании Хармианы с Гармахисом; о смерти Хармианы; о смерти старой Атуа; о возвращении Гармахиса в Абидос; о его признании в Зале Тридцати Шести Колонн; и о приговоре, который вынесли Гармахису верховные жрецы
  - Глава X , повествующая о последних днях потомка египетских фараонов Гармахиса
  - ЖЕМЧЕЖИНА ВОСТОКА
  - II. Глас Божий
  - III. Уговор
  - IV. Рождение Мириам
  - V. Водворение Мириам
  - VI. Халев
  - VII. Марк
  - VIII. Марк и Халев
  - IX. Праведный суд Флора
  - X. Бенони
  - XI. Ессеи лишаются своей царицы
  - XII. Ожерелье, кольцо и письмо
  - XIII. Горе тебе, Иерусалим!
  - XIV. Опять среди ессеев
  - XV. Что произошло в башне
  - XVI. Синедрион
  - XVII. Врата Никанора
  - XVIII. Последний бой Израиля
  - XIX. Жемчужина
  - XX. О Марке и Халеве
  - XXI. Цезари и Домициан
  - XXII. Триумф

- [XXIII. Невольничий рынок](#)
  - [XXIV. Господин и рабыня](#)
  - [XXV. Награда Сарториуса](#)
  - [XXVI. Суд Домициана](#)
  - [XXVII. Епископ Кирилл](#)
  - [XXVIII. Последнее свидание](#)
  - [XXIX. Как Марк стал христианином](#)
-



# Р. ХАГГАРД

собрание сочинений  
в десяти томах



МОСКВА  
«ТЕРРА»-«TERRA»  
1993



# Р. ХАГГАРД

собрание сочинений  
в десяти томах

*том*

**6**

Луна Израиля

Клеопатра

Жемчужина  
Востока

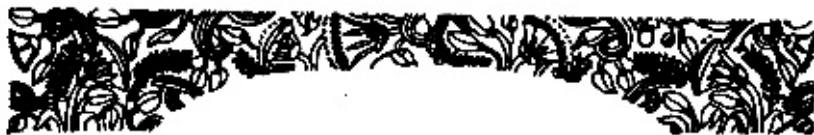
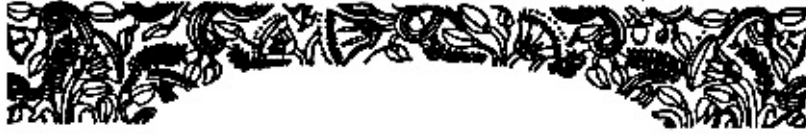


МОСКВА  
«ТЕРРА - TERRA»  
1993



## Луна Израиля





# ЛУНА ИЗРАИЛЯ

## От автора

В этой книге предполагается, что во время Исхода фараоном был в действительности не Мернептах, сын Рамсеса Великого, а таинственный узурпатор Аменмес, который после смерти Мернептаха и до вступления на престол его сына и законного наследника, добросердечного Сети Второго, на год или на два завладел тронном. О судьбе Аменмеса история хранит глубокое молчание; вполне возможно, что он утонул в Красном море, ибо в отличие от Мернептаха и Сети Второго тело его никогда не было обнаружено.

С трудом писца и сочинителя Ананы, или Аны, как он здесь назван, египтологи, очевидно, знакомы.

Автор надеялся посвятить эту книгу сэру Гастону Масперо, кавалеру орденов св. Михаила и св. Георгия и директору Каирского музея, ведь именно с ним несколько лет назад он обсуждал некоторые детали ее сюжета. К несчастью, однако, этот великий египтолог, не вынеся одной из тяжелых утрат, причиненных войной, умер, когда роман был уже написан, но еще не вышел из печати. Все же, поскольку дочь Масперо известила автора, что таково желание семьи, он приводит здесь то Посвящение, которое собирался адресовать выдающемуся писателю и исследователю прошлого.

Дорогой сэр Гастон Масперо!

Когда вы уверяли меня, говоря об одном из моих романов, связанных с историей Египта, что он весь проникнут «внутренним духом древних египтян» — настолько, что, несмотря на ваши собственные попытки в этом же роде и многолетние исследования, вам трудно представить себе, что подобное произведение могло родиться в мозгу современного человека, — я счел этот приговор, вынесенный таким судьей, величайшим из комплиментов, когда-либо выпадавших на мою долю. Признаюсь, что именно ваше мнение побудило меня предложить вам еще одну повесть аналогичного характера. Особенно меня поддерживает в этом желании определенный разговор, который произошел между нами в Каире в то время, как мы созерцали величественный лик фараона Мернептаха. Ибо

именно тогда, если вы помните, вы сказали, что считаете план этой книги правдоподобным, и что он соответствует тому, что вы знаете о тех далеких, смутных для нас временах.

С благодарностью за вашу помощь и доброту и с глубочайшим благоговением перед собранным вами богатством материалов о самом загадочном из всех погибших народов земли, — остаюсь, Ваш искренний почитатель

*Г. Райдер Хаггард.*



## I . Писец Ана приходит в Танис

Это — рассказ обо мне, писце по имени Ана, сыне Мори, и об определенных днях, прожитых мной на земле. Все это я написал теперь, уже стариком, в царствование Рамсеса Третьего, когда Египет стал снова сильным — таким же, каким был в древние времена. Я старался записать все, что хотел, прежде чем смерть возьмет меня, так, чтобы мои писания были тоже погребены и остались со мной и в смерти; ибо так же, как мой дух возродится в час воскрешения, так и эти мои слова возродятся, когда наступит их час, и расскажут пришедшим на землю после меня то, что я знал в земной жизни. Пусть все будет так, как повелят боги, но по крайней мере я пишу, и то, что я пишу, — правда.

Я рассказываю о его божественном величестве Сети Мернептахе Втором, которого я любил и люблю, как собственную душу, и который родился в тот же день, что и я, — сокол, взлетевший на небеса прежде меня; об Таусерт Гордой, его царице — той, что впоследствии стала женой его божественного величества Саптаха и которую на моих глазах опустили в гробницу в Фивах. Я рассказываю о Мерапи, прозванной Луной Израиля, и о ее народе — иудеях, которые долго жили в Египте и покинули его, отплатив нам за все наше добро и зло потерями и позором. Я рассказываю о войне между богами Кемета

и богом Израиля и о многом, что произошло во время этой войны.

А еще я, друг царя, великий писец, любимец фараонов, живших под солнцем одновременно со мной, рассказываю о многих других вещах и людях. Смотрите! Разве все это не написано в этом свитке? Читайте все, кто найдет его во времена, еще не наступившие, если ваши боги наделили вас этим искусством, читайте, о дети будущего, и вы узнаете тайны прошлого, которое так далеко от вас и, вместе с тем, поистине так близко.

Хотя принц Сети и я родились в один и тот же день, и поэтому моя мать, как и другие знатные женщины, чьи дети в тот день увидели свет, получила фараонов дар, а я — титул Царского Близнеца в боге Ра, — случилось так, что я воочию увидел божественного принца Сети не раньше, чем каждому из нас исполнилось тридцать лет. Это произошло следующим образом.

В те дни великий фараон Рамсес Второй, а затем его сын Мернептах, который наследовал ему уже в старости, — поскольку могучий Рамсес отошел в край Осириса после того, как Нил разлился на его веку в сотый

раз, — жили по большей части в городе Танисе, что в пустыне, тогда как я жил с моими родителями в древнем городе Белых Стен на берегу Нила — в Мемфисе. Иногда Мернептах и его двор посещали Мемфис, так же, как и Фивы, где теперь этот царь покоится в своей гробнице. Но юный принц Сети, законный наследник, Надежда Кемета, приезжал с ними только однажды, ибо его мать не жаловала Мемфиса, где в молодости с ней приключилась какая-то беда. Говорят, это была любовная история, которая стоила жизни ее любимому и навсегда оставила боль в ее сердце. А так как она никогда не выпускала Сети из виду, он постоянно находился при матери.

Но один раз он все же приехал (ему было тогда пятнадцать лет), чтобы предстать перед народом как сын своего отца, как сын Солнца, как будущий фараон; и мы, его близнецы в боге Ра, — девятнадцать юношей знатного происхождения — должны были поименно явиться перед ним и облобызывать его царственные ноги. Я приготовился идти, облачившись в красивую новую тунику, расшитую пурпуром, с именем Сети и моим собственным. Но в то самое утро, по воле какого-то злого бога, все мое лицо и тело покрылись пятнами: обычная болезнь, которая поражает молодых людей. Так я и не увидел принца, ибо когда я поправился, он уже покинул Мемфис.

Мой отец, Мери, был писцом великого храма Птаха, и меня обучили его ремеслу в школе при храме, где я переписывал многочисленные свитки, а также Книги Мертвых, украшая их рисунками. Я достиг такого мастерства, что, когда за несколько лет до смерти мой отец ослеп, я смог на свой заработок содержать и его, и моих сестер, пока те не вышли замуж. Матери у меня не было, ибо она отошла в край Осириса, когда я был еще совсем ребенком. И так моя жизнь текла из года в год, но в душе я ненавидел и проклинал свою участь. Когда я был еще мальчиком, у меня возникло желание — не переписывать то, что написали другие, а писать то, что другие должны переписывать. Я погрузился в мечты и видения. Бродя ночью под пальмами на берегах Сихора, я следил, как луна сияет на глади вод, и мне казалось, что в ее лучах я вижу что-то прекрасное. В них возникали картины, отличные от всего, что я видел в мире людей, хотя в моих видениях были и мужчины, и женщины, и даже боги.

Из этих картин в душе моей складывались целые истории, и наконец, по прошествии нескольких лет, я стал записывать эти истории в свободные от работы часы. За этим занятием меня застали сестры. Они рассказали об этом отцу, который выбрал меня за безрассудство, говоря, что так я не обеспечу себя даже хлебом и пивом. Однако я продолжал писать втайне от них при светильнике, запираясь ночью у себя в комнате. Потом сестры

вышли замуж, а в какой-то день отец внезапно умер, читая в храме молитвы. Я велел набальзамировать его тело лучшим бальзамировщиком, и его похоронили в гробнице, которую он сам для себя приготовил (хотя для того, чтобы покрыть все расходы, мне пришлось потом почти два года переписывать Книги Мертвых, и на мои сочинения не оставалось ни одного свободного часа).

Избавившись наконец от всех долгов, я встретил девушку из Фив; у нее было красивое лицо, на котором, казалось, всегда играла улыбка, и она похитила мое сердце, спрятав его в своей груди. В конце концов, вернувшись с войны против варваров, куда я был призван наряду с другими молодыми людьми, я женился на ней. Не стану называть ее имя — не хочу упоминать его даже наедине с самим собой. У нас был один ребенок, крошечная девочка, которая умерла, едва прожив два года. И вот тогда я узнал, что может значить для человека горе. Сначала жена моя предавалась печали, но со временем ее скорбь утихла, и она снова стала улыбаться, как прежде. Но теперь она сказала, что больше не будет рожать детей, раз боги их все равно отнимают. Имея много свободного времени, она стала часто уходить из дому, заводя дружбу с людьми, которых я не знал, ибо красота ее привлекала многих. Кончилось это тем, что она вернулась в Фивы с каким-то солдатом, которого я даже ни разу не видел. Я все время работал дома, вспоминая наше умершее дитя и думая о том, что Счастье — это птица, которую ни один человек не может поймать в силки, хотя порой она по своей воле залетает к нему в окно.

Вот тогда мои волосы и побелели, хотя мне еще не было и тридцати.

Теперь, когда мне не для кого было работать, а мои собственные потребности были просты и немногочисленны, у меня оказалось больше времени для сочинения рассказов, в которых почти всегда сквозило что-то печальное. Одну из этих историй мой товарищ-писец прочитал с моего согласия в дружеской компании, и она так понравилась слушателям, что многие просили у меня разрешения переписать ее для широкого распространения. Я постепенно стал известен как сочинитель рассказов и повестей, и они переписывались и продавались, не принося мне, правда, ощутимой прибыли. Зато слава моя росла, я однажды получил письмо от принца Сети, моего близнеца в боге Ра, в котором говорилось, что он прочел некоторые из моих произведений, и они ему очень понравились, так что он желает взглянуть на мое лицо. Смирненно поблагодарив принца Сети через его посла, я обещал прибыть в Танис и лично предстать перед его высочеством. Но сперва я закончил самую длинную из написанных мной до той поры историй. Она называлась «Повесть о двух братьях», и в ней



рассказывалось о том, как неверная жена одного из братьев навлекла на другого большие неприятности, в результате чего он был убит. А также о том, как справедливые боги вернули его к жизни, и о многих других событиях. Эту повесть я посвятил его высочеству принцу Сети и с нею за пазухой отправился в Танис, прихватив с собой также часть своих сбережений.

Так, в начале зимы я прибыл в Танис и, придя к дворцу принца, смело потребовал аудиенции. Но тут начались мои невзгоды, ибо стража и часовые прогнали меня от дверей. В конце концов я подкупил их и был допущен в передние покои, где собрались купцы, жонглеры, танцовщицы, военачальники и многие другие. И все они, видимо, ждали, пока их допустят к принцу. Изнывая от безделья, весь этот люд обрадовался незнакомому пришельцу и стал развлекаться, потешаясь надо мной. Однако, проводя в их обществе несколько дней, я завоевал их расположение, рассказав им одну из моих историй, и с этого момента стал для них желанным гостем. Но я по-прежнему не мог попасть к принцу, а так как мой денежный запас все уменьшался, я начал подумывать о возвращении в Мемфис.

И вот однажды передо мной остановился длиннородый старик, на одежде которого была вышита голова быка; в руке он держал жезл или посох с золотым набалдашником, указывавший на то, что он занимал при дворе высокую должность. Назвав меня белоголовой вороной, он спросил, что я тут делаю, прыгая день за днем по дворцовым залам. Я назвал себя и объяснил, зачем я здесь, а он сообщил, что его имя — Памбаса и он один из камергеров принца. Когда я попросил его провести меня к принцу, он рассмеялся мне в лицо и туманно намекнул, что путь к его высочеству вымощен золотом. Я понял, что он имеет в виду, и преподнес ему подарок, который он склевал так же проворно, как петух склевывает зерно, сказав при этом, что поговорит обо мне со своим господином, и велел мне прийти во дворец на следующий день.

Я приходил трижды, и всякий раз этот старый петух склевывал новые зерна. Наконец во мне закипела ярость, и, забыв, где я нахожусь, я накричал на него и назвал его вором, так что вокруг нас собралась любопытствующая толпа слушателей. Видимо, это его испугало. Он бросил взгляд на дверь, возможно собираясь позвать стражу, чтобы прогнать меня прочь, но потом передумал и ворчливым голосом приказал мне следовать за ним. Мы прошли по длинным коридорам мимо солдат, стоявших на часах, неподвижных, как мумии в гробницах, и наконец очутились перед входом, задрапированным вышитыми занавесями. Здесь Памбаса шепотом велел

мне подождать и вошел, неплотно задернув занавески, так что мне было видно и слышно все, что происходило в комнате.

Это была небольшая комната, в какой мог бы жить любой писец, ибо на столах были разложены палитры, тростниковые перья, стояли алебастровые вазы с тушью, а к доскам были прикреплены листы папируса. Стены были расписаны — не так, как я привык расписывать Книги Мертвых, а в старинном стиле, который я видел в некоторых древних гробницах, — изображениями диких птиц, взлетающих над болотами, и растущих деревьев и цветов. На стенах висели сетки со свитками папируса, в очаге горели кедровые дрова.

Перед очагом стоял принц, которого я сразу узнал по изображающим его статуям. Он выглядел моложе меня, хотя мы родились в один день, и был высок и худощав, и гораздо светлее, чем люди нашего племени, — быть может, из-за того, что в его жилах текла сирийская кровь. У него были прямые волосы, напоминавшие по цвету волосы северных купцов, которые приезжают в Египет, а глаза казались скорее серыми, чем черными, глядя из-под бровей таких же густых, как у его отца, Мернептаха. Лицо его было нежным, как у женщины, но морщинки, расходящиеся от уголков глаз к вискам, придавали ему необычное выражение. Я думаю, они образовались от привычки к размышлениям, но по мнению других, он унаследовал их от предка по женской линии. Мой друг Бакенхонсу, старый пророк, который служил первому Сети и совсем недавно умер, прожив сто двадцать лет, говорил мне, что он знал ту женщину до ее замужества и что она и первый Сети, возможно, были близнецами.

В руке принц держал развернутый свиток с очень древними письменами, — как я, искушенный во всем, что касалось моего ремесла, определил с первого же взгляда. Подняв глаза от этого свитка, он вдруг увидел стоявшего перед ним камергера.

— Ты пришел как раз вовремя, Памбаса, — сказал он голосом, который звучал очень мягко и приятно, но в то же время был голосом настоящего мужчины. — Ты стар и несомненно мудр. Скажи, ты ведь мудрый, Памбаса?

— Да, ваше высочество. Я мудрый, как дядя вашего высочества, Кхемуас, могучий маг, чьи сандалии я чистил, когда был молод.

— В самом деле? Тогда почему же ты так заботливо прячешь свою мудрость, которой следовало бы раскрываться, как цветок, чтобы мы, бедные пчелы, могли извлекать ее нектар? Ну, ладно, я рад, что ты мудрый, ибо в этой книге магии, которую я читаю, я наткнулся на проблемы, достойные покойного Кхемуаса, — я помню его как человека, всегда

погруженного в размышления, с мрачным челом, и очень похожего на своего сына и моего двоюродного брата, Аменмеса, — только, разумеется, Аменмеса никто не может назвать мудрецом.

— Чему же радуется твое высочество?

— Тому, что, будучи, по твоему собственному признанию, равным Кхемуасу, ты сможешь разрешить проблему не хуже него. Как ты знаешь, Памбаса, будь он жив, он был бы сейчас фараоном вместо моего отца. Но он умер слишком рано. Все это наводит меня на мысль, что в рассказах о его мудрости что-то не совсем так. Ведь по-настоящему мудрый человек никогда бы не пожелал стать фараоном Египта.

— Не пожелал бы стать фараоном! — вскричал камергер.

— Так вот, Памбаса Мудрый, — продолжал принц, как будто не слышал его, — вот послушай. В этой старинной книге дано заклинание, которое может «избавить сердце от усталости» — старейшей, как тут говорится, и самой распространенной болезни в мире, которой не подвержены только котята, некоторые дети и сумасшедшие. Оказывается, что от этой болезни можно излечиться, говорит книга, если встать на вершине пирамиды Хуфу в полночь, в тот момент, когда луна — самая большая за весь год, и испить из чаши снов, произнося в то же время заклинание, выписанное здесь целиком на языке, которого я не знаю.

— Но каково же достоинство заклинания, принц, если оно написано на языке, который знают все?

— А какова польза, если этот язык не знает никто?

— Более того, ваше высочество, как может кто-нибудь забраться на пирамиду Хуфу, которая покрыта полированным мрамором? Даже днем, не говоря уж о полночи. И там пить из чаши снов!

— Не знаю, Памбаса. Все, что я знаю, — это то, что я устал от этой глупости, да и от всего на свете. Расскажи мне что-нибудь, что облегчит мое сердце, — мне как-то тяжело.

— Там в зале жонглеры, принц. Один из них говорит, что может подбросить в воздух веревку и влезть по ней на небо.

— Когда ты сам увидишь, как он это делает, Памбаса, приведи его ко мне, но не раньше. Смерть — вот единственная веревка, по которой мы можем подняться на небо или спуститься в ад. Ибо не стоит забывать, что существует некий бог Сет (между прочим, меня называли в его честь, как и моего прадеда, — почему, знают только жрецы). А еще есть и другой бог — Осирис.

— Кроме жонглеров там еще и танцовщицы, принц, и у некоторых фигуры — просто красота. Я видел, как они купались в дворцовом озере,

— даже сердце твоего деда, великого Рамсеса, порадовалось бы, глядя на них.

— Мое сердце не порадуется — я не хочу, чтобы здесь плясали голые женщины. Придумай что-нибудь другое, Памбаса.

— Ничего не приходит в голову, принц. Впрочем, постой-ка. Есть еще один писец по имени Ана — худой остроносый человек, который утверждает, что он твой близнец в боге Ра.

— Ана! — сказал принц. — Тот самый, из Мемфиса, который пишет рассказы? Почему же ты не сказал сразу, старый глупец? Сейчас же впусти его, сейчас же!

Услышав это, я раздвинул занавеси и, войдя, простерся перед ним со словами:

— Я тот самый писец, о Царственный Сын Солнца!

— Как ты смеешь входить без приглашения в покои принца, — начал было Памбаса, но Сети прервал его суровым тоном:

— А ты, Памбаса, как ты смеешь держать этого умного человека за дверьми, как собаку? Встань, Ана, и, пожалуйста, не перечисляй мои титулы, мы ведь не при дворе. Скажи, ты давно в Танисе?

— Много дней, о принц, — ответил я. — Все пытался попасть к тебе, но безуспешно.

— И как же в конце концов тебе удалось?

— За плату, о принц, — ответил я с невинным видом, — как, очевидно, положено. Привратники...

— Понимаю, — сказал Сети. — Привратники! Памбаса, выясни, какую сумму этот ученый писец заплатил привратникам, и верни ему эти деньги в двойном размере. Так что ступай и займись этим делом.

Памбаса ушел, бросив на меня украдкой жалобный взгляд.

— Скажи мне, — промолвил Сети, когда мы остались одни, — ты ведь по-своему мудрый: почему двор всегда порождает воров?

— Думаю, по той же причине, о принц, по которой собачья спина порождает блох. Блохи должны жить, а тут как раз собака.

— Верно, — ответил он, — и эти дворцовые блохи получают недостаточно высокую плату. Если я когда-нибудь получу власть, я этим займусь. Их будет меньше, но еды у них будет больше. А теперь, Ана, садись. Я тебя знаю, хотя ты меня и не знаешь, и я уже успел полюбить тебя, знакомясь с твоими писаниями. Расскажи мне о себе.

Я рассказал ему всю мою простую историю, которую он выслушал, не говоря ни слова, а потом спросил, почему я хотел его видеть. Я ответил: потому что он сам послал за мной, о чем позже забыл; а также потому, что я

принес рассказ, который осмелился посвятить ему. С этими словами я положил перед ним на стол свой свиток.

— Ты оказал мне честь, — сказал он, явно довольный. — Большую честь! Если твоя повесть мне понравится, я велю положить ее вместе со мной в гробницу, чтобы мой Ка читал и перечитывал ее, пока не наступит День Воскресения, хотя, конечно, я прочту и изучу ее еще при жизни. Ты хорошо знаешь наш город Танис, Ана?

Я ответил, что почти не знаю его, ибо потратил все свое время, обивая пороги его высочества.

— Тогда, с твоего разрешения, я сначала покажу тебе город, а потом мы поужинаем. — И тотчас явился слуга, не Памбаса, а другой.

— Принеси два плаща, — сказал принц, — я собираюсь пройтись вместе с писцом Анной по городу. И снаряди охрану — четыре нубийца, не более; пусть следуют за нами, но на некотором расстоянии и переодетые.

Слуга поклонился и исчез.

Почти сразу же явился черный раб, неся два длинных плаща с капюшонами, какие обычно надевают погонщики верблюдов. Он помог нам облачиться в них и повел нас — через дверь, противоположную той, в которую я вошел, — по коридорам и вниз по узкой лестнице, в небольшой внутренний дворик. Мы пересекли его и оказались перед высокой и толстой стеной с двойными дверьми, окованными медью, которые таинственным образом распахнулись при нашем приближении. За этими дверьми стояли четверо высоких людей, тоже укутанных в плащи и, казалось, не обративших на нас никакого внимания. Однако, когда мы немного прошли, я оглянулся и заметил, что они следуют за нами, как будто по случайному совпадению.

Как прекрасно, подумал я, быть принцем, которому достаточно шевельнуть пальцем, чтобы повелевать людьми в любое время дня и ночи.

Именно в этот момент Сети сказал:

— Видишь, Ана, как печально быть принцем, — он не может даже выйти из дворца без ведома челяди и без тайного охранника, который, как шпион, следит за каждым его шагом и, несомненно, доложит обо всем полиции фараона.

Все имеет два лица, подумал я, но, как и прежде, промолчал.

## II. Разделение чаши

Мы шли по широкой улице, окаймленной деревьями, за которыми белели обмазанные известью дома под плоскими крышами, построенные из обожженного солнцем кирпича и стоявшие каждый в своем собственном саду. Наконец мы вышли на большую рыночную площадь, и как раз в этот момент над пальмами вошла полная луна, залив мир своим сиянием и почти превратив ночь в день. Танис — или Рамсес, как его тоже называют, — был в ту пору очень красивым городом, хотя и вполтину меньше Мемфиса, впрочем, я слышал, что теперь, когда Двор его покинул, он сильно опустел.

На этой большой рыночной площади возвышались храмы богов с пилонами и аллеями сфинксов, а также знаменитое чудо света — гигантская статуя Рамсеса Второго, в то время как на северной стороне, на холме, стоял великолепный дворец фараона. Здесь были и другие дворцы — обиталища знати и придворных, а между ними разбегались длинные улицы, где жили горожане; некоторые из этих улиц кончались у того рукава Нила, на берегу которого стоял древний город.

Сети задержался, чтобы взглянуть на эти удивительные здания.

— Они очень древние, — сказал он, — но большинство из них, как и городские стены и вон те храмы Амона

и Птаха, были перестроены во времена моего деда Рамсеса Второго и позже трудами рабов-израильтян, пригнанных из богатой страны Гошен, лежащей недалеко отсюда.

— Должно быть, это стоило много золота, — заметил я.

— Цари Кемета не платят своим рабам, — коротко ответил принц.

Мы пошли дальше и смешались с тысячами людей, которые бродили вокруг в поисках отдыха от дневных дел. Здесь, на границе Египта, собрался самый разноплеменный люд: бедуины из пустыни, сирийцы из-за Красного моря, купцы с богатого острова Читтим, путешественники с побережья и торговцы из страны Пунт и из неведомых земель севера. И все смеялись, разговаривали, веселились, исключая тех, что собирались в кружки — послушать рассказчика истории или странствующих музыкантов или посмотреть на женщин, которые плясали полураздетые в надежде на вознаграждение.

Время от времени толпа расступалась, давая проехать знатному человеку или даме, перед чьей колесницей бежали гонцы, крича «Дорогу!»

Дорогу!» и размахивая длинными палками. Потом появилась процессия облаченных в белое жрецов Исиды, шествующих при лунном свете, как и подобает слугам богини Луны; они несли на воздетых руках священное изображение богини, перед которым все люди склоняли головы и на некоторое время умолкали. Иногда проносили тело какого-нибудь знатного человека, недавно умершего; впереди шли наемные плакальщицы, оглашая воздух воплями и причитаниями, которыми они провожали мертвеца перед тем, как его набальзамируют. Наконец из какой-то боковой улицы появилась толпа в несколько сотен мужчин, горбоносых и бородатых, среди них иногда мелькали женщины; они были связаны между собой веревкой, не мешавшей, однако, их движениям, и окружены сопровождавшими их вооруженными стражниками.

— Кто это? — спросил я, ибо никогда не видел ничего подобного.

— Рабы-израильтяне. Они возвращаются с работ по сооружению нового канала, который должен дойти до Красного моря, — ответил принц.

Мы остановились, пропуская их, и я заметил, как гордо сверкали их глаза и как свирепо было выражение их лиц, хотя они были всего лишь узники, да еще изнуренные усталостью и перепачканные от работы в грязи и воде. И вдруг случилось непредвиденное. Один седобородый человек отстал, задерживая и затрудняя продвижение остальным. Видя это, один из надсмотрщиков подбежал к нему и стал хлестать его бичом, сплетенным из кожи морского чудовища. Старик обернулся и, подняв деревянную лопату, которую нес на плече, ударил надсмотрщика с такой силой, что раскроил ему череп. Надсмотрщик упал мертвым. Другие надсмотрщики набросились на израильтянина (как называли этих рабов) и ударами сбили его с ног. Тут появился воин и, увидев происходящее, выхватил свой бронзовый меч. Из толпы выбежала девушка, юная и прелестная, несмотря на ее грубую одежду.

Я видел с тех пор Мерапи — Луну Израиля, как ее называли, — в пышных одеждах царицы и даже в одеянии богини, но никогда, по-моему, она не была так прекрасна, как в этот час ее рабства. Ее большие глаза, ни синие, ни черные, сияли в свете луны и были влажны от слез. Густые с бронзовым оттенком волосы ниспадали крупными локонами на белоснежную грудь, видневшуюся из-под ее грубой одежды. Подняв нежные руки, она как будто пыталась отвести удары, сыпавшиеся на человека, которого она хотела защитить. Пламя светильника, горевшего в одной из торговых палаток, подчеркивало ее высокую стройную фигуру. Она была так прекрасна, что сердце мое замерло — да, мое сердце, в котором уже несколько лет женщина не пробуждала ничего, кроме самых

мрачных и недобрых чувств.

Она громко вскрикнула. Стоя над поверженным узником, она стала молить воина о милосердии. Потом, поняв, что ожидать от него милосердия бесполезно, она обвела взглядом стоявших вокруг людей, и ее большие глаза остановились на лице принца Сети.

— О господин! — воскликнула она. — У тебя благородный вид. Неужели ты будешь спокойно смотреть, как убивают моего безвинного отца?

— Уберите эту женщину, или я проткну ее насквозь! — закричал воин, ибо она бросилась к лежащему неподвижно израильтянину. Надсмотрщики повиновались и оттащили ее прочь.

— Остановись, убийца! — вскричал принц.

— Кто ты такой, собака, что смеешь учить фараонова офицера его обязанностям? — ответил воин и левой рукой нанес принцу пощечину.

Потом он замахнулся, и я увидел, как его бронзовый меч вонзился в тело израильтянина. Тот содрогнулся и замер. Все произошло в какое-то мгновение, и в наступившем безмолвии отчаянно прозвучал женский вопль. С минуту Сети не мог произнести ни звука — думаю, что от ярости. Потом он произнес только одно слово:

— Стража!

Тотчас из толпы появились четверо нубийцев, которые до минуты, как им было приказано, держались на некотором расстоянии. Но не успели они приблизиться, как я, оправившись от изумления, бросился на офицера и схватил его за горло. Он замахнулся на меня окровавленным мечом, но удар, ослабленный плащом, лишь слегка скользнул по моему левому бедру. Тогда я — а в те дни я был еще молод и силен — схватился с ним, и мы оба покатались по земле.

Началась суматоха. Рабы-иудеи разорвали веревку и набросились на солдат, как псы на шакалов, молотя по ним голыми кулаками. Солдаты, защищаясь, пустили в ход оружие. Надсмотрщики взмахивали бичами. Женщины визжали, мужчины кричали. Военачальник, с которым я схватился, начал одерживать верх — по крайней мере, я увидел, как его меч ослепительно сверкнул надо мной, и подумал, что все кончено. Несомненно, так бы и случилось, если бы Сети сам не оттащил от меня этого человека и таким образом не дал бы своим нубийцам схватить его. Я услышал, как принц воскликнул звонким голосом:

— Остановись! Ты имеешь дело с Сети, сыном фараона и правителем Таниса. — И он откинул с головы капюшон, и луна ярко осветила его лицо.

Мгновенно все смолкло. По мере того как до них доходила истина,



люди один за другим преклонили колени, и я услышал, как кто-то произнес в благоговейном страхе:

— Чтобы солдат ударил по лицу царского сына, принца Египта! Он должен заплатить за это кровью.

— Как зовут этого офицера? — спросил Сети, указав на воина, который убил израильтянина и чуть не убил меня.

Кто-то ответил, что его имя — Хуака.

— Отведите его к ступеням храма Амона, — сказал Сети нубийцам, крепко державшим воина. — Следуй за мной, друг Ана, если у тебя есть силы. Вот — обопрись на мое плечо.

Так, опираясь на плечо принца, ибо я пострадал в схватке и с трудом переводил дыхание, я прошел с ним сто или более шагов до входа в величественный храм, где мы поднялись на площадку, воздвигнутую на верхней ступени лестницы. За нами привели схваченного воина, а дальше следовала толпа, великое множество людей, которые расположились на ступенях и перед храмом. Принц, который был очень бледен и спокоен, сел на низкое гранитное основание обелиска, возвышавшегося перед одним из пилонов храма, и произнес:

— Как правитель Таниса, города Рамсеса, имеющий власть над жизнью и смертью в любой час и в любом месте, объявляю мой Суд открытым.

— Царский Суд открыт! — воскликнула толпа по установленному обычаю.

— Дело заключается в следующем, — сказал принц. — Этот человек по имени Хуака, по одежде — военачальник из армии фараона, обвиняется в убийстве некоего еврея и в попытке убить писца Ану. Призовите свидетелей. Принесите тело убитого и положите его передо мной. Приведите женщину, которая пыталась защитить его, и пусть она говорит.

Тело принесли и опустили на площадку; глаза мертвеца, широко открытые, неподвижно смотрели вверх, на луну. Потом солдаты вытолкнули вперед плачущую девушку.

— Уйми слезы, — сказал Сети, — и поклянись Атумом — Создателем, и Маат — богиней истины и закона, что будешь говорить только правду.

Девушка подняла на него глаза и произнесла глубоким и тихим голосом, почему-то напомнившим мне медленно льющийся из кувшина мед, — быть может, потому, что она говорила с трудом, стараясь сдержать подступавшие к горлу рыдания:

— О царственный Сын Кемета, я не могу поклясться этими богами, ведь я дочь Израиля.

Принц внимательно посмотрел на нее и спросил:

— Каким же богом ты можешь поклясться, о дочь Израиля?

— Яхве, о принц, — мы считаем его единым и единственным богом. Творцом мира и всего, что в нем есть.

— Тогда, наверно, его другое имя — Кефера, — сказал принц, слегка улыбнувшись, — но будь по-твоему. Поклянись своим богом Яхве.

Она подняла обе руки над головой и сказала:

— Я, Мерапи, дочь Натана из племени Леви, народа Израиля, клянусь именем Яхве, бога Израиля, что буду говорить правду и всю правду.

— Расскажи нам все, что ты знаешь о смерти этого человека, о Мерапи.

— Я знаю не больше того, что знаешь ты, о принц. Тот, кто здесь лежит, — она жестом указала на тело убитого, отводя взгляд в сторону, — был моим отцом, старейшиной Израиля. Когда хлеба еще не созрели, капитан Хуака прибыл в страну Гошен, чтобы отобрать тех, кто должен работать на фараона. Он пожелал взять меня в свой дом. Мой отец сказал ему, что я с самого детства обручена с сыном Израиля, и отказал ему, отказал еще и потому, что наш закон запрещает нашим людям соединяться браком с вашими людьми. Тогда капитан Хуака забрал отца, хотя он занимал высокое положение и по возрасту не должен был работать на фараона, и его увезли — за то, я думаю, что он отказался отдать меня в жены Хуаке. Немного позже мне приснилось, что отец заболел. Три раза мне снился этот сон, и наконец я бежала в Танис, чтобы увидеться с отцом. Сегодня утром я нашла его и... — о принц, остальное ты знаешь сам.

— И это все? — спросил Сети.

Девушка молчала в нерешительности, потом сказала.

— Еще одно, о принц. Этот человек видел, как я давала отцу поесть, потому что он совсем ослабел и изнемог, выкапывая ил под палящими лучами солнца; ведь он из знатного рода и никогда не выполнял такой работы. В моем присутствии Хуака спросил отца: может быть, теперь он отдаст меня ему в жены? Отец сказал, что он скорее позволил бы змее поцеловать меня или отдал бы меня на съедение крокодилам. «Я выслушал тебя, — сказал Хуака. — Так знай же, раб Натан, прежде чем завтра взойдет солнце, тебя поцелует меч и сожрут крокодилы или шакалы». «Будь так, — ответил отец — но знай, о Хуака, что прежде чем взойдет солнце, тебя тоже поцелует меч, а об остальном мы с тобой поговорим у подножия трона Яхве».

А потом, как ты знаешь, принц, надсмотрщик избил отца бичом, — я слышала, как Хуака приказал избить его, если он будет отставать от других;

а после Хуака убил его, потому что отец, обезумев, ударил его лопатой. Больше мне нечего сказать, кроме одного: прошу тебя — вели отослать меня обратно, к моему народу, где я смогу оплакивать моего отца так, как у нас принято.

— Куда ты хочешь вернуться — к своей матери?

— Нет, о принц. Моя мать умерла, она была знатная женщина из Сирии. Я хочу вернуться к моему дяде, Джейбизу Левиту.

— Отойди в сторону, — сказал Сети. — Мы решим твое дело позже. Подойди сюда, о писец Ана! Принеси присягу и расскажи нам все, что ты знаешь о смерти этого человека, поскольку нам нужны два свидетеля.

Я произнес клятву и повторил то, чему я был свидетелем.

— Ну, Хуака, — сказал принц, когда я кончил, — ты хочешь что-нибудь сказать?

— Только одно, о царственный принц! — ответил Хуака, упав на колени. — Я ударил тебя случайно, не зная, что под плащом скрывается личность твоего высочества. За этот поступок я достоин смерти, это правда, но умоляю простить меня, ведь я не ведал, что творил. Остальное же ничего не значит, ибо я убил всего-навсего мятежного раба-израильянина, каких убивают каждый день.

— Скажи мне, о Хуака, — ибо тебя судят именно за убийство этого человека, но не за то, что ты ударил, сам того не зная, человека царской крови, — какой закон разрешил тебе убить израильянина без суда, назначенного фараоном?

— Я не ученый. Я не знаю законов, о принц. Все, что наговорила тут эта женщина, — ложь.

— Но, во всяком случае, то, что этот человек мертв и что убил его ты, — не ложь. Ты сам это признаешь. Так знай же, и пусть знают все египтяне, что даже израильянин не может быть убит только за то, что он устал или ответил ударом на незаслуженный удар. За его кровь ты ответишь своей кровью. Солдаты! Отрубите ему голову!

Нубийцы набросились на него, и, когда через мгновение я вновь увидел Хуаку, его обезглавленное тело лежало рядом с трупом еврея Натана, и кровь обоих смешалась на ступенях храма.

— Суд завершил свое дело, — сказал принц. — Воины, проследите, чтобы эту женщину проводили обратно к ее народу и вместе с нею отправили тело ее отца для погребения. И помните, что вы отвечаете своей жизнью за то, чтобы ее не оскорбляли и чтобы с ней не случилось ничего плохого. Писец Ана, пойдем вместе в мой дом, — я хочу поговорить с тобой. И пусть стража пойдет впереди и вслед за мной.

Он поднялся, и все присутствующие склонились перед ним. Когда он повернулся, чтобы уйти, Мерапи упала перед ним на колени, говоря:

— О справедливейший принц, отныне и навсегда я буду тебя слушать!

Мы двинулись в путь, и, когда мы покинули рыночную площадь и направились ко дворцу принца, я услышал позади гул голосов; одни одобряли, другие осуждали действия Сети. Мы шли в молчании, нарушаемом лишь равномерными звуками шагов сопровождавших нас стражников. Вскоре луна зашла за тучу, и вокруг стало темно. Потом из-за края тучи вдруг вырвался луч света и протянулся, прямой и узкий, через все небо. Принц смотрел на него некоторое время и потом сказал:

— Скажи мне, Ана, что напоминает тебе этот лунный луч?

— Меч, о принц, — ответил я, — простертый над Кеметом рукой какого-то могущественного бога или духа. Смотри, вон его клинок, с которого будто падают облачка — капли крови; а вон там — рукоять из золота, и смотри, под ним лицо бога. Огонь струится из его глазниц, а чело его мрачно и ужасно. Мне страшно — сам не знаю отчего.

— У тебя душа поэта, Ана. Однако я вижу то же, что и ты, и я уверен, что какой-то меч возмездия действительно поднят над Египтом за все его злодеяния; этот луч — его символ. Видишь? Он как будто вот-вот упадет на храмы богов и на дворец фараона и рассечет их надвое. А теперь он исчез, и ночь стала похожа на все ночи с сотворения мира. Пойдем ко мне и поужинаем. Я устал, мне нужно подкрепиться едой и вином, — как, впрочем, и тебе после схватки с этим мерзким убийцей, которого я отправил куда следовало.

Стражники приветствовали принца и были отпущены. Мы поднялись в личные покои принца, где его слуги обрядили меня в одежды из тонкого полотна, после того как искусный домашний врач обработал ссадины и порезы на моем теле и наложил повязки, пропитанные бальзамом. Затем меня провели в маленький трапезный зал, где меня ожидал принц, — словно я был почетным гостем, пришедшим сюда из Мемфиса со своими товарами, а не бедным писцом. Он заставил меня сесть по правую руку от себя и даже придвинул мне стул, чем привел меня в смущение и замешательство. Как сейчас помню этот стул с кожаным сиденьем: его подлокотники кончались сфинксами из слоновой кости, а на спинке из черного дерева, в центре овала, было инкрустировано имя великого Рамсеса, которому этот стул некогда принадлежал. Подали кушанья — только два блюда, и те самые простые, ибо Сети не был охотником до еды, — и к ним вино, восхитительнее которого мне никогда не доводилось пробовать. Нам прислуживал молодой нубиец с очень веселым лицом.

Мы ели и пили, и принц расспрашивал меня о моей работе в должности писца и о сочинении рассказов, что, по-видимому, очень его интересовало. Можно было даже подумать, будто он ученик в школе, а я — учитель, так смиренно и так внимательно выслушивал он все, что я говорил о моем искусстве. О делах государства или об ужасной кровавой сцене, которую мы только что пережили, не было сказано ни слова. Под конец, однако, после небольшой паузы, во время которой он, держа в руке чашу из тонкого, как яичная скорлупа, алебастра, всматриваясь в игру света в густом красном вине, принц сказал мне:

— Друг Ана, мы с тобой пережили волнующий час, возможно, первый из многих, что еще впереди, а может быть, последний. Кроме того, мы родились в один и тот же день, а значит, — если астрологи не лгут, как другие мужчины и женщины, — и под одной звездой. И, наконец, позволь мне об этом сказать, — ты мне очень нравишься, хоть я и не знаю, нравлюсь ли я тебе; и когда ты со мной в комнате, я чувствую себя спокойно и свободно. Это странно, ибо я не знаю никого, с кем бы мне было так хорошо, как с тобой.

Только сегодня утром я изучал старинные рукописи и совершенно случайно прочел, что тысячу лет назад наследный принц Египта имел право — а значит, имеет и теперь, ведь в Египте ничто не меняется — держать личного библиотекаря, которому платит государство, то есть, в конечном счете, труженики страны. Последний такой библиотекарь был несколько династий тому назад, я думаю потому, что большинство наследников трона не умели — или не хотели — читать. Я рассказал о своем открытии визирю Нехези, который считает каждую унцию золота, потраченную мной, как будто он платит мне из собственной кошницы, — впрочем, возможно, так и есть. Он ответил мне с его обычной кривой усмешкой: «Поскольку, принц, я твердо знаю, что нет ни одного писца в Египте, общество которого ты бы выдержал дольше месяца, я определю месячное жалованье библиотекаря в тех размерах, в каких оно было при Одиннадцатой Династии, внесу эту статью в список расходов твоего высочества и выплачу эту сумму из царской казны к тому времени, когда он будет уволен».

Таким образом, писец Ана, я предлагаю тебе этот пост на один месяц, на срок, который, могу обещать тебе, будет оплачен, какова бы ни была сумма. Право, я забыл, сколько именно она составит.

— Благодарю тебя, о принц! — воскликнул я.

— Не благодари меня. Нет, если ты мудр, лучше откажись. Ты познакомился с Памбасой. Так вот, Нехези — это Памбаса, помноженный

на десять, плут, вор, грубиян и к тому же наушничает фараону. Он превратит твою жизнь в пытку и будет держаться за каждую крупницу золота, которую тебе придется вырывать у него из рук. Более того, жизнь здесь утомительна, а я мнительный и часто бываю в плохом настроении. Говорю тебе — не благодари. Откажись, возвращайся в Мемфис и пиши рассказы. Беги от двора с его интригами. Сам Фараон — это только марионетка, через которую говорят другие голоса и лик, через который смотрят другие глаза, и все мановения его скипетра управляются нитями, которые держат другие руки. А если так с фараоном, то что же сказать о его сыне? И потом, Ана, — женщины; они станут преследовать тебя своей любовью — они преследуют даже меня, а ты, кажется, говорил мне, что кое-что знаешь о женщинах. Не соглашайся, ступай обратно в Мемфис. Я пришлю тебе для переписки старинные рукописи и выплачу тебе все, что Нехези назначит для библиотекаря.

— И все же я согласен, о принц! А Нехези — да я не боюсь его: в худшем случае я напишу про него такой рассказ, над которым весь мир будет смеяться, так что он скорее предпочтет заплатить мне, чем подвергаться осмеянию.

— Ты мудрее, чем я думал, Ана. Мне никогда не приходило в голову сделать Нехези героем рассказа, хотя, признаться, я и рассказываю про него всякие истории, а это, в общем, почти то же самое.

Он наклонился ко мне, подперев рукой голову и глядя мне в глаза, спросил:

— Почему ты согласился? Дай мне подумать. Не потому же, что ты надеешься здесь разбогатеть; и не ради показной пышности и престижа придворной жизни; и не для того, чтобы водиться с великими мира сего, которые на самом деле так ничтожны. Ничего в твоём сердце нет и тебе ничего не нужно; ты художник, не больше и не меньше того. Так объясни же мне, почему ты, свободный человек, способный заработать себе на жизнь, болтаешься у трона и готов подставить шею под пята принцев, которые растопчут тебя, как глину, чтобы вылепить из тебя обычного прислужника, или царского приживалу, или слугу, подставляющего скамеечку под ноги фараона.

— Объясню тебе, принц. Во-первых, потому, что троны творят историю, так же как история создает троны; а мне кажется, что в Египте зреют великие события, в которых я хотел бы сыграть свою роль. Во-вторых, потому, что боги подносят дары людям только один или два раза в жизни, и отказаться от этих даров, значит обидеть богов, давших тебе эту жизнь, которую ты должен использовать, пусть даже для неведомых тебе

целей. А в-третьих... — Тут я заколебался.

— А в-третьих? Говори, ведь именно это, наверное, и есть настоящая причина.

— А в-третьих, о принц — право же, такие слова странно звучат в устах мужчины — но, в-третьих, потому, что я люблю тебя. С той минуты, как мой взгляд упал на твое лицо, я полюбил тебя, как не любил никого, — даже своего отца. Не знаю, почему. Конечно же, не оттого, что ты принц.

Услышав эти слова, Сети задумался и так долго молчал, что я испугался, не слишком ли я дерзок для скромного писца, и поспешно добавил:

— Да простит твое высочество своего слугу за его самонадеянные речи. Это не уста твоего слуги говорили, а его сердце.

Он поднял руку, и я умолк.

— Ана, мой близнец в боге Ра, — сказал он, — знаешь ли ты, что у меня никогда не было друга?

— У принца — нет друга?

— Никогда, ни одного. Но теперь я начинаю думать, что нашел его. Эта мысль кажется странной и согревает меня. Знаешь ли, когда мой взгляд упал на твое лицо, я тоже полюбил тебя, одним богам известно почему. У меня было такое чувство, будто я нашел того, кто мне был дорог тысячу лет назад, но потом потерял его и забыл о нем. Быть может, это глупость, а может быть, это тень чего-то великого и прекрасного, что обитает где-то в другом месте, которое мы называем царством Осириса, — по ту сторону могилы, Ана.

— Иногда мне в голову приходили такие же мысли, принц. Я хочу сказать, что все, что мы видим, — тень; и мы сами — только тени, а реальности, которые отбрасывают их, живут в какой-то другой стране, озаренной духовным солнцем, которое никогда не заходит.

Принц кивнул и некоторое время молчал. Потом он поднял свою прекрасную алебастровую чашу и, налив в нее вина, отпил немного и передал чашу мне.

— Выпей и ты, Ана, — сказал он, — и обещаю тебе, как обещаю тебе я, что во имя создателя, который дал человеку сердце, отныне наши два сердца слились в одно, и так будет всегда, в горе и в радости, в победе и в поражении, пока смерть не унесет одного из нас. Отныне, Ана, у меня нет от тебя никаких тайн, — разве что ты окажешься недостойным нашей клятвы.

Вспыхнув от радости, я принял от него чашу, говоря:

— Я добавлю к тому, что ты сказал, о принц, еще одно: мы едины не

только в этой жизни, но и во всей цепи грядущих жизней. Смерть, с принц, — это, я думаю, лишь одна ступень воздушной лестницы, которая приводит наконец к тем головокружительным высотам, откуда мы видим лицо бога и слышим его голос, объясняющий нам, что мы есть и почему.

Потом я тоже произнес слова клятвы, выпил из чаши и поклонился ему, а он поклонился мне.

— Что мы сделаем с этой чашей, Ана? Священной чашей, в которой было вино наших сердец? Оставить ее у меня? Нет, она больше не принадлежит мне. Дать ее тебе? Нет, она не только твоя. Знаю — мы разделим эту бесценную вещь.

Схватив чашу за ножку, он с силой ударил ею о стол. И тут произошло нечто, показавшееся мне чудом. Ибо вместо того, чтобы разлететься вдребезги, чаша раскололась ровно на две половинки, сверху донизу. До сих пор не знаю, было ли это случайностью, или художник, создавший ее в каком-то минувшем поколении, заготовил по отдельности каждую из половинок и потом искусно склеил их воедино. Как бы то ни было, чудо свершилось у нас на глазах.

— Какая удача! — сказал принц с легкой усмешкой, под которой, я заметил, он прятал слишком сильные чувства. — Бери же ту половину, которая ближе к тебе, а я возьму ту, что ближе ко мне. Если ты умрешь первым, я положу мою половину тебе на грудь, а если первым умру я, ты положишь мне свою, а если жрецы тебе запретят, потому что я царского рода и они сочтут это святотатством, брось свою половинку в мою гробницу. Что бы мы делали, Ана, если бы алебастр рассыпался на мелкие осколки, и какое бы предзнаменование ты в этом увидел?

— Зачем спрашивать, о принц, о том, чего не случилось?

Потом я взял свою половинку, приложил ее ко лбу и спрятал под одеждой на груди, и Сети сделал то же самое со своей половинкой чаши.

Вот так, столь необычным образом царственный Сети и я скрепили священный союз нашего братства и, как я думаю, — на вечные времена.



### III. Таусерт

Сети встал из-за стола и потянулся.

— С этим кончено, — сказал он, — как кончается все, и на этот раз мне жаль, что это так. Ну, что теперь? Спать, я полагаю, ибо сон — конец всего или, пожалуй, как сказал бы ты, начало.

Не успел он договорить, как занавеси, скрывающие вход, раздвинулись и появился Памбаса, церемонно держа свой жезл перед собой.

— В чем дело? — спросил Сети. — Неужели я не могу даже поужинать спокойно? Стой, прежде чем ты ответишь, скажи: сон конец или начало всех вещей? Ученый Ана и я разошлись в этом вопросе и хотели бы услышать твое мудрое мнение. Учти, Памбаса, что до того, как родиться на свет, мы, должно быть, спали, поскольку ничего не помним об этом времени, а после того как мы умрем, мы, по всей вероятности, спим, как знает всякий, кому доводилось видеть мумии. А теперь отвечай!

Памбаса уставился на сосуд с вином, стоящий на столе, как будто заподозрив, что его господин выпил больше, чем следовало. Потом твердым, официальным голосом он объявил:

— Она идет! Она идет! Она идет, чтобы принести свои приветствия и любовь царственному сыну Ра.

— В самом деле? — спросил Сети. — Но если так, почему сообщать об этом три раза? И — кто идет?

— Высочайшая принцесса, наследница Египта, дочь фараона, сводная сестра твоего высочества, великая госпожа Таусерт.

— Что ж, пусть войдет. Ана, стань позади меня. Если ты устанешь и я разрешу, можешь уйти, рабы покажут тебе, где твои покои.

Памбаса удалился, и тотчас из-за занавесей появилась царственного вида особа в великолепном одеянии. Ее сопровождали четыре служанки, которые остановились у порога и тут же скрылись. Принц пошел ей навстречу, взял обе ее руки в свои и поцеловал ее в лоб, потом отступил, после чего они с минуту стояли, смотря друг на друга. Тем временем я изучал ту, что была известна во всей стране как «Прекрасная Царская Дочь», но кого я до этого момента ни разу не видел. По правде сказать, я не нашел ее прекрасной, хотя я бы сразу понял, что она царского происхождения, даже будь на ней платье крестьянки. Для красавицы ее лицо было слишком жестким, а черные глаза с серым отливом слишком малы. Вместе с тем ее нос был слишком острым, а губы слишком тонкими.

Поистине, если бы не очертания нежной и красивой женственной фигуры, я бы вполне мог подумать, что передо мной не принцесса, а принц. В остальном она во многом походила на своего сводного брата Сети, хотя и была лишена свойственного ему выражения доброты. Или, если сказать точнее, оба они походили на своего отца, Мернептаха.

— Приветствую тебя, сестра, — сказал он, глядя на нее с улыбкой, в которой мне почудилось что-то насмешливое. — Ого! Платье, отороченное пурпуром; изумрудное ожерелье и венец из золота, и кольца и нагрудные украшения, — не хватает только скипетра! Почему ты так по-царски оделась, чтобы навестить столь скромную особу, как твой любящий брат? Ты являешься, как солнце, во тьму отшельнической кельи, и совсем ослепила бедного отшельника — или, точнее, отшельников, — и он указал на меня.

— Оставь свои шутки, Сети, — ответила она звучным, сильным голосом. — Оделась так потому, что это доставляет мне удовольствие. Кроме того, я ужинала с нашим отцом, а те, что сидят за столом фараона, должны быть одеты подобающим образом. Правда, я заметила, что иногда ты думаешь иначе.

— Вот как. Надеюсь, добрый бог, наш божественный родитель сегодня вполне здоров, раз ты так рано его покинула.

— Я покинула его потому, что он послал меня к тебе с поручением. — Она умолкла, пристально смотря на меня, и потом спросила: — Кто этот человек? Я его не знаю.

— Твоя беда, Таусерт, но дело можно поправить. Его зовут писец Ана, и он пишет странные истории, полные интереса, которые тебе следовало бы почитать, а то ты слишком поглощена внешней стороной жизни. Он из Мемфиса, а имя его отца — забыл, Ана, как звали твоего отца?

— Его имя слишком ничтожно для царских ушей, принц, — ответил я, — но мой дед был поэтом по имени Пентавр, который писал о деяниях могущественного Рамсеса.

— Правда? Почему же ты сразу мне не сказал? С таким происхождением ты заработал бы себе пенсию из придворной казны, если бы тебе удалось вырвать ее у Нехези. Так вот, Таусерт, имя его деда было Пентавр, чьи бессмертные стихи ты, несомненно, читала на стенах храма, где наш дед позаботился их увековечить.

— Читала, к сожалению, и нашла, что это пустая и хвастливая болтовня, — холодно ответила она.

— Честно говоря, — да простит меня Ана — я того же мнения. Но могу тебя уверить, что его рассказы несравненно лучше, чем стихи его

деда. Друг Ана, это моя сестра, Таусерт, дочь моего отца, хотя матери у нас были разные.

— Прошу тебя, Сети, будь добр называть все мои законные титулы, говоря обо мне с писцом, да и с прочими твоими слугами.

— Извини, Таусерт. Ана, это — Первая госпожа Кемета, Царская наследница, Принцесса Верхнего и Нижнего Египта, Верховная жрица Амона, Любимица Богов, сводная сестра законного наследника, Цветущий Лотос Любви, будущая Царица — Таусерт, чьей супругой ты будешь? Кто окажется достоин такой красоты, превосходства, учености и — что еще можно добавить? — нежности, да, нежности.

— Сети, — сказала она, топнув ногой, — если тебе нравится издеваться надо мной в присутствии посторонних, очевидно мне остается только покориться. Вели ему уйти, мне нужно с тобой поговорить.

— Издеваться над тобой! О сколь плачевна моя участь! Когда правда изливается из глубин моего сердца, мне говорят, что я издеваюсь, а когда я издеваюсь, все твердят: он говорит правду. Сядь, сестра, и говори, не стесняясь. Ана — мой верный друг, который только что спас мне жизнь; хотя за это мне, пожалуй, следовало бы считать его своим врагом. У него также отличная память, и он запомнит, а потом запишет все, что ты скажешь, тогда как я могу забыть. Поэтому, с твоего позволения, я попрошу его остаться.

— Мой принц, — сказал я, — пожалуйста, разреши мне уйти.

— Мой секретарь, — ответил он с повелительной ноткой в голосе, — я прошу тебя остаться на месте.

Выбора не было. Я сел на пол в обычной позе писца, а принцесса опустила на ложе в конце стола; Сети остался стоять. После паузы принцесса заговорила.

— Поскольку ты желаешь, брат, чтобы я доверяла секреты не только твоим, но и чужим ушам, я повинуюсь. И все же, — тут она гневно взглянула на меня, — пусть язык остережется повторять то, что слышали уши, а то как бы не осталось ни языка, ни ушей. Мой брат, во время ужина фараону доложили, что в нашем городе начались волнения. Ему доложили, что из-за каких-то неприятностей по поводу низкого израильтянина ты велел обезглавить одного из фараоновых воинов. После чего вспыхнул мятеж, который продолжается до сих пор.

— Странно, что правда достигла ушей фараона так быстро. Вот если бы он услышал об этом на три луны позже, я бы тебе поверил — почти поверил бы.

— Значит, ты действительно обезглавил этого воина?

— Да, я обезглавил его два часа тому назад.

— Фараон требует отчета об этом деле.

— Фараон, — ответил Сети, подняв глаза, — не властен ставить под сомнение правосудие правителя Таниса.

— Ты заблуждаешься, Сети. Власть фараона безгранична.

— Нет, сестра. Фараон — лишь один человек среди миллионов других, и хотя он говорит от себя, его речи внушены их духом, — но над их духом есть еще более великий дух, который направляет их мысли ради целей, о которых мы ничего не знаем.

— Я не понимаю тебя, Сети.

— Я и не ожидал, что ты поймешь, Таусерт, но на досуге попроси Ану объяснить тебе суть дела. Я уверен, что он понимает.

— О! С меня довольно, — воскликнула Таусерт, поднимаясь. — Выслушай приказ фараона, принц Сети. Завтра ты должен явиться к нему в Зал Совета, за час до полудня, чтобы говорить с ним об этом случае с израильскими рабами и воином, которого тебе угодно было лишить жизни. Я хотела сказать тебе еще кое-что, но поскольку это предназначалось только для твоих ушей, я подожду до более удобного случая. Прощай, брат мой.

— Как, ты уже уходишь? А я собирался рассказать тебе об этих израильянах и особенно об одной девушке по имени — как ее имя, Ана?

— Мерапи, Луна Израиля, принц, — ответил я со вздохом.

— О девушке, которую зовут Мерапи и Луной Израиля, по-моему, самой прелестной, какую я когда-либо видел; это ее отца убил казненный капитан, убил у меня на глазах.

— Значит, тут замешана женщина? Я так и думала.

— В каждом деле замешана женщина, Таусерт, — даже в послании фараона. Памбаса, проводи принцессу и позови ее слуг — все они до единой — женщины, если мои чувства меня не обманывают. Спокойной ночи, о сестра и Госпожа Обеих Земель, и прости меня — твой венец немного съехал набок.

Наконец она ушла и я поднялся, вытирая лоб краем туники, и посмотрел на принца, который стоял перед очагом, тихо посмеиваясь.

— Запиши весь этот разговор, Ана, — сказал он. — В нем нечто большее, чем кажется на слух.

— Не надо и записывать, принц, — ответил я, — каждое слово выжжено в моем мозгу, как раскаленное железо выжигает деревянную дощечку. И недаром, ибо теперь ее высочество будет ненавидеть меня всю свою жизнь.

— Это гораздо лучше, Ана, чем если бы она притворилась, что любит тебя; но этого она никогда не сделает, пока ты мой друг. Женщины нередко уважают тех, кого ненавидят, и даже продвигают их из политических соображений, но пусть остерегаются те, кого они притворно любят! Как знать, еще придет время, когда ты станешь самым доверенным советником Таусерт!

Здесь я, писец Ана, замечу, что впоследствии, когда эта самая царица была женой фараона Саптаха, я действительно стал ее самым доверенным советчиком. Более того, в те времена и даже в час ее смерти она клялась, что с первого же взгляда, впервые увидев меня, она поняла, что я обладаю верным сердцем, и почитала меня за бескорыстие. И я думаю, что она верила в то, что говорила, забыв, что когда-то она смотрела на меня как на своего врага. Но я никогда не был ее врагом и всегда чтил ее, как великую женщину, которая любила свою страну, хотя ей подчас и не хватало мудрости. Но в ту далекую ночь, много лет назад, я не мог предвидеть всего этого, и потому я удивленно посмотрел на принца и сказал:

— О, почему ты не позволил мне уйти, как обещал сначала? Рано или поздно я заплачу головой за события этой ночи.

— Тогда ей придется добавить к твоей голове и мою. Послушай, Ана. Я удержал тебя здесь не для того, чтобы позлить принцессу или тебя, но по серьезной причине. Ты ведь знаешь, что в Египте существует обычай, по которому цари или те, кто будут царями, женятся на близких родственницах, чтобы сохранить чистоту крови.

— Да, принц, и не только цари. Однако я считаю, что это дурной обычай.

— И я тоже, ибо народ, который его придерживается, все слабее телом и духом. Может быть, поэтому мой отец уже не такой, каким был его отец, а я не такой, как мой отец.

— Кроме того, принц, очень трудно сочетать любовь к сестре с любовью к жене.

— Еще как трудно, Ана! Так трудно, что при таких попытках и та и другая любовь просто исчезают. Так вот, поскольку наши матери были верными царскими женами, хотя ее мать умерла еще до того, как мой отец женился на моей матери, фараон желает, чтобы я женился на моей сводной сестре Таусерт, и — что еще хуже — она тоже этого хочет. Больше того, многие боятся, что в Египте начнется смута, если мы, единственные потомки истинно царского рода и дети цариц, не соединимся и она возьмет в мужья кого-то другого или я возьму в жены другую женщину; поэтому они требуют, чтобы наш брак состоялся, поскольку они уверены, что тот,

кто назовет Таусерт Властную своей супругой, будет править всей страной.

— А почему принцесса этого хочет? Чтобы стать царицей?

— Да, Ана. Хотя стань она женой моего двоюродного брата Аменмеса, сына старшего брата фараона, Кхемуаса, она все равно могла бы быть царицей, если бы я устранился — что я с удовольствием бы сделал.

— А Египет согласился бы на это, принц?

— Не знаю, да это и не имеет значения, поскольку она терпеть не может Аменмеса: он своеволен и тщеславен, она и слышать о нем не хочет. К тому же он женат.

— Неужели нет ни одного человека царского рода, за кого она могла бы выйти, принц?

— Ни одного. И потом, она желает только меня.

— Почему, принц?

— Из-за древнего обычая, перед которым она преклоняется. А также потому, что она хорошо знает меня и любит — на свой лад. Она уверена, что я мягкосердечный мечтатель, которым она будет управлять. Наконец, потому, что я — законный наследник короны, и если не буду разделять с нею власть, она, по ее мнению, никогда не сможет чувствовать себя на троне в безопасности, особенно если я женюсь на другой женщине, в которой она будет видеть соперницу. Трон — вот предмет ее желаний, ради которого она хочет выйти замуж, а вовсе не принц Сети, ее сводный брат, которого она возьмет вместе с троном, как велит фараон. Любовь, Ана, не играет никакой роли в сердце Таусерт. Но это делает ее тем более опасной, ибо если ее холодное расчетливое сердце к чему-то стремится, она, несомненно, этого достигнет.

— Похоже, принц, что вокруг тебя воздвигается клетка. В конце концов, это великолепная клетка вся из золота.

— Да, Ана, только клетка не то место, где я хотел бы жить. Но, исключая смерть, как мне вырваться из этих тройных пут — воли фараона, страны и Таусерт? О! — продолжал он изменившимся голосом, в котором звучали и скорбь и гнев. — Пусть во всем остальном я — слуга, но в этом деле я хотел бы выбирать сам. А выбирать мне не позволено!

— Нет ли случайно какой-нибудь другой знатной женщины, принц?

— Никакой! Клянусь богами, никакой — во всяком случае, насколько я знаю. Я все-таки бы поискал, имей я свободу действий, и если б нашел, я бы взял ее, будь она хоть рыбачкой.

— Цари Кемета могут иметь достаточно большие семьи, принц.

— Знаю, разве не существуют еще десятки людей, которых я с полным правом мог бы назвать своими родственниками? Мой дед Рамсес

осчастливил Кемет, я думаю, не менее чем тремя сотнями детей, и, пожалуй, в этом была какая-то доля мудрости, ибо он мог быть уверен, что пока стоит мир, еще долго будут жить капли крови, которая когда-то текла в его жилах.

— Но какая ему от этого польза, принц, — и в жизни, и в смерти? Кто-то должен порождать все эти массы людей, что населяют землю, так не все ли равно, кто их родитель?

— Решительно все равно, Ана, поскольку, к счастью или к несчастью, они так или иначе рождаются на свет. Поэтому есть ли смысл говорить о больших семьях? Хотя фараон, как и любой человек, способный платить за это, и может иметь «большую семью», но она мне не нужна, я хочу такую женщину, которая бы царствовала в моем сердце, а не только на троне. Однако устал я. Памбаса, поди сюда. Проводи моего секретаря Ану в свободную комнату рядом с моей — в ту, с росписью на стенах, которая выходит на север, и вели моим слугам позаботиться о нем так же, как они позаботились бы обо мне.

— Почему ты сказал мне, что ты писец, мой господин Ана? — спросил Памбаса, проводив меня в мою красивую комнату, где мне предстояло спать.

— Потому что таково мое ремесло.

Он посмотрел на меня и затряс головой с такой страстью, что его длинная седая борода всколыхнулась у него на груди, как храмовой стяг под легким порывом ветра.

— Нет, ты не писец, — ответил он, — ты чародей. Ты в одночасье завоевал любовь и милость его высочества, чего другие не могут добиться даже за время, что проходит между двумя разливами Сихора. Если бы ты сказал мне сразу, тебя бы приняли совсем иначе. Ты уж прости меня за то, как я обошелся с тобой в моем неведении. Я молю тебя — пожалуйста, не растай в ночной мгле, чтобы моим пяткам не пришлось отвечать под палками за твое исчезновение.

\* \* \*

Шел четвертый час после восхода солнца, когда на следующий день я впервые в жизни оказался при дворе фараона в свите его высочества принца Сети. Это было величественное и торжественное место, ибо фараон

принимал в зале судебных заседаний, где крыша поддерживается круглыми резными колоннами, а между ними стоят статуи фараонов минувших поколений. Свет, струившийся из верхнего ряда окон, выделял тот конец зала, где возвышался трон, в остальной же его части было сумеречно, даже почти темно; по крайней мере, так мне показалось после яркого солнца, сиявшего снаружи. В этом полумраке двигались, словно тени, множество людей: военачальники, вельможи, служители государства, которых вызвали ко двору, среди них мелькали жрецы в белых одеяниях и с бритыми лицами. Были здесь и другие, но эти интересовали меня меньше: предводители кочевых племен, пришедшие из пустыни, торговцы драгоценностями и другими товарами, землевладельцы и крестьяне, явившиеся с прошениями, адвокаты и их клиенты — всех не перечесть; но никому из них не было позволено перейти за ту черту, где начиналась светлая часть зала. Переговариваясь шепотом, все эти люди мелькали в полумраке, как летучие мыши в гробнице.

Мы ждали в одном из преддверий зала, между двумя колоннами, увенчанными скульптурными ликами богини Хатхор. Принц Сети был в отороченной пурпуром одежде, а его голову охватывала узкая золотая повязка с золотым уреем, или змейкой, которую имеют право носить только фараоны. Он стоял, прислонившись к пьедесталу статуи, а мы молча стояли позади него. Некоторое время он тоже молчал, как человек, мысли которого витают где-то совсем в других сферах. Наконец он обернулся и сказал мне:

— Утомительная история! Как жаль, что я не попросил тебя захватить твой новый рассказ с собой, писец Ана, — мы бы почитали его вместе.

— Хочешь, я расскажу тебе его сюжет, принц?

— Да. Только не сейчас, а то я заслушаюсь тебя и забуду про хорошие манеры. Посмотри, — и он указал на человека средних лет с мрачным лицом и свирепым выражением в глазах, который шел через зал, как будто не замечая нас, — вот идет мой двоюродный брат Аменмес. Ведь ты знаешь его?

Я отрицательно покачал головой.

— Ну, тогда скажи, что ты о нем думаешь, вот так сразу, по первому впечатлению.

— Думаю, что у него царственный вид, что он упрям духом и крепок телом, по-своему красив.

— Это видно всем, Ана. Что еще?

— Я думаю, — сказал я, понизив голос, чтобы никто меня не услышал, — что его сердце также мрачно, как его лицо, что ревность и ненависть сделали его порочным и что он причинит тебе зло.



— Разве может человек стать порочным, Ана? Не остается ли он таким, каким родился, с начала и до конца? Мы этого не знаем, ни ты, ни я. Но ты прав: он ревнив и причинит мне зло, если это будет ему выгодно. Но скажи, кто из нас в конце концов восторжествует?

Пока я колебался, не зная, как ответить, я почувствовал, что к нам кто-то приближается. Оглянувшись, я увидел древнего старика в белом одеянии. У него было широкое лицо и лысая голова, и его глаза под густыми бровями горели, как угли среди пепла. Он опирался на посох из кедрового дерева, крепко обхватив его обеими руками, худыми и иссохшими, как руки мумии. С минуту он сосредоточенно смотрел на нас обоих, словно читая в наших душах, потом сказал звучным голосом:

— Приветствую тебя, принц.

Сети обернулся, посмотрел на него и ответил:

— Приветствую тебя, Бакенхонсу. Ты все еще жив? Когда мы с тобой расстались в Фивах, я был уверен...

— Что, вернувшись, ты найдешь меня в гробнице? Нет, принц, это я доживу до того дня, когда увижу тебя в гробнице. Да и не только тебя, но и других, которым еще предстоит сидеть на троне фараона. А почему бы нет! Хо-хо! Почему бы нет, если мне только сто семь лет, и я помню еще Рамсеса Первого и играл с его внуком, твоим дедом, когда был мальчиком? Почему бы мне еще не пожить, чтобы нянчить твоего внука — если боги даруют тебе внука? Ведь пока что у тебя нет ни жены, ни детей.

— Потому, что ты устанешь от жизни, Бакенхонсу, как уже устал я, да и боги не смогут так долго обходиться без тебя.

— Боги-то обойдутся без меня, принц, когда столь многие стекаются к их столу. К тому же они даже хотят, чтобы в Египте остался хотя бы один хороший жрец. Ки-чародей сказал мне что-то в этом духе сегодня утром. А он имел знамение с Небес во сне этой ночью.

— Почему ты был у Ки? — спросил Сети, пристально взглянув на него. — Я бы подумал, что, занимаясь одним и тем же ремеслом, вы должны ненавидеть друг друга.

— Вовсе нет, принц. Напротив, мы дополняем один другого. То есть, мы вместе обсуждаем и истолковываем наши видения, которые, кстати сказать, нынче нас очень тревожат. Этот молодой человек — писец из Мемфиса?

— Да, и мой друг. Его дедом был поэт Пентавр.

— Вот как! Я хорошо знал Пентавра. Он часто читал мне свои длинные поэмы, под которые так легко было засыпать, — нудная писанина, вырастающая, как грубая трава на глубокой, но наполовину высохшей

почве. Ты уверен, молодой человек, что Пентавр был твоим дедом? Ты совсем на него не похож. Растение совсем другой породы. И наверное знаешь, что в таком деле мы вынуждены полагаться на слово женщины.

Сети рассмеялся, а я гневно взглянул на старого жреца, хотя последняя фраза вдруг заставила меня вспомнить слова отца, который всегда говорил, что моя мать — самая большая лгунья во всем Египте.

— Ну, да ладно, — продолжал Бакенхонсу. — Ки говорил мне про тебя, молодой человек. Я не очень его слушал, но помню, это было что-то насчет внезапного обета дружбы между тобой и вот этим принцем. Упоминалась также некая чаша — алебастровая чаша — мне показалось, будто я ее уже видел. Ки сказал, что ее разбили.

Сети вздрогнул, а я гневно прервал старика:

— Что ты знаешь об этой чаше? Или ты там где-нибудь прятался, о жрец?

— О, в ваших душах, я полагаю, — ответил он мечтательно, — или, точнее, это был Ки. Но я — я ничего не знаю, да и не любопытствую. Вот если бы чаша была разбита из-за женщины, это было бы куда интереснее, даже для старика. Будь добр и ответь принцу на его вопрос, кто из них восторжествует в конце концов — он или его двоюродный брат Аменмес? Ибо именно это интересует и Ки и меня.

— Разве я ясновидящий, — возразил я с возрастающим гневом, — чтобы читать будущее?

Он, ковыляя, приблизился, положил мне на плечо похожую на клешню руку и произнес совсем другим, повелительным тоном:

— Всмотрись в этот трон и скажи, что ты там видишь.

Я невольно повиновался и устремил взгляд через зал на пустой трон. Сначала я ничего не увидел. Потом мне почудилось, что вокруг трона мелькают какие-то фигуры. Среди них выделялась фигура Аменмеса. Гордо осматриваясь, он воссел на троне, и я заметил, что он одет уже не как принц, а как сам фараон. Но вот появились горбоносые мужчины, которые стащили его с трона. Он упал, как мне показалось в воду, потому что я увидел всплеск брызг. Потом к трону поднялся принц Сети, ведомый женщиной, которую я не разглядел, ибо она шла спиной ко мне. Но его я видел отчетливо — на нем была двойная корона, а в руке он держал скипетр. Он тоже исчез, будто растаял, и появились другие, кого я не знал, хотя и подумал, что среди них мелькнул образ принцессы Таусерт.

Потом все исчезло, и я стал рассказывать Бакенхонсу все, что я видел, говоря как будто во сне и не по своей воле. Внезапно я очнулся и рассмеялся над собственной глупостью. Но оба мои собеседника не

смеялись, они смотрели на меня с серьезными лицами.

— Я так и думал, что ты в некоторой степени ясновидец, — сказал старый жрец. — Точнее, это думал Ки. Я не мог до конца поверить Ки, потому что он сказал, что сегодня утром я увижу здесь рядом с принцем кого-то, кто любит его всем сердцем, а ведь любить всем сердцем может только женщина, не так ли? По крайней мере, так думает весь мир. Ну, мы с Ки еще обсудим этот вопрос. Однако тихо! Идет фараон!

— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!

## IV. Обручение при Дворе

— Жизнь! Кровь! Сила! — повторяли подобно эху все, кто был в зале, падая на колени и касаясь лбами земли. Даже принц и престарелый Бакенхонсу простерлись ниц, словно перед лицом бога. И в самом деле, проходя по освещенной солнцем части зала, увенчанный двойной короной и облаченный в царственные одежды и украшения, фараон Мернептах выглядел как бог, каким массы египтян его и считали. Это был уже старик, на лице которого годы и заботы оставили свои следы, но от всего его облика, казалось, веяло величием.

За ним, отставая на один-два шага, следовали Нехези — его визирь, сморщенный человек с пергаментно-бледным лицом и хитрыми бегающими глазами, верховный жрец Рои, и Хора — гофмейстер царского стола, и Мерану — царский рукойой, и Юи — личный писец фараона, и многие другие, кого Бакенхонсу называл мне по мере их появления. Потом пошли носители опахал и блестящая группа вельмож, которых называли друзьями царя, и главные дворецкие, и не знаю еще кто; за ними охрана с копьями и в шлемах, сверкающих как золото, и чернокожие меченосцы из южной страны Куш.

Только одна женщина сопровождала фараона, следуя непосредственно за ним, перед визирем и верховным жрецом. Это была дочь фараона, принцесса Таусерт, которая показалась мне и более гордой, и более величественной, чем кто-либо из присутствующих, хотя и несколько бледной и встревоженной.

Фараон приблизился к ступеням трона. Визирь и верховный жрец поспешили помочь ему подняться, ибо он был слаб от старости, но он жестом отклонил их помощь и, поманив дочь, оперся на ее плечо и так поднялся по ступеням трона. Я подумал, что эта сцена имела определенный смысл: он как будто хотел показать всем собравшимся, что эта принцесса — опора Кемета.

Он немного постоял молча, в то время как Таусерт присела на верхнюю ступеньку и подперла подбородок сверкающей бриллиантами рукой. Фараон же стоял, обводя взглядом зал. Он поднял скипетр, и все поднялись с колен, сотни и сотни людей, наполнявших зал, и их одежды зашуршали при этом, как листья под внезапным порывом ветра. Он сел на трон, и снова раздался приветственный клич, с каким обращаются исключительно к фараону.

— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!

В наступившем молчании я услышал, как он сказал, по-видимому принцессе:

— Аменмеса я вижу и других из родни тоже, но где же мой Сети, принц Кемета?

— Наблюдает за нами из какого-нибудь угла. Мой брат не любит придворных церемоний, — ответила Таусерт.

Тогда, подавив вздох, Сети вышел из-за колонны; за ним двинулись Бакенхонсу и я, а немного поодаль — остальные члены его свиты. Пока он шел через зал, все расступались, приветствуя его поклонами. Приблизившись к трону, он преклонил колени и произнес:

— Приветствую тебя, о царь и отец!

— Приветствую тебя, о принц и сын! Садись же, — ответил Мернептах.

Сети опустился в кресло, поставленное для него справа, у подножия трона. В другое кресло, слева, но несколько дальше от трона, сел Аменмес. Я стал за кресло принца.

Официальная часть началась. По знаку церемониймейстера самые разные люди подходили поодиночке и протягивали прошения, написанные на свитках папируса; визирь Нехези принимал их и бросал в кожаный мешок, который держал открытым черный раб. В некоторых случаях ответ на прошение, подача которого была лишь формальностью, вручался просителю тут же на месте, и тот, прикоснувшись ко лбу свитком, который, быть может, означал для него все на свете, кланялся и уходил, чтобы узнать свою судьбу. Потом явились *найхи*, вожди племен, кочевавших в пустыне, и начальники крепостей в Сирии, и купцы, подвергшиеся нападению врагов, и даже крестьяне, пострадавшие от притеснений чиновников, и каждый излагал свою просьбу. Писец записывал все эти просьбы, в то время как визирь и советники отвечали на другие. Но фараон до сих пор не произнес ни одного слова. Он молча восседал на своем великолепном троне из слоновой кости и золота, как каменный бог на алтаре, устремив взгляд через зал в распахнутые двери, словно желая прочесть тайны видневшегося неба.

— Говорил я тебе, друг Ана, что придворные приемы — страшная скука, — прошептал принц, не поворачивая головы. — Может быть, тебе уже хочется вернуться в Мемфис и писать свои истории?

Не успел я ответить, как в дальнем конце зала произошло какое-то движение, привлекающее внимание принца и всех остальных. Я взглянул туда и увидел, что к трону направляется высокий бородатый человек, уже

старик, хотя его черные волосы лишь слегка тронула седина. Он был в белом полотняном одеянии, поверх которого был накинут шерстяной плащ, какие носят пастухи, а в руке он держал посох. Лицо его было величественно и очень красиво, черные глаза сверкали огнем. Он медленно приближался, не глядя ни влево, ни вправо, и толпа расступалась перед ним, как если бы он был принцем. Я подумал даже, что они боятся его больше, чем любого принца, ибо они почти шарахались от него, когда он проходил мимо. Он был не один, за ним шел другой человек, очень похожий на него, но как мне показалось, еще старше, ибо его борода, спадавшая до пояса, была совершенно белой, так же как его волосы. На нем был плащ из овечьей кожи, а в руке — посох. Среди толпы поднялся шепот, и я услышал слова: «Пророки народа Израиля! Пророки народа Израиля!»

Оба уже подошли к трону и смотрели на фараона, ничем не выражая своего почтения. Фараон молча смотрел на них. И долго стояли они так среди глубокого молчания, но фараон не произнес ни слова, и ни один из его чиновников, казалось, не смел раскрыть рта. Наконец первый из пророков заговорил чистым холодным голосом, каким мог бы говорить завоеватель:

— Ты знаешь, кто я, фараон, и в чем моя миссия.

— Тебя я знаю, — медленно произнес фараон, — как мне не знать тебя, если мы вместе играли, когда были детьми. Ты тот иудей, которого моя сестра, что спит ныне в краю Осириса, приняла и воспитала как сына, ибо нашла тебя младенцем в камышах Сихора. Да, я знаю тебя и брата твоего тоже. Но в чем твоя миссия, я не знаю.

— Вот в чем моя миссия, фараон, или скорее послание Яхве, бога Израиля, от имени которого я говорю. Разве ты до сих пор ничего не слышал? О том, что ты должен позволить его народу уйти в пустыню и совершить в честь него обряд жертвоприношения.

— Кто такой Яхве? Я не знаю Яхве, ибо служу Амону и другим богам Кемета, так почему я должен дать твоему народу уйти?

— Яхве — бог Израиля, великий Бог всех богов, и если ты не прислушаешься, фараон, ты скоро узнаешь на себе его могущество. А почему ты должен отпустить его народ — об этом спроси у принца, твоего сына. Спроси, что он видел прошлой ночью на улицах этого города и какой приговор он вынес одному из военачальников фараона. Или, если он не захочет рассказать тебе, узнай все из уст девушки, которую зовут Мерапи, Луна Израиля, — дочери Натана Левита. Выйди сюда, Мерапи, дочь Натана.

В ответ из толпы в конце зала вышла Мерапи в белом одеянии и с

черным траурным покрывалом на голове, оставлявшим, однако, открытым ее лицо. Бесшумно, словно скользя, она приблизилась к трону и склонилась перед фараоном, бросив при этом быстрый взгляд на Сети. Потом она встала и стояла неподвижно, и я подумал, как она удивительно прекрасна в простом белом платье и с черным покрывалом на голове.

— Говори, женщина, — сказал фараон.

Она повиновалась и рассказала всю историю своим глубоким, медовым голосом, и никому ее рассказ не показался ни длинным, ни утомительным. Наконец она умолкла, и фараон спросил:

— Сети, сын мой, это правда?

— Это правда, о отец мой. Властью правителя этого города я приговорил капитана Хуаку к смертной казни за убийство, совершенное на моих глазах на улицах города.

— Возможно, ты поступил правильно, а возможно, и неправильно, сын мой Сети. Во всяком случае, судить тебе, и поскольку он ударил тебя, сына фараона, он заслужил смертной казни.

Он снова помолчал, глядя на небо сквозь открытые двери. Потом сказал:

— Чего же вам еще, пророки Яхве? Мой солдат, убивший человек из вашего народа, справедливо наказан. За жизнь заплачено жизнью в соответствии со строгой буквой закона. Дело завершено. И если вы все сказали, уходите.

— Велением нашего господа бога, — ответил пророк, — мы должны сказать тебе следующее, о фараон. Сними тяжкое ярмо с шеи народа Израиля. Прикажи освободить их от обязанности делать кирпичи для постройки твоих городов.

— А если я откажусь, что тогда?

— Тогда на тебя падет проклятие Яхве, фараон, и бедствие за бедствием обрушится на землю Кемета.

Внезапная ярость охватила Мернептаха.

— Как! — вскричал он. — Ты посмел угрожать мне в моем дворце и хотел бы, чтобы люди Израиля, которые разжирели на своей земле, бросили трудиться? Слушайте, мои слуги, — а вы, писцы, запишите мой приказ. Ступайте в страну Гошен и скажите израильтянам, что кирпичи, которые они делали, они будут делать и впредь и работы у них будет еще больше, чем во времена отца моего, Рамсеса. Только ни одной соломинки они теперь не получают для изготовления кирпичей. Раз они хотят праздной жизни, пусть идут и собирают солому сами: пусть собирают ее с полей.

С минуту царило молчание. Потом в один голос оба пророка

заговорили, указывая посохами на фараона:

— Именем господа Бога мы проклинаем тебя, фараон. Ты скоро умрешь и ответишь за этот грех. Народ Кемета мы тоже проклинаем. Гибель будет их уделом, смерть будет их хлебом, и кровь они будут пить во тьме великой. Больше того, в конце концов фараон даст нашему народу уйти.

Не ожидая ответа, они повернулись и удалились, и ни один человек не попытался их задержать. И опять в зале воцарилось молчание — молчание страха, ибо слова, произнесенные пророками, были ужасны. Фараон знал это, ибо голова его упала на грудь и лицо, только что пылавшее гневом, побелело. Таусерт прикрыла глаза рукой, как бы заслоняясь от какого-то зловещего видения, и даже Сети, казалось, было не по себе, словно это ужасное проклятие проникло в его сердце.

По знаку фараона визирь Нехези трижды ударил об пол своим жезлом и указал на дверь, дав этим традиционным жестом понять, что прием при дворе окончен, после чего все повернулись и ушли с поникшими головами, не говоря друг другу ни слова. Вскоре большой зал опустел, остались только сановники, стража и личные слуги фараона. Когда все ушли, Сети поднялся и поклонился фараону.

— О фараон, — сказал он, — соблаговоли выслушать меня. Мы слышали зловещие слова этих людей, слова, которые угрожают твоей божественной жизни, о фараон, и призывают проклятие на Нижние и Верхние Земли. Фараон, эти люди Израиля считают, что они страдают от несправедливостей и угнетения. Так дай мне, твоему сыну, бумагу за твоей подписью и печатью, по которой я получу право поехать в страну Гошен и расследовать это дело, а потом доложу тебе всю правду. Тогда, если тебе покажется, что с народом Израиля обходятся несправедливо, ты сможешь облегчить их бремя и свести проклятие их пророков на нет. Но если тебе покажется, что они говорят неправду, твои слова останутся в силе.

Слушая его, я, Ана, подумал, что фараон снова разгневается, но я ошибся, ибо когда он заговорил, у него был тон человека, подавленного скорбью или усталостью.

— Будь по-твоему, сын, — сказал он. — Только возьми с собой большой отряд солдат, чтобы эти горбоносые собаки не причинили тебе вреда. Я им не верю, они всегда были врагами Египта. Разве не были они в сговоре с варварами, которых я разбил в великой битве? А теперь они угрожают нам от имени своего диковинного бога. Все же пусть заготовят эту бумагу, а я приложу печать. Да, постой-ка. Мне кажется, Сети, ты по своей добросердечной натуре слишком мягко относишься к этим пастухам-



рабам. Поэтому я не пошлю тебя одного. С тобой поедет Аменмес, но подчиняться он будет тебе. Я сказал.

— Жизнь! Кровь! Сила! — сказали оба, показав таким образом, что приказание понято.

Ну, теперь все, — подумал я. Но не тут-то было. Фараон сказал:

— Пусть стража отойдет в конец зала и слуги тоже. Советники царя и члены семьи, останьтесь.

Немедленно все было исполнено. Я тоже хотел было удалиться, но принц удержал меня.

— Останься и запиши все, что произойдет.

Этот маленький эпизод не ускользнул от внимания фараона, хотя он и не слышал слов принца.

— Кто этот человек? — спросил он.

— Это Ана, мой личный писец и библиотекарь, о фараон, я ему доверяю. Именно он спас меня прошлой ночью.

— Ну, раз ты говоришь, сын, пусть остается при тебе, но знает, что если он предаст тебя, он умрет.

Таусерт, нахмурившись, посмотрела в нашу сторону, как будто собираясь что-то сказать. Но если и хотела, то, видимо, передумала и промолчала, ибо слово фараона не допускало ни возражений, ни изменений. Бакенхонсу тоже остался по праву советника фараона.

Когда все удалились, фараон, который некоторое время пребывал в задумчивости, поднял голову и заговорил медленно, но тоном человека, выносящего окончательное и бесповоротное суждение.

— Принц Сети, ты мой единственный сын от царицы Астнеферт из подлинно царского рода, которая ныне спит на груди Осириса. Правда, ты не перворожденный сын мой, поскольку Рамессу, — он показал на тучного добродушного человека с приятным, несколько глуповатым лицом, — старше тебя на два года. Но, как он хорошо знает сам, его мать, которая еще с нами, сирийского происхождения и не царской крови, и поэтому он не может сесть на египетский трон. Не так ли, сын Рамессу?

— Так, о фараон, — ответил Рамессу приятным голосом, — да я и не мечтаю сидеть на этом троне, я вполне доволен тем положением и богатством, которые фараон соблаговолил даровать мне как своему первенцу.

— Пусть эти слова сына моего Рамессу запишут и поместят в храме Птаха в этом городе и в храмах Птаха в Мемфисе и Амона в Фивах, — сказал фараон, — чтобы впредь никто не поставил их под сомнение.

Писцы фараона записали заявление Рамессу, и по знаку принца Сети я

тоже записал его, положив папирус, который захватил с собой, себе на колено. Когда с этим было покончено, фараон продолжал:

— Итак, принц Сети, ты — наследник Египта и, возможно, так говорили пророки Израиля, вскоре займешь мое место на этом троне.

— Да будет царь жить вечно! — воскликнул Сети. — Ибо ему хорошо известно, что я не ищу ни власти, ни почестей.

— Знаю, знаю, сын мой, — настолько, что даже хотел бы, чтобы ты больше думал о той власти и тех почестях, которые перейдут к тебе, если боги того пожелают. Если же они повелят иначе, то следующий на очереди твой двоюродный брат Аменмес, в ком тоже течет царская кровь как с отцовской, так и с материнской стороны, а кто после него, я не уверен, — вероятно, моя дочь и твоя сводная сестра, царственная принцесса Таусерт, госпожа Кемета.

Тут вмешалась Таусерт:

— О фараон, — сказала она очень серьезно и настойчиво, — несомненно, мое право наследования по древней традиции выше права моего двоюродного брата.

Аменмес хотел было возразить, но фараон поднял руку, и он промолчал.

— В этом разберутся ученые. Те, кто занимаются подобными делами, — ответил Мернептах с некоторым сомнением в голосе. — Молю богов, чтобы Совету никогда не пришлось рассматривать этот высокий вопрос. Тем не менее, пусть запишут слова принцессы. Так вот, принц Сети, — продолжал он, когда запись была сделана, — ты все еще не женат, и если у тебя есть дети, они не царской крови.

— У меня нет детей, о фараон, — сказал Сети.

— В самом деле? — равнодушно произнес Мернептах. — Я знаю, у Аменмеса есть дети, ибо я их видел, но они — не от его царственной жены Унирет.

Я услышал, как Аменмес пробормотал:

— Ничего удивительного, учитывая, что она — моя тетка. — Замечание, заставившее Сети улыбнуться.

— Моя дочь, принцесса, тоже не замужем. Так что может оказаться, что источник царской крови иссякнет.

— Вот оно, — прошептал Сети так тихо, что только я его услышал.

— Поэтому, — продолжал фараон, — как ты уже знаешь, принц Сети, ибо вчера вечером я послал царственную принцессу Египта сообщить тебе об этом, я повелеваю...

— Прости, о фараон, — прервал его принц, — моя сестра ничего не

говорила вчера вечером о твоём приказе; она сказала только, что сегодня утром я должен быть здесь.

— Потому что я не могла, Сети, застав тебя с посторонним человеком, которого ты отказался выслать. — И она остановила свой взгляд на мне.

— Неважно, — сказал фараон, — сейчас ты услышишь это из моих уст, что, пожалуй, и лучше. Я желаю, принц, чтобы ты, не откладывая, женился на принцессе Таусерт, дабы истинная кровь Рамсеса ожила в ваших детях. Услышь и повинуйся!

Таусерт перевела взгляд на Сети, пристально наблюдая за ним. Сидя сбоку от него на полу с разложенным на коленях папирусом, я тоже пристально следил за ним и заметил, что губы его побелели, а на лице появилось напряженное, странное выражение.

— Я слышал приказ фараона, — сказал он тихим голосом, склонив голову, и остановился.

— Хочешь что-нибудь добавить? — резко спросил фараон.

— Только одно, о фараон. Что, хотя этот брак продиктован интересами государства, он касается женщины, которая приходится мне сводной сестрой и привыкла любить меня, как родственника. Поэтому я хотел бы услышать из ее уст, хочет ли она взять меня в мужья.

Все взоры обратились к Таусерт, которая ответила холодным тоном:

— В этом деле, принц, как и во всех других делах, воля фараона — моя воля.

— Слышал? — сказал нетерпеливо Мернептах. — И поскольку в нашем роду всегда был обычай заключать браки между родственниками, почему бы это не было и ее желанием? Да и за кого еще ей выходить замуж? Аменмес уже женат. Остается только Саптах, ее брат, который моложе ее.

— Я тоже, — пробормотал Сети, — на два долгих года.

Но, к счастью, Таусерт его не слышала.

— Нет, отец мой, — решительно возразила она, — никогда калека не будет мне мужем.

Как бы в ответ на ее слова, из темного дальнего угла выступил молодой человек — вельможа небольшого роста со светлыми, как у Сети, волосами и острым умным лицом, напомнившим мне физиономию шакала (его и в самом деле прозвали за глаза Анубисом, по имени бога с головой шакала). Ковыляя, он приблизился к трону. Он был явно разгневан, ибо его щеки и маленькие глазки пылали.

— Должен ли я слушать, фараон, — сказал он тонким голосом, — как моя двоюродная сестра публично попрекает меня моей хромотой, которой

меня наградила нянька, уронив грудным ребенком?

— Значит, его нянька уронила и его деда, потому что у него тоже одна нога была короче другой, — прошептал старый Бакенхонсу, — могу это засвидетельствовать, ибо видел его нагишом, когда он лежал еще в колыбели.

— Видимо, так, Саптах, разве что ты зажмешь уши, — ответил фараон.

— Она говорит, что не выйдет за меня, — продолжал Саптах, — хотя я с детства был ее рабом и не думал ни об одной другой женщине

— По своей воле — никогда! — воскликнула Таусерт. — Молю тебя, Саптах, иди и стань рабом любой другой женщины.

— Но вот вам мое слово: придет день, когда она выйдет за меня замуж, ибо принц Сети не будет жить вечно.

— Откуда ты знаешь, Саптах? — спросил Сети. — Верховный жрец расскажет тебе другую историю.

Кое-кто из присутствующих отвернулся, чтобы спрятать невольную усмешку. И однако в этот день устами Саптаха говорил некий бог, превратив его на миг в пророка; ибо через год она действительно вышла за него замуж, лишь бы удержаться на троне в смутную пору, когда Египет не потерпел бы, чтобы женщина одна управляла страной.

Но фараон не улыбался, как некоторые из придворных. Напротив, он рассердился.

— Уймись, Саптах! — сказал он. — Кто ты такой, что смеешь пререкаться в моем присутствии и говорить о смерти царей и о том, что ты женишься на принцессе? Еще одно такое слово, и ты отправишься в изгнание. А теперь слушайте все. Я почти склоняюсь к тому, чтобы объявить мою дочь, царственную принцессу, единственной наследницей трона, ибо вижу в ней больше силы и мудрости, чем в ком-либо другом из моего рода.

— Если такова воля фараона, пусть будет, как хочет фараон, — смиренно сказал Сети. — Я вполне сознаю, что недостоин столь высокого положения, и клянусь всеми богами, что моя возлюбленная сестра не найдет более верного подданного, чем я.

— Ты хочешь сказать, Сети, — прервала его Таусерт, — что ты охотнее откажешься от своего права на двойную корону, чем жениться на мне? Поистине, я польщена. Сети, кто бы из нас ни царствовал, я не выйду за тебя замуж.

— Какие слова я слышу! — вскричал Мернептах. — Есть ли в этой стране хоть один, кто посмеет сказать, будто можно ослушаться приказа

фараона? Запишите, писцы, а вы, чиновники, объявите народу от Фив до самого моря, что через три дня ровно в полдень в храме Хатхор в этом городе принц и царский наследник Сети Мернептах, Любимец Ра, женится на царственной принцессе Египта, Лилии любви, Любимице Хатхор, Таусерт, что приходится дочерью мне — богу.

— Жизнь! Кровь! Сила! — вскричал весь двор.

Затем какой-то высокопоставленный сановник подвел принца Сети к трону, а другой подвел к нему принцессу Таусерт, так что оба оказались рядом, вернее — лицом друг к другу. По старинному обычаю принесли золотую чашу и наполнили ее красным вином — оно напомнило мне кровь. Таусерт взяла чашу и, опустившись на колени, передала ее принцу, который отпил из нее и вернул ее принцессе, чтобы она также отпила вина в знак торжественного обручения. Не та ли сцена выгравирована на широких браслетах из золота, которые впоследствии Сети надевал, сидя на троне, — те же самые браслеты, которые я еще позже надел своими руками на запястья мертвой Таусерт.

Потом Сети протянул руку, и Таусерт коснулась ее губами, а он, наклонившись, поцеловал ее в лоб. Наконец фараон, спустившись на последнюю ступеньку трона, дотронулся скипетром сперва до головы принца, потом до головы принцессы, благословляя их обоих от своего имени, от имени своего *Ка*, или двойника, и от имени духов и *Ка* всех предков, царей и цариц Кемета, утверждая таким образом их право наследовать ему после того, как он отойдет в лоно богов.

Закончив обряд, он торжественно удалился, сопровождаемый толпой придворных, в то время как его телохранители шли впереди и позади него. Он опирался на руку принцессы Таусерт, которую любил больше всех на свете.

Некоторое время спустя я стоял наедине с принцем в его комнате, в которой увидел его впервые.

— Вот все и кончено, — произнес он веселым тоном, — и скажу тебе, Ана, что я совершенно счастлив. Тебе когда-нибудь случалось дрожать от холода на берегу реки в зимнее утро, боясь зайти в воду, а потом, когда ты наконец входил, не испытывал ли ты удовольствия, чувствуя, что ледяная вода освежает тебя и тебе уже не холодно, а жарко?

— Да, принц. Вот когда выходишь из воды и дует ветер и нет солнца — тогда тебе еще холоднее, чем было вначале.

— Верно, Ана. И поэтому не следует выходить из воды. Нужно оставаться там, пока не утонешь или пока тебя не сожрет крокодил, но скажи, я хорошо держался?

— Старый Бакенхонсу сказал мне, принц, что он присутствовал при многих царских обручениях — кажется, он упомянул одиннадцать — и не помнит ни одного, которое прошло бы с таким достоинством и тактом. Он сказал также, что то, как ты поцеловал в лоб ее высочество, было совершенством, как и все твоё поведение после первого твоего возражения.

— И таким бы оно и осталось, Ана, если бы меня не заставили делать нечто большее, чем поцеловать ее в лоб, — ведь к этому я привык с детства. О, Ана, — добавил он почти со стоном, — ты уже становишься таким же придворным, как все они, придворным, который не может сказать правду. Впрочем, я ведь тоже не могу, так зачем же упрекать тебя? Расскажи мне еще раз о твоей женитьбе, Ана, о том, как все началось и чем кончилось.

## V . Пророчество

Не знаю, виделся ли снова принц Сети с Таусерт до свадьбы, ибо он никогда не говорил со мной на эту тему. Да меня и не было там при этом событии: мне было позволено вернуться в Мемфис, чтобы устроить свои дела и продать дом, поскольку я был назначен личным писцом его высочества. Так прошло целых четырнадцать дней после обряда обручения, прежде чем я снова оказался перед входом во дворец принца. Меня сопровождал слуга, который вел осла, нагруженного всеми моими рукописями и другим имуществом, которое перешло ко мне от моих предков. Прием, оказанный мне на этот раз, был совсем иным, нежели при первом моем появлении. Не успел я подняться на ступени, как появился старый камергер Памбаса, сбегав вниз мне навстречу с такой поспешностью, что его белые одежды и борода пришли в некоторый беспорядок.

— Привет тебе, высокоученый писец, высокочтимый Ана, — проговорил он, задыхаясь. — Очень рад видеть тебя, ибо его высочество каждый час спрашивает, не вернулся ли ты, и бранит меня за то, что тебя еще нет. Поистине, задержишься ты в пути еще на один день, он послал бы меня на поиски, — я и так выслушал немало резких слов за то, что не послал с тобой охрану, — как будто визирь Нехези оплатил бы хоть одного стражника без специального приказа фараона. О, светлейший Ана, удели мне хоть частицу чар, которыми ты, несомненно, завоевал любовь нашего царственного господина, и я хорошо заплачу тебе за это.

— С удовольствием, Памбаса. Вот секрет! Пиши лучшие рассказы, чем пишу я, вместо того, чтобы пересказывать их, и он полюбит тебя больше, чем меня. Но скажи — как прошла свадьба? Я слышал, что все было великолепно.

— Великолепно? Как будто бог Осирис снова венчался с богиней Исидой в небесных чертогах. Его высочество, жених, был одет так же, как бог, — да, в одеждах и священных украшениях Амона. А процессия! А пир, который устроил фараон! Принц был так переполнен радостью и всем этим великолепием, что еще до конца торжества я заметил, что он сидит с закрытыми глазами, ослепленный блеском золота и бриллиантов и красотой своей невесты. Он сам мне сказал об этом, чтобы я не подумал, будто он спит. А потом раздавали подарки, каждому из нас соответственно положению. Я получил... Ну, это неважно. И знаешь, Ана, я не забыл и про

тебя. Зная, что все кончится еще до твоего возвращения, я шепнул твое имя на ухо его высочеству, предложив сохранить для тебя твой подарок.

— В самом деле, Памбаса? И что он сказал?

— Сказал, что отдаст тебе его сам. Когда же я удивился, ничего не видя у него в руках, он добавил: «Вот он», — и показал на кольцо небольшой ценности с гравированной надписью «Любимец Тота и Царя». Мне кажется, он просто хочет снять его, чтобы надеть другое, гораздо красивее, которое подарила ему ее высочество.

Тем временем рабы разгрузили и увели осла. Мы прошли через передний зал, где как всегда было много людей, во внутренние покои дворца.

— Сюда, — сказал Памбаса. — Мне приказано провести тебя к принцу, где бы он ни был, а он сейчас сидит с ее высочеством в переднем зале, где они принимали поздравления посланцев из дальних городов. Последние отбыли с полчаса назад.

— Но сперва я должен переодеться, почтеннейший Памбаса, — начал было я.

— Нет, нет, приказано срочно, я не смею ослушаться. Входи же, — и он эффектно, но учтиво отдернул дорогой занавес.

— Клянусь Амоном, — услышал я усталый возглас и сразу узнал голос принца, — еще какие-нибудь сановники или жрецы. Приготовься, сестра, приготовься!

— Прошу тебя, Сети, — ответил другой голос, голос Таусерт, — приучись называть меня надлежащим именем. Я ведь уже не сестра тебе, к тому же я сводная сестра.

— Прошу прощения, — сказал Сети. — Приготовься, Царственная Супруга, приготовься!

Теперь занавес был полностью открыт, но я стоял, не решаясь переступить порог, пыльный с дороги, растерянный и, сказать по правде, слегка дрожащий от страха перед ее высочеством. Мне видна была великолепная комната, полная света, в центре ее на одном из двух поставленных рядом стульев, украшенных резьбой и золотом, сидела в пышном одеянии ее высочество, безупречно прекрасная и спокойная. Она сосредоточенно рассматривала раскрашенный свиток, оставленный, очевидно, последними посланцами, ибо другие подобные свитки были аккуратно сложены на столе.

Второй стул был свободен, ибо принц беспокойно ходил взад и вперед по комнате; его парадный наряд был в некотором беспорядке, золотая повязка с уреем сдвинулась со лба, потому что принц имел привычку



взъерошивать в задумчивости волосы. Поскольку я стоял в тени занавеса, где Памбаса меня оставил, меня не видели, и разговор продолжался.

— Я-то готова, муж мой. А вот ты, прости меня, выглядишь не так, как должно. Почему ты отослал писцов и приближенных до того, как церемония закончилась?

— Потому что они утомили меня, — сказал Сети, — своими непрерывными поклонами, восхвалениями и формальностями.

— Не вижу в них ничего особенного. А теперь придется вернуть их обратно.

— Кто там? Входите! — крикнул принц.

Тогда я вошел и простерся перед ним ниц.

— Как! — воскликнул он. — Это Ана! Вернулся из Мемфиса! Подойди поближе, Ана, и тысячу раз добро пожаловать. Знаешь, я ведь принял тебя за какого-нибудь жреца или правителя какого-нибудь нома, о котором я никогда не слышал.

— Ана! Какой Ана? — спросила принцесса. — Ах да, тот самый писец. Сразу видно, что он вернулся из Мемфиса, — и она окинула взглядом мою пыльную одежду.

— Царственная принцесса, — пробормотал я в замешательстве, — не брани меня за то, что я предстаю перед тобой в таком виде. Памбаса привел меня сюда против моей воли по приказу принца.

— Это верно? Скажи, Сети, этот человек принес важные вести из Мемфиса, раз ты так спешил его увидеть?

— Да, Таусерт, по крайней мере так мне кажется. Твои записи в порядке и при тебе, Ана?

— В полном порядке, принц, — ответил я, хотя и не знал, о каких записях он говорит, разве что о моих рукописях.

— В таком случае, мой господин, я не буду мешать тебе заниматься вестями из Мемфиса и его записями, — сказала принцесса.

— Да, да. Мы должны поговорить о них, Таусерт. А также о миссии в страну Гошен, куда Ана отправляется со мной завтра.

— Завтра! Но ведь только сегодня утром ты сказал, что выезжаешь через три дня.

— В самом деле, сестра — то есть, жена? Значит, я просто не был уверен, успеет ли Ана вернуться из Мемфиса. Ведь он должен сопровождать меня в моей колеснице.

— Писец — в твоей колеснице? Право же, было бы уместнее, чтобы с тобой ехал твой двоюродный брат Аменмес.

— К Сету Аменмеса! — воскликнул он. — Как будто ты не знаешь

Таусерт, что мне противен этот человек с его хитрой, но пустой болтовней.

— Вот как! Прискорбно слышать. Потому что, уж если ты кого-то ненавидишь, ты не умеешь этого скрыть, а Аменмес может быть опасным врагом. Ну, ладно, если не Аменмес (которого я, кстати сказать, ненавижу), то есть еще Саптах.

— Благодарю покорно. Я не сяду в одну колесницу с шакалом.

— С шакалом! Я не люблю Саптаху, но назвать отпрыска царской крови шакалом! Ну, наконец, есть визирь Нехези или начальник эскорта — забыла его имя.

— Не думаешь ли ты, Таусерт, что я жажду побеседовать об экономике государства с этим старым денежным мешком или слушать хвастливые рассказы полубразованного нубийского мясника о подвигах, которых он не совершал?

— Не знаю, муж мой. Но о чем ты будешь говорить с этим Аной?! О стихах и о всяких глупостях, я думаю. Или, может быть, о Мерапи, Луне Израиля, которую, как я понимаю, вы оба считаете красавицей. Ну, в общем, делай как хочешь. Ты говорил, что я не должна сопровождать тебя в этой поездке, — я, твоя молодая жена, а теперь, оказывается, ты хочешь взять вместо меня какого-то сочинителя рассказов, которого подобрал всего несколько дней назад, — твоего близнеца в боге Ра! Счастливого пути, мой господин! — И она поднялась со стула, оправляя обеими руками свои пышные одежды.

Теперь рассердился Сети.

— Таусерт, — сказал он, топнув ногой, — тебе не следовало говорить такие слова. Ты прекрасно знаешь, что я не беру тебя с собой потому, что поездка может быть опасной. Более того, так хочет фараон.

Она обернулась и сказала с холодной учтивостью:

— Ну, тогда прости, и спасибо за трогательную заботу о моей безопасности. Я не знала, что эта миссия может быть опасной. Так ты последи, Сети, чтобы с писцом Аной не случилось ничего плохого.

С этими словами она поклонилась и исчезла за занавесом.

— Ана, — сказал Сети, — сосчитай, а то у меня не получится так быстро, сколько минут осталось до четырех часов завтрашнего утра, когда я велю подать мою колесницу? И еще: ты не знаешь, можно ли уехать через Сирию? А если нет, то через пустыню в Фивы и вниз по Нилу весной?

— О мой принц, мой принц! — сказал я. — Молю тебя, отпусти меня совсем. Позволь мне куда угодно уйти, лишь бы подальше от языка ее высочества.

— Странно, как одинаково мы обо всем думаем, даже о Мерапи и о

языках царственных дам. Слушай мой приказ: никуда ты не уйдешь. Если встанет вопрос об уходе, то первыми уйдут другие. Больше того, ты и не можешь уйти, ты должен остаться и нести свое бремя, как я несу свое. Вспомни разбитую чашу, Ана.

— Я помню, мой принц, но лучше бы меня высекли розгами, чем такими словами, как те, что я должен выслушивать.

Однако в эту же ночь, после того как я оставил принца, мне суждено было выслушать более приятные слова от той же самой изменчивой, а может быть — очень хитрой царственной дамы. Она прислала за мной, и я пошел, мучаемый страхом. Я застал ее одну в маленькой комнате; правда, в другом конце комнаты сидела старая придворная дама, но она была явно глухая, что, возможно, и было причиной, почему выбор пал на нее. Таусерт очень учтиво пригласила меня сесть против нее и обратилась ко мне со следующими словами — не знаю, говорила ли она перед этим с принцем или нет.

— Писец Ана, прошу простить меня, если сегодня, от усталости или в раздражении, я сказала тебе и про тебя то, о чем сейчас жалею. Я знаю, ведь ты, в ком течет благородная кровь Кемета, не разгласишь то, что слышал в этих стенах.

— Я скорее дам отрезать себе язык, — сказал я.

— Видимо, писец Ана, мой повелитель-принц проникся большой к тебе любовью. Как и почему это вдруг случилось — ведь ты не женщина — мне непонятно, но я уверена, что раз это так, значит в тебе есть что-то такое, за что можно любить тебя, ибо я никогда не видела, чтобы принц проявлял столь глубокое уважение к человеку, который бы не был благородным и достойным. При таком положении вещей совершенно ясно, что ты станешь любимцем его высочества, человеком, которому поверяют свои думы, и что он будет высказывать тебе самые сокровенные мысли, может быть даже такие, которые он скрывает от советников фараона и даже от меня. Короче говоря, ты станешь влиятельным человеком в стране, может быть даже самым могущественным — после фараона — хотя с виду останешься только личным писцом.

Не стану притворяться, будто мне этого хотелось бы, — я бы хотела, чтобы у моего мужа был только один настоящий советчик — я сама. Но видя, как обстоят дела, я склоняю голову и надеюсь, что это все к лучшему. Если когда-нибудь, поддавшись ревности, я скажу тебе что-нибудь резкое, как сегодня, прошу тебя заранее простить меня за то, что еще не случилось. Прошу тебя, писец Ана, постарайся сделать все возможное, чтобы благотворно влиять на принца, — ведь он так легко идет за теми, кого

любит. И пожалуйста, — ты ведь умный и вдумчивый, — вникни в государственные дела и в интересы нашего царственного дома, чтобы направлять принца по верному пути, если он обратится к тебе за советом. А если будет нужно, приходи ко мне, и я объясню все, что тебе покажется непонятным.

— Я сделаю все, что в моих силах, о принцесса, — хотя кто я такой, чтобы прокладывать дорогу, по которой должны ступать цари? И потом, я думаю, что при всей мягкости его натуры принц такой человек, который, в конечном итоге, всегда сам выбирает свой путь.

— Может быть, ты и прав, Ана. Во всяком случае, спасибо тебе. И поверь, что во мне ты всегда найдешь не врага, а друга, хотя по вспыльчивости своей натуры я не всегда владею собой, и это могло бы навести тебя на иные мысли, а теперь я скажу тебе еще одну вещь, только пусть это будет между нами. Я знаю, что принц любит меня скорее как друга и сестру, чем как жену, и что сам он никогда бы не подумал жениться на мне — что, может быть, и естественно. Знаю и то, что в его жизни будут и другие женщины, хотя возможно их будет меньше, чем у большинства царей, потому что понравиться ему довольно трудно. Я не жалею, ибо таков обычай нашей страны. Я боюсь только одного — что какая-нибудь женщина перестанет быть его игрушкой, завладеет его сердцем и полностью подчинит его себе. В этом, Ана, я прошу твоей помощи, как и в других делах, ибо я хотела бы во всех отношениях, а не только по имени быть владычицей Кемета.

— О принцесса, как же я могу сказать принцу — «Люби ту или другую женщину лишь настолько — и не больше»? И почему ты боишься того, чего нет и возможно никогда не случится?

— Я и сама не знаю, как ты это скажешь ему, писец, но все-таки прошу тебя — скажи, если сможешь. А почему я боюсь? Потому что мне кажется, будто на меня падет холодная тень какой-то женщины и воздвигнет черную стену между его высочеством и мной.

— Это всего лишь мнительность, о принцесса.

— Может быть. Надеюсь, что так. И все же думаю иначе. О, Ана, неужели ты, изучивший сердца мужчин и женщин, не можешь понять мое положение? В замужестве я не могу надеяться, что меня будут любить как других женщин, — я жена и все же не жена. Я вижу, ты думаешь: зачем же тогда ты вышла замуж? Что ж, я уже столько тебе рассказала, что скажу и об этом. Во-первых, потому что принц совсем не такой, как другие мужчины, и по-своему выше их, — да, намного выше любого, за кого я, наследная принцесса Египта, могла бы выйти замуж. Во-вторых, если мне

не суждено быть любимой, что мне остается, кроме честолюбия? По крайней мере, я хотела бы стать великой царицей и вызволить мою страну из пучины бед, в которую она погрузилась, и написать свое имя в книгах истории, а это я могла бы сделать, только взяв в мужа наследника фараона, как велит мне мой долг.

Она задумалась и потом добавила:

— Ну вот, я раскрыла тебе все мои мысли. Насколько это мудро, знают одни боги и покажет время.

— О принцесса, — сказал я, — благодарю тебя за доверие. Постараюсь помочь тебе, если смогу, но я смущен. Я, скромный человек, хотя и благородной крови, который еще совсем недавно был всего лишь писцом и ученым, мечтатель, познавший горе утрат, внезапно волей случая или божественным велением вознесен до дружеского расположения наследника Египта и, кажется, завоевал даже твое доверие. Как мне вести себя в этом новом положении, к которому я воистину никогда не стремился?

— Не знаю, у меня самой достаточно сложностей и огорчений. Но несомненно, божественное веление, о котором ты говоришь, предопределило и то, чем все это кончится. А пока хочу сделать тебе подарок. Скажи, писец, ты когда-нибудь владел каким-нибудь оружием, кроме пера?

— Да, принцесса, еще мальчиком я научился владеть мечом. Кроме того, хотя я и не люблю войн и кровопролития, несколько лет назад я сражался в великой битве против варваров, когда фараон призвал молодых людей Мемфиса выполнить свой долг. В честном поединке я убил двоих собственными руками, хотя один из них чуть меня не прикончил. — И я показал шрам, который просвечивал сквозь мои седые волосы в том месте, куда угодило вражеское копье.

— Это хорошо. Я больше люблю солдат, чем марателей папируса.

Подойдя к шкафу из раскрашенных камней, она достала из него удивительную рубашку, сплетенную из бронзовых колец, и кинжал, тоже из бронзы, с золотой рукояткой, которая заканчивалась изображением львиной головы, и подала их мне, говоря:

— Это трофеи, которые мой дед, Рамсес Великий, захватил, сражаясь в молодости с принцем Хитой, — он убил Хиту своими руками в той самой битве в Сирии, о которой твой дед сочинил стихи. Носи эту кольчугу, которую не пробьет ни одно копье, под своей одеждой. А этим кинжалом опояшешься, когда вы окажетесь среди израильтян, — я им не верю. Я и принцу дала такую же кольчугу. Вмени себе в обязанность следить, чтобы

он носил ее днем и ночью. Пусть твоей обязанностью будет также защищать его при необходимости этим кинжалом. А теперь прощай.

— Пусть все боги прогонят меня из Полей Иалу, если я обману твое доверие, — ответил я и удалился, дивясь обороту событий и надеясь хоть немного поспать. Однако вышло так, что эта возможность представилась мне лишь спустя некоторое время.

Ибо, пройдя по коридору вслед за одной из служанок, кого я увидел в конце его, как не Памбасу, который поджидал меня, чтобы сообщить, что принцу необходимо мое присутствие. Я спросил, возможно ли это, ведь он сам отослал меня на ночь. Памбаса ответил, что знает только одно: ему приказано провести меня в комнату принца, ту самую, где я впервые увидел его высочество. Туда я и явился и нашел там принца, который грелся у очага, ибо ночь была холодная. При виде нас он велел Памбасе отослать прочь всех слуг, потом, заметив у меня в руках бронзовую кольчугу и кинжал, точнее короткий меч, сказал:

— Ты был у принцессы, не правда ли, и она имела с тобой долгий разговор. Догадываюсь, о чем, я ведь знаю ее повадки с самого детства. Она велела тебе следить за мной, истинная правда, включая тело и душу и все, что исходит от души, — о, и многое другое. Она дала тебе эти сирийские трофеи, чтобы ты их носил, когда мы будем среди израильтян, — она и мне их вручила, она такая осторожная и предусмотрительная! А теперь слушай, Ана. Мне очень жаль лишать тебя отдыха, ведь ты устал с дороги и от всех этих разговоров, но нас ждет старый Бакенхонсу, которого ты знаешь, а с ним великий маг Ки, по-моему, ты его еще не видел. Это человек удивительных знаний, и в некотором смысле в нем есть даже что-то нечеловеческое. По крайней мере он совершает странные акты волшебства, и временами кажется, что его взору открыты и прошлое и будущее, — хотя кто знает, правильно ли он их видит, ведь мы не знаем ни того ни другого. Несомненно, он несет — или думает, что несет, — мне какую-то весть, ниспосланную небом, и я подумал, что ты тоже захочешь ее услышать.

— Очень хочу, принц, если я этого достоин и если защитишь меня от гнева этого чародея, — его я боюсь.

— Иногда гнев переходит в доверие, Ана. Разве ты только что не испытал этого в случае с ее высочеством? Я же говорил тебе, что это может случиться. Тише. Они идут. Садись и приготовь свои волшебные дощечки, чтобы записать то, что они скажут.

Занавеси раздвинулись, и вошел престарелый Бакенхонсу, опираясь на свой посох, а за ним другой человек, сам Ки, в белом одеянии и с бритой

головой, ибо он был наследственным жрецом храма Амона в Фивах и посвящен в таинства Исида. Кроме того, он занимал должность *керхеба*, или главного мага Кемета. На первый взгляд в этом человеке не было ничего необычного. Напротив, по внешности его легко было бы принять за пожилого купца; он был тучен и низкого роста, с ожиревшим и улыбающимся лицом. Но на этом веселом лице очень странными казались его глаза, скорее серые, чем черные. В то время как лицо словно улыбалось, эти глаза смотрели в пустоту, в ничто, как смотрят глаза статуи. Они и в самом деле напоминали глаза или, скорее, глазницы каменной статуи — так глубоко они были посажены. Я лично могу только сказать, что они вызывали во мне благоговейный ужас, и я решил, что кем бы Ки ни был, во всяком случае он не шарлатан.

Эта странная пара поклонилась принцу и по его знаку каждый сел — Бакенхонсу на стул, так как ему трудно было бы потом встать, а Ки, который был моложе, — на пол в позе писца.

— Ну, что я тебе говорил, Бакенхонсу? — произнес Ки звучным глубоким голосом, закончив фразу странным смешком.

— Ты сказал мне, маг, что я найду принца именно в этой комнате, которую, как я теперь вижу, ты описал во всех подробностях, хотя мы никогда тут не были. А еще ты сказал, что здесь будет писец Ана, — он будет сидеть на полу, имея при себе воощенные дощечки и стило — палочку для письма, и странную рубашку из бронзовой сетки, и меч с рукояткой в виде льва.

— Как странно, — произнес принц, — но прости меня, если я скажу, что Бакенхонсу видит все эти вещи. Если бы ты, о Ки, сказал нам, что написано на дощечках Аны, то есть чего никто из нас не может видеть, это было бы еще более странным, — если, конечно, на них что-нибудь написано.

Ки усмехнулся и устремил глаза в потолок. Спустя мгновение он сказал:

— Писец Ана пользуется собственным кодом, расшифровать его нелегко. И все-таки я вижу, что там написана сумма, полученная им за какой-то дом в каком-то городе, который не назван. Также — сумма, которую он уплатил за себя, за слугу и за корм для осла на каком-то постоялом дворе, где останавливался во время путешествия. Столько-то и столько-то. Кроме того, там есть перечень свитков папируса и слова «синий плащ», а потом что-то стерто.

— Это верно, Ана? — спросил принц.

— Совершенно верно, — ответил я в страхе, — только слова «синий

плащ», записанные на дощечке, я потом тоже стер.

Ки усмехнулся и перевел взгляд с потолка на мое лицо.

— Может быть, твое высочество пожелает, чтобы я сказал что-нибудь из того, что написано на дощечках его памяти, а не только на воцеленных дощечках, которые он держит в руке? Их-то расшифровать легче, чем другие, и я вижу на них много интересного. Например, слова, которые, видимо, были сказаны ему по секрету одной высокой особой час тому назад, слова государственного значения, как я думаю. Или определенное высказывание — по-моему, твоего высочества, насчет того, как холодная дрожь, которая охватывает стоящего на берегу реки в холодный день, переходит в ощущение теплоты, когда тот входит в воду, — и ответ на это высказывание. Или слова, произнесенные в этом дворце, когда была разбита алебастровая чаша. Кстати, писец, ты выбрал очень удачное место, чтобы спрятать свою половинку разбитой чаши, — в ящике с двойным дном, который стоит в твоей комнате; этот ящик обвязан шнурком и запечатан скарабеем времен Рамсеса. Думаю, что вторая половинка чаши немного ближе. — И повернувшись, он посмотрел на стену, где я не видел ничего, кроме алебастровых плит.

Я сидел, открыв рот от изумления, ибо как мог этот человек узнать про все эти вещи? А принц засмеялся и сказал:

— Ана, я начинаю думать, что ты плохо держишь доверенные тебе секреты. По крайней мере, я бы так подумал, если бы не то, что у тебя просто не было времени передать кому-либо слова принцессы. И что ты едва ли знаешь трюк со скользящей панелью в этой стене — ведь я никогда не показывал тебе этот тайник.

Ки снова усмехнулся, и даже на широком морщинистом лице Бакенхонсу появилась улыбка.

— О принц, — начал я, — клянусь тебе, что я никогда не обмолвился ни одним словом.

— Знаю, друг, — прервал меня принц, — но, очевидно, есть другие, кому не нужно слов, ибо они умеют читать Книгу Мыслей. Поэтому лучше не встречаться с ними слишком часто, поскольку все люди имеют мысли, которые должны быть известны только им да богам. Маг, с чем ты пришел ко мне? Говори, как если бы мы были одни.

— Хорошо, принц. Ты отправляешься в страну к израильтянам — об этом уже все прослышали. Так вот, Бакенхонсу и я, любя тебя и зная, как много значит для Кемета твое благополучие, а также еще два ясновидца из моей школы, независимо друг от друга, постарались проникнуть в будущее и узнать, чем кончится твое путешествие. Хотя то, что мы узнали, разнится



в деталях, но в основном оно совпадает. Поэтому мы сочли своим долгом рассказать тебе то, о чем мы узнали.

— Продолжай, керхеб.

— Итак, первое: жизни твоего высочества угрожает опасность.

— Жизни всегда угрожает опасность, Ки. Я с ней расстанусь? Если так, не бойся, скажи прямо.

— Этого мы не знаем, но думаем, что нет, судя по остальному, что нам известно. Мы узнали, что тебе грозит не только телесная опасность. Во время своей поездки ты встретишь женщину, которую полюбишь. Мы думаем, что эта женщина принесет много горя, а также много радости.

— Тогда, пожалуй, стоит туда поехать, Ки, ведь многие едут гораздо дальше. Скажи, я встречал эту женщину?

— Здесь мы несколько смущены, принц, ибо нам кажется, если, конечно, мы не обманываемся, что ты встречал ее, и не раз; что ты знаешь ее уже тысячи лет, так же как я этого человека, что сидит сейчас рядом с тобой.

Лицо Сети выражало глубокий интерес.

— Что ты имеешь в виду, маг? — спросил он, впиваясь в него взглядом. — Как могу я, человек еще молодой, знать женщину или мужчину тысячи лет?

Ки сосредоточенно посмотрел на него своими странными глазами и ответил:

— У тебя много имен, принц. Но есть одно из них — Вновь Возрождающийся?

— Да, это так. Не знаю, что это значит, но меня назвали так из-за какого-то сна, который приснился моей матери перед моим рождением. Это ты должен сказать мне, что это значит, поскольку ты так много знаешь.

— Не могу, принц. Эта тайна — не из тех, что мне открыты. Однако был один старик, тоже маг, как и я, у которого я в молодости многому научился, — Бакенхонсу хорошо знал его. Он говорил мне, — потому что ему это открылось — что люди не живут только один раз, чтобы потом навеки уйти из жизни. Он сказал, что они живут много раз и во многих формах и образах, хотя и не всегда в этом мире, и что каждая из жизней отделена от другой стеной тьмы.

— Но если это так, какой толк в жизнях, которые мы не помним, когда смерть закрывает дверь за каждой из них?

— В конце концов двери могут открыться, принц, и мы увидим всю анфиладу, через которую прошли, от самого начала до самого конца.

— Наша религия, Ки, учит нас, что после смерти мы вечно будем жить

в нашей собственной плоти, которую мы обретаем в день Воскресения. А вечность, не имея конца, не может иметь и начала — это круг. Поэтому если верно одно, то есть — что мы продолжаем жить, то, очевидно, должно быть верно и другое, то есть, что мы всегда жили.

— Ты хорошо рассуждаешь, принц. В старые времена, еще до того, как жрецы заключили человеческую мысль в каменные блоки и построили на них святилища для тысячи богов, многие считали такое рассуждение правильным, ибо тогда они считали, что есть только один бог.

— Как считают эти израильтяне, которых я собираюсь посетить. Что ты скажешь об их боге, Ки?

— Что он и наши боги — одно и то же, принц. В глазах людей бог имеет много лиц, и каждый клянется, что тот бог, которого видит он, — единственный истинный бог. Однако они ошибаются, ибо все боги — истинны.

— А может быть, ложны, Ки, — разве что даже ложь есть часть истины. Ну, ладно. Ты сказал мне о двух опасностях: одна угрожает моему телу, другая — сердцу. Может быть, твоей мудрости открыта еще какая-нибудь третья?

— Да, принц. Третья опасность в том, что эта поездка может в конце концов стоить тебе трона.

— Если я умру, я, конечно, потеряю трон.

— Нет, принц, — если ты будешь жить.

— Даже если так, Ки, я мог бы, думаю, вынести жизнь, занимая и более скромное место, чем трон. Другое дело, вынесла ли бы такую жизнь ее высочество. Так ты говоришь, что, если я поеду в страну Гошен, фараоном буду не я, а другой.

— Мы не говорим этого, принц. Верно, что наше искусство явило нам другого на твоём месте — это будет время проклятий и чудес, и гибели тысяч людей. Но когда мы смотрим еще раз, мы видим не другого, а тебя — ты снова занимаешь это место.

Тут я, Ана, вспомнил о видении, которое явилось мне в зале фараона.

— Это даже хуже, чем я думал, Ки, ибо расставшись с короной, я бы наверно не захотел надеть ее снова, — сказал Сети. — Кто показывает вам все эти вещи и как?

— Наши *Ка* — наши тайные *Я*, о принц. Они показывают нам эти вещи многими способами. Иногда через сны и видения, иногда — в виде картин на поверхности воды, а иногда в письменах на песке пустыни. Всеми этими способами и множеством других наши *Ка*, черпая из бесконечного источника мудрости, который скрывается в существе всякого

человека, позволяют нам улавливать проблески истины, так же как они даруют нам, посвященным, способность творить чудеса.

— Проблески истины. Значит, все, о чем ты говорил мне, истинно?

— Мы так полагаем, принц.

— И будучи истинным, должно свершиться. Так какой же смысл предупреждать меня о том, что должно свершиться? Двух истин быть не может. Что я, по-вашему, должен делать? Отказаться от этой поездки? Почему вы сказали, что я должен ехать, — ведь если бы я не поехал, истина стала бы ложью, а это невозможно. Вы говорите мне, что мое путешествие предопределено свыше и что, если я поеду, свершится то-то и то-то. И однако велите мне не ехать, ибо именно таков смысл ваших речей. О керхеб Ки и Бакенхонсу, вы, несомненно, великие маги и мудрецы, но есть более великие, чем вы, и они правят миром, и есть мудрость, перед которой ваша мудрость — лишь капля воды перед Сихором. Благодарю вас за предостережение, но завтра утром я еду в страну Гошен выполнить приказ фараона. Если я вернусь, мы поговорим об этих вопросах более подробно здесь, на земле. Если не вернусь, — кто знает? — возможно, мы побеседуем о них о в другом месте. Прощайте.

## VI. Страна Гошен

Принц Сети и вся его свита — весьма большая компания — благополучно прибыли в страну Гошен; я, Ана, ехал с ним в его колеснице. Тогда, как и теперь, это была плодородная земля, совершенно ровная за последней цепью пустынных холмов, меж которыми мы проехали по узкой извилистой тропе. Повсюду эта земля орошалась каналами, а между ними расстилались только что засеянные хлебные поля. Были и другие поля, покрытые зелеными травами, на которых пестрели сотни животных, стреноженные или на привязи, а на более сухих местах паслись стада овец. Город Гошен — если его можно так назвать — оказался неприглядным скоплением построенных из ила хижин, в центре стояло здание, тоже из ила, с двумя кирпичными колоннами перед фасадом; нам сказали, что это храм и что лишь верховный жрец может входить в него, точнее в его внутреннее святилище. При виде этого храма я засмеялся, но принц упрекнул меня, сказав, что нельзя судить о духе по его телу или о боге по его дому.

Мы разбили лагерь за чертой этого города и вскоре узнали, что его население, как и население любых других городов, насчитывает не менее десятка тысяч, ибо посмотреть на нас стекалось больше народу, чем я мог сосчитать. У мужчин были свирепые глаза и носы с горбинкой; молодые женщины отличались хорошими фигурами и привлекательной внешностью; женщины постарше выглядели толстыми и неуклюжими в своем большинстве; дети были чрезвычайно красивы. Все были облачены в грубоватые широкие одеяния из неплотно сотканной материи темного цвета, под которыми женщины носили еще одежду из белого льняного полотна. Несмотря на обилие хлебов и скота, какое мы видели вокруг, украшения этих людей выглядели весьма скудно, а может быть, их просто припрятали подальше от наших глаз.

Легко было заметить, что они ненавидят нас, египтян, и даже дерзают презирать нас. Ненависть сверкала в их блестящих глазах, и я услышал, как они называли нас между собой идолопоклонниками и спрашивали, где же наш бог — бык, ибо в своем неведении они считали, что мы поклоняемся Апису (как, возможно, и делают некоторые люди из простонародья), тогда как мы смотрим на это священное животное как на символ могучих сил Природы. Они дерзнули даже на большее: в первую ночь после нашего прибытия они убили быка, напоминающего по масти Аписа, и утром мы

обнаружили его близ ворот лагеря, а на нем — приколотых к его шкуре острыми шипами и еще живых навозных жуков. Ибо и тут они знали, что у нас, египтян, этот жук вовсе не бог, а эмблема Создателя, ибо он скатывает лапками шарик из ила и навоза и откладывает в него личинки, так же как и Создатель скатывает мир, который кажется круглым, и заставляет его творить жизнь.

Эти оскорбления возмутили всех, и только принц засмеялся и сказал, что эта шутка кажется ему грубой, но умной. Однако худшее было впереди. По-видимому, один из солдат, налившись вином, оскорбил иудейскую девушку, которая пришла одна к каналу за водой. Весть об этом разнеслась по округе, и тысячи людей сбегались к лагерю, крича и требуя возмездия с такой угрожающей яростью, что нам пришлось сформировать отряды охраны.

Принц приказал пропустить в лагерь девушку и ее родню, чтобы они могли предъявить свои обвинения. Она явилась, с плачем и воплями разрывая на себе одежду и осыпая голову пылью, хотя оказалось, что солдат не причинил ей большого вреда, так как она от него убежала. Принц велел ей указать, кто из солдат ее обидел, и она показала на одного из телохранителей Аменмеса, лицо которого было покрыто царапинами, похожими на следы женских ногтей. Подвергнутый допросу, он сказал, что плохо помнит о том, что было, но признался, что видел ночью у канала эту девушку и шутил с ней.

Родственники девушки требовали казни солдата, утверждая, что он нанес оскорбление знатной даме Израиля. Сети отклонил их требование, говоря, что смерть — несоразмерная кара для подобного преступления, но что он прикажет подвергнуть оскорбителя публичной порке. Услышав это, Аменмес, любивший своего телохранителя, который навеселе допускал проступки, а не навеселе был в сущности неплохим человеком, пришел в страшную ярость и заявил, что никто не смеет тронуть хоть одного из его слуг только потому, что тот захотел приласкать какую-то легкомысленную израильтянку, которой нечего было шататься одной в темную ночь. Он добавил, что если его солдата накажут, то он и все, кто под его командой, немедленно покинут лагерь и отправятся обратно, чтобы доложить обо всем фараону.

Тогда принц, поговорив со своими советниками, сказал женщине и ее родне, что, поскольку зашла речь об обращении к фараону, он и будет судьей в этом деле, и приказал им явиться к царскому двору через месяц и предъявить свой иск против солдата. Они ушли крайне неудовлетворенные, сказав, что Аменмес нанес их дочери еще более тяжкое оскорбление, чем

его слуга. Все кончилось тем, что на следующую ночь телохранителя нашли мертвым со множеством ножевых ран на теле. Девушку и ее родителей и братьев обнаружить не удалось: видимо, они бежали в пустыню; не было и никаких намеков на возможного убийцу воина. Поэтому оставалось только одно — похоронить жертву.

На следующее утро принц приступил к выполнению своей миссии. Все было обставлено надлежащим образом: принц Сети и Аменмес заняли свои места во главе большого шатра, за ними расположились советники, а у их ног уселись писцы, среди которых был и я. Тут мы узнали, что оба пророка, которых мы видели при дворе фараона, покинули страну Гошен, уйдя еще до нашего прибытия в пустыню, чтобы совершить «жертвоприношения богу», и никто не мог сказать, когда они вернутся. Другие старейшины и жрецы, однако, явились и начали излагать свое дело. Они говорили пространно со свирепой, бурной страстью, часто все сразу, сильно затрудняя работу переводчиков (ибо они притворились, что не знают египетского языка).

Больше того, они начали свою историю от самых ее истоков — с тех пор, когда они сотни лет тому назад пришли в Египет и получили помощь и поддержку визиря тогдашнего фараона; этот визирь — некто Иосиф — был могущественным и умным человеком их же расы, который запасал зерно на случай голода или низкого разлива Нила. Фараон происходил из гиксосов. Он был одним из тех царей, которых мы, египтяне, ненавидели и после многочисленных войн прогнали из страны. Под властью этих фараонов израильтяне богатели, росло их могущество, так что фараоны последующих поколений, не любившие израильтян, стали их бояться.

На этом закончился первый день слушания дела.

Второй день начался рассказом об их угнетении. Но даже в это тяжелое время для них они множились, как комары над Сихором, и стали такими сильными и многочисленными, что наконец Рамсес Великий задумал злое дело: он приказал убивать всех их младенцев мужского пола, как только они рождались на свет. Этот приказ, однако, не был приведен в исполнение, потому что за них заступилась дочь фараона, та самая, что спасла старого пророка Моисея, найдя его в камышах у берега Нила.

На этом принц, устав от шума и жары в переполненном шатре, прервал заседание до следующего дня. Велев мне сопровождать его, он приказал подать колесницу (не его собственную), и несмотря на мои старания отговорить его, выехал один без всякой охраны, не считая меня и возницы, сказав, что хочет увидеть собственными глазами, как эти люди трудятся по указу фараона.

Взяв в провожатые еврейского мальчика, который бежал перед лошадьми, указывая дорогу, мы отправились на берега канала, где израильтяне делали из ила кирпичи. После просушки на солнце кирпичи грузили на суда, ожидавшие в канале, и увозили в другие области Египта, где шло строительство по приказу фараона. На этой работе были заняты тысячи людей, трудившихся под командой египетских надсмотрщиков, которые вели учет, отмечая количество готовых кирпичей на палочках с нарезками или записывая сумму на глиняных дощечках. Эти надсмотрщики были грубые парни, большей частью из низшего класса, и, обращаясь к рабам, употребляли злые и мерзкие выражения. Однако и этого им было мало. Заметив, что в одном месте собралась толпа, и услышав крики, мы направились туда узнать, что происходит. Здесь мы обнаружили, что на земле распростерт юноша, почти мальчик, его жестоко избивают кожаными бичами и все его тело покрыто кровью. По знаку принца я спросил, в чем он провинился, и мне грубо ответили — ибо ни надсмотрщики, ни стража не знали, кто мы, — что за последние шесть дней он сделал только половину причитающихся ему кирпичей.

— Отпустите его, — спокойно произнес принц.

— Кто ты такой, чтобы мне приказывать, — возразил старший надсмотрщик, который помогал держать юношу в то время, как стража его избивала. — Убирайся, не то я угощу тебя так же, как этого бездельника.

Сети посмотрел на него, и губы его побелели.

— Объясни ему, — сказал он мне.

— Эй ты, собака! — произнес я, задыхаясь от гнева. — Да знаешь ли ты, с кем смеешь говорить таким тоном?

— Не знаю и знать не хочу. Давай пошевеливайся, стражник!

Принц, облаченный в плащ с широкими рукавами из простой материи и обычного покроя, распахнул его, открыв взорам нагрудную эмблему, которую носил при дворе, — прекрасную вещь из золота, на которой черной и красной эмалью были обозначены его царские имена и титулы. Одновременно он поднял правую руку, показывая кольцо с печаткой — знак, что он — посланник фараона. Все, ошеломленные, уставились на него, а один, более сведущий, чем другие, воскликнул:

— Клянусь богами, это его высочество, принц Кемета!

При этих словах все они упали перед ним лицами вниз.

— Встань, — сказал принц мальчику, который смотрел на него, забыв от изумления про боль, — и скажи мне, почему ты не выполнил свою долю работы.

— Господин, — зарыдав, ответил тот на ломаном египетском языке, —

по двум причинам. Первая — потому что я калека, видишь? — и он поднял левую руку, тонкую и сухую, как рука мумии, — и не могу работать быстро. А вторая — потому что моя мать, у которой я единственный ребенок, вдова и лежит больная в постели, и в доме нет ни женщин, ни детей, которые могли бы пойти собирать для меня солому, как приказал фараон. И мне приходится тратить много часов, чтобы набрать соломы, ведь мне нечем платить тому, кто бы сделал это вместо меня.

— Ана, — сказал принц, — запиши имя этого юноши и место, где он живет, и, если он говорит правду, последи, чтобы нужды его и его матери были удовлетворены еще до нашего отъезда. Запиши также имена этого надсмотрщика и его товарищей и вели им завтра на рассвете явиться ко мне в лагерь для рассмотрения их дела. Скажи также мальчику, что, поскольку он обижен богами, фараон освобождает его от обязанности изготавливать кирпичи и вообще от всякой работы на государство.

Пока я выполнял все эти распоряжения, надсмотрщик и его товарищи бились головами о землю и молили о милосердии — как все жестокие люди, они были трусами. Его высочество не отвечал ни слова и только смотрел на них холодными глазами, и я заметил, что его лицо, обычно такое доброе, приняло ужасное выражение. Эти люди, видимо, подумали то же самое, ибо ночью они бежали в Сирию, бросив свои семьи и все свое имущество, и в Египте их больше никто никогда не видел.

Когда я кончил записывать, принц повернулся и, подойдя к ожидавшей его колеснице, велел вознице переехать по мосту на другую сторону канала. Мы ехали в молчании по дороге, которая бежала между возделанными землями и пустыней. Наконец я показал на заходящее солнце и спросил, не пора ли возвращаться.

— Почему? — возразил принц. — Солнце умирает, но взойдет полная луна, и будет светло. Да и чего нам бояться, если на поясе у нас мечи, а под одеждой кольчуги, которыми снабдила нас ее высочество Таусерт? О Ана! Я устал от людей, от их жестокости, криков, распрей, и мне кажется, что эта пустыня — обитель покоя, ибо здесь я чувствую, как будто я ближе к своей душе и к небу, откуда, я надеюсь, вселяется в человека душа.

— Твоему высочеству посчастливилось иметь душу, к которой он стремится приблизиться, чего нельзя сказать обо всех нас, — ответил я, смеясь, ибо мне хотелось изменить направление его мыслей и вовлечь его в спор на одну из его любимых тем.

Однако именно в этот момент наши лошади, которые были далеко не из лучших, остановились перед подъемом на песчаный холм. Сети запретил вознице бить их и велел дать им передохнуть. Тем временем мы



сошли с колесницы и стали подниматься по склону; Сети опирался на мою руку. Дойдя до вершины, мы вдруг услышали рыдания и тихий голос, доносившийся с другой стороны холма. Кусты тамариска, бывшие когда-то живой изгородью, скрывали от нас плачущего.

— Еще одна жестокость или, во всяком случае, еще одно горе, — прошептал Сети. — Посмотри, кто там.

Мы осторожно приблизились к кустам тамариска и, глядя сквозь их пушистые макушки, увидели в чистом сиянии поднявшейся над пустыней луны прелестное и трогательное зрелище. Не дальше чем в пяти шагах от нас стояла женщина в белом, юная и стройная. Лица ее не было видно, потому что она отвернулась в сторону, к тому же его скрывали длинные темные волосы, ниспадавшие ей на плечи. Она молилась вслух, то на еврейском языке, который мы немного понимали, то на египетском, как человек, привыкший думать на двух языках, и ее молитва то и дело прерывалась рыданиями.

— О бог моего народа! — говорила она. — Пошли мне помощь и поддержку, чтобы твое дитя не осталось одиноким в пустыне и не стало добычей диких зверей, или людей, которые хуже, чем звери!

Тут она заплакала, опустила на колени на большую связку соломы и снова стала молиться. На этот раз по-египетски, словно боялась, что молитву на еврейском языке могут подслушать и понять.

— О бог, — говорила она, — бог моих предков, облегчи мое бедное сердце, облегчи мое бедное сердце!

Мы хотели уйти, а еще больше спросить у нее, что ее так мучает, как вдруг она повернула голову так, что свет упал на ее лицо. Такое прелестное оно было, что у меня перехватило дыхание, а принц вздрогнул. Нет, оно было более чем прелестно, ибо так же как пламя светильника сияет сквозь стенки алебастровой чаши или жемчужной раковины, так душа этой женщины светилась сквозь черты ее заплаканного лица, делая его таинственным, как ночь. Тогда я, пожалуй, впервые понял, что именно дух, а не плоть придает истинную красоту и девушке, и мужчине. Белая ваза из алебаstra, как она ни изящна, все же только ваза; и только светильник, скрытый в ней, преображает ее в сияющую звезду. А эти глаза, эти большие мечтательные глаза, полные слез и с оттенком глубокой ляпис-лазури, — о! какой мужчина мог бы увидеть их без волнения?

— Мерапи! — прошептал я.

— Луна Израиля! — пробормотал Сети. — Пронизанная луной, прекрасная, как луна, таинственная, как луна, и поклоняющаяся луне — своей матери.

— У нее несчастье, поможем ей, — сказал я.

— Нет, подожди, Ана, ведь мы с тобой никогда больше не увидим ничего подобного.

Хотя мы говорили чуть слышным шепотом, она, видимо, услышала нас. Во всяком случае, она изменилась в лице, словно испугавшись, поспешно поднялась, подхватила свою большую связку соломы и возложила ее на голову. Пробежав несколько шагов, она споткнулась и упала, слегка застонав от боли. В одно мгновение мы очутились рядом с ней. Она испуганно подняла на нас глаза, не зная, кто мы, ибо широкие капюшоны скрывали наши лица, а судя по плащам, нас можно было принять за полночных воров или работорговцев-бедуинов.

— О добрые люди, — пробормотала она, — отпустите меня. У меня нет ничего ценного, кроме этого амулета.

— Кто ты и что ты тут делаешь? — спросил принц, изменив голос.

— Господа, я Мерапи, дочь Натана Левита, которого убил в Танисе проклятый египетский капитан.

— Как ты смеешь называть египтян проклятыми? — спросил Сети нарочито грубым голосом, подавляя смех.

— О господа, потому что они... потому что я думала, вы бедуины, они также ненавидят египтян, как мы. По крайней мере, тот египтянин был проклятый, потому что сам высокий принц Сети, наследник фараона, приговорил его к смертной казни.

— А принца Сети, наследника фараона, ты тоже ненавидишь и назвала бы его проклятым?

Она поколебалась и ответила с сомнением в голосе.

— Нет, его я не ненавижу.

— Почему же, если ты ненавидишь египтян. Ведь он среди них первый и поэтому вдвое достоин ненависти, как наследник и сын вашего угнетателя-фараона!

— Потому что, как я ни старалась, — не могу. Кроме того, — добавила она радостно, как человек, нашедший убедительное оправдание своим чувствам, — он же отомстил за моего отца.

— Это не причина, девушка, ибо он сделал только то, что велел закон. Говорят, что этот сукин сын, фараонов наследник, приехал в Гошен с какой-то миссией. Это правда? Ты его видела? Отвечай, ибо мы, люди пустыни, желаем знать точно.

— Думаю, что правда, господин, но я его не видела.

— Почему же, если он здесь?

— Потому что не хотела, господин. Почему бы дочь Израиля пожелала

смотреть на лицо египетского принца?

— Говоря по правде, не знаю, — забывшись, сказал Сети своим голосом. Потом, заметив, что она пристально взглянула на него, добавил грубым тоном, — эта женщина, брат, либо лжет, либо она не кто иная, как та девушка, которую они называют Луной Израиля, — та, что живет у старого Джейбиза Левита, своего дяди. Как по-твоему?

— По-моему, брат, она лжет — и по трем причинам, — ответил я, поддерживая шутку принца. — Во-первых, у нее слишком светлая кожа для черной еврейской крови.

— О господи, — простионала Мерапи, — моя мать родилась и выросла в Сирии, в горах, и кожа у нее была белая, как молоко, а глаза голубые, как небо.

— Во-вторых, — продолжал я, не обращая на нее внимания, — если великий принц Сети действительно в стране Гошен, а она живет здесь, то просто неестественно, что она не пришла хоть раз взглянуть на него. Как женщину ее могли удержать только две вещи: одна — потому что она его боится и ненавидит, но она это отрицает, и другая — потому что он ей слишком понравился, и она, как девушка благоразумная, решила, что лучше всего никогда его больше не видеть.

При первых моих словах Мерапи взглянула на меня и хотела было ответить, но тотчас опустила глаза с таким выражением, как будто у нее перехватило дыхание; в то же время даже при свете луны я увидел, как алая краска залила ее лицо и белые руки.

— Господин, — пролепетала она, — зачем ты обижаешь меня? Клянусь, что никогда до этой минуты я ни о чем таком не думала. Право же, это было бы изменой.

— Несомненно, — прервал ее Сети, — однако, такой, какую цари могли бы простить.

— В-третьих, — продолжал я, как бы не слыша ни ее, ни его слов, — если бы эта девушка сказала о себе правду, она не бродила бы ночью одна в пустыне: ведь Мерапи, как я слышал от арабов, дочь Натана Левита, девушка далеко не из низкого рода, и семья ее достаточно богата. Впрочем, сколько бы она ни лгала, наши собственные глаза говорят нам, что она красива.

— Да, брат, в этом нам повезло, ибо работорговцы по ту сторону пустыни без сомнения дадут за нее высокую цену.

— О господин! — вскричала Мерапи, хватая его за полу плаща. — Конечно, ты не обречешь девушку на такую участь — ты не злой вор, я чувствую — сама не знаю почему, и у тебя есть мать, и, может быть, сестра.

Не суди обо мне так плохо из-за того, что я тут одна. Фараон приказал, чтобы мы собирали солому для кирпичей. Сегодня утром я пошла искать солому вместо больной соседки, которая, к тому же, должна родить, и зашла слишком далеко. Но вечером я поскользнулась и порезала ногу об острый камень. Смотри, — и, приподняв ногу, она показала рану внизу ступни, из которой еще капала кровь, — зрелище, которое нас немало тронуло. — Теперь я не могу идти и тащить эту тяжелую солому, которую я так тщательно собирала.

— Пожалуй, она говорит правду, брат, — сказал принц, — и если бы мы доставили ее домой, мы могли бы получить немалое вознаграждение от Джейбиза Левита. Но сперва скажи мне, девушка, что за молитву ты возносила луне? В чем Хатхор должна помочь твоему бедному сердцу?

— Господин, — ответила она, — только идолопоклонники-египтяне молятся Хатхор, богине Любви.

— А я думал, что весь мир молится богине Любви, девушка. Но о чем была твоя молитва? Есть какой-нибудь мужчина, которого ты желаешь?

— Никакого, — отрезала она, внезапно рассердившись.

— Тогда почему же твое сердце так нуждается в помощи, что ты готова молить о ней воздух? Или, может быть, есть кто-то, кого ты не желаешь?

Она опустила голову и не отвечала.

— Пошли, брат, — сказал принц, — мы надоели этой даме, и я думаю, что будь она настоящей женщиной, она бы охотно ответила на наши вопросы. Пойдем, оставим ее. Поскольку она не может идти, мы заберем ее позже, если захотим.

— Господа, — сказала она, — я рада, что вы уходите, ибо гиены — менее опасное общество, чем двое мужчин, которые грозятся продать беспомощную женщину в рабство. Но раз уж мы расстаемся и никогда больше не встретимся, я отвечу на ваш вопрос. В молитве, которую вы не постеснялись подслушать, я просила не о любовнике, а о том, чтобы избавиться от одного такого.

— Ну, Ана, — сказал принц, рассмеявшись и распахнув свой плащ, — спроси теперь, кто этот несчастный, от кого госпожа Мерапи хочет избавиться, ибо я сам не смею.

Она всмотрелась в его лицо и слегка вскрикнула.

— Ах, — сказал она, — я подумала, что узнаю твой голос, когда ты один раз забыл про свою роль. Принц Сети, неужели твое высочество считает, что эта была добрая шутка по отношению к одинокой и испуганной женщине.

— Госпожа Мерапи, — ответил он, улыбаясь, — не сердись и согласись, что она была по крайней мере удачной, и ты не сказала нам ничего для нас нового. Вспомни — тогда, в Танисе, ты сказала, что обручена, и при этом в твоём тоне было что-то такое... Позволь мне перевязать твою рану.

Он опустился на колени, оторвал полоску от своей церемониальной одежды из тонкого полотна и начал перевязывать её ступню, действуя быстро и искусно, ибо он был человеком необычных и неожиданных способностей. Я невольно следил за ними и заметил также, что их взгляды встретились, и при этом густая краска снова залила лицо Мерапи. Тогда я подумал, что принцу Египта не подобает играть роль лекаря, врача ран женщины в пустыне, и подивился, почему он не предоставил мне эту скромную роль.

Вскоре повязка была наложена и скреплена царским скарабеем на золотой булавке, которую принц снял со своей одежды. На скарабее была выгравирована корона с уреем, а под ней знаки, означавшие «Повелитель Нижнего и Верхнего Египта» — это была эмблема и титул фараона.

— Ты видишь, госпожа, — сказал он, — теперь у тебя под пятой Египет. — И когда она спросила, что он имеет в виду, он прочитал ей надпись на драгоценном камне, и она в третий раз залилась румянцем до самых глаз. Потом он поднял её на руки, велел ей опираться на его плечо и сказав, что боится, как бы скарабей, которого он ценит, не разбился, если бы она ступала по земле.

Мы двинулись в путь; я нес связку соломы, как он велел мне, ибо, по его словам, нельзя потерять то, что было собрано с таким трудом. Дойдя до того места, где мы оставили колесницу, мы обнаружили, что наш проводник ушел, а возница спит. Принц усадил Мерапи в колесницу, подстелив ей свой плащ и набросив её на плечи мой, который он одолжил у меня, сказав, что поскольку я несу солому, плащ мне не нужен. Потом он занял своё место в колеснице, и они поехали, соразмеряя скорость движения с моим шагом. Так я шел следом за ними, и солома свисала мне на уши, я не слышал, о чем они говорили, — если они вообще о чем-то говорили; вполне возможно, что присутствие возницы исключало всякий разговор. Сказать по правде, я не прислушивался, погруженный в мысли о тяжелой доле этих бедных израильтян, вынужденных собирать пыльную солому и тащить так далеко эту ношу, отягченную комьями глины, которая налипла на корнях.

Еще не достигнув города Гошен, мы столкнулись с неприятностями. Едва мы пересекли по мосту канал, как я, шагая за колесницей, увидел при

чистом свете луны бегущего навстречу молодого человека. Это был еврей, высокий, хорошо сложенный и по-своему очень красивый. У него были темные глаза, горбатый нос, ровные белые зубы, длинные черные волосы густыми волнами падали на плечи. В руке он держал деревянный посох, а за пояс был заткнут обнаженный нож. Увидев колесницу, он остановился и стал всматриваться, а потом спросил по-еврейски, не случилось ли путешественникам встретить молодую женщину-израильтянку, которая, очевидно, заблудилась в пустыне.

— Если ты ищешь меня, Лейбэн, то я здесь, — ответила Мерапи из-под плаща.

— Что ты тут делаешь одна с египтянином? — свирепо спросил он.

Что за этим последовало, я не знаю, ибо они заговорили так быстро на своем языке, что я ничего не понял. Наконец Мерапи повернула к принцу и сказала:

— Господин, это Лейбэн, с кем я обручена, он велит мне сойти с колесницы и сопровождать его, как мне ни трудно идти пешком.

— Я, госпожа, велю тебе остаться. Лейбэн, с кем ты обручена, может сопровождать нас.

Лейбэн вспыхнул от гнева — что было, как я сразу понял, у него в крови — и порывисто протянул руку, видимо, намереваясь оттолкнуть Сети и схватить Мерапи.

— Ну, ты, остерегись! — сказал принц, в то время как я, бросив связку соломы, выхватил свой меч и одним прыжком очутился рядом с ними, крича:

— Раб, ты хотел поднять руку на принца Египта?

— Принц Кемета! — произнес он, отступив в изумлении, и угрюмо добавил: — Но какое отношение принц Кемета имеет к моей невесте.

— Он помогает ей добраться до дома после того, как нашел ее раненую и беспомощную в пустыне с мешком этой проклятой соломы, — ответил я.

— Вперед, возница! — сказал принц, а Мерапи добавила:

— Успокойся, Лейбэн, и возьми эту солому, которую спутник его высочества нес всю дорогу.

Мгновение он колебался, но потом схватил связку соломы и водрузил ее себе на голову.

Пока мы шли бок о бок, его злобное настроение постепенно одерживало верх над благоразумием. Он, не умолкая, ворчал из-за того, что Мерапи ехала одна рядом с египтянином. Наконец я не выдержал:

— Замолчи ты! — сказал я. — Тебе ли жаловаться на то, что делает его

высочество, если он уже отомстил за убийство отца этой госпожи, а теперь спас ее от одинокой ночевки среди диких зверей и людей пустыни?

— Насчет первого я уже слышал достаточно, — ответил он, — а насчет второго еще услышу более чем достаточно! С тех самых пор как моя невеста увидела этого принца, она смотрит на меня другими глазами и говорит со мной другим голосом. Да, а когда я пытаюсь ускорить нашу свадьбу, она говорит, что нельзя торопиться, ибо она все еще в трауре по своему отцу. Как бы не так! Она никогда не могла простить ему то, что он обручил ее со мной по обычаю нашего народа.

— Может быть, она любит кого-нибудь другого? — спросил я, желая узнать как можно больше об этой женщине.

— Никого она не любит, — по крайней мере, до сих пор не любила. Она любит только себя.

— Такая красавица может мечтать о самом высоком замужестве.

— Вот как! — произнес он в ярости. — Кого она может найти выше меня, прямого потомка самого древнего рода? Я гораздо выше, чем какой-то выскочка-принц или любой египтянин, будь он хоть сам фараон!

— Поистине, ты можешь служить хорошей иллюстрацией нравов своего племени, — сказал я, чувствуя, как мною все больше овладевает раздражение.

— Почему же? — спросил он. — Разве израильтяне не выше египтян — как эти угнетатели скоро узнают сами — и разве знатный человек Израиля не лучше любого идолопоклонника среди ваших людей?

Я посмотрел на этого человека, убого одетого и покрытого грязью после работы в кирпичной мастерской, и подивился про себя его наглости. Не было сомнения в том, что он верит всему, что говорит; я читал это в его гордом взгляде и надменной осанке. Он считал, что его племя больше значит в мире, чем наш великий и древний народ, и что он, неизвестный юноша, не ниже, а даже выше самого фараона. Придя в ярость от этих оскорблений, я ответил:

— Пока что это только слова, но где доказательства? Я лишь писец, но я знаю, что такое война. Давай задержимся здесь ненадолго, и тогда мы узнаем, кто лучше — знатный человек Израиля или писец из Египта.

— Я бы с радостью проучил тебя, писака, — ответил он, — если бы не видел твоего замысла. Ты хочешь нарочно задержать меня, может быть, даже убить каким-нибудь подлым образом, пока твой хозяин будет наслаждаться улыбками Луны Израиля. Нет, я не останусь с тобой, но в другой раз будет по-твоему и, может быть, очень скоро.

Думаю, я бы в ответ ударил его по лицу, хотя я не из тех, кто любит

драться, если бы в этот момент не появился отряд египетских всадников, возглавляемый самим Аменмесом. Увидев в колеснице принца, всадники остановились и приветствовали его. Аменмес спешил.

— Мы выехали на поиски твоего высочества, — сказал он. — Мы боялись, что с тобой что-нибудь случилось.

— Спасибо, кузен, — ответил принц, — случилось, но не со мной.

— Это хорошо, — сказал Аменмес с улыбкой, разглядывая Мерапи. — Куда ранена госпожа? Надеюсь, не в грудь.

— Нет, кузен, в ногу, поэтому она и едет со мной в колеснице.

— Твое высочество всегда был добр к несчастным. Пожалуйста, разреши мне занять твое место или посадить эту девушку к себе на коня.

— Поехали, — сказал принц вознице.

Мы двинулись, сопровождаемые солдатами. Я слышал, как они переговаривались, обмениваясь шутками насчет принца и его спутницы, — как, думаю, слышал их и Лейбэн, ибо он бросал вокруг гневные взгляды и скрежетал зубами. Так мы добрались наконец до города. Здесь по указанию Мерапи мы остановились перед домом ее дяди Джейбиза, седобородого еврея, который выбежал из дверей своего жилища под глиняной крышей, крича, что он не сделал ничего дурного, за что солдаты могли бы забрать его.

— Это не тебя они хотят забрать, а твою племянницу — мою невесту, — закричал Лейбэн, вызвав смех среди солдат и кучки женщин, собравшихся перед домом. Тем временем принц помогал Мерапи сойти с колесницы, буквально поднимая ее на руки. При виде этого Лейбэн в бешенстве бросился к нему, пытаясь вырвать ее из его объятий, и при этом невольно толкнул его высочество. Начальник отряда — это был один из начальников личной охраны фараона — в ярости поднял меч и ударил Лейбэна плашмя по голове с такой силой, что тот упал лицом вниз и громко застонал.

— Долой этого пса, и всыпьте ему как следует! — крикнул начальник отряда солдатам. — Или мы допустим, чтобы такие, как он, оскорбляли царственную кровь Кемета?

Солдаты бросились было исполнять приказ, но Сети сказал спокойно:

— Оставьте его, друзья, он просто не умеет себя вести, вот и все. Он ранен?

Не успел он договорить, как Лейбэн вскочил на ноги и, боясь худшего, бежал с проклятиями, бросив на принца взгляд, полный ненависти.

— Прощай, госпожа, — сказал Сети. — Желаю тебе поскорее поправиться.



— Благодарю тебя, о принц! — ответила она, оглядываясь. — Пожалуйста, подожди немного, пока я верну тебе твою драгоценность.

— Нет, оставь ее у себя, госпожа, и если когда-нибудь тебе будет грозить беда или опасность, пошли ее мне, и ты не останешься без помощи.

Она взглянула на него и разразилась слезами.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

— О принц, потому что я боюсь близкой беды. У моего нареченного, Лейбэна, мстительное сердце. Дядя, помоги мне войти в дом.

— Слушай, израильтянин, — сказал Сети, повысив голос, — если с твоей племянницей случится что-нибудь плохое или ее заставят идти туда, куда она не хочет, — горе тебе и твоим близким. Ты меня слышишь?

— О повелитель, слышу, слышу. Не беспокойся. Ее будут беречь, как... она, несомненно, будет беречь драгоценную безделушку, что у нее на повязке.

\* \* \*

— Ана, — сказал принц в тот же вечер, когда мы с ним беседовали перед сном, — не знаю почему, но я боюсь этого Лейбэна, у него дурной глаз.

— Я тоже думаю, что было бы лучше, если бы твое высочество позволил солдатам расправиться с ним. Тогда бы никому не пришлось бояться его в этом мире.

— Но я этого не сделал, так что нечего и говорить. Ана, она красива и прелестна.

— Самая красивая и самая прелестная из всех, каких я когда-либо видел, мой принц.

— Будь осторожен, Ана. Прошу тебя, будь осторожен, а то еще влюбишься в ту, что уже обручена с другим.

В ответ я лишь взглянул на него и вспомнил слова чародея Ки. Думаю, что и принц тоже вспомнил, — по крайней мере, он засмеялся, как мне показалось, счастливым смехом и отвернулся в сторону.

Что до меня, то я долго лежал без сна в ту ночь и когда наконец заснул, мне приснилась Мерапи, творившая молитву в сиянии Луны.

## VII. Засада

Прошло целых восемь дней, прежде чем мы покинули Гошен. История, которую рассказывали израильтяне, была очень длинной и очень печальной. Больше того, они привели доказательства многочисленных жестокостей, которые они претерпели, а когда с этим было покончено, пришлось выслушать показания стражников и других лиц; и все это надо было записать. К тому же принц, казалось, не спешил с отъездом. По его словам, он надеялся, что те двое пророков вернутся из пустыни, но они так и не появились. Все это время Сети ни разу не видел Мерапи и даже не упоминал о ней, даже когда Аменмес подшучивал над ним, намекая на его спутницу в колеснице и спрашивая его, не выезжал ли он опять лунной ночью в пустыню.

Но я ее однажды встретил. Как-то раз перед заходом солнца я бродил по городу и увидел ее: она шла, словно пленница под конвоем, между дядей Джейбизом с одной стороны и своим женихом Лейбэном — с другой. Я подумал, что она отнюдь не выглядит счастливой, но ее нога, видимо, зажила; во всяком случае, она шла свободно и не хромяя.

Я остановился, чтобы поздороваться с ней, но Лейбэн злобно нахмурился и увлек ее за собой. Джейбиз задержался и заговорил со мной. Он сказал, что она совершенно оправилась, но что между нею и Лейбэном были неприятности из-за того, что случилось в тот вечер, когда она повредила ногу, вплоть до столкновения Лейбэна с начальником телохранителей.

— Этот молодой человек, кажется, ревнивец от природы, — сказал я, — из тех людей, которые будут суровыми мужьями для любой женщины.

— Да, высокоученый писец, ревность была его проклятием с юных лет. Это же можно сказать о многих наших людях. И я благодарю бога за то, что я не женщина, которая станет его женой.

— Почему же тогда, Джейбиз, ты допускаешь, чтобы она вышла за него замуж?

— Потому что ее отец обручил ее с этим львенком, когда она была еще почти девочкой, а у нас разорвать такие узы крайне трудно. Лично я, — добавил он, понизив голос и оглядевшись вокруг своими быстрыми бегающими глазами, — лично я хотел бы видеть мою племянницу не в доме Лейбэна, а совсем в другом месте. С ее красотой и умом она могла бы достичь чего угодно, имей она такую возможность. Но по нашим законам,

даже если бы Лейбэн умер (что легко могло бы случиться с таким неуравновешенным человеком), она не могла бы выйти замуж ни за кого, кроме сына Израиля.

— Но она, кажется, говорила, что ее мать была сирийкой.

— Это правда, писец Ана. Она была красавицей-пленницей, захваченной во время войны, когда Натан влюбился в нее и сделал ее своей женой. И ее дочь пошла в нее. И все же она — еврейка и по вероисповеданию, и по своему окружению и связям. Если бы не это, она могла бы сиять, как звезда, нет — как сама луна, в честь которой она названа, и, может быть, при дворе самого фараона.

— Как великая царица Тейе, которая в прошлом изменила религию Кемета, вверив поклонение единому богу, — предположил я.

— Я слышал о ней, писец Ана. Это была удивительная женщина и красивая к тому же, судя по ее статуям. Хотел бы я, чтобы вы, египтяне, нашли еще такую же, тогда, может быть, ваши сердца обратились бы к более чистой вере и смягчились бы по отношению к нам, бедным и отверженным. Когда его высочество покидает страну Гошен?

— На рассвете третьего дня, не считая сегодняшнего.

— Ему понадобятся продукты, много продуктов для питания такой большой свиты. Я торгую овощами и продуктами питания, Ана.

— Я доложу об этом его высочеству и визирю, Джейбиз.

— Спасибо тебе, писец, я буду ждать их распоряжения в твоём лагере завтра утром. Смотри, Лейбэн возвращается вместе с Мерапи. Он очень мстительный и не забыл того удара мечом по голове.

— Пусть Лейбэн будет осторожен, — ответил я. — Если б не его высочество, солдаты убили бы его, потому что он посмел оскорбить царскую кровь. Второй раз это ему не сойдет. Больше того, за все, что он сделает, фараон отомстит народу Израиля.

— Понимаю. Было бы печально, если бы Лейбэна убили, очень печально. Но у народа Израиля есть Некто, кто может защитить его от фараона и всех его полчищ. Прощай, высокоученый писец. Если мне когда-нибудь доведется быть в Танисе, мы еще, с твоего позволения, потолкуем об этих вещах.

Вечером я рассказал принцу о моей встрече. Выслушав меня, он сказал:

— Мне очень жаль госпожу Мерапи, ибо ее ждет тяжкая участь. Впрочем, — добавил он, засмеявшись, — пожалуй, оно и лучше, друг, если ты ее больше не увидишь, — ведь где бы она ни появлялась, сразу возникают неприятности. У этой женщины такое лицо, которое поселяется

в душе, как *Ка* поселяется в гробнице, я лично не хотел бы увидеть его снова.

— Рад это слышать, принц; лично я покончил с женщинами, как бы прелестны они ни были. А этому Джейбизу я скажу, что мы закупим провиант в другом месте.

— Нет, купи все у него, а если Нехези будет ворчать, запиши все на мой счет. Путь к сердцу купца лежит через его мешки с сокровищем. Если с Джейбизом хорошо обращаться, то, может быть, он будет добрее к своей племяннице, о которой я навсегда сохраню приятное воспоминание, — единственной среди этих хмурых людей, ненавидящих нас, увы, не без причины.

Итак, овцы и вся провизия для обратного путешествия были куплены у Джейбиза по назначенной им самим цене, за что он усиленно высказывал мне благодарности, и на третий день мы тронулись в путь. В последний момент принц, которым накануне вечером как будто овладел дух противоречия, отказался ехать утром вместе со всеми (слишком шумно и пыльно, сказал он). Напрасно Аменмес убеждал его, а Нехези и приближенные чуть ли не на коленях умоляли отправиться вместе с ними, говоря, что они отвечают за его безопасность перед фараоном и принцессой Таусерт. Он велел им уйти, пообещав, что нагонит их, когда они к концу дня раскинут на ночь лагерь. Я тоже стал упрашивать его, но он резко отвечал, что как он сказал, так и будет, и что мы с ним поедem в колеснице одни, в сопровождении двух вооруженных бегунов, не более, а если я считаю, что это опасно, добавил он, я могу присоединиться к остальным. Я прикусил губу и промолчал, а он, увидев, что обидел меня, повернулся ко мне и смиренно попросил прощения, как подсказывало ему его доброе сердце.

— Не могу больше выносить Аменмеса и его солдат, — сказал он. — Я люблю быть в пустыне один. Последний раз, когда мы с тобой там были, Ана, мы столкнулись с приключениями, которые были очень приятны, а в Танисе, я уверен, меня ждут одни неприятности. Впусти, пожалуйста, еврейского жреца, который пришел, чтобы объяснить мне таинства их веры, мне очень хочется их понять.

Я поклонился и, покинув его, сообщил остальным, что мне не удалось поколебать его волю. Однако, рискуя вызвать его гнев, я сделал следующее, — ибо разве я не поклялся принцессе, что буду защищать его?

Роль бегунов я поручил двум самым лучшим и храбрым воинам. Кроме того, я дал указания капитану, который ударил Лейбэна, тайно от всех посадить на колесницы двадцать солдат, вооруженных пиками, и

следовать за принцем, держась вне поля его зрения.

Итак, на заре следующего утра войско, приближенные принца и чиновники вместе с носильщиками имущества и провианта двинулись в путь, а мы последовали за ними не раньше, чем прошло много часов. Часть этого времени принц провел, разъезжая по городу и присматриваясь к условиям, в которых жили люди. Они, как я заметил, следили за нами весьма угрюмо, гораздо враждебнее, чем раньше, — возможно потому, что мы были без охраны. Обернувшись, я успел заметить даже, что один из мужчин угрожающе потряс нам вслед кулаком, а какая-то старая карга плюнула в нашу сторону и пожелала нам поскорее убраться из страны Гошен. Но когда я поведал об этом принцу, он только засмеялся и не придавал этому значения.

— Всем известно, что они ненавидят нас, египтян, — сказал он. — Ну что ж, пусть нашей задачей будет постараться обратить их ненависть в любовь.

— Ты никогда этого не добьешься, принц. Эта ненависть слишком глубоко укоренилась в их сердцах; они всасывали ее с молоком матери в течение многих поколений. Кроме того, это — война богов Кемета и Израиля, а люди должны идти туда, куда ведут их боги.

— Ты так думаешь, Ана? Значит, люди всего лишь пыль, гонимая небесными ветрами, — они разносят ее из тьмы, предшествующей рассвету, чтобы в конце концов собрать и унести ее в могильную тьму ночи?

Некоторое время он молчал, погруженный в свои мысли, а потом продолжил:

— И все же на месте фараона я бы дал этим людям уйти, ибо их бог, несомненно, обладает большим могуществом и, говорю тебе, я их боюсь.

— Почему же он не хочет отпустить их? — спросил я. — Они не сила, а слабость Египта, как было доказано во время нашествия варваров, на сторону которых они стали. К тому же ценность их щедрой земли, которую они не могут унести с собой, намного больше, чем ценность всей совокупности их труда.

— Не знаю, друг. В этом деле мой отец — сам себе советчик; он не говорит об этом даже с принцессой Таусерт. Может быть потому, что не хочет изменять политику своего отца Рамсеса, а может быть потому, что он упрям с теми, кто против него. Или, возможно, его держит на этом пути безумие, которое наслал на него какой-то бог, чтобы ввергнуть Кемет в позор и несчастья.

— В таком случае, принц, все жрецы и вся знать также безумны,

начиная с Аменмеса.

— Жрецы и знать следуют туда, куда ведет их фараон. Вопрос в том, кто ведет фараона? А вот и храм этих израильтян. Войдем?

Мы сошли с колесницы — где я лично охотно бы остался — и прошли через ворота храма, где в этот священный для израильтян седьмой день было полно молящихся женщин, которые притворились, что не видят нас, однако исподтишка следили за нами. Пройдя сквозь толпу, мы вошли еще в один дворик — под крышей. Здесь было много мужчин, которые встретили наше появление недовольным ропотом. Они слушали проповедника в белом одеянии и головном уборе странной формы, с какими-то украшениями на груди. Я узнал этого человека: это был жрец Кохат, который посвящал принца в таинства еврейской веры в той мере, в какой считал это возможным и нужным. Увидев нас, он внезапно прервал свою проповедь, поспешно произнес какое-то слово благословения и двинулся нам навстречу, приветствуя нас.

Я остановился за спиной принца, считая, что не мешает заслонить его в толпе этих свирепых мужчин, и не слышал, что сказал ему жрец, поскольку тот говорил шепотом в этом священном месте. Кохат отвел его в сторону — на мой взгляд для того, чтобы вывести его из этой толпы, — к главной части маленького храма, туда вели несколько ступенек, над которыми свисал толстый и тяжелый занавес. В царившей вокруг густой полутьме принц не заметил нижней ступени и, оступившись, упал бы, если бы невольно не схватился за занавес. Занавес раздвинулся, открыв внутреннее помещение, простое и тесное, в котором находился алтарь. Больше я ничего не успел увидеть, ибо в следующий миг общий вопль ярости потряс воздух, и во мраке сверкнули мечи.

— Египтянин оскверняет алтарь! — выкрикнул один. — Вытащите его отсюда и убейте его! — завопил второй.

— Друзья, — сказал Сети, повернувшись к толпе, которая бурно рванулась к нему, — если я сделал что-то не так, то совершенно случайно...

Он ничего не смог добавить, видя, что они уже атакуют его или, скорее, меня, ибо я бросился между ними и им. Они уже схватили меня за полы одежды, и моя рука уже была на рукоятке меча, когда жрец Кохат вскричал:

— Воины Израиля, вы с ума сошли? Или хотите навлечь на нас месть фараона?

Они приостановились, а их главарь воскликнул:

— Мы не боимся фараона! Наш бог защитит нас от фараона!

Вытащите его вон и убейте его!

Они кинулись было снова, но в этот момент один из мужчин, в котором я узнал дядю Мерапи, Джейбиза, громко произнес:

— Остановитесь! Если этот египетский принц оскорбил Яхве не случайно, а по умыслу, то бог несомненно отомстит ему. Подобаает ли людям взять суд бога в свои руки? Отступите и подождите немного. Если Яхве оскорблен намеренно, египтянин упадет мертвым. Если он не умрет, дайте ему свободно уйти, ибо такова воля Яхве. Отойдите, говорю я, и подождите, пока я не сосчитаю трижды по двадцать.

Они отступили на шаг, и Джейбиз стал медленно считать.

Хотя я в то время ничего не знал о могуществе бога Израиля, должен сказать, что меня охватил страх, пока он считал, делая паузу после каждого десятка. Это была очень странная сцена. У ступенек на фоне балдахина стоял принц, скрестив на груди руки, и на его лице играла легкая улыбка удивления, смешанного с презрением, но без малейшего признака страха. С одной стороны стоял я, хорошо зная, что разделю его участь, какова бы она ни была, и даже не желая иной; а с другой стороны был жрец Кохат, у которого тряслись руки, а глаза чуть не вылезали из орбит. Перед нами стоял Джейбиз и считал, наблюдая за искаженными от ненависти лицами конгрегации, в мертвом молчании ожидавшей рокового исхода. Счет продолжался. Тридцать. Сорок. Пятьдесят... Казалось, прошел целый век.

Наконец его уста произнесли «шестьдесят». С минуту он ждал, и все следили за принцем, ни на миг не сомневаясь, что он сейчас упадет мертвым. Но вместо этого принц повернулся к Кохату и спокойно спросил, кончилось ли это испытание, ибо он желает принести пожертвование храму, посетить который его пригласили, и уехать.

— Наш бог дал свой ответ, — сказал Джейбиз. — Примите его, люди Израиля. То, что сделал принц, он сделал случайно, а не по умыслу.

Они повернулись и отошли, не сказав ни слова, и после того как я оставил пожертвование, весьма немалое, мы последовали за ними:

— Пожалуй, ваш бог — недобрый бог, — сказал принц Кохату, когда мы вышли наконец из храма.

— По крайней мере, он справедлив, твое высочество. Иначе ты, вторгшийся в его святилище, пусть даже случайно, был бы уже мертв.

— Значит, ты считаешь, жрец, что Яхве обладает способностью убивать нас, когда он в гневе?

— Вне сомнения, твое высочество, и если наши пророки говорят правду, то недалек тот день, когда Египет это узнает, — добавил он угрюмо.

Сети посмотрел на него и сказал:

— Возможно, и так, но все боги или их жрецы претендуют на право убивать тех, кто поклоняется другим богам. Как видно, не только женщины ревнивы, Кохат. Но все же я думаю, вы несправедливы к своему богу, ибо даже если он имеет такую силу — он оказался более милосердным, чем его полноправные поклонники, которые прекрасно знали, что я схватился за балдахин, чтобы просто не упасть. Если я когда-нибудь снова войду в твой храм, то лишь в обществе тех, кто может противопоставить силе силу, будь то сила духа или меча. Прощай.

Мы подошли к колеснице, возле которой стоял Джейбиз, наш спаситель.

— Принц, — сказал он шепотом, покосившись на толпу, которая, держась поодаль, медлила расходиться, молчаливая и враждебная, — прошу тебя, уезжай поскорее из этой страны, ибо здесь твоя жизнь в опасности. Я знаю, это вышло случайно, но ты все-таки осквернил святилище, увидев то, на что не смеют взглянуть ничьи глаза, кроме глаз самых высших жрецов, а этого не простит ни один израильтянин.

— А ты или твой народ, Джейбиз, готовы были осквернить святилище моей жизни, пролив кровь моего сердца, — и неслучайно. Право же, странный народ; вы стремитесь сделать врагом того, кто старается быть вашим другом.

— Я не стремлюсь к этому, — воскликнул Джейбиз, — я бы хотел, чтобы тот, кто воплощает уста и слух фараона и скоро сам станет фараоном, был на нашей стороне. О принц Египта, не гневайся на всех детей Израиля из-за того, что угнетение и несправедливость сделали некоторых из них упрямыми и жестокосердными. Уезжай, и в доброте своей запомни мои слова.

— Запомню, — сказал Сети, подав вознице знак трогать.

Однако принц медлил покинуть город, говоря, что ничего не боится и хочет узнать все, что сможет, об этих людях и их обычаях, чтобы поточнее доложить о них фараону. Я же был уверен, что есть лишь одно лицо, на которое он хочет взглянуть еще раз перед отъездом; но об этом я счел благоразумным промолчать.

Был почти полдень, когда мы наконец действительно оставили город и направились на восток, по следам Аменмеса и всей нашей компании. И так мы ехали весь день; впереди бежали двое солдат, переодетых бегунами, а за нами, как говорило мне далекое облако пыли, следовал капитан с его колесницами, которому я тайно велел не выпускать нас из виду.

К вечеру мы достигли ущелья между каменистыми холмами, окаймлявшими землю Гошен. Здесь Сети сошел с колесницы, и мы в



сопровождении обоих солдат, которым я дал знак идти с нами, взобрались на вершину одного из холмов, усеянную огромными каменными глыбами и обрамленную хребтами песчаника, между которыми тысячелетние ветры проделали узкие расщелины и овраги.

Облокотившись на один из этих хребтов, мы окинули взглядом оставшуюся позади землю. Это было удивительное зрелище. Далеко-далеко, за плодородной равниной, виднелся покинутый нами город, и за ним садилось солнце. Казалось, будто там разразилась какая-то буря, хотя над нами синел чистый и ясный небесный свод: по крайней мере, перед городом от земли до неба протянулись два огромных столба туч, похожих на колонны гигантского портала. Один из этих столбов был как будто высечен из черного мрамора, а второй казался расплавленным золотом. Между ними пролегла дорога света, завершаясь сиянием, и посреди этого сияния круглый шар Солнца-Ра горел, как глаз бога. Это зрелище было не только прекрасно, но и внушало ужас.

— Ты когда-нибудь видел такое небо в Египте, о принц? — спросил я.

— Никогда, — ответил он, и хотя он говорил тихо, его голос показался мне громким в окружающем нас безмолвии.

Мы постояли еще немного, погруженные в созерцание, пока солнце вдруг не опустилось, оставив разлившееся над ним и вокруг сияние; оно принимало причудливые формы, напоминавшие дворцы и храмы какого-то небесного города — далекого города, которого ни один смертный не может достичь иначе, чем в мечтах или во сне.

— Не знаю почему, Ана, — сказал Сети, — но впервые с тех пор, как я стал мужчиной, мне страшно. Мне кажется, что в этом небе какие-то предзнаменования, и я не могу их прочесть. Жаль, что с нами нет Ки, — он бы растолковал, что означает черная колонна справа и огненная слева, и какой бог живет в сияющем городе, и как нога человека может ступить на эту дорогу света, что ведет к его portalу. Говорю тебе — мне страшно. Мне кажется, будто Смерть совсем рядом, и все ее тайны открыты моему смертному взору.

— Мне тоже страшно, — прошептал я. — Смотри! Эти колонны движутся. Вон та, огромная, впереди, а та, из черной тучи, следом за ней, а между ними я будто вижу несметные толпы, идущие бесконечными отрядами. Посмотри, как отблески заката сверкают на их копьях! Несомненно, это бог Израиля поднялся в поход.

— Он или какой-то другой, или вообще не бог — кто знает? Пойдем, Ана, пора, если мы хотим быть в лагере до темноты.

Мы спустились с вершины. Лошади и возница были наготове, и вскоре

мы въехали в ущелье. Оно было очень узко, местами не шире четырех шагов, и по обе стороны дороги громоздились глыбы песчаника, между которыми пробивались растения пустыни и змеились узкие овраги, прорытые водой, а над всем этим с каждой стороны уходили вверх отвесные стены гор. Здесь лошади пошли шагом. Мы приближались к самому узкому месту, где тропа делала поворот и подъем сменялся спуском.

Мы были от него не дальше, чем на бросок копья, как вдруг я услышал какой-то звук и, взглянув направо, увидел женщину, которая спрыгнула с уступа холма и устремилась к нам. Возница тоже увидел ее и остановился, а оба бегуна-солдата выхватили мечи. Не прошло и полминуты, как женщина очутилась рядом с нами, и свет упал на ее лицо.

— Мерапи! — воскликнули принц и я в один голос.

Это и в самом деле была Мерапи, но в каком виде! Ее длинные волосы растрепались и беспорядочно падали ей на плечи, плащ был разорван, на губах выступили кровь и пена. Она остановилась, задыхаясь, не в силах произнести ни слова, опираясь одной рукой на край колесницы, а другой показывая туда, где тропа делала поворот. Наконец она проговорила только одно слово:

— Убийство!

— Она говорит, что ее хотят убить, — сказал мне принц.

— Нет, — выдохнула она, — тебя, тебя! Засада. Вернитесь обратно!

— Поворачивай назад! — крикнул я вознице.

Он постарался повернуть лошадей, но в тесном ущелье и на отвесных склонах это было нелегко даже с помощью солдат. Они успели сделать лишь пол-оборота, блокировав дорогу во всю ширину ущелья, когда раздался дикий крик: «Яхве!» — и из-за поворота вырвалась толпа разъяренных мужчин, размахивающих ножами и мечами. Мы едва успели укрыться за колесницей и приготовиться к отпору, как они ринулись в атаку.

— Слушай, — сказал я вознице, — беги что есть сил и приведи идущий за нами отряд!

Он умчался, как стрела.

— Уходи, госпожа! — крикнул Сети. — Это не женское дело — и видишь? Вот и Лейбэн тебя ищет. — И он показал мечом на предводителя этой толпы убийц.

Она отступила и, пробравшись к большому камню у дороги, спряталась за ним. Впоследствии она призналась мне, что идти дальше у нее не было сил, да и желания тоже, ибо если бы нас убили, ей лучше было бы тоже умереть, поскольку она предупредила нас об опасности.

И вот они уже сомкнулись с нами, целый поток — тридцать-сорок человек. Первый поразил лошадей, и они забились в упряжке, пытаясь освободиться. Следующие за ним уже вскочили на колесницу, пытаясь добраться до нас, и мы встретили их как можно достойнее, сорвав с себя плащи и намотав их на левую руку вместо щитов.

О, какое это было сражение! Будь мы на открытом месте или не подготовлены, нас неизбежно перебили бы в первые же минуты; но теснота ущелья и преграждавшая путь колесница дали нам некоторое преимущество. Тропа была так узка, а склоны гор в этом месте так высоки и неприступны, что атаковать нас одновременно могли не более четырех человек, которым, к тому же, приходилось сперва преодолевать препятствие в виде колесницы и еще живых лошадей.

Но нас тоже было четверо, и благодаря Таусерт на двоих под одеждой были кольчуги, — четверо сильных мужчин, борющихся за свою жизнь. На нас набросились четверо израильтян. Один спрыгнул с колесницы прямо на Сети, который принял его на острие своего железного меча, — я услышал стук рукоятки о грудную клетку противника — того славного железного меча, который сегодня лежит погребенный вместе с Сети в его могиле.

Тот рухнул замертво, сбив принца с ног тяжестью своего тела. Израильтянин, атаковавший меня, зацепился ногой за дышло колесницы и упал так, что я тут же прикончил его ударом по голове и таким образом успел помочь принцу подняться, прежде чем перед ним возник следующий. Оба наши солдата, храбрые и стойкие воины, тоже убили или смертельно ранили тех, кто достался на их долю. Но остальные наступали так яростно и стремительно, что я уже не мог следить за тем, что было дальше.

Вдруг я увидел, что один из наших воинов упал, сраженный Лейбэном. Удар ножом в грудь отбросил меня назад, и если бы не кольчуга, со мной тоже было бы кончено. Второй солдат убил того, кто убил бы меня, но тут же был убит двумя, нападшими на него.

Теперь нас было только двое — принц и я. Мы сражались, держась спиной к спине. Сети схватился с огромным израильтянином и ранил его в руку, так что тот выронил меч. Тогда он обхватил принца за пояс, и оба покатались по земле. Появившийся тут же Лейбэн ударил принца в спину, но его кривой нож отскочил от сирийской кольчуги. Я кинулся к Лейбэну и ранил его в голову, оглушив его так, что он зашатался и, кажется, упал, перевалившись через колесницу. Тогда на меня набросились другие, и если бы не кольчуга Таусерт, я бы погиб по меньшей мере трижды. Сражаясь, как безумный, я натолкнулся на выступ скалы и, прижавшись к нему спиной, приготовился к очередному нападению — и в этот миг увидел, что

тот же гигант подмял под себя Сети, не успевшего опомниться от удара Лейбэна, и душил его, схватив за горло.

Я увидел и другое — женщину, которая подняла обеими руками меч и с силой опустила его, после чего руки израильтянина, сжимавшие горло Сети, разжались.

— Изменница! — раздался крик, и кто-то нанес ей удар, отбросивший ее к обочине. Потом, когда казалось, все кончено, и под градом ударов мое сознание меня покидало, я услышал топот конских копыт и крик — «Кемет! Кемет!», вырвавшийся из солдатских глоток. Сверкание бронзы на миг ослепило мой помутневший взор, и с шумом битвы в ушах я как будто уснул как раз в тот момент, когда свет дня погас.

## VIII. Сети дает совет фараону

Сны, сны о голосах, сны о лицах, сны о солнечном и лунном свете и обо мне самом — меня несут куда-то вперед, всегда вперед; сны о кричащих толпах и, больше всего, — сны о глазах Мерапи, смотрящих на меня сверху, как две негасимые звезды, сияющие в небе. Потом наконец пробуждение, и с ним биение боли и приступы тошноты.

Сначала я подумал что умер и лежу в гробнице. Потом, постепенно, я понял, что я вовсе не в гробнице, а в затемненной комнате, и притом знакомой, в моей собственной комнате во дворце Сети, в Танисе. Иначе не могло быть: недалеко от кровати, на которой я лежал, стоял мой собственный ларец, наполненный рукописями, которые я привез из Мемфиса. Я попытался поднять левую руку, но не смог и, скосив глаза, увидел, что она забинтована как рука мумии, и это снова вызвало во мне мысль, что я, должно быть, умер, если только мертвые могут чувствовать такую сильную боль. Я закрыл глаза и некоторое время не то думал, не то спал.

Лежа так, я услышал голоса. Один, видимо, принадлежал врачу, который говорил:

— Да, он выживет и вскоре поправится. Удар по голове, из-за которого он столько дней пролежал без сознания, — это наихудшая из его ран, но к счастью кость только повреждена, не раздроблена и не попала в мозг. Порезы на теле хорошо заживают, и кольчуга, что была на нем, защитила внутренние органы.

— Я рада, врач, — ответил другой голос, в котором я узнал голос Таусерт, — ибо нет сомнения, что если бы не Ана, его высочество погиб бы. Странно, что человек, которого я считала всего лишь мечтателем-писцом оказался таким храбрым воином. Принц говорит, что этот Ана убил своими руками троих из этих собак и ранил еще многих

— Это было отлично, — ответил врач, — но еще лучше была его предусмотрительность, ведь это он обеспечил арьергард и послал возницу поторопить их. Кто действительно спас жизнь его высочеству, так эта та еврейская девушка: именно она, забыв, что она только женщина, нанесла удар убийце, который держал его за горло.

— Да, такова версия принца, насколько я понимаю, — холодно ответила она. — И все же странно, чтобы слабая и выбившаяся из сил девушка могла пронзить насквозь такого гиганта.

— По крайней мере, она предупредила принца о засаде, ваше высочество.

— Да, говорят. Может быть, Ана вскоре расскажет нам правду об этом деле. Лечи его хорошенько, врач, и ты не останешься без наград

Потом они ушли, продолжая разговаривать, а я лежал не двигаясь, преисполненный чувства благодарности и удивления, ибо теперь я вспомнил все, что с нами произошло.

Немного позже, когда я лежал, по-прежнему закрыв глаза, ибо даже слабый свет, казалось, причинял боль, я вдруг услышал тихие женские шаги у моей кровати и почувствовал нежное благоухание, какое исходит от одежды и волос женщины. Я поднял веки и увидел сияющие, как звезды, глаза Мерапи, смотревшие на меня сверху точно так же, как в моих снах.

— Привет тебе, Луна Израиля, — сказал я. — Воистину мы встречаемся снова при странных обстоятельствах.

— О, — прошептала она, — ты наконец проснулся? Благодарение богу, писец Ана, — ведь я три дня думала, что ты умрешь.

— Ах, если бы не ты, госпожа, я бы умер, — я и кое-кто еще. Но теперь, кажется, мы все трое будем жить.

— Лучше бы только двое остались жить, Ана, — принц и ты. Лучше бы мне умереть, — ответила она с тяжелым вздохом.

— Но почему?

— А ты не догадываешься? Потому что я — отверженная, предательница своего народа. Потому что их кровь пролилась между мной и ними. Ибо я убила того человека, моего родственника, ради египтянина, то есть ради египтян. Теперь на мне проклятие Яхве, и так же, как умер мой родич, так и я вскоре умру, а потом — что потом?

— Потом покой и великая награда, если есть справедливость на земле или в небесах, о благороднейшая из женщин!

— Если бы я могла думать так же! Чу, я слышу шаги. Выпей это; я — главная из твоих сиделок, писец Ана, это — почетный пост, ибо сегодня тебя любит и прославляет весь Египет.

— Право же, это тебя, Мерапи, должен любить и прославлять весь Кемет, — сказал я.

Вошел принц Сети. Я попытался приветствовать его жестом, но он схватил мою руку и нежно сжал ее в своей.

— Здравствуй, любимец Ментху, бога войны, — сказал он, засмеявшись своим приятным смехом. — Я-то думал, что нанял писца, и вдруг! — в этом писце я нахожу воина, который мог бы стать гордостью армии.

В этот момент он заметил Мерапи, которая отошла при его появлении и стояла в полутьме.

— Здравствуй и ты, Луна Израиля, — произнес он, кланяясь. — Если назвал Ану лучшим из воинов, каким же именем мы оба можем назвать тебя, кому мы обязаны жизнью? Нет, не опускай глаза, отвечай!

— Принц Египта, — ответила она в смущении, — я не совершила ничего особенного. Я услышала о заговоре от Джейбиза, моего дяди, и с детства зная кратчайшие пути к перевалу, успела вовремя. Если бы я сначала подумала, то, возможно, не осмелилась бы...

— А все остальное, госпожа? Что ты скажешь о израильтянине, который хотел задушить меня, и о некоем ударе мечом, который навеки разжал его руки.

— Об этом, ваше высочество, я ничего не помню или помню очень мало. — Потом, несомненно вспомнив то, что она говорила мне перед его приходом, она низко поклонилась и вышла из комнаты.

— Она лжет с тем же очарованием, с каким делает все другое, — сказал Сети, проводив ее взглядом. — О! Какая женщина, Ана! Совершенство красоты, совершенство мужества, совершенство ума. Где же ее недостатки, а? Попробуй, найди их ты, ибо я не вижу в ней никаких.

— Спроси об этом у Ки, принц. Он великий маг, такой великий, что его искусство в силах открыть даже то, что женщина старается скрыть. А также вспомни о том, что он предупредил тебя кое о чем перед нашим отъездом в Гошен.

— Да... он сказал мне, что моя жизнь будет в опасности, — так оно и случилось. В этом он был прав. Он сказал также, что я увижу женщину, которую полюблю. Вот в этом он ошибся. Я не встретил такой женщины. О! Я хорошо знаю, о чем ты сейчас подумал. Из-за того, что я считаю госпожу Мерапи прекрасной и храброй, ты вообразил, что я ее люблю. Но этого нет. Я не люблю ни одну женщину, исключая, разумеется, ее высочество. Ана, ты судишь обо мне по себе.

— Ки сказал «полюбишь», принц. Еще есть время.

— Нет, Ана. Если кто любит, то любит сразу. Скоро я состарюсь, а она станет толстой и безобразной, и как можно тогда полюбить? Скорее поправляйся, Ана, — я хочу, чтобы ты помог мне с моим докладом фараону. Я скажу ему: я считаю, что этих израильтян жестоко угнетают и он должен возместить им потери и отпустить их с миром.

— А что скажет на это фараон, зная, что они пытались убить его наследника?

— Думаю, что фараон разгневается, как и народ Кемета, который не

умеет рассуждать здраво. Он не поймет, что Лейбэн и его компания с их взглядами и верой были правы, пытаясь убить меня, — ведь я все-таки, хотя и нечаянно, осквернил святилище их бога. Если бы они поступили иначе, они были бы плохими израильтянами, и я не могу желать им зла. Однако весь Египет охвачен жаждой мести и вопит, что народ Израиля должен быть уничтожен.

— Мне кажется, принц, каков бы ни был исход второго пророчества Ки, его третье предсказание близко к осуществлению, — а именно, что эта поездка в Гошен может заставить тебя рисковать тронном.

Он пожал плечами и ответил:

— Даже ради власти, Ана, я не скажу фараону то, чего нет у меня в мыслях. Но оставим это до твоего выздоровления.

— Чем кончилась битва, принц, и как я попал сюда?

— Наши убили большинство израильтян, которые еще оставались в живых. Несколько человек бежали и скрылись в темноте, в том числе и их предводитель, Лейбэн, хотя ты его и ранил, а шестерых взяли живыми. Теперь они ждут суда. Я был легко ранен, а ты — мы сначала думали, что ты погиб, — был просто без сознания и в таком состоянии или в бреду оставался до этого часа. Мы принесли тебя на носилках, и вот уже три дня, как ты здесь.

— А госпожа Мерапи?

— Мы посадили ее в колесницу и привезли в город. Если бы мы оставили ее, то ее сородичи, конечно, убили бы. Когда фараон услышал, что она сделала, он отдал ей маленький домик в этом саду (мне казалось, что нехорошо, если она останется здесь, во дворце) — там она будет в безопасности, и послал рабынь, чтобы они о ней заботились и прислуживали ей. Там она и живет и может свободно приходить во дворец, и все это время она за тобой ухаживала.

В этот момент мной вдруг овладела страшная слабость, и я закрыл глаза. Когда я открыл их снова, принца уже не было. Прошло еще шесть дней, прежде чем мне разрешили встать с постели, и за это время я часто видел Мерапи. Она была очень печальна и жила в страхе, ожидая, что израильтяне ее убьют. Вместе с тем ее мучила мысль, что она предала свою веру и свой народ.

— По крайней мере, ты избавилась от Лейбэна, — сказал я.

— Никогда я от него не избавлюсь, пока мы живы, — ответила она. — Я ему принадлежу, и он ни за что не разорвет эти узы, потому что жаждет меня всем сердцем.

— А ты тоже жаждешь его всем сердцем? — спросил я.



Ее прекрасные глаза наполнились слезами.

— Женщина не смеет иметь сердце. О Ана, я так несчастна, — ответила она и ушла.

Я виделся и с другими. Меня навестила принцесса. Она горячо благодарила меня за то, что я сдержал данное ей обещание и охранял принца. Кроме того, она передала мне золото — дар фараона, и сама подарила мне нарядную одежду. Она подробно расспросила меня о Мерапи, к которой, как я видел, уже питала чувство ревности, и обрадовалась, узнав, что она обручена с израильтянином. Пришел и старый Бакенхонсу и много спрашивал о принце, о евреях и о Мерапи, особенно о Мерапи, о подвиге которой, сказал он, говорит весь Египет. На все эти вопросы я постарался ответить как можно лучше.

— Так вот она, эта женщина, о которой говорил нам Ки, — сказал он, — та, которая принесет так много радости и так много горя принцу Египта.

— Но почему? — спросил я. — Он же не взял ее в свой дом и, моему, не собирается.

— И однако, он это сделает, Ана, хочет он того или не хочет. Ради него она предала свой народ, а у израильтян это — преступление, которое карается смертью. Дважды она спасла ему жизнь, один раз когда предупредила о засаде, и второй раз — когда своими руками вонзила меч в одного из своих сородичей, который душил его. Разве не так? Скажи мне, ведь ты там был.

— Так, но что из этого следует?

— Вот что: она его любит, что бы она ни говорила, если, конечно, не тебя? — И он зорко взглянул на меня.

— Когда рядом с женщиной принц, да еще такой принц, стала бы она утруждать себя и расставлять силки для какого-то писца? — спросил я не без горечи.

— Ого! — сказал он, рассмеявшись. — Так вот как обстоят дела. Правда, я так и думал. Но, друг Ана, остерегись, пока не поздно! Не старайся превратить Луну в свой домашний светильник, а то как бы она зашла, и Солнце, ее повелитель, не разгневался бы и не спалил тебя до смерти. Нет, она любит его и поэтому рано или поздно заставит его полюбить себя, иначе и быть не может.

— Но каким образом, Бакенхонсу?

— С большинством мужчин, Ана, это было бы просто. Вздых, полускрытые слезы в подходящий момент — и дело сделано. Я видел, как это делается, тысячу раз. Но с этим принцем, при том, каков он есть, все может быть иначе. Может быть, она даст ему понять, что ради него она

потеряла свою честь, что из-за него ее народ ненавидит ее, а бог ее отверг, и это пробудит в нем жалость, а жалость — родная сестра любви. А может быть, поскольку она, как я знаю, еще и мудрая, она станет его советницей во всех делах с израильтянами и таким образом, под видом дружбы проникнет в его сердце, а тогда ее нежность и красота сделают все остальное по законам самой Природы. Во всяком случае, тем или другим способом, вверх или вниз по течению, но к этому она придет.

— Если даже так, что из того? По обычаю цари Кемета могут иметь больше чем одну жену.

— Да, Ана, но Сети, думаю, такой человек, который по-настоящему может иметь только одну, и ею будет эта еврейка. Да, еврейская женщина будет править Египтом и заставит принца принять ее бога, ибо она никогда не станет поклоняться нашим богам. Больше того, когда ее народ поймет, что потерял ее, он использует ее именно для этих целей. А может статься, что ее использует сам этот бог, чтобы довершить то, что он, возможно, уже начал, наведя ее на этот путь.

— А что потом, Бакенхонсу?

— Потом — кто знает. Я не маг, во всяком случае — не настолько владею этим искусством. Спроси у Ки. Но я очень, очень стар и наблюдал жизнь и людей и говорю тебе — так и случится, если только...

— Если только, что?

— Если только Таусерт не смелее, чем я думаю, и не убьет ее прежде, а еще лучше — не найдет какого-нибудь иудея, который бы убил ее, — скажем, ее отвергнутого любовника. Если бы ты был другом фараону и Египту, Ана, ты бы мог шепнуть ей об этом на ушко.

— Никогда! — ответил я с гневом.

— Я и не думал, что ты на это способен, Ана! Ты ведь сам бьешься в этих сетях из лунных лучей, которые прочнее и осязаемее, чем любые сети, сплетенные человеческой рукой. Да и я этого не сделаю, при моем возрасте. Я люблю наблюдать борьбу человеческих стремлений и, подойдя уже столь близко к богам, страшусь вмешиваться в их замыслы и планы. Пусть этот свиток развернется, прочти его, Ана, и вспомни, что я тебе сегодня сказал. Это будет прекрасная повесть, написанная под конец кровью вместо чернил. Охо-хо! — И, смеясь, он заковылял прочь из комнаты, оставив меня в страхе.

Но чаще всех я видел принца. Он навещал меня каждый день и еще до того, как я встал с постели, начал диктовать мне свой доклад фараону, ибо не признавал никакого другого писца. Суть доклада соответствовала тому, что он еще раньше набросал в разговоре со мной, а именно: что народу

Израиля, который в течение многих поколений достаточно настрадался под властью Египта, следует ныне разрешить уйти спокойно и куда он хочет. Нападению на нас в ущелье он не придал большого значения, изобразив его как злой умысел нескольких фанатиков, внушенный им воображаемым оскорблением их бога, как дело, за которое не должен пострадать весь народ. Доклад завершался следующими словами:

Помни, о фараон, молю тебя, что Амон, бог египтян, и Яхве, бог израильтян, не могут править в одной и той же стране. Если оба они останутся в Египте, вспыхнет война богов. Поэтому молю тебя дать Израилю уйти.

Поднявшись и окончательно оправившись, я переписал этот доклад своим самым красивым почерком, отказываясь сообщить кому-либо о его содержании, хотя меня спрашивали все и среди прочих визирь Нехези, который предложил мне взятку, если я открою этот секрет. Не знаю как, но это дошло до слуха Сети, и он был очень доволен мной, говоря, как он рад, что в Египте есть хоть один писец, которого нельзя подкупить. Таусерт тоже допросила меня, и когда я отказался отвечать, она, странным образом, даже не рассердилась, потому что, сказала она, я лишь исполнял свой долг.

Наконец свиток был дописан и запечатан, и принц собственноручно, но без единого слова положил его на колени фараону во время царского приема, ибо он не хотел его никому доверять. Аменмес тоже представил свой доклад, как и визирь Нехези, и начальник отряда, который спас нас от смерти. Спустя восемь дней принца вызвали на Большой Совет государства, равно как и всех членов царского дома и всех высших военачальников. Я тоже получил вызов как причастный к этому делу.

Принц в сопровождении принцессы прибыл во дворец в золотой колеснице фараона, запряженной парой белых, как молоко, лошадей, потомков тех знаменитых боевых коней, которые спасли жизнь Рамсесу Великому во время сирийской войны. На протяжении всего пути тысячи людей, высыпавших на улицы, встречали его приветственными криками.

— Видишь, — сказал старый Бакенхонсу, который, как член Совета, ехал со мной во второй колеснице, — Кемет гордится и радуется. Он считал своего принца всего лишь мечтателем, далеким от жизни. Но теперь все слышали о засаде в ущелье и узнали, что он — человек отважный, воин, который может сражаться наряду с лучшими. Поэтому Кемет теперь любит его и ликует при его появлении.

— Тогда, по этой же мерке, Бакенхонсу, мясник — более великий, чем

самый мудрый из писцов.

— Так оно и есть, Ана, особенно если он убивает не скот, а людей. Писатель создает, но убийца разрушает, и в мире, где правит смерть, тот, кто убивает, в большем почете, чем тот, кто творит. Послушай, теперь они выкрикивают твое имя. Потому ли, что ты автор неких произведений? Говорю тебе, нет. Это потому, что там, в ущелье, ты убил трех человек. Если ты хочешь, чтобы тебя прославляли и любили, Ана, брось писание книг и начинай резать глотки.

— Но писатель живет даже после смерти.

— Ого! — засмеялся Бакенхонсу. — Ты даже глупее, чем я думал. Какая польза человеку от того, что будет после его смерти? Да сегодня вон тот слепой нищий, который скулит на ступенях храма, значит для Кемета больше, чем мумии всех фараонов — разве что их еще можно ограбить. Бери то, что предлагает тебе жизнь, Ана, и не заботься о приношениях, которые кладут в гробницу на съедение времени.

— Это низменные взгляды, Бакенхонсу.

— Крайне низменные, Ана, как и все другое, что мы можем попробовать на вкус и на ощупь. Низменные взгляды, годные для низменных сердец, к которым можно причислить всех, кроме, пожалуй, одного из каждой тысячи. И все же, если хочешь преуспевать, следуй им, и когда ты умрешь, я приду и посмеюсь, стоя над твоей могилой, и скажу: «Здесь лежит тот, от кого я ждал более высоких дел», — как я с надеждой жду их и от твоего господина.

— И не напрасно, Бакенхонсу, что бы ни случилось с его слугой.

— Ну, это мы узнаем и, думаю, скоро. Интересно, кто будет рядом с ним в колеснице перед следующим разливом Нила. К тому времени, может статься, он сменит золотую колесницу фараона на простую телегу, а ты будешь погонять волов и говорить с ним о звездах — или, может быть, о луне. Эта богиня ревнива и любит, когда ей поклонятся. Возможно, мы оба чувствовали бы себя счастливее. Охо-хо! Вот и дворец. Помоги мне сойти с колесницы, жрец богини Луны.

Мы вошли во дворец, и нас провели через большой зал в меньшую комнату, где фараон не в самом парадном облачении уже ожидал нашего прихода, сидя в кресле кедрового дерева. Взглянув на него, я увидел, что лицо мрачно и сурово; мне показалось также, что он как будто постарел. Принц и принцесса склонились перед ним, как и мы, менее значительный люд, но он не обратил на эти приветствия никакого внимания. Когда все собрались и двери закрыли, фараон сказал:

— Я прочитал твой доклад, сын Сети, о посещении страны Гошен и

обо всем, что с тобой случилось; и твой тоже, племянник Аменмес, и всех остальных, кто сопровождал принца Египта. Прежде чем говорить об этих докладах, пусть писец Ана, который был вашим спутником, выйдет вперед и расскажет мне все, что там произошло.

Я вышел вперед и, склонив голову, повторил эту историю, по возможности опуская лишь то, что касалось меня самого. Когда я кончил, фараон сказал:

— Тот, кто говорит только полуправду, иногда приносит больше вреда, чем лжец. Так что же, писец, ты просидел все время в колеснице и бездействовал, пока принц бился за свою жизнь? Или ты сбежал? Говори, Сети, и скажи, какую роль сыграл этот человек, будь то во зло или на благо.

Тогда принц рассказал о моем участии в сражении, описав его такими словами, что вся кровь бросилась мне в лицо. Он рассказал также, что именно я, рискуя вызвать его гнев, приказал отряду в двадцать человек незаметно следовать за нами, переодел бегунами двух солдат и, не растерявшись, когда началось побоище, послал возницу за помощью, как я тоже был ранен и лишь недавно поправился. Когда он кончил, фараон сказал:

— О том, что все так и было, я знаю от других. Писец, ты действовал прекрасно. Если б не ты, сегодня его высочество лежал бы на столе для бальзамирования — что, может быть, он и заслужил за свое безрассудство — и весь Кемет, от Фив до устья Сихора, погрузился бы в траур. Подойди сюда.

Дрожащими ногами я подошел и преклонил колени перед его величеством. На груди фараона висела красивая золотая цепь. Он снял ее и надел мне на шею, говоря:

— Потому что ты проявил и храбрость, и мудрость, я жалую тебе вместе с этой цепью титул советника и друга царя и право вписать этот титул на твоей могильной стеле. Ступай, писец Ана, советник и друг царя.

Я отошел в смущении и когда проходил мимо Сети, тот прошептал мне на ухо:

— Прошу тебя, останься товарищем принца и после того, как ты стал другом царя.

Затем фараон приказал, чтобы начальника отряда повысили в чине, солдаты получили награды, а дети убитых — необходимую помощь, и чтобы семьи тех двух воинов, которых я переодел бегунами, были обеспечены вдвойне.

Закончив эти дела, фараон снова заговорил медленно и многозначительно, предварительно велел всем слугам и страже удалиться.

Я тоже хотел уйти, но старый Бакенхонсу удержал меня, поймав за одежду и сказав, что я в моем новом чине имею право остаться.

— Принц Сети, — сказал фараон, — после всего, что я слышал, я нахожу твой доклад весьма странным. Более того, он написан совершенно в ином духе, чем доклады Аменмеса и других. Ты советуешь мне отпустить этих израильтян на все четыре стороны из-за неких лишений и невзгод, которые они претерпели в прошлом и которые, однако, не уменьшили ни их числа, ни их богатства. Я не намерен принять этот совет. Скорее я намерен послать в страну Гошен армию с приказом — прогнать этот народ, сговорившийся тайно убить принца Египта, сквозь Врата Запада, чтобы там они поклонялись своему богу на небесах или в аду. Да, да, умертвить их всех до единого, от седобородого старца до младенца, сосущего материнскую грудь!

— Я слышу фараона, — спокойно сказал Сети.

— Такова моя воля, — продолжал Мернептах, — и те, кто сопровождал тебя в этой поездке, и все мои советники думают так же, как я, ибо поистине Кемет не может терпеть столь мерзкой измены. Однако согласно нашему закону и обычаю, прежде чем предпринимать столь значительные военные и политические шаги, необходимо, чтобы тот, кто стоит ближе всех к трону и кому суждено занять его, дал свое согласие на эти действия. Ты согласен, принц Египта?

— Я не согласен, фараон. Я считаю, что было бы злодеянием уничтожать десятки тысяч людей по той причине, что несколько глупцов напали на человека, оказавшегося принцем царской крови, потому что тот по досадной случайности осквернил их святилище.

Я увидел, что этот ответ сильно разгневал фараона, ибо никогда еще его воля не встречала подобного сопротивления. Все же он овладел собой и спросил:

— Тогда, принц, ты, может быть, согласишься на более мягкий приговор, а именно — чтобы еврейский народ был рассеян: самые опасные были бы сосланы трудиться в шахтах и каменоломнях пустыни, а остальные расселены по всему Египту на положении рабов?

— Я не согласен, фараон. Мой скромный совет записан в этом свитке и не может быть изменен.

Глаза Мернептаха вспыхнули, но он снова сдержался и спросил:

— Случись тебе занять мое место, принц Сети, скажи нам всем, собравшимся здесь, какую политику ты будешь проводить по отношению к этим израильтянам?

— Ту политику, о фараон, которую я рекомендую в моем докладе. Если

я когда-нибудь займу этот трон, я дам им уйти, куда они захотят, и унести с собой свои богатства.

Теперь все взоры были прикованы к нему, послышался ропот. Но фараон поднялся, трясась от гнева. Схватившись за одежду, там, где она была скреплена на груди, он разорвал ее и вскричал страшным голосом;

— Слушайте его вы, боги Кемета! Слушайте этого сына, который бросает мне вызов в лицо и готов подставить ваши головы под пята чужого бога! Принц Сети, в присутствии этих членов царского дома и моих советников я...

Он не сказал больше ни слова, ибо принцесса Таусерт, сидевшая до этого молча, подбежала к нему и, обняв, зашептала ему на ухо. Он выслушал ее, потом сел и вновь заговорил:

— Принцесса напоминает мне, что это слишком важный вопрос, который нельзя решать слишком поспешно. Может случиться, что когда принц посоветуется с ней и со своим собственным сердцем и, возможно, обратится к мудрости богов, он возьмет обратно слова, слетевшие с его уст. Приказываю тебе, принц, явиться сюда в этот же час на третий день от нынешнего. Тем временем ни один из присутствующих не должен, под страхом смерти, произнести ни слова о том, что произошло в этих стенах. Это приказ.

— Я слышу фараона, — сказал, поклонившись, принц.

Мернептах поднялся, показывая, что Совет окончен, но в этот момент к нему подошел визирь Нехези и спросил:

— А что насчет израильских пленников, о фараон, тех убийц, которые были захвачены в ущелье?

— Их вина доказана. Прикажи бить их розгами до тех пор, пока они не умрут, а если у них есть жены или дети, пусть их схватят и продадут в рабство.

— Да будет воля фараона! — сказал Нехези.

## IX. Поражение Амона

В тот вечер я сидел глубоко встревоженный в своей рабочей комнате, тщетно пытаюсь писать, ибо я чувствовал, что принцу грозят большие беды, и не знал, что сделать, чтобы отвлечь их от него. Дверь отворилась и появился старый Памбаса; назвав меня моим новым титулом, он сказал, что госпожа Мерапи, которая ухаживала за мной, пока я лежал в постели, желает со мной поговорить. И вот она пришла и остановилась передо мной.

— Писец Ана, — сказала она, — я только что видела моего дядю Джейбиза, который приехал, или был послан, чтобы встретиться со мной.

— Зачем он был послан, госпожа? Сообщить тебе что-нибудь о Лейбэне?

— Нет, Лейбэн скрылся, и никто не знает, где он. А сам Джейбиз избежал неприятностей как дядя предательницы только потому, что согласился взять на себя эту миссию.

— Какую миссию?

— Просить меня, чтобы я, если хочу спастись от смерти или мщения богов, подействовать на сердце его высочества, а я не знаю, как это сделать...

— Но, я думаю, ты бы нашла способы, Мерапи.

— ...кроме как через тебя, его друга и советчика, — продолжала она, отвернув в сторону лицо. — Джейбиз узнал, что фараон намерен поголовно истребить народ Израиля.

— Откуда он узнал, Мерапи?

— Не могу сказать, но думаю, это знает весь народ Израиля. Я сама знала с первого же дня, хотя никто мне об этом не говорил. Он узнал также, что по египетским законам это можно сделать только с согласия принца, если он наследник престола и достиг совершеннолетия. Вот я и пришла молить тебя, чтобы ты попросил принца не соглашаться.

— Почему бы тебе самой не попросить принца, Мерапи, — начал я, но вдруг за спиной услышал из полумрака голос принца, который вошел с каким-то писанием в руке через потайную дверь, говоря:

— И с какой же просьбой хочет обратиться ко мне госпожа Мерапи? Нет, не уходи, говори, Луна Израиля.

— О принц, — сказала она умоляюще, — моя просьба в том, чтобы ты спас израильтян от насильственной смерти, ибо ты один в силах это сделать.



В этот момент дверь распахнулась, и явилась царственная Таусерт.

— Что здесь делает эта женщина? — спросила она.

— Думаю, она пришла повидать Ану, жена, так же, как я и, несомненно, ты. И поскольку она здесь, она просит меня спасти ее народ от меча.

— А я прошу тебя, супруг, предать ее народ мечу; они вполне этого заслужили, ибо они хотели убить тебя.

— И заплатили за это, Таусерт, все до единого, — если кто-нибудь еще не мучается под розгами, — добавил он, содрогнувшись. — Остальные невиновны, почему же они должны умереть?

— Потому что от этого зависит судьба твоего трона, Сети. Говорю тебе: если ты будешь по-прежнему перечить воле фараона, а по закону ты имеешь на это право, он лишит тебя права престолонаследия и посадит на твое место твоего кузена Аменмеса, тоже на основании египетских законов.

— Я думал об этом, Таусерт. И все же, почему я должен повернуться спиной к правому делу ради моих личных интересов? Вопрос в том, правильно ли это?

Она с изумлением смотрела на него — она никогда не понимала Сети и не могла представить себе, что он откажется от самого могущественного трона в мире из-за спасения подвластного ему народа только потому, что, по его мнению, этот народ не должен погибнуть. Однако предупрежденная каким-то инстинктом она оставила первый вопрос без ответа, обратившись прямо ко второму.

— Конечно, правильно, — сказала она, — и по многим причинам. Укажу лишь одну, ибо она включает все другие. Боги Кемета — истинные боги, которым мы должны служить и повиноваться или погибнуть теперь и навеки. Бог израильтян — ложный бог, и те, кто ему поклоняются, заслуживают смертного приговора. Поэтому в высшей степени правильно, чтобы те, кого истинные боги осудили, погибли бы от мечей их слуг.

— Хорошо обосновано, Таусерт, и если это действительно так, то может статься, я и соглашусь с твоим мнением и не буду стоять между фараоном и его желанием. Но так ли это? Вот в чем трудность. Не стану спрашивать, почему ты считаешь богов египтян истинными, ибо знаю, что бы ты ответила или, скорее, вообще бы не ответила на этот вопрос. Но я спрошу эту госпожу, действительно ли ее бог — ложный бог, и если она ответит отрицательно, я попрошу ее доказать мне свою правоту, если она может. Если она в состоянии доказать, что она права, тогда, я думаю, через три дня я повторю то, что сказал фараону сегодня. Если она не в состоянии

доказать этого, тогда я очень серьезно рассмотрю этот вопрос. Отвечай же, Луна Израиля, и помни — от того, что ты сейчас скажешь, зависят тысячи жизней.

— О принц, — начала было Мерапи. Потом она умолкла, молитвенно сложила руки и подняла глаза. Думаю, она действительно молилась, ибо ее губы шевелились. И вдруг я увидел — и, по-моему, Сети тоже увидел — что какой-то чудесный свет озарил ее лицо и засиял в глазах какой-то божественный огонь вдохновения и решимости.

— Как могу я, простая еврейская девушка, доказать твоему высочеству, что мой бог — истинный бог, а боги Кемета — ложные боги? Не знаю... И все же среди всех богов, которым вы поклоняетесь, есть ли какой-нибудь один, кого вы могли бы противопоставить нашему богу?

— Разумеется, израильтянка, — ответила Таусерт. — Амон-Ра, Отец Богов, от кого все другие боги берут свое существование и свою силу. В святилище его храма, древнего храма, высится его статуя. Пусть твой бог сдвинет ее с места! Но что ты выставишь против величия Амона-Ра?

— Мой бог не имеет статуй, принцесса, и его место в сердцах людей — по крайней мере, так учили меня его пророки. Мне нечего выставить в этой войне кроме того, что неизбежно предлагается во всех войнах, — своей жизни.

— Что ты имеешь в виду? — спросил ошеломленный Сети.

— То, что я, одинокая, без друзей и поддержки, предстану перед Амоном-Ра в его святилище и брошу ему вызов — и пусть он убьет меня, если сможет.

Мы уставились на нее, и Таусерт воскликнула:

— Если сможет! Какое богохульство! И ты, Сети, наследственный верховный жрец бога Амона, принимаешь ее вызов? Пусть же она заплатит жизнью за это святотатство!

— А если великий бог Амон не сможет или не пожелает убить тебя, госпожа, как это докажет, что твой бог более велик, чем он? — спросил принц. — Что, если он улыбнется тебе и, пожалев тебя, пренебрежет оскорблением, как поступил со мной твой бог?

— Это будет доказано так, принц: если со мной ничего не случится или если я останусь невредима после того, что все-таки случится, тогда я осмелюсь воззвать к моему богу, чтобы он подал знак или сотворил чудо и принизил Амона-Ра у вас на глазах.

— А если твой бог тоже улыбнется и оставит твою просьбу без ответа, как он поступил с вашими жрецами, когда они воззвали к нему против меня в тот раз, — как мы тогда узнаем, кто из богов сильнее, твой или Амон-Ра?

— О принц, тогда вы ничего не узнаете. Но если я избегну гнева Амона, а мой бог останется глух к моей мольбе, тогда я готова отдаться в руки жрецов Амона, и пусть они отомстят мне за мое кощунство.

— Вот голос великого сердца, — сказал Сети, — но я не хочу, чтобы эта женщина рисковала жизнью на таких условиях. Я не верю, что верховный бог Кемета или бог израильтян откликнутся на этот вызов, но я совершенно уверен в том, что жрецы Амона отомстят за кощунство и притом жестоко. Твоя игра проигрышная, госпожа. Ты не должна доказывать истинность своей веры своей кровью.

— Почему же? — спросила Таусерт. — Что тебе эта девушка, Сети, что ты так боишься стать между нею и плодами ее кощунства, хотя ты, по крайней мере по званию, являешься верховным жрецом бога, которого она оскорбляет, и носишь его одеяние во времена храмовых мистерий? Она верит в своего бога, пусть он ей и поможет, — она же имеет дерзость утверждать, что он ей поможет.

— Ты веришь в Амона, Таусерт. Ты готова поставить свою жизнь против ее жизни в этом состязании?

— Я еще не сошла с ума и не настолько тщеславна, Сети, чтобы поверить, что бог всего мира спустится с небес спасти меня по моей просьбе, как верит — или говорит, что верит, — эта несчастная девушка.

— Ты отказываешься. Тогда, Ана, что скажешь ты, верный приверженец Амона?

— Скажу, принц, что было бы слишком самонадеянным с моей стороны высказывать свое мнение по такому вопросу, прежде чем выскажется его верховный жрец.

Сети улыбнулся и ответил:

— А верховный жрец говорит, что было бы самонадеянностью настолько расширять прерогативы его высокой должности, к которой он, к тому же, никогда не стремился.

— О принц, — сказала Мерапи умоляющим голосом, — молю тебя, будь милостив ко мне и дай мне пройти через это испытание, мысль о котором, сама не знаю почему, пришла мне в голову. Слова, сказанные мной, нельзя взять обратно. Они уже внесены в Книгу Вечности и рано или поздно, так или иначе должны осуществиться. Вопрос касается моей жизни, и я желаю сразу же узнать, потеряна ли она.

Теперь даже Таусерт посмотрела на нее с восхищением, но сказала только:

— Поистине, израильтянка, я верю, что это мужество не покинет тебя, когда тебя отдадут на милость Ки, жреца храма Амона, и других жрецов в

подземелье храма, который ты осквернишь своим кощунством.

— Я тоже верю, что оно меня не оставит, принцесса, если такова будет моя судьба. Твое слово, о принц Египта.

Сети посмотрел на нее — она стояла перед ним спокойная, склонив голову и скрестив на груди руки. Потом он перевел взгляд на Таусерт, на лице которой играла насмешливая улыбка. Он прочитал значение этой улыбки, как прочел его и я. Она означала, что принцесса не верит, чтобы он позволил этой прекрасной женщине, которая спасла ему жизнь, рисковать своей жизнью ради какой-либо или всех сил неба и ада. Некоторое время он ходил взад и вперед по комнате, потом остановился и сказал, обращаясь неожиданно не к Мерапи, а к Таусерт:

— Будь по-твоему, но помни — если эта смелая женщина умрет, ее кровь будет на твоих руках, а если она восторжествует и будет жить, я сочту ее самой благородной из женщин и займусь изучением всех вопросов ее религии. Луна Израиля! Как титулованный верховный жрец Амона-Ра я принимаю твой вызов от имени бога, хотя и не знаю, обратит ли он на него внимание. Испытание состоится завтра ночью в святилище храма, в час, о котором тебе сообщат. Я буду присутствовать — и другие тоже — и следить, чтобы все было по справедливости. Запиши мои распоряжения, писец Ана, и вызови ко мне главного жреца Амона Рои и жреца Амона мага Ки — я хочу поговорить с ними. Прощай, госпожа.

Она пошла, но у дверей обернулась и сказала:

— Благодарю тебя, принц, от своего имени и от имени моего народа. Что бы ни случилось, умоляю тебя — не забудь моей просьбы спасти их, невинных, от меча. А сейчас, пока меня не вызовут в храм, прошу оставить меня совсем одну. Я должна, насколько смогу, подготовиться к тому, что меня ожидает, какова бы ни была моя судьба.

Вслед за ней ушла и Таусерт, не сказав ни слова.

— О друг, что я сделал! — сказал Сети. — Есть ли на свете боги? Скажи мне, есть ли вообще боги?

— Возможно, мы узнаем это завтра ночью, принц, — сказал я. — По крайней мере, Мерапи считает, что один бог есть, и, несомненно, получила приказ доказать правоту своей веры. Именно этот приказ ей и передал, думаю, ее дядя Джейбиз.

Это было за час до рассвета, когда ночь всего темнее. Мы стояли в святилище древнего храма Амона-Ра, освещенного множеством светильников. Все внушало благоговейный ужас. Величественные колонны подымались к массивной крыше. Во главе алтаря на троне высилась статуя Амона-Ра, втрое превышавшая рост человека. Над его челом, как бы вырастая из короны, возвышались два каменных пера, а в руках он держал Бич Власти и символы Могущества и Бессмертия. Отблески света мерцали на его суровом, страшном неподвижном лице, с неподвижным взором, обращенным к востоку. Справа от него была статуя Мут, Матери всех вещей. На голове ее была двойная корона Египта с царственным уреем, в руке — перекрещенная петля, символ вечной Жизни. Слева сидел Хонсу — бог луны с головой ястреба, увенчанный серпом молодого месяца, несущий диск полной луны, в правой руке он тоже держал перекрещенную петлю, знак вечной Жизни, а в левой — Жезл Силы. Такова была эта могущественная триада, но самым великим в ней был Амон-Ра, коему и был посвящен этот алтарь. Страшно выглядели они, возвышаясь над нами на фоне черной тьмы.

Здесь собрались: принц Сети, облаченный в белое одеяние жреца и в льняном головном уборе, но без украшений, принцесса Таусерт, верховная жрица Хатхор, богини Любви и Природы. На ней был головной убор богини — голова грифа с диском луны, отлитым из серебра. Были здесь также главный жрец Рои в торжественном жреческом облачении — старый, иссохший человек с властным, жестоким лицом, Ки — жрец и маг, старый Бакенхонсу, я и группа жрецов Амона-Ра, Мут и Хонсу. Из-за статуи доносилось торжественное пение, хотя мы и не видели, кто пел.

Но вот из тьмы, обступившей освещенную часть святилища, появилась женщина, окутанная длинным плащом. Ее вели две жрицы. Выведя ее на открытое пространство перед статуей Амона, они сняли с нее плащ и удалились, оглядываясь на нее со страхом и ненавистью. Перед нами стояла Мерапи, вся в белом; белое покрывало, наброшенное на голову, обрамляло ее лицо, закрывая щеки, подбородок и шею, закрепляясь на груди застежкой со скарабеем, которую Сети дал ей в пустыне у города Гошен, — единственное яркое пятно, голубевшее среди облака белизны. Она не смотрела ни вправо, ни влево. Только однажды она взглянула вверх, на мрачную статую бога и, слегка задрожав, отвела взгляд, устремив его на выложенный в полу узор.

— На кого она похожа? — прошептал мне на ухо Бакенхонсу.

— На мертвеца, готового для бальзамирования, — ответил я.

Он отрицательно покачал головой.

— Ну, тогда на молодую жену, подготовленную к приему своего мужа.

Он снова покачал головой.

— Тогда на жрицу, которая собирается читать свиток Тайн.

— Верно, Ана, — и понять то, что она читает. А на это способны лишь немногие из жриц. Но все три ответа были правильны, ибо в этой женщине, мне кажется, я вижу судьбу, которая есть Смерть, жизнь, которая есть Любовь, и дух, который есть Сила. У нее душа, которую целовали и Небо и Земля.

— Да, но кто из них предъявит на нее свои права в конечном итоге?

— К рассвету мы узнаем, Ана. Тише! Борьба начинается.

Главный жрец Рои выступил вперед и, остановившись перед богом, окропил его ступни водой и благовониями. Потом он простер руки и все пали ниц, исключая Мерапи, которая оставалась стоять, как одинокий воин, уцелевший на поле битвы.

— Привет тебе, Амон-Ра, — начал он. — Повелитель Небес, Творец всего сущего, Создатель богов, воздвигший небесные своды и построивший основание Земли! О бог богов, перед тобой эта женщина Мерапи, дочь Натана, дитя израильского народа, который не признает тебя. Эта женщина сомневается в твоём могуществе; эта женщина ставит своего бога выше тебя. Не так ли, женщина?

— Так, — ответила Мерапи тихим голосом.

— Она бросает тебе вызов, о Единственный и Единый во многих формах, говоря: «Если бог египтян Амон — более великий бог, чем мой бог, пусть он вырвет меня из объятий моего бога и здесь, в этом самом святилище Амона, похитит дыхание из моих уст и оставит меня безжизненным телом из глины». Это твои слова, о женщина?

— Это мои слова, — сказала она тем же тихим голосом, и, услышав это, я содрогнулся.

Жрец продолжал:

— О повелитель времени, повелитель жизни, повелитель духов и небожителей, повелитель ужаса, явись в своём величии и сотри в прах эту богохульницу.

Рои отступил, и его место занял Сети.

— Узнай, о бог Амон, — сказал он, обращаясь к статуе, как будто говорил с живым человеком, — узнай от меня, твоего верховного жреца, урожденного принца и наследника трона Кемета, что это дело будет иметь великие последствия на земле Кемета, может быть, даже в том, кто займет трон, который ты даруешь его царям. Эта женщина Израиля дерзает

говорить тебе прямо в лицо, что есть бог более великий, чем ты, и что ты не сможешь повредить ей, ибо она за щитом его силы. Она говорит также, что попросит своего бога подать знак и сотворить над ней чудо. Наконец, она говорит, что если ты оставишь ее невредимой, а ее бог не подаст о себе никакого знака, тогда она готова остаться в руках твоих жрецов и умереть смертью богохульницы. Твоя честь поставлена против ее жизни. О великий бог Кемета, и мы, поклоняясь тебе, ждем и следим, куда склонится чаша весов.

— Хорошо и правильно изложено, — пробормотал Бакенхонсу. — Теперь, если Амон не поддержит нас, что ты подумаешь об Амоне, Ана?

— Я узнаю мнение верховного жреца и подумаю то, что подумает верховный жрец, — ответил я уклончиво, хотя в душе я смертельно боялся за Мерапи и, сказать по правде, за себя тоже, ибо во мне возникли сомнения и я никак не мог их подавить.

Сети вернулся на свое место рядом с Таусерт, и теперь вперед выступил Ки и сказал:

— О Амон, я, твой жрец и маг, кому ты дал власть и силу, я, жрец и слуга Исиды, Матери Таинств, царицы богов, к тебе я взываю! Та, что стоит перед тобой, всего лишь еврейская женщина. И однако ты знаешь, как знаю я, о Отец, что в этом доме она больше, чем женщина, ибо она — Глас и Меч твоего врага Яхве, бога Израиля. Она, может быть, считает, что пришла сюда по своей воле, но ты, Отец Амон, знаешь, как и я, что ее послали великие пророки ее народа, те маги, которые своими чарами склоняют ее душу к тому, чтобы причинить тебе зло и подвести тебя, Амона, под пяту Яхве. Ставка как будто малая — жизнь лишь одной этой девушки, не больше; однако это великая ставка, о Отец: кто будет править миром — Амон или Яхве. Если ты падешь этой ночью — ты падешь навсегда, если ты восторжествуешь — ты восторжествуешь навсегда. В этом образе из камня скрывается твой дух, в этом образе из женской плоти скрывается дух твоего врага. Сокруши ее, о Амон, сокруши ее в мелкий прах, не дай силе, что таится в ней, одержать верх над твоей силой, иначе имя твое будет осквернено, и горе и лишения обрушатся на землю, которая служит тебе тронem, и колдуны израильтян одолеют нас, твоих слуг. Так молит тебя Ки, твой маг, в чью душу тебе угодно было вдохнуть силу и мудрость.

Наступило глубокое молчание.

Следя за статуей бога, я вдруг подумал, что она шевельнулась, и по движению остальных понял, что они увидели то же, что и я. Мне показалось, что ее каменные глаза ожили, что она подняла гранитную руку,

державшую Бич Власти, — хотя было ли это результатом действий какого-либо духа или кого-нибудь из жрецов, или магии Ки, я не знаю. По крайней мере, сильный порыв ветра пронесся по храму, всколыхнув наши одежды и чуть не погасив светильники. Только одеяние Мерапи не шелохнулось. Однако она увидела нечто, недоступное моему взору, ибо в глазах ее появился страх.

— Бог пробудился, — шепнул Бакенхонсу. — Теперь прощай, наша красавица-израильтянка. Смотри, принц дрожит, Ки улыбается, а лицо Таусерт сияет торжеством.

Не успел он договорить, как голубой скарабей отделился от ткани на груди Мерапи, как будто сорванный чьей-то рукой. Он упал на пол, как и покрывало с головы Мерапи, и ее густые черные волосы рассыпались по плечам. Потом глаза статуи перестали двигаться, ветер стих и снова наступило молчание.

Мерапи нагнулась, подняла покрывало, набросила его на голову, нашла скарабея и очень спокойно, как сделала бы одевающаяся женщина, снова приколола его на груди; при этом я услышал, как охнула Таусерт.

Долго мы ждали. Наблюдая за окружающими, я видел изумление и сомнение на лицах жрецов, ярость в глазах Ки; на лице же Сети промелькнула легкая улыбка. Мерапи закрыла глаза, как будто уснула. Наконец она открыла их и, повернув голову в сторону принца, сказала:

— Верховный жрец Амона-Ра, проявил ли твой бог свою волю по отношению ко мне, или я должна еще подождать, прежде чем воззвать к моему богу?

— Делай, что хочешь или что можешь, женщина, и кончай с этим, — уже скоро рассвет, когда в храме начнется обычный ритуал.

Тогда Мерапи сложила руки и, подняв глаза, начала молиться вслух, нежно и просто говоря:

— О Бог моих отцов, вверяясь тебе, я, бедная девушка твоего народа Израиля, отдаю жизнь, что ты даровал мне, в твои руки. Если, как я верю, ты Бог богов, молю тебя — подай знак и соверши чудо над этим богом египтян, подтверди свою Честь и сохрани дыхание в моей груди. Если же тебе неудобно, тогда пусть я умру, как я несомненно заслуживаю за многие свои грехи. О Бог отцов моих, я сотворила свою молитву. Выслушай ее или отвергни, да будет на все твоя воля.

Так закончила она, и, слушая ее, я почувствовал, что глаза мои наполняются слезами, потому что она была так одинока, и я боялся, что ее бог ни за что не спасет ее от уготованных ей жрецами мук. Сети тоже отвернулся и устремил взор на полоску неба над открытым двориком, где



уже появились первые проблески зари.

И опять наступило молчание. И вдруг снова поднялся ветер, сильнее, чем прежде, погасил светильники и, как мне показалось, отбросил Мерапи в сторону, ибо теперь она стояла сбоку от статуи. В святилище воцарилась тьма; и вот первые лучи восходящего солнца коснулись крыши. С каждой минутой они продвигались все ниже и ниже, пока наконец не опустились, как пламенный меч, на статую Амона-Ра. И вновь статуя как будто шевельнулась. Мне показалось, что она подняла свою каменную руку, словно защищая голову. И потом в одно мгновение вся эта могучая глыба раскололась с оглушительным шумом и рассыпалась прахом вокруг трона, почти целиком покрыв его.

— Смотрите, мой Бог ответил мне, самой смиренной из его слуг, — сказала Мерапи тем же нежным и мягким голосом. — Вот его знак и чудо!

— Ведьма! — закричал главный жрец Рои и бежал в сопровождении своих коллег.

— Колдунья! — прошипела Таусерт и тоже обратилась в бегство, как и все остальные, кроме принца, Бакенхонсу, меня — Аны, и мага Ки.

Мы стояли в изумлении, а Ки повернулся к Мерапи и заговорил. Лицо его, выражавшее страх и ярость, было ужасно, глаза горели, точно светильники. Хотя он говорил шепотом, я стоял ближе, чем все остальные, и слышал все, что говорилось и чего те не могли слышать.

— Твоя магия хороша, израильтянка, — пробормотал Ки, — настолько, что превзошла мою даже в этом храме, где я служу.

— Я не владею никакой магией, — отвечала она очень тихо. — Я повиновалась Высшей воле, не больше.

Он жестко рассмеялся и спросил:

— Стоит ли двум коллегам терять время на глупости? Послушай: научи меня твоим секретам, я же научу тебя своим, и вместе мы станем править Египтом, как колесницей.

— У меня нет секретов, у меня только вера, — снова сказа Мерапи.

— Женщина, — не отступал он, — женщина или дьявол, ты хочешь иметь во мне друга или врага? Сейчас я посрамлен — ведь это на меня, а не на твоих богов полагались жрецы, готовясь уничтожить тебя. Однако я еще могу простить. Выбирай — и знай, что так же, как моя дружба дает тебе власть, жизнь и богатство, так же моя ненависть обречет тебя на позор и смерть.

— Ты вне себя и сам не знаешь, что говоришь. Повторяю, я не владею никакими секретами магии, которыми могла бы с тобой поделиться или которые хотела бы скрыть, — ответила она тоном человека, несведущего

или равнодушного к предмету разговора, и отвернулась от него.

В ответ он пробормотал какое-то проклятие, которого я не уловил, поклонился гряде пыли, которая была до этого статуей бога, и исчез среди колонн святилища.

— Охо-хо! — засмеялся Бакенхонсу. — Не зря я дожил до такой старости, ибо в Египте, кажется, появился новый бог, и вот его пророчица.

Мерапи подошла к принцу.

— О верховный жрец Амона, — сказала она, — угодно ли тебе отпустить меня? Я очень устала.

## Х. Смерть фараона

Наступил назначенный день и час. По распоряжению принца я поехал во дворец фараона в его колеснице, так как ее высочество принцесса отказалась сесть с нами рядом, и мы впервые заговорили о том, что произошло.

— Ты видел госпожу Мерапи? — спросил принц.

Я ответил, что нет, ибо мне сказали, что она нездорова и лежит в постели в своем доме, страдая от переутомления или не знаю от чего еще.

— Хорошо, что она не выходит из дома, — сказал Сети, — если бы она вышла, эти жрецы, я думаю, умертвили бы ее при первой возможности. Кроме того, есть и другие. — И он оглянулся на колесницу, в которой во всем царственном великолепии ехала Таусерт. — Скажи мне, Ана, ты можешь найти объяснение всему, что произошло?

— Я? Нет, принц. Я думал, что, может быть, твое высочество, верховный жрец Амона, смог бы просветить меня.

— Верховный жрец Амона сам блуждает в густой тьме. Ки и все прочие клянутся, будто эта израильтянка — колдунья, которая превзошла наших магов, но, по-моему, проще поверить в то, что она говорит правду: что ее бог сильнее, чем Амон.

— А если так, принц, что же нам делать? Ведь мы поклялись в верности богам Кемета?

— Склонить головы и пасть вместе с нашими богами, Ана, ибо чувство чести не позволит нам покинуть их.

— Даже если они ложные, принц?

— Я не думаю, что они ложные, Ана, хотя, возможно, и не такие истинные. Во всяком случае, это боги Кемета, а мы — египтяне. — Он помолчал, глядя на переполненные людьми улицы, и добавил: — Смотри, когда я проезжал здесь три дня назад, народ встречал меня приветственными криками. А сейчас они молчат, все как один.

— Может быть, они слышали о том, что было в храме?

— Несомненно, но не это их беспокоит, ибо они считают, что боги сами постоят за себя. Они слышали также, что я хочу поддержать израильтян, которых они ненавидят, и поэтому начинают ненавидеть и меня. Впрочем, почему бы мне жаловаться, если сам фараон подает им пример?

— Принц, — прошептал я, — что ты скажешь фараону?

— Это зависит от того, что фараон скажет мне. Но, Ана, если я — даже, может быть, в ущерб себе — не хочу покинуть наших богов потому, что они кажутся слабыми, неужели ты думаешь, что я покинул бы этих евреев, которые кажутся слабее, даже ради того, получить трон?

— Вот голос величия, — пробормотал я, и когда мы сошли с колесницы, он поблагодарил меня взглядом.

Мы прошли через большой зал в ту же комнату, где фараон назначил меня советником и наградил золотой цепью. Он был уже там в торжественном облачении и увенчанный двойной короной. Вокруг собрались все члены царского дома и высшие государственные сановники. Мы почтительно склонились перед ним, но он как будто не обратил на нас никакого внимания. Он сидел прикрыв глаза, и я подумал, что у него вид тяжело больного человека. Но когда вслед за нами вошла Таусерт, он сказал ей несколько слов приветствия и протянул руку для поцелуя. Потом он приказал закрыть двери. В этот момент доложили, что прибыл еврейский посол, который хочет поговорить с фараоном.

— Пусть войдет, — сказал Мернептах, и тот явился.

Это был человек средних лет с дикими глазами и длинными волосами, ниспадавшими на его одежду из овчины. На мой взгляд, он был похож на прорицателя. Он остановился перед фараоном, даже не поклонившись.

— Изложи, что тебе нужно, и уходи, — сказал визирь Нехези.

— Моими устами говорят Отцы Израиля! — воскликнул этот человек громким голосом, наполнившим гулким эхом сводчатую комнату. — До нашего слуха дошло, о фараон, что женщина Мерапи, дочь Натана, прозванная также Луной Израиля, та, что нашла убежище в твоём городе, оказалась пророчицей, которую наш бог наделил особой силой, так что она, стоя одна среди жрецов и магов Амона, бога египтян, была неуязвима для их колдовских чар и смогла мечом молитвы сокрушить идола Амона, превратив его в прах. Мы требуем, чтобы эта пророчица была нам возвращена, и со своей стороны клянемся, что она будет доставлена целой и невредимой ее нареченному мужу и не пострадает за те преступления или измены, какие она могла совершить против своего народа.

— По этому делу, — спокойно ответил фараон, — обратись со своей просьбой к принцу Египта, в чьем доме, как я понимаю, живет эта женщина. Если ему угодно выдать ее — эту, как я считаю, колдунью или ловкую фокусницу — ее жениху и родственникам, пусть выдаст. Не дело фараона решать судьбы отдельных рабов.

Человек резко обратился к Сети:

— Ты слышал, сын царя? Ты освободишь эту женщину?

— Не обещаю ни освободить ее, ни удержать, — сказал Сети, — поскольку госпожа Мерапи не принадлежит к моему дому, и я не имею над ней власти. Она спасла мне жизнь, если ей угодно будет уйти, она уйдет, если ей угодно остаться здесь, она останется. Когда Совет кончится, я дам тебе почетную охрану, и ты пройдешь к ней и узнаешь о ее желании из ее собственных уст.

— Ты получил ответ, а теперь уходи, — сказал Нехези.

— Нет! — воскликнул человек. — Я еще не все сказал. Отцы Израиля говорят: мы знаем о черных замыслах твоего сердца, о фараон. Нам ясно свыше, что ты намерен предать сынов Израиля мечу, в то время, как принц Египта намерен спасти их от меча. Откажись от своего намерения, о фараон, и поскорее, чтобы смерть не сразила тебя по воле небес.

— Замолчи! — вскричал Мернептах громовым голосом, заглушившим возмущенный ропот придворных. — Еврейская собака, ты смеешь угрожать фараону на его собственном троне? Да не будь ты посланцем и потому, по древнему обычаю, неприкосновенным, пока не зашло солнце, тебя бы тотчас разрубили на мелкие куски. Прочь его! И если его обнаружат в этом городе после наступления ночи, он будет убит.

Тогда на него набросились несколько советников и грубо поволокли его к выходу. У дверей он вырвался и прокричал:

— Подумай о моих словах, фараон, пока не село солнце! И вы, знатные мужи Кемета, подумайте о них, пока оно не появится вновь!

Они ударами прогнали его и закрыли двери. И фараон снова заговорил:

— Теперь, когда этот скандалист убрался, что ты хочешь сказать мне, принц Египта? Ты все еще настаиваешь на рекомендации, которую дал в своем докладе? Ты все еще отказываешься, пользуясь правом наследника Трона, согласиться с моим решением — уничтожить этих проклятых израильтян мечом моего правосудия?

Все взгляды устремились на Сети, который, немного подумав, сказал:

— Да простит меня фараон, но мой совет остается все тем же, мое несогласие с твоим решением — то же. Потому что сердце говорит мне, что это справедливо, и я думаю, что это спасет Египет от многих бед.

Подождав, пока писцы зафиксируют эти слова, фараон снова спросил:

— Принц Египта, если бы в недалеком будущем ты занял мое место, остался бы ты при своем намерении — дать израильскому народу беспрепятственно уйти и унести с собой все богатства, которые они здесь накопили?

— Да простит меня фараон, я останусь при своем намерении.

При этих роковых словах у всех, кто их слышал, вырвался вздох изумления. Прежде чем он замер, фараон уже повернулся к Таусерт, спрашивая ее:

— Является ли это и твоим советом, твоей волей и твоим намерением, о принцесса Египта?

— Да услышит меня фараон, — ответила Таусерт холодным и ясным голосом. — Нет. В этом важном вопросе мой супруг принц идет одной дорогой, а я — другой. Мой совет, моя воля и мое намерение те же, что у фараона.

— Сети, сын мой, — сказал Мернептах мягким и добрым голосом, какого я еще никогда у него не слышал, — последний раз, не как царь, а как отец твой, прошу тебя — подумай. Вспомни, что так же, как в твоей власти (поскольку ты совершеннолетний и участвовал вместе со мной во многих государственных делах) отказаться дать согласие в вопросе важного государственного значения, точно так же в моей власти, с согласия верховных жрецов и моих помощников-министров, устранить тебя с моего пути. Сети, я могу лишить тебя прав наследника и посадить на твое место другого и, если ты будешь упорствовать и дальше, именно это я и сделаю. Поэтому подумай хорошенько, сын мой.

Среди напряженного молчания Сети ответил:

— Я подумал, о отец мой, и чего бы мне это ни стоило, не могу взять свои слова обратно.

Тогда фараон поднялся и вскричал:

— Запомните все, собравшиеся здесь, и пусть об этом объявят народу Кемета, чтобы все за этими стенами тоже запомнили, что я низлагаю моего сына Сети как принца Египта и объявляю, что он лишен права унаследовать двойную корону. Запомните, что моя дочь Таусерт, принцесса Египта, жена принца Сети, остается при всех своих правах. Все права и привилегии, положенные ей как наследнице короны, остаются за ней, и если у нее и у принца Сети родится дитя и будет жить, это дитя будет наследником египетского трона. Запомните, что если такое дитя не родится, или до его рождения, я нарекаю моего племянника Аменмеса, сына моего брата Кхемуаса, почившего в царстве Осириса, тем, кто вступит на престол Египта, когда меня не станет. Подойди ко мне, Аменмес.

Тот подошел и остановился перед ним. Фараон снял с головы двойную корону и на минуту увенчал ею Аменмеса, говоря в то время, как снова надевал ее на себя:

— Этим актом и знаком я нарекаю и назначаю тебя, Аменмес, царственным принцем Египта вместо моего сына, низложенного принца

Сети. Иди, царственный сын — принц Египта. Я сказал!

— Жизнь! Кровь! Сила! — воскликнули все, склоняясь перед фараоном, — все, кроме принца Сети, который не поклонился и не двинулся с места. Он только воскликнул:

— О, я слышал! Угодно ли фараону объявить, не лишит ли он меня вместе с наследством и жизни? Если так, пусть это будет здесь и сейчас же. Мой кузен Аменмес имеет при себе меч.

— Нет, сын, — печально ответил Мернептах, — твоя жизнь остается с тобой, и вместе с нею — все твои личные титулы и твои владения, каковы бы они ни были.

— Да будет воля фараона, — произнес Сети безразличным тоном, — и в этом деле, как и во всех других, фараон оставляет мне жизнь до того времени, когда его преемник, Аменмес, займет его место и отнимет ее у меня.

Мернептах вздрогнул; эта мысль не приходила ему в голову.

— Выйди вперед, Аменмес, — воскликнул он, — поклянись тройной клятвой, которую нельзя нарушить! Поклянись Амоном, Птахом и Осирисом, богом смерти, в том, что ты никогда не попытаешься причинить вред принцу Сети, твоему двоюродному брату, — ни телесный, ни в его делах и правах, которые за ним остаются. Пусть Рои, главный жрец Амона, примет у тебя эту клятву в нашем присутствии.

Тогда Рои произнес слова клятвы в ее древней форме, клятвы, которую даже слушать было страшно, и Аменмес весьма неохотно, как я подумал, повторил ее за ним, слово в слово, добавив, однако, в конце следующие слова: «Все это я клянусь исполнить, и все кары в этом мире и в будущем призываю на свою голову лишь в том случае, если принц Сети оставит меня в покое, когда наступит мое время занять трон, который фараону угодно было мне завещать».

Кое-кто осмелился заметить вполголоса, что этого недостаточно, ибо мало было таких, кто в глубине души не любил бы Сети и не скорбел бы, глядя, как его лишили прав наследника из-за того, что его мнение в одном вопросе государственной политики расходится с мнением фараона. Но Сети только засмеялся и презрительно сказал:

— Пусть будет, как есть, ибо какую цену имеют такие клятвы? Фараон на троне выше всяких клятв, он отвечает только перед богами, а от некоторых сердец боги очень и очень далеки. Пусть Аменмес не боится, что я начну ссориться с ним из-за короны! По правде говоря, я никогда не жаждал величия и тревог царской власти и лишенный их по-прежнему имею все, чего мог бы желать. Отныне я пойду дорогой многих, как один

из египетской знати, не более; и если в будущем фараону угодно прекратить мои странствия, я и тогда не стану горевать; я готов принять приговор богов, как в конце концов должен будет принять его и он сам. И все же, фараон, отец мой, прежде чем мы расстанемся, позволь мне высказать мысли, которые поднимаются во мне.

— Говори, — пробормотал Мернептах.

— Фараон, с твоего разрешения скажу тебе: сегодня ты совершил большое зло — дело, которое не одобряют силы, правящие миром, кто или чем бы они не были; дело, которое принесет Кемету беды, неисчислимые, как песчинки в пустыне. Я думаю, что эти израильтяне, которых ты несправедливо собираешься уничтожать, поклоняются богу столь же великому, как наш бог, если не более, и что они и он восторжествуют над Египтом. Я думаю также, что великое наследство, которое ты у меня отнял, не принесет ни радости, ни почета тому, кто его получил.

Аменмес готов был вспылить, но Мернептах поднял руку, и он промолчал.

— Я думаю, фараон, — мне больно говорить об этом, но я должен, — что дни твои на земле сочтены и что мы смотрим в этой жизни друг на друга последний раз. Прощай, фараон, отец мой, кого я люблю в этот час расставания, может быть, больше, чем когда-либо прежде. Прощай, Аменмес, принц Египта. Прими от меня это украшение, которое отныне будешь носить только ты. — И сняв с головы венец наследника престола, он протянул его Аменмесу, который взял его с торжествующей улыбкой и надел на себя.

— Прощайте, вельможи и советники; надеюсь, в этом принце вы найдете хозяина, который будет вам больше по вкусу, чем мог бы стать я. Пойдем, Ана, друг мой, — если ты все еще хочешь быть мне другом, ведь теперь мне нечего делить.

Несколько мгновений он постоял, не сводя с отца проникновенного взгляда, в то время, как тот смотрел на него со слезами в запавших выцветших глазах.

Потом — не знаю, было ли это преднамеренно или случайно — Сети выпрямился и, не обращая внимания на Таусерт, которая смотрела на него в замешательстве и с гневом, воскликнул:

— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон! — и поклонился почти до земли.

Мернептах слышал. Бормоча почти шепотом:

— О Сети, сын мой, самый любимый мой сын! — он простер руки, словно пытаясь вернуть, а может быть обнять его. И вдруг я увидел, что он



изменился в лице. И в следующий миг он упал лицом вниз и остался лежать, не двигаясь. Все замерли, охваченные ужасом, только придворный врач бросился к нему, а Рои и другие жрецы забормотали молитвы.

— Добрый бог отошел к Осирису? — произнес Аменмес хриплым голосом. — Ибо, если это так, то я — фараон!

— Нет, о Аменмес! — воскликнула Таусерт. — Его указы еще не утверждены и на них нет печати. Они не имеют ни силы, ни веса.

Прежде чем тот успел ответить, врач вскричал:

— Тише! Фараон еще жив, сердце бьется. Это только припадок, он может оправиться. Уходите все, ему нужен покой.

И мы ушли, но прежде Сети опустился на колени и поцеловал отца в лоб.

\* \* \*

Час спустя принцесса Таусерт ворвалась в комнату Сети в его дворце, где мы с ним разговаривали.

— Сети, — сказала она, — фараон еще жив, но врачи говорят, что к рассвету он умрет. Еще есть время. Вот у меня тут написано, за его печатью и с подписями свидетелей, что он отменяет все сегодняшние приказы и объявляет тебя, своего сына, истинным и единственным наследником египетского трона.

— В самом деле, жена? Объясни мне, как умирающий человек, к тому же без сознания, мог продиктовать такое завещание и поставить на него печать? — И он дотронулся до свитка, который она держала в руке.

— Он ненадолго пришел в себя; Нехези скажет тебе, как, — ответила она, смотря ему в лицо холодным взглядом. Прежде чем он мог возразить, она добавила: — Не теряй времени на вопросы, а действуй, и немедленно. Начальник охраны ждет внизу; он твой преданный слуга. Через него я обещала наградить каждого солдата в день твоей коронации. Нехези и большинство сановников на твоей стороне. Против нас только жрецы — из-за этой еврейской колдуньи, которой ты дал убежище, и из-за ее племени, которому ты хочешь помочь; но они еще не успели поднять народ и не решатся восстать. Действуй, Сети, действуй, — без твоего личного приказа никто не тронется с места. Да и потом не возникнет никаких вопросов, ведь от Фив до моря и во всем мире тебя знают как наследника Египта.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал? — спросил Сети, когда она остановилась, чтобы перевести дух.

— А ты не догадываешься? Неужели я должна вкладывать идеи в твою голову, как и меч в руку? Даже твой писец, который ходит за тобой по пятам, как любимый пес, был бы лучшим учеником. Ну, так слушай. Аменмес собирает войско, но пока что у него нет и пятидесяти человек, на которых он мог бы положиться. — Она наклонилась к нему и неистово зашептала: — Убей предателя Аменмеса — все примут это как акт справедливости, а начальник ждет твоего слова. Я позову его?

— Нет, — сказал Сети. — Разве то, что фараон, пользуясь своим правом, назвал другого человека царской крови своим наследником, делает того предателем по отношению к фараону, который еще жив? Нет, предатель или не предатель, я не убью моего кузена Аменмеса.

— Тогда он убьет тебя!

— Может быть. Это дело между ним и богами, пусть они и решают. Клятву, которую он дал сегодня, не так-то легко нарушить. Но нарушит он ее или нет, я тоже дал клятву, по крайней мере в сердце, в том, что я никогда не стану оспаривать решения фараона, которого я, в конце концов, люблю, как своего царя, фараона, который еще жив и, я надеюсь, еще может оправиться. Что бы я сказал ему, если бы он поправился или, в худшем случае, если бы мы встретились в другом мире?

— Фараон никогда не поправится; я говорила с врачом, он мне сказал. Они уже пробуравливают ему череп, чтобы выпустить злой дух болезни, а после этого никто из нашей семьи не жил долго.

— Потому что они впускают внутрь добрый дух смерти, что бы там ни говорили жрецы и врачи. Ана, прошу тебя, если я...

— Сети, — прервала она, стукнув рукой по столу, возле которого стояла, — ты понимаешь, что пока ты тут размышляешь и морализируешь, твоя корона уходит из твоих рук?

— Она уже ушла, госпожа. Разве ты не видела, как я передал ее Аменмесу?

— Да понимаешь ли ты, что вместо того, чтобы стать величайшим царем во всем мире, ты — если вообще тебя оставят в живых — через несколько часов будешь ничем, простым египетским горожанином, в которого может безнаказанно плюнуть даже нищий?

— Конечно, жена, больше того, в том, что я делаю, нет особой добродетели, поскольку такая перспектива меня, в целом, даже устраивает, и я готов пойти на риск и покинуть этот мир зла. Послушай, — добавил он совсем другим тоном. — Ты думаешь, что я глуп и слаб, и мечтатель тоже,

ты — проницательная, хладнокровная женщина с государственным умом, готовая платить кровью за блеск и торжество момента, не стараясь понять, что за всем этим скрывается. У меня нет этих качеств, за исключением, может быть, последнего. Я лишь человек, который смирился, стремится быть справедливым и поступать правильно, насколько я это понимаю; и если я мечтаю, то о добре, а не о зле, — как я понимаю добро и зло. Ты убеждена, что эти мечтания приведут меня к житейским потерям и позору. Я же не уверен даже в этом. Мне приходит в голову, что они приведут меня к тем же самым побрякушкам, которых жаждешь ты, но только по дороге, усыпанной благоухающими цветами, а не костями людей, издающими трупный запах. Короны, которые покупаются ценой крови и удерживаются жестокостью, обычно и утрачиваются в кровопролитии, Таусерт.

Она замахала руками:

— Пожалуйста, замолчи! Оставь остальное до того дня, когда у меня будет время слушать. Уж если мне понадобятся пророчества, я лучше обращусь к Ки и к тем, для которых это — дело жизни. Для меня сегодня — это время действий, а не мечтаний, и, поскольку ты отвергаешь мою помощь и ведешь себя, как больная девчонка во власти фантазии, мне придется рассчитывать только на себя. Но пока ты жив, я не могу ни править одна, ни вести войну от твоего имени, так что я пойду к Аменмесу — он щедро заплатит мне за мир между нами.

— Ты пойдешь — и вернешься, Таусерт?

Она гордо выпрямилась, приняв царственный вид, и медленно сказала:

— Я не вернусь. Я, египетская принцесса, не могу жить как жена простого человека, того, кто свалился с трона на землю и начинает пачкать грязью собственный лоб, который венчала корона с уреем. Когда твои предсказания сбудутся, Сети, и ты выберешься из пыли, тогда, возможно, мы поговорим.

— Да, Таусерт, вопрос лишь в том, что мы друг другу скажем?

— А пока, — добавила она, собираясь уйти, — оставляю тебя с избранными тобой советчиками — твоим писцом, который преждевременно поседел от глупости, но не от мудрости, и, может быть, с еврейской колдуньей, которая может напоить тебя лунными лучами из своих лживых уст. Прощай, Сети, когда-то принц и мой супруг.

— Прощай, Таусерт, только боюсь, ты все равно останешься моей сестрой.

Он проводил ее взглядом и, повернувшись ко мне, сказал:

— Сегодня, Ана, я потерял и корону, и жену, и, однако, как ни странно, я не знаю, которое из этих зол меньше. Но на этот раз зло еще не

исчерпано. Может быть, и ты тоже уйдешь, Ана? Хоть принцесса и издевается над тобой в гневе, на самом деле она о тебе хорошего мнения и с удовольствием приняла бы тебя к себе на службу. Запомни, в Египте может пасть кто угодно, но только не она: она-то продержится до конца.

— О принц, — ответил я, — неужели я так мало вытерпел сегодня, что ты хочешь добавить еще и оскорбление к моим горестям? Не я ли разделил с тобой чашу и поклялся быть твоим другом?

— Как! — засмеялся он. — Неужели в Кемете еще есть человек, который помнит клятвы себе в ущерб? Спасибо тебе, Ана. — И взяв мою руку, он крепко пожал ее.

В этот момент дверь открылась и вошел старый Памбаса.

— Эта женщина, Мерапи, хотела бы видеть тебя, а также два израильянина, — сказал он.

— Впусти их, — ответил Сети. — Заметь, Ана, как этот старый служака отворачивает лицо от заходящего солнца. Еще утром он сказал бы «видеть твое высочество» и поклонился бы так низко, что его борода коснулась бы пола. А теперь это просто «видеть тебя» и не более чем легкий кивок в знак обычной учтивости. Да еще со стороны того, кто грабил меня из года в год и разжирел на взятках. Это первый из горьких уроков — нет, пожалуй, второй, ибо первый я получил от ее высочества. Только бы научиться принимать их со смирением.

Пока он предавался этим размышлениям вслух, а я, не находя слова утешения, внимал ему с печалью в сердце, вошла Мерапи, а минутой позже следом за ней явились тот посланец с дикими глазами, которого мы видели утром при дворе фараона, и хитроумный купец Джейбиз. Она низко поклонилась Сети и улыбнулась мне. Затем вошли эти двое, и с легким поклоном посланец заговорил:

— Ты знаешь мое требование, принц. Эта женщина должна быть возвращена ее народу. Вот ее дядя, Джейбиз, — он ее увезет.

— А ты знаешь мой ответ, израильянин, — возразил Сети. — Я не имею власти над действиями госпожи Мерапи, во всяком случае — не желаю никакого принуждения с моей стороны. Обратись к ней самой.

— Что ты от меня хочешь, жрец? — быстро спросила его Мерапи.

— Чтобы ты вернулась в город Гошен, дочь Натана. Или ты не слышишь, что я сказал?

— Слышала, но если я вернусь, чего ты от меня потребуешь?

— Чтобы ты, доказавшая своим подвигом в их храме что у тебя пророческий дар, посвятила бы его твоему народу. За это тебе простят все зло, какое ты ему нанесла, и в этом мы клянемся тебе именем бога.

— У меня нет дара пророчества, и я не причинила моему народу никакого зла, спасая от убийства человека, который доказал, что он их друг; он даже отказался ради них от короны.

— Об этом судить не тебе, женщина, а Отцам Израиля. Твой ответ?

— Об этом судить не им и не мне, а только богу. — Помолчав, она добавила: — Это все, о чем ты просишь?

— Это все, о чем просят Отцы, но Лейбэн просит вернуть ему нареченную жену.

— И меня выдадут замуж за... за этого убийцу?

— Без сомнения, тебя выдадут за этого храброго воина, ведь ты давно ему принадлежишь.

— А если я откажусь?

— Тогда, дочь Натана, моя обязанность — проклясть тебя от имени бога и объявить, что твой народ отвергает тебя. Моя обязанность, далее, заявить тебе, что твоя жизнь поставлена вне закона и что любой еврей может убить тебя, как и где сможет, и не понести за это никакого наказания.

Мерапи немного побледнела и, обернувшись к Джейбизу, спросила:

— Ты слышал, дядя. Что скажешь ты?

Джейбиз исподтишка огляделся и сказал елейным тоном:

— Племянница, ты, конечно же, должна повиноваться Старейшинам Израиля, выражающим волю неба, так же, как ты повиновалась им, когда решила померяться силой с Амоном.

— Вчера ты мне советовал другое, дядя. Ты сказал, что мне лучше остаться здесь.

Посланец повернулся и смерил его свирепым взглядом.

— Между вчера и сегодня большая разница, — поспешил ответить Джейбиз. — Вчера ты была под защитой того, кто должен был вскоре стать фараоном и мог бы повернуть общее мнение в пользу твоего народа. Сегодня он лишился своего величия и его воля не имеет в Египте никакого веса. Кто же станет бояться мертвого льва?

При этом оскорблении Сети усмехнулся, но лицо Мерапи, как и мое лицо, покраснело, должно быть от гнева.

— Спящих львов и раньше принимали за мертвых, дядя, в чем не раз убеждались те, кто пытался их лягнуть. Принц Сети, ты не скажешь хоть слово, чтобы помочь мне в этом затруднении?

— Но в чем же затруднение, госпожа? Если ты желаешь вернуться к своему народу и к Лейбэну, который, как я понимаю, оправился от своих ран, то ничего не стоит между тобой и мной, кроме моей благодарности, которая дает мне право сказать, что ты не должна возвращаться. Однако,

если ты желаешь остаться здесь, то, пожалуй, я еще не так бессилен, как думает достойный Джейбиз, и могу защитить и нанести удар. Я по-прежнему первый из вельмож в Египте, и рядом со мной люди, которые меня любят. Так что, пожелай ты остаться, я думаю, тебя здесь никто не обидит — и меньше всего тот друг, под покровительством которого ты можешь спокойно жить.

— Это очень благородные слова, — пробормотала Мерапи, — слова, какие мало кто сказал бы девушке, от которой ничего не ждут и которая ничего не может дать.

— Довольно болтовни! — закричал посланец. — Ты подчиняешься или нет? Твой ответ?

— Я не вернусь в Гошен и к Лейбэну — я достаточно насмотрелась на его меч.

— Может статься, ты видела его не в последний раз. Подумай все-таки, прежде чем тебя постигнет божья кара и на тебя обрушится проклятие твоего народа, а потом — смерть. Ибо это проклятие падет на тебя, говорю я, а я, как уже знает фараон и сам принц тоже, не какой-нибудь самозванный пророк!

— Я не верю, что мой бог, который видит сердца своих созданий, обрушит свою месть на женщину за то, что она отказывается стать женой убийцы, которого она сама не выбирала себе в мужа, — а именно такую участь ты мне сулишь, жрец. Поэтому я вручаю свою судьбу в руки великого Судьи над всеми людьми. В остальном же я отвергаю тебя и твои приказы. Если я должна погибнуть, пусть я умру, но по крайней мере я умру свободной, а не чьей-то любовницей, женой или рабыней.

— Хорошо сказано, — шепнул мне Сети.

Вид посланца стал ужасен. Размахивая руками и дико вращая своими дикими глазами, он призвал на голову бедной девушки какое-то отвратительное проклятие, большую часть которого мы не поняли, так как он говорил быстро и на каком-то незнакомом древнем еврейском наречии. Он проклял ее живую, умирающую и после смерти. Он проклял ее в любви и ненависти, в замужестве и бездетности и проклял ее детей и потомков во всех поколениях. Под конец он объявил, что она отвергнута богом, которому поклоняется, и приговорил ее к смерти от руки любого, кто сможет ее убить. Это проклятие было столь ужасно, что она отшатнулась, а Джейбиз скорчился на полу, закрыв лицо руками, и даже я почувствовал, как кровь стынет в моих жилах.

Наконец он умолк с пеной на губах и вдруг с криком: «После приговора — смерть!» — выхватил из-под одежды нож и бросился на

Мерапи.

Она спряталась за нашими спинами. Он погнался за ней, но Сети воскликнул: «Ага! Я так и знал!» — и очутился между ними, с железным мечом в руке, который он носил обычно с парадной одеждой. Он схватился с нападавшим, и в следующий миг я увидел покрасневшее острие клинка, который пронзил того насквозь и выступил между лопатками.

Жрец упал, бормоча:

— Так-то ты показываешь свою любовь к Израилю, принц?

— Так я показываю свою ненависть к убийцам, — ответил Сети.

Потом этот человек умер.

— О! — вскричала Мерапи, ломая руки. — Опять из-за меня пролилась еврейская кровь, и теперь все его проклятие падет на меня.

— Нет, на меня, госпожа, — если в проклятиях есть какой-то смысл (в чем я сомневаюсь). Ведь это я убил его, иначе нож этого сумасшедшего поразил бы тебя.

— Да, мне оставлена жизнь, хотя бы ненадолго. Если бы не ты, принц, я бы сейчас... — И она содрогнулась.

— А если бы не ты, Луна Израиля, я бы сейчас... — И он улыбнулся, добавив: — Право же, судьба плетет вокруг тебя и меня странную сеть. Сначала ты спасаешь меня от меча, потом я спасаю тебя. Я думаю, госпожа, что в конце концов мы умрем вместе и дадим Ане материал для лучшего из всех его рассказов. Друг Джейбиз, — обратился он к израильтянину, который все еще сидел, скорчившись и забившись в угол, — возвращайся к своему мягкосердечному народу и доходчиво объясни всем, почему госпожа Мерапи не может сопровождать тебя; в доказательство захвати с собой эту брэнную плоть. Скажи им, что если они пришлют еще кого-нибудь, чтобы преследовать твою племянницу, его постигнет такая же участь, но что и теперь, как и раньше, я не отвернусь от них из-за поступков нескольких безумцев или злодеев. Ана, собирайся, ибо вскоре я уеду в Мемфис. Проследи, чтобы госпожа Мерапи, которая поедет одна, имела надежный эскорт во время путешествия, если, конечно, ей угодно будет покинуть Танис.

## **XI. Коронация Аменмеса**

И вот, невзирая на все несчастья, выпавшие на долю Кемета, и на некую скорбь, которую я скрывал в своем сердце, начались самые счастливые дни, какие мне послали боги. Мы переехали в Мемфис, белостенный город, где я родился, город, который я любил. Теперь я уже больше не жил в маленьком домишке возле храма Птаха, который просторнее и великолепнее, чем любой храм в Фивах или Танисе. Моим домом стал прекрасный дворец Сети, доставшийся ему в наследство от матери, великой царской жены. Дворец этот стоял, да и до сих пор стоит на насыпном холме, не огражденный стенами, близ храма богини Нейт, которая всегда обитает к северу от стены — почему, я не знаю, ибо этого не могут объяснить мне даже жрецы. Перед дворцом на северной стороне — портик, крыша которого покоится на раскрашенных колоннах с капителями в форме пальмовых листьев, и отсюда открывается самый прекрасный вид во всем Египте. Сначала — сады, потом пальмовые рощи, за ними возделанные поля, простирающиеся до широкого и благородного Сихора, а потом — уходящая вдаль пустыня.

Итак, здесь мы поселились, держа маленький двор и почти не имея охраны, но в богатстве и комфорте, проводя время в дворцовой библиотеке или в библиотеках при храмах, а когда уставали от работы — в прелестных садах или иногда скользя под парусом по глади Нила. Госпожа Мерапи жила здесь же, но в отдельном крыле дворца, с избранными рабами и слугами, которых предоставил ей Сети. Иногда мы встречались с нею в садах, где она любила гулять в те же часы, что и мы, — до того, как солнце начинало припекать слишком жарко, или в прохладные вечерние часы, а время от времени и ночью, когда выходила луна. Мы втроем часто разговаривали, ибо Сети никогда не искал ее общества один или в стенах дворца.

Эти разговоры доставляли нам много удовольствия. Более того, они происходили все чаще, а так как Мерапи жаждала знаний, принц приносил ей длинные свитки, которые она читала в маленьком летнем павильоне. Мы часто сидели там, а если было слишком жарко, то снаружи, в тени двух раскидистых деревьев, ветви которых простирались над крышей домика; Сети рассуждал о содержании свитков и учил ее секретам нашего письма. Иногда я читал им свои рассказы, которые оба они любили слушать, — по крайней мере, так они говорили, а я в своем тщеславии этому верил. Мы



говорили о тайнах и чудесах мира, о израильтянах и их судьбе или о том, что происходило в Египте и в соседних странах.

Мерапи не чувствовала себя одинокой и потому, что в Мемфисе жили некоторые знатные женщины, в жилах которых текла еврейская кровь или, будучи израильтянками по рождению, вопреки своим законам вышли замуж за египтян. Среди этих женщин Мерапи нашла себе подруг, и вместе они молились на свой лад, и никто не запрещал им этого, поскольку жрецам не позволено было их беспокоить.

Мы же общались с кем хотели, ибо мало кто забыл, что по рождению Сети был принцем Египта, то есть почти полубогом, и все стремились попасть во дворец. К тому же его очень любили ради него самого, особенно бедняки, помогать которым было для него наслаждением, и он никогда не жалел для них своего богатства. Потому и получалось, совершенно против его воли, что стоило ему выйти в город, как его встречали с такими почестями и поклонением, словно он — почти царь; да и в самом деле, хотя фараон и мог отобрать у него корону, он не мог очистить его вены от царской крови.

Но именно поэтому я боялся за него; я был уверен, что Аменмес все знает через своих шпионов и начнет ревновать и возненавидит низложенного принца, который столь горячо любим теми, над кем он по праву должен был бы царствовать. Я поделился с Сети моими сомнениями и попытался внушить ему, что, выходя на улицы, он должен брать с собой вооруженных людей. Но он только рассмеялся и ответил, что если уж израильтянам не удалось его убить, то едва ли это удастся другим. Больше того, он верил, что ни один египтянин в стране не поднимет на него меч и не всыплет яду в его питье, от кого бы ни исходило подобное поручение. И он заключил такими словами:

— Лучший способ избежать смерти — это не бояться смерти, ибо тогда Осирис сторонится нас.

\* \* \*

А теперь я должен рассказать о событиях в Танисе. Фараон Мернептах протянул еще несколько часов и ни разу не пришел в сознание. Тогда перед тем, как его дух отлетел на небо, во всей стране наступил великий траур, ибо если Мернептах и не любил, то во всяком случае его почитали и

боялись. Только израильтяне открыто радовались и ликовали, потому что он был их врагом и их пророки, предсказали ему близкую смерть, они представили его кончину, как ниспосланную их богом кару, и за это египтяне возненавидели их еще сильнее, чем прежде. Наряду с этим, в Египте возникло много сомнений и недоумений, ибо, хотя приказ о низложении принца Сети распространился по стране, народ, особенно жители юга, не могли понять, почему это следовало сделать из-за рабского пастушеского племени, обитавшего в Гошене. В самом деле, захоти только принц поднять руку, как десятки тысяч стеклись бы под его знамя. Однако он решительно отказался от этого, изумив весь мир, считавший просто чудом, что кто-то может отказаться от трона, который возвысил бы его почти до уровня богов. Именно с целью избежать подобных высказываний и назойливых советов Сети сразу же уехал в Мемфис и скрывался там весь период траура по своему отцу. Вот почему, когда Аменмес вступил на трон, не было ни одного человека, кто бы сказал ему «нет», поскольку Таусерт, оставшись без мужа, не могла — или не захотела — предпринять никаких действий.

После того как тело умершего было набальзамировано, фараона Мернептаха повезли вверх по Нилу в его вечный дом — роскошную гробницу, которую он заготовил для себя в Долине Царей в Фивах. Принца Сети не пригласили на эту великую церемонию, дабы его присутствие (как сказал мне впоследствии Бакенхонсу) не вызвало какого-нибудь выступления в его пользу с его или без его ведома. По этой же причине мертвый бог, как называли Мернептаха, не получил передышки в Мемфисе во время своего последнего путешествия вверх по Нилу. Переодевшись простым горожанином, принц следил, как тело его отца проплывает мимо в траурной лодке, охраняемой бритыми, облаченными в белое жрецами, в центре великолепной процессии. Впереди шли другие лодки, заполненные воинами и государственными сановниками; позади следовали новый фараон и все великие мира сего в Египте, и над всем этим, и над гладью вод неслись стоны, плач и причитания. Они появились, они проследовали, они исчезли, и когда они скрылись из виду, Сети тихо заплакал, ибо он по своему любил отца.

— Какая польза быть царем и называться полубогом, Ана, — сказал он, — если такие боги кончают тем же, чем нищий у ворот?

— Та польза, принц, — отвечал я, — что царь может принести больше добра пока он жив, чем нищий, а после себя оставить хороший пример другим.

— Или больше вреда, Ана. Кстати, нищий тоже может оставить

великий пример — терпения в несчастьях. Все же, будь я уверен, что принесу только добро, я бы, возможно, стал царем. Но я заметил, что те, кто стремятся делать наибольшее добро, часто наносят величайший вред.

— Из чего логически следует, что это довод в пользу стремления делать зло, принц.

— Вовсе нет, — ответил он, — потому что в конечном счете торжествует добро. Ведь добро — это истина, а истина правит и землей, и небом.

— Тогда ясно, принц, что ты должен стремиться стать царем.

— Я вспомню этот довод, Ана, если мне когда-либо представится такая возможность, но не запятнанная кровью, — ответил он.

Когда погребение фараона свершилось, Аменмес вернулся в Танис и был там коронован. Я присутствовал при этой торжественной церемонии, принеся в дар фараону царственные эмблемы и украшения, передать которые поручил мне принц, говоря, что ему самому, как частному лицу, не годится их носить. Я преподнес их фараону, который взял их с сомнением, заметив при этом, что не понимает намерений и поступков принца Сети.

— Тут нет никакой ловушки, о фараон, — сказал я. — Так же, как ты радуешься славе, посланной тебе богами, так принц, мой господин, радуется покою и миру, которые дали ему боги, и не просит ничего иного.

— Возможно и так, писец, но я нахожу это таким странным, что иногда боюсь, как бы в пышных цветах моей славы не таилась какая-то смертоносная змея, о которой принц знает, хотя и не спрятал ее сам.

— Не могу сказать, о фараон, но без сомнения, хотя принц и не столь искусен, он не такой, как другие. У него широкий и глубокий ум.

— Слишком глубокий для меня, — пробормотал Аменмес. — Тем не менее скажи моему царственному кузену, что я благодарю его за эти дары, тем более, что некоторые из них, будучи наследником Египта, носил мой отец Кхемуас, — мне жаль, что вместе с царской кровью он не оставил мне своей мудрости. Скажи своему принцу также, что пока он, как до сих пор, не пытается вредить мне на троне, он может быть уверен, что я не причиню ему зла в том положении, которое он сам для себя выбрал.

Я видел также принцессу Таусерт, которая подробно расспросила меня о своем супруге. Я рассказал ей все, ничего не скрывая. Выслушав, она спросила:

— А как насчет той еврейки, Мерапи? Она, конечно, заняла мое место?

— Нет, принцесса, — ответил я. — Принц живет один. Ни она, ни какая-либо другая женщина не заняла твоего места. Она ему друг, не более.

— Друг! Ну, мы-то знаем, чем кончается такая дружба. О!

Несомненно, боги наслали на принца безумие.

— Может быть и так, принцесса, но если бы боги поразили безумием больше людей, мир, думаю, был бы лучше, чем он есть.

— Мир есть мир, и дело тех, кто родился в величии, править им таким, каков он есть, а не прятаться среди книг и цветов и не вести глупые разговоры с красивой чужестранкой и писцом, даже самым ученым, — возразила она с горечью, добавив: — О! Если принц и не безумен, он способен свести с ума других, в том числе и меня, его супругу. Этот трон принадлежит ему, ему! И однако он позволил этому безмозглому болвану сесть на его место и шлет ему дары и благословение!

— Думаю, твоему высочеству следует подождать конца этой истории, прежде чем судить о ней.

Она пристально взглянула на меня и спросила:

— Почему ты так говоришь? Или принц в конце концов не так глуп? Может быть, он и ты, с виду такие простаки, ведете большую скрытную игру, как некоторые притворяются дураками ради своей безопасности? Или эта колдунья-израильтянка наставляет вас в своих секретных знаниях, ведь женщина, обратившая в мелкий порошок статую Амона, вполне может обладать такими знаниями. Ты притворяешься, что ничего не знаешь, а на самом деле просто не хочешь отвечать. О писец Ана, если бы я не знала, что это опасно, я бы нашла способ вырвать у тебя правду, хотя ты и прикидываешься невинным младенцем.

— Твоему высочеству угодно угрожать, и без всякой на то причины.

— Нет, — ответила она, изменив тон и манеру, — я не угрожаю. Это только безумие, которым я заразилась от Сети. Разве ты бы не сходил с ума на моем месте, зная, что завтра не ты, а другая женщина наденет корону, потому что... потому что... — И она заплакала, испугав меня своими слезами больше, чем испугали меня ее резкие слова.

Вскоре она осушила слезы и сказала:

— Скажи моему супругу, я рада слышать, что он здоров, и шлю ему свои приветствия, но никогда по своей воле не посмотрю на его живое лицо, если он не передумает и не станет добиваться того, что принадлежит ему по праву. Скажи ему, хотя он и равнодушен ко мне и не обращает никакого внимания на мои желания, я забочусь о его благополучии и безопасности, как только могу.

— Его безопасности, принцесса! Только час назад фараон заверил меня, что ему нечего бояться, — впрочем он и не боится.

— О, кто из нас глупее, — воскликнула она, топнув ногой, — слуга или его хозяин? Ты веришь, что принцу нечего бояться, потому что так

сказал узурпатор, а он верит, потому что просто никого не боится. Пока он может спать спокойно. Но подожди — случись в Египте какая-нибудь беда, и люди, поняв, что боги посылают эти бедствия за то большое зло, какое совершил мой отец, когда смерть схватила его за горло и помутила его разум, обратят свои взоры к законному царю.

Тогда узурпатором овладеет ревность и, если он захочет, Сети заснет спокойно — навсегда. Если ему не перережут горло, то лишь по одной причине: я удержу руку убийцы. Прощай, я не могу больше говорить с тобой: мой мозг охвачен пожаром; завтра его бы короновали, и меня — с ним. — И она ушла, величественная и царственная как всегда, оставив меня гадать, имела ли она что-нибудь реальное в виду, говоря о грядущих бедствиях Египта, или это были случайные слова.

Позже мы с Бакенхонсу ужинали в школе при храме Птаха, где его называли отцом из-за его преклонного возраста, и я узнал кое-что еще.

— Ана, говорю тебе, такой мрак висит над Кеметом, какого я не видел даже тогда, когда все думали, что варвары победят нас и поработят страну. Аменмес будет пятым фараоном на моем веку, первого я видел, когда был совсем ребенком и держался за подол моей матери, но ни разу коронация не была столь безотрадной.

— Может быть, потому, что корона перейдет к тому, кто ее недостоин, Бакенхонсу?

Он покачал головой:

— Не только поэтому. Мне кажется, эта тьма, как и свет, спускается с небес. Люди боятся, сами не зная чего.

— Израильтяне? — предположил я.

— Вот это ближе к делу, Ана, ибо они несомненно имеют к этому отношение. Если бы не они, завтра короновали бы не Аменмеса, а Сети. Кроме того, весть о чуде, которое совершила в храме красавица-еврейка, разнеслась по стране, и в этом видят дурное предзнаменование. Я говорил тебе, что через шесть дней в храме была освящена прекрасная новая статуя Амона? Так вот, на другое утро ее нашли лежащей на боку, вернее, ее голова покоилась на груди Мут.

— Но в этом Мерапи не виновата, она ведь уехала из этого города.

— Конечно, уехала, но разве Сети тоже не уехал? Все-таки, думаю, она что-то оставила позади. Что бы то ни было, даже наш новый божественный повелитель не может подавить страх. Ему снятся дурные сны, Ана, — добавил он, понизив голос, — такие дурные, что он призвал Ки, главного мага, чтобы тот истолковал его видения.

— И что сказал Ки?

— Ки ничего не мог сказать; вернее, когда он и его компания спросили своих *Ка*, то единственным ответом было, что царствование этого нового бога будет очень кратким и кончится одновременно с его жизнью.

— Что, пожалуй, не очень обрадовало бога Аменмеса, Бакенхонсу?

— Что совсем не обрадовало бога. Он даже пригрозил Ки. Довольно угрожать великому магу, Ана, — как, между прочим, сказал ему сам Ки, смотря ему в глаза. Тогда тот попросил у него прощения и осведомился, кто сменит его на троне, но Ки сказал, что не знает, ибо керхеб, когда ему угрожают, ничего не помнит.

— А он знал, Бакенхонсу?

Вместо ответа старый советник раскрошил на столе кусочек хлеба, потом, водя пальцем, выложил из них приблизительное подобие бога с головой шакала и двух птичьих перьев, после чего быстрым движением смахнул все крошки на пол.

— Сети! — прошептал я, прочитав иероглифы имени принца, и он кивнул и засмеялся своим раскатистым смехом.

— Иногда люди приходят к тому, на что имеют право, Ана, особенно если они не ищут своих прав, — сказал он. — Но в таких случаях сперва происходит много всяких ужасов. Новый фараон — не единственный, кому снятся сны. В последние годы я плохо сплю и иногда вижу сны, хотя и не владею искусством магии, как Ки.

— Что же тебе снилось?

— Мне снилась огромная толпа, движущаяся, подобно саранче, по всему Египту. Перед ней двигалась огненная колонна, из которой простирались две руки. Одна держала за горло Амона, а другая — нового фараона. Следом за толпой — колонна из тучи, а в ней образ, подобный запеленатой мумии, образ смерти, стоявшей на воде, в которой плавали бесчисленные мертвецы.

Мне вспомнилась картина, которую мы с принцем наблюдали в закатном небе над страной Гошен, но об этом я ничего не сказал. Однако Бакенхонсу, видимо, читал мои мысли, ибо он спросил:

— А тебе никогда ничего не снится, друг? Тебе доступны видения, например — Аменмес на троне. Так ты не видишь снов, хотя бы иногда? Нет? Ну, ладно. А принц? Вы похожи на людей, которые способны на это. О, я вспомнил, вы оба видите сны, только вам снятся не те картины, которые проходят перед страшными глазами Ки, а те, что рисует луна на водах Мемфиса. Луна Израиля. Ана, послушайся моего совета, иссуши плоть и наращивай дух, ибо только в нем счастье, а женщина и все наши

радости — лишь символы его, тени той смертной тучи, которая лежит между нами и небесным светом над ней. Я вижу, ты меня понимаешь, потому что отблески этого света проникли в твое сердце. Помнишь, ты видел его в тот час, когда умерла твоя маленькая дочь? Ага, я так и думал. Именно она оставила тебе этот дар, который будет расти и расти в твоей груди, только подави плоть и оставь для него место. Ана, не плачь — смейся, как смеюсь я, охо-хо! Подай мне мой посох, и спокойной ночи. Не забудь, что завтра мы встречаемся на коронации, ибо ты ведь друг царя, а этот титул, однажды пожалованный, никакой новый фараон отменить не может. Это то же, что дар духа, Ана, — дух трудно обрести, но если ты его обрел, он более вечен, чем звезды. О, почему я так долго живу на земле, когда мог бы купаться в небе, как ребенком купался в Ниле?

\* \* \*

На следующий день в назначенный час я пришел в большой зал дворца, где впервые увидел Мернептаха, и занял отведенное мне место. Оно было несколько в глубине, возможно потому, что меня знали как личного писца Сети, и было нежелательно, чтобы мой вид напоминал о нем.

Как ни велик был зал, толпа заполнила его до последнего уголка. При этом здесь не было ни одного простого человека, но присутствовали каждый вельможа и каждый главный жрец Египта, а с ними их жены и дочери, так что в полумраке колонн и вестибюлей сверкали золото и драгоценности, украшавшие праздничные одежды. Пока я ждал, я увидел Бакенхонсу. Ковыляя, он направлялся ко мне, и толпа расступилась, давая ему дорогу.

— Плохие у нас места, Ана, — сказал он, и я заметил, что в его глазах искрится смех. — Зато мы будем в безопасности, если кто-нибудь из многочисленных богов Кемета осыплет фараона огненным дождем. Кстати, о богах, — продолжал он шепотом, — ты слышал, что случилось час назад в храме Птаха здесь, в Танисе? Я только что оттуда. Фараон и все лица царской крови — кроме одного — по обычаю прошли перед статуей бога, которая, как ты знаешь, должна наклонить голову и тем показать, что бог выбирает и принимает царя. Впереди Аменмеса шла принцесса Таусерт, и когда она проходила, голова бога склонилась — я сам видел, хотя

остальные притворились, что ничего не заметили. Потом подошел фараон и даже остановился в ожидании, но статуя не двигалась, хотя жрецы выкрикивали старинную формулу «Бог приветствует царя». Наконец он прошел, с лицом чернее ночи, а за ним прошли и все остальные из рода Рамсеса; последним шел Саптах и — можешь себе представить? — бог опять склонил голову.

— Каким образом и почему статуя это делает? — спросил я. — Да еще и невпопад?

— Спроси жрецов, Ана, или Таусерт, или Саптах. Может быть, божественную шею давно не смазывали или смазали слишком густо, или слишком мало. А может быть, молитвы или шнурки подвели. Или фараон поскупился, одаривая этот храм великого бога Царского Дома. Кто я такой, чтобы разбираться в делах богов. Тот, что в храме в Фивах, где я служил пятьдесят лет назад, не притворялся, что кланяется, и не утруждал себя вопросом, кто из царской семьи должен сидеть на троне. Тише! Фараон идет!

И вот в пышной процессии, в окружении принцев, советников, дам, жрецов и странников появился Аменмес и с ним царственная жена, Унирет, крупная женщина с неуклюжей походкой, — в целом, блестящая группа. Главный жрец Рои и визирь Нехези встретили фараона и подвели его к трону. Толпа простерлась ниц, зазвучали фанфары, и трижды раздался приветственный клич: Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!

Аменмес привстал и поклонился, и я увидел, что лицо его мрачно и как будто постарело. Потом он принес клятву богам и людям, повторяя слова за Рои, и надел двойную корону и прочие эмблемы, и взял в руки бич и золотой серп. Затем началось чествование фараона. Первой подошла принцесса Таусерт и поцеловала руку фараона, но колен не преклонила. Она даже сказала ему несколько слов. О чем она говорила, мы не слышали, но потом узнали, что она требовала, чтобы он повторил в присутствии всех те обещания, которые дал публично ее отец, Мернептах, утверждая ее место и права. В конце концов Аменмес это сделал, хотя, как мне показалось, весьма неохотно.

Так, со многими формальностями в соответствии с древними традициями церемония продолжалась, и все уже устали, ожидая, когда наконец фараон обратится с речью к народу. Однако эта речь так и не состоялась, ибо неожиданно появились двое, и я узнал в них тех пророков Израиля, которые нанесли Мернептаху визит в этом же зале. Все невольно расступились перед ними, так что они прошли прямо к трону, и даже стражники не решились преградить им путь. Что они сказали, я не слышал,



но полагаю, что они требовали разрешения служить своему богу по-своему, и Аменмес отказал им так же, как это сделал раньше Мернептах.

Тогда один из них бросил на пол жреческий жезл и он превратился в змею, зашипевшую на фараона. В ответ керхеб Ки и его товарищи побросали свои жезлы, которые тоже обернулись змеями, — я услышал их свист и шипенье. После этого зал окутала густая тьма, так что люди, не видя лиц друг друга, стали перекликаться, поднялась суматоха, и в страхе и замешательстве церемония была прервана. Толпа вынесла меня и Бакенхонсу к дверям, и мы с радостью увидели на собой чистое небо.

Так закончилась коронация Аменмеса.

## XII. Миссия Джейбиза

В тот вечер на улицах не было ни торжества, ни ликования, никто не пировал, кроме как во дворце и в домах придворных. Я вышел на рыночную площадь и заметил, что люди мрачно слоняются тут и там или собираются кучками и разговаривают шепотом. Неожиданно со мной заговорил человек, лицо которого было скрыто капюшоном. Он сказал, что должен передать кое-что моему господину, принцу Сети. Я ответил, что не беру никаких поручений от людей, скрывающих свое лицо, и тогда он откинул капюшон и я узнал Джейбиза, дядю Мерапи. Я спросил, сделал ли он то, что велел ему принц, — отвез ли тело того пророка обратно в Гошен и объяснил ли, каким образом умер этот человек.

— Да, — ответил он, — и старейшины признали, что принц был прав. Они сказали, что их посланец превысил свои полномочия, ибо они вовсе не велели ему проклинать Мерапи и тем более — убивать ее, и что принц поступил правильно, уничтожив человека, который пытался совершить убийство перед его царственными глазами. Но все-таки они добавили, что проклятие, произнесенное тем жрецом, так или иначе падет на Мерапи.

— Так что же ей делать, Джейбиз?

— Не знаю. Если она вернется к своим, может быть, она получит отпущение, но тогда она наверняка должна выйти за Лейбэна. Ей решать.

— А что бы ты сделал на ее месте, Джейбиз?

— Думаю, остался бы здесь и добился бы любви Сети, положившись на то, что проклятие не сбудется, поскольку оно было незаконно. Куда бы она ни повернулась, ее всюду ждут неприятности, так что, на худой конец, женщина может предпочесть дать волю своему сердцу, прежде чем грянет беда, — особенно если ее сердце принадлежит тому, кто станет фараоном.

— Почему ты говоришь «кто станет фараоном»? — спросил я, видя, что вокруг нас никого нет.

— Этого мне не позволено сказать тебе, — ответил он с хитрым видом, — однако будет так, как я говорю. Тот, кто сейчас на троне, безумен, как был безумен Мернептах, и будет бороться с силой, которая сокрушит его. Только в сердце принца сияет свет мудрости. То, что ты видел сегодня, — только первое из чудес, писец Ана. Большого я не смею сказать тебе.

— Так что же я должен передать принцу, Джейбиз?

— Следующее. Поскольку принц старался помочь народу Израиля и ради этого даже отказался от трона, ему нечего бояться, что бы ни

произошло с другими. С ним не случится ничего плохого, как и с его близкими вроде тебя, писец Ана; с тобой тоже поступят по справедливости. Однако может случиться, что принца и мою племянницу Мерапи постигнет большая горе из-за проклятия, павшего ей на голову. Поэтому, возможно, — хотя одно противоречит другому, — с ее стороны будет мудро остаться в доме Сети, а с его стороны, для равновесия, — прогнать ее от своих дверей.

— Какое горе? — спросил я, сбитый с толку его туманными рассуждениями, но не получил ответа: Джейбиза и след простыл.

Недалеко от дома, где я остановился, меня задержал другой человек, и при свете луны я увидел устремленные на меня страшные глаза Ки.

— Писец Ана, — сказал он, — на рассвете ты едешь в Мемфис — на два дня раньше, чем ты предполагал.

— Откуда ты знаешь, маг Ки? — спросил я, ибо я никому не говорил об изменении своих планов, даже Бакенхонсу, да и не мог, поскольку принял это решение только после разговора с Джейбизом.

— Я ничего не знаю, Ана, кроме одного — что верный слуга, который услышал то, что сегодня услышал ты, поспешит сообщить об этом своему хозяину, особенно если есть кто-то еще, кому он тоже хотел бы сообщить эти сведения, как говорит Бакенхонсу.

— Бакенхонсу слишком много говорит, что бы он про себя ни думал, — сказал я раздраженно.

— Старики часто болтливы. Ты был сегодня на коронации, не правда ли?

— Да, и если правильно заметил из своего угла, эти еврейские пророки побили тебя в твоём же ремесле, керхеб, что, должно быть, очень тебя раздражает, как и падение Амона в храме.

— Вовсе не раздражает и не раздосадовало, Ана. Если я владею какими-то силами, то могут быть и другие, чьи силы более могущественные, — как я узнал в храме Амона. Почему же я должен этого стыдиться?

— Силы! — ответил я со смехом, ибо нервы мои разошлись в ту ночь. — Почему не сказать точнее — ловкость? Как ты можешь превратить палку в змею, ведь для человека это невозможно?

— Может быть, «ловкость» и более подходящее слово, ибо ловкость означает знание, а не только трюкачество. «Невозможно для человека!» После того что ты видел в храме Амона, ты еще считаешь, что есть что-то невозможное для человека — или для женщины? Может быть, и ты способен на подобное же.

— Зачем ты дразнишь меня, Ки? Я изучаю книги, а не укрощение

змей.

Он смотрел на меня со свойственным ему пристальным вниманием, словно читая — не лицо мое, но скрытые мои мысли. Потом, взглянув на кедровую палочку, которую держал в руке, он протянул ее мне со словами:

— Вглядишься в это, Ана, и скажи мне, что это?

— Что я, ребенок, — возразил я сердито, — чтобы не узнать жреческого жезла, когда я его вижу?

— Думаю, ты в каком-то смысле ребенок, Ана, — пробормотал он, не отводя своих особенных глаз от моего лица.

И вдруг случилось что-то ужасное. Ибо палочка стала извиваться у меня в руке, и когда я присмотрелся к ней, я понял, что это длинная желтая змея, и я держу ее за хвост. Вскрикнув, я бросил тварь на землю, ибо она уже поворачивала голову, как будто собираясь ужалить меня; и она, извиваясь в пыли, поползла к Ки. Мгновение — и это снова была палочка из желтого кедрового дерева, хотя между мною и Ки остался извилистый змеиный след.

— И не стыдно тебе, Ана, — сказал Ки, подняв палочку, — упрекать меня в трюкачестве, если ты сам не можешь отличить жалкого фокусника от мастера в таком искусстве, как вот это?

Тут меня прорвало; не знаю, что я ему наговорил, помню только, что в конце сказал, что следующим номером он припишет мне, пожалуй, искусство погружать зал в мрак среди бела дня и поражать толпу ужасом.

Внезапно его лицо и тон изменились.

— Оставим шутки, — сказал он, — хотя в данном случае в них и есть определенный смысл. Хочешь взять эту палочку еще раз и наставить ее на луну? Ты отказываешься, и правильно: ни ты ни я не можем заслонить ее лик, Ана, из-за того, что ты по-своему мудр и общаешься с теми, кто еще мудрее, и вы оба были в храме, когда статуя Амона рухнула на пол по воле колдуньи, которая противопоставила свою силу моей и победила меня. Я, великий маг, хочу спросить у тебя, откуда сегодня явилась эта тьма в зале?

— От бога, я думаю, — прошептал я в страхе.

— Я тоже так думаю, Ана. Но скажи — или попроси Мерапи, Луну Израиля, сказать мне — от какого бога? О, говорю тебе, — какая-то ужасная сила грядет на нашу землю, и принц Сети хорошо сделал, что отказался от трона и бежал в Мемфис. Повтори ему это, Ана.

Он повернулся и ушел.

Я благополучно вернулся в Мемфис и рассказал обо всем принцу, который жадно слушал меня. Только один раз им овладело волнение — когда я передал слова Таусерт о том, что она никогда больше не взглянет

ему в лицо, если он не обратит его к престолу. Когда он услышал это, глаза его наполнились слезами и, поднявшись, он несколько раз прошелся по комнате.

— Победенные не должны ожидать милосердия, — сказал он, — и, конечно, Ана, ты считаешь, что с моей стороны глупо печалиться о том, что меня покинули.

— Нет, принц, ибо меня тоже покинула жена, и эта боль до сих пор со мной.

— Не о жене я думаю, Ана. Ведь в сущности, ее высочество мне не жена. Каковы бы ни были древние законы Кемета, разве может быть реальным такой брак, во всяком случае, между ней и мной? Я печалюсь о сестре. Хотя у нас разные матери, все же мы росли вместе и по-своему любим друг друга, хотя для нее удовольствием было командовать мной, а для меня — подчиняться и платить ей шутками. Наверное потому она так и рассердилась, что я вдруг вышел из-под ее власти и поступил по своей воле, из-за чего она потеряла трон.

— Удар был тем сильнее, что выйти замуж за фараона — долг наследницы Египта, освященный самим законом.

— Тогда для нее самое лучшее — выйти за того, кто стал фараоном, отодвинув в сторону его глупую жену. Но этого она никогда не сделает. Аменмеса она всегда ненавидела настолько, что даже избегала встречаться с ним. Да и он не женился бы на ней. Он желает править сам, а не через женщину, которая имеет больше прав на корону чем он. Ну, да что говорить. Она меня отвергла, и между нами все кончено. Отныне мне суждено одиночество — если только... Продолжай свой рассказ, друг. Очень мило с ее стороны обещать в ее величии свое покровительство лицу в столь скромном положении. Я это запомню... хотя и верю, что павшие иногда снова поднимают головы, — добавил он с горечью.

— По крайней мере, так думает Джейбиз, — заметил я и рассказал ему об уверенности израильтян в том, что он будет фараоном. В ответ он засмеялся и сказал:

— Может быть. Они ведь неплохие прорицатели. Что до меня, мне это неведомо, да и безразлично. А может быть, Джейбиз говорит так просто из выгоды, ведь он, как ты знаешь, умный купец.

— Не думаю, — начал я и запнулся.

— Джейбиз говорил еще что-нибудь, Ана? О госпоже Мерапи, например?

Тут я почувствовал, что мой долг — рассказать ему слово в слово все, что произошло между мной и Джейбизом, хотя кое-что меня и смущало.

— Этот израильтянин слишком во многом уверен, Ана, вплоть до того, кому Луна Израиля пожелает светить своими лучами. А может быть, это ты, на кого она направит свой свет, или какой-нибудь юноша из страны Гошен — только не Лейбэн — или никто.

— Я, принц? Я?

— Ну что ж, Ана, я уверен, ты бы этого хотел. Послушайся моего совета и спроси, что она думает на этот счет. Да не смущайся, друг! Для человека, который был женат, ты слишком скромн. Расскажи мне, как прошла коронация.

Радуюсь тому, что можно больше не говорить о Мерапи, я подробно рассказал обо всем, что случилось с того момента, как Аменмес занял свое место на троне. Когда я описал превращение жреческой палочки пророка в змею и то, как Ки и его товарищи сделали то же самое, он засмеялся и сказал, что это обыкновенные жонглерские трюки. Но когда я перешел к описанию тьмы, которая окутала зал и наполнила мраком сердца людей, и зловещего сна Бакенхонсу, он выслушал меня очень серьезно и потом сказал:

— Я думаю то же, что и Ки. Я тоже считаю, что на Кемет движется какая-то ужасная сила, источник которой — страна Гошен, и что я поступил правильно, отказавшись от трона. Но от какого бога исходит эта сила, я не знаю. Может быть, время покажет. А пока, если в пророчествах израильтян действительно есть что-то, что в них увидел Джейбиз, то по крайней мере мы с тобой можем спать спокойно, чего нельзя сказать про фараона на троне, который так жаждет Таусерт. Если все так, игра стоит свеч и наблюдения. Ты хорошо выполнил свою миссию, Ана, иди и отдыхай, а я пока подумаю обо всем, что ты рассказал мне.

\* \* \*

Был вечер, и так как во дворце было жарко, я вышел в сад и, направившись к тому летнему домику, где Сети и я любили сидеть над книгами, устроился там и побежденный усталостью задремал. Мне приснилась плачущая женщина, и от этого сна я проснулся. Уже наступила ночь. В небе сверкала полная луна, заливая сад своими лучами.

Перед летним домиком, как я уже говорил, росли деревья, покрытые в эту пору белыми цветами, а между деревьями было устроено сиденье,

выложенное из обожженных солнцем кирпичей. На этой скамье сидела женщина, в которой по очертаниям фигуры я сразу узнал Мерапи. Она была печальна, ибо, хотя она опустила голову так, что волосы скрывали лицо, я услышал, как она тихо и грустно вздохнула.

Я почувствовал глубокое волнение и вспомнил, что говорил мне принц, советуя спросить у нее, как она ко мне относится. Поэтому не было бы ничего предосудительного в том, если бы я действительно это сделал. Однако я был уверен, что не ко мне склоняется ее сердце, хотя, признаюсь, мне бы очень хотелось, чтобы было иначе. Но кто же посмотрит в сторону ибиса на болоте, если высоко в небе парит, раскинув крылья, орел?

Злая мысль пришла мне на ум, подсказанная Сетом, богом зла. Предположим, что глаза этой созерцательницы прикованы к орлу, царю воздуха. Предположим, что она поклоняется этому орлу, любит его, потому что его дом — небо, потому что для нее он — царь над всеми птицами. И предположим, ей говорят, что если она приманит его на землю из его сияющей небесной выси, где ему не грозит никакая опасность, она тем самым приговорит его к неволе или к смерти от руки птицелова. Не скажет ли тогда эта влюбленная созерцательница: «Пусть он будет свободен и счастлив, как бы я ни любила смотреть на него», — а когда он скроется из виду, не обратит ли она свой взор к скромному ибису на илистом болоте?

Джейбиз сказал мне, что если эта женщина и принц станут дороги друг другу, она навлечет большую беду на его голову. Если бы я повторил ей эти слова, она, веря в пророчества своего народа, несомненно поверила бы им. Более того, на что бы ни толкало ее страстное сердце, она никогда не согласится сделать то, что может навлечь беду на голову Сети, даже если бы отказ от него причинил ей глубокое горе. Не вернулась бы она и к своему народу, чтобы не попасть в руки ненавистного человека. Тогда, может быть, я?... Сказать ей? Если бы Джейбиз не хотел, чтобы она об этом знала, стал ли бы он вообще вести со мной такие речи? Короче говоря, не в этом ли состоит мой долг перед ней и, возможно, перед принцем, и не уберегу ли я их от грядущих несчастий, если, конечно, эти предупреждения о грозящих бедствиях не пустая болтовня?

Таковы были злые мысли, которыми Сет атаковал мой дух. Не знаю, как я поборол их. Не своей добродетелью, во всяком случае, — ибо в этот момент я весь пылал от любви к этой нежной и прекрасной женщине и в своем безрассудстве, думаю, тут же отдал бы жизнь за то, чтобы поцеловать ей руку. И не ради нее тоже, ибо страсть глубоко эгоистична. Нет, я думаю, это было потому, что моя любовь к принцу была глубже и осязаемей, чем любовь к какой-либо женщине, и я хорошо знал, что не буду

она сейчас здесь, передо мной, никогда бы такое предательство не закралось в мое сердце. Ибо я был уверен, хотя Сети не обмолвился об этом ни словом, что он любит Мерапи и больше всех земных благ желал бы иметь ее своей спутницей; но если бы я сказал ей, что хотел было сказать, то, чем бы это ни кончилось для меня и каковы бы ни были ее тайные желания, она никогда не стала бы его подругой.

Итак, я победил, но эта победа досталась мне нелегко: я дрожал, как слабое дитя, и роптал на судьбу, давшую мне жизнь для того, чтобы познать боль несбыточной любви. Награда не заставила себя ждать, ибо как раз в этот момент Мерапи отстегнула драгоценную застежку со своего белого одеяния и, подняв ее, повернула к лунному свету, словно желая лучше ее рассмотреть. Я узнал ее в одно мгновение. Это был тот царский скарабей, которым принц скрепил повязку на раненой ноге Мерапи и который таинственная сила сорвала с ее груди, когда статуя Амона в храме была повергнута в прах.

Долго и серьезно она смотрела на него, а потом, оглянувшись, чтобы удостовериться, что вокруг никого нет, прижала его к груди и трижды страстно поцеловала, шепча — не знаю что — между поцелуями. Пелена спала с моих глаз, и я понял, что она любит Сети, и — о! — как я благодарил моего бога-хранителя, который избавил меня от ненужного позора.

Я стер холодный пот со лба и хотел бежать без лишних слов, как вдруг, подняв глаза, увидел стоящего позади Мерапи человека, который наблюдал за тем, как она снова прикрепляла скарабея к платью. Пока я колебался, человек заговорил, и я узнал голос Сети. Я снова подумал о бегстве, но при моем несколько робком и застенчивом характере не решился выдать свое присутствие, чтобы не стать мишенью для шуток Сети. Через мгновение бежать было уже поздно. Поэтому я притаился в тени и поневоле стал свидетелем их встречи.

— Что это за драгоценность, госпожа, которой ты так восхищаешься и так дорожишь? — спросил Сети своим неторопливым голосом, так часто скрывающим намек на улыбку.

Она слегка вскрикнула и, вскочив со скамьи, увидела его.

— О принц, — воскликнула она, — прости твою служанку! Я сидела здесь, в прохладе, как ты позволил мне, а луна так ярко светит, что я — мне хотелось узнать, смогу ли я при ее свете прочесть надпись на этом скарабее.

Никогда еще, подумал я про себя, я не знал никого, кто бы читал устами, говоря по правде, она прежде воспользовалась глазами.



— И как, госпожа? Позволишь и мне попробовать?

Очень медленно и краснея так, что даже при луне можно было заметить вспыхнувший на ее щеках румянец, она снова сняла с платья застёжку и протянула ему.

— Право, мне кажется, я ее узнаю? Не мог я видеть ее раньше? — спросил он.

— Может быть. Она была на мне в ту ночь в храме, ваше высочество.

— Ты не должна называть меня высочеством, госпожа. Я больше не имею никаких титулов в Египте.

— Знаю — из-за моих... моего народа. О! Это было благородно.

— Но этот скарабей, — сказал он, как бы отмахнувшись жестом от ее слов, — право же, это тот самый, который скрепил повязку на твоей ране — о, много-много дней назад.

— Да, тот самый, — подтвердила она, потупившись.

— Я так и подумал. И когда я дал его тебе, я сказал несколько слов, показавшихся мне в то время очень уместными. Помнишь, что я сказал? Я забыл. Или ты тоже забыла?

— Да — то есть — нет. Ты сказал, что теперь у меня под пятой весь Египет, — имея в виду царский девиз на скарабее.

— А, теперь и я вспомнил. Как верна и, однако, как ложна эта шутка или это пророчество.

— Как может что-то одновременно быть и истинным, и ложным, принц?

— Я мог бы очень легко доказать тебе это, но это заняло бы целый час, если не больше, так что отложим до следующего раза. Этот скарабей — жалкая вещица, верни его мне и ты получишь что-нибудь более ценное. А хочешь этот перстень с печаткой? Поскольку я уже не принц Египта, он мне не нужен.

— Возьми скарабея, принц, он твой. Но я не возьму это кольцо, потому что...

— ...мне не нужно, а ты не хотела бы иметь то, что не нужно дарителю. О! Я плохо подбираю слова, но я хотел сказать совсем другое.

— Нет, принц, — потому что твое царское кольцо слишком велико для того, кто так мал.

— Как ты можешь знать, пока ты его не померила? Кроме того, этот недостаток можно исправить.

Тут он засмеялся и она тоже засмеялась, но кольца все-таки не взяла.

— Ты видела Ану? — продолжал он. — Мне кажется, он пошел тебя искать и так спешил, что едва закончил свой доклад.

— Он так и сказал?

— Нет, но у него был такой вид. Настолько, что я сам предложил ему идти не мешкая. Он сказал, что хочет отдохнуть после долгого путешествия, — или, может быть, это я велел ему пойти отдохнуть. Я забыл. Да и как не забыть в такую прекрасную ночь, когда совсем другие мысли приходят в голову.

— Зачем Ана хотел меня видеть, принц?

— Откуда я знаю? Почему человек, который еще молод, хочет видеть милую и красивую женщину? О, вспомнил! Он встретил в Танисе твоего дядю, который спросил его о твоём здоровье. Может быть, поэтому он и хотел тебя видеть.

— Я не хочу слышать о моем дяде в Танисе. Он напоминает мне о слишком многих вещах, которые причиняют боль, а бывают ночи, когда хочется забыть о боли, — она и так возвращается утром.

— Ты по-прежнему полна решимости не возвращаться к своим? — спросил он более серьезно.

— Конечно. О, не говори, что ты отправишь меня обратно...

— ...к Лейбэну, госпожа?

— В том числе и к Лейбэну. Вспомни, принц, ведь на мне проклятие. Если я вернусь в Гошен, то так или иначе, рано или поздно, но я умру.

— Ана говорит, что, как сказал твой дядя Джейбиз, тот сумасшедший, который пытался убить тебя, не имел права тебя проклинать, тем более убивать. Спроси у Аны, он все тебе расскажет.

— Все же проклятие остается и в конце концов раздавит меня. Как же мне, одинокой женщине, противостоять мощи народа Израиля и его жрецов?

— Разве ты одинока?

— Как же может быть иначе с тем, кто вне закона?

— Ты права. Я знаю это, я ведь тоже отверженный.

— По крайней мере есть ее высочество, твоя жена, которая несомненно придет, чтобы утешить тебя, — сказала она, опустив глаза.

— Ее высочество не придет. Если бы ты видела Ану, он бы, возможно, сказал тебе, что она поклялась никогда не смотреть мне в лицо, если над ним не засияет корона.

— О, как может женщина быть столь жестокой! Ведь этот удар должно быть поразил тебя в самое сердце, — воскликнула она с невольным выражением жалости.

— Ее высочество не только женщина, она принцесса Египта, а это большая разница. Вообще мне, конечно, очень больно, что моя сестра

покинула меня ради того, что она любит больше всего, — власти и величия. Но такова истина — разве что Ане все приснилось. Так что мы, как видишь, в одинаковом положении, оба отверженные, ты и я — разве не так?

Она молчала, по-прежнему не поднимая глаз, и он медленно проговорил:

— Мне пришла в голову одна мысль, о которой я бы хотел услышать твое мнение. Если бы двое покинутых и одиноких объединились, они стали бы наполовину менее одинокими, не так ли?

— Наверно так, принц, — то есть, если бы они были действительно покинуты и одиноки. Но я не понимаю этой загадки.

— Да ты ее решила. Если ты одинока и я одинок, по отдельности, то вместе мы, как ты говоришь, были бы менее одиноки.

— Принц, — прошептала она, отшатнувшись от него, — я этого не говорила.

— Нет, за тебя говорил я. Послушай меня, Мерапи. В Египте меня считают странным, поэтому у меня не было ни одной дорогой и близкой мне женщины, — я никогда не встречал женщины, которая стала бы мне дорога. — Тут она испытующе посмотрела на него, а он продолжал: — Не так давно, перед моей поездкой в Гошен, — Ана может рассказать тебе об этом, по-моему он все записал, — ко мне пришли Ки и старый Бакенхонсу. Ки, как ты знаешь, великий маг, хотя, видимо, и не такой великий, как некоторые ваши пророки. Он сказал мне, что они оба прочитали мое будущее. В Гошене я встречу женщину, которую мне суждено полюбить. Он добавил, что эта женщина принесет мне много радости, — Сети на миг умолк, очевидно вспомнив, что это не все, что говорил Ки и Джейбиз тоже. — Ки сказал мне также, — продолжал он медленно, — что я знаю эту женщину уже тысячи лет.

Она вздрогнула, и на лице ее мелькнуло странное выражение.

— Как это возможно, принц?

— То же самое я спросил у него и не получил вразумительного ответа. Но он сказал также не только об этой женщине, но и о моем друге Ане, а это кое-что объясняет и, насколько я понял, об этом же говорили другие маги. Потом я поехал в Гошен и там встретил женщину...

— В первый раз, принц?

— Нет, в третий...

Тут она опустила на скамью и закрыла лицо руками.

— ...я любил ее, и у меня было такое чувство, будто я любил ее уже «тысячи лет».

— Это неправда. Ты смеешься надо мной, это неправда! —

прошептала она.

— Это правда, ибо если тогда я этого не знал, то узнал потом, но окончательно, пожалуй, только теперь, когда Ана сказал мне, что Таусерт действительно меня покинула. Луна Израиля, та женщина — ты. Я не буду говорить тебе, — продолжал он страстно, — что ты красивее других женщин или нежнее. Я скажу только, что люблю тебя, да, люблю, какой бы ты ни была. Я не могу предложить тебе трон Кемета, даже если бы позволял закон, но я могу предложить тебе трон моего сердца. Что ты скажешь на это, госпожа Мерапи? Пстой — прежде чем отвечать, запомни, что хотя ты в Мемфисе как будто моя пленница, тебе нечего бояться меня. Каков бы ни был твой ответ, ты всегда, пока я жив, будешь иметь здесь кров и дружбу, и никогда я не стану навязывать тебе свое общество, как бы мне ни было больно проходить мимо тебя. Я не знаю, что сулит будущее. Может статься, я дам тебе высокое положение и власть, может статься, я не дам тебе ничего, кроме бедности и изгнания или даже возможности разделить со мной мою гибель, но всегда, в любом случае, с тобой будет мое поклонение тебе, служение всего моего существа. А теперь говори.

Она отняла от лица руки и подняла на него взгляд, в ее прекрасных глазах блеснули слезы.

— Это невозможно, принц.

— То есть, ты не хочешь?

— Я сказала — это невозможно. Такие узы между египтянином и израильтянкой незаконны.

— Так думают некоторые в этом городе и в других местах.

— И у меня есть муж, я хочу сказать — нареченный, по крайней мере, формально.

— А у меня есть жена; я хочу сказать...

— Это совсем другое. Есть и другая причина, самая главная: надо мной висит проклятие, и я принесу тебе не радость, как говорил Ки, а горе или, по крайней мере, горе вместе с радостью.

Он испытующе посмотрел на нее.

— Разве Ана... — начал он и затем продолжал: — Даже если так, скажи: ты когда-нибудь видела жизнь, в которой радость не смешивалась бы с горем?

— Никогда. Но горе, которое принесла бы я, пересилило бы радость — для тебя. На мне лежит проклятие моего бога, а я не могу научиться служить твоим богам. На мне проклятие моего народа, закон моего народа разделяет нас, как меч, и если я стану тебе близкой, все это еще больше

сгустится — не только над моей головой, что не так важно, но и над твоей тоже! — И она зарыдала.

— Скажи мне, — молвил он, взяв ее за руку, — только одно, и если ответом будет нет, я больше не стану тебе досаждать. Твое сердце — мое?

— Да, — вздохнула она, — с тех самых пор, как мои глаза увидели тебя на улицах Таниса. О! Тогда во мне вдруг что-то изменилось и я возненавидела Лейбэна, который раньше мне просто не нравился. Больше того, я тоже почувствовала то, о чем говорил Ки, — как будто я знала тебя уже тысячи лет. Мое сердце — твое, моя любовь — твоя, все, что делает меня женщиной, — твое и никогда не может принадлежать никакому другому мужчине. И все-таки мы должны быть врозь — ради тебя, мой принц, ради тебя.

— Значит, если бы не я, ты была бы готова пойти на риск?

— Конечно! Разве я не женщина, которая любит?

— А если так, — сказал он, слегка засмеявшись, — то, поскольку я совершеннолетний и, по мнению некоторых, неплохо разбираюсь в жизни, я, с твоего разрешения, тоже пойду на риск. О неразумная женщина, неужели ты не понимаешь, что на свете есть только одна хорошая вещь, единственное, что помогает забыть свое «я» и все его несчастья и горести, и это любовь? Могут случиться беды — пусть, какое они имеют значение, если существует любовь и память о ней? Если мы однажды сорвали этот прекрасный цветок и хоть час носили его у себя на груди? Ты говоришь, что у нас разные боги: может быть, эта разница и существует, но все боги посылают на землю дар любви, без которого жизнь прекратилась бы. Больше того, моя вера учит меня — может быть, яснее, чем твоя, — что жизнь не кончается и после смерти, и поэтому любовь, будучи душой жизни, продолжается вместе с ней. И последнее: я думаю, как и ты, что в каком-то непонятном смысле, в словах магов есть правда, и что в далеком прошлом мы были тем, чем снова собираемся стать; и сила этой невидимой связи выделила нас из всего мира и свела воедино и будет держать нас вместе еще долго после того, как этот мир умрет. Дело не в том, Мерапи, чего желаем мы, дело в том, что определила нам судьба. Еще раз — отвечай!

Она не ответила, и когда я через короткое время поднял глаза, она была в его объятиях и ее губы сомкнулись с его губами.

Так Сети, принц Египта, и Мерапи, Луна Израиля, соединились в Мемфисе, в Египте.

## XIII. Красный Нил

На следующее утро я застал принца одного и, побыв с ним немного, напомнил ему о кое-каких древних рукописях, которые он хотел прочитать, но они хранились в Фивах, и я мог только там переписать их. Там же, как мне сказали, были в продаже и другие рукописи. Принц ответил, что они могут и подождать, но я возразил, что, если я не поеду в Фивы сейчас же, на них может найтись и другой покупатель.

— Ты слишком любишь далекие путешествия по моим делам, Ана, — сказал он. Потом с любопытством смотрел на меня некоторое время, и поскольку он мог читать мои мысли — так же, впрочем, как я его, — он понял, что я все знаю, и мягко добавил:

— Тебе следовало действовать, как я говорил, и спросить у нее первым. Кто знает...

— Ты, принц, — ответил я, — ты и никто другой.

— Поезжай, и да будут с тобой боги, друг. Но не сиди слишком долго над перепиской этих свитков, их может переписать любой писец. Думаю, в Кемете будет беспокойно, и я хочу, чтобы ты был рядом со мной. И кому-то другому, которому ты дорог, тоже нужно твое присутствие

— Спасибо тебе и тому другому, — сказал я, поклонившись, и ушел.

Но этого мало; в то время как я занимался скромными приготовлениями к путешествию в Фивы, я обнаружил, что это совершенно излишне, ибо ко мне пришел раб и передал мне, что барка принца готова к отплытию и ждет только попутного ветра. На этой барке я и отправился в Фивы совсем как важный вельможа или как мумия царя, плывущая к месту погребения. Только вместо жрецов (пока я отослал их обратно в Мемфис) на корме сидели музыканты, а когда мне хотелось, появлялись танцовщицы, чтобы развлекать меня на досуге или в одеждах, сплетенных из золотых нитей, прислуживать мне во время трапезы.

Так я ехал, как будто сам принц, и поскольку меня знали как его друга, ко мне были внимательны правители номов, главные люди городов, мимо которых мы плыли, и верховные жрецы храмов в каждом городе, где мы делали остановку. Ибо, как я уже говорил, хотя на троне сидел Аменмес, в сердцах египтян по-прежнему царил Сети. И это ощущалось тем сильнее, чем дальше я продвигался вверх по Нилу, в районы, где мало знали об израильтянах и связанных с ними неприятностях. Почему, шептали мне на ухо великие мира сего, его высочество принц Сети не занял место своего

отца? Тогда я рассказывал им о израильтянах, и они очень смеялись и говорили:

— Пусть только принц развернет здесь свое царское знамя, и мы покажем ему, что мы думаем по вопросу об этих израильских рабах. Неужели наследник Египта не может иметь собственное суждение о том, должны ли они жить на севере или уйти в пустыню, которой так жаждут?

На все это и многое другое я отвечал только, что передам их слова; большего я не мог, да и не смел сказать, ибо всюду я обнаруживал, что за мной следуют и наблюдают шпионы фараона.

Наконец я прибыл в Фивы и остановился в прекрасном доме, принадлежавшем принцу и подготовленном к моему прибытию, как мне сказали, по распоряжению специально присланного им гонца. Дом стоял неподалеку от входа на аллею сфинксов, которая ведет к величайшему из всех фиванских храмов, где находится великолепный колонный зал, построенный Сети Первым и достроенный Рамсесом Вторым, дедом принца.

Здесь я часто бродил ночью, и никогда мой дух не возносился так близко к небесам, как во время этих странствий. Переехав на западный берег Сихора, я посетил также ту уединенную и пустынную долину, где покоятся правители Кемета. Гробница фараона Мернептаха еще не была закрыта, и в сопровождении единственного жреца, несшего факел, я спустился в ее украшенные фресками залы и посмотрел на саркофаг того, кого я совсем недавно видел во всем великолепии на троне; и в уме моем невольно возникал вопрос, как много или как мало знает он обо всем, что происходит в Египте.

Кроме того, я переписал папирусы, ради которых приехал в Фивы, но не нашел ничего, достойного сохранения, и несколько других, действительно очень ценных, которые обнаружил в библиотеках храмов, а также купил несколько свитков. Один из этих последних запечатлел очень странный рассказ, давший мне много поводов к размышлениям, особенно теперь, в последние годы, когда никого из моих друзей уже нет в живых.

Так я провел два месяца и пробыл бы еще больше, если бы ко мне не явились гонцы из Мемфиса с вестью, что принц желает моего возвращения. Второй гонец прибыл через три дня после первого и передал мне послание принца: «Не думаешь ли ты, писец Ана, что если я уже не принц Египта, мне можно не повиноваться? Если так, то имей в виду, что по воле богов я в один прекрасный день могу вырасти выше, чем был когда-либо раньше, и тогда, будь уверен, я вспомню о твоём неповиновении и сделаю тебя на голову короче. Приезжай поскорее, мой друг, ибо я чувствую себя одиноко»

и нуждаюсь в собеседнике».

Я ответил, что вернусь со всей скоростью, с какой только способна двигаться барка, нагруженная рукописями, которые я переписал и купил в Фивах.

Итак, я тронулся в обратный путь. Признаться, я был даже рад покинуть Фивы и вот по какой причине. Дня за два до этого, когда я шел вечером один, направляясь из храма домой, меня окликнула женщина в пестрой и яркой одежде, какую носят заблудшие создания. Я попытался отделаться от нее, но она вцепилась в меня, и я увидел, что она пьяна. Между прочим, она спросила (и ее голос показался мне знакомым), не знаю ли я, кто это прибыл в Фивы по делам какого-то члена царской семьи и остановился в так называемом Доме Принца. Я ответил, что его имя — Ана.

— Когда-то я знала одного Ану, — сказала она, — но я ушла от него.

— Почему? — спросил я, холодея, ибо, хотя я не видел ее лица, скрытого под капюшоном, мной овладел ужас.

— Потому что он жалкий дурак, — ответила она, — совсем не мужчина, — только и думал о своих писаниях; а тут подвернулся другой, он мне очень понравился, — только потом он меня бросил.

— А что случилось с Анной? — спросил я.

— Не знаю. Наверно, продолжал мечтать, а может взял другую жену. Жаль мне ее, если так. Только если этот Ана, что прибыл в Фивы, мой бывший Ана, то он должен быть теперь богат, и я пойду к нему — уж я заставлю его взять меня обратно!

— У тебя были дети? — спросил я.

— Только одна девочка, благодарение богам, — да и та умерла, еще раз благодарение богам, а то бы выросла и стала бы такой, как я. — И она надрывно всплакнула и тут же перешла к своим гнусным заигрываниям.

При этом капюшон соскользнул у нее с головы, и я увидел лицо своей жены, все еще красивое, но уже носящее следы пьянства и разврата. Я задрожал с головы до ног, а потом сказал измененным голосом:

— Женщина, я знал твоего Ану. Он уже умер, и ты причина его гибели. Но все же, поскольку я был его другом, возьми это и постарайся исправить. — И я дал ей весьма увесистый мешочек с золотом.

Она схватила его, как ястреб добычу, и, заглянув в него при свете луны, поблагодарила меня и сказала:

— Право, Ана мертвый стоит больше, чем Ана живой. Пожалуй, хорошо, что он умер, — он ушел туда, куда ушло наше дитя, а ее он любил больше жизни и даже мной стал пренебрегать. Оттого я стала тем, что я



есть. Да к тому же будь он жив, он бы еще немало натерпелся от женщин, он ведь совсем их не понимал. Ну, да ладно. Прощай, друг Аны. С тем, что ты мне дал, я, пожалуй, найду себе другого мужа! — И дико засмеявшись она, шатаясь, обошла сфинкса и исчезла в темноте.

После этой встречи неудивительно, что мне не терпелось покинуть Фивы. Кроме того, эта несчастная больно уязвила меня, убедив в том, о чем я до сих пор только смутно догадывался, а именно — я совершенный глупец в отношении женщин, такой непроходимый глупец, что лучше мне с ними не иметь дела. И я тут же поклялся именем моего бога-хранителя, что отныне никогда не взгляну ни на одну из них с любовью. И если другие клятвы я потом и нарушал, эту клятву я держу до сих пор. Укололи меня также слова о нашей умершей дочери; ибо в самом деле, когда это нежное существо отлетело к Осирису, сердце мое разбилось и в каком-то смысле так и не исцелилось до конца. И теперь мне пришло в голову, что быть может она права; забыв о матери ради ребенка, которого я боготворил, — да, тогда и все последующие годы — я невольно толкнул ее на путь позора. Эта мысль так мучила меня, что через одного преданного человека, считающего, что я лишь отдаю должное той, кого несправедливо обидел, я постарался обеспечить ей безбедную и спокойную жизнь.

Она действительно вышла замуж за купца, вокруг которого раскинула свои сети; со временем она растратила все его богатство и довела его до разорения, после чего он бежал. Сама она умерла на третий год царствования Сети Второго. Но, благодарение богам, она так и не узнала, что личный писец и секретарь фараона — тот самый Ана, который когда-то был ее мужем. На этом я и закончу ее историю.

Итак, я плыл вниз по Нилу с тяжелым сердцем — тяжелее, чем большой камень, служивший нам якорем. На третий день в сумерках мы пришвартовались у борта судна, которое держало курс вверх по течению под северным ветром. На борту этого судна был чиновник, которого я знал при дворе фараона Мернептаха; он направлялся в Фивы с каким-то поручением. У него был такой испуганный вид, что я спросил, в чем причина его страха. Тогда он отвел меня в сторону, в пальмовую рощу на берегу и, присев на шест, которым волны вращали водяное колесо, рассказал мне о странных вещах, происходивших в Танисе.

Оказалось, что израильские пророки еще раз явились к фараону, который до тех пор не трогал их народ и не пошел на них с мечом, как того хотел Мернептах, — считали, что его удерживал страх — он боялся умереть подобно предыдущему фараону. Как и прежде пророки изложили свою просьбу — отпустить их народ в пустыню, а фараон отказал им. Тогда

они встретили его на следующее утро, когда он приехал к реке, чтобы пройти под парусом, и один из них ударил по воде своим жезлом, и вода превратилась в кровь. В ответ керхеб Ки и его товарищи тоже ударили по воде в другом месте, и вода тоже превратилась в кровь. Это было лишь шесть дней назад, и чиновник клялся, что теперь кровь поднимается, расплзаясь, вверх по течению Нила. Я не поверил и засмеялся.

— Ну, тогда пойдем, покажу, — сказал он и повел меня на свое судно, где вся команда была охвачена страхом не меньшим, чем тот, что овладел их начальником.

Он привел меня на корму и показал большой кувшин для воды, и — о! — он был полон крови, а в ней — дохлая рыба, издававшая зловоние.

— Эту воду, — сказал он, — я сам набрал из Нила в пяти часах ходу отсюда. Но мы обогнали эту кровь, которая теперь движется за нами. Посмотри еще раз. — И, взяв светильник, он поднял его над кормой, и я увидел, что все доски были как будто обагрены кровью.

— Послушайся моего совета, высокоученый писец, — добавил он, — и наполни все кувшины и все кожаные мешки чистой водой, иначе завтра вас замучит жажда. — И он засмеялся смехом, от которого мне стало жутко.

Затем мы расстались, ничего больше не сказав, ибо ни один из нас не знал, что еще можно сказать об этих непонятных и страшных явлениях, и около полуночи чиновник отчалил, воспользовавшись поднявшимся ветром и рискуя наскочить в темноте на какую-нибудь песчаную мель.

Я последовал его совету, хотя мои гребцы, которым не пришлось говорить с его людьми, решили, что с моей стороны просто безумие загружать барку таким количеством воды.

При первых проблесках зари я дал команду к отплытию. Поглядывая за борт, я заметил, что там, где падали лучи разгоравшейся зари, вода принимает розовый оттенок. Больше того, этот оттенок, становясь все гуще, распространялся не вниз, а вверх по течению вопреки законам природы и, следовательно, не мог быть результатом смыва красной почвы с южных земель. Гребцы приглядывались и вполголоса переговаривались. Наконец один из них, перегнувшись через борт, зачерпнул в ладонь воды и отпил глоток-другой, но тут же выплюнул ее с криком ужаса.

— Кровь! — воскликнул он. — Кровь! Опять убили Осириса, и его кровь заполняет воды Сихора!

Гребцы так испугались, что если б не я, они тотчас бы повернули вспять и направили бы барку вверх по течению или пристали бы к берегу и сбежали в пустыню. Но я крикнул им, чтобы они продолжали путь на север

и мы таким образом смогли бы скорее избавиться от этого ужаса, и они меня послушались. Но чем дальше мы плыли, тем краснее казалась вода, становясь почти черной, так что наконец нам стало казаться, что мы плывем в потоках крови, в которых мертвые рыбы плавали тысячами или бились, погибая, на поверхности. Зловоние стало таким ужасным, что пришлось наложить на нос повязку и хотя бы частично смягчить ощущение отравленного воздуха.

Мы поравнялись с одним городом и услышали общий вопль ужаса, поднимавшийся над его улицами. Люди стояли с видом пьяных, глядя на покрасневшие руки, которые они окунали в воду, а женщины бегали по берегу и рвали на себе волосы и одежду, испуская громкие крики: «Коварство! Колдовство! Проклятые боги перебили друг друга, и люди тоже должны погибнуть!» — и тому подобное.

Мы видели также, как на некотором расстоянии от берега крестьяне рыли колодец, надеясь добраться до чистой, здоровой воды.

Весь день мы плыли в этом ужасном потоке, а пена и брызги, срывааемые сильным ветром, покрывали наши тела и одежды зловещими пятнами, от которых несло запахом крови и внутренностей. От этой пены исходили зловоние и соленый вкус свежей крови, и мы только пили заготовленную мной воду; и гребцы, которые сочли меня прежде сумасшедшим, теперь называли мудрейшим из людей, человеком, предвидящим то, что может случиться в будущем.

К вечеру мы наконец заметили, что с каждым часом красный цвет бледнеет. Это было вторым чудом, поскольку выше нас по течению вода еще сохраняла цвет яшмы. При этом чуде мы на время откинули весла и, несмотря на наш неподобающий вид, спели гимн и вознесли благодарственные молитвы Хапи, богу Нила, Великому, Таинственному, Незримому. И в самом деле, перед заходом солнца река уже вновь стала чистой. Только на берегу, куда мы причалили на ночь, камни и камыши были все в пятнах, а вокруг тысячами лежали мертвые рыбы, отравляя воздух. Чтобы уйти от этого зловония, мы взобрались на скалы, которые в этом месте подходили к самому Нилу, и, обнаружив вырубленные в них входы в древние гробницы, давно уже разграбленные и опустевшие, решили переночевать в одной из них.

Вытопанная человеком тропинка вела к самой большой из этих гробниц. Приблизившись, мы вдруг услышали доносившиеся из нее плач и причитания. Я заглянул внутрь и увидел женщину и нескольких детей, которые скорчились на полу гробницы, посыпая головы песком и пылью. Увидев нас, они завопили еще громче сухими, резкими голосами, — без

сомнения, они приняли нас за разбойников или, возможно, за привидения, судя по нашей запачканной кровью одежде. С ними был еще один ребенок, совсем младенец, который не плакал: он был мертв. Я спросил женщину, что произошло, но даже когда она поняла, что мы обычные люди и не причиним ей зла, она была в состоянии лишь выдохнуть одно слово: «Воды! Воды!» Мы дали ей и детям напиться из принесенных нами кувшинов, что они и сделали с жадностью, после чего я выпросил у нее их историю.

Она была женой рыбака, который поселился в этой пещере. Она рассказала, что семь дней назад вода в Ниле вдруг превратилась в кровь, что ее невозможно было пить, а весь их запас воды ограничивался небольшим горшочком. Вырыть колодец они были не в состоянии из-за скалистой почвы. Бежать отсюда они тоже не могли, ибо при виде этого страшного чуда ее муж в ужасе выпрыгнул из лодки и вброд добрался до берега, а лодку унесло течением.

Я спросил, где же ее муж, и она показала в глубину пещеры. Я пошел взглянуть, что там, и увидел человека, висевшего с петлей вокруг горла на веревке, которая была закреплена на капители одной из колонн гробницы; человек был мертв и холоден. У меня сжалось сердце, и я спросил женщину, как это произошло. Она рассказала, что когда он увидел, что вся рыба погибла, лишив его пищи и ремесла, а жажда убила его младшее дитя, он обезумел, отполз в глубину пещеры и тайком от жены повесился на веревке от невода. Поистине ужасная история.

Оставив вдове нашу еду, мы переночевали в другой гробнице, ибо нам не хотелось спать в обществе мертвецов. На следующее утро едва забрезжила заря, мы взяли женщину и ее детей на барку и отвезли их в город, в трех часах ходу от ее мрачного жилья. Там у нее жила сестра, которую она и разыскала. Мужа и ребенка мы оставили в гробнице, ибо мои люди не хотели осквернить себя, прикоснувшись к мертвым телам.

Наконец после стольких ужасов и несчастий мы благополучно прибыли в Мемфис. Оставив гребцов привести в порядок барку, я отправился во дворец, ни с кем не разговаривая на пути, и меня немедленно провели к принцу. Я застал его в затененной от солнца комнате, где он сидел рядом с госпожой Мерапи и держал ее за руку, и они живо напомнили мне статуи *Ка* мужа и жены, в рост человека, какие я видел в древних гробницах, созданные в те времена, когда скульпторы умели передавать точные подобию живых мужчин и женщин. Сегодня они этого не делают, думаю потому, что жрецы внушили им, что это незаконно. Он разговаривал с ней вполголоса, в то время как она слушала его с нежной,

как всегда, улыбкой, но в ее глазах, устремленных куда-то в пространство, мне почудился страх. Я подумал, что она очень красива в белой одежде, на которую падали ее волосы, приподнятые на висках узкой золотой полоской-повязкой. Но глядя на нее, я к своей радости почувствовал, что сердце мое уже не жаждет ее, как в ту ночь, когда она сидела перед летним домиком. Теперь оно радовалось ей, как другу, не более, и другом она осталась до самого конца, как хорошо знали и принц, и она сама.

Когда Сети увидел меня, он вскочил и пошел мне навстречу как человек, который счастлив приветствовать любимого друга. Я поцеловал его руку и, подойдя к Мерапи, поцеловал ее руку тоже, заметив при этом, что на ней сверкает то кольцо, которое она однажды отвергла под предлогом, что оно ей велико.

— Расскажи, Ана, обо всем, что с тобой случилось, — сказал он своим приятным, дружелюбным голосом, который никогда не звучал равнодушно.

— Многое, принц, в том числе нечто очень странное и ужасное, — ответил я.

— Здесь тоже произошло нечто странное и ужасное, — сказала Мерапи, — и, увы, это лишь начало бедствий.

С этими словами она поднялась, как будто не решаясь сказать большего, поклонилась сначала своему мужу, потом мне и вышла из комнаты.

Я посмотрел на принца, и он ответил на вопрос, который прочел в моих глазах.

— Здесь был Джейбиз, — сказал он, — и поселил в ее сердце дурные предчувствия. Если фараон не отпустит израильтян с миром, клянусь Амоном, я хотел чтобы он отослал хотя бы Джейбиза в какое-нибудь место, где тот и остался бы. Но скажи мне, вы тоже видели, как кровь поднималась вверх по течению Сихора? Должно быть, да. — И он взглянул на ржавые пятна, которых никакая стирка не могла смыть с моей одежды.

Я кивнул, и мы долго и серьезно разговаривали, но в конце разговора не стали умнее, чем были в начале, несмотря на все наши рассуждения. Ибо ни один из нас не понимал, как могло случиться, что люди, ударив по воде палкой, превратили ее в подобие крови, как это сделали израильские пророки и Ки, и каким образом эта кровь могла подняться по Нилу против течения и держаться в реке на протяжении семи дней, да и проникнуть во все каналы Египта, так что люди были вынуждены рыть колодцы, чтобы добыть чистую воду, и притом каждый раз заново, ибо кровь просачивалась и туда. Но мы оба думали, что это — работа богов, и скорее всего того бога, которому поклоняются израильтяне.

— Помнишь, Ана, — сказал принц, — слова Джейбиза, которые он просил тебя мне передать? Он сказал, что от израильтян и их проклятий мне не будет ничего плохого. Ничего до сих пор и не было плохого — кроме появления самого Джейбиза. За день до того, как мы услышали об этом кровавом бедствии на Ниле, сюда явился Джейбиз, переодетый торговцем сирийских товаров, которые он продал мне втридорога. Он проник на половину Мерапи, где она обычно принимает тех, кого любит и хочет видеть, под предлогом, что хочет показать ей свой товар, и говорил с ней и, боюсь, рассказал ей все, что мы с тобой так старались от нее скрыть — что она навлечет на меня беду. По крайней мере, с тех пор она как-то изменилась, и я счел разумным заставить ее дать клятву, которую, я знаю, она никогда не нарушит: теперь, когда мы вместе, она никогда не покинет меня, пока мы оба живы.

— Джейбиз хотел, чтобы Мерапи с ним уехала, принц?

— Не знаю. Об этом она мне ничего не говорила. Однако я уверен, что если бы он явился сюда со своей гнусной болтовней до твоего возвращения из Таниса, она бы уехала. Но теперь есть причины, которые, надеюсь, удержат ее от этого.

— Что же он мог ей сказать, принц?

— Приблизительно то же, что и тебе. Что страну Кемет ожидают большие бедствия. Он сказал еще, что послан спасти меня и моих друзей от этих бедствий, потому что я был другом евреев, насколько мог. Потом он обошел весь дом и сад и что-то вычитывал вслух из какого-то папируса, что именно — я не понимал, и время от времени молился своему богу: там, где канал входит в сад, там, где он вытекает из сада, и около источника с питьевой водой. Но это еще не все! Вместе с Мерапи он побывал в моих полях и на пастбищах и тоже читал и молился, так что слуги решили, что он просто сумасшедший. Потом они вернулись, и я слышал, как они прощались. Она сказала: «Дом ты благословил, и он в безопасности; поля тоже — не благословишь ли ты и меня, о мой дядя, и моих будущих детей?» А он покачал головой и ответил: «У меня нет власти ни благословлять тебя, ни проклинать, как тот глупец, которого убил принц. Ты сама выбрала свой путь, независимый от твоего народа. Может быть, это хорошо, может быть — плохо, а может быть и то и другое, и отныне ты должна идти этим путем одна, куда бы он тебя ни привел. Прощай, ибо, возможно, мы больше не увидимся».

Потом они прошли, и я больше ничего не услышал, но я видел, что она упрашивала его, а он по-прежнему качал головой. Под конец, однако, она поднесла ему дар — наверно, все что у нее было, но не знаю, ему ли или

для их храма. Во всяком случае он, кажется, смягчился и весьма нежно поцеловал ее в лоб и отбыл с видом удачливого купца, продавшего весь свой товар. Но Мерапи ни за что не хочет рассказать мне, о чем они говорили. Я тоже не сказал, что слышал кое-что из их разговора.

— А потом?

— А потом, Ана, мы узнали, что израильский пророк превратил воду в кровь и что Ки и его ученики сделали то же самое. Последнему я не поверил, потому что мне казалось, было бы естественнее, если бы Ки превратил кровь обратно в воду вместо того, чтобы прибавлять крови туда, где ее и так достаточно.

— Мне кажется, маги лишились рассудка.

— Или способны только на злые дела, Ана. Во всяком случае, кровь действительно появилась, и так было целых семь дней, а потом начались болезни из-за гниющей рыбы. А теперь о чуде: у меня ни в доме, ни в садах не было никакой крови, хотя канал был ею переполнен. Вода оставалась чистой, как всегда, и рыбы плавали в ней, как всегда, в колодце вода тоже была чистая и свежая. Как только об этом стало известно, сюда сбежалась тысячная толпа, и все кричали, требуя воды, — до того момента, как увидели, что едва они выходили за ворота, вода в их кувшинах краснела; правда, некоторые все-таки приходили и старались поскорее выпить воды, не сходя с места.

— А что говорят об этом в Мемфисе, принц? — спросил я, с удивлением выслушав его рассказ.

— Кое-кто считает, что не Ки, а я — великий маг Египта; никогда еще слава, Ана, не доставалась так легко! Другие говорят, что настоящий маг — Мерапи, не только потому, что ее история в танисском храме дошла до Мемфиса, но и потому, что она — израильтянка из племени еврейских пророков. Тише! Она возвращается!

## XIV. Ки приезжает в Мемфис

Обо всех ужасах, началом которых было это превращение воды в кровь, я, писец Ана, рассказывать здесь не буду, ибо я уже стар, и, если бы стал перечислять все, что последовало, я бы не успел кончить свой рассказ. На протяжении многих и многих новолуний обрушивались они на Кемет, одно бедствие за другим, пока вся страна не обезумела от нужды и страданий. И всякий раз повторялось одно и то же. Израильские пророки являлись в Танис и требовали от фараона, чтобы он отпустил их народ, угрожая в случае отказа мезтью. Но тот неизменно отказывал, как будто во власти какого-то безумия, а может быть, замороженный богом израильтян, — не знаю почему.

Так, вскоре после ужаса крови страну поразило бедственное нашествие лягушек, которые заполнили Египет от северной до южной границы, распространяя вокруг зловоние. Ки и его товарищи тоже сотворили подобное же чудо в стране Гошен, где лягушки изводили израильтян. Но каким-то образом во дворце Сети в Мемфисе и в прилегающих к нему владениях лягушек не было или, по крайней мере, их были единицы, хотя по ночам с полей доносилось их кваканье, похожее на дробь множества барабанов.

Потом страну одолели вши, и Ки с товарищами хотели напустить их и на Гошен, но тщетно, и после этого уже не пытались бороться против магии израильтян. За вшами появились мухи, от которых в воздухе стало черно и невозможно было сохранить пищу свежей. Только во дворце Сети не было мух и очень мало — в саду. После этого началась страшная болезнь скота, от которой погибли тысячи животных. Но в большом стаде Сети не заболело ни одно, и как мы узнали позже, в Гошене тоже не стало ни на одно копыто меньше.

Это бедствие обрушилось на Кемет вскоре после того, как Мерапи родила сына — очень красивое дитя с глазами, как у матери, которому дали имя в честь его отца — Сети. К этому времени весть о том, что принц и все его хозяйство каким-то чудом избежали этих напастей, вызванных проклятием, разнослась и вызвала много толков, так что и к нему стали присылать ходоков, чтобы узнать, как это могло случиться.

Среди первых явился старый Бакенхонсу с поручением от фараона и отдельно ко мне с поручением от принцессы Таусерт, ибо гордость не позволила ей обратиться прямо к Сети. Но мы не могли сообщить ему



ничего, кроме того, о чем я здесь написал, и на первых порах он нам не поверил. Однако, удостоверившись, что мы говорим правду, он отказался от всего, сказался больным и попросил разрешения принца остаться на некоторое время в его доме, поскольку он был другом его отца, деда и прадеда. Сети засмеялся — как, впрочем, и сам хитрый старец и Бакенхонсу остался, к нашей великой радости ибо он был самым очаровательным собеседником и к тому же большим ученым. Что касается его поручения, то в Танис был послан один из его слуг с ответом фараону и Таусерт и с уведомлением о прискорбном недомогании его хозяина.

Спустя дней восемь я стоял утром, греясь на солнце, у той садовой калитки, что выходит к храму Птаха, и празднично следил за процессией жрецов, с пением проходящих по его территории, ибо из-за частых болезней, случавшихся в эту пору в Мемфисе, я редко покидал пределы дворца. Неожиданно я увидел темную фигуру человека, кутавшегося в плащ, так как солнце еще не разогнало утреннюю прохладу. Человек приблизился и, обратившись ко мне через голову стражника, спросил, не может ли он видеть госпожу Мерапи. Я ответил, что она занята, ибо нянчит своего сына.

— И кое-чем еще, я полагаю, — ответил он многозначительно, и его голос показался мне знакомым. — Ну, тогда могу я видеть принца Сети?

Я ответил, что он тоже занят.

— Тем, что нянчит свою душу, изучает глаза госпожи Мерапи, улыбку своего младенца, мудрость писца Аны и атрибуты ста одного бога, в том числе, как можно предположить, бога Израиля, — произнес этот знакомый голос, добавив: — Тогда я, возможно, могу повидать этого писца Ану, который, насколько я понимаю, приписывает свою удачливость своей учености.

Рассерженный насмешливым тоном незнакомца, который, как я уже ясно чувствовал, на самом деле вовсе не незнакомец, я ответил, что писец Ана, стремясь пополнить недостаток удачливости, занят беседой с богиней учености в своем кабинете.

— Что ж, пусть его беседует, — насмешливо сказал незнакомец, — поскольку она — единственная женщина, какую ему, похоже, удалось поймать. Хотя одна его однажды поймала. Если ты его знакомый, спроси у него, о чем он с ней беседовал в аллее сфинксов у большого храма в Фивах, скольких золотых монет и слез ему это стоило.

Услышав это, я поднял руку и протер глаза, думая что я, должно быть, задремал, пригревшись на солнце. Но когда я отнял руку, все оставалось, как было: стоял стражник, равнодушный к тому, что его не касалось, петух,

распустив хвост, все так же разгребал лапой грязь, гриф по-прежнему сидел с распростертыми крыльями на голове одной из двух больших статуй Рамсеса, возвышающихся словно стражи у ворот. Поодаль продавец воды расхваливал свой товар — но незнакомец исчез. Тогда я понял, что я действительно видел сон, и повернулся, собираясь уйти, — и оказался лицом к лицу с незнакомцем.

— Эй, ты, — сказал я возмущенно, — как, во имя Птаха и всех его жрецов, ты прошел мимо стражника и через эти ворота, а я даже не заметил?

— Не утруждай себя новой задачей, когда их и так уже достаточно, чтобы сбить тебя с толку, друг Ана. Скажи, ты уже решил ту — про палку, которая превратилась у тебя в руке в змею? — И он отбросил капюшон, и я увидел бритую голову и сверкающие глаза керхеба Ки.

— Нет, — ответил я, — благодарю покорно, ибо он протянул мне свой жезл. — Я не повторю больше этот фокус. В следующий раз зверь может и укусить. Ну ладно, Ки, если ты смог войти сюда без моего разрешения, к чему о нем спрашивать? Короче, чего ты от меня хочешь после того, как израильские пророки положили тебя на обе лопатки?

— Тихо, Ана! Никогда не давай воли гневу, это напрасная трата сил, которых у нас и так мало; ты ведь мудрый и знаешь — а может быть, не знаешь — что при нашем рождении боги дают нам определенный запас сил, а когда они истощаются, мы умираем и должны идти куда-то в другое место, чтобы пополнить этот запас. При твоём характере, Ана, жизнь твоя будет короткой, ибо ты растрачиваешь слишком много сил на эмоции.

— Что тебе нужно? — повторил я, слишком сердитый, чтобы спорить с ним.

— Хочу найти ответ на вопрос, который ты так грубо сформулировал: почему израильские пророки, как ты выразился, положили меня на обе лопатки?

— Я не маг, каким являешься — или претендуешь быть — ты, и не могу ответить на твой вопрос.

— Я ни на минуту не предполагал, что можешь, — ответил он благодушно, протянув руки и выпустив из них свой посох, который так и остался стоять перед ним. (Только позже я вспомнил, что этот проклятуций кусок дерева стоял сам по себе, без видимой поддержки, ибо его кончик упирался в вымощенную дорожку у ворот.) — Но, по счастливой случайности, ты имеешь в этом доме мастера или, скорее, мастерицу над всеми магами — как известно сегодня каждому египтянину — госпожу Мерапи, и я хотел бы повидаться с ней.

— Почему ты называешь ее мастерицей над вами, магами? — спросил я с возмущением.

— Почему одна птица узнает другую по полету? Почему вода остается здесь чистой, когда во всех других местах она превращается в кровь? Почему лягушки не квакают в садах Сети, а мухи не садятся на мясо у него на столе? Почему, наконец, статуя Амона рассыпалась под ее взглядом, в то время как все мои чары отскакивали от ее груди, как стрелы от кольчуги? Вот вопросы, которые задает весь Египет, и я хотел бы получить на них ответы от возлюбленной Сети, или бога Сети — от той, кого называют Луной Израиля.

— Тогда почему не пробраться туда самому, Ки? Тебе, несомненно, ничего не стоит принять вид змеи или крысы, или птицы, и проползти или прокрасться, или прилететь в покои Мерапи.

— Возможно, это и не было бы очень трудно, Ана. Или, еще лучше, я мог бы посетить ее во сне, как я сделал в одну памятную ночь в Фивах, когда ты поведал мне о разговоре с одной женщиной в аллее сфинксов и о том, сколько золота она тебе стоила. Но в данном случае я хочу появиться как человек и друг и немного погостить здесь, Бакенхонсу говорит, что находит жизнь в Мемфисе очень приятной, к тому же свободной от болезней, которые сейчас стали, видимо, обычными для Кемета. Так почему бы мне тоже не пожить здесь, Ана?

Я посмотрел на его круглое, полное лицо, на котором застыла неподвижная улыбка, неизменная, как улыбка масок на гробах мумий (которую, я думаю, он и скопировал) и холодно сверкали глубоко сидящие глаза, и почувствовал легкую дрожь. Сказать по правде, я боялся этого человека, чувствуя, что он соприкасается с существами и вещами какого-то иного мира, и решил больше ему не противодействовать.

— С этим вопросом тебе лучше обратиться к моему господину Сети, кому принадлежит этот дом. Пойдем, я проведу тебя к нему.

Итак, мы направились к большому портику дворца, прошли между его раскрашенными колоннами к той части дворца, где жил я, откуда я решил сообщить принцу о неожиданном госте. Оказалось, что это излишне, ибо мы увидели, что он сидит в тени маленькой ниши; рядом с ним сидела Мерапи, а между ними на вытканном коврике лежал сияющий младенец, на которого оба смотрели с обожанием.

— Странно, что в сердце этой матери скрыта сила, которой могли бы гордиться все боги Кемета. Странно, что эти материнские глаза могут превратить древнюю славу Амона в прах, — сказал мне Ки таким тихим голосом, что мне почудилось, будто я слышу не слова его, а мысли. Может

быть, так оно и было.

Теперь мы стояли перед этой троицей, и так как раннее солнце было еще позади нас, тень облаченного в плащ Ки упала на дитя и покрыла его. Страшная фантазия пришла мне вдруг в голову: тень Ки выглядела как фигура бальзамировщика, склонившегося над только что умершим ребенком. Младенец что-то почувствовал, открыл большие глаза и заплакал. Мерапи вскочила и подняла его на руки. Сети тоже поднялся со скамьи, воскликнув:

— Кто пришел?

К моему изумлению Ки простерся перед ним и произнес приветствие, с которым обращаются только к царю Египта:

— Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон!

— Кто смеет приветствовать меня этими словами? — воскликнул Сети. — Ана, какого сумасшедшего ты привел?

— Если принцу угодно, это он привел меня сюда, — ответил я слабым голосом.

— Скажи, кто научил тебя обратиться ко мне с такими словами? Худшего приветствия нельзя придумать.

— Те, кому я служу, принц.

— А кому ты служишь?

— Богам Кемета.

— Ну, тогда боги по тебе плачут. Фараон сидит не в Мемфисе, и если бы он услышал твои слова...

— Фараон никогда не услышит их, принц, до тех пор, пока не услышат все.

Они смотрели друг на друга. Потом, как раньше у ворот сделал я, Сети протер глаза и сказал:

— Право же, это Ки! Почему же ты только что выглядел иначе?

— Боги могут изменять вид своих посланцев тысячи раз в мгновение ока, если на то их воля, о принц.

Гнев Сети прошел, и он засмеялся.

— Ки, Ки, — сказал он, — ты бы лучше поберег эти трюки для Двора. Но раз уж ты в таком настроении, как бы ты приветствовал эту госпожу, что стоит рядом со мной?

Ки устремил на нее взгляд, от которого она, всегда боявшаяся и ненавидевшая мага, невольно вздрогнула.

— Корона Хатхор, приветствую тебя. Любимица Исиды, сияй в небесах, проливая свет и мудрость, пока ты не зайдешь.

Это приветствие озадачило меня. Я его даже не совсем понял, пока

Бакенхонсу не напомнил мне, что прозвище Мерапи было Луна Израиля, Хатхор, богиня Любви, увенчана луной на всех изображающих ее статуях, Исида — царица таинств и мудрости, и что Ки, считая Мерапи совершенной в любви и красоте и величайшей из всех чародеек, сравнивал ее с Луной, Хатхор и Исидой.

— Да, — ответил я, — но что он имел в виду, говоря о ее заходе?

— Разве луна не всегда садится и разве иногда на нее не находит тень?  
— спросил он как-то странно.

— Но солнце тоже садится, — ответил я.

— Верно, солнце тоже! Ты становишься мудрецом, Ана, настоящим мудрецом. Охо-хо!

Но вернемся к сцене в саду. Когда Сети услышал это приветствие, он снова рассмеялся и сказал:

— Я должен в это вдуматься, но ясно, что у тебя талант к восхвалению. Не правда ли, Мерапи? Корона Хатхор и воплощение мудрости Исиды?

Но Мерапи, которая, думаю, понимала больше, чем любой из нас, побледнела и отступила подальше, из тени на солнце.

— Ладно, Ки, — сказал Сети, — закончим с приветствиями. Как насчет младенца?

Ки всмотрелся в него:

— Теперь, когда он не в тени, я вижу, что этот побег из корня фараона растет столь быстро и высоко, что мои глаза не достигают его венчика. Он слишком высок и велик для приветствий, принц.

Тогда Мерапи слегка вскрикнула и унесла ребенка прочь.

— Она боится магов и их темных изречений, — сказал Сети, глядя ей вслед с огорченной улыбкой.

— Она не должна бояться, принц, учитывая, что она — властительница всего нашего племени.

— Госпожа Мерапи — и маги? Ну, в каком-то смысле, да, — там, где это касается мужских сердец, как ты думаешь, Ана? Но говори яснее, Ки. Еще рано, а загадки хороши только ночью.

— Какая другая женщина могла бы разрушить крепкий и священный дом великого Амона на земле? Даже пророки Израиля не могли бы, я думаю. Кто еще смог бы оградить этот сад от проклятий, которые пали на весь Кемет? — серьезно спросил Ки, ибо вся его насмешливость с него слетела.

— Я не думаю, что все это делает она, Ки. Я думаю, что через нее действует какая-то сила, и я знаю, что она осмелилась стать лицом к лицу с

Амоном в его храме только потому, что так велели жрецы ее народа.

— Принц, — ответил он с коротким смешком, — недавно я отправил тебе с Анной послание. Возможно, другие мысли вытеснили его у тебя из памяти. Оно было о природе той Силы, о которой ты говоришь. В моем послании я назвал тебя мудрым, но теперь вижу, что в тебе так же мало мудрости, как и во всех остальных; ибо, если бы она у тебя была, ты бы знал, что резец, обрабатывающий камень, — это не направляющая рука, а разящая молния — это не посылающая ее сила. Так и с твоей прекрасной любимой, так и со мной, и со всеми, кто творит чудеса. Но мы делаем, что нам приписывают, — мы лишь резец и молния. Я хотел бы знать лишь одно: кто или что направляет ее руку и дает ей власть и силу защищать или разрушать.

— Это очень серьезный вопрос, Ки; во всяком случае, так кажется мне, с моей малой, как ты говоришь, мудростью. Тот, кто может на него ответить, держит ключ к знанию. Твое искусство не так велико, оно кажется великим лишь потому, что доступно очень немногим. Какое чудо заставляет цветок расти, ребенка — родиться, Сихор — разливаться, а солнце и звезды — сиять в небесах? Что делает человека наполовину зверем, а наполовину богом, толкает его вниз — к зверю, или поднимает вверх — к богу — или к тому и другому сразу? Что такое вера и что — неверие? Ты качаешь головой, ты не знаешь; как же могу знать я, ведь я, по-твоему, глупец? Так что ищи ответа на твой вопрос у госпожи Мерапи — только может случиться, что твои вопросы встретят противодействие.

— Все-таки попробую. Спасибо повелителю Мерапи! Прошу о милости, принц (раз уж ты не разрешаешь называть тебя другим именем, которое естественно вырвалось из уст того, для кого настоящее и будущее — почти одно и то же)...

Сети пристально посмотрел на него, и впервые в его глазах промелькнуло выражение страха.

— Оставь Будущее — Будущему, Ки! — воскликнул он. — Каково бы ни было мнение Египта, сейчас меня вполне удовлетворяет настоящее. — И он взглянул на кресло, в котором недавно сидела Мерапи, и на коврик, где лежал его сын.

— Беру свои слова обратно. Принц мудрее, чем я думал. Маги знают будущее потому, что временами оно нисходит на них и они поневоле должны обращать к нему взор. Это и делает их одинокими, поскольку они не могут сказать о том, что они знают. Но только глупец пытается проникнуть в будущее.

— И все же время от времени они приподнимают краешек завесы, Ки.

Я помню, например, твои собственные слова о ком-то, кто найдет в стране Гошен великое сокровище, а потом испытает временные потери и — дальше я забыл. Да перестань же улыбаться мне и пронзай меня насквозь острыми, как мечи, глазами. Ты все можешь, — какой же милости ты хочешь просить у меня?

— Дай мне пожить здесь немного, в обществе Аны и Бакенхонсу. Послушай, я больше уже не керхеб. Я поссорился с фараоном, может потому что струйка этого великого ветра Будущего проникает мне в душу, или возможно потому, что он не вознаграждает меня по заслугам, — какое значение имеет, почему. По крайней мере, я пришел к тому же мнению, какого придерживаешься ты, о принц, и считаю, что фараон сделал бы правильно, отпустив израильтян на свободу, и поэтому я никогда больше не попытаюсь противопоставить свою магию их магии. Но он опять отказал, так что мы расстались.

— Почему он отказывается, Ки?

— Может быть, потому, что написано — он должен отказаться. Или, возможно, потому, что считает себя величайшим из царей, а не игрушкой в руках богов, и гордость запирает двери его сердца, чтобы в какой-то грядущий день буйный ветер Будущего, о котором я говорил, смел бы и разрушил дом, где оно обитает. Не знаю, почему он отказывается, но ее высочество Таусерт весьма активно его поддерживает.

— Для человека, который не знает, у тебя слишком много толкований и все разные, о высокоученый Ки, — сказал Сети.

Он помолчал, прохаживаясь взад и вперед по портику, и я, всегда понимавший его настроения, догадывался, что он ищет ответа на вопрос, что лучше — приютить Ки, которого он временами боялся, потому что его окружала тайна и он никогда не менялся, или отослать его прочь. Ки тоже было как бы не по себе, и, слегка передернувшись, он вышел из портика на яркое солнце. Здесь он протянул руку, и с крыши вдруг спустилась большая ночная бабочка и села ему на руку, а он поднял ее к губам и как будто заговорил шепотом с этим насекомым.

— Что мне делать? — пробормотал Сети, проходя мимо меня.

— Мне не очень нравится его общество, да и госпоже Мерапи, думаю, тоже, но он такой человек, которого опасно обижать, принц, — сказал я. — Смотри, он разговаривает с себе подобным.

Сети вернулся на свое место; Ки стряхнул с руки бабочку, которая, казалось, не желала с ним расстаться, ибо дважды садилась ему на голову, и тоже вернулся в тень портика.

— Какая польза задавать мне вопросы, Ки, если — как ты сам показал

— ты уже знаешь, что я на них отвечу? Ну, что я тебе отвечу? — спросил принц.

— Это пестрое существо, которое только что сидело у меня на руке, кажется, шепнуло мне, что ты скажешь: «Оставайся, Ки, будь мне верным слугой и используй все знания, какие у тебя есть, чтобы оградить мой дом от зол».

Тогда Сети рассмеялся, как будто его ничто не угнетало, и ответил:

— Будь по-твоему, поскольку есть правило: ни один член царского дома в Египте не может отказать в гостеприимстве тем, кто его просит, особенно бывшему другу! И не стану противопоставлять твоей бабочке то, что шептала мне этой ночью летучая мышь. Нет, и никаких приветствий, подсказанных мне насекомым или будущим! — И он протянул Ки руку, которую тот поцеловал.

Когда Ки ушел, я сказал:

— Я говорил тебе, что та ночная тварь ему сродни.

— Значит, ты сказал глупость, Ана. Ки получает свои знания не от бабочек или жуков. Однако как жаль, что я поторопился и не спросил госпожу Мерапи, хочет ли она оставить Ки у нас в доме. Ты бы лучше подумал об этом, Ана, вместо того, чтобы наблюдать за бабочкой у него на руке, — он специально приманил ее, чтобы отвлечь твои мысли. Ладно, в наказание тебя ожидает приятная участь — изо дня в день смотреть на человека с лицом, похожим на... на что?

— На тот лик, что я видел на саркофаге доброго бога, твоего божественного отца, Мернептаха, — и он был изготовлен для фараона еще при жизни в мастерской бальзамировщика в Танисе.

— Да, — сказал принц, — лицо вечно улыбающегося в Нечто, которое есть Жизнь и Смерть, но в иные моменты — с глазами, пылающими огнем.

На следующий день по приглашению госпожи Мерапи я гулял с ней в саду; за нами шла няня, неся на руках царское дитя.

— Хочу спросить у тебя про Ки, друг Ана, — сказала она. — Ты знаешь, что он мой враг, ведь ты, должно быть, слышал, что он говорил в храме Амона в Танисе. Видимо, мой господин пригласил его погостить у нас в доме — о, смотри! — И она указала в ту сторону, куда мы шли.

Впереди, в нескольких шагах от нас, там, где тень сплетающихся над дорожкой ветвей была особенно густой, стоял Ки. Он опирался на свой жезл, тот самый, который в моих руках превратился в змею, и смотрел вверх с видом человека, погруженного в мысли или внимающего пению птиц. Мерапи повернула было обратно, в этот момент Ки нас увидел, хотя и продолжал смотреть вверх.



— Привет тебе, о Луна Израиля! — сказал он и поклонился. — Привет тебе, о победительница Ки!

Она поклонилась в ответ и замерла, как птичка, увидевшая змею. Наступило долгое молчание, которое он прервал, спросив ее:

— Зачем требовать от Аны того, что Ки сам жаждет дать! Ана — ученый, но разве его сердце — сердце Ки? А главное, зачем говорить ему, что Ки, смиреннейший из твоих слуг, — твой враг?

Теперь Мерапи выпрямилась, посмотрела ему в глаза и ответила:

— Разве я сказала Ане то, чего он не знал? Разве Ана не слышал, что ты сказал мне напоследок в храме Амона в Танисе?

— Несомненно слышал, госпожа, и потому я рад, что он здесь и теперь услышит мои объяснения. Госпожа Мерапи, в тот момент во мне, слугителе Амона, говорил не мой собственный дух, но разгневанный дух бога, которого ты унизила так, как его не унижал еще ни один человек в Египте. Этот бог через меня потребовал, чтобы ты раскрыла секрет твоей магии, угрожая своей ненавистью, если ты откажешь. Госпожа, тебе грозит его ненависть, но не моя, поскольку я тоже заслужил его ненависть, ибо меня, а через меня и его, победили твои пророки. Госпожа, мы с тобой спутники в скитаниях по долине бедствий.

Она не сводила с него глаз, и я видел, что она не верит ни одному его слову. Не отвечая ему, она только спросила:

— Зачем ты явился сюда вредить мне, ведь я не желаю тебе зла?

— Ты ошибаешься, госпожа, — возразил он. — Я ищу здесь убежища, защиты от Амона и его слуги-фараона, которого Амон толкает на путь гибели. Я хорошо знаю, что если ты захочешь, то стоит тебе шепнуть одно слово на ухо принцу и он выставит меня отсюда. Но тогда... — И он взглянул через ее голову туда, где нянька покачивала на руках спящего ребенка.

— Что тогда, маг?

Не отвечая, он повернулся ко мне.

— Высокочуленный Ана, помнишь, ты встретил меня однажды вечером в Танисе?

Я покачал головой, хотя отлично знал, какой вечер он имеет в виду.

— У тебя слабеет память, Ана, а может быть, ты просто не совсем точно помнишь, ведь мы часто встречались, не так ли?

Сказав это, он устался на свою палку, я тоже, потому что не мог противиться, и увидел (или мне почудилось), как мертвое дерево вдруг начало вспухать и выгибаться. Этого было достаточно, и я поспешил ответить.

— Если ты имеешь в виду день коронации, то я действительно припоминаю...

— А! Я так и думал. Ты, Ана, наблюдателен, как все писцы, и, конечно, замечал, как часто сущие мелочи — запах цветов, пролетевшая птица или даже змея, извивающаяся в пыли, — воскрешают в памяти слова или события, которые уже давно забылись.

— Ну, так что о нашей встрече? — перебил я поспешно.

— Решительно ничего — или разве что вот: как раз перед этим ты разговаривал с Джейбизом, дядей госпожи Мерапи, да?

— Да, разговаривал с ним на открытом месте, один на один.

— Не совсем так, ученый писец, ибо ты знаешь, что мы никогда не бываем одни — полностью. Если б позволяло наше зрение, ты бы увидел, что каждая песчинка имеет ухо.

— Будь любезен объяснить, Ки, что ты имеешь в виду? — спросил я с гневом и в следующий же миг пожалел, что не откусил себе язык, с которого слетели эти слова.

— Многое, многое. Дай вспомнить. Вы разговаривали о госпоже Мерапи и о том, как ей лучше поступить — остаться ли под защитой принца в Мемфисе или вернуться в страну Гошен под защиту — я забыл его имя. Джейбиз, человек знающий, сказал, что по его мнению в Мемфисе она была бы счастлива, хотя, возможно, ее присутствие принесло бы много горя ей и... другому.

Тут он снова взглянул на ребенка, который будто почувствовал его взгляд, ибо проснулся и стал бить ручонками воздух.

Нянька тоже почувствовала этот взгляд, хотя и смотрела в другую сторону: она вздрогнула, а потом отступила и спряталась за стволом одной из пальм. Мерапи сказала тихо и потрясенно:

— Я знаю, что ты имеешь в виду, маг, ибо с тех пор я уже виделась с моим дядей Джейбизом.

— Как и я, притом несколько раз, госпожа, и это может объяснить то, что Ана считает столь загадочным, а именно — как я узнал, о чем они говорили «один на один», по его мнению. Но, как я уже сказал, никто никогда не бывает один, по крайней мере в Египте, стране подслушивающих богов...

— И подсматривающих чародеев! — воскликнул я.

— ...и подсматривающих чародеев, — повторил он, — и писцов, которые все записывают и выучивают наизусть свои записи, и жрецов с большими, как у ослов ушами, и листьев, которые шепчут, и многих других вещей.

— Брось свои насмешки и говори то, что хотел сказать, — произнесла Мерапи тем же тихим, прерывающимся голосом.

Он не ответил, но лишь посмотрел в сторону дерева, за которым скрылись нянька и ребенок.

— О! Знаю, знаю! — воскликнула она почти со стоном. — Мое дитя в опасности! Ты угрожаешь моему ребенку, потому что ненавидишь меня.

— Прошу прощения, госпожа. Действительно, этому царственному младенцу грозит опасность — во всяком случае, так я понял Джейбиза, который так много знает. Но это не я угрожаю ему, это так же неверно, как то, что я тебя ненавижу. Я признаю в тебе товарища по ремеслу, настолько превосходящего меня, что мой долг — повиноваться.

— Перестань! Зачем ты меня мучаешь?

— Разве могут жрецы богини Луны мучить Исиду, Мать Волшебства, своими просьбами и приношениями? И могу ли я, собираясь обратиться к тебе с просьбой и приношением...

— С какой просьбой и с каким приношением?

— С просьбой о том, чтобы ты позволила мне укрыться в этом доме от многих опасностей, которые грозят мне со стороны фараона и пророков твоего народа, и с приношением всей помощи, какую я только могу оказать посредством моего искусства и знаний, в противовес еще более мрачным опасностям, грозящим... другому.

Тут он еще раз взглянул на ствол пальмы, из-за которого донесся плач младенца.

— Если я соглашусь, что тогда? — спросила она хриплым голосом.

— Тогда, госпожа, я употреблю все силы, чтобы защитить некоего младенца от проклятия, которое, по словам Джейбиза, ему угрожает, а также некоторых других, в ком течет египетская кровь. Я постараюсь, если мне будет позволено остаться здесь, — я не говорю, что мне удастся, ибо, как мне напомнил твой господин и как ты сама доказала мне в храме Амона, моя сила уступает силам пророков и пророчиц Израиля.

— А если я откажусь?

— Тогда, госпожа, — ответил он голосом, который звенел, как железо, — я уверен, что тот, кого ты любишь, как любят матери, будет вскоре спать в объятиях бога, называемого нами Осирисом.

— Оставайся, — крикнула она и, повернувшись, бросилась бежать.

— Ну вот, она ушла, — сказал он, — а я даже не успел поторговаться насчет награды. Придется ее искать в вашей компании. Странные существа — женщины, Ана! Вот, например, эта — одна из величайших представительниц своего пола, как ты узнал в храме Амона: однако и она

расцветает под солнцем надежды и сжимается в тени страха, как листья того нежного растения на берегу реки, если до них дотронуться; а между тем ее глазам доступны тайны, скрытые от нашего взгляда, ее слух ловит шепот ветров, которого не слышит никто из нас; и она могла бы попирать ногами земные надежды и страхи или сделать их ступенями, ведущими к славе и величию. Она бы так и поступила, будь она мужчиной, но ее пол губит ее — для нее поцелуй младенца больше, чем весь блеск и все сокровища мира. Да, младенца, одного жалкого, крошечного младенца. У тебя ведь тоже был такой когда-то, Ана?

— О! Иди ты к Сету со всей твоей мерзкой болтовней! — сказал я и пошел прочь.

Пройдя несколько шагов, я оглянулся и увидел, что он смеется, подбрасывая вверх и снова ловя свою палку.

— К Сету? — крикнул он мне вдогонку. — Интересно, как бы он принял меня, этот Сет! Ну что ж, может быть, когда-нибудь мы это узнаем, ты и я вместе, писец Ана.

Так Ки поселился с нами, в той же части дворца, где Бакенхонсу, и почти каждый день я встречал их в саду, поскольку я, постоянный гость за столом принца (за исключением тех случаев, когда он уходил на половину Мерапи), никогда не участвовал в их трапезах. Встречаясь, мы беседовали о многих предметах. Когда дело касалось науки и даже религии, я одерживал верх над Ки, который не был ни большим ученым, ни знатоком теологии. Но всегда, прежде чем расстаться, он всаживал какую-нибудь стрелу мне в ребра, а старый Бакенхонсу смеялся вновь и вновь, но неизменно прикрывал меня щитом своей мудрости — просто потому, я думаю, что искренне любил меня.

\* \* \*

После вселения Ки на египетский скот напала чума, так что десятки тысяч животных погибли, но не все, как сообщалось. Как я уже говорил, стада Сети не пострадали, так же как, судя по слухам, не пострадал и скот в стране Гошен. Страх и уныние охватили весь Кемет, но Ки улыбался и уверял, будто он знал, что так будет и худшее еще впереди. Мне так и хотелось треснуть его по голове его собственной палкой, и, пожалуй, я бы не утерпел, если бы не боялся, что она опять превратится в моей руке в

желтую змею.

Старый Бакенхонсу смотрел на все это иначе. Он сказал мне, что с тех пор, как умерла его последняя жена (лет пятьдесят назад), ему стало казаться, что жить очень скучно, ибо ему не хватало проявлений ее нрава и ее привычки представлять вещи такими, какими они никогда не были и никогда не могли стать. Однако теперь жизнь снова полна интереса, поскольку чудеса, которые происходят в стране Кемет, противоречат всяким законам Природы и тем самым напоминают ему его последнюю жену и ее рассуждения. Так он в своеобразной форме выразил мысль, что последние годы мы живем в новом мире, в котором, по мнению египтян, воцарился Сет, бог Зла.

Но фараон все так же упорно отказывался уступить просьбам израильских пророков, то ли потому, что дал клятву Мернептаху, когда тот посадил его на трон, то ли по причинам — или одной из причин — которые Ки изложил принцу.

Потом на страну обрушилось проклятие болячек и язв, не пощадившее ни мужчин, ни женщин, ни детей — за исключением тех, кто жил во владениях Сети. Так, сторож и его семья, которые жили в доме за воротами, пострадали, тогда как садовник и его семья, жившие всего лишь в двадцати шагах, но в пределах ограды, не пострадали, что стало причиной вражды между их женами. Таким же образом Ки, будучи гостем во дворце принца в Мемфисе, не пострадал от язв, тогда как его товарищи и ученики в Танисе были поражены ими даже сильнее, чем все другие, так что кое-кто из них даже умер. Когда Ки услышал об этом, он засмеялся и заявил, что он им это предсказывал. Болезнь не обошла даже самого фараона и ее высочество Таусерт: у последней язва появилась на щеке и обезобразила ее на некоторое время. Бакенхонсу слышал даже, уж не знаю от кого, будто ее ярость была столь велика, что она готова была вернуться к Сети, в чьих владениях, как она узнала, люди остались целы и невредимы, а красота ее преемницы, Луны Израиля, не только не потерпела урона, но даже возросла; эти сведения, думаю, сообщил ей сам Бакенхонсу. Но в конце концов гордость или ревность помешали ей осуществить это намерение.

Теперь сердце Египта начало всерьез поворачиваться к Сети. Принц, говорили люди, был против притеснения евреев и, не в силах изменить положения вещей, отказался от своего права на престол, а фараон Аменмес купил это право ценой принятия политики, плоды которой оказались столь разрушительными. Поэтому, рассуждали они, если бы Аменмес был низложен, а принц стал бы царствовать, бедствия народа прекратились бы. Они стали тайно посылать к нему людей, умоляя его восстать против

Аменмеса и обещая свою поддержку. Но он не хотел их слушать, говоря, что счастлив в своем положении и не желает иного. Все же фараон проникся ревностью, ибо его шпионы доносили ему обо всем слово в слово, и начал плести интриги, чтобы погубить Сети.

О первой из них меня предупредила Таусерт, послав ко мне своего гонца, но вторую, гораздо худшую, раскрыл Ки и притом каким-то странным образом, так что убийца был захвачен в воротах и убит сторожем; после того Сети сказал, что, в конечном итоге, он поступил мудро, оказав Ки гостеприимство, если конечно желание остаться в живых можно назвать мудростью. Госпожа Мерапи сказала мне примерно то же самое, но я заметил, что она всегда избегала Ки, относясь к нему с недоверием и страхом.

## XV. Ночь ужаса

Потом разразился град, а спустя несколько месяцев налетела саранча, и весь Кемет сходил с ума от отчаяния и ужаса. Нам стало известно, ибо с водворением Ки и Бакенхонсу в дом Сети мы всегда обо всем знали, что эта буря с градом была обещана израильскими пророками, если фараон откажется их выслушать. Поэтому Сети велел оповестить народ по всей стране, чтобы египтяне при первых же признаках бури укрыли свой скот. Но фараон услышал об этом и объявил свой приказ, запрещающий подобные действия, ибо они были бы оскорблением для богов Кемета. Все же многие последовали совету Сети и так спасли свой скот. Необычное зрелище представляла собой эта сплошная стена падающего льда, как бы воздвигшаяся от земли до небес и уничтожавшая все, на что она обрушивалась. Град сдирал кору даже с высоких финиковых пальм, взламывал и поднимал почву. Попадая под него, люди и животные погибали или покрывались рваными ранами. Я стоял в воротах и следил за происходящим. Там, на расстоянии какого-нибудь шага, падал белый град, превращая мир в руины, в то время как здесь, по нашу сторону ворот, не упала ни единая градина. Мерапи тоже смотрела, а вскоре к нам присоединился Ки, а за ним и Бакенхонсу, который за всю свою долгую жизнь никогда не видел ничего подобного. Но Ки больше наблюдал за Мерапи, чем за падающим градом, ибо я видел, что его безжалостные глаза стремятся проникнуть в самую глубину ее души.

— Госпожа, — сказал он наконец, — молю тебя, открой твоему слуге, как ты это делаешь? — И он указал сначала на деревья и цветы по нашу сторону ворот, потом на хаос разрушения снаружи.

Сперва я подумал, что она его не расслышала из-за рева бури, ибо она подошла и открыла боковую калитку, чтобы впустить беднягу-шакала, который скребся о забор. Однако я ошибся, ибо затем она обернулась и сказала:

— Неужели, керхеб, самый искусный маг Египта, просит неученую женщину научить его чудесам? Нет, Ки, я не могу, потому что этому не училась и не делаю этого, и не знаю, как это делается.

Бакенхонсу засмеялся, а неподвижная улыбка Ки стала как будто еще ярче, чем обычно.

— В стране Гошен говорят иное, госпожа, — ответил он, — и еврейские женщины в Мемфисе тоже. Как и жрецы Амона. Эти жрецы

утверждают, что твое искусство превосходит искусство всех магов на берегах Сихора. И вот доказательство. — И он опять показал на то, что было у нас, и на то, что происходило снаружи, добавив: — Госпожа, если ты можешь защитить свой собственный дом, почему же ты не можешь защитить невинных людей Египта?

— Потому что не могу, — ответила она с гневом. — Если бы я когда-нибудь и имела такую способность, она теперь покинула бы меня, — я теперь мать ребенка от египтянина. Но я не обладаю такой способностью. Там, в храме Амона, через меня действовала какая-то сила, вот и все. Сила, которая никогда больше не изберет меня своим орудием из-за моего греха.

— Какого греха, госпожа?

— Из-за того, что я приняла принца Сети как своего мужа и господина. Теперь, если бы даже какой-нибудь бог и действовал через меня, это был бы один из богов египтян, ибо бог Израиля отверг меня.

Ки вздрогнул, словно его осенила какая-то новая мысль; она же повернулась и ушла.

— Вот бы она стала верховной жрицей Исиды, чтобы действовать на пользу нам, а не против нас! — сказал он.

Бакенхонсу покачал головой.

— Не надейся, — ответил он. — Будь уверен, ни одна израильтянка не станет служить тому, что она считает египетской мерзостью.

— Если она не пожертвует собой, чтобы спасти народ, пусть остережется, как бы народ не пожертвовал ею, чтобы спасти себя, — холодно сказал Ки.

Затем он тоже удалился.

— Если такой час когда-нибудь настанет, думаю, что Ки получит свою долю, — засмеялся Бакенхонсу. — Какая польза от пастуха, который укрывается здесь в уюте и довольстве, в то время как овцы гибнут, а Ана?

После того как налетела саранча и пожрала все, что оставалось съедобного на полях Египта, так что бедняки, которые никому не причиняли зла и не имели никакого отношения к делам между фараоном и израильтянами, страдали и умирали от голода тысячами, — наступила великая тьма; и вот тогда появился Лейбэн. Тьма опустилась на страну подобно плотной туче и лежала целых три дня и три ночи. Тем не менее, хотя тени стали гуще, над домом Сети в Мемфисе настоящей тьмы не было: дом стоял как бы под колоколом сумеречного света, простиравшегося от земли до небес.

Теперь ужас усилился в десять раз против прежнего, и мне казалось, что все сотни тысяч жителей Мемфиса столпились под нашими стенами,



лишь бы хоть смотреть на этот свет, каков бы он ни был, если им не оставалось ничего другого. Сети впустил бы всех, кому хватило места, но Ки запретил это, сказав, что если он откроет ворота, за ними волеется вся эта тьма. Только Мерапи впустила нескольких израильтянок, которые были замужем за египтянами и жили в Мемфисе, — хотя они и проклинали ее как ведьму. Ибо теперь большинство жителей Мемфиса были уверены, что именно Мерапи, сама живя в безопасности, навлекла на них все эти бедствия, так как поклонялась чужому богу.

— Если бы она, возлюбленная наследника Египта, принесла бы жертву египетским богам, эти ужасы нас миновали бы, — говорили они, заучив, как я думаю, эту фразу из уст Ки. А может быть, их научили посланцы Таусерт.

И снова мы стояли у ворот, наблюдая за тем, как движутся и мелькают в темноте люди, ибо это зрелище действовало на Мерапи так же, как змея действует на птичку. Вот тогда и явился Лейбэн. Я сразу узнал его горбатый нос и ястребиные глаза, и она тоже его узнала.

— Уходи со мной, Луна Израиля, — закричал он, — и все тебе простится. А не уйдешь, тебя постигнет ужасная кара!

Она стояла, не сводя с него глаз и не отвечая ни слова, и в этот момент к нам подошел принц Сети и увидел его.

— Схватить этого человека! — приказал он, вспыхнув от гнева, и стражники бросились в темноту выполнять его приказ. Но Лейбэн исчез.

На второй день этой тьмы волнение было велико, на третий оно стало ужасающим. Толпа отбросила стражника, сорвала ворота и ворвалась во дворец, смиренно требуя, чтобы госпожа Мерапи вышла помолиться за них, но показывая всем своим видом, что если она откажется, они выведут ее силой.

— Что делать? — спросил Сети у Ки и Бакенхонсу.

— Об этом судить принцу, — сказал Ки, — хотя я лично не вижу, как это может повредить госпоже Мерапи, если она помолится за нас на площади Мемфиса.

— Пусть пойдет, — сказал Бакенхонсу, — пока дело не зашло дальше, чем мы хотели бы.

— Я не хочу! — воскликнула Мерапи. — Я не знаю, за кого молиться и как.

— Будет так, как хочешь ты, госпожа, — сказал Сети своим мягким серьезным тоном. — Только послушай, как ревет толпа. Если ты откажешься, я думаю, мы все скоро пойдем туда, где, может быть, уже совсем не надо будет молиться. — И он посмотрел на младенца, которого

она держала на руках.

— Я пойду, — сказала она.

Она двинулась, неся ребенка, и я последовал за ней. Принц тоже, но в темноте его отрезала от нас бегущая тысячная толпа, и я вновь увидел его уже после того, как все было кончено. Бакенхонсу шел со мной, опираясь на мою руку, но Ки ушел вперед, думаю — для своих собственных целей. Огромная масса людей клубилась вокруг нас во тьме, в которой тут и там отдельные огоньки плыли, как фонари над спокойным морем. Я не знал, куда мы идем, пока свет одного из этих фонарей не осветил колени гигантской статуи Рамсеса Великого и часть орнамента. Тогда я понял, что мы у ворот самого большого храма в Мемфисе, возможно, самого большого в мире.

Следуя за жрецами, которые вели нас за руку, мы прошли колоннадами одного дворика за другим и приблизились к алтарю в самом большом дворе, который был до отказа заполнен мужчинами и женщинами. Это было святилище Исиды, которая держала у груди младенца Гора.

— О, друг Ана, — воскликнула Мерапи, — помоги! Меня одевают в странные одежды.

Я попытался пробиться к ней, но был отброшен назад и чей-то голос — мне показалось, голос Ки — произнес:

— Под страхом смерти, глупец!

Подняли фонарь, и при его свете я увидел Мерапи, которая сидела в кресле, одетая как богиня, в жреческом облачении Исиды и в головном уборе с изображением грифа, поразительно прекрасная. В ее объятиях лежал ее сын, одетый как маленький Гор.

— Молись за нас, Мать Исида! — вскричали тысячи голосов. — Молись, чтобы проклятие тьмы было снято!

Тогда она начала молиться, говоря:

— О мой бог, сними проклятие тьмы с этих невинных людей, — и все присутствующие повторяли за ней ее молитву.

И вдруг небо стало светлеть, и не прошло и полчаса, как засияло солнце. Когда Мерапи увидела, как одеты она и ее дитя, она громко вскрикнула и сорвала с себя драгоценные украшения, восклицая:

— Горе! Горе! Горе! Горе народу Кемета! — Но от радости при виде вновь засиявшего солнца мало кто слышал ее, уверенные, что именно она вернула свет дня. И снова на мгновение появился Лейбэн.

— Ведьма! Изменница! — закричал он. — Ты была в одежде Исиды и молилась в храме египетских богов! Да падет на тебя проклятие бога Израиля, на тебя и тобой рожденных.

Я бросился на него, но он извернулся и исчез. Потом мы отнесли лишившуюся чувств Мерапи домой.

Итак, бедствие прекратилось, но с того дня Мерапи не позволяла уносить от нее сына и не спускала с него глаз.

— Почему ты так носишься с ним, госпожа? — спросил я однажды.

— Потому что я хочу любить его, пока он еще здесь, друг, — ответила она, — но не говори об этом его отцу.

Прошло некоторое время, и мы услышали, что фараон все еще не дает израильтянам уйти. Тогда принц Сети отправил Бакенхонсу и меня в Танис к фараону с таким посланием: «Я ничего не добиваюсь для себя и забыл то зло, которое ты пытался причинить мне из ревности. Но говорю тебе: если ты непустишь этих чужестранцев, великие и ужасные бедствия постигнут тебя и весь Египет. Поэтому внимли моей мольбе и дай им уйти».

И вот Бакенхонсу и я предстали перед фараоном и увидели, что он сильно постарел, ибо волосы его побелели у висков и кожа под глазами тяжело обвисла. К тому же он ни одной минуты не мог держаться спокойно.

— Или ваш господин и вы сами — слуги этого израильского пророка, которому египтяне поклоняются как богу за то, что он причинил им так много зла? — спросил он. — Должно быть, не иначе, ибо я слышу, что мой кузен Сети держит у себя в доме израильскую ведьму, которая отгоняет от него все беды, поражающие остальных людей Кемета, и что керхеб Ки, мой маг, тоже сбежал к нему. Более того, я слышу, что в награду за эти колдовские штучки ему обещан трон Египта при поддержке многих легкомысленных и трусливых из моих подданных. Пусть он поостережется, а то как бы я не поднял его выше, чем он надеется, — уж слишком много предателей развелось у меня в стране; и вас тоже, с ним заодно.

Я промолчал, понимая, что этот человек просто с ума сошел, но Бакенхонсу засмеялся громко и сказал:

— О фараон, я знаю мало, но одно знаю наверняка: хоть я и стар, но даже тогда, когда люди перестанут произносить твое имя, я все еще буду беседовать с тем, кто будет носить двойную корону Египта. Скажи, ты дашь израильтянам уйти или предпочтешь обречь Кемет на гибель?

Фараон злобно посмотрел на него и ответил:

— Я не дам им уйти.

— Почему же, фараон? Объясни, ибо мне любопытно.

— Потому что не могу, — ответил он со стоном. — Потому что нечто более сильное, чем я, вынуждает меня отказывать в их просьбе. Ступайте

же прочь!

Мы ушли, и это был последний раз, когда я видел Аменмеса в Танисе.

Когда мы выходили из зала, я заметил входящего туда израильского пророка. Впоследствии до нас дошел слух, что он грозил погубить всех людей в Египте, но что фараон по-прежнему не желал освободить израильтян. Говорили даже, будто он сказал пророку, что если тот явится в Танис еще раз, его предадут смертной казни.

Со всеми этими вестями мы вернулись в Мемфис и доложили обо всем Сети. Когда Мерапи услышала обо всем, она почти обезумела, плакала и ломала руки. Я спросил ее, чего она боится. Она ответила — смерти, которая грозит всем нам. Я сказал:

— Если так, то есть вещи похуже смерти, госпожа.

— Может быть, для вас — верных и добродетельных на свой лад, но только не для меня. Неужели ты не понимаешь, друг Ана, что я нарушила закон бога, которому меня учили поклоняться?

— А кто из нас не нарушал закона бога, которому нас учили поклоняться, госпожа? Если ты и действительно совершила нечто подобное, бежав от кровожадного злодея к тому, кто тебя искренне любит (я не верю, что это грех), то, несомненно, такой грех заслуживает прощения.

— Да, возможно, но — увы! — я поступила намного хуже. Или ты забыл, что я сделала? В одеянии Исиды я молилась в храме Исиды, держа моего мальчика, который играл роль Гора. Такое преступление не простится ни одной еврейской женщине, Ана, ибо мой бог — ревнивый бог. Правда, меня обманом вовлек в это Ки.

— А если бы не он, госпожа, я думаю, никого бы из нас не осталось: ты же видела, как люди обезумели от ужаса перед этой тьмой и верили, что ты одна можешь ее рассеять — так оно и вышло, — добавил я с сомнением.

— Еще один трюк Ки! О, как ты не понимаешь, что это тоже была его работа, потому что он хотел, чтобы люди окончательно поверили, что я колдунья.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю. Может быть, для того, чтобы иметь наготове жертву, которую можно подсунуть на алтарь вместо себя в нужный момент. Во всяком случае, я знаю, что платить буду я, я и моя плоть и кровь, что бы ни говорил нам Ки. — И она взглянула на спящего ребенка.

— Не бойся, госпожа, — сказал я. — Ки уехал, и ты его больше не увидишь.

— Да, потому что принц очень рассердился на него за его трюк в

храме Исиды. Поэтому он и уехал или сделал вид, что уехал, ибо кто знает, где может находиться такой человек? Но он вернется. Подумай, Ки был самым главным магом Египта; даже старый Бакенхонсу не помнит никого, кто мог бы с ним сравниться. И вот он пробует состязаться с пророками моего народа и терпит крах.

— Но потерпел ли он крах, госпожа? То, что сделали они, сделал и он, наслав на израильтян те же бедствия, что они обрушили на нас.

— Да, но не все. Его опередили, или он боялся, что в конце концов его опередят. Может ли такой человек, как Ки, забыть об этом? А если Ки действительно поверит, что я его соперница и превосхожу его в его черных делах, как думают тысячи людей после того, что произошло в храме Амона, не оплатит ли он мне полной мерой рано или поздно? О, я боюсь Ки, Ана, и египтян, и если бы не мой любимый супруг, я бы бежала с моим сыном в пустыню из этой злополучной страны. Тише! Он просыпается.

С этого времени — и пока не упал меч — великий ужас охватил Кемет. Никто не мог точно сказать, чего они боятся, но все считали, что это имеет какое-то отношение к смерти. Люди ходили мрачные, оглядываясь через плечо, как будто кто-то их преследовал, а по вечерам собирались кучками и о чем-то подавленно шептались. Только израильтяне выглядели радостными и счастливыми. Больше того, они готовились к чему-то новому и необыкновенному. Так, израильтянки, жившие в Мемфисе, начали продавать ту собственность, какую имели, и занимать у египтян. Особенно они старались получить займы в виде бриллиантов и других драгоценностей, говоря, что у них будет большой праздник и им хочется выглядеть богатыми и красивыми в глазах их соотечественников. Никто не отказывал им в их просьбах, потому что все их боялись. Они явились даже во дворец и попросили Мерапи отдать им свои украшения, хотя Мерапи была их соотечественницей и всегда относилась к ним с искренней добротой. Увидев, что волосы на голове ее сына перехвачены золотым венчиком, одна из женщин стала просить Мерапи отдать ей этот венец, и та не отказала ей. Но как раз в этот момент в комнату случайно вошел принц и, увидев в руках женщины этот знак царского рода, очень рассердился и заставил ее вернуть его.

— Какая польза от короны, если для нее нет головы? — насмешливо сказала она и со смехом убежала, унося с собой остальную добычу.

После того как Мерапи услышала такие слова, она стала еще печальнее, и все чаще ею овладевало смятение; и эти настроения повлияли на Сети. Им тоже овладели печаль и беспокойство, хотя на мои вопросы — почему? — он клялся, что не знает причины, но думает, что это

предчувствие каких-то новых бедствий.

— Однако, — добавил он, — если я смог пережить девять тяжких бед, не знаю, почему я должен бояться десятой.

И все же он страшился ее и даже советовался с Бакенхонсу о том, нет ли какого-нибудь способа отвратить или смягчить гнев богов.

Бакенхонсу засмеялся и сказал, что, по его мнению, такого способа нет, ибо если боги не гневаются по одному поводу, они сердятся по другому. Сотворив мир, они только и делают, что ссорятся с ним или с другими богами, которые тоже приложили руку к его созданию, а жертвами этих ссор становятся люди.

— Неси свои несчастья, принц, — добавил он, — если они тебя постигнут, ибо еще до того, как Нил разольется в пятидесятый раз, тебе уже будет все равно, были эти несчастья или не были.

— Значит, ты считаешь, что, уходя на запад, мы действительно умираем и что Осирис — лишь другое имя для захода солнца, Бакенхонсу?

Старый советник покачал своей большой головой и ответил:

— Нет. Если тебе когда-то суждено потерять того, кого ты очень любишь, утешься, принц, ибо, я думаю, смерть — не конец жизни. Смерть — это нянька, которая укладывает жизнь спать, не более, а утром она проснется снова, чтобы идти сквозь другой день вместе с теми, кто были ее спутниками с самого начала.

— Куда же все эти дни приведут ее в конце концов, Бакенхонсу?

— Спроси у Ки, я не знаю.

— К Сету Ки, я сердит на него, — сказал принц и вышел комнаты.

— И не без причины, я думаю, — задумчиво произнес Бакенхонсу, но когда я спросил его, что он имеет в виду, он не захотел или не смог мне объяснить.

Итак, мрак сгущался, и дворец, где прежде было на свой лад весело, погрузился в печаль.

Никто не знал, что будет, но все знали, что-то надвигается, и простирали руки, пытаясь защитить то, что они больше всего любили, от сокрушительного гнева воинствующих богов. Для Сети и Мерапи это был их сын, красивый мальчуган, который уже умел бегать и болтать и был слишком здоровым и энергичным для потомка Рамсеса, династия которого образовалась из людей, состоявших в кровном родстве. Ни на минуту этого мальчика не выпускали из поля зрения его родители, так что теперь я редко видел Сети одного, и наши ученые занятия фактически прекратились: он постоянно был озабочен и поочередно с Мерапи выполнял роль няньки, оберегая своего сына.

Когда об этом узнала Таусерт, она сказала в присутствии одного из моих друзей:

— Не сомневаюсь, что он готовит своего ублюдка к тому, чтобы тот мог занять трон Египта.

Но, увы! Единственным местом, которое маленькому Сети суждено было занять, оказался гроб.

\* \* \*

Был тихий жаркий вечер, такой жаркий, что Мерапи велела няньке вынести кроватку ребенка в портик и поставить ее между колоннами. Там он и спал, прелестный, как божественный Гор. Она сидела у кровати в кресле, ножки которого имели форму ног антилопы. Сети ходил взад и вперед по террасе перед портиком, опираясь на мое плечо и разговаривая о том о сем. По временам проходя мимо, он приостанавливался, чтобы при свете луны убедиться, что с Мерапи и ребенком все благополучно: последнее время это у него стало привычкой. Тогда, не говоря ни слова из боязни разбудить сына, он улыбался Мерапи, которая сидела, задумавшись, подперев голову рукой.

Глубокая тишина царила вокруг. Листья пальм не шелестели, шакалы притаились, и даже звонкоголосые насекомые замолчали в темноте. Большой город, раскинувшийся внизу, притих и замер словно город мертвых. Казалось, будто предчувствие надвигающегося конца сковало всех страхом и ввергло мир в безмолвие. Ибо, несомненно, что-то роковое витало в воздухе. Это ощущали все, вплоть до няни, которая подобралась как можно ближе к креслу своей госпожи и даже в эту жаркую ночь не могла временами унять дрожь.

Но вот маленький Сети проснулся и залепетал что-то о том, что ему приснилось.

— Что же тебе снилось, сын? — спросил его отец.

— Мне снилось, — ответил он чистым детским голоском, — что какая-то женщина, одетая, как была одета мама тогда в храме, взяла меня за руку и мы стали подниматься все выше и выше. Я посмотрел вниз и увидел тебя и маму: у вас лица были белые и вы плакали. Я тоже заплакал, а женщина с перьями на голове говорит «не плачь», потому что она ведет меня на красивую большую звезду, и мама скоро придет туда и меня найдет.

Принц и я переглянулись, а Мерапи с преувеличенной хлопотливостью стала уговаривать его снова заснуть. Приближалась полночь, но, казалось, никто не помышляет об отдыхе. Пришел старый Бакенхонсу и начал было говорить что-то насчет того, какая странная и беспокойная эта ночь, как вдруг маленькая летучая мышь, мелькавшая то тут то там над нашими головами, упала ему на голову, а оттуда на землю. Мы посмотрели на нее и увидели, что она мертва.

— Странно, что она так вдруг погибла, — сказал Бакенхонсу, и в этот же миг на землю упала еще одна. Черный котенок маленького Сети, спавший за его кроватью, выскочил и бросился на нее. Но прежде чем он успел ее схватить, летучая мышь резко повернулась, встала на лапки, царапая воздух, потом издала жалобный писк и упала мертвой.

Мы уставились на нее. Вдруг вдали пронзительно завывала собака. Потом заревела корова, как режут эти животные, потеряв детенышей. Затем, совсем близко, но за воротами, раздался вопль женщины, как будто в агонии, от которого кровь застыла в жилах и который разбудил многократное эхо, так что казалось, что весь воздух наполнился стонами и плачем.

— О Сети! Сети! — воскликнула Мерапи странным свистящим голосом. — Посмотри на твоего сына!

Мы бросились к ребенку. Он не спал, но смотрел куда-то вверх широко раскрытыми глазами и с застывшим лицом. Страх, если он его и испытывал, как будто исчез, хотя взгляд был все так же неподвижен. Он привстал, продолжая смотреть вверх. Потом его лицо озарилось улыбкой, сияющей улыбкой; он протянул руки, словно желая обнять кого-то, кто склонился над ним и, откинувшись, упал навзничь — мертвый.

Сети замер, неподвижный, как статуя; мы все молчали и не двинулись, даже Мерапи. Потом она наклонилась и подняла тело мальчика.

— Ну вот, господин мой, — сказала она, — вот и обрушилось на тебя то горе, о котором предупреждал тебя Джейбиз, мой дядя, если ты свяжешь свою судьбу с моей. Теперь проклятие Израиля пронзило мое сердце, а наше дитя, как предсказывал злой маг Ки, теперь так высоко, что не услышит ни приветствий, ни слов прощания.

Все это она произнесла холодным и спокойным голосом, как может говорить человек, который давно предвидел то, что сейчас произошло; потом низко поклонилась принцу и ушла, унося тело ребенка. Никогда, кажется, Мерапи не была так прекрасна, как в этот час роковой утраты, ибо теперь сквозь ее женскую прелесть сиял отсвет ее души. В самом деле, такие глаза и такие движения могли принадлежать духу, а не женщине,



которая удалилась, унося с собой то, что еще недавно было ее сыном.

Сети оперся на мое плечо, глядя на опустевшую кровать и на испуганную няню, которая все еще сидела возле нее, и я почувствовал, что на мою руку упала слеза. Старый Бакенхонсу поднял голову и посмотрел на него.

— Не горюй так, принц, — сказал он, — прежде чем пройдет столько лет, сколько я прожил, об этом ребенке уже никто не вспомнит и его мать тоже забудут, и даже ты, о принц, останешься жить лишь как имя, которое некогда было в Египте великим. А потом, о принц, где-то в другом краю игра начнется сызнова, и то, что ты потерял, будет найдено вновь, еще прекраснее вдали от нечистого дыхания людей. Магия Ки — не все ложь, а если даже и так, то в ней есть какая-то тень истины; и когда он сказал тебе тогда в Танисе, что недаром тебя называли Вновь Возрождающимся, в этом была какая-то правда, хотя нам и трудно постичь ее скрытый смысл.

— Благодарю тебя, советник, — сказал Сети и, повернувшись, ушел следом за Мерапи.

— Ну, эта смерть — только начало, — воскликнул я, едва понимая в своем горе, что я говорю.

— Не думаю, Ана, — ответил Бакенхонсу, — поскольку нас прикрывает щит Джейбиза или его бога. Он ведь предсказывал, что несчастье постигнет Мерапи, а Сети — через Мерапи, но это и все.

Я взглянул на котенка.

— Он забрел сюда из города три дня назад, Ана. И летучие мыши наверно тоже прилетели из города. Слышишь эти вопли? Когда мы еще слышали такое в Кемете?

## XVI. Джейбиз продает лошадей

Бакенхонсу был прав. Кроме сына Сети никто не умер в доме и владениях принца. Однако в других местах в Египте все младенцы-первенцы лежали мертвые и все первенцы зверей — тоже. Когда это стало известно, по всей стране египтян охватила ярость против Мерапи: припомнили, что она призывала горе на головы египтян после того, как ее заставили молиться в храме и рассеять (как все верили) окутавшую Мемфис тьму.

Бакенхонсу и я, и другие, кто любил ее, указывали на то, что ее собственный ребенок умер наряду с остальными. Нам отвечали (и в этом я увидел руку Таусерт и Ки), что это ровно ничего не значит, поскольку ведьмы не любят детей. Больше того, они говорили, что она может иметь столько детей, сколько захочет и в любое время, делая их похожими на глиняные статуэтки детей и превращая их позже в злых духов, терзающих страну. Наконец, утверждали, будто слышали, как она говорила, что она еще отомстит египтянам, обращающимся с ней, как с рабыней, и убившим ее отца. Передавали также, будто некая израильянка (или кто-то из них, среди них, возможно, и Лейбэн) призналась, что виновницей всех бедствий, поразивших Кемет, была именно та колдунья, которая очаровала принца Сети.

В результате египтяне возненавидели Мерапи, из всех женщин самую прелестную и нежную и самую достойную любви, и ко всем ее предполагаемым преступлениям добавилось еще и то, что она своим колдовством похитила сердце Сети у его законной жены и даже заставила его прогнать от своих ворот эту принцессу, наследницу Египта, так что та была вынуждена жить одна в Танисе. Ибо никто не порицал самого Сети, которого в Египте все любили, зная, что он поступил бы с израильянами совершенно иначе и тем самым предотвратил бы все бедствия и страдания, поразившие их древнюю землю. Что касается еврейской девушки с большими глазами, которая опутала его своими чарами, то это было его несчастьем, не более. Они не видели ничего странного в том, что среди многих женщин, которыми, как они воображали, Сети по обычаю принцев заселил свой дом, фавориткой оказалась именно колдунья. Я даже уверен, что только общая осведомленность о любви к ней Сети спасла Мерапи от смерти, по крайней мере в то время, иначе ее бы отравили или покончили с ней каким-либо другим тайным способом.

И вот до нас дошла радостная весть о том, что гордость фараона наконец была сломлена (ибо его первенец умер, как и другие) или, может быть, туча, затмившая его мозг, рассеялась; как бы то ни было, он объявил, что дети Израиля могут уйти из Египта куда и когда им угодно. Тогда народ вздохнул с облегчением, воодушевленный надеждой, что их страданиям, кажется, приходит конец.

Именно в это время в Мемфис явился Джейбиз, гоня перед собой упряжку лошадей, которых он, по его словам, решил продать принцу, не желая, чтобы они попали в другие руки. Судя по цене, которую он запросил, это, должно быть, были превосходные животные.

— Почему ты хочешь продать своих лошадей? — спросил Сети.

— Потому что вместе с моим народом я ухожу в земли, где слишком мало воды, и они могут погибнуть, о принц.

— Я куплю их. Займись этим, Ана, — сказал Сети, хотя я хорошо знал, что у него лошадей более чем достаточно.

Принц встал, показывая, что беседа закончена, но Джейбиз, который истово кланялся, выражая свою благодарность, поспешно сказал:

— Я рад слышать, о принц, что все было, как я предсказывал, вернее — как мне было велено предсказывать, и что несчастья, поразившие Египет, миновали твой царственный дом.

— Значит, ты рад слышать неправду, поскольку худшее из несчастий случилось именно в этом доме. Мой сын умер. — И он отвернулся.

Джейбиз поднял глаза от земли и взглянул на принца.

— Знаю, — сказал он, — и скорблю, потому что эта утрата поразила тебя в самое сердце. Однако ни я, ни мой народ в этом не виноваты. Если ты подумаешь, то вспомнишь, что и тогда, когда я воздвиг вокруг этого дома защитную стену в благодарность за твое доброе отношение к Израилю, о принц, и еще раньше я предсказывал и велел другим предупредить тебя о том, что, если ты и Мерапи, Луна Израиля, сойдетесь вместе, тебя могут постичь большие невзгоды через нее, ибо, став женой египтянина вопреки нашему закону, она должна разделять участь египетских женщин.

— Возможно, — сказал принц. — Я не хочу говорить на эту тему. Если эта смерть была делом ваших чародеев, могу сказать лишь одно — плохо заплатили они мне за все, что я стремился сделать для израильтян. Впрочем, чего еще я мог ожидать от такого народа в таком мире? Прощай.

— Одна просьба, о принц. Разрешите мне поговорить с моей племянницей Мерапи.

— Она не принимает. С тех пор как с помощью колдовства убили ее

ребенка, она никого не хочет видеть.

— Все же я думаю, она не откажется повидаться со своим дядей, о принц.

— Что же ты хочешь ей сказать?

— О принц, милостью фараона мы, бедные рабы, собираемся навсегда покинуть Египет. Поэтому, если моя племянница останется здесь, я, естественно, хотел бы проститься с ней и сообщить ей кое-какие подробности, касающиеся нашего рода и нашей семьи, которые она, может быть, пожелала бы передать своим детям.

Услышав слово «дети», Сети смягчился.

— Я тебе не доверяю, — сказал он. — Может быть, у тебя наготове еще какие-нибудь проклятия против Мерапи, или ты скажешь ей что-нибудь такое, от чего она почувствует себя еще более несчастной, чем теперь. Но если бы ты захотел поговорить с ней в моем присутствии...

— Достойный принц, я не решаюсь настолько утруждать тебя. Прощай. Не откажись передать ей...

— Или, если это тебя смущает, — перебил его Сети, — в присутствии Аны, если только она сама не откажется принять тебя.

Джейбиз минутку подумал и ответил:

— Пусть будет так — в присутствии Аны. Это человек, который знает, когда надо молчать.

Джейбиз поклонился и ушел, и по знаку принца я последовал за ним. Вскоре нас впустили в комнату госпожи Мерапи, где она сидела в глубокой печали и одиночестве, закрыв голову черной накидкой.

— Привет тебе, дядя, — сказала она, взглянув на меня и, думаю, поняв причину моего присутствия. — Ты хочешь сообщить мне еще о каких-нибудь пророчествах? Пожалуйста, не надо, твои последние оправдались с лихвой. — И она дотронулась пальцем до черной накидки.

— У меня новости и просьба, племянница. Новости — то, что народ Израиля покидает Египет. Просьба — она же и приказ — о том, чтобы ты приготовилась сопровождать нас.

— Лейбэна? — спросила она, подняв на него глаза.

— Нет, племянница. Лейбэн не желает иметь женой ту, что стала любовницей египтянина. Но ты должна сыграть свою роль, хотя бы и самую скромную, в судьбе нашего народа.

— Я рада, что Лейбэн не хочет того, что никогда не мог получить. Скажи, прошу тебя, почему же я должна выполнить эту просьбу — или этот приказ?

— По весьма важной причине, племянница, — потому что от этого

зависит твоя жизнь. До сих пор тебе было позволено следовать желанию твоего сердца. Но теперь, если ты останешься в Египте, где ты уже выполнила свою миссию — направлять мысли твоего возлюбленного принца Сети, в сторону, благоприятную для дела Израиля, — ты умрешь!

— Ты хочешь сказать, что наши люди меня убьют?

— Нет, не наши. Но ты все равно умрешь.

Она подошла к нему и посмотрела ему в глаза.

— Дядя, ты уверен в том, что я умру?

— Уверен... или, по крайней мере, другие уверены.

Она засмеялась; впервые за несколько новолуний я увидел, что она смеется.

— Тогда я остаюсь, — сказала она.

Джейбиз удивленно смотрел на нее.

— Я так и думал, что ты любишь этого египтянина, который и в самом деле достоин любви любой женщины, — пробормотал он в бороду.

— Может быть именно потому, что люблю его, я и хочу умереть. Я отдала ему все, что имела: от моего сокровища только и осталось то, что может навлечь беду или несчастье на его голову. Поэтому чем больше любовь — а она больше всех пирамид, если бы их сложить в одну, — тем больше потребности в том, чтобы похоронить ее на время. Понимаешь?

Он покачал головой.

— Я понимаю только одно — ты очень странная женщина, совершенно не такая, как все, кого я знал.

— Мой ребенок, убитый со всеми другими, был для меня всем на свете, и я хотела бы быть там, где он. Ну теперь понимаешь?

— И ты бы рассталась с жизнью, ты, еще совсем молодая, способная иметь еще много детей, ради того, чтобы лежать в гробнице вместе с твоим умершим сыном? — спросил он медленно, как человек крайне удивленный.

— Я хочу жить, только пока моя жизнь нужна тому, кого я люблю, а когда придет день и он вступит на престол, как сможет служить ему дочь ненавистных здесь израильтян? И детей мне больше не нужно. Мой сын, живой или мертвый, владеет моим сердцем, и в нем нет места для других. Эта любовь, по крайней мере, чиста и совершенна и, забальзамированная смертью, навсегда останется неизменной. Кроме того, я буду с ним не в гробнице — в это я верю. Религия египтян, которую мы так презираем, говорит о вечной жизни на небесах; туда я и пошла бы искать то, что потеряла, и ждать того, кто временно остался позади.

— Ах! — сказал Джейбиз. — Что до меня, то я не утруждаю себя этими вопросами: в нашей временной жизни на земле и без того много дела

для рук и головы. Однако, Мерапи, ты ведь бунтовщица, а как принимает царь — небесный или земной, все равно — тех, кто восстает против него?

— Ты говоришь — я бунтовщица, — сказала она, повернувшись к нему, и глаза ее вспыхнули. — Почему? Потому что я не захотела бесчестья и не вышла замуж за человека, которого ненавижу, за убийцу, к тому же и потому, что я, пока жива, не покину человека, которого люблю, и не вернусь к тем, от кого видела только зло! Разве бог создал женщин для того, чтобы их продавали, как скот, ради удовольствия и выгоды того, кто может больше заплатить?

— Видимо, для этого, — сказал Джейбиз, разводя руками.

— Видимо, это вы так думаете, представляя себе бога таким, каким хотели бы, чтобы он был. Но я — я в это не верю, а если б верила, то искала бы себе другого царя. Дядя, я обращаюсь против жреца и старейшин к Тому, что создало и их, и меня, и я буду жить или умру по его приговору.

— Весьма опасная позиция, — произнес Джейбиз, как бы размышляя вслух, — поскольку жрец имеет возможность взять закон в свои руки, прежде чем подсудимый успеет апеллировать к другой инстанции. Однако кто я такой, чтобы оспаривать ту, которая может стереть Амона в порошок в его собственном святилище, и поэтому кто может достоверно знать все, что она думает и делает.

Мерапи топнула ногой.

— Ты отлично знаешь, что именно ты передал мне приказ бросить вызов Амону в его храме. Это не я...

— Знаю, знаю, — возразил Джейбиз, махнув рукой. — Знаю также, что это именно то, что говорит каждый маг (каковы бы ни были его боги и его народ) и во что никто не верит. Именно потому, что ты, веруя, повиновалась приказу свыше и через тебя Амон был повержен, египтяне и израильтяне считают тебя величайшей из волшебниц, какие когда-либо существовали на берегах Нила; а это, племянница, — опасная слава!

— На которую я не претендую и которой никогда не добивалась.

— Совершенно верно, но она все равно пришла к тебе. Так что же — зная (а я не сомневаюсь в том, что ты знаешь) обо всем, что скоро произойдет в Египте, и получив предупреждение (если ты в нем нуждаешься) об опасности, которая грозит тебе самой, — ты все-таки отказываешься повиноваться приказу, который я считаю своим долгом тебе передать?

— Отказываюсь.

— Тогда пеняй на себя и прощай. Да, хотел еще сказать тебе: там есть

кое-какое имущество в виде скота и урожая с полей, которые принадлежат тебе по наследству от твоего отца. В случае твоей смерти...

— Возьми все себе, дядя, и да поможет оно твоему процветанию. Прощай.

— Великая женщина, друг Ана, и красавица к тому же, — сказал старый еврей, проводив ее взглядом. — Печально, что я никогда ее больше не увижу. Да и никто не будет смотреть на нее долго. Скорблю, ибо она все-таки мне племянница и я люблю ее. А теперь мне пора, тем более, что я выполнил данное мне поручение. Будь счастлив, Ана. Ты ведь уже не солдат, правда? Нет? Оно и к лучшему, как ты увидишь. Мое почтение принцу. Думай обо мне иногда, когда состаришься, и не поминай лихом, ибо я служил тебе, как только мог, и твоему господину тоже, — надеюсь, он вскоре вновь обретет то, что не так давно потерял.

— Ее высочество принцессу Таусерт, — предположил я.

— И ее, кроме всего прочего, Ана. Скажи принцу, если он сочтет мою цену слишком высокой, что эти лошади, которых я ему продал, действительно самых лучших сирийских кровей и что эту породу моя семья разводила в течение многих поколений. Да, если у тебя есть друг, которому ты желаешь добра, не дай ему уйти в пустыню в период нескольких ближайших новолуний, особенно если командовать войском будет фараон. Нет-нет, я ничего не знаю, но просто это пора больших бурь. Прощай, друг Ана, и еще раз прощай.

Что же он хотел этим сказать? — думал я, направляясь к принцу, чтобы доложить о происшедшем. Но никакой ответ не приходил мне в голову.

Очень скоро я начал понимать. Оказалось, что наконец израильтяне действительно покидают Египет, огромная масса их, а с ними и десятки тысяч арабов из разных племен, которые поклонялись их богу и были — некоторые из них — потомками гиксосов, пастухов, некогда правивших Кеметом. Что это действительно так, подтверждалось известием о том, что все еврейские женщины в Мемфисе, даже те, что были замужем за египтянами, ушли из города, оставив своих мужей, а иногда даже детей. В самом деле, перед их уходом несколько таких женщин, которые были подругами Мерапи, посетили ее и спросили, не уйдет ли она с ними. Покачав головой, она ответила:

— Почему вы уходите? Или вам так хочется скитаться в пустыне, что ради этого вы готовы навсегда расстаться с мужьями, которых вы любите, и с детьми вашей плоти и крови?

— Нет, госпожа, — ответили они плача, — мы счастливы в белоснежном Мемфисе и здесь, под журчание Нила, мы хотели бы

состариться и умереть, вместо того, чтобы жить в пустыне, в какой-нибудь палатке вместе с чужими мужчинами или в одиночестве. Но страх гонит нас отсюда.

— Страх? Чего же вы боитесь?

— Египтян, которые, конечно же, убьют всякого израильтянина, оставшегося среди них, когда оценят все, что они претерпели от нас в обмен за те богатства и приют, что мы имели от них в течение многих поколений, превратившись из горсти семей в великий народ. А еще мы боимся проклятия наших жрецов, которые велели нам уходить.

— Тогда и мне тоже надо бояться, — сказала Мерапи.

— О нет, госпожа, ведь ты — единственная любовь принца Египта, который, по слухам, скоро станет фараоном Египта и защитит тебя от гнева египтян. А поскольку ты еще, как всем известно, самая великая чародейка в мире, победительница могущественного Амона-Ра и пожертвовала собственным ребенком, чтобы отвратить все несчастья от своего жилища, тебе нечего бояться со стороны жрецов и их магии.

Тогда Мерапи вскочила, требуя, чтобы они предоставили ее своей участи и пошли навстречу собственной, что они и поспешили сделать, боясь ее чар. Вот и вышло так, что вскоре прекрасная Луна Израиля и некоторые дети смешанной крови оказались единственными из всей еврейской расы, кто остался в Египте. Тогда, несмотря на то, что страдания и бедствия последних лет со всеми их ужасами, смертями и голодом уменьшили численность египтян почти в половину, народ Кемета возликовал, преисполнившись великой радости.

В каждом храме каждого бога состоялись торжественные процессии, и все, у кого что-нибудь осталось, приносили жертвоприношения, в то время как статуи богов наряжали в новые красивые одежды и увешивали гирляндами цветов. Но это еще не все: на Ниле и на священных озерах плавали лодки, украшенные фонарями, как в праздник Воскресения Осириса. Как титулованный верховный жрец Амона — должность, являвшаяся пожизненной, — принц Сети присутствовал на этих празднествах в большом храме Мемфиса, куда я сопровождал его. Когда обряды закончились, он во всем своем великолепном жреческом облачении вывел процессию из храма сквозь массы поклоняющихся, и тысячи глоток приветствовали его громогласным криком: «Фараон!» или, по крайней мере, прославляя как наследника Египта.

Когда крики наконец замерли, он обратился к собравшимся и сказал:

— Друзья, если вам хочется послать меня не на пир фараона, а в общество, что сидит за столом Осириса, вы можете повторить это



безрассудное приветствие, — оно доставит нашему повелителю Аменмесу весьма мало радости.

В наступившем молчании вдруг раздался голос:

— Не бойся, о принц, пока еврейская колдунья спит каждую ночь у тебя на груди! Та, что навлекла на Кемет столько бед, уж конечно уберезет тебя от опасности! — на что толпа ответила новым взрывом одобрения и приветствий.

На следующий день из Таниса, куда он ездил с визитом, вернулся старый Бакенхонсу и принес новые вести. Оказывается, там, в самом большом зале одного из самых больших храмов состоялся многолюдный совет, открытый для всех желающих. На этом совете Аменмес сообщил, как обстоит дело с израильтянами, которые, как он сказал, уходят тысячами. Были также совершены приношения, чтобы умиловить разгневанных богов Кемета. Когда обряд закончился, но еще до того, как начали расходиться, ее высочество принцесса Таусерт поднялась с места и обратилась к фараону:

— Во имя духов наших отцов, — воскликнула она, — и особенно во имя духа доброго бога Мернептаха, моего родителя, я спрашиваю тебя, фараон, и всех вас, о люди, — должна ли гордая земля Кемета терпеть наглость этих рабов-евреев и их магов? наших богов оскорбляли и оскверняли; на нас навлекали несчастья, огромные и ужасные, каких не знала история; десятки тысяч новорожденных, начиная от первенца фараона, погибли за одну ночь. И вот теперь эти израильтяне, убившие их своим колдовством, — ибо все они колдуны, и мужчины и женщины, особенно одна, которая сидит в Мемфисе, но о которой я не хочу говорить, потому что она нанесла мне лично вред, — эти израильтяне с разрешения фараона уходят из страны! Мало того, они берут с собой весь свой скот, весь собранный с полей урожай, все сокровища, которые они накопили в течение поколений, и все украшения и драгоценности, которые они страхом отняли у наших людей, забирая в долг то, что они никогда не собираются возвращать. Поэтому я, царственная принцесса Египта, хочу спросить фараона — это приказ фараона?

При этом, как рассказал Бакенхонсу, фараон сидел повесив голову и не отвечал ни слова.

— Фараон молчит, — продолжала Таусерт. — Тогда я спрошу — это приказ Совета фараона и воля египетского народа? Еще есть в Кемете большая армия, сотни колесниц и тысячи пехотинцев. И эта армия будет сидеть и ждать, пока эти рабы уйдут в пустыню, поднимут против нас наших врагов-сирийцев и вместе с ними вернутся, чтобы расправиться с

нами?

— При этих словах, — продолжал свой рассказ Бакенхонсу, — вся эта масса собравшихся там людей ответила громким криком «нет!».

— Народ говорит — нет. А что скажет фараон? — воскликнула Таусерт.

Наступило молчание, пока наконец Аменмес не встал и не заговорил.

— Будь по-твоему, принцесса, и если это обернется злом, пусть падет оно на твою голову и на головы тех, кого ты подстрекаешь на это дело, хотя, я думаю, это твой муж, принц Сети, должен был бы сейчас стоять там, где стоишь ты, и задавать мне свои вопросы.

— Мой муж, принц Сети, привязан к Мерапи веревкой, сплетенной из волос колдуньи, по крайней мере, так мне сказали, — ответила она с презрительным смехом, и ропот присутствующих поддержал ее слова.

— Этого я не знаю, — сказал Аменмес, — но знаю одно: принц всегда настаивал на освобождении израильтян, и временами, когда одно несчастье следовало за другим, я думал, что он прав. Воистину, не раз я и сам хотел бы, чтобы они ушли, но всегда какая-то сила, не знаю, какая, сдавливала мое сердце, превращая его в камень, и вырывала у меня слова, каких я не хотел произносить. Даже сейчас я дал им уйти, но все вы — против меня, и может быть, если я буду противиться вам, я заплачу за это своей жизнью и тронем. Военачальники, прикажите привести в готовность мои войска и соберите их здесь, в Танисе ибо я сам поведу их, преследуя народ Израиля, и разделю с ними участь.

На этом, под громкие крики одобрения, собрание закончилось, и вскоре только фараон остался сидеть на своем троне, с видом человека, — по словам Бакенхонсу, — который скорее мертв, чем жив, но отнюдь не с видом царя, собирающегося начать войну против своих врагов.

Принц выслушал рассказ Бакенхонсу в глубоком молчании, но когда тот кончил, он спросил:

— Что ты об этом думаешь, Бакенхонсу?

— Думаю, о принц, — ответил старей мудрец, — что ее высочество поступила дурно, подняв снова все это дело, хотя я не сомневаюсь, что она говорила голосами жрецов и армии, и фараон не нашел в себе достаточно сил, чтобы сопротивляться.

— Я думаю то же, что и ты, — сказал Сети.

В этот момент в комнату вошла госпожа Мерапи.

— Я слышу, мой муж, — сказала она, — что фараон решил преследовать народ Израиля со своим войском. Я пришла просить моего супруга, чтобы он не присоединился к армии фараона.

— Вполне естественно, госпожа, что ты не хочешь, чтобы я воевал против твоих соотечественников, и сказать по правде, у меня нет никакого желания действовать в этом направлении, — сказал Сети и, повернувшись, вышел вместе с ней из комнаты.

— Она думает вовсе не о своих соотечественниках, а о спасении своего любимого, — заметил Бакенхонсу. — Она не колдунья, как о ней говорят, но она действительно знает то, что нам неизвестно.

— Да, — ответил я, — это верно.

## XVII. Сон Мерапи

Прошло дней четырнадцать, и за это время стало известно, что израильтяне действительно тронулись в путь. Их было огромное множество и они несли с собой гроб и мумию своего пророка, человека их крови, бывшего, как говорили, визирем того фараона, который приютил их в Египте сотни лет тому назад. О том, куда они идут, говорили по-разному, но всезнающий Бакенхонсу утверждал, что они направляются к озеру Крокодилов, которое некоторые называют также Красным морем; оттуда они пойдут на ту сторону, в пустыню, и дальше — в Сирию. Я спросил его, как же им удастся переправиться на ту сторону, ведь это озеро даже в самом узком месте имеет тридцать тысяч футов в ширину, а глубина донного ила вообще неизмерима. Он ответил, что не знает, но что я мог бы спросить об этом госпожу Мерапи.

— Значит, ты изменил мнение о ней и тоже считаешь ее колдуньей, — сказал я, на что он ответил:

— Человек поневоле вдыхает дующий в лицо ветер, а Египет так насыщен колдовскими чарами, что трудно что-нибудь сказать. И все-таки это она сокрушила древнюю статую Амона. О да, колдунья она или нет, было бы интересно спросить ее, как ее народ собирается переправиться через Красное море, особенно если за их спинами вдруг появятся колесницы фараона.

Я действительно задал ей этот вопрос, но она ответила, что ничего об этом не знает и знать не хочет, поскольку она порвала со своим народом и осталась в Египте.

Потом появился Ки, уж не знаю, откуда, и, помирившись с Сети, которого он клятвенно уверил, что переодевание Мерапи в наряд Исиды было делом жрецов против его воли, сообщил, что фараон и большое войско выступили из Таниса и начали преследование израильтян. Принц спросил его, почему он не присоединился к ним. В ответ Ки возразил, что, во-первых, он не воин, а во-вторых, фараон отвратил от него свое лицо. В свою очередь он спросил принца, почему же он сам не с ними.

Сети ответил, что он отстранен от командования, как и его офицеры, и не имеет желаний участвовать в этом деле как простой горожанин.

— Ты мудр, как всегда, принц, — сказал Ки.

На следующий вечер, почти ночью, когда принц, Ки, Бакенхонсу и я, Ана, сидели и разговаривали, к нам вдруг ворвалась госпожа Мерапи, как

была в ночном одеянии, по которому разметались ее распущенные волосы, и с диким выражением в глазах.

— Я видела сон! — вскричала она. — Мне приснилось, будто я вижу, как мой народ, все множество людей, следует за пламенем, пылающим от земли до самого неба. Они подошли к кромке большого водного пространства, и вдруг позади них появился фараон и с ним — все египетское войско. Тогда люди Израиля устремились прямо в воду, и вода держала их, как будто это была твердая земля. Воины фараона бросились вслед за ними, но тут явились боги Кемета — Амон, Осирис, Гор, Исида, Хатхор и все остальные, и пытались их остановить. Однако они не хотели их слушать и, увлекая за собой богов, ринулись в воду. Тут наступила тьма, и в этой тьме раздались крики и плач, и громкий смех. Потом — она рассмеялась, — взошла луна и осветила пустоту. Я проснулась, вся дрожа. Растолкуй мне этот сон, если можешь, о Ки, мастер магии.

— Какая в этом нужда, госпожа, — ответил он, как будто очнувшись ото сна, — если видевшая этот сон — сама ясновидящая? Осмелится ли ученик наставлять учителя или новичок — разъяснять тайны верховной жрице храма? Нет, госпожа, я и все маги — мы считаем тебя выше всех магов, какие были и есть в Кемете.

— Почему ты всегда меня дразнишь? — сказала она задрожав.

Тогда Бакенхонсу, слушавший до сих пор молча, сказал:

— Последнее время мудрость Ки погрузилась в тучу и не светит нам, его ученикам. Однако смысл твоего сна достаточно ясен, хотя я и не знаю, насколько этот сон правдив. Он означает, что всему египетскому войску, а вместе с ним и богам Кемета, угрожает гибель из-за их вражды к израильтянам, если только не найдется кто-то, кого они будут слушать и кто убедит их отказаться от намерения, которое мне неясно. Но кого послушают безумные, о, кого они послушают! — И подняв свою большую голову, он посмотрел прямо на принца.

— Боюсь, что не меня, я ведь никто в Египте, — сказал Сети.

— Почему не тебя, о принц, если завтра ты можешь стать всем в Египте? — спросил Бакенхонсу. — Ты всегда вступался за израильтян и говорил, что вражда к ним не принесет Кемету ничего, кроме зла, — так оно и вышло. К кому же еще более охотно прислушается народ и армия?

— Более того, о принц, — вмешался Ки, — госпоже твоего дома приснился очень плохой сон, из которого, что ни говори, следует, что это был не сон, а проявление силы, направленной против величия Кемета, той силы, которая сбросила великого Амона с его престола, той силы, которая оградила магической стеной этот дом.

— Я опять повторяю, что не обладаю никакой силой, о Ки, иначе я бы не заплатила за это жизнью собственного ребенка.

— И однако колдовские чары были приведены в действие, госпожа; а сила, как издавна известно, достигает совершенства только в жертвоприношении, — загадочно произнес Ки.

— Кончай свои разговоры о чарах, маг, — воскликнул принц, — а если тебе уж так хочется, то говори о своих собственных, их у тебя достаточно. Это Джейбиз защитил нас от бедствий, а статую Амона разбил какой-то бог.

— Прошу прощения, принц, — сказал Ки, кланяясь, — это не госпожа защитила твой дом от бедствий, которые свирепствовали в Египте, и не госпожа, а какой-то бог, действующий через нее, сокрушил Амона в Танисе. Так сказал принц. Однако ей же приснился некий сон, который Бакенхонсу нам объяснил, хотя я не могу, и я думаю, что фараону и его военачальникам нужно рассказать об этом сне, чтобы они вынесли свое суждение о нем.

— Так почему бы тебе не рассказать им, Ки?

— Фараону угодно было, о принц, отстранить меня от моих обязанностей как потерпевшего провал и передать должность керхеба другому. Если я появлюсь теперь там, меня убьют.

Слыша это, я, Ана, от души пожелал, чтобы Ки появился перед лицом фараона, хоть я и не верил, что его кто-нибудь убьет, ибо он знал особые заклинания против смерти. Дело в том, что я боялся Ки и был уверен в том, что он опять замышляет козни против Мерапи, в невиновности которой я не сомневался.

Принц ходил взад и вперед по комнате, что было его привычкой в минуты размышлений. Наконец он остановился и сказал:

— Друг Ана, будь добр, распорядись, чтобы мои колесницы были наготове, а также эскорт в сто человек и запасные лошади для каждой колесницы. Мы выезжаем на рассвете, ты и я, чтобы разыскать армию фараона и добиться приема у фараона.

— О супруг мой, — умоляюще произнесла Мерапи, — прошу тебя, не уезжай, не оставляй меня одну!

— Зачем одну? Поезжай со мной, госпожа, если хочешь.

Но она покачала головой и сказала:

— Я не смею. Принц, последнее время я чувствую, будто какие-то чары толкают меня обратно к моему народу. Дважды ночью я просыпалась и обнаруживала, что стою в саду, лицом к северу, и слышала голос моего покойного отца, который говорил мне: «Луна Израиля, твой народ блуждает

в пустыне, и ему нужен твой свет». И я боюсь, что если я окажусь поблизости от этих людей, меня затянет, как водоворот затягивает щепку, и я никогда больше не увижу Египет.

— Тогда прошу тебя, останься здесь, Мерапи, — сказал принц, слегка засмеявшись, — ведь ясно, — куда пойдешь ты, туда следом пойду и я, а у меня нет ни малейшего желания блуждать с твоими евреями в пустыне. Так что, поскольку ты не хочешь покинуть Мемфис и не поедешь со мной, я должен остаться с тобой.

Ки устремил на них обоих пронзительный взгляд.

— Да простит меня принц, — сказал он, — но клянусь богами, я никогда не думал, что доживу до того часа, когда принц Сети Мернептах поставит женские капризы выше своей чести.

— Твои слова грубы, — сказал Сети, гордо выпрямившись, — и будь сейчас другое время, может быть, я бы, Ки...

— О мой принц! — сказал Ки, простершись перед ним, так что его лоб коснулся пола. — Подумай только, как важна должна быть причина, побудившая меня вымолвить такие слова. Когда я приехал сюда из Таниса в первый раз, дух, живущий во мне и говорящий моими устами, произнес по отношению к твоему высочеству определенные титулы, за которые тебе угодно было упрекнуть меня. Однако этот дух во мне не может лгать, и я знаю точно и прошу всех, кто сейчас здесь, запомнить мои слова, что этой ночью я стою перед тем, кто менее чем через два новолуния будет фараоном.

— Поистине, ты всегда приносил плохие вести, Ки, но даже если это так, что из этого следует?

— А вот что, мой принц: если бы духи Истины и Справедливости не побуждали меня говорить, разве посмел бы я, человек из уязвимой плоти, бросить жестокие слова в лицо тому, кто скоро станет фараоном? Разве посмел бы я перечить нежной голубке, которая свила гнездо в его сердце, мудрой белой голубке, шепчущей тайны небес, откуда она прилетела, которая сильнее, чем гриф Исиды, и быстрее, чем ястреб Ра, голубке, которая в гневе могла бы растерзать меня на более мелкие частицы, чем Сет разрубил Осириса?

Тут я заметил, что Бакенхонсу раздувается от внутреннего смеха, подобно лягушке, готовой заквакать; но Сети ответил усталым голосом:

— Клянусь всеми птицами Кемета и священными крокодилами в придачу — я не знаю. Твой ум, Ки, — не открытая книга, которую может читать проходящий мимо. Все же, если бы ты объяснил мне, по какой причине богини Истины и Справедливости вдохновили тебя...

— Причина, принц, в том, что судьба всей египетской армии, быть может, сейчас в твоих руках. Время не терпит, и я скажу прямо: что ни говори, а эта госпожа, которая кажется лишь воплощением любви и красоты, на самом деле величайшая волшебница во всем Египте, уж я, кого она превзошла, хорошо это знаю. Она бросила вызов высокому богу Кемета и сокрушила его в прах и заплатила ему, его пророкам и всем, кто его чтит, тем же злом, которое он мог бы причинить ей, — как в подобном случае сделал бы любой из нас. Теперь ей приснилось или ее дух открыл ей, что армии Египта грозит гибель, и я знаю, что этот сон исполнится. Так поспеши, о принц, спасти войска Египта, ведь они понадобятся тебе, когда ты сядешь на египетский трон.

— Я не волшебница! — вскричала Мерапи. — И однако — о горе, что я должна сказать об этом! — в словах этого улыбочивого чародея с холодными глазами правда. Меч смерти готов сразить войска Египта!

— Вели приготовить колесницы, — сказал Сети.

\* \* \*

Прошло восемь дней. Солнце садилось, когда мы остановили коней недалеко от Красного моря. День и ночь мы двигались по следам фараоновой армии, по дороге, проложенной через пустыню его колесницами и ногами его солдат, и десятками тысяч израильтян, прошедших ранее этим же путем. И теперь с вершин холмов, где мы остановились, мы увидели внизу лагерь фараона — весьма большую армию. Кроме того, отставшие солдаты говорили нам, что за этой армией тоже расположилась лагерем несметная масса израильтян, а еще дальше, за нею, расстилалось Красное море, преградившее им путь. Но ни израильтян, ни воды не было видно по очень странной причине: между ними и армией фараона возвышалась черная стена туч, как бы воздвигнутая с земли до самого неба. Один из отставших солдат рассказал, что эта огромная туча двигалась днем перед израильтянами, а ночью превращалась в столб пламени. Но в день, когда к ним приблизилась армия фараона, туча обошла лагерь израильтян и стала между ними и египетской армией.

Когда принц, Бакенхонсу и я услышали об этом, мы посмотрели друг на друга и не проронили ни слова. После долгого молчания принц, слегка засмеявшись, сказал:



— Нам бы следовало захватить с собой Ки, даже если бы пришлось привязать его к колеснице, — уж он бы объяснил нам это чудо, ибо, конечно, он единственный, кто мог бы.

— Ки не так-то легко привязать, принц, если он желает быть на свободе, — сказал Бакенхонсу. — Кроме того, еще раньше, чем мы сели в колесницу, он покинул Мемфис, направляясь к югу, в Фивы. Я видел, как он уходил.

— А я приказал больше не принимать его, ибо его появление, я считаю, не сулит добра; во всяком случае, так думает госпожа Мерапи, — ответил Сети со вздохом.

— Теперь, когда мы здесь, что принц намерен делать? — спросил я.

— Спуститься в лагерь фараона и сказать то, что мы должны сказать, Ана.

— А если он не пожелает слушать?

— Тогда громко прокричать наше сообщение и повернуть обратно.

— А если он нас задержит, принц?

— Тогда спокойно стоять и жить или умереть — как решат боги.

— Поистине, у нашего принца мужественное сердце! — воскликнул Бакенхонсу. — И хотя я чувствую себя слишком молодым, чтобы умереть, я склонен остаться с ним и увидеть исход этого дела, — и он громко захохотал.

Но я, не в силах подавить в себе страх, подумал, что его «охо-хо», на которое как будто само небо отозвалось эхом, прозвучало над нашими головами как странное и даже зловещее преднамеренное.

Между тем мы облачились в парадные одежды, которые привезли с собой, но без оружия и с половиной нашего эскорта проехали туда, где видели флаги над шатром фараона. Остальную часть наших воинов мы оставили в лагере, приказав им, если с нами что-то случится, вернуться назад и объявить обо всем в Мемфисе и других больших городах. Когда мы приблизились к лагерю фараона, передовые посты увидели нас и приказали остановиться. Но когда при свете заходящего солнца они узнали принца, раздался шепот: «Принц Египта! Принц Египта!» — ибо они всегда продолжали называть Сети этим титулом — и, салютуя своими копьями, они пропустили нас.

Так мы достигли шатра фараона, который был окружен целым полком стражников. Края шатра были подняты, ибо вечер стоял жаркий, а внутри кроме самого фараона находились его военачальники, его советники, жрецы, маги и еще многие другие, кто участвовал в трапезе или разносил еду и напитки. Они сидели за столом лицом ко входу, и фараон восседал в

центре, а позади него стояли его дворецкие и слуги с опахалами.

Мы прошли в шатер — принц посередине, по правую его руку Бакенхонсу, по левую — я с дарованной мне фараоном Мернептахом золотой цепью на шее; сопровождавшие нас воины остались снаружи, где стояли часовые.

— Кто это? — спросил Аменмес, подняв глаза. — Кто это входит сюда без приглашения?

— Трое граждан Египта с вестью для фараона, — ответил Сети своим спокойным негромким голосом, — которую мы поспешили вовремя доставить.

— Как вас зовут, граждане Египта, и кто посылает эту весть?

— Нас зовут Сети Мернептах, принц Египта и наследник престола, Бакенхонсу, старый советник, и Ана, писец и друг царя; а наша весть послана богами.

— Мы слышали эти имена, кто их не слышал? — сказал фараон, и при его словах все присутствующие поднялись и поклонились в сторону принца. — Не желаешь ли ты с твоими товарищами сесть и откусать с нами, принц Сети?

— Мы благодарим божественного фараона, но мы уже поужинали. Не позволит ли нам фараон сообщить нашу весть ему?

— Говори, принц.

— О фараон, много раз обновлялась луна с тех пор, как мы последний раз смотрели друг другу в лицо, в тот день, когда мой отец, добрый бог Мернептах, лишил меня наследства и позже отошел в край Осириса. Фараон помнит, почему я был таким образом отрезан от царского корня Египта. Это было в связи с вопросом об израильтянах, которые, по моему убеждению, терпели от нас много зла и должны были быть отпущены на свободу. По твоему совету, о фараон, и по совету других добрый бог Мернептах хотел покончить с ними, уничтожив их мечом, и потребовал моего согласия как наследника Египта. Я отказался дать согласие и был лишен своих прав, и с тех пор ты, о фараон, носишь двойную корону Кемета, в то время как я живу как гражданин Мемфиса на тех землях и на те средства, которые являются моей собственностью. Между тем часом и этим, о фараон, много бедствий обрушилось на Кемет, и последнее стоило жизни твоему первенцу и моему. Однако, о фараон, при всех этих бедствиях ты отказывался отпустить этих евреев, вопреки тому, что я советовал с самого начала. Наконец после смерти твоего сына ты объявил, что они могут уйти куда угодно. А теперь ты преследуешь их с большой армией и намерен сделать то, что сделал бы мой отец, славный бог

Мернептах, если бы я согласился, — уничтожить их мечом. Слушай меня, фараон!

— Я слушаю; дело изложено хорошо, хоть и кратко. Что еще хотел бы ты сказать, принц Сети?

— Только одно, о фараон: молю тебя, откажись от преследования израильтян и уйди обратно со всей своей армией — не утром и не на следующий день, а сейчас, в этот вечер.

— Почему же, о принц?

— Из-за некоего сна, который приснился госпоже моего дома, еврейской женщине, и который предсказывает гибель тебе и армии Египта, если ты не прислушаешься к моим словам.

— Кажется, мы знаем об этой змее, которую ты приютил и пригрел у себя на груди, откуда она может оплевывать Кемет ядом. Ее зовут Мерапи, Луна Израиля, не так ли?

— Так зовут госпожу, которой приснился этот сон, — ответил Сети холодным тоном, хотя я, стоя рядом с ним, чувствовал, как он дрожит от гнева, — сон, который, если фараон пожелает, мои товарищи могут пересказать слово в слово.

— Фараон не пожелает, — закричал Аменмес, ударив кулаком по столу, — потому что он знает, что это лишь еще один трюк для спасения этих колдунов и воров от участи, которую они заслужили.

— Значит, я — исполнитель трюков, о фараон? Если так, зачем бы я ехал сюда с этим предупреждением, хотя завтра, сидя в Мемфисе, я мог бы снова стать наследником двойной короны? Ибо если ты не послушаешь меня, то очень скоро ты погибнешь, а вместе с тобой и все эти... — и он указал на сидящих за столом. — А с ними и вся огромная армия, что там снаружи. Прежде чем отвечать, скажи, что значит эта черная туча, закрывающая лагерь врагов, евреев? Ты не находишь ответа? Тогда я скажу: это покров, который окутает ваши кости, всех вас до единого.

Теперь вся компания дрожала от страха, — да, даже жрецы и маги — и те дрожали. Но фараон обезумел от ярости. Вскочив со своего места, он сорвал с головы двойную корону и швырнул ее на землю, и я заметил, что золотая лента с уреем отлетели в сторону и легли на сандалию Сети. Аменмес разорвал на себе одежду и закричал:

— По крайней мере, ты поделишь со мной судьбу, отступник, продавший Кемет еврейской колдунье за ее поцелуй? Схватить этого человека и его товарищей! И когда эта тьма рассеется завтра утром и мы атакуем израильтян, пусть они идут вместе с нами в первых рядах. Вот тогда и увидим, где правда!

Таков был приказ фараона, и Сети, не ответив ни слова, скрестил на груди руки и ждал, что последует.

Люди поднялись со своих мест, как бы повинувшись этому приказу, но снова сели; стражники устремились вперед — и однако застыли в неподвижности. Тогда Бакенхонсу разразился торжествующим хохотом.

— Охо-хо! — смеялся он. — Как фараоны приходили и уходили — один и два, и три, и четыре, и пять — я видел, но чтобы ни один советник и ни один стражник не выполнили приказа фараона, даже если б они не хотели — такого я еще не видел! Когда ты станешь фараоном, принц Сети, надеюсь, тебе больше повезет. Дай руку, Ана, друг мой, и веди нас, царственный наследник Египта! Истина показана, но слепые глаза не желают видеть. Слово сказано, но глухие уши не желают слышать. Долг исполнен. Доброго вам сна, избранники Осириса, доброго сна!

Потом мы повернулись и пошли прочь из шатра. У выхода я оглянулся, и в сумерках, которые предшествуют ночной тьме, мне почудилось, будто сидящие за столом уже мертвы. Лица их посинели, глаза мерцали пустым блеском и ни одного слова не сорвалось с их уст. Они лишь неотрывно смотрели на нас, пока мы шли, все смотрели и смотрели.

Снаружи я по приказу принца громко прокричал суть ясновидения госпожи Мерапи и предупредил всех, кому было слышно, чтобы они перестали преследовать народ Израиля, если им дороги жизнь и свет солнца. Но даже после этого, хотя моя речь была прямой изменой фараону, ни одна рука не поднялась ни на принца, ни на меня, его слугу. С тех пор я часто спрашивал себя, почему так было, и не находил ответа на свои вопросы. Возможно потому, что в глубине души все знали, что Сети — истинный фараон, и любили его. Возможно потому, что они верили принцу и считали, что если он отправился в такую даль и отдал себя во власть Аменмеса, то лишь с тем, чтобы спасти армии Египта и передать им весть, полученную от самих богов.

Или, может быть, он все еще был под покровительством, которое израильтяне обещали ему через своих пророков голосом Джейбиза. Во всяком случае, все было, как я описал. Фараон мог приказать, но его слуги не повиновались ему. Более того, эта весть распространилась, и в ту же ночь многие дезертировали из войска фараона и расположились поблизости от нашего лагеря или бежали обратно в города, откуда пришли. Среди них было немало советников и жрецов, которые тайно переговорили с Бакенхонсу. Потому и случилось, что даже если фараон хотел покончить с нами — как, вероятно, он и собирался сделать под покровом ночи, — он все же счел более мудрым выполнить это намерение после того, как он

расправится с народом Израиля.

Это была очень странная ночь — полное безмолвие, тяжелый неподвижный воздух. Звезд не было, но в завесе черной тучи, как будто опустившейся над лагерем египтян, вспыхивали живые молнии, принимая формы каких-то букв, которые я не мог прочесть.

— Смотри — вот Книга Судеб, написанная огнем рукою бога! — сказал Бакенхонсу, наблюдавший зловещее зрелище.

Около полуночи вдруг налетел восточный ветер, столь сильный, что нам пришлось лечь наземь лицом вниз, укрывшись за колесницами. Потом он замер, и мы услышали волнение и крики как из египетского лагеря, так и из лагеря Израиля, скрытого за тучей. Затем последовал толчок, как во время землетрясения, который сбил с ног тех из нас, которые стояли, и при свете появившейся кроваво-красной луны мы увидели, что вся армия фараона начинает двигаться в сторону моря.

— Куда они идут? — спросил я принца, который ухватился за мою руку.

— Навстречу судьбе, я думаю, — ответил он, — но какой судьбе, не знаю.

Больше мы не сказали ни слова, нам было страшно.

\* \* \*

Наконец занялась заря, осветив самое ужасное зрелище, какое когда-либо видели глаза человека.

Стена туч исчезла, и при ясном свете утра мы увидели, что глубокие воды Красного моря расступились, оставив посередине твердую дорогу — не то расчищенную ветром, не то приподнятую землетрясением. Кто знает? Только не я, чья нога так и не ступила на эту дорогу смерти. По этой широкой дороге устремлялись десятки тысяч израильтян, двигаясь между водой справа и водой слева, а за ними следовала вся армия фараона, кроме тех, которые дезертировали и теперь стояли или лежали вокруг нас, наблюдая. Видны были даже золотые колесницы, указывая, где сам фараон и его телохранитель, — в самой гуще беспорядочного войска, рвавшегося вперед, не соблюдая ни дисциплины, ни боевого строя.

— Что же теперь? О, что же теперь? — прошептал Сети, и в этот момент последовал второй подземный толчок. Затем в западной части моря

поднялась огромная волна, высокая, как пирамида. Она катилась, курчавясь и пенясь на гребне, и у ее основания мы на миг, не более, увидели армию Египта. Но в то же мгновение мне почудилось, что вдоль ее гребня несутся могучие фигуры, которые я принял за богов Кемета, а за ними, преследуя их и гоня их бичом, — какой-то образ из сияющего света. Они появились, они исчезли, сопровождаемые звуками стенаний, и волна упала.

Но за ее пределами по-прежнему шли толпы израильтян — на дальнем берегу.

Наступил густой мрак, и сквозь этот мрак я увидел — или подумал, что вижу, — Мерапи, Луну Израиля, стоящую перед нами с выражением отчаяния на лице, и услышал — или подумал, что слышу, — ее крик:

— О! Помоги мне, мой муж Сети! Помоги мне, мой муж Сети!

Потом она тоже исчезла.

— Запрягайте лошадей! — крикнул Сети глухим голосом

## XVIII. Коронация Мерапи

Как ни мчались наши кони, но слух, а точнее — истина, которую несли ушедшие раньше нас, летела быстрее. О! Это путешествие казалось сном, ниспосланным злыми богами. День и ночь неслись мы, и в каждом городе навстречу нам выбегали женщины, крича:

— Это верно, о путники, это верно, что фараон и его войско погибли в море?

И старый Бакенхонсу отвечал им:

— Верно, что тот, кто был фараоном, и его войско погибли в море. Но фараон жив — вот он! — И он указывал на принца, который не обращал ни на кого внимания и повторял только одно слово: — Вперед! Вперед!

И снова мы мчались вперед, в то время как стоны и плач замирали далеко позади.

Солнце садилось, когда мы наконец приблизились к Мемфису. Принц повернулся ко мне и прервал молчание.

— До сих пор я не смел спросить, — сказал он, — но скажи мне, Ана. В темноте, когда большая волна упала и ужасные образы пронесли мимо, тебе не показалось, что перед нами стоит женщина, и не слышалось, что она что-то говорит.

— Все так и было, принц.

— Кто была эта женщина, и что она говорила?

— Это была та, что родила тебе сына, о принц, которого уже нет, и она говорила: «О! Помоги мне, мой муж Сети! Помоги мне, мой муж Сети!»

Его лицо, даже под слоем покрывавшей его пыли, стало пепельного цвета, и он застонал.

— Двое любящих ее видели и двое любящих ее слышали, — сказал он. — Сомнений нет, Ана, она погибла.

— Молю богов...

— Не моли, ибо боги Кемета тоже погибли — пали от руки бога Израиля. Ана, кто ее убил?

Неплохой рисовальщик, я изобразил пальцем на толстом слое песка и пыли, покрывавшем борт колесницы, брови человека и под ними два глубоких глаза... Позолота, отражая солнце, выглядела, как блеск в глазах.

Принц кивнул и сказал:

— Теперь мы узнаем, могут ли великие маги, вроде Ки, умереть, как другие люди. Чтобы узнать это, я готов даже, если необходимо, надеть

корону фараона.

У ворот Мемфиса мы остановились. Они были заперты, но слышно было, что за ними большой город шумит и волнуется.

— Открывай! — крикнул Сети стражнику.

— Кто приказывает мне открывать? — отозвался начальник стражи, всматриваясь в наши лица, ибо солнце стояло низко у нас за спиной.

— Фараон приказывает тебе открыть!

— Фараон! — сказал начальник стражи. — Мы получили точные сведения, что фараон и его армия утонули в результате колдовства.

— Глупец! — вскричал принц. — Фараон никогда не умирает, фараон Аменмес отошел к Осирису, но славный бог Сети Мернептах, фараон Египта, велит тебе открыть ворота.

Тогда бронзовые ворота открылись, и те, кто охраняли их, простерлись в пыли.

— Скажи, — обратился я к начальнику стражи, — что значат эти крики?

— Господин, — ответил он, — я точно не знаю, но говорят, что на площади перед храмом сжигают на костре колдунью, которая навлекла на Кемет все эти бедствия и своими чарами погубила фараона Аменмеса и его армию.

— По чьему приказу? — крикнул я, но возница стегнул лошадей, и мы не услышали ответа.

Мы промчались по широкой улице на большую площадь, заполненную десятками тысяч людей. Мы погнали лошадей прямо на них.

— Дорогу фараону! Дорогу могучему славному богу, Сети Мернептаху, Царю Верхних и Нижних Земель! — закричали сопровождавшие Сети воины.

Толпа обернулась, и все увидели высокую фигуру принца все в той же парадной одежде, в которой он стоял перед Аменмесом в его шатре близ моря.

— Фараон! Фараон! Слава фараону! — закричали люди, падая ниц, и этот крик пронесся по Мемфису подобно ветру.

Мы пробились к центру площади. Там, перед большими воротами храма пылал огромный костер из высоко сложенных дров. Перед ним мелькали фигуры, и в одной из них я узнал Ки, облаченного в одежду мага. Двойная цепь солдат окружала костер, сдерживая напор толпы, которая неистовствовала, будто охваченная безумием, крича и потрясая кулаками. Группа жрецов разделилась, и я увидел стоящих рядом мужчину и женщину. Одежда на женщине была порвана, волосы растрепались; видно



было, что с ней обошлись грубо. В этот момент силы ее покинули и она упала на колени, подняв лицо. Это было лицо Мерапи, Луны Израиля.

Значит, она не погибла!... Человек, стоящий рядом, нагнулся, чтобы поднять ее, но пущенный ему в спину камень заставил его с проклятием выпрямиться. Я сразу узнал этот голос, хотя широкий плащ скрывал облик этого человека.

Это был голос Лейбэна, израильтянина, обрученного с Мерапи и пытавшегося убить нас в стране Гошен. «Что он здесь делает?» подумал я.

Ки заговорил:

— Слыхали, как зашипела эта еврейская кошка? — сказал он. — Ну что ж, дело рассмотрено, приговор вынесен. Я думаю, первым пойдет в огонь соучастник, а потом колдунья. Теперь следите за ним — он, может стать, оборотень.

Все это Ки произнес, приятно улыбаясь, — даже когда подал знак черным рабам храма, ожидавшим поблизости. Они бросились вперед, и я увидел, как вспыхнуло отражение пламени на их медных браслетах, когда они схватили Лейбэна. Он яростно сопротивлялся, крича:

— Где ваши армии, египтяне, где ваш собака-фараон? Ступайте выуживать их из Красного моря! Прощай, Луна Израиля! Хорошо же увенчал тебя твой царственный любовник, о неверная...

Больше он ничего не успел сказать, ибо в этот момент рабы швырнули его головой вперед в самую середину костра, который на миг потемнел и вновь вспыхнул ярким пламенем.

И тогда Мерапи с трудом поднялась и воскликнула — теми же словами, которые принц и я слышали, когда ее образ явился нам у далекого Красного моря: «О! Помоги мне, мой муж Сети! Помоги мне, мой муж Сети!» Да, это были те же самые слова, которые — по крайней мере, нам так показалось — поразили наш слух за много дней до того, как они сорвались с ее уст.

Продвижение наших колесниц фут за футом сквозь толпу заняло не больше времени, чем нужно, чтобы досчитать до ста, и едва замерло эхо ее зова, как мы были уже рядом и прыгнули наземь.

— Колдунья зовет того, кто сегодня ужинает за столом Осириса вместе с фараоном и его войском, — издевательски усмехнулся Ки. — Пусть пойдет да поищет его там, если позволят боги, — и он снова подал знак черным рабам.

Но Мерапи уже увидела — или почувствовала, что Сети рядом, и кинулась ему на грудь. У всех на глазах он поцеловал ее в лоб, потом велел мне поддержать ее и повернулся лицом к толпе.

— На колени! На колени! На колени! — раздался громкий голос Бакенхонсу. — Жизнь! Кровь! Сила! Фараон! Фараон! Фараон! — И воины эскорта повторили его слова.

И толпа вдруг поняла. Все упали на колени, и со всех сторон грянуло древнее приветствие. Сети поднял руку и благословил их. В этот момент я заметил, что Ки скользнул в темноту, и шепнул несколько слов стражникам, которые тут же бросились ему вслед и привели его обратно.

Между тем принц заговорил:

— Вы называете меня фараоном, люди Мемфиса, и боюсь, что сегодня я действительно фараон по праву кровного родства. Не знаю, соглашусь ли я нести и дальше бремя правления, если Кемет об этом попросит. Но тот, кто носил двойную корону, погиб на дне моря: по крайней мере, я видел, как волны сомкнулись над ним и его армией. Поэтому, хотя бы на час, я должен быть фараоном, чтобы властью фараона решить некоторые дела. Госпожа Мерапи, скажи, прошу тебя, как все это произошло?

— Господин мой, — ответила она тихим голосом в наступившем молчании, — после того как ты уехал, чтобы предупредить армию фараона о моем сне, Ки, который ушел в тот же день, снова вернулся. С помощью служанки, которую он, я думаю, заговорил, он проник в мои покои, где я сидела одна, и предъявил мне свои условия.

«Открой мне, — сказал он, — секрет твоей магии, чтобы я мог отомстить виновникам моего падения — израильским пророкам и вообще всем израильтянам и другим моим врагам, и таким образом снова стать самым большим человеком в Египте. За это я исполню все твои желания и сделаю тебя, именно тебя, царицей Египта, и до конца ваших дней буду служить тебе и твоему супругу Сети, который станет фараоном. Откажешься — и я подниму против тебя весь народ, и прежде чем принц вернется, люди, которые верят, что ты злая колдунья, предадут тебя участи колдуньи».

Муж мой, я ответила Ки так же, как и раньше: что у меня нет никаких секретов, ибо я не владею искусством черной магии, а статую Амона в таниссском храме разбила не я, но та же сила, которая потом причинила Кемету тяжкие бедствия. А еще я сказала, что мне не нужны его дары, потому что я не хочу быть царицей Египта. Тогда он рассмеялся мне в лицо и сказал, что он не из тех, кого можно дразнить, как уже многие узнали на свою беду. Потом он направил на меня свою палочку и пробормотал какое-то заклинание, так что я совершенно лишилась сил и не могла ни двинуться, ни закричать еще долго после того, как он ушел. Я велела своим слугам от твоего имени схватить его и задержать до твоего возвращения, но

его нигде не могли найти.

С того часа мне стали угрожать расправой. Люди собирались тысячами у дворцовых ворот днем и ночью, крича, что убьют меня, колдунью. Я молилась о помощи, но, видимо, небо отвернулось от меня грешной, и мои молитвы оставались без ответа. Даже слуги во дворце обратились против меня и не желали смотреть мне в лицо. Все меня покинули. Я сходила с ума от страха и одиночества. Наконец однажды ночью перед рассветом я вышла на террасу и, так как никакой бог не желал меня слушать, повернулась в ту сторону, куда ты уезжал, и позвала тебя на помощь — так же, как сейчас, перед тем, как ты явился... — Тут принц взглянул на меня, а я, Ана, взглянул на него. — В ту же минуту из-за кустов вышел какой-то человек в широком плаще, так что я не могла разглядеть его лицо, и сказал мне: «Луна Израиля, меня прислал его высочество принц Сети, чтобы предупредить тебя: твоя жизнь в опасности, как и его жизнь, и поэтому он не может сейчас приехать к тебе. Он велит тебе приехать к нему, чтобы вы вместе могли бежать из Египта в другую страну, где вы сможете спокойно переждать, пока кончатся все наши невзгоды».

«Твое лицо закрыто, — сказала я, — откуда мне знать, что именно он послал тебя ко мне с этой вестью. Дай мне знак».

Тогда он протянул ту застежку со скарабеем, которую ты дал мне далеко в стране Гошен, ту же, что ты попросил меня вернуть тебе в знак любви, когда мы с тобой обручились и ты подарил мне свое царское кольцо; этого скарабея я видела на твоей одежде, когда ты с Аной уезжал из Мемфиса...

— Я потерял его по дороге к Красному морю, — шепотом сказал мне принц, — но боялся признаться тебе, Ана, приняв это за дурной знак; ночью мне приснилось, будто явился Ки и украл его у меня.

«Этого недостаточно, — сказала я. — Эта драгоценность могла быть похищена или снята с одежды убитого принца, или получена с помощью магии».

Человек в плаще подумал немного и сказал:

«Этой ночью, меньше чем час назад, фараона и все его колесницы поглотило море. Да послужит это тебе знаком».

«Как это возможно? — ответила я. — Ведь Красное море далеко отсюда, и такая весть не дошла бы сюда за час. Уходи, лживый искуситель!»

«И все же это правда», — сказал он.

«Когда ты это докажешь, я поверю и поеду с тобой».

«Хорошо», — сказал он и ушел.

На следующий день в Мемфисе пронесся слух, что это ужасное событие действительно произошло. Слух расходился все шире и шире, и вскоре все стали клясться, что так и было на самом деле. И тогда людей охватила ярость против меня, и они бесновались вокруг дворца, как львы пустыни, рыча и требуя моей крови: как только они кидались на ворота, что-то отбрасывало их назад, как будто какой-то дух охранял дворец. Так прошло несколько дней. Но сегодняшней ночью, даже уже на рассвете, я опять стояла на террасе, и из-за деревьев опять вышел тот человек в плаще.

«Теперь ты слышала, Луна Израиля, — сказал он, — и должна поверить и уехать отсюда, хоть ты и считаешь себя здесь в безопасности, потому что дом Сети с самого начала был чудесным образом защищен от всех зол».

«Слышала и думаю, что в это можно поверить, хотя и не понимаю, как могла эта весть дойти до Мемфиса за один час. И однако повторяю тебе, незнакомец, это еще не доказательство».

Тогда он вынул из-под плаща свиток папируса и бросил его к моим ногам. Я подняла его, сломала печать и прочла написанное. Я сразу узнала почерк — это был почерк Аны, а в конце стояла твоя подпись и свиток был запечатан твоей печатью и печатью Бакенхонсу как свидетеля. Вот он, — и Мерапи вынула спрятанный на груди папирус и отдала его мне, так как опиралась на меня, чтобы не упасть.

Я развернул папирус и при свете факела прочел то, что было написано. Почерк действительно выглядел как мой, и подпись, и печати — все было в точности, как она сказала. Вот это письмо слово в слово:

«Мерапи, Луне Израиля, в моем доме в Мемфисе.

Приезжай, госпожа, Цветок Любви, ко мне, твоему супругу, куда тебя проводит надежный человек, вручивший тебе это письмо. Приезжай немедленно, ибо мне грозит большая опасность, так же как и тебе, и только вместе сможем мы ее избежать».

— Ана, что это значит? — спросил принц страшным голосом. — Если ты предал меня и ее...

— Клянусь богами, — начал я, закипев от возмущения, — человек я или подлый шакал, чтобы слышать такие обвинения, да еще из уст твоего высочества... — Я умолк, ибо в этот момент Бакенхонсу начал громко смеяться.

— Посмотрите на письмо! — проговорил он. — Посмотрите на письмо!

Мы посмотрели в недоумении — и на наших глазах строчки сперва покраснели как кровь, а потом стали бледнеть и совсем исчезли: вместо письма у меня в руках остался чистый лист папируса.

— Охо-хо! — смеялся Бакенхонсу. — Поистине, друг Ки, ты — первый среди магов, не считая тех пророков Израиля, которые привели тебя — куда они привели тебя, друг Ки?

Тогда, первый раз за все время, что я его знал, вечная улыбка исчезла с лица Ки, и оно словно превратилось в камень со вставленными в него двумя бриллиантами — его злобно сверкающими глазами.

— Продолжай, госпожа, — сказал принц.

— Я поверила письму. Я бежала с этим человеком. Он сказал, что нас ждет колесница. Мы вышли через боковую калитку.

«Где же колесница?» — спросила я.

«Мы поедem в лодке», — сказал он и повел меня вниз к реке. Когда мы пробирались через пальмовую рощу, из-за деревьев вдруг появились люди.

«Ты меня предал!» — воскликнула я.

«Нет, — ответил он, — меня самого предали».

Тогда впервые я узнала его голос — голос Лейбэна.

Нас схватили. Во главе этих людей был Ки.

«Вот она, колдунья, — сказал он, — которая, завершив свое черное дело, решила сбежать вместе со своим любовником-евреем, соучастником ее колдовских действий».

Они сорвали с него плащ и фальшивую бороду, и передо мной оказался действительно Лейбэн. Я прокляла его, глядя ему в лицо. Но он ответил только:

«Мерапи, то, что я сделал, я сделал из любви к тебе. Я хотел привести тебя обратно к нашему народу, потому что знал, что здесь тебя убьют. Этот маг в награду за некоторые сведения, которые я ему доставал, обещал отпустить тебя со мной, если мне удастся выманить тебя из дворца».

Это все, что он успел сказать. Нас притащили в тайную темницу большого храма и там нас разлучили. Целый день сегодня Ки и его жрецы мучили меня вопросами, на которые я не отвечала. К вечеру они вывели меня из темницы и привели сюда, и Лейбэна тоже. Когда люди увидели меня, они подняли страшный крик: «Колдунья! Колдунья! Еврейская колдунья!» Они прорвались через стражу, схватили меня, бросили на землю и стали избивать. Лейбэн пытался защитить меня, но его оттащили в сторону. Наконец толпу оттеснили, а потом — о муж мой, остальное ты знаешь. Все, что я рассказала, правда. Не могу больше.

Колени ее подогнулись, и она лишилась чувств. Мы отнесли ее в

колесницу.

— Ты слышал, Ки, — сказал принц. — Что скажешь в ответ?

— Ничего, о фараон, — холодно произнес он, — ибо фараоном ты стал, как я предсказывал. Фараон, мой дух покинул меня, его похитили израильские пророки. То письмо должно было исчезнуть после того, как его прочла твоя супруга, а потом я рассказал бы тебе иную историю: историю ее тайной любви, измены и бегства с любовником. Но какой-то злой бог удержал письмо на папирусе до тех пор, пока ты сам не прочел его, — ты, никогда не писавший этого письма! Я побежден. Поступай со мной как хочешь, и прощай! Любим ты будешь всегда, тебя ведь всегда любили, но счастливым в этом мире — никогда.

— О люди! — воскликнул Сети. — Я не могу быть судьей в моем собственном доме. Вы слышали все, вы и судите. Ваш приговор этому магу.

Ответом был мощный крик:

— Смерть! Смерть от огня! Смерть, какую он готовил для невинных.

Это был конец. Но потом мне рассказывали, что когда костер догорел, была обнаружена голова Ки, похожая на раскаленный камень. Однако, лишь только ее коснулись лучи солнца, она рассыпалась и исчезла, как исчезли с папируса строчки того письма. Не знаю, правда это или нет, ибо я при этом не присутствовал.

Мы привезли Мерапи во дворец. Она прожила только три дня, ибо ее телесные и духовные силы были подорваны. Последний раз я видел ее, когда она послала за мной за час до смерти. Она лежала в объятиях Сети, шепча ему что-то об их ребенке, и выглядела особенно прелестной и счастливой. Она поблагодарила меня за дружбу и улыбнулась так, что я понял: она знала, что мои чувства к ней были больше, чем просто дружбой, и попросила заботиться о моем друге и повелителе, пока мы все не встретимся снова где-то в ином мире. Потом она протянула мне руку, я поцеловал ее и ушел, плача.

После того как она умерла, странная фантазия овладела Сети. В большом зале дворца он приказал воздвигнуть золотой трон и на этот трон он посадил ее во всем царском облачении, с нагрудными украшениями и жемчужным ожерельем; корона царицы Египта венчала ее голову. И в таком виде он представил ее знатым и государственным людям. Потом он велел набальзамировать ее и похоронить в гробнице, местонахождение которой я дал клятву никогда не разглашать; погребение состоялось без традиционных обрядов, потому что она исповедовала другую веру. Там она и спит в своем вечном доме, пока не настанет день Воскресения, и с нею спит ее маленький сын.

После этих похорон еще до появления новой луны все великие люди страны Кемет собрались в Мемфисе, чтобы провозгласить принца фараоном, а вместе с ними явилась и ее высочество принцесса Таусерт. Я присутствовал на церемонии, и странное чувство не покидало меня. Я снова видел визиря Нехези, я видел верховного жреца Рои и с ним многих других жрецов, здесь был даже старый Памбаса, с длинной белой бородой, которой он очень гордился, ибо она была не искусственной, — такой же напыщенный и пресмыкающийся, как и прежде, хотя он покинул дом принца, когда тот был лишен прав наследства, и стал служить Аменмесу. Его появление с официальным жезлом в руке заставило Сети засмеяться — единственный раз в течение многих недель.

— Так ты опять здесь, камергер Памбаса, — сказал он.

— О священнейший, о царственный повелитель, — ответил старый мошенник, — разве Памбаса, ничтожная песчинка у тебя под ногами, когда-нибудь покидал дом фараона, или того, кто будет фараоном?

— Нет, — сказал Сети, — ты ведь оставляешь только того, кто, как ты думаешь, не будет фараоном. Ну, хорошо, приступай к своим обязанностям, плут, может быть, в душе ты такой же честный, как и все остальные.

Начался величественный и древний ритуал Подношения Короны, когда говорили жрецы, переодетые в богов, и другие жрецы, изображавшие могущественных фараонов прошлого, а также знатные люди и правители других городов. Когда церемония закончилась, Сети ответил:

— Я принимаю это наследство — не потому, что я желаю им обладать, но потому, что это мое наследие и я знаю, пока я жив, я должен выполнять свой долг, в чем и дал клятву тому, кого уже нет в живых. Удар за ударом поражали Египет — чего, я думаю, никогда бы не случилось, если бы прислушались к моему голосу. Теперь Кемет истекает кровью и почти мертв. Да будет вашим и моим делом постараться вылечить и вернуть его к жизни. То недолгое время, что я буду с вами — ибо и на меня обрушились несчастья, неважно какие, — я, хотя и царствую, буду вашим слугой и слугой Кемета. Я отменяю всякие пиры и торжества в честь моего вступления на престол, но все богатства, которые пошли на их устройство, будут розданы вдовам и детям тех, кто погиб в Красном море. Теперь идите!

Все разошлись притихшие, но счастливые, поскольку на трон вступил фараон, который знал нужды Египта, любил его и был единственным, кто проявил мудрость и мужество в ту пору, когда другими овладело безумие. Потом явилась ее высочество в великолепном наряде, увенчанная короной и сопровождаемая своими приближенными, и склонилась перед троном.

— Привет фараону! — воскликнула она.

— Привет царственной принцессе Египта, — ответил он.

— О нет, фараон, — царице Египта!

Рядом с тронем Сети стоял другой, тот, на который он тогда посадил мертвую Мерапи, увенчанную царской короной. Сети повернулся и некоторое время смотрел на него. Потом он сказал:

— Я вижу, это кресло свободно. Пусть царица займет его, если пожелает.

Она уставилась на него, как на сумасшедшего, хотя несомненно слышала кое-что о связанной с этим тронем истории, потом гордо поднялась по ступеням и села в царское кресло.

— Твое величество долго отсутствовало, — сказал Сети.

— Да, — ответила она, — но как мое величество обещало, оно вернулось на свое законное место рядом с фараоном — и никогда больше его не покинет.

— Фараон благодарит ее величество, — сказал Сети и низко поклонился.

\* \* \*

Прошло лет шесть. Однажды поздним вечером я сидел с фараоном Сети Мернептахом в его дворце в Мемфисе, где он всегда предпочитал жить, когда позволяли государственные дела.

Это было как раз в годовщину смерти их первенца, и об этом ему хотелось со мной говорить. Он ходил взад и вперед по комнате, и наблюдая за ним в лучах светильника, я заметил, что он вдруг стал как будто намного старше, а лицо его — еще милее и добрее, чем прежде. Он также заметно похудел, и в глазах его появилось такое выражение, какое бывает у человека, созерцающего далекие пространства.

— Ты, конечно, помнишь ту ночь, друг? — сказал он. — Может быть, самую ужасную ночь, какую когда-либо видел мир, по крайней мере в его малой частице, называемой Кеметом. — Он помолчал, приподнял полог над входом и указал на портик снаружи. — Вон там стоял ты, а там лежал мальчик, а рядом сидела его няня — между прочим, я с огорчением узнал, что она больна. Ты ведь присматриваешь за ней, да, Ана? Скажи ей, что фараон навестит ее, когда сможет.



— Я все помню, фараон.

— Да, конечно, как не помнить, ведь ты любил ее и мальчика тоже, и даже меня — его отца. И будешь по-прежнему любить нас, когда мы достигнем той страны, где забывается плотская жизнь со всеми ее запретами и страстями и остается только одна любовь — и мы тоже будем всегда любить тебя.

— Да, — ответил я, — поскольку любовь — ключ к жизни, и только над теми, кто никогда не научился любить, тяготеет проклятие.

— Почему же проклятие, Ана, ведь, если жизнь продолжается, они еще могут научиться любить. — Он замолчал и после недолгой паузы заговорил снова: — Я рад, что он умер, Ана, хотя, если бы он был жив, он стал бы фараоном после меня, поскольку у царицы никогда не будет детей. Но что значит — быть фараоном? Вот уже шесть лет я царствую и, кажется, меня любят. Царствую над растерзанной страной, которую стараюсь связать воедино, над больной страной, которую стараюсь вылечить, над опустевшей землей, которую стараюсь заставить забыть. О! Проклятие этих израильтян хорошо сработало. И я думаю, в этом моя вина, Ана. Если бы я был настоящим мужчиной, то вместо того, чтобы сбросить с себя бремя ответственности, я должен был восстать против моего отца Мернептаха и его политики, и если нужно — поднять народ. Тогда бы израильтяне свободно ушли и никакие бедствия не постигли бы Кемет. Впрочем, возможно, я сделал то, что должен был сделать, и что случилось, то случилось. А теперь мое время подходит к концу, и я уйду отсюда, чтобы уравнять свой счет, насколько смогу, моля о том, чтобы нашлись понимающие и великодушные судьи.

— Почему фараон так говорит? — спросил я.

— Не знаю, Ана, но в последнее время моя жена Мерапи почему-то не выходит у меня из головы. Она была по-своему мудрой, такой же мудрой, как и любящей, не правда ли, и если бы мы ее снова сейчас увидели, может быть, она бы ответила на твой вопрос. Но хотя мне кажется, что она совсем рядом, я никак не могу ее увидеть. А ты можешь, Ана?

— Нет, фараон. Правда, однажды вечером старый Бакенхонсу поклялся, что видел, как она прошла мимо нас и, проходя, пристально посмотрела на меня.

— А, Бакенхонсу! Ну, он тоже мудрый и любил ее на свой лад. К тому же плоть все больше с него сходит — хотя, возможно, он еще успеет возложить свои приношения в наших с тобой гробницах. Впрочем, Бакенхонсу теперь в Танисе — или в Фивах — у ее величества, за которой он любит наблюдать, как и я. Так что он ничего не может рассказать нам о

своих видениях. В этой комнате очень жарко, Ана. Давай выйдем.

Мы откинули полог и остановились между колоннами портика, глядя в сад, таинственно сумеречный в лунном свете, и разговаривая о том о сем, кажется об израильтянах, которые, как мы слышали, в это время странствовали в пустынях Синая. Потом мы вдруг замолчали — и он, и я.

Туча наплыла на лицо луны, погрузив мир во тьму. Она ушла, и я вдруг почувствовал, что мы уже не одни. Перед нами лежал коврик, а на коврике — мертвое дитя, царственное дитя по имени Сети; возле коврика стояла женщина и смотрела на ребенка глазами, полными муки, — еврейская женщина, прозванная Луной Израиля.

Сети коснулся моей руки и указал на женщину, а я указал на ребенка. Мы стояли, затаив дыхание. Потом, внезапно нагнувшись, Мерапи подняла ребенка и протянула его отцу. Но — о чудо! — он уже не был мертвым: нет, он заливался смехом и, увидев отца, обнял, как мне показалось, его за шею и поцеловал в губы. Более того, мука в глазах женщины вдруг сменилась неизъяснимой радостью, и она стала прекраснее, чем звезда. Потом, смеясь так же, как и ребенок, Мерапи повернулась к Сети, поманила его и исчезла.

— Мы увидели мертвых, — сказал он мне, прервав молчание, — и, о Ана, мертвые продолжают жить!

В ту же ночь, еще не рассвело, во дворце раздался крик, пробудивший меня ото сна. Повторяясь, он звучал под сводами: «Славного бога фараона больше нет! Ястреб Сети улетел на небо!»

Во время погребения фараона я положил обе половинки чаши ему на грудь, чтобы он мог отпить из нее, когда настанет день Воскресения.

\* \* \*

Здесь кончается рассказ писца Аны, советника и друга царя, им любимого.



# Клеопатра

Повесть

о крушении надежд

и мести потомка

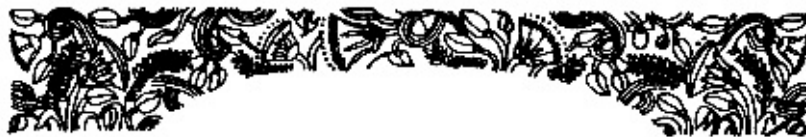
египетских фараонов,

написанная

его собственной

рукой





# КЛЕОПАТРА

## От автора

Многие историки, изучающие этот период античности, считают гибель Антония и Клеопатры одним из самых загадочных среди трагических эпизодов прошлого. Какие злые силы, чья тайная ненависть постоянно отравляли их благоденствие и ослепляли разум? Почему Клеопатра бежала во время битвы при мысе Акциум и почему Антоний кинулся за ней, бросив свой флот и войско, которое Октавиан разбил и уничтожил? Сколько вопросов, сколько загадок, — кто знает, быть может, в этом романе мне удалось хоть часть их разгадать.

Однако я прошу читателя не забывать, что повествование ведется не устами нашего с вами современника, а как бы от лица древнего египтянина, потомка фараонов, который пламенно любил свою отчизну и пережил крушение всех своих надежд; не простодушного невежды, который наивно обожествлял животных, но образованнейшего жреца, посвященного в сокровенные глубины тайных знаний, свято верившего, что боги Кемета воистину существуют, что человек может вступать с ними в общение, и что мы живем вечно, переходя в загробное царство, где нас осуждают за содеянное зло или оправдывают, если мы его не совершали; ученым, для которого туманная и порой примитивная символика, связанная с культом Осириса, была всего лишь пеленой, специально сотканной, чтобы скрыть тайны Священной Сущности. Мы не знаем, какую долю истины постигали в своих духовных исканиях жаждующие ее, — быть может, истина и вовсе не давалась им, но о стремящихся к ней, как стремился царевич Гармахис, рассказывается в истории всех крупных религий, и, как свидетельствуют священные тексты на стенах древних гробниц, дворцов и храмов, их было немало и среди тех, кто поклонялся египетским богам, в особенности Исиде.

Как ни досадно, но чтобы написать роман о той эпохе, пришлось хотя бы бегло набросать фон происходящих в нем событий, ибо лишь с его помощью оживет перед глазами читателя давно умершее прошлое, явится во всем блеске, прорвавшись сквозь мрак тысячелетий, и даст ему возможность прикоснуться к забытым тайнам. Тем же, кого не интересуют верования, символы и обряды религии Древнего Египта, этой праматери

многих современных религий и европейской цивилизации, а увлекает лишь сюжет, я в должным пониманием рекомендую воспользоваться испытанным приемом — пропустить первую часть романа и начать сразу со второй.

Что касается смерти Клеопатры, мне кажется наиболее убедительной та версия, согласно которой она принимает яд. Плутарх пишет, что не сохранилось достоверных сведений о том, каким именно способом она лишила себя жизни, хотя молва приписывала ее смерть укусу гадюки. Но ведь она, насколько нам известно, покинула этот мир, доверившись искусству своего врача Олимпия, этой таинственнейшей личности, а чтобы врач избрал столь экзотическое и ненадежное средство для человека, который решил умереть, — нет, это более чем сомнительно.

Вероятно, следует упомянуть, что даже во времена царствования Птолемея Эпифана на египетский трон посягали потомки египетских фараонов, одного из которых звали Гармахис. Более того, у многих жрецов имелась книга пророчеств, где утверждалось, что после владычества греков бог Харсефи сотворит «царя, который придет и будет править». Поэтому вы, надеюсь, согласитесь, что описанная мною повесть о великом заговоре, участники которого хотели уничтожить династию Македонских Лагидов и посадить на трон Гармахиса, не так уж невероятна, хотя исторических подтверждений у нее нет. Зато есть все основания предполагать, что за долгие века, пока Египет угнетали чужеземные властители, его патриоты не раз составляли такие заговоры. Но история древнего мира рассказывает нам очень мало о борьбе и поражениях поработанного народа.

Песнопения Исиды и песнь Клеопатры, которые вы встретите на страницах этого романа, автор записал прозой, а стихами переложил мистер Эндрю Ланг, он же перевел с греческого плач по умершим сирийца Мелеагра, который поет Хармиана.



## Вступление

Недавно в одной из расщелин голого скалистого плато в Ливийской пустыне, за абидосским храмом, где, по преданию, похоронен бог Осирис, была обнаружена гробница, и среди прочей утвари в ней оказались свитки папируса, на которых изложены эти события. Гробница огромная, но больше ничего примечательного в ней нет, если не считать глубокой вертикальной шахты, которая ведет из вырубленной в толще скалы молельни для родственников и друзей усопших в погребальную камеру. Глубина этой шахты футов девяносто, не меньше. Внизу, в погребальной камере, было найдено всего три саркофага, хотя там могло бы поместиться еще несколько. Два из этих саркофагов, в которых, вероятно, покоились останки верховного жреца Аменемхета и его жены — отца и матери героя этого повествования, Гармахиса, — мародеры-арабы, нашедшие гробницу, взломали.

Они не только взломали саркофаги — варвары растерзали и сами мумии. Руки этих осквернителей праха разорвали на части земную оболочку божественного Амснемхета и той, чьими устами, как свидетельствуют надписи на стенах, вещала богиня Хатхор, — разобрали по костям скелеты, ища сокровища, быть может спрятанные в них, — и, кто знает, наверно, даже продали эти кости, по распространенному у них обычаю, за несколько пиастров какому-нибудь дикарю-туристу, который обязательно должен чем-нибудь поживиться, пусть даже ради этого совершится святотатство. Ведь в Египте несчастные живые находят себе пропитание, разоряя гробницы великих, живших прежде них.

Так случилось, что немного времени спустя в Абидос приплыл один из добрых друзей автора, врач по профессии, и встретил там арабов, ограбивших гробницу. Они открыли ему по секрету, где она находится, и рассказали, что один саркофаг так и стоит нераспечатанным. Судя по всему, в нем похоронен какой-то бедняк, объяснили они, вот они ни не стали вскрывать гроб, тем более что и времени было в обрез. Мой друг загорелся желанием осмотреть внутренние помещения усыпальницы, в которую еще не хлынули праздные бездельники туристы, он дал арабам денег, и они согласились провести его туда. Что было дальше, расскажет он сам, в своем письме ко мне, которое я привожу слово в слово:

Ту ночь мы провели возле храма Сети и еще до рассвета тронулись в

путь. Меня сопровождал косоглазый разбойник по имени Али — я прозвал его Али-Баба (это у него я купил перстень, который посылаю Вам) — и несколько его коллег-воров, — весьма избранное общество. Примерно через час после того, как поднялось солнце, мы достигли долины, где находится гробница. Это пустынное, заброшенное место, здесь целый день палит безжалостное солнце, раскаляя разбросанные по долине огромные рыжие скалы, так что до них невозможно дотронуться, а песок так просто обжигает ноги. Идти по такой жаре стало невозможно, поэтому мы сели на ослов и двинулись дальше верхом по пустыне, где единственным живым существом кроме нас был стервятник, парящий высоко в синеве.

Наконец мы приблизились к гигантскому утесу, стены которого тысячелетие за тысячелетием раскаляло солнце и шлифовало песок. Здесь Али остановился и объявил, что гробница находится под утесом. Мы спешили и, поручив ослов попечению паренька-феллаха, подошли к подножию утеса. У самого его основания чернела небольшая нора, в которую человек мог лишь с трудом протиснуться, да и то ползком. Оно и неудивительно — лаз прорыли шакалы, потому что не только вход в гробницу, но и значительная часть вырубленного в скале помещения были занесены песком, и этот-то шакалий лаз и помог арабам обнаружить усыпальницу. Али опустился на четвереньки и вполз в нору, я за ним и вскоре оказался в помещении, где после путешествия в удушающей жаре под слепящим солнцем было темно хоть глаз выколи и холодно. Мы зажгли свечи, и, дожидаясь, пока внутрь вползет все изысканное общество грабителей могил, я стал осматривать подземелье. Оно было просторное и напоминало зал, вырубленный внутри скалы, причем в дальнем его конце почти не было песка. На стенах — рисунки, изображающие культовые церемонии и явно относящиеся к временам Птолемеев, среди действующих лиц сразу привлекает к себе внимание величественный старец с длинной седой бородой, он сидит в резном кресле, сжимая в руке жезл. Перед ним проходит процессия жрецов со священными предметами. В правом дальнем углу зала шахта, ведущая в погребальную камеру, — квадратный колодец, пробитый в черной базальтовой скале. Мы привезли с собой крепкое бревно и теперь положили его поперек устья колодца и привязали к нему веревку. После чего Али — он хоть и мошенник, но смелости ему не занимать, нужно отдать ему должное, — сунул в карман на груди несколько свечей, взялся за веревку и, упираясь босыми ногами в гладкую стенку колодца, стал с удивительной скоростью спускаться вниз. Несколько мгновений — и он канул в черноту, только веревка подрагивала, удостоверяя, что он благополучно движется. Наконец веревка перестала



дергаться, и из глубины шахты до нас еле слышным всплеском долетел голос Али, возвестившего, что все в порядке, он спустился. Потом далеко внизу засветилась крошечная звездочка. Это он зажег свечу, и свет вспугнул сотни летучих мышей, они взметнулись вверх и нескончаемой стаей понеслись мимо нас, бесшумные, как духи. Веревку вытянули наверх, настал мой черед, но я не рискнул спускаться по ней на руках, я обвязал конец веревки вокруг пояса, и меня начали медленно погружать в священные глубины. Надо признаться, чувствовал я себя во время путешествия не слишком приятно, ибо жизнь моя была в буквальном смысле в руках грабителей, оставшихся наверху: одно их неверное движение — и от меня костей не соберешь. К тому же в лицо мне то и дело тыкались летучие мыши, вцеплялись в волосы, а я летучих мышей терпеть не могу. Я вздрагивал и дергался, но через несколько минут ноги мои все-таки коснулись пола, и я оказался в узком проходе рядом с героическим Али, мокрый от пота, сплошь облепленный летучими мышами, с ободранными коленками и руками. Потом к нам ловко, как матрос, спустился по веревке еще один из наших спутников; остальные, как мы условились, должны были ждать наверху.

Теперь можно было трогаться в путь. Али со свечой — конечно, у всех у нас были свечи — повел нас по длинному, высотой футов пять, проходу. Но вот проход расширился, и мы вступили в погребальную камеру — жара здесь была как в преисподней, нас обняла глухая, зловещая тишина, я в жизни ничего подобного не испытывал. Дышать было нечем. Камера представляет собой квадратную комнату, вырубленную в скале, без росписей, без рельефов, без единой статуи.

Я поднял свечу и стал рассматривать комнату. На полу валялись крышки гробов, взломанных арабами, и то, что осталось от двух растерзанных мумий. Рисунки на этих крышках саркофагов были удивительной красоты, мне это сразу бросилось в глаза, но я не знаю иероглифов и потому не смог прочесть надписей. Вокруг останков мужчины и женщины — я догадался, что это именно мужчина и женщина, — были разбросаны бусины и пропитанные благовонными маслами полосы полотняных пелен, в которые когда-то завернули мумии. Голова мужчины была оторвана от туловища. Я поднял ее и стал рассматривать. Лицо было тщательно выбрито — насколько я могу судить, его брили уже после смерти, — золотая маска изуродовала черты, плоть ссохлась, и все равно лицо поражало величественной красотой. Это было лицо старика с таким спокойным и торжественным выражением смерти, вселяющее такой благоговейный ужас, что мне стало не по себе, хотя, как Вы знаете, я давно

привык к покойникам, и я поспешил положить голову на пол. С головы другой мумии бинты сорвали не полностью, но я не стал ее освобождать от обрывков, мне и без того было ясно, что когда-то это была статная красивая женщина.

— А вот третий мумия, — сказал Али, указывая на большой массивный саркофаг в углу, который, казалось, туда просто бросили, потому что он лежал на боку.

Я подошел к саркофагу и стал его рассматривать. Сделан он был добротно, но из простого кедра, и ни единой подписи на нем, ни одного изображения божества.

— Никогда такой не видал, — заметил Али. — Скорей, скорей хоронить. Нет мафиш, нет финиш. Барасать сюда и оставлять на бок.

Я глядел на простой, без украшений саркофаг и чувствовал, как во мне разгорается неудержимый интерес. Меня так потряс вид поруганных останков, что я решил не трогать третий гроб, но сейчас желание узнать, что тут произошло, взяло верх, и мы принялись за дело.

Али прихватил с собой молоток и долото и, поставив саркофаг как положено, принялся вскрывать его с ловкостью опытного грабителя древних гробниц. Через несколько минут он обратил мое внимание на еще одну неожиданную особенность. Обычно в крышке саркофага делают четыре деревянных шипа, по два с каждой стороны: когда крышку опускают, они входят в специальные отверстия, высверленные в нижней части, и там их закрепляют намертво шпёнками из дерева твердых пород. Но у этого саркофага было восемь таких шипов. Видимо, кто-то решил, что этот саркофаг надо запереть особенно надежно.

Наконец мы с великим трудом сняли массивную крышку, толщиной не меньше трех дюймов, и увидели мумию, залитую чуть не до половины благовонными маслами, — довольно странная деталь.

Али уставился на мумию, выпучив глаза, да и неудивительно. Я тоже в жизни не видел ничего подобного. Обычно мумии покоятся на спине, прямые и вытянутые, точно деревянные скульптуры, а эта лежала на боку, и, несмотря на пелены, в которые она была завернута, ее колени были слегка согнуты. Но это еще не все: золотая маска, которую, по обычаю тех времен, положили на ее лицо, была сброшена и буквально придавлена традиционным головным убором.

Сам собой напрашивался неумолимый вывод: лежащая перед нами мумия отчаянно билась в саркофаге *после того, как ее туда положили*.

— Чуданой мумуия. Когда покойника хоронили, он был живой, — сказал Али.

— Что за чепуха! — возразил я. — Как это мумия может быть живой?

Мы извлекли тело из саркофага, чуть не задохнувшись от поднявшейся тысячелетней пыли, и увидели какой-то предмет, наполовину залитый благовониями, — нашу первую находку. Это оказался свиток папируса, небрежно свернутый и обмотанный полотняным бинтом, в какие была запеленута мумия, — судя по всему, свиток сунули в саркофаг в последнюю минуту пред тем, как закрыть его крышкой.

При виде папируса глаза Али алчно сверкнули, но я схватил его и положил в карман, потому что мы заранее договорили: все, что мы найдем в гробнице, принадлежит мне. Потом мы принялись распеленывать мумию. Бинты обматывали ее толстым слоем, — необычно широкие полосы прочного грубого полотна, кое-как сшитые одна с другой, иногда даже просто связанные узлом, и складывалось впечатление, что трудились над мумией в страшной спешке и с большим напряжением сил.

Над лицом выступал высокий бугор. Но вот мы освободили голову от бинтов и увидели второй свиток папируса. Я хотел взять его, но не тут-то было. Видимо, папирус приклеился к плотному, без единого шва савану, в который покойного сунули с головой, точно в мешок, и под ногами завязали, как крестьяне завязывают мешки. Саван этот, тоже густо пропитанный благовонными маслами, по сути и был мешок, только сотканный в виде платья. Я поднес свечу поближе к папирусу и понял, почему он не отстает от савана. Благовонные масла загустели и намертво схватили свиток.

Вынуть его из гроба было невозможно, пришлось оторвать наружные листы.

Наконец мне удалось извлечь свиток, и я положил его в карман, туда же, где был первый.

Мы молча продолжали нашу зловещую работу. С великой осторожностью разрезали саван-мешок, и нам открылась мумия лежащего в саркофаге мужчины. Между его коленями был зажат третий свиток исписанных листов папируса. Я схватил его и спрятал, потом осветил свечой мумию и стал внимательно рассматривать. Любой врач с одного взгляда определил бы, какой смертью умер этот человек.

Мумия не слишком ссохлась. Ее, без сомнения, не выдерживали положенные семьдесят дней в соляном растворе, и потому лицо изменилось не так сильно, как у других мумий, даже выражение сохранилось. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь одно: не приведи Бог еще когда-нибудь увидеть ту муку, которая застыла в чертах покойного. Даже арабы в ужасе отшатнулись и забормотали молитвы.

И еще деталь: разреза на левой стороне живота, через который бальзамировщики вынимают внутренности, не было; лицо тонкое, породистое, вовсе не старое, хотя волосы седые; сложение могучее, плечи необычайно широкие, — видимо, человек этот обладал огромной физической силой. Но рассмотреть его как следует мне не удалось, потому что под действием воздуха ненабальзамированный труп, с которого сняли погребальные пелены, начал на глазах обращаться в прах, и через несколько минут от него остался лишь череп, похожие на паклю волосы да несколько самых крупных костей скелета. Я заметил, что на берцовой кости — не помню, правой или левой ноги — был перелом, очень неудачно вправленный. Эта нога была короче другой, наверное, на целый дюйм.

Больше ни на какие находки надеяться не приходилось, я немного успокоился и тут только почувствовал, что едва жив от усталости после пережитого волнения и вот-вот задохнусь в этой жаре от запаха рассыпавшейся в прах мумии и благовоний.

Мне трудно писать, корабль наш качает. Письмо это я, конечно, pošлю почтой, а сам поплыву морем, однако я надеюсь прибыть в Лондон не позже чем через десять дней после того, как Вы его получите. Когда мы встретимся, я расскажу Вам о восхитительных ощущениях, которые я испытал, поднимаясь из погребальной камеры по шахте, о том, как этот мошенник из мошенников Али-Баба и его доблестные помощники пытались отнять у меня свитки и как я их перехитрил.

Папирусы, конечно, мы отдадим расшифровать. Вряд ли в них содержится что-то интересное, наверняка очередной вариант «Книги мертвых», но чем черт не шутит. Как Вы догадываетесь, в Египте я не стал распространяться об этой моей небольшой экспедиции, дабы не привлекать к своей особе интереса сотрудников Булакского музея. До свидания, мафиш-финиш, — это любимое словечко моего доблестного Али-Бабы.

В скором времени после того, как я получил это письмо, его автор сам прибыл в Лондон, и на следующий же день мы с ним нанесли визит нашему другу, известному египтологу, который хорошо знал и иероглифическое, и демотическое письмо. Можете себе представить, с каким волнением мы наблюдали, как он искусно увлажняет и разворачивает листы папируса и потом вглядывается и загадочные письма сквозь очки в золотой оправе.

— Хм, — наконец произнес он, — что это — пока не знаю, во всяком случае, не «Книга мертвых». Подождите, подождите! Кле... Клео... Клеопатра... Господа, господа, клянусь жизнью, здесь рассказывается о

человеке, который жил во времена Клеопатры, той самой роковой вершительнице судеб, потому что рядом с ее именем я вижу имя Антония, вот оно! О, да тут работы на целые полгода, может быть, даже больше! — Эта заманчивая перспектива так вдохновила его, что он забыл обо всем на свете и, как мальчишка, принялся радостно скакать по комнате, то и дело пожимал нам руки и твердил: — Я расшифрую папирус, непременно расшифрую, буду трудиться день и ночь! И мы опубликуем повесть, и клянусь бессмертным Осирисом: все египтологи Европы умрут от зависти! Какая благословенная находка! Какой дивный подарок судьбы!

И так оно все и случилось, о вы, чьи глаза читают эти строки: наш друг расшифровал папирусы, перевод напечатали, и вот он лежит перед вами — неведомая страна, зовущая вас совершить по ней путешествие!

Гармахис обращается к вам из своей забытой всеми гробницы. Воздвигнутые временем стены рушатся, и перед вами возникают, сверкая яркими красками, картины жизни далекого прошлого в темной раме тысячелетий.

Он показывает вам два разных Египта, на которые еще в далекой древности взирали безмолвные пирамиды, — Египет, который покорился грекам и римлянам и позволил сесть на свой трон Птолемеям, и тот, другой Египет, который пережил свою славу, но свято продолжал хранить верность традициям седой древности и посвящать верховных жрецов в сокровенные тайны магических знаний, Египет, окутанный загадочными легендами и все еще помнящий свое былое величие.

Он рассказывает нам, каким жарким пламенем вспыхнула в этом Египте, прежде чем навсегда погаснуть, тлеющая под спудом любовь к стране Кемет и как отчаянно старая, освященная самим Временем, вера предков боролась против неотвратимо наступавших перемен, которые несла новая эпоха, накатившая на страну, точно воды разлившегося Нила, и погребла в своей пучине древних богов Египта.

Здесь, на этих страницах, вам поведают о всемогуществе Исиды — богини многих обликов, исполнительнице повелений Непостижимого. Пред вами явится и Клеопатра — эта «душа страсти и пламени», женщина, чья всепобеждающая красота создала и рушила царства. Вы прочтете здесь, как дух Хармианы погиб от меча, который выковала ее жажда мести. Здесь обреченный смерти царевич Гармахис приветствует вас в последние мгновенья своей жизни и зовет проследовать за ним путем, который прошел он сам. В событиях его так рано оборвавшейся жизни, в его судьбе вы, может быть, увидите что-то общее со своей. Взывая к нам из глубины

мрачного Аменти, где его душа по сей день искупает великие земные преступления, он убеждает нас, что постигшая его участь ожидает всякого, кто искренне пытался устоять, но пал и предал своих богов, свою честь и свою отчизну.



# **КНИГА ПЕРВАЯ**

## **ИСКУС ГАРМАХИСА**

### **Глава I , повествующая о рождении Гармахиса; о пророчестве Хатхор; и об убийстве сына кормилицы, которого солдаты приняли за царевича**

Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе, все, о чем я здесь рассказываю, — святая правда.

Я, Гармахис, по праву рождения верховный жрец храма, который возвиг божественный Сети — фараон Египта, воссоединившийся после смерти с Осирисом и ставший правителем Аменти; я, Гармахис, потомок божественных фараонов, единственный законный владыка Двойной Короны и царь Верхнего и Нижнего Египта; я, Гармахис, изменник, растоптавший едва распустившийся цветок нашей надежды, безумец, отринувший величие и славу, забывший глас богини и с трепетом внимавший голосу земной женщины; я, Гармахис, преступник, павший на самое дно, перенесший столько страданий, что душа моя высохла, как колодец в пустыне, навлекший на себя величайший позор, предатель, которого предали, властитель, который отказался от могущества и тем самым навеки лишил могущества свою родину; я, Гармахис, узник, приговоренный к смерти, — я пишу эту повесть и клянусь тем, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что каждое слово этой повести — правда.

О мой Египет! О дорогая сердцу страна Кемет, чья черная земля так щедро питала своими плодами мою смертную оболочку, — я тебя предал! О Осирис! Исида! Гор! Вы, боги Египта, и вас всех я предал! О храмы, пилоны которых возносятся к небесам, хранители веры, которую я тоже предал! О царственная кровь древних фараонов, которая течет в этих иссохших жилах, — я оказался недостойным тебя! О непостижимая

сущность пронизывающего мироздание блага! О судьба, поручившая мне решить, каким будет ход истории! Я призываю вас в извечные свидетели: вы подтвердите, что все, написанное мною, — правда.

Подняв взгляд от своего папируса, я вижу в окно зеленые поля, за ними Нил катит свои воды, красные, как кровь. Солнце ярко освещает далекие скалы Аравийской пустыни, заливая светом дома и улицы Абидоса. В его храмах, где меня предали проклятью, жрецы по-прежнему возносят моления, совершают жертвенные приношения, к гулким сводам каменных потолков летят голоса молящихся. Из моей одинокой камеры в башне, куда я заточен, я, чье имя стало олицетворением позора, смотрю на твои яркие флаги, о Абидос, — как весело они полощутся на пилонах у входа в храмовый двор, я слышу песнопения процессии, которая обходит одно святилище за другим.

Абидос, обреченный Абидос, мое сердце разрывается от любви к тебе и от горя! Ибо скоро, скоро твои молельни и часовни погребут пески пустыни. Твои боги будут преданы забвению, о Абидос! Здесь воцарится иная вера, и все твои святые будут поруганы, на стенах твоей крепости будут перекликаться центурионы. Я плачу, плачу кровавыми слезами: ведь это я совершил преступление, которое обрушит на тебя все эти беды, и мой позор во веки веков неискупим. Читайте же, что я совершил.

Я родился здесь, в Абидосе, — я, пишущий эти строки Гармахис. Отец мой, соединившийся ныне с Осирисом, был верховный жрец храма Сети. В тот самый день когда я родился, родилась и царица Египта Клеопатра. Детство я провел среди этих полей, смотрел, как трудятся на них простые люди — земледельцы, бродил, когда мне вздумается, по огромным дворам храма. Мать свою я не помню, она умерла, когда я еще был младенцем. Но наша старая служанка Атуа рассказывала мне, что, перед тем как умереть — а было это во времена правления царя Птолемея Авлета, и это прозвище означает «флейтист», — она взяла из шкатулки слоновой кости золотого урея, — символ власти египетских фараонов, и возложила его мне на лоб. И все, кто это видел, решили, что она впала в транс и повинуется воле богов и этот ее пророческий жест означает, что скоро наступит конец царствованию Македонских Лагидов и скипетр фараонов вернется к истинным, законным правителям Египта.

В это время домой вернулся мой отец, верховный жрец Аменемхет, чьим единственным ребенком я был, ибо ту, которая была его женой, чудовище Секхет, не знаю за какое злое деяние, долгие годы карало



бесплодием, — так вот, когда пришел отец и увидел, что сделала умирающая, он воздел руки к небу и возблагодарил Непостижимого за то знамение, которое он ему явил. И пока он молился, богиня Хатхор вдохнула силы в умирающую, так что та поднялась со своего ложа и трижды простерлась перед колыбелью, в которой я спал с золотым уреем на лбу, и стала вещать устами моей матери:

— Славься в веках, плод моего лона! Славься в веках, царственный младенец! Славься в веках, будущий фараон Египта! Хвала и слава тебе, бог, который освободит нашу страну от чужеземцев, слава тебе, божественное семя Нектанеба, потомок вечноживущей Исиды! Храни чистоту души, и ты будешь править Египтом, ты восстановишь истинную веру, и ничто тебя не сломит. Но если ты не выдержишь посланных тебе испытаний, то да падет на тебя проклятье всех богов Египта и всех твоих венценосных предков, кто правил страной со времен Гора и сейчас вкушает покой в Аменти, на полях Иалу. Да будет тогда жизнь твоя адом, а когда ты умрешь и предстанешь перед судом Осириса, пусть он и все сорок два судьи Аменти признают тебя виновным и Сет и Секхет терзают тебя до тех пор, пока ты не искупишь своего преступления и в храмах Египта вновь не воцарятся наши истинные боги, хотя их имена будут произносить наши далекие потомки; пока жезл власти не будет вырван из рук самозванцев и сломлен и все до единого угнетатели не будут изгнаны навек из нашей земли — пока кто-то другой не совершит этот великий подвиг, ибо ты в своей слабости оказался недостойным его.

Лишь только мать произнесла эти слова, пророческое вдохновение тотчас же оставило ее, и она рухнула мертвая на колыбель, в которой я спал. Я проснулся и заплакал.

Отец мой, верховный жрец Аменемхет, задрожал, объятый ужасом, — его потрясло прорицание Хатхор, которое она вложила в уста моей матери, к тому же в слова этих содержался призыв к преступлению против Птолемеев — к государственной измене. Ему ли было не знать, что если слух о происшедшем дойдет до Птолемеев, фараон тотчас же пошлет своих стражей убить ребенка, которому напророчили столь выдающуюся судьбу. И мой отец затворил двери и заставил всех, кто находился в комнате, поклясться священным символом своего сана, Божественной Тριάдой, и душой той, которая лежала бездыханная на каменных плитах пола, что никогда и никому они не расскажут о том, чему сейчас оказались свидетелями.

Среди присутствующих была кормилица моей матери, которая любила ее, как родную дочь, — старуха по имени Атуа, а женщины такой народ,

что даже самая страшная клятва не удержит их язык за зубами — не знаю, может быть, раньше они были иначе устроены, может быть, в будущем смогут укротить свою болтливость. И вот недолгое время спустя, когда Атуа свыклась с мыслью, что мне уготован великий жребий, и страх ее отступил, она рассказала о пророчестве своей дочери, которая после смерти матери стала моей кормилицей. Они в это время шли вдвоем по дорожке в пустыне и несли обед мужу дочери, скульптору, который ваял статуи богов и богинь в скальных гробницах, — так вот, посвящая дочь в тайну, Атуа заклинала ее свято беречь и любить дитя, которому суждено стать фараоном и изгнать Птолемеев из Египта. Дочь Атуа, моя кормилица, была ошеломлена этой вестью; конечно же, она не смогла сохранить ее в тайне, она разбудила ночью мужа и шепотом ему все рассказала и этим обрекла на гибель и себя, и своего сына — моего молочного брата. Муж рассказал своему приятелю, а приятель был Птолемеев доносчик и сразу же сообщил обо всем фараону.

Фараон сильно встревожился, ибо хоть он и глумился, напившись, над египетскими богами и клялся, что единственный бог, перед которым он преклоняет колени, — это римский Сенат, но в глубине его души жил неодолимый страх перед собственным кощунством, мне рассказал об этом его врач. Оставаясь ночью один, он в отчаянии принимался вопить, взывая к великому Серапису, который на самом деле вовсе не истинный бог, а лжебог, к другим богам, терзаемый ужасом, что его убьют и его душе придется нескончаемо мучиться в загробном царстве. Но это еще не все: когда трон под ним начинал шататься, он посылал в храмы щедрые дары, советовался с оракулами, из которых особенно чтил оракула с острова Филе. Поэтому, когда до него дошел слух, что жене верховного жреца великого древнего храма в Абидосе открылось перед смертью будущее и богиня Хатхор предрекла ее устами, что сын ее станет фараоном, он смертельно перетрусил и призвал к себе самых доверенных лиц из своей охраны: его телохранители были греки и не боялись совершить святотатство, поэтому Авлет приказал им плыть в Абидос, отрубить сыну верховного жреца голову и привезти ему эту голову в корзине.

Однако Нил в это время года сильно мелеет, а у барки, в которой плыли солдаты, была слишком глубокая осадка, и так случилось, что она села на мель неподалеку от того места, где начинается дорога, ведущая через скалистое нагорье в Абидос, а тут еще разыгрался такой сильный северный ветер, что барка могла в любую минуту опрокинуться и утонуть. Солдаты фараона принялись звать крестьян, которые трудились на берегу, поднимая навверх воду, просили подъехать к ним на лодках и снять с барки,

но крестьяне увидели, что это греки из Александрии, и пальцем не шевельнули, чтобы их спасти, — ведь египтяне ненавидят греков. Тогда солдаты стали кричать, что прибыли по приказу фараона, но крестьяне продолжали заниматься своим делом, спросили только, что это за приказ. Тогда приплывший с солдатами евнух, который от страха напился до полной потери разума, прокричал в ответ, что им приказано убить сына верховного жреца Аменемхета, которому напророчили, что он станет фараоном и изгонит из Египта греков. Крестьяне поняли, что медлить больше нельзя, и стали спускать лодки, хотя и не могли взять в толк, какое фараону дело до сына Аменемхета и почему он должен стать фараоном. Но один из них, тоже земледелец и к тому же смотритель каналов, был родственник моей матери и, когда она произносила перед смертью свои пророческие слова, находился рядом с ней, в ее покое, и потому сейчас он со всех ног бросился к нам, и не прошло и часу, как он вбежал в наш дом у северной стены великого храма, где я спал в отведенном мне покое в колыбели. Отец мой в это время был в священной области захоронений, которая находится по левую сторону от большой крепости, а фараоновы солдаты быстро приближались верхом на ослах. Наш родственник, задыхаясь, прохрипел старой Атуа, чей длинный язык навлек на нас такое несчастье, что вот-вот в дом ворвутся солдаты и убьют меня. Атуа и наш родственник в растерянности уставились друг на друга: что делать? Спрятать меня? Солдаты перевернуть все вверх дном и рано или поздно найдут. И тут наш родственник увидел в раскрытую дверь играющего во дворе ребенка.

— Женщина, спросил он, — чей это ребенок?

— Это мой внук, — ответила Атуа, — молочный брат царевича Гармахиса, сын моей дочери, которая обрушилась на нас это горе.

— Женщина, — произнес он, — ты знаешь, что тебе велит твой долг, выполняй же его! — И указал ей на ребенка: — Я повелеваю тебе священным именем Осириса!

Атуа задрожала и едва не лишилась чувств — ведь мальчик был плоть от ее плоти, и все-таки она овладела собой, вышла во двор, взяла ребенка, вымыла его, облачила в шелковые одежды и положила в мою колыбель. А меня раздела, измазала всего в пыли, так что моя светлая кожа стала совсем темной, и посадила во дворе на землю, чему я несказанно обрадовался.

Родственник удалился в храм, и очень скоро к дому подъехали солдаты-греки и спросили старую Атуа, здесь ли живет верховный жрец Аменемхет. Она сказала, что да, здесь, пригласила их войти и подала им молока и меда утолить жажду.

Они все выпили, и тогда евнух, который тоже приехал с солдатами, спросил Атуа, кто там лежит в колыбели, не сын ли Аменемхета, и она ответила: «Да, это его сын», и принялась рассказывать солдатам, что мальчика ожидает великое будущее, ему предсказали, что он возвысится над всеми и будет править державой.

Но солдаты-греки захохотали, а один из них схватил младенца и отсек ему голову мечом, евнух же вытащил печать фараона, чьим именем было совершено злодейство, и показал ее старой Атуа, велел передать верховному жрецу, что без головы даже царю править державой затруднительно.

Солдаты вышли во двор, и тут один из них заметил меня и крикнул товарищам: «Эй, глядите-ка, у этого чумазого плебея куда более аристократический вид, чем у царевича Гармахиса», солдаты остановились, раздумывая, не прикончить ли заодно и меня, но им претило убивать детей, и они ушли, унося с собой голову моего молочного брата.

Немного погодя с базара вернулась мать убиенного младенца, и когда она и ее муж увидели его труп, они бросились на старую Атуа и хотели ее убить, а меня отдать солдатам фараона. Но тут появился мой отец, ему все рассказали, и он повелел схватить мою кормилицу и ее мужа и ночью тайно заточить в одну из темниц храма. Больше их никто никогда не видел.

Как я сейчас скорблю, что волею богов остался жив, а меч фараонова палача казнил ни в чем не повинное дитя.

Людям было сказано, что я — приемный сын верховного жреца Аменемхета, он усыновил меня после того, как фараон приказал умертвить его возлюбленного сына Гармахиса.

## **Глава II , повествующая о том, как Гармахис нарушил запрет отца, как он победил льва и как старая Атуа рассеяла подозрения фараонова соглядатая**

После этого Птолемей по прозвищу Флейтист оставил нас в покое и больше не посылал в Абидос солдат искать ребенка, которому предсказано восшествие на царский престол: ведь принес же евнух голову моего молочного брата в его мраморный дворец в Александрии и открыл корзину, чтобы показать ее, когда фараон, упившись кипрским вином, играл на флейте в окружении своих танцовщиц.

Птолемей захотел рассмотреть голову получше и приказал евнуху поднять ее за волосы и поднести к нему. Фараон захохотал и ударил ее по щеке сандалией, а одной из девушек повелел увенчать новоявленного фараона цветами. Сам, же кривляясь, преклонил колено и стал глумиться над головой несчастного младенца. Но острая на язык девушка не могла вынести такого святотатства и сказала Птолемею — я обо всем этом узнал через много лет, — что он поступил правильно, преклонив колено, ибо это дитя — истинный фараон, величайший из всех царивших когда-либо фараонов, и имя его — Осирис, а трон его — в царстве мертвых, Аменти.

Услыхав эту отповедь, Птолемей Флейтист затрясся от страха, ибо совершил много зла и безумно страшился предстать пред судьями Аменти. Ответ девушки был, несомненно, дурным предзнаменованием, и он приказал казнить дерзкую — пусть отныне служит тому владыке, чье имя она только что произнесла. Прогнал всех остальных девиц и больше не играл, взял флейту в руки только утром, когда снова напился. Жители Александрии сочинили об этом эпизоде песню, ее и по сей день народ распевает на улицах.

Вот два первых куплета:

Птолемей Флейтист -  
Знаменитый музыкант,  
Мир не знал еще такого:  
Флейту сделали ему  
Чудища из царства смерти -

Над убитыми играть.

Сладкозвучна его флейта  
Как ночных лягушек пенье,  
В смрадных заводах Аменти  
Жабы заждались его.  
Из болот зловонных жижу  
В кубки налили Флейтисту.

Летел год за годом, но я был еще слишком мал и не ведал, какие события потрясают Египет; не буду описывать их сейчас, ибо слишком краток срок, отпущенный мне судьбой, расскажу лишь о тех, в которых принимал участие я сам.

Итак, я рос, а мой отец и мои наставники открывали мне знания, в которые наш народ был посвящен с глубокой древности, и рассказывали о наших богах то, что доступно разумению ребенка. Я был высок и крепок и хорош собой, волосы черные, как у богини Нут, глаза голубые, как лотосы, а кожа белая, как алебастровые изваяния в святилищах. Я не опасюсь, что меня укорят в тщеславии, ибо давно утратил то, что красило меня когда-то. А как я был силен! Никто из моих сверстников в Абидосе не мог победить меня в борьбе, никто так искусно не владел копьем и пращей. И я страстно мечтал убить на охоте льва, однако тот, кого я называл отцом, запретил мне и думать об охоте, ибо жизнь моя слишком драгоценна и рисковать ею так бездумно — непростительное преступление. Я почтительно склонился перед ним и попросил объяснить, что означают его слова, но старый жрец лишь нахмурился и ответствовал, что боги откроют мне их смысл, когда исполнятся сроки. Я не стал более настаивать и ушел, но в душе у меня кипел гнев, потому что один юноша в Абидосе убил со своими товарищами льва, который напал на стадо его отца, и вот этот юноша, завидуя моей красоте и силе, стал всем внушать, что я трус, хоть и скрываю это, потому что на охоте убиваю из пращи только шакалов и антилоп. А мне как раз исполнилось шестнадцать лет, и я считал себя взрослым — настоящим мужчиной.

И случиться же такому совпадению, что когда я в горькой обиде шел от верховного жреца, мне повстречался этот самый юноша, окликнул меня и стал с издевкой рассказывать, будто узнал от окрестных крестьян, что в тридцати стадиях от Абидоса, возле канала, который проходит мимо храма, живет в прибрежных зарослях огромный лев. И, продолжая насмехаться надо мной, предложил пойти с ним и помочь ему убить льва, но если мне

милее общество старух, которые без конца завивают и расчесывают мне волосы, тогда, конечно, он справится со зверем и без меня. Я вскипел от оскорбления и чуть не бросился на него с кулаками, однако же сдержал себя и, забыв о запрете отца, ответил: что ж, я составлю ему компанию, если он решится пойти на льва один, и пусть он сам удостоверится, трус я или нет.

В одиночку у нас на львов не охотятся, это все знают, обычно собираются пять-шесть мужчин и насмешник сразу же отказался, так что настал мой черед издеваться над ним. Он не выдержал и побежал домой за луком и стрелами, захватил также острый нож. А я взял свое копье — тяжелое, с древком из тернового дерева и серебряной фигурной рукояткой, чтобы не выскользвало из рук, и мы вдвоем направились к логову льва, шагали рядом и молчали. Когда мы наконец пришли к тому месту, о котором он говорил, солнце стояло уже довольно низко; нам не потребовалось долго искать следы льва, мы сразу же увидели их на берегу канала в глине, они вели в густые заросли тростника.

— Ну что, хвастун, — спросил я, — ты пойдешь по следу впереди или я? — И шагнул вперед, показывая, что хочу идти первым.

— Нет, нет, ты с ума сошел! — закричал он. — Зверь прыгнет на тебя и разорвет. Мы вот как сделаем. Я сейчас начну стрелять в заросли. Может, он спит, и стрелы разбудят его. — И он наугад послал в густой тростник стрелу.

Как это случилось — не знаю, но только стрела попала прямо в спящего льва, он желтой молнией сверкнул среди тростников и встал прямо перед нами — грива дыбом, глаза горят, в боку трепещет стрела. Лев издал такой яростный рык, что, казалось, земля содрогнулась.

— Стреляй! — крикнул я своему спутнику. — Скорей, он сейчас прыгнет!

Но мужество оставило задиру, у него даже челюсть отвисла от страха, пальцы разжались, и лук упал на землю; он с диким воплем кинулся наутек, оставив меня лицом к лицу со львом. Я стоял и ждал смерти, ибо хотя я окаменел от испуга, у меня и в мыслях не мелькнуло бежать, а лев вдруг припал к земле и гигантским прыжком перемахнул через меня, даже не задел, — и ведь хоть бы чуть-чуть взял в сторону! Едва коснувшись земли, он снова прыгнул — прыгнул прямо на спину хвастуну и с такой силой ударил его своей могучей лапой по голове, что снес полчерепа, только мозги брызнули. Задира упал на землю бездыханный, а лев замер над его телом и зарычал. Я обезумел от ужаса и, сам не понимая, что делаю, сжал копье и занес, чтобы метнуть. Пока я его заносил, лев взвился на задние

лапы, так что его голова оказалась выше моей, и ринулся на меня. Все, сейчас он превратит меня в кровавое месиво, но я собрал все свои силы и вонзил расширяющийся стальной наконечник льву в горло, он отпрянул, ослепленный болью, и лапа лишь слегка задела меня, оставив неглубокий след когтей. Лев упал на спину, чуть не насквозь пронзенный моим тяжелым копьем, потом поднялся с воплем душераздирающей боли и высоко прыгнул в воздух — чуть не в два человеческих роста, колотя по копыю передними лапами. Снова прыгнул и снова упал на спину — ужасное, непереносимое зрелище. Кровь хлестала из раны багровой струей, зверь с каждым мигом слабел, он уже не мог подняться, вопль перешел в мычанье, в жалобный стон... по телу прошла судорога — он умер. Теперь мне нечего было бояться, но я не мог шевельнуться от страха, меня начала бить дрожь — ведь я же был еще совсем зеленый юнец.

Я в оцепенении глядел на труп несчастного, который дразнил меня трусом, на мертвого льва, и не заметил, как ко мне подбежала какая-то женщина — это оказалась старая Атуа, которая когда-то отдала убийцам своего родного внука, чтобы спасти меня, хотя я до сих пор этого не знал. Она собирала на берегу лекарственные травы, ибо славилась искусством врачевания; о том, что здесь живет лев, она и слыхом не слыхала, ведь львы очень редко появляются там, где люди возделывают землю, они в основном обитают в пустыне и в Ливийских горах, и сейчас она издали увидела, как из зарослей выскочил лев и как какой-то мужчина его убил. Подбежав, она узнала меня и склонилась передо мной в почтительном поклоне, потом простерлась ниц, называла венценосным владыкой, который достоин самых высоких почестей, любимцем богов, избранником Божественной Триады, мало того — величайшим из фараонов, избавителем Египта!

Я решил, что от пережитого страха она повредилась в рассудке, и спросил, почему она ведет такие странные речи.

— Ну да, я убил льва, разве это такой великий подвиг? С чего ты меня так превозносишь? Мало ли охотников, на счету которых не один десяток львов? А божественный Аменхотеп, вступивший в сияние Осириса, в былые времена убил своей собственной рукой больше сотни. Об этом рассказывается на священном скарабее, который висит в покоях моего отца, как будто ты не знаешь. Да он и не единственный, кто так отличился. Чем же ты так восхищаешься, о неразумная женщина?

Все это я произнес в крайнем удивлении, потому что со свойственной молодости самонадеянностью счел свою победу над львом пустяком, не заслуживающим внимания. Но Атуа продолжала петь мне дифирамбы и восхвалять в столь пышных выражениях, что рука не поднимается



запечатлеть их на папирусе.

— О царственный отрок, — восклицала она, — сбылось пророчество твоей матери! Поистине, устами ее вещала великая чарами Хатхор, о дитя, зачатое от бога! Я растолкую тебе это знамение, слушай же. Этот лев — Рим, он рычит на нас из Капитолия, а тот, кого лев убил — Птолемей, македонское семя, заполнившее землю царственного Нила, точно зловредные сорняки; и вот ты с помощью Македонских Лагидов сокрушишь льва — Рим. Македонский ублюдок накинется на римского льва, и лев его растерзает, а ты повергнешь в прах льва, и страна Кемет вновь будет свободна — слышишь, свободна! Храни же свои помыслы в чистоте, как повелели тебе боги, о наследник царского трона, надежда кеми! Бойся погубительницы-женщины, и все, что я сказала, исполнится. Кто я? Всего лишь жалкая, несчастная старуха, у которой душа иссохла от горя. Я совершила тяжкий грех, проболтавшись о том, что должно было остаться тайной, и за свое преступление заплатила страшной ценой — жизнью моего внука, плотью от моей плоти, кровью от крови моей, я отдала его собственными руками палачам и никогда не роптала. Но крупица мудрости нашего народа еще жива во мне, и боги, для которых мы все равны, не отвращают свой лик от страдальцев, и потому мать всего сущего Исида говорила со мной, говорила вчера ночью, — это она повелела мне идти сюда собирать травы и растолковать тебе знамение, которое явила. Помни: пророчество сбудется, если только тебе удастся противостоять величайшему искушению, которое тебя ожидает. Подойди сюда, о государь! — И она подвела меня к берегу канала, где синяя глубокая вода, казалось, застыла, точно зеркало. — Вглядись в свое отражение. Разве это чело не создано для того, чтобы носить корону Верхнего и Нижнего Египта? Разве не сверкает в этих добрых глазах величие рожденных царствовать? Разве не создал творец всего сущего Птах этого благородного юношу, чтобы носить царский наряд и вызывать благоговение народа, который будет видеть в нем бога?

— Да постой, куда же ты! — вдруг закричала она пронзительно и хрипло, как старая карга. — Я сейчас... до чего же глупый мальчишка! Рана, нанесенная львом, страшна и опасна, как укус ядовитой змеи, ее нужно обработать, иначе она покроется гноем, у тебя начнется лихорадка, день и ночь будут мерещиться львы и змеи, змеи и львы. Уж я-то знаю, кому и знать, как не мне. Недаром же я безумная. Запомни: все в этом мире находится в равновесии — безумие наполовину состоит из мудрости, а мудрость из безумия. Ха-ха-ах-ха! Даже фараон не знает, где кончается мудрость и начинается безумие. Ну что стоишь и глазеешь на меня? Видел

бы, какой у тебя дурацкий вид, — ни дать, ни взять кошка в жреческом одеянии, как говорят в Александрии. Сейчас я прибиную к ранам травы, и через несколько дней они заживут, даже шрама не останется. Знаю, больно, но придется потерпеть. Клянусь тем, кто покоится на острове Филе и в Абидосе — или, как его раньше называли наши божественные властители, в Абаде, — а также во всех своих других священных могилах, — так вот, клянусь Осирисом, которого мы все увидим гораздо раньше, чем нам хотелось бы, кожа твоя будет нежной и гладкой, как лепестки цветов, которые мы кладем на алтарь Исиды в вечер новолуния, позволь мне только приложить к ранам эти растения.

— Разве я не права, добрые люди? — обратилась она к небольшой толпе, которая незаметно для меня собралась, пока она вела свои пророческие речи. — Я произносила над ним заклинания, чтобы усилить действие трав, ха-ах-ха-ха! Заклинания — великая сила. Если не верите, приходите ко мне все, чьи жены бесплодны; вы обскребаете одну за другой все колонны в храме Осириса, но мой заговор излечит их быстрее, обещаю. Они станут рожать каждый год, как зрелые пальмы. Но для каждого недуга потребен особый заговор, и для каждого человека тоже, и все их нужно знать, вот так-то. Ха-ах-ха-ха!

Что за чепуху она несет? Я провел рукой по лбу, не понимая, снится мне все это или происходит наяву. Потом посмотрел на собравшихся и увидел в толпе седого мужчину, — он так и впился взглядом в старую Атуа. Позже мне рассказали, что это Птолемеев осведомитель, тот самый, кто донес фараону о пророчестве моей матери и из-за кого солдаты фараона чуть не отсекали мне голову, когда я был младенцем, и после этого я понял, почему Атуа начала молотить такую несуряицу.

— Странные заговоры ты произносишь, старуха, — проговорил соглядатай. — Если я не ослышался, ты говорила о фараоне и о короне Верхнего и Нижнего Египта, о юноше, сотворенном Птахом, чтобы носить ее, так ведь?

— Конечно, ибо таковы слова заговора, дурья твоя башка! Есть ли у нас сейчас что-то более священное, чем жизнь божественного фараона Птолемея Флейтиста, — да продлят извечные боги его дни, — чья музыка чарует нашу счастливую страну? Есть ли для нас что-то более священное, чем корона Верхнего и Нижнего Египта, которую он носит, — он, столь же великий, как Александр Македонский? Кстати, ты у нас все знаешь: удалось ли вернуть его плащ, который Митридат Евпатор увез на остров Кос? Ведь последним, кто его надевал, был, кажется, Помпей, когда праздновал свою победу, — нет, вы только представьте себе: Помпей

посмел обрядиться в одеяние великого Александра! Петух в павлиньих перьях беспородный пес рядом с царственным львом! Да, кстати, коль уж мы заговорили о львах, — взгляните на этого юношу: он убил копьем льва, убил сам, один, и вся ваша деревня должна радоваться, потому что лев был свирепый, вон какие у него клыки и когти; конечно, я темная, глупая старуха, но меня от одного их вида в дрожь бросает, — того и гляди, закричу. Ведь этого-то, другого юношу лев убил, лежит, бедняжка, и никогда не встанет. Он теперь Осирис, душа его отлетела, остался бездыханный труп, а всего несколько минут назад он говорил, смеялся, двигался. Надо скорей нести его к бальзамировщикам, а то на солнце он раздуется и живот лопнет, не надо будет и разрез делать. Родные не станут на него слишком тратить. Заплатят за то, чтобы продержали семьдесят дней в соляном растворе, — и все, хватит с него. Ах-ха-ха-ах! Ну и разболталась я, а ведь скоро стемнеет. Берите этого бедняжку, да и льва тоже. А ты, внучок, не снимай повязку из трав, раны и не будут болеть. Хоть я и сумасшедшая, но мне открыто, то что неведомо другим, да, да, мой внук, поверь мне! Какое счастье, что его святейшество верховный жрец усыновил тебя, когда наш фараон — да прославит в веках его божественное имя Осирис — отнял жизнь у его родного сына; до чего же ты красив, до чего силен. Разве тот, настоящий Гармахис, смог бы убить льва, как убил ты? Никогда, клянусь извечными богами! Если у кого и есть отвага, так это у простолюдинов, да, да, я знаю, что говорю!

— Уж больно много ты знаешь, старуха, да и язык у тебя без костей, — проворчал доносчик; Атуа рассеяла все его подозрения. — Что ж, твоему внуку и вправду смелости не занимать. Берите покойного и несите в Абидос, а вы двое останьтесь, поможете мне снять со льва шкуру. Пришлем ее потом тебе, охотник, — продолжал он, обращаясь ко мне, — но не гордись — ты ее не заслужил: так на львов охотятся только глупцы, а глупцу не миновать того, что он заслужил, — гибели. Никогда не поднимай руку на сильного, пока не убедишься, что ты сильнее его.

Я повернулся и пошел домой, размышляя, что все это значит.

## **Глава III , повествующая о неудовольствии Аменемхета; о молитве Гармахиса; и о знамении, которое явили ему всемогущие боги**

Сначала сок растений, которые старая Атуа приложила к моим ранам, жег их, будто огнем, но мало-помалу боль утихла. Это были поистине чудодейственные травы, потому что через два дня раны зажили, а очень скоро исчезли и следы от шрамов. Но сейчас меня не оставляла мысль, что я нарушил слово, данное верховному жрецу Аменемхету, которого я называл отцом. Я ведь еще не знал, что он и в самом деле мой отец, мне столько раз рассказывали, как его родного сына убили — я уже писал об этом здесь — и как он с благословения богов усыновил меня и с любовью воспитал, чтобы я, когда настанет срок, стал одним из жрецов храма. Я весь извелся от угрызений совести, и я боялся старого Аменемхета, — он был ужасен в гневе, а речь его, когда он отворял уста, была суровым, беспощадным гласом мудрости. И все равно я решился пойти к нему, признаться в своем проступке и принять кару, которой ему будет угодно меня подвергнуть. И вот, держа в руке окровавленное копье, с кровоточащими ранами на груди, я прошел по двору огромного храма к покоям, в которых жил верховный жрец. Это просторное помещение, уставленное величественными статуями богов, днем свет проникает сюда сквозь отверстие, сделанное в массивной каменной крыше, ночью его освещает висячий бронзовый светильник. Я бесшумно вошел в этот зал, ибо дверь была лишь притворена, и, откинув тяжелый занавес, замер, не смея шевельнуться. В висках гулко стучало.

Светильник уже горел, потому что наступила темнота, и в его свете я увидел старого жреца, который сидел в кресле из слоновой кости и эбенового дерева, а на мраморном столе перед ним лежали свитки с мистическими текстами «Книги мертвых». Но он их не читал, он спал, его длинная белая борода лежала на столешнице — казалось, он умер. Неяркий свет висячего светильника выхватывал из темноты его лицо, свиток папируса, золотой перстень на его руке с выгравированными символами Непостижимого, все остальное растворялось в сумраке. Свет падал на его бритую голову, на белое одеяние, кедровый посох — знак власти

верховного жреца, на кресло из слоновой кости с ножками в виде лап льва. Какой могучий лоб у моего приемного отца, какие царственные черты, как темны глазницы глубоко посаженных глаз под белыми бровями. Я смотрел на него и вдруг почувствовал, что весь дрожу, ибо от него исходило сверхчеловеческое величие. Он так долго жил среди богов, столько времени провел в их обществе и так проникся их божественной мудростью, так глубоко постиг тайны, о существовании которых мы, простые смертные, лишь едва догадываемся, что уже сейчас, не перейдя черты, отделяющей эту жизнь от загробной, он почти возвысился до всеблагости Осириса, а у людей это вызывает великий страх.

Я стоял, не в силах отвести от него взгляда, а он вдруг открыл свои черные глаза, но на меня не посмотрел, даже головы в мою сторону не повернул, однако же увидел, что я здесь, и произнес:

— Почему ты ослушался меня, мой сын? — спросил он. — Как случилось, что ты пошел охотиться на льва? Ведь я запретил тебе.

— Как ты узнал, отец, что я охотился на льва? — в страхе прошептал я.

— Как я узнал? Ты что же, думаешь, все нужно видеть собственными глазами или слышать от других и нет иных путей познания? Эх, невежественное дитя! Разве не был мой дух с тобой, когда лев прыгнул на твоего спутника? Разве не молился я тем, кто защищает тебя, чтобы твое копьё пронзило горло льва, когда ты поднял его и метнул? Так почему же все-таки, мой сын, ты нарушил мою волю?

— Этот хвостун дразнил меня, — ответил я, — вот я и решил доказать, что не трус.

— Да, мой Гармахис, знаю; и я прощаю тебя, потому что ты молод, а молодая кровь горяча. Но теперь выслушай меня, и пусть твое сердце впитает каждое мое слово, как жаждущий песок впитывает воды Сихора, когда на небосклоне загорается Сириус. Так слушай же. Этот задира был послан тебе судьбой, как искус, дабы испытать силу твоего духа, и видишь — ты не выдержал испытания. И посему назначенный тебе срок отодвигается. Прояви ты сегодня твердость, которой от тебя ждали, и ты бы уже знал, какой путь тебе предначертан. Но ты оказался не готов, — стало быть, время твое еще не настало.

— Отец мой, я ничего не понимаю, — проговорил я.

— Ты помнишь, что говорила тебе Атуа на берегу канала?

Я повторил Аменемхету старухины слова.

— И ты поверил ей, мой сын Гармахис?

— Конечно, нет! — воскликнул я. — Как можно верить таким

бредням? Она была просто не в себе. Ее все считают помешанной.

И тут он в первый раз посмотрел на меня, стоящего у занавеса в темноте.

— О нет! — вскричал он. — О нет, мой сын, ты ошибаешься. Она не сумасшедшая, и говорила с тобой у канала не она, говорил голос Той, которая никогда не лжет. Наша Атуа — правдиворечивая прорицательница. Узнай же, мой сын, для какой миссии избрали тебя боги Египта, и горе тебе, если ты по слабодушию не выполнишь их предначертания! Итак, внимай же мне: ты вовсе не дитя простолюдинов, которого я якобы усыновил и хочу сделать жрецом нашего храма, ты — мой родной сын, и жизнь твою спасла наша Атуа, та самая старуха, которую ты назвал безумной. Но это еще не все, Гармахис: мы с тобой последние потомки царской династии Египта, единственные законные наследники того самого фараона Нектанеба, которого персидский царь Ох изгнал из Египта. Но персы пришли и ушли, их место заняли македонцы, и вот уже почти триста лет эти узурпаторы Лагиды носят нашу корону, оскверняют нашу прекрасную страну Кемет, глумятся над нашими богами. Но слушай же, слушай дальше: две недели назад наш Птолемей Авлет, этот жалкий музыкантишка, прозванный Флейтистом, который хотел убить тебя, умер; а евнух Потин, тот самый, что приплыл когда-то сюда с палачами, чтобы они отсекали тебе голову, нарушил волю покойного царя и возвел на трон его сына, Птолемея Нового Диониса. Поэтому его сестра Клеопатра, прославившаяся необычайной красотой и необузданностью нрава, бежала в Сирию, где она, если я не ошибаюсь, надеется собрать войско и пойти войной на своего брата, потому что, согласно воле отца, они должны были стать соправителями. А тем временем, мой сын, на наш богатый, но неспособный защитить себя Египет зарится Рим, он словно коршун, который высмотрел на высоте добычу и выжидает, когда можно будет кинуться на жертву и вонзить в нее когти. И вот еще что ты должен помнить: египетский народ не желает больше терпеть иго чужеземцев, людям ненавистно воспоминание о персах, в их сердцах клопочет ярость, когда в Александрии на базарах их называют македонцами. Страна волнуется и бурлит, она уже не может жить под пятой греков и нависшей тенью Рима.

Разве Лагиды не превратили нас в рабов? Разве не убивают они наших детей, не отнимают в своей ненасытной алчности все, что вырастили на полях крестьяне? Разве не пришли в упадок наши храмы? Разве не надругались эти греческие святотатцы над нашими великими извечными богами, не извратили изначальную сущность истины, не отняли у Владыки

Вечности его подлинное имя, не осквернили его, назвав Сераписом и нарушив связь с Непостижимым? Разве не взывает Египет о свободе? Неужели он будет взывать напрасно? О нет, мой сын, ибо у него есть избавитель, и этот избавитель — ты. Я уже стар, и потому передаю мое право на трон тебе. Твое имя уже произносят шепотом в святилищах по всей стране, жрецы и простой народ клянутся в верности нашими священными символами тому, кто будет им явлен. Но время еще не настало, ты пока недостаточно силен — такой жестокий ураган ломает хрупкие ростки. Не далее как сегодня тебе было послано испытание, и ты его не выдержал.

Тот, кто решил посвятить себя служению богам, Гармахис, должен восторжествовать над слабостями плоти. Его не должны задевать оскорбления, не должны привлекать никакие земные соблазны. Тебе уготован высокий жребий, но ты должен понять его смысл. Если же ты не поймешь, то не сможешь выполнить свое назначение, и тогда на тебя падет мое проклятье, проклятие нашего Египта, проклятие наших поверженных и оскверненных богов! Знай: в переплетении событий, из которых складывается история мира, бессмертные боги порой прибегают к помощи простых смертных, которые повинуются их воле, как меч повинуется искусной руке воина. Но позор мечу, если он сломается в разгар битвы, — его выбросят ржаветь, и он рассыплется в прах, или переплавят в огне, чтобы выковать новый. И потому ты должен очиститься сердцем, ты должен возвыситься и укрепиться духом, ибо ты избранник судьбы, Гармахис, и все радости простых смертных для тебя презренная суета. Твой путь — путь триумфатора, если ты победишь, путь славы, которая переживет века. Если же ты потерпишь поражение — горе, горе тебе!

Он умолк и склонил голову, потом снова заговорил:

— Обо всем этом ты в подробностях узнаешь позже. Сейчас же тебе предстоит многое постичь. Завтра я дам тебе письмо, и ты поплывешь по Нилу, мимо белостенного Мемфиса в Ана. Там, под сенью хранящих свои тайны пирамид, в храмах которых ты тоже по праву рождения должен стать верховным жрецом, ты проживешь несколько лет и глубже проникнешь в сокровищницу нашей древней мудрости. А я останусь здесь, ибо срок мой еще не исполнен, и с помощью богов буду плести паутину, в которую ты поймаешь гадючье отродье Лагидов и покончишь с ним.

Подойти ко мне, мой сын, подойди и поцелуй меня в лоб, ибо ты — моя надежда, надежда всего Египта. Будь тверд, и судьба вознесет тебя к орлиным высотам славы, где ты пребудешь вовек. Но если ты изменишь своему долгу, если обманешь наш порыв к свободе, то я отрекусь от тебя,

страна Кемет предаст тебя проклятью, и твоя душа будет терпеть жесточайшие муки, пока в медленном течении времени зло снова не обратится в добро и Египет не станет наконец-то свободным.

Я приблизился к отцу, дрожа, и поцеловал его в лоб.

— О отец, пусть все кары богов обрушатся на меня, если я тебя предам! — воскликнул я.

— Нет, ты предашь не меня! — загремел его голос. — Ты предашь тех, чьи повеления я исполняю. А теперь ступай, мой сын; вникни в мои слова, пусть они достигнут сокровенных глубин твоего сердца; вбери в себя все, что тебе будет явлено, обогатись сокровищами мудрости, чтобы подготовиться к битве, которая тебе предстоит. Не страшись за себя — ты надежно огражден от всего внешнего зла; единственный враг, который может нанести тебе вред, это ты сам. Я все сказал, ступай.

И я ушел, переполненный волнением. Ночь, казалось, застыла в неподвижности, в дворах храма не было ни единого служителя, ни единого молящегося. Я быстро миновал их и оказался у подножия пилона, что возвышается возле наружного входа. Жажда одиночества и словно бы стремясь приблизиться к небу, я стал подниматься по лестнице массивного пилона, двести ступеней — и вот я на площадке наверху. Положил руки на парапет и огляделся вокруг. В этот миг над Аравийскими горами показался красный край полной луны, ее лучи упали на башню, где я стоял, на стены храма, осветили каменные изваяния богов. Потом холодный свет стал заливать возделанные поля, где уже попевала пшеница, небесный светильник Исиды поднимался из-за гор, медленно озаряя долину, по которой катит свои воды отец земли Кемет — Сихор.

Вот яркие лучи коснулись поцелуем легких волн, и те заулыбались в ответ, еще миг — и вся долина, река, храм, город, скалистое нагорье засияли в белом свете, ибо выплыла в небо великая мать Исида и набросила на землю свой лучезарный покров. Картина была прекрасна, как волшебное видение, и бесконечно торжественна, точно я уже был в потустороннем царстве. Как горделиво возносились в ночь храмы Абидоса! Никогда еще они не казались мне столь величественными — эти бессмертные святыни, над которыми не властно само Время. И мне предстоит царствовать в этой залитой лунным светом стране, на меня возложен долг оберегать эти дорогие сердцу святыни, благоговейно чтить их богов; я избран сокрушить Птолемеев и освободить Египет от чужеземного ига! В моих жилах течет кровь великих фараонов, которые спят в своих гробницах в Долине Царей в Фивах [50], ожидая дня, когда их душа воссоединится с телом! Какая высокая судьба, не снится ли мне это?



Меня захлестывала радость, я сложил перед собой руки и, стоя на верхней башне, стал с неведомым доселе пылом молиться многоименному и многоликому.

— О Амон, — взывал я, — царь всех богов, владыка вечности, властитель истины, творец всего сущего, расточитель благ, судья над сильными и убогими, ты, кому поклоняются все боги и богини и весь сонм небесных сил, ты, сотворивший сам себя до сотворения времен, дабы пребыть во веки веков, — внемли мне! О Амон-Осирис, принесенный в жертву, дабы оправдать нас в царстве смерти и принять в свое сияние; всеумудрый и всеблагый, повелитель ветров, времени и царства мертвых на западе, верховный правитель Аменти, — внемли мне! О Исида, великая праматерь-богиня, мать Гора, госпожа волхвований, небесная мать, сестра, супруга, внемли мне! Если я поистине избран вами, извечные боги, дабы исполнить вашу волю, явите мне знамение, и пусть оно свяжет мою жизнь с жизнью горней. Прострите ко мне руки, о премудрые, могущественные, позвольте мне увидеть ваши сияющие лики. Услышьте, о услышьте меня! — И я упал на колени и поднял глаза к небу.

И в этот миг луну скрыло облако, ночь сразу стала темной, все звуки смолкли, даже собаки далеко внизу, в городе, перестали лаять, мир окутала вязкая тишина, она все сгущалась, давя смертельной тяжестью. Душу мне наполнил священный ужас, я чувствовал, что волосы на голове шевелятся. Вдруг мощная башня словно бы дрогнула и закачалась у меня под ногами, в лицо ударил порыв ветра, и голос, исходящий, казалось, из глубин моего сердца, произнес:

— Ты просил явить тебе знамение, Гармахис? Не пугайся — вот оно.

Лишь только голос умолк, моей руки коснулась прохладная рука и вложила в нее какой-то предмет. Лунный лик выглянул из-за облака, ветер стих, башня перестала качаться, и ночь вновь засияла во всем своем великолепии.

Я посмотрел на то, что лежало в моей руке. Это был полураскрывшийся бутон священного цветка — лотоса, от него исходило кружащее голову благоухание.

Я в изумлении глядел на бутон, а он вдруг — о, чудо! — поднялся с моей ладони и растворился в воздухе.

## **Глава IV , повествующая о том, как Гармахис отправился в Ана и встретился со своим дядей, тамошним верховным жрецом Сепа; о его жизни в Ана; и о том, что поведал ему Сепа**

На рассвете меня разбудил один из жрецов храма и велел готовиться к путешествию, о котором вчера говорил отец, потому что как раз сегодня в Ана, который греки переименовали в Гелиополис, отплывает барка. Я поплыву на ней с жрецами мемфисского храма Птаха, которые привезли к нам, в Абидос, мумию одного из знатнейших горожан Гелиополиса и похоронили в усыпальнице, сооруженной неподалеку от могилы благодетельного Осириса.

Я стал готовиться и вечером, получив от отца письма и сердечно простившись с ним и со всеми жрецами и служителями нашего храма, кто был мне дорог, дошел до берега Сихора, спустился к пристани и сел на судно. Дул попутный южный ветер. Стоящий на носу кормчий с шестом в руках приказал морякам отвязать от деревянных тумб канаты, которые удерживали барку у причала, и тут я увидел старую Атуа, она, задыхаясь, бежала к барке со своей корзиной целебных трав, наконец доковыляла и, крикнув: «Прощай, сынок, да пребудет с тобою милость богов!» — кинула в меня сандалию — на счастье; я поймал ее и хранил потом долгие годы.

Барка отчалила. Нам предстояло шесть дней плыть по прекраснейшей в мире реке, останавливаясь на ночлег в каком-нибудь удобном месте. Но когда мы отделились от пристани, когда из глаз скрылся пейзаж, который я видел каждый день с тех пор, как появился на свет, когда я оказался один среди совершенно незнакомых лиц, сердце мое сдавила такая тоска, что я готов был заплакать, и только стыд помог мне удержаться от слез. Не буду здесь описывать чудеса, которые довелось мне увидеть по пути, ведь это только я смотрел на них впервые, всем остальным они известны с тех времен, когда Египтом правили его истинные боги. Однако жрецы, с которыми я плыл, относились ко мне очень почтительно и подробно рассказывали обо всем, что нам встречалось.

На седьмой день утром мы приплыли в Мемфис — Город Белых Стен.

Там я три дня отдыхал после путешествия, и жрецы красивейшего в мире храма, посвященного творцу всего сущего — Птаху, развлекали меня и показывали этот дивный, сказочно прекрасный город.

Верховный жрец и двое его приближенных тайно отвели меня в священное обиталище бога Аписа — быка, в обличье которого всемогущий Птах живет среди людей. Бык был черный, с белой квадратной звездочкой на лбу, на крупе белая отметина, формой напоминающая орла, во рту под языком выпуклость, очень похожая на скарабея, кисточка на конце хвоста черно-белая, между рогами пластинка из чистого золота. Я вступил в святилище и совершил обряд поклонения богу, а верховный жрец и его приближенные стояли в стороне и внимательно наблюдали. Когда я закончил ритуал и произнес слова, которые мне было велено произнести, бог опустил на колени и лег возле меня. Верховный жрец и двое его спутников, которые, как я потом узнал, были знатнейшие вельможи Верхнего Египта, приблизились ко мне и склонились в низком поклоне, ошеломленные знамением. Да, много, много удивительного видел я в Мемфисе, но, увы, мне не отпущено времени все это описать.

На четвертый день приехали несколько жрецов из Ана, чтобы отвести меня к моему дяде Сепу, который был верховным жрецом тамошнего храма. Я попрощался со всеми, кто был так добр ко мне в Мемфисе, мы переправились на другой берег, сели на ослон и двинулись в путь.

Сколько нам встретилось по дороге нищих селений, разоренных сборщиками налогов. Но видел я не только эти селения, передо мной впервые в жизни возникло это величайшее из чудес света — пирамиды, а перед пирамидами изображение Хор-эм-ахета, тот самый сфинкс, кого греки называют Гармахисом, храмы божественной праматери Исиды, расточительницы здоровья и радости, Осириса, владыки праведности и царства мертвых на западе, божественного Менкаура, храмы, в которых я, Гармахис, согласно священному праву рождения, должен стать верховным жрецом. Я смотрел на пирамиды, и дух захватывало от их величия; как искусно были вырезаны рельефы на белом песчанике, как ослепительно сверкал красный сиенский гранит, посылая лучи солнца обратно в небо. В те времена я еще ничего не знал о сокровищах, которые скрыты в третьей по величине из этих пирамид — о, если бы мне никогда не знать этой страшной тайны!

День начал клониться к вечеру, и тут впереди показался Ана. После Мемфиса меня поразило, что город такой маленький. Он стоит на возвышении, в ожерелье озер, питаемых каналом. Дальше, за городом, — храм бога Ра посреди огромной площади, окруженной стенами.

У ворот мы спешили, и под сводами колоннады нас встретил мужчина невысокого роста, но благородной наружности, с бритой головой и темными глазами, которые мерцали, точно далекие звезды.

— Приветствую тебя! — воскликнул он голосом густым и зычным, который никак не вязался с его тщедушным обликом. — Приветствую тебя, о путник! Я — Сепа, отворяющий уста богов.

— А я — Гармахис, — ответил я, — сын Аменемхета, верховного жреца и правителя священного города Абидоса. Я привез тебе письма от отца, о Сепе.

— Входи, — промолвил он. — Входи же! — Его мерцающие глаза внимательно меня разглядывали. — Добро пожаловать, мой сын! — И он повел меня в один из покоев во внутреннем помещении храма, затворил дверь, пробежал глазами письма, которые я ему отдал, и вдруг бросился мне на шею и крепко обнял.

— Будь благословен, — воскликнул он, — будь благословен, сын моей сестры, надежда Кемета! Наконец-то боги услышали мои молитвы и даровали мне счастье узреть твое лицо. Теперь я передам тебе мудрость, которой из всех египтян владею, быть может, один лишь я. Мне дозволено посвящать в нее только избранных. Но тебе предназначена великая судьба, и твои уши услышат изреченное богами.

Он снова обнял меня, потом сказал, что сейчас мне нужно пойти совершить омовение и подкрепиться едой, а завтра утром мы продолжим беседу.

И мы ее не только продолжили, — мы подолгу беседовали чуть не каждый день все годы, пока я жил в Ана, так что пожелаю я записать все сказанное дядей Сепе, во всем Египте не нашлось бы столько папируса. Я должен еще так много поведать вам, а времени у меня осталось так мало, поэтому я опущу события нескольких последующих лет.

Жизнь моя шла установленной чередой. Вставал я на рассвете, шел в храм на богослужение и потом весь день до вечера посвящал занятиям. Я изучил все религиозные ритуалы и постиг их смысл, узнал, как появились боги и богини, как возник потусторонний мир. Мне стали понятны тайны движения звезд, путь, который проходит среди них земля. Меня посвятили в древние знания, которые называются волхованиями, в науку толкования снов, я овладел искусством приближаться духом к Всемудрому. Мне объяснили язык священных символов, связь их внешних очертаний и сокровенной сути. Я познал извечные законы добра и зла, тайну, которую несет в себе человек. И еще я постиг тайны пирамид — о, если бы мне никогда их не знать! Я прочел летописи, в которых рассказывалось о делах

и днях всех фараонов, начиная с первых царей, правящих после Гора; я овладел искусством врачевания, изучил все тонкости и хитрости дипломатии, историю стран мира, и в первую очередь Греции и Рима. Я достиг совершенства во владении греческим языком и латынью — когда я приехал в Ана, я уже немного знал их, — и все то время, что я там прожил, все долгие пять лет, и руки мои, и помыслы были чисты, ни люди, ни боги не могли бы обвинить меня в том, что я совершил что-то дурное или лелею в душе зло; я без устали трудился, чтобы вобрать в себя все эти знания и стать достойным судьбы, которую мне предназначали.

Два раза в год отец мой Аменемхет присылал мне письма, полные заботы и любви, и дважды в год я отвечал ему, неизменно спрашивая, не считает ли он, что настало время завершить мои труды? Но срок ученичества все длился, длился, и я начал тяготиться этой жизнью, меня охватывало нетерпение, ведь я уже был взрослый мужчина, и не просто по годам — я был ученый муж и, конечно, жаждал деятельности, которой должна быть наполнена жизнь мужчины. Я даже порой сомневался, что мне и вправду предсказано стать венценосцем, — не досужие ли это выдумки мечтателей, принимающих желаемое за действительность? Да, в моих жилах течет кровь фараонов, я это знал, ибо мой дядя Сеп, жрец храма, показал мне хранящуюся ото всех в тайне пластину из сиенского гранита, на которой мистическими символами были выгравированы все до единого имена царей в той последовательности, как они правили. Но что толку от того, что я — законный наследник царского престола, когда моя держава, мой Египет обращен в раба и, постыдно пресмыкается перед погрязшими в роскоши Македонскими Лагидами, пресмыкается так давно, что, может быть, ему уже не хватит сил стереть с лица угодливую улыбку, расправить плечи и, сбросив ненавистное иго, гордо посмотреть в глаза миру со счастливой улыбкой свободного человека?

Вспоминал я и о том, как молился на крыше пилон в Абидосском храме, как боги ответили на мой призыв, и снова меня охватывали сомнения — во сне то было или наяву?

Однажды вечером, устав от занятий, я пошел прогуляться в священную рощу, что находится среди садов храма, и там, погруженный в глубокую задумчивость, чуть не столкнулся со своим дядей Сеп, который тоже медленно шел и о чем-то размышлял.

— Это ты, Гармахис? — крикнул он своим зычным голосом. — Почему так печально твое лицо? Не смог решить задачу, которую я тебе задал?

— Нет, милый дядя, — отвечал я, — задачу я как раз решил, она

оказалась совсем не трудной, но ты прав: я в самом деле опечален. Такая тяжесть на сердце, я истомился в этом уединении, мне кажется, меня вот-вот раздавит груз знаний, которые я постиг. Что пользы копить силы, если их нельзя применить?

— Как ты нетерпелив, Гармахис, — ответил он, — это все неразумие юности. Ты жаждешь изведать вкус битвы; тебе наскучило смотреть, как волны набегают на берег, — тебя манит броситься в кипящее бурное море и померяться силами с разъяренной стихией. Значит, ты хочешь покинуть нас, Гармахис? Все карнизы нашего храма залеплены ласточкиными гнездами, и когда птенцы выросли, они улетают, — так и ты, мой Гармахис. Что ж, пусть будет по-твоему: твое время настало, лети. Я научил тебя всему, что знаю сам, и, мне кажется, ученик превзошел учителя. — Он умолк и вытер свои черные блестящие глаза — так огорчила его предстоящая разлука.

— А куда же я направлюсь, о мой дядя? — радостно спросил я. — Вернусь в Абидос, где меня посвятят в таинства богов?

— Да, ты вернешься в Абидос, а из Абидоса поедешь в Александрию. В Александрии, о Гармахис, ты займешь трон твоих предков. Слушай же, как обстоят сейчас дела в стране.

Ты знаешь, конечно, что когда этот предатель, евнух Потин, нарушил волю покойного Авлета и сделал единоличным правителем Египта его сына Птолемея Диониса, его сестра, царица Клеопатра, бежала в Сирию. Ведомо тебе и то, что она вернулась, как и подобает царице, с огромным войском и заняла Пелузий, а как раз в это время могущественный Цезарь, великий из великих, избранник судьбы, плыл с небольшим флотом к нам, в Александрию, преследуя Помпея, которого разбил в кровавом сражении при Фарсале. Но когда Цезарь приплыл в Александрию, Помпей уже был мертв, его подло лишили жизни по приказу Птолемея Диониса военачальник Ахилл и командующий римскими легионами в Египте Луций Септимий; когда он прибыл, в Александрии страшно перепугались, хотели даже перебить его ликторов. Но Цезарь, как ты знаешь, захватил юного царя Птолемея Нового Диониса Двенадцатого и его сестру Арсиною и объявил, что распускает войска Клеопатры и войско Птолемея, которым командовал Ахилл, — они расположились друг против друга близ Пелузия и готовились к сражению. Но Ахилл презрел приказ Цезаря и двинулся на Александрию, осадил ее центральные кварталы с царским дворцом и гаванью — цитадель Бруцеум, и долгое время никто не знал, кто же будет править в Египте. Наконец Клеопатра решила, что надо действовать и придумала план — нужно признаться, весьма дерзкий. Оставив свои войска

в Пелузии, она подплыла вечером в лодке к Александрии и вдвоем с сицилийцем Аполлодором сошла на берег. Аполлодор завернул ее в драгоценные сирийские ковры и велел отнести ковры в подарок Цезарю. Когда во дворце развернули рулон, внутри оказалась прекраснейшая в мире молодая женщина, к тому же на редкость умная и образованная. И эта юная красавица покорила великого Цезаря — даже горькая мудрость прожитых лет не смогла защитить его от ее чар, и это безумство едва не стоило ему жизни, едва не отняло славу, добытую в бесчисленных войнах.

— Глупец! — прервал я дядю Сепу. — Презренный глупец! Ты называешь его великим — да разве истинно великий человек поддастся уловкам коварной женщины? И это Цезарь, одно слово которого изменяло ход истории! Цезарь, который мановением руки посылал в бой сорок легионов и покорял народы и страны! Цезарь, с его холодным, ясным умом, с его пронизательностью, этот прославленный герой попался в сети вероломной женщины! Нет, теперь я знаю: римлянин, которым ты так восхищаешься, был вылеплен из того же теста, что и все смертные, он был ничтожен и слаб!

Сепу внимательно поглядел на меня и покачал головой.

— Не суди так поспешно, Гармахис, умерь свою запальчивость и гордыню. Ведь ты же знаешь: все воинские доспехи скрепляются ремнями, и горе воину, если меч врага их рассечет. Запомни навсегда: нет силы более могущественной, чем женщина во всей ее слабости. Она — высшая повелительница. Она является нам в самых разных обликах и не гнушается никакими хитростями, чтобы найти путь к нашему сердцу; она мгновенно пронизает все и вся, но терпеливо ждет своего часа; она не отдается во власть страсти, как мужчина, но искусно управляет ею, как опытный наездник конем: если надо — натянет поводья, если можно — отпустит. Как для талантливого полководца нет неприступной крепости, так для нее нет сердца, которое бы она не заполонила. Ты молод, твоя кровь пылает огнем? Она будет неутомима в любви, ласки ее не иссякнут. Ты честолюбив? Она подстегнет твою жажду власти и укажет дорогу к вершинам славы. Ты устал, твои силы на исходе? Она даст тебе отдохновение. Ты споткнулся, упал? Она поднимет тебя и утешит, представив поражение блистательной победой. Да, Гармахис, все это подвластно женщине, ибо всегда и во всем Природа — ее верная союзница, а женщина, лаская, поддерживая и утешая тебя, часто лишь играет роль, преследуя свою собственную тайную цель, к которой ты не имеешь никакого отношения. Вот так-то, милый Гармахис: женщина правит миром. Ради нее ведутся войны; ради нее мужчина расточает свои силы, дабы

одарить ее богатствами; ради нее он совершает подвиги и преступления, ради нее добивается славы и власти, а женщина рассеянно отворачивается и уходит к другому — ты ей больше не нужен. Она смотрит на тебя и улыбается, как Сфинкс, и ни один-единственный мужчина не разгадал загадку этой улыбки, не проник в тайну ее души. Напрасно ты смеешься над моими словами, Гармахис: поистине велик тот, кто способен противостоять чарам женщины, которая незаметно обволакивает нас и торжествует победу, когда мы и не подозреваем, что повержены.

Я расхохотался.

— Как вдохновенно ты произнес свою проповедь, мой несравненный дядя Септа, — можно подумать, и тебя опалял огонь этих неодолимых искушений. Нет, за меня ты можешь быть спокоен, мне не страшны женщины со всем их коварством; они не влекут меня, я не желаю даже думать о них, и что бы ты ни говорил, я утверждаю: Цезарь был глупец. Я бы на его месте мгновенно укротил эту распутницу — приказал бы снова закатать ее в ковры и сбросил по дворцовой лестнице прямо в море.

— Молчи! Молю тебя, молчи! — закричал он. — Не искушай судьбу! Да отвратят от тебя боги беду, которую ты накликал на себя, и да сберегут твердость духа и неуязвимость, которыми ты похваляешься. Эх, дорогое мое дитя, ты еще совсем не знаешь жизни, — да, ты красив, как бог, кто сравнится с тобой в силе и ловкости, кто проник в такие глубины знаний, у кого такой дар красноречия, и все равно ты — всего лишь дитя. Мир, в который тебе предстоит вступить, отнюдь не святилище божественной Исиды. Но его можно изменить! Моли богов, чтобы твое ледяное сердце никогда не растаяло, и ты обретешь славу и счастье, а Египет — освобождение. А теперь позволь мне продолжить мой рассказ, — видишь, Гармахис, даже в столь важных поворотах истории решающую роль играет женщина. Брат Клеопатры, Птолемей Дионис, которого Цезарь освободил, предательски восстал против него. Но Цезарь с Митридатом разбили его войска, а сам Птолемей бежал. Он хотел переправиться на тот берег Нила, однако его собственные солдаты, бежавшие вместе с ним, стали цепляться за борта, пытались влезть в лодку и, конечно же, перевернули ее, и Птолемея постиг бесславный конец.

Когда война кончилась, Цезарь объявил младшего сына Птолемея Авлета, Нового Диониса Тринадцатого, сопровителем Клеопатры и ее официальным мужем, хотя она только что родила ему сына, Цезариона, а сам отправился в Рим, увез с собой сестру Клеопатры, прекрасную царевну Арсиною, которая должна была идти в цепях за его колесницей во время триумфального шествия по улицам Рима. Но великий Цезарь умер. Он



убивал — и его тоже убили, и, умирая, он проявил поистине царственное величие духа. Слушай же дальше. Наша царица, Клеопатра, если дошедшие до меня слухи не лгут, отравила своего брата и супруга, а маленького сына Цезариона посадила рядом с собой на трон, который удерживает с помощью римских легионов и, как говорят люди, Секста Помпея Младшего, занявшего в ее душе и постели место Цезаря. Но в стране кипит недовольство, зреет гнев против нее. По всем городам жители Кемета говорят об избавителе, который должен прийти. Этот избавитель ты, Гармахис. Грядет твой час. Скоро, скоро исполнятся сроки. Возвращайся в Абидос, постигни последние тайны, в которые посвятили нас боги, предстань перед теми, по чьему сигналу грянет гроза. И вот тогда действуй, Гармахис, — отомсти за наш Кемет, освободи страну от римлян и греков и займи принадлежащий тебе по закону трон твоих божественных предков, стань нашим фараоном. Вот для какой доли ты рожден, о царевич!

## **Глава V , повествующая о возвращении Гармахиса в Абидос; о церемонии Мистерий, посвященных смерти и воскресению Осириса; о призываниях Исиды; и о напутствии Аменемхета**

На следующий день я обнял моего доброго дядю Сепу и покинул Ана; меня сжигало нетерпение — скорее бы вернуться в Абидос. Не буду описывать свое путешествие, скажу только, что в положенный срок я без приключений вернулся туда, где не был пять лет и один месяц, вернулся не зеленым юнцом, каким его покинул, а зрелым мужем, который постиг науки, созданные людьми, и проник в тайны древней мудрости Египта, дарованной нам богами. Наконец-то я снова увидел родной край, увидел знакомые лица, хотя, увы, многих, кого я ожидал встретить, не было — их души отлетели в царство Осириса. Вокруг расстилались поля, среди которых прошло мое детство, мы приближались к храму, вот и его пилоны, из ворот уже вышли жрецы приветствовать меня, собралась целая толпа народу, впереди стояла старая Атуа, она почти не изменилась за долгие пять лет, прошедшие с того дня, когда она кинула мне вслед сандалию на счастье, только время провело своим резцом еще несколько морщин на ее лбу.

— Гармахис, мой дорогой Гармахис! — воскликнула она. — Наконец-то ты вернулся, наконец мы тебя дождались! До чего же ты красив, еще красивей, чем прежде! И какой сильный, мужественный! Какие могучие плечи, какое благородное лицо! И я когда-то нянчила тебя — как не гордиться старухе! Но ты что-то бледный, эти жрецы в Ана наверняка морили тебя голодом. Забудь их наставления: богам не угодны ходячие скелеты. Как говорят в Александрии: «На пустой желудок ни одна умная мысль в голову не придет». Ах, кукую радость подарили нам боги, какое счастье. Добро пожаловать в свой дом, добро пожаловать! — И, едва я слез с осла, бросилась меня обнимать.

Но я отстранил ее.

— Где отец? Где мой отец? — вскричал я. — Почему его нет здесь?

— Не тревожься о нем, любимый внучек, — отвечала она, — его

святейшество здоров; он ожидает тебя в своих покоях. Идем же к нему. О, благословенный день! Ликуй, Абидос!

И я пошел, вернее, побежал к покоям, которые уже описывал, и за столом увидел моего отца Аменемхета, он сидел в той же позе, что и в вечер нашей последней встречи, но как же он постарел! Я приблизился к нему, опустился на колени и поцеловал его руку, а он благословил меня.

— Посмотри на меня, сын мой, — сказал он, — позволь моим старым глазам взглянуть в твое лицо и прочесть твои мысли.

Я поднял к нему голову, и он долго не отрывал от меня внимательного взгляда.

— Да, я проник в твою душу, — наконец произнес он, — твои помыслы чисты и твоя мудрость глубока; ты не обманул моих надежд. О, каким одиночеством были наполнены для меня эти годы, но я не напрасно посылал тебя в Ана. Расскажи же мне о своей тамошней жизни, твои письма были так скупы, а сердцу отца драгоценно все, что касается сына, тебе это пока неведомо.

И я начал свой рассказ; уже давно настала ночь, а мы все не могли наговориться. Перед тем как проститься, он мне сказал, что теперь я должен готовиться к посвящению в последние таинства, которые открываются лишь избранникам богов.

И целые три месяца я готовился к великому событию, как того требуют веками чтимые обычаи. Я не ел мяса. Все дни проводил в святилищах, постигая тайны Великого Жертвоприношения и скорбь Благословенной Матери. Во время ночных бдений я молился перед алтарями. Мой дух возносился к Богу, я чувствовал, что между мною и Непостижимым установилась связь, земля и все земные радости стали казаться пустой, ничтожной суетой. Я больше не жаждал славы среди людей, мое сердце парило высоко над этим желанием, точно раскинувший крылья орел, оно было глухо к воплям страждущих, а красота земли не наполняла его восторгом. Ибо надо мной простирался бездонный небесный свод, по которому начертанным им путем движутся извечные звезды, определяя судьбы людей, где на своих огненных тронах восседают великие божества, наблюдая, как по сферам мироздания катится колесница Провидения. О блаженные часы медитации! Может ли тот, кто хоть раз изведал счастье, которое вы дарите, желать возврата на землю, где мы пресмыкаемся во прахе? О низменная плоть, как властно ты влечешь нас в бездну! Почему мне не удалось избавиться от тебя тогда, чтобы моя освобожденная душа устремилась к Осирису!

Три месяца искуса даже не пролетели, а промчались; близился день,

когда я воистину соединюсь с Матерью Всего Сущего. Как жаждал я увидеть твой светлый лик, о Исида, — трепетнее, чем Ночь ждет встречи с Рассветом, пламеннее чем влюбленный томится по своей прекрасной невесте. И даже сейчас, после того, как я тебя предал, когда ты недостижимо далеко от меня, о божественная, душа моя рвется к тебе и я знаю, что ты по-прежнему... Но мне запрещено приподнимать завесу и рассказывать о том, что хранилось в тайне с сотворения мира, и потому позвольте мне продолжить мое повествование и с благоговением описать события того священного утра.

Семь дней продолжалось великое празднество, семь дней разыгрывались мистерии, посвященные тому, как олицетворение тьмы и зла Сет преследовал и наконец предательски умертвил Владыку Праведности Осириса, как Великая Мать Исида оплакивала мужа, как ликовал мир, когда родился сын Осириса, божественный младенец Гор, который отомстил за отца и занял свое место среди сонма богов. Мистерии разыгрывались в строгом соответствии с древними канонами. По священному озеру плавали лодки, жрецы стегали себя плетью перед святилищами, ночью по улицам носили изображения богов.

И вот на седьмой день, когда солнце опустилось к горизонту, в храмовом дворе снова собралась огромная процессия, и хор стал петь о горе Исиды и о том, как зло было отомщено. Потом мы молча вышли из ворот и двинулись по улицам города. Служители храма прокладывали нам путь в толпе; впереди шествовал мой отец Аменемхет в парадном одеянии верховного жреца и с посохом из кедрового дерева в руке. Шагах в десяти от него в полном одиночестве шагал я, облаченный в одежды из чистого льна, как подобает тому, кто готовится принять посвящение; далее следовали жрецы в белых балахонах, с флагами на шестах и священными символами. За главными жрецами выступали младшие жрецы, они несли священную барку, потом следовали певцы и плакальщицы, а дальше извивалась нескончаемая траурная процессия, все были в черном, потому что Осирис умер. Мы в молчании прошли по улицам города и вернулись к храму. Когда отец мой, верховный жрец Аменемхет, вступил в храмовый двор через главный вход между пилонами, мелодичный женский голос запел священное песнопение:

Горе, о, горе: умер Осирис!  
Скорбите, люди, скорбите, великие боги!  
Светоч творенья угас.  
Солнце померкло,

Тьма пеленою окутала мир.  
Рыдает Исида над телом любимого мужа.  
Плачьте, о звезды, плачьте, светила,  
Плачьте, дети Сихора, — ваш повелитель мертв!

Нежный голос поющей умолк, но огромная толпа подхватила скорбные слова погребального гимна:

Несем свою скорбь мы в залы великого храма,  
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ,  
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!  
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!  
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»

Замерли печальные голоса хора, и снова вступила певица:

Плачут, скорбя вместе с нами, привратные башни,  
Плачут священные рощи,  
Плачут озера,  
Плачет божественный храм,  
Плачут семь его древних святилищ.  
Плачут вечные стены,  
Плачут, обнявши друг друга,  
Изваянья небесных сестер — Исиды и Нефтиды.

И снова воззвал тысячеголосый хор:

Несем свою скорбь мы в залы великого храма,  
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ.  
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!»  
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!»  
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!

Опять звучит нежный, проникающий в самое сердце голос:

Супруг возлюбленный, мой повелитель,  
Мрак и холод в царстве Аменти тебя окружают.  
Твоя Исида зовет: приди, не будь так далек от меня!  
Ты — сияние Ра.

Вырвись из тьмы,  
Что стеною тебя оградила.  
Я ищу тебя, я жажду увидеть тебя,  
Сердце горит от разлуки.  
Где только я ни искала тебя:  
И на земле, и в тверди небесной,  
В глубинах вод и на звездах.  
Силы иссякли, а слезы мои никогда не иссякнут.  
Я тоскую, супруг мой, воскресни из мертвых,  
Вернись, наш Осирис, верни нам надежду и жизнь!

Несем свою скорбь мы в залы великого храма.  
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ  
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!  
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!  
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»

В голосе поющей зазвенела радость:

Глядите — он оживает!  
Он воскресает — о чудо!  
Славен сын Нут, зачатый в божественном лоне!  
У врат тебя ожидает Исида,  
Ожидает возлюбленная твоя жена.  
Богиня тебя обнимает,  
Припадает к твоей груди,  
Вдыхает в тебя свою жизнь.  
О диво, великое диво -  
Он дышит, он пробудился от сна!  
Благословенны пальцы Исиды, несущие жизнь!  
Осирис, всемудрый, всеславный, всезидитель.  
Снова ты с нами!  
С неба слетает подобный пламени сын твой Гор  
И гонит Сета-злодея к месту казни.

Мы склонились перед Божественным Владыкой, а голос поющей теперь ликовал, и на это ликование, казалось, отозвались даже могучие древние стены, а сердца внимающих ей стеснились неизъяснимым волнением. Но вот прекрасная мелодия отзвучала, и в огромный двор

спустилась тишина. Мы двинулись дальше, и она запела Песнь Воскресшего Осириса, Песнь Надежды, Песнь Торжества:

Осирис, Исида, Гор,  
Пребудьте славны вовек!  
Осирис, Исида, Гор,  
Пребудьте с нами вовек!  
Да правит миром добро,  
Да сияют правда и свет!  
Мы падаем ниц перед вами -  
Перед Великой Священной Тριάдой!  
Этот храм — ваш божественный дом,  
Здесь ваш трон, здесь мы молимся вам!  
Юный Гор защитил нас от зла.  
Радуйтесь, люди, радуйся, мир,  
Всеблагие вовеки с нами!

И опять, когда замерли последние звуки, нас оглушил могучий хор:

Несем свою скорбь мы в залы великого храма,  
Несем свою скорбь в семь его древних святилищ  
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!  
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!  
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»

Вот хор умолк, и в тот миг, когда последний крошечный сегмент солнечного диска скрылся за горизонтом, верховный жрец взял в руки статую живого бога Осириса и поднял перед толпой, которая заполнила весь храмовый двор. С уст людей сорвался оглушительный крик самозабвенного восторга: «Осирис! Осирис! Ты воскресил нашу надежду!», все стали срывать с себя черные плащи, под которыми оказались праздничные белые одежды, потом вся многотысячная толпа склонилась перед богом, и празднества на этом кончились.

Но для меня самое главное только начиналось — нынешней ночью мне предстояло таинство посвящения. Покинув храмовый двор, я совершил омовение, облачился в одежды из тончайшего льна, вошел в одно из храмовых святилищ — но не в его святая святых — и возложил жертвенные приношения на алтарь. Потом воздел руки к небу и надолго погрузился в медитацию, пытаясь с помощью молитв возвыситься и

укрепиться духом, дабы достойно выдержать тяжкое испытание.

Час медленно тек за часом в безмолвии храма, но наконец дверь отворилась, и в святилище вошел мой отец, верховный жрец Аменемхет, облаченный в белое, и с ним жрец Исиды. Ведь отец был женат и не имел права участвовать в таинствах Благотворящей Праматери.

Я поднялся с колен и смиренно встал перед ними.

— Готов ли ты? — спросил жрец и поднял светильник, который принес, так что пламя озарило мое лицо. — Готов ли ты, о избранный, предстать пред ликом великой богини?

— Готов, — прошептал я.

— Обдумай все еще раз, — торжественно произнес он. — Это очень важное решение. Если ты так упорно стоишь на своем, ты должен знать, царевич Гармахис, что нынешней же ночью твоя душа покинет свою земную оболочку, и все то время, пока она будет пребывать в царстве духа, ты останешься лежать в храме трупом. И когда ты после смерти предстанешь перед судьями Аменти и они — да не допустит этого благостный Осирис — увидят в твоём сердце зло, горе тебе, Гармахис, ибо дыхание жизни никогда больше не вернется в твоё тело, оно без следа исчезнет; что же случится с другими элементами твоего существа, я не имею права тебе открыть, хоть и знаю. Поэтому загляни в себя еще раз и ответь мне: чисты ли твои помыслы и свободны ли от тени зла? Готов ли ты, чтобы тебя приблизила к себе Та, что вечно была, есть и будет, готов ли беспрекословно выполнять её священную волю, выполнять все, что бы она ни приказала; готов ли по её велению отринуть все мысли о земных женщинах, готов ли до конца дней служить Ей, умножая её славу, пока Она не заберет тебя к себе, в царство вечной жизни!

— Готов, — ответил я. — Веди меня.

— Что ж, хорошо, — произнес жрец. — Прости, благородный Аменемхет, теперь мы пойдем с ним вдвоем.

— Прощай, мой сын, — сказал отец, — будь тверд, и ты восторжествуешь в лучезарном царстве духа, как восторжествуешь потом на земле. Тот, кто воистину хочет править миром, должен сначала вознестись над ним. Он должен почувствовать себя равным Великому Творцу, ибо только это ощущение позволит ему постигнуть божественные тайны. Но помни: боги очень ревниво относятся к смертным, которые посмели приблизиться к их избранному сонму миродержцев. Если эти смертные возвращаются к живым на землю, их судят по более суровым законам и налагают более жестокую кару, и если они совершат зло, то на века покروют себя черным позором, зато их добрые деяния воссияют в



истории народов и стран как солнце. Итак, мой царственный Гармахис, укрепи свое сердце мужеством! И когда ты будешь лететь по просторам Ночи и потом вступишь в царство Всеблагих, помни: тот, кого щедро одарили, должен так же щедро одарять других. А теперь, если ты действительно решился, ступай туда, куда мне пока нельзя тебя сопровождать. Прощай же!

Его слова тяжким грузом придавили мое сердце, и удивительно ли, что я на миг заколебался! Но мне так страстно хотелось оказаться среди сонма небесных сил, и я знал, что моя душа и помыслы свободны от зла, я мечтал свершить лишь то, что справедливо. С каким трудом натягивал я тугую тетиву... нет, стрела должна вылететь!

— Идем! — воскликнул я. — Веди меня, о мудрый жрец! Я следую послушно за тобой.

И мы двинулись в путь.

## **Глава VI , повествующая о посвящении Гармахиса; о явленных ему видениях; о пребывании в городе, который находится в царстве мертвых; об откровениях Исиды — Вестницы Непостижимого**

Безмолвно вступили мы в святилище Исиды. Зал был темен и пуст, дрожащий огонек светильника тускло освещал рельефы на стенах — бесчисленные изображения Небесной Матери Исиды, кормящей грудью младенца Гора. Жрец затворил двери и запер их.

— В последний раз вопрошаю тебя, — произнес он, — воистину ли ты готов, Гармахис?

— Воистину, — ответил я, — воистину готов.

Больше он ничего не сказал, он лишь воздел к небу руки в молитве, потом отвел меня в центр святилища и, быстро дунув на светильник, погасил пламя.

— Смотри же, о Гармахис! — воскликнул он, и голос его отозвался гулким эхом в мрачном зале.

Я стал всматриваться в темноту, но ничего не увидел. Однако из ниши высоко в стене, где, скрытый от взоров, находится священный символ богини, лицезреть который дозволено лишь избранным, послышались звуки, словно бы кто-то играл на сестре. Я слушал мелодичные переливы, пораженный благоговейным ужасом, и вдруг — о, чудо! — увидел самый символ, очертания которого как бы горели в плотной черноте. Он парил надо мной, и из него лился нежный перезвон. Потом символ повернулся, и я ясно увидел вырезанное на одной стороне пластины лицо Благотворящей Матери Исиды, которая воплощает вечное рождение жизни, а на другой стороне — лицо ее небесной сестры Нефтиды, которая олицетворяет возвращение всего рожденного в смерть.

Пластина медленно изгибалась и раскачивалась надо мной, как будто высоко в воздухе танцевало мистическое существо. Но вот огонь, очерчивающий контуры символа, погас, треньканье смолкло. И тут дальний конец зала ярко озарился, и в этом ослепительном свете передо мной стали одна за другой разворачиваться удивительные картины. Я увидел древний

Нил, несущий свои воды через пустыни к морю. На его берегах не было людей, не было ни одного возделанного поля, не было храмов, воздвигнутых в честь богов. Только вольные птицы безмятежно плавали по зеркальной поверхности Сихора, да странные чудища плюхались с берегов в воду и неуклюже барахтались, поднимая тучи брызг. Над Ливийской пустыней величественно опускалось к горизонту солнце, окрашивая реку в кроваво-красный цвет; в безмолвное небо возносились горы; но ни в горах, ни в пустыне, ни на реке не чувствовалось присутствия человека. И тогда я понял, что вижу мир таким, каков он был до появления людей, и душу мне пронзило одиночество этого мира.

Видение исчезло, на его месте появилось другое. Снова я увидел берега Сихора, и на них стаи волосатых существ, больше похожие на обезьян, чем на людей: они дрались и убивали друг друга. Пылали подожженные тростниковые хижины, мародеры тащили из них пожитки своих врагов. Вольные птицы в испуге поднялись в воздух и улетели. Эти существа крали, зверствовали, грабили, истребляли друг друга, раскалывали детям головы каменным топором, так что разлетались мозги. И хотя жрец ничего не объяснял мне, я понял, что вижу человека таким, каким он был десятки тысяч лет назад, когда лишь появился на земле.

Вот возникла новая картина. Слова передо мной были берега Сихора, но теперь на них стояли города, прекрасные, как в сказке. Вокруг раскинулись бескрайние возделанные поля. В ворота городов свободно входили люди и так же свободно выходили. Не было ни стражей, ни солдат, ни оружия. Здесь царили мудрость, благоденствие, мир. И пока я с восхищением глядел на это чудо, послышалась музыка и из святилища вышел удивительной красоты мужчина в сияющих одеждах и, окруженный неизвестно откуда звучащей музыкой, двинулся на рыночную площадь, которая была расположена на самом берегу, и там сел на трон из слоновой кости лицом к воде; лишь только край солнца коснулся горизонта, он призвал огромную толпу к молитве. Все благоговейно склонились, и стройно понеслись слова молитвы, точно их произносил один человек. И я понял, что в этой картине мне явлены времена, когда на земле царили боги, а было это задолго до правления фараона Менеса.

Но вот картина стала меняться. Тот же самый прекрасный город, но люди уже другие — их лица искажены алчностью и злобой, сердца переполняет ненависть к добру и благочестию, их неудержимо влечет к себе порок. Настал вечер; прекрасный светозарный бог взошел на трон и призвал к молитве, но ни единый человек в толпе не склонился, никто не сотворил ее.

— Ты надоел нам! — закричали голоса в толпе. — Посадим на трон Зло! Убьем его! Убьем! Освободим томящееся в оковах Зло! Пусть оно правит нами! Да здравствует Зло!

Прекрасный бог встал и долго смотрел кротким взглядом на беснующуюся толпу.

— Вы сами не ведаете, чего пожелали, — наконец произнес он, — но пусть ваше желание исполнится, раз уж оно так сильно. Ибо даже если я умру, вы все равно после долгих мук снова найдете с моей помощью путь в Царство Добра!

И едва он произнес эти слова, как на него набросилось отвратительное чудовище и, изрыгая проклятья, убило бога и зверски растерзало, разорвало на части прекрасное светозарное тело, а потом под ликующие вопли толпы село на трон и стало править. Но с неба на радужных крыльях [69] спустилась тень, лицо которой было скрыто покрывалом, и, рыдая, стала собирать растерзанные останки светозарного бога. Потом пала на них, но немного погодя подняла голову и воздела к небу руки, обливаясь слезами. Слезы ее лились и лились, и вдруг возле нее возник воин в полном боевом снаряжении, и лицо его было подобно лику всеиспепеляющего Ра в полдень. Божественный мститель с кличем устремился к чудовищу, которое заняло трон, они сплелись, пытаясь одолеть друг друга, и так, в вечном нерасторжимом объятии борьбы унеслись в небеса.

Быстрее замелькали картины. Я видел царей и народы, менялись их одежды, по-разному звучали языки, на которых они говорили. Сколько их было — не счесть, и каждый любил, ненавидел, боролся, страдал, умирал... Несколько счастливых лиц, несколько лиц, отмеченных печатью глубочайшей скорби, но и счастье, и скорбь встречались так редко, на всех остальных бесчисленных миллионах лиц застыла тупая покорность. Сменялись поколения, а высоко в небе Мститель по-прежнему сражался с Владыкой Зла, и победа склонялась то в сторону одного, то в сторону другого. Но ни один так и не одержал верх, и мне не дано узнать, чем кончится их битва.

Я понял, что видения, которые мне были явлены, рассказывают о великой борьбе сил Добра и Зла. Я понял, что человек был сотворен жестоким и порочным, но высшие силы исполнились к нему сострадания и снизошли на землю, желая сделать его добрым и счастливым, ибо доброта и есть счастье. Но человек не мог одолеть свою злобную натуру, и светлый дух Добра, которого мы называем Осирисом, хотя у него бесконечное множество имен, принес себя в жертву во имя искупления жестокости тех, кто отринул его. Потом от него и от Божественной Матери, животворящей

всю природу, родился еще один бог, который охраняет нас на земле, как Осирис защищает нас в Аменти.

Вот она, разгадка таинства Осириса.

Эта истина вдруг открылась мне, когда я глядел на проплывающие передо мной видения. Суть посвященных Осирису мистерий обнажилась, точно мумия, с которой сорвали погребальные пелены, и мне стал внятен смысл нашей религии: ее основа — Искупительная Жертва.

Видения исчезли, и снова жрец, приведший меня сюда, спросил:

— Проник ли ты, о Гармахис, в значение того, что тебе было позволено увидеть!

— Проник, — ответил я. — Стало быть, обряд посвящения завершен?

— О нет, он только начался. Тебе предстоит долгий путь, и ты пойдешь по нему один. Сейчас я оставлю тебя и вернусь, когда встанет солнце. Но я еще раз хочу остеречь тебя: лишь немногие могут выдержать то, что тебе начертано увидеть, и остаться в живых. За всю мою жизнь только три смельчака отважились подвергнуться этому страшному испытанию, и пережил его лишь один, двое других лежали мертвые, когда я приходил за ними утром. Сам я не решился подняться по этой тропе. Такая высота не для меня.

— Ступай, — отвечивал я. — Душа моя жаждет знания. Ничто меня не остановит.

Он возложил мне руку на голову, благословил и пошел прочь. Я слышал, как он закрыл за собой дверь, как потом долго замирало эхо его неторопливых шагов.

И вот я почувствовал, что остался один, один в святилище, наполненном присутствием неземных существ. Все окутала тишина, глубокая и черная, как царящий в храме мрак. Тишина напозала, сгущалась, как то облако, что скрыло лик луны, когда я еще юношей молился ночью на площадке пилонa. Вязкая, тягучая, она проникла в мое сердце и там закричала: ведь голос полного безмолвия страшнее леденящего кровь вопля. Я произнес какие-то слова, но эхо отлетело от стен — оглушенный, я чуть не упал. Нет, безмолвие было легче вынести, чем такое эхо. Что мне предстоит увидеть? Неужели я сейчас умру, умру в расцвете молодости и сил? Недаром и меня столько раз предупреждали, что испытание будет ужасным. Страх сковал меня, в сознании билась одна только мысль — бежать, бежать! Бежать... но куда? Двери храма заперты, я в ловушке. Я наедине с богами, наедине с небесными силами, которые я вызвал. Нет, нет, мое сердце чисто, в нем нет ни крупички зла. Пусть я умру, но я выдержу, выдержу предстоящий мне ужас.

— Исида, Благостная Праматерь, Небесная Супруга, — начал я молиться, — снизойди ко мне, поддержи меня, вдохни в меня силы, побудь со мной.

И вдруг я почувствовал, что что-то произошло. Воздух вокруг меня с шумом всколыхнулся, словно рассекаемый взмахами орлиных крыльев, ожил. В меня впились горящие глаза, душа содрогалась от страшных шорохов. Тьму пронзили лучи света. Лучи мерцали и переливались, они наплывали друг на друга, сплетались в мистические знаки, смысла которых я не понимал. Лучи кружились и плясали все быстрее и быстрее, мистические знаки сближались, соединялись, наливались огнем, гасли, снова вспыхивали, и, наконец, все слилось в бешеном вихре, глаза уже не могли различить форм и оттенков. Я плыл по светозарному океану, волны взлетали, низвергались, меня то возносило ввысь, потом швыряло в бездну. Свет, сияющий беспредельный свет, и я в экстазе ликования парю в нем!

Но мало-помалу кипящие волны воздушного океана начали меркнуть. По поверхности побежали огромные тени, снизу поднималась чернота, тени и мрак слились, и только я горел огненной вспышкой, точно звезда на челе безбрежной ночи.

Где-то вдалеке раздались грозовые раскаты музыки. Они приближались, пронизывая мрак, и он сначала отзывался на них легким трепетом. Но музыка неотвратимо надвигалась, накатывала, как прибой, грозная, могучая, оглушающая, и вдруг хлынула, налетела на меня, словно обрушив плеск крыльев огромной стаи птиц, все ревело и дрожало вокруг меня, и душа готова была разорваться от ужаса и восторга. Но вот все проплыло мимо, раскаты слышались все тише и наконец замерли где-то в далеких пространствах. Еще несколько раз я окунался в стихию музыки, и всякий раз она была разной. То словно бы бряцали тысячи сistr; то раздавался рев бесчисленных медных труб; то оведало пение нежных, неземных голосов; то мир медленно наливался громом мириадов барабанов. Но вот все звуки отзвучали; замерло эхо, и снова на меня навалилось и стало душить безмолвие. Я чувствовал, что силы мои слабеют, жизнь иссякает во мне. Приближалась смерть, и смерть эта была — Безмолвие. Она вошла в мое сердце и наполнила его цепенящим холодом, но мысль моя была еще жива, я все ясно осознавал. Я знал, что медленно приближаюсь к черте, отделяющей царство живых от царства мертвых. Медленно? Нет, меня стремительно несет к ней, и, о боги, как же мне страшно! Молиться, нужно молиться, но поздно, уже нет времени для молитвы. Миг отчаянной борьбы, потом в мое сознание влилось успокоение. Ужас исчез, сон, тяжкий, как каменная глыба, расплющил

меня. Я умираю, мелькнуло в последнем проблеске сознания, вот она, смерть... и меня поглотило ничто.

Я умер!

Но что это? Жизнь возвращается ко мне, хотя между той, прежней жизнью и этой, новой — пропасть, она совсем другая. Я снова стою в темноте храма, но тьма больше не слепит меня. Она прозрачная, как свет дня, хотя и черная. Да, я стоял, я был жив, и все же это был не совсем я, это была моя душа, ибо рядом на полу лежала моя мертвая земная оболочка. Лежала тихо, недвижимо, и на лице, в которое я вглядывался, застыло страшное последнее спокойствие.

Не знаю, сколько я так стоял и в изумлении разглядывал сам себя, но вдруг и меня подхватили огненные крылья и понесли прочь, так быстро, что за нами не угнаться самой молнии. Я падал вниз в бездонные пространства пустых миров, где лишь переливались венцы созвездий. Мы пронзали бесконечность, и, казалось, полет наш будет длиться вечно, но вот он наконец замедлился, и я увидел, что парю в куполе мягкого тихого света, разлитого над храмами, дворцами и домами волшебной красоты, такие никогда не снились людям на земле даже в самых чудесных снах. Они были сотворены из пламени и мрака. Их шпили возносились головокружительно высоко, вокруг цвели пышные сады. Я парил в невесомости, а картина беспрерывно изменялась перед моими глазами: пламя обращалось в тьму, тьма вспыхивала пламенем. Сверкали и переливались, точно драгоценные камни, радуги, затмевая свет, который заливают Царство Мертвых. Я видел деревья, и шелест их листьев был отраден, как музыка; меня оведал ветерок, и его дуновение, казалось, приносит нежную песнь.

Ко мне устремились существа прекрасные, таинственные, с зыбкими, текучими очертаниями, и опустили меня вниз, и я словно бы встал на землю, только не на ту, прежнюю, а на какую-то другую.

— Кто явился к нам? — спросил глас божества, приводящий в священный трепет.

— Гармахис, — отвечали существа с зыбкими, текучими очертаниями. — Тот самый Гармахис, которого вызвали с Земли, чтобы он взглянул в лицо Той, что вечно была, есть и будет. Явился сын Земли Гармахис!

— Откройте же ворота и распахните двери! — повелел глас божества. — А потом замкните ему уста немотой, дабы его голос не нарушил небесную гармонию; отнимите у него зрение, дабы он не увидел того, что не предназначено для очей смертных, и отведите туда, где пребывает Единый. Ступай, сын Земли; но, прежде чем идти, взгляни наверх, и ты поймешь, как далеко сейчас от тебя твоя Земля.

Я поднял голову. За ореолом немеркнувшего света, который сиял над городом, простиралась черная ночь, и высоко в этом черном небе мигала маленькая звезда.

— Се мир, который ты оставил, — произнес глас, — взирай и трепещи.

Чьи-то руки коснулись моих уст, и их сковала немота, коснулись глаз — и я ослеп. Ворота отворились, двери распахнулись во всю ширь, и меня внесли в город, который находится в Царстве Мертвых. Мы двигались очень быстро, куда — не знаю, но скоро я почувствовал, что стою на ногах. И снова глас божества повелел:

— Снимите с его глаз черное покрывало, разомкните ему уста, и пусть к сыну Земли, Гармахису, вернуться зрение и слух и ясность мысли, пусть он благоговейно падет ниц в святилище Той, что вечно была, есть и будет.

К моим устам и векам снова прикоснулись, и я вновь обрел зрения и речь.

О, чудо! Я стоял в зале из чернейшего мрамора, таком высоком, что даже в розоватом свете, что освещал его, мои глаза едва различали могучие своды потолка. Звучала тихая торжественная музыка, вдоль стен стояли длинные, вытянутые во всю их высоту, крылатые духи, сотканые из бушующего пламени, и пламя это так слепило глаза, что смотреть на них было невозможно. В центре зала был алтарь, маленький, квадратный, пустой, и я стоял перед ним. Снова раздался глас:

— О Ты, которая всегда была, есть и будешь; Ты, Многоименная, истинного имени которой назвать нельзя; Ты, Измерительница Времени, Посланица Богов, Охранительница миров и всех существ, что их населяют; Мать вселенной, до которой было лишь Ничто; Ты, Творящая, но Несотворенная; Светозарная Жизнь, не заключенная в форму; Живая Форма, не облеченная в материю; Исполнительница Воли Непостижимого; Дитя порядка, рожденного из хаоса; Держащая в своих руках весы и меч Судьбы; Сосуд Жизни, через который протекает вся жизнь, дабы вновь в него вернуться; Ведущая Запись всему, что совершается в истории; Исполнительница предначертанного Провидением, внемли мне!

Египтянин Гармахис, вызванный твоею волей с Земли, ожидает перед твоим алтарем, глаза его обрели зрение, уши — слух, сердце открыто. Внемли мне и слети к нам! Явись, о Многоликая! Яви свое сияние! Дай нам услышать тебя! Пусть дух твой осенит нас. Услышь меня и предстань пред нами!

Призывания смолкли, настала тишина. Потом в тишине словно бы



зарокотало море. Но вот рокот стих, и я, повинуюсь неведомой мне силе, опустил руки, которыми закрывал лицо, и посмотрел вверх: над алтарем клубилось маленькое темное облачко, и из него то вдруг появлялся огненный змей, то исчезал внутри.

И тогда все божества и духи, облаченные в свет, пали на мраморный пол и стали громко молиться; но я не понимал ни единого слова из того, что они произносили. Темное облачко — о, чудо! — опустилось на алтарь, огненный змей потянулся ко мне, лизнул мой лоб своим раздвоенным язычком и скрылся. Из облачка послышался небесно нежный голос, тихий и царственный:

— Удалитесь, мои служители, оставьте меня с сыном Земли, которого я призвала к себе.

И точно стрелы, выпущенные из лука, облаченные в пламя духи и божества улетели прочь.

— Не бойся, о Гармахис, — произнес голос. — Я — Та, которую ты знаешь под именем Исиды, это имя мне дали египтяне; не пытайся узнать обо мне что-то еще — это тебе недоступно. Ибо я — все сущее. Жизнь — моя душа, Природа — облачение. Я — смех ребенка, я — любовь юной девушки, я — поцелуй матери. Я — дитя и служанка Непостижимого, который есть Бог, или Великий Закон Мироздания, или Судьба, хотя сама я и не Богиня, и не Судьба, и не Закон. Это мой голос ты слышишь, когда на земле дуют ветры и режут океаны; когда ты глядишь на звездную твердь, ты видишь мой лик; когда весной все покрывается цветами, это я улыбаюсь, о Гармахис. Ибо я — сущность Природы, и все, что она созидает, есть я. Все живое одухотворено моим дыханием. Я рождаюсь и умираю, когда рождается и умирает луна; я поднимаюсь с волнами прилива и вместе с ними опадаю; я встаю на небе, когда встает солнце; я сверкаю в молнии и грохочу в раскатах грома. Я все великое и грозное, что царствует и повелевает, я все малое и смиренное, что прозябает в ничтожестве. Я в тебе, Гармахис, а ты — во мне. То, что вызвало из небытия тебя, вызвало и меня. И потому хоть велико мое могущество, а тебе подвластно так мало, — не бойся. Ибо нас связывает общая нить жизни — той жизни, что течет по этой нити через просторы вселенной к солнцам и звездам, к божествам и душам людей, объединяя всю природу в единое целое, вечно меняющееся и во веки веков неизменное.

Я склонил голову — говорить я не мог, меня сковывал страх.

— Ты верно служишь мне, о сын мой, — продолжал тихий нежный голос, — велико было твое желание встретиться со мною здесь, в Аменти, и ты проявил воистину великое мужество и выполнил его. Ибо

освободиться от своей смертной оболочки раньше срока, назначенного тебе Судьбой, и воплотиться в ипостаси духа, хотя бы на единый час, — подвиг, на который способны лишь избранные. И я, о мой слуга и сын мой, я тоже страстно желала увидеть тебя здесь, в этом Царстве Мертвых. Ведь боги любят тех, кто любит их, но любовь богов глубже и сильнее, а я, исполняющая волю Того, кто так же далек от меня, как я — от тебя, простого смертного, я — повелительница всех богов. И потому, Гармахис, я повелела, чтоб ты предстал здесь предо мной; и потому я говорю с тобою, и хочу, чтоб ты открыл мне свою душу, как в ту ночь на башне храмовых ворот в Абидосе. Ведь я была тогда с тобой, Гармахис, как была в тот же самый миг в мириадах других миров. И это я вложила в твою ладонь цветок лотоса — знак, о котором ты молил. Ибо в твоих жилах течет царственная кровь моих детей, которые служили мне тысячелетие за тысячелетием. И если ты восторжествуешь над врагами, ты сядешь на древний трон царей, ты очистишь мои оскверненные храмы, и Египет будет поклоняться мне, как встарь, со всей беззаветностью веры. Но если ты потерпишь поражение, тогда вечноживущий дух, Исида, превратится для египтян всего лишь в воспоминание.

Голос умолк, и я, наконец-то собрав все свои силы, спросил:

— Скажи мне, о дарующая благодать, значит я обречен на поражение?

— Не спрашивай меня, — ответил голос, — не спрашивай о том, что мне не должно говорить тебе. Быть может, мне дано предугадать, что уготовано тебе; быть может, я не хочу предсказывать твою судьбу. Владыка Вечности взирает, как все в мире развивается своим чередом, — так разве станет он торопить цветок расцвести, когда семя растения едва успело лечь в лоно земли? Придет срок, и бутоны раскроются сами. Знай, Гармахис: не я творю будущее — его творишь ты, оно рождается Великим Законом Мироздания и волей Непостижимого. А ты — тебе дана свобода выбирать, и победишь ты или потерпишь поражение, зависит от того, насколько ты силен и чист сердцем. Вся тяжесть ляжет на тебя, Гармахис, — и бремя славы, и бремя позора. Что мне за дело до того, что будет? Ведь я лишь исполняю предначертанное. А теперь слушай меня, мой сын: я всегда буду охранять тебя, ибо, подарив кому-то свою любовь, я дарю ее навек и не отнимаю дара, хотя бы ты и совершил что-то дурное и тебе порой будет казаться, что ты утратил ее. Так помни же: коль победишь — тебя ждет великая награда; проиграешь — поистине страшная кара падет на тебя и там, на Земле, и здесь, в стране, которую вы называете Аменти. Но я хочу тебя утешить: муки и позор не будут длиться вечно. Как бы низко ни пал праведный, если в его сердце живет раскаяние, он может найти путь —

путь тернистый, горький, — и снова подняться к прежним высотам. Да не допустят высшие силы, чтобы тебе пришлось искать этот путь, о Гармахис!

И вот что я еще тебе скажу, мой милый сын: ты так преданно любишь меня, и, пытаюсь выбраться из лабиринта лжи на земле, в котором гибнет столько людей, ибо они принимают оболочку за дух, а алтарь за бога, ты нашел ниточку Многоликой Истины; и я тоже люблю тебя и надеюсь, что настанет день, когда ты благословенный Осирисом, вступишь в мое сияние и будешь служить мне; и потому, Гармахис, тебе будет дано услышать Слово, которым те, кто говорил со мной, могут вызвать меня из горнего мира и увидеть лик Исиды, даже взглянуть в глаза Вестнице Непостижимого — и это значит, что ты спасен от уничтожения в смерти.

Смотри же!

Неземной голос умолк; темное облачко над алтарем заклубилось, стало менять очертания, вот оно вытянулось, посветлело, засветилось, и передо мной возникла зыблящаяся фигура женщины в покрывале. Из ее сердца снова выполз золотой змей и живым венцом обвил туманное чело.

И тогда глас изрек Божественное Слово, и все покровы спали и растворились в воздухе, моим глазам предстало сияние такой непереносимой красоты, что даже вспоминая ее я едва не лишаюсь чувств. Но мне не позволено открывать людям то, что я видел. Да, много времени прошло с тех пор, однако и сейчас я не могу нарушить запрет, хоть мне и было велено поведать о событиях, которых я был участником и свидетелем, в надежде, что моя летопись, быть может, сохранится для грядущих поколений. Итак, мне было явлено то, что невозможно и вообразить, ибо есть в мире высшая красота и высшее величие, которые недоступны человеческому воображению. Я их увидел и не выдержал этого зрелища, я пал ниц, чувствуя, что этот образ навеки врезался в мою память, зная, что Великое Слово будет нестихающим эхом вечно звучать в моей душе.

И когда я падал, мне показалось, что огромный зал словно бы раскололся и обломки свились огненными языками вокруг меня. Потом налетел могучий ураган, раздался космический гул, мелькнула мысль: это гул миров, несущихся в потоке Времени... и все исчезло, меня не стало.

## **Глава VII , повествующая о пробуждении Гармахиса; о его коронации венцом Верхнего и Нижнего Египта; и о совершенных ему приношениях**

Я проснулся и увидел, что лежу, простертый, на каменном полу святилища Исиды в Абидосском храме. Надо мной стоял старик-жрец, руководивший моим посвящением, в руке у него был светильник. Он нагнулся ко мне, внимательно вглядываясь в лицо.

— Уже день, Гармахис, — день твоего второго рождения, ты прошел таинство посвящения и родился заново! — произнес он наконец. — Благодарение богам! Встань, царственный Гармахис... нет, не рассказывай мне ничего о том, что с тобой происходило. Встань, возлюбленный сын Всеблагой Матери. Идем же, о проникший сквозь огонь и увидевший, что лежит за океаном тьмы, — идем, рожденный заново!

Я поднялся и, с трудом преодолевая слабость, ошеломленный, потрясенный, двинулся за ним из темноты святилища на яркий утренний свет. Я сразу же ушел в комнату, где жил, лег и заснул, и никакие видения не тревожили на этот раз мой сон. И ни единый человек не спросил меня потом, что же я видел в ту страшную ночь и как я разговаривал с богиней, — даже мой отец.

После всего того, о чем я рассказал, я попросил у жрецов позволения больше молиться Великой Матери Исиде и глубже изучить ритуалы таинств, к которым у меня уже был ключ. Более того, меня посвятили в тонкости и хитросплетения политики, ибо со всех концов Египта к нам в Абидос тайно приезжали встретиться со мной знатнейшие вельможи и сановники, и все рассказывали, как яростно народ ненавидит царицу Клеопатру и о событиях, которые происходят в стране. Срок приближался; прошло уже три месяца и десять дней с той ночи, когда мой дух покинул на недолгое время тело и, продолжая жить, перенесся в иные миры и предстал перед Исидой, после чего было решено возвести меня на трон с соблюдением всех предписанных и освященных веками обрядов, хотя и в величайшей тайне, и короновать венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта. К торжественной церемонии в Абидос съехались знатнейшие и влиятельнейшие из граждан, жаждавших освобождения и возрождения

Египта, — всего их оказалось тридцать семь человек: по одному из каждого нома и по одному от самого крупного города в номе. Кем только они ни переодевались для путешествия — кто жрецом, кто паломником, кто нищим. Приехал также мой дядя Септа — он хоть и путешествовал под видом бродячего лекаря, но зычный голос выдавал его, как ни старался он его укротить. Я, например, еще издали узнал дядю, встретив на берегу канала, где я прогуливался, хотя уже наступили сумерки и лицо его было скрыто огромным капюшоном, который он, как и положено людям этой профессии, накинул себе на голову.

— Пусть поразят тебя все хвори и болячки, какие только есть на свете! — прогремел мощный голос, когда я, приветствуя дядю, назвал его по имени. — Неужто человек не может изменить свое обличье, неужто обман сразу же открывается? Знал бы ты, сколько я трудов положил, чтобы меня приняли за лекаря — и вот, пожалуйста: ты узнал меня даже в темноте!

И принялся повествовать все так же громогласно, что шел сюда пешком, дабы не попасться в лапы соглядатаев, которые так и шныряют по Нилу. Но обратно ему все равно придется плыть, со вздохом заключил он, или же переодеться кем-то другим, потому что едва люди увидят бродячего лекаря, сейчас же обращаются за помощью, а он в искусстве врачевания не сведущ и сильно опасается, что немало народу между Ана и Абидосом оказались жертвами его невежества. Он оглушительно захохотал и обнял меня, забыв напрочь о своей роли. Не давалось ему лицедейство, слишком он был искренен и не мог пересилить себя, так что мне даже пришлось укорить его за неосторожность, иначе он так бы и вошел в Абидос, обняв меня за плечи.

Наконец съехались все, кого ждали.

Настала ночь торжественной церемонии. Ворота храма заперли. Внутри остались лишь тридцать семь знатнейших граждан Египта, мой отец — верховный жрец Аменемхет; старик жрец, который сопровождал меня в святилище Исиды; моя нянька, старая Атуа, которая, согласно древнему обычаю, должна была подготовить меня к обряду помазания; еще пять или шесть жрецов, поклявшихся священной клятвой хранить тайну. Все они собрались во втором зале великого храма; меня же, облаченного в белые одеяние, оставили одного в галерее, на стенах которой выбиты имена семидесяти шести фараонов Древнего Египта, царствовавших до божественного Сети. Я спокойно сидел в темноте, и вот ко мне вошел мой отец Аменемхет с зажженной лампадой, низко склонился передо мной, взял за руку и повел в огромный зал. Среди его величественных колонн горело несколько светильников, они тускло освещали скульптуры и рельефы на

стенах и длинный ряд людей — знатнейших вельмож, царевичей — потомков боковых ветвей царского рода, верховных жрецов, сидящих в резных креслах и молча ждущих моего появления. Прямо против этих тридцати семи, спинкой к семи святилищам, был установлен трон, его окружали жрецы с штандартами и священными символами. Лишь только я вступил в торжественный сумрак величественного зала, все вельможи встали и в полном молчании склонились предо мной; отец подвел меня к ступенькам трона и шепотом приказал встать перед ним.

Потом заговорил:

— О, вы, собравшиеся здесь по моему зову, вельможи, верховные жрецы, потомки древних царских родов страны Кемет, знатнейшие граждане Верхнего и Нижнего Египта, внимайте мне! Перед вами — царевич Гармахис, по праву крови и рождения наследник фараонов нашей многострадальной родины, я привел его сюда к вам в суровой простоте, повинуюсь обстоятельствам. Он — жрец, посвященный в сокровенные глубины таинств божественной Исиды, распорядитель мистерий, по праву рождения верховный жрец всех храмов при пирамидах близ Мемфиса, искушенный в знании священных ритуалов, совершаемых в честь расточителя всех благ Осириса. Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнения, что он истинный потомок фараонов по прямой линии?

Отец умолк, и дядя Септа, встав с кресла, отвечал:

— Нет, у нас нет сомнений, Аменемхет: мы тщательно проследили всю линию его предков и установили, что в его жилах действительно течет кровь наших фараонов, он их законный наследник.

— Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнения, — продолжал мой отец, — что волею самих богов царевич Гармахис был перенесен в царство Осириса и предстал перед божественной Исидой, что он прошел искусы и был посвящен в сан верховного жреца пирамид, что близ Мемфиса, и поминальных храмов при этих пирамидах?

Тут поднялся жрец, который был со мной в святилище Великой Матери всего сущего той ночью, и произнес:

— Нет, Аменемхет, у нас нет сомнений; я сам проводил его посвящение.

И снова мой отец заговорил:

— Есть ли среди вас, собравшихся здесь, кто-нибудь, кто может бросить обвинение царевичу Гармахису в несправедных деяниях или в нечистых помыслах, в коварстве или в лжи, и воспрепятствовать нам короновать его венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта?

Поднялся старец из Мемфиса, в чьих жилах тоже текла кровь фараонов, и изрек:

— Мы знаем все о Гармахисе, в нем нет ни одного из этих пороков, о Аменемхет.

— Что ж, быть по сему, — ответил мой отец, — мы коронуем его, раз царевич Гармахис, потомок Нектанеба, воссиявшего в Осирисе, достоин царской короны. Пусть приблизится к нам Атуа и поведаст всем о том, что изрекла над колыбелью царевича Гармахиса моя жена в час своей смерти, когда ее устами вещала богиня Хатхор.

Старая Атуа медленно выступила из тени колонн и с волнением пересказал все, что я уже описал.

— Вот, вы все слышали, — сказал мой отец, — верите ли вы, что устами женщины, которая была моей женой, прорицала богиня?

— Верим, о Аменемхет, — ответили собравшиеся.

Потом поднялся мой дядя Сепа и заговорил, обращаясь ко мне:

— Ты слышал все, о царственный Гармахис. Теперь ты знаешь, что мы собрались здесь, чтобы короновать тебя царем Верхнего и Нижнего Египта, ибо твой благородный отец Аменемхет отказался от своих прав на престол ради тебя. Увы, эта церемония совершится без пышности и великолепия, какие подобают столь великому событию, мы вынуждены провести ее в величайшей тайне, иначе всем нам придется заплатить за нее жизнью, но самое страшное — мы погубим дело, которое для нас дороже жизни, но все же, насколько это сейчас доступно, выполним все древние священные обряды. Узнай же, что мы задумали, и если, узнав, ты одобришь задуманное, тогда взойди на трон свой, о фараон, и принеси нам клятву! Сколько столетий жители Кемета стонут под пятой греческих завоевателей, сколько столетий содрогаются при виде копья римлян; сколько столетий наши древние боги страдают от кощунственного пренебрежения, сколько столетий мы влачим жалкое существование рабов. Но мы верим: час избавления близок, и именем многострадального Египта, именем его богов, которым ты, именно ты избран служить, мы все с мольбою взываем к тебе, о царевич: возьми меч и возглавь наших освободителей! Слушай же! Двадцать тысяч бесстрашных мужей, пламенно любящих Комет, принесли клятву верности нашему делу и ждут лишь твоего согласия; как только ты подашь сигнал, они поднимутся все, как один, и перебьют греков, а потом на их крови воздвигнут твой трон, и трон этот будет стоять на земле Кемет так же незыблемо, как наши извечные пирамиды, все легионы римлян не смогут поколебать его. А сигналом будет смерть этой наглой непотребной девки Клеопатры. Ты убьешь ее, Гармахис, выполняя приказ, который тебе

будет передан, и ее кровью освятишь трон фараонов Египта.

О наша надежда, неужели ты скажешь нам нет? Неужели твою душу не переполняет святая любовь к отечеству? Неужели ты швырнешь оземь поднесенную к твоим устам чашу с вином свободы и предпочтешь умирать от жажды, как обреченный на муки раб? Да, риск огромен, быть может, наш дерзкий заговор не удастся, и тогда и ты, и все мы заплатим за свою дерзость жизнью. Но стоит ли о том жалеть, Гармахис? Разве жизнь так уж прекрасна? Разве лелеет она нас и оберегает от падений и ударов? Разве горе и беды не перевешивают тысячекратно крупицу радости, что иногда блеснет нам? Разве здесь, на земле, мы вдыхаем то благоухание, которое разлито в воздухе потустороннего мира, и разве так уж страшно вовсе перестать дышать? Что у нас есть здесь, кроме надежд и воспоминаний? Что мы здесь видим? Одни только тени. Так почему чистый сердцем должен страшиться перехода туда, где нас ждет успокоение, где воспоминания тонут в событиях, их породивших, а тени растворяются в свете, который их очертил? Знай же, Гармахис: истинно велик лишь тот муж, кто увенчал свою жизнь блеском славы, не меркнувшей в веках. Да, смерть дарит букеты маков всем детям земли, но счастлив тот, кому судьба позволила сплести себе из этих маков венки героя. И нет для человека смерти более прекрасной, чем смерть борца, освободившего свою отчизну — пусть она теперь выпрямится, расправит плечи, вскинет голову, и, гордая, свободная, могучая, как прежде, швырнет в лицо тиранам порванные цепи: теперь уж никогда ни один поработитель не выжжет на ее челе клеймо раба.

Гармахис, Кемет призывает тебя. Откликнись на его зов, о избавитель! Кинься на врагов, как Гор на Сета, размечи их, освободи отечество и правь им — великий фараон на древнем троне...

— Довольно, довольно! — вскричал я, и голос мой потонул в шуме рукоплесканий, прокатившемся гулким эхом среди могучих стен и колонн. — Неужели меня нужно просить, заклинать? Да будь у меня сто жизней, разве не счел бы я высочайшим счастьем отдать их все за наш Египет?

— Достойный ответ! — произнес Септа. — Теперь ты должен удалиться с этой женщиной, она омоет твои руки, дабы ты мог принять священные символы власти, и оботрет благовониями твой лоб, на который мы наденем венец фараона.

Я пошел со старой Атуа в один из храмовых покоев. Там, шепча молитвы, она взяла золотой кувшин и омыла мои руки чистой водой над золотой чашей, потом смочила кусок тончайшей ткани в благовонном масле и приложила к моему лбу.



— Ликуй, Египет! Ликуй, счастливейший царевич, ты будешь нашим властелином! — восторженно восклицала она. — О царственный красавец! Ты слишком царственен и слишком красив, тебе нельзя быть жрецом, все хорошенькие женщины это скажут; но, надеюсь, ради тебя смягчат суровые законы, предписывающие жрецам воздержание, иначе род фараонов заглохнет, а этого допустить нельзя. Какое счастье послали мне боги, ведь я вынянчила, вырастила тебя, я отдала ради твоего спасения жизнь собственного внука! О царственный, блистательный Гармахис, ты рожден для славы, для счастья, для любви!

— Перестань, Атуа, — с досадой прервал я ее, — не называй меня счастливейшим, ведь мое будущее тебе неизвестно, и не сули мне любви, любовь неотделима от печали, знай: мне суждено иное, более высокое предназначение.

— Можешь говорить, что хочешь, но радостей любви тебе не миновать, да, да, поверь мне! И не отмахивайся от любви с таким высокомерием, ведь благодаря ей ты и появился на свет. Знаешь пословицу, которую любят повторять в Александрии? «Летит гусь — смеется над крокодилем, а опустился на воду и заснул — тут уж хохочет крокодил». Вот так-то. А женщины почище крокодилов будут. Крокодилам поклоняются в Атрибисе — его сейчас называют Крокодилополь, — но женщинам, мой мальчик, поклоняются во всем мире! Ой, я все болтаю и болтаю, а тебя ждут короновать на царство. Разве я тебе это не предсказывала? Ну вот, владыка Верхнего и Нижнего Египта, ты готов. Ступай же!

Я вышел из покоя, но глупые слова старухи засели в голове, и если говорить правду, не так уж она была глупа, хоть и болтлива — не остановишь.

Когда я вступил в зал, вельможи снова встали и склонились передо мной. Тотчас же ко мне приблизился отец, вложил мне в руки золотое изображение богини Истины Маат, золотые венцы бога Амона-Ра и его супруги Мут, символ божественного Хонса и торжественно спросил:

— Клянешься ли ты величием животворящей Маат, могуществом Амона-Ра, Мут и Хонсу?

— Клянусь, — ответил я.

— Клянешься ли священной землей Кемет, разливами Сихора, храмами наших богов и вечными пирамидами?

— Клянусь.

— Клянешься ли, помня о страшной судьбе, которая тебя ожидает, если ты не выполнишь свой долг, — клянешься ли править Египтом в согласии с его древними законами, клянешься ли чтить его истинных богов,

быть справедливым со всеми и во всем, не угнетать свою страну и свой народ, не предавать, не вступать в сговор с римлянами и греками, клянешься ли низвергнуть всех чужеземных идолов и посвятить жизнь процветанию свободного Кемета?

— Клянусь.

— Хорошо. Теперь взойди на трон, и я в присутствии твоих подданных провозглашу тебя фараоном Египта.

Я опустил на трон, осененный распростертыми крыльями богини Маат, и поставил ноги на скамеечку в виде мраморного сфинкса. Аменемхет снова приблизился ко мне и надел на голову полосатый клафт, а поверх него пшент — двойную корону, накинул на плечи царское облачение и вложил в руки скипетр и плеть.

— Богоподобный Гармахис! — воскликнул он. — Этими эмблемами и символами я, верховный жрец абидосского храма Ра-Мен-Маат, венчаю тебя на царство. Отныне ты — фараон Верхнего и Нижнего Египта. Царствуй и процветай, о надежда Кемета!

— Царствуй и процветай, о фараон! — эхом отозвались вельможи, низко склоняясь передо мной.

Потом все они, сколько их было, стали один за другим приносить мне клятву верности. Когда прозвучала последняя клятва, отец взял меня за руку, и во главе торжественной процессии мы обошли все семь святилищ храма Ра-Мен-Маат, и в каждом я клал приношения на алтарь, кадил благовониями и служил литургию, как подобает жрецу. В своем парадном царском одеянии я совершил приношения в святилище Гора, в Святилище Исиды, Осириса, Амона-Ра, Хор-эм-ахета, Птаха, и наконец мы вступили в святилище, что расположено в покоях фараона.

Там все совершили приношение мне, своему божественному фараону, и ушли, оставив меня одного. Я был без сил от усталости — венчанный на царство владыка Египта.

(На этом первый, самый маленький свиток папируса кончается.)



## **КНИГА ВТОРАЯ**

### **ПАДЕНИЕ ГАРМАХИСА**

**Глава I , повествующая о прощании Аменемхета с Гармахисом, о прибытии Гармахиса в Александрию; о предостережении Септа; о процессии, в которой Клеопатра проехала по улицам города в одеждах Исиды; и о победе Гармахиса над знаменитым гладиатором**

Итак, долгая пора искуса миновала, пришло время действовать. Я прошел все ступени посвящения, был коронован на царство, и хотя простой народ меня не знал, а для жителей Абидоса я был всего лишь жрец Исиды, тысячи египтян в сердце своем чтили меня как фараона. Да, время свершений приближалось, меня сжигало нетерпение. Скорее бы свергнуть чужеземную самозванку, освободить Египет, взойти на трон, который принадлежит мне по праву, скорее бы очистить от скверны храмы моих богов. Меня переполняла жажда борьбы, и я ни на минуту не сомневался в своем торжестве. Я смотрел на себя в зеркало и видел, что это чело — чело триумфатора. Будущее простиралось передо мной широкой дорогой славы, сверкающей, как Сихор на солнце. Я мысленно беседовал с моей божественной матерью Исидой; я подолгу сидел в моих покоях, я мысленно возводил новые грандиозные храмы; обдумывал великие законы, которые принесут моему народу благоденствие; и в ушах моих звучали восторженные клики благодарной толпы, приветствующей фараона-победителя, завоевавшего древний трон своей династии, мне было велено, пока мои черные, как вороново крыло, волосы, которые мне сбрили, вновь отрастут до нужной длины, а чтобы время не проходило впустую,

совершенствовался во всех упражнениях, которые развивают у мужчины силу и ловкость, а также в искусстве владения разными видами оружия. Кроме того, я углублял свои познания древних тайн египетского волхвования — для какой цели, станет ясно позднее, — и старался постичь последние тонкости астрологии, хотя и без того был достаточно сведущ в этих науках.

Вот какой мы наметили план.

Мой дядя Септа оставил на время храм в Ана, сославшись на нездоровье, и переехал в Александрию, где он купил дом, в надежде, как он объяснил всем, что ему поможет морской воздух, а чудеса знаменитого на весь мир Мусейона и блеск двора Клеопатры отвлекут от печальных мыслей. Туда-то я к нему и приеду, потому что в Александрии было самое сердце заговора. И когда наконец дядя Септа прислал весть, что все готово к моему приезду, я быстро собрался и, прежде чем отправиться в путешествие, пошел к отцу принять его благословение. Он сидел в своих покоях за столом, в той же позе, что и в тот вечер, когда я убил льва и он укорял меня за легкомыслие, его длинная седая борода лежала на мраморной столешнице, в руках он держал свитки со священными текстами. Увидев меня, он встал, воскликнул: «Приветствую тебя, о фараон!» — и хотел опуститься на колени, но я удержал его за руку.

— Не подобает тебе, отец, преклонять передо мной колена, — сказал я.

— Нет, подобает, — возразил он, — я должен отдавать почести моему повелителю, но если ты не хочешь, я исполню твою волю. Итак, Гармахис, ты уезжаешь. Да пребудет с тобою мое благословение, сын мой. Пусть те, кому я служу, даруют моим старым глазам счастье увидеть тебя на троне. Я много трудов потратил, пытаюсь прочесть грядущее, узнать, что тебя ждет, но вся моя мудрость не помогла мне проникнуть сквозь завесу тайны. Предначертания ускользают от меня, и порой я погружаюсь в отчаяние. Но ты должен знать, что на твоём пути тебя подстерегает опасность, и эта опасность — женщина. Мне это открылось давно, и потому ты был призван служить всеблагой владычице Исиде, которая отвращает помыслы своих жрецов от женщин до тех пор, пока ей не будет угодно снять запрет. Ах, сын мой, зачем ты так красив, так великолепно сложен и могуч, в Египте нет равных тебе, да, ты поистине царь, твоя сила и красота как раз и могут завлечь тебя в западню. Поэтому держись подальше от александрийских обольстительниц, — кто-то из них может вползти в твоё сердце, как змея, и выведать твою тайну.

— Ты зря тревожишься, отец, — ответил я с досадой, — алые губки и томные взгляды меня не занимают, главное для меня — выполнить мой

долг.

— Достойный ответ, — сказал он, — да будет так и впредь. А теперь прощай. Да сбудется мое желание и да увижу я тебя в нашу следующую встречу на троне, в тот радостный день, когда я, вместе со всеми жрецами Верхней Земли, приеду поклониться нашему законному фараону.

Я обнял его и пошел прочь. Увы, если бы я знал, какую встречу нам уготовала судьба!

И вот я снова плыву вниз по Нилу — путешественник с весьма скромными средствами. Любопытствующим попутчикам я объяснял, что я — приемный сын верховного жреца из Абидоса, готовился принять жреческий сан, но понял, что служение богам меня не привлекает, и вот решил попытать счастья в Александрии, — благо все, за исключением немногих посвященных, считали меня внуком старой Атуа.

Ветер дул попутный, и на десятый день вечером впереди показалась величественная Александрия — город тысячи огней. Над огнями возвышался беломраморный маяк Фароса, это величайшее чудо света, и на его верху сиял такой яркий свет, что казалось, это солнце заливает порт и указывает путь кормчим далеко в море. Наше судно осторожно причалило к берегу, ибо было темно, я сошел на набережную и остановился, пораженный зрелищем огромных зданий и оглушенный гомоном многоязыкой толпы. Казалось, здесь собрались представители всех народов мира и каждый громко говорит на своем языке. Так я стоял в полной растерянности, но тут ко мне подошел какой-то юноша, тронул за плечо и спросил, не из Абидоса ли я приплыл и не Гармахис ли мое имя. Я ответил — да, и тогда он, приблизив губы к моему уху, тихо прошептал тайный пароль, потом подозвал взмахом руки двух рабов и приказал им снести с барки на берег мои вещи. Они повиновались, пробившись сквозь толпу носильщиков, настойчиво предлагавших свои услуги. Я двинулся за юношей по набережной, сплошь застроенной винными лавками, и во всех было много мужчин самого разного обличья, они пили вино и смотрели на танцующих женщин — едва прикрытых чем-то прозрачным или вовсе раздетых.

Но вот набережная с освещенными лавками кончилась, мы повернули направо и пошли по широкой вымощенной гранитом улице, между большими каменными домами с крытой аркадой вдоль фасада — я таких никогда не видел. Свернув еще раз направо, мы оказались в более тихом квартале, где улицы были почти пустынные, лишь изредка встречались компании подгулявших бражников. Наконец мой провожатый остановился возле дома из белого камня. Мы вошли в ворота, пересекли дворик и

вступили в освещенное светильником помещение. Навстречу мне бросился дядя Сеп, радуясь моему благополучному прибытию.

Когда я вымылся и поел, он рассказал мне, что дела пока идут хорошо и при дворе никто о заговоре не подозревает. Далее я узнал, что дядя был во дворце у Клеопатры, — царице сообщили, что в Александрии живет верховный жрец из Ана, и она тотчас же послала за ним и долго расспрашивала — вовсе не о наших замыслах, ей и в голову не приходило, что кто-то может покуситься на ее власть, просто до нее дошли слухи, будто в Великой пирамиде близ Ана спрятаны сокровища. Она ведь безмерно расточительна, ей вечно нужны деньги, деньги, деньги, и вот сейчас она задумала ограбить пирамиду. Но дядя Сеп посмеялся над ней, он сказал, что пирамида — место упокоения божественного Хуфу, что же касается ее тайн, то дяде Сепу ничего о них не известно. Услышав эти слова, Клеопатра разгневалась и поклялась своим трон, что прикажет разобрать пирамиду камень за камнем и найдет скрытые в ней сокровища. Он опять рассмеялся и ответил пословицей, которую часто повторяют жители Александрии: «Царь живет несколько десятков лет, а горы — вечно». Она улыбнулась, ибо ей понравилась его находчивость, и мирно с ним простилась. Потом дядя Сеп сказал, что утром я увижу эту самую Клеопатру. Ведь завтра — день ее рождения (кстати, и мой тоже), и она, облачившись в наряд богини Исиды, торжественно проследует от своего дворца на мысе Лохиас к Серапеуму, дабы принести в его святилище жертву лжебогу, которому посвящен храм. Посмотрим процессию, а потом будем искать способ, как мне проникнуть во дворец царицы и приблизиться к ней.

Я едва держался на ногах от усталости, и меня уложили спать, но непривычная обстановка, шум на улице, мысли о завтрашнем дне гнали сон. Лишь небо начало сереть, я оделся, поднялся по лестнице на крышу и стал ждать рассвета. Наконец из-за горизонта брызнули солнечные лучи и осветили беломраморное чудо — фаросский маяк, и в тот же самый миг огонь его померк и стал невидим, точно солнце его погасило. Потом свет подкрался к дворцам на мысе Лохиас, где почивала Клеопатра, и затопил их — они засверкали, точно драгоценности, украшающие темную, прохладную грудь моря. Дальше полился свет, нежно поцеловал купол мавзолея, где покоится великий Александр, озарил башни и крыши множества дворцов и храмов, хлынул в колоннады знаменитого Мусейона, который возвышался совсем недалеко от нашей улицы, окатил волной величественное здание святилища, где хранится вырезанное из слоновой кости изображение лжебога Сераписа, и наконец, словно истощив себя,

уполз в огромный мрачный Некрополь. День разгорался, гоня последние тени ночи и заполняя все улицы, улочки и переулки Александрии — в этот утренний час она казалась алой, как царская мантия, да и раскинулась по-царски пышно и торжественно. С севера подул ветер, унес с моря туман, и я увидел голубую воду гавани и качающиеся на ней тысячи судов. Увидел гигантский мол Гептастадиум, лабиринт улиц, бесчисленное множество домов — роскошную, великолепную Александрию, эту царицу, как бы восседающую на троне среди своих владений — океана и озера Мариотис, — и грудь мне стеснил восторг. Этот город, вместе с другими городами и странами, принадлежит мне! Что ж, за него стоит бороться! Вдосталь налюбовавшись этим сказочным великолепием, я помолился благодетельной Исиде и сошел с крыши.

В комнате внизу был дядя Септа. Я рассказал ему, что смотрел, как над Александрией поднималось солнце.

— Вот как! — бросил он и пристально поглядел на меня из-под своих косматых бровей. — Ну и что, понравилась тебе Александрия?

— Понравилась ли? Да я подумал, что здесь, в этом городе как раз и живут боги!

— Вот именно! — гневно воскликнул он. — Ты угадал — здесь живут боги, но это все боги зла! Говоришь, город! Нет, это вертеп, где все погрязли в распутстве, зловонная постыдная язва, рассадник ложной веры, рожденной извращением ума! О, как я жажду, чтобы от нее не осталось камня на камне, чтобы все ее богатства были погребены в пучине вод! Пусть чайки с криками носятся над тем проклятым местом, где она некогда стояла, пусть ветер, чистый, не отравленный тлетворным дыханием греков, свободно веет над ее руинами на всем пространстве между океаном и озером Мариотис! О царственный Гармахис, не допусти, чтоб роскошь и красота Александрии совращали твою душу, яд, который они источают, губит истинную веру, не дает древней религии расправить свои божественные крылья. Когда настанет срок и ты будешь править страной, разрушь этот проклятый город, Гармахис, и утверди свой трон там, где он стоял при твоих предках — среди белых стен Мемфиса. Запомни навсегда: Александрия — роскошные ворота, в которые входит погибель Египта. Пока они стоят, они открыты для всего мира — врывайся кто хочешь и грабь нашу страну, насаждай любую ложную веру, топчи египетских богов.

Что я мог ему ответить? Он был прав. И все же, и все же город казался мне дивно прекрасным! Мы позавтракали, и дядя сказал, что пора идти смотреть, как Клеопатра с торжественной процессией прошествует к храму Сераписа. Выход состоится еще не скоро, часов в десять, бездельники

александрийцы так падки на зрелища, что если мы не поспешим, то нам нипочем не пробиться сквозь плотные толпы зевак, которые уже собираются на улицах по пути следования царицы. И мы отправились, чтобы занять места на деревянном помосте, который сколотили вдоль широкой улицы, прорезающей весь город до самых Канопских ворот. Дядя заранее позаботился купить для нас там места и заплатил за них недешево.

Народ уже запрудил улицы, и нам пришлось основательно поработать локтями, продираясь к деревянному помосту, защищенному полотняной крышей и задрапированному ярко-красными тканями. Мы уселись на скамью и стали ждать, разглядывая многотысячную роящуюся толпу, которая галдела, пела и громко разговаривала на разных языках. Прошло несколько часов. Наконец появились солдаты, одетые на манер римских легионеров в кольчугу, и стали расчищать путь. За ними выступили глашатаи, и, призвав народ к тишине (в ответ толпа лишь пуце зашумела, а те, кто пел, и вовсе оглушили нас), возвестили, что грядет царица Клеопатра. Потом по улице торжественным маршем прошла тысяча сицилийских стрелков, за ней тысяча фракийцев, тысяча македонцев, тысяча галлов, все в боевых доспехах, какие носят воины их стран, и соответственно вооружение. За ними выступали пятьсот всадников — те самые, которых называют неуязвимыми, потому что кольчугой сплошь покрыты не только люди, но и лошади. Неуязвимых сменили юноши и девушки в роскошных развевающихся одеждах, в золотых венцах — они изображали день, утро, вечер, ночь, землю и небо. Дальше следовало множество красавиц, они лили на землю благовония и усыпали ее пышно распутившимися цветами. Вдруг по толпе прокатился крик: «Клеопатра! Клеопатра!», у меня перехватило дыхание, и я устремился вперед, чтобы увидеть ту, которая посмела надеть на себя наряд Исиды.

Толпа заколыхалась, люди напирала друг на друга в густой плотной массе и совершенно загородили от меня улицу. Этого я уже не мог вынести, я перескочил через ограду помоста и пробился сквозь толпу в самый первый ряд — при моей силе и ловкости мне это ничего не стоило. И тут я увидел, что по улице бегут рабы-нубийцы в венках из плюща и увесистыми дубинками теснят народ ближе к домам. Один из них мне сразу бросился в глаза: гигант могучего сложения, нагло кичащийся своей силой, он без разбору наносил удары направо и налево, — истинный хам, которому вдруг дали власть. Рядом с мной стояла женщина с ребенком на руках, судя по внешности — египтянка, и нубиец, увидев, что она слаба и беззащитна, стукнул ее дубинкой по голове, и она молча рухнула на землю. Народ



зароптал. А я — кровь так и вскипела во мне, гнев ослепил разум. В руке у меня был жезл из кипрского оливкового дерева, и когда черное чудовище захохотало над женщиной, которая корчилась на земле от боли, и над ее плачущим ребенком я размахнулся и обрушил жезл не его спину. Я вложил в удар всю свою ярость, и крепкое дерево сломалось, из раны на плече гиганта брызнула кровь, листья плюща сразу стали красными. Взревев от бешенства и боли — еще бы, ведь мучители не выносят мук, — он метнулся ко мне. Народ раздался, только женщина осталась лежать, и вокруг нас образовалось небольшое свободное пространство. Нубиец зверем кинулся на меня, но я вонзил ему кулак в переносицу — другого оружия у меня не было, — и он зашатался, точно жертвенный бык, которому жрец нанес первый удар топором. Толпа разразилась одобрительными криками, она ведь любит глазеть на драки, а нубиец был знаменитый гладиатор, он всегда всех побеждал. Негодяй собрал все свои силы и начал наступать, изрыгая проклятья и вертя над головой дубинку, потом изловчился и обрушил ее на меня с таким остервенением, что, не отскочи я в сторону с кошачьим проворством, он размозжил бы мне череп. Но вся сила удара пришлась по земле, дубинка разлетелась в щепы. Толпа разразилась криками, а великан снова ринулся на меня, он обезумел от жажды крови и ничего не соображал, ему надо было как можно скорее прикончить, убить, растерзать врага. Но я с воплем схватил его за горло — он был так могуч, настолько превосходил меня силой, что только так я мог попытаться его одолеть, — схватил и сжал мертвой хваткой. Он молотил меня своими огромными кулачищами, а я все упорнее стискивал и стискивал ему горло, вдавливая большие пальцы в кадык. Он кружил по площадке, потом упал на землю, надеясь хоть так оторвать меня от себя. Мы принялись кататься, но я не ослаблял хватки, и наконец он захрипел, задыхаясь, и потерял сознание. Он лежал внизу, подо мной, а я уперся коленом ему в грудь и готовился прикончить его, но дядя и еще несколько человек оторвали меня от нубийца и оттащили прочь.

И, конечно же, я не заметил, что к нам тем временем приблизилась колесница с царицей, впереди которой шагали слоны, а сзади вели львов, и что суматоха, вызванная дракой, вынудила процессию остановиться. Я поднял голову и, разгоряченный дракой, с трудом переводя дух, весь в крови, ибо кровь, которая лилась из носа и изо рта великана нубийца, запятнала мои белые одежды, в первый раз увидел живую Клеопатру. Колесница царицы была из чистого золота, ее влекли молочно-белые жеребцы. Возле Клеопатры в колеснице стояли две очень красивые девушки в греческих платьях, одна справа, другая слева, и оведали ее

сверкающими опахалами. Ее голову венчал убор Исида — золотые изогнутые рога и между ними крупный диск полной луны с тронном Осириса, дважды обвитый уреем. Это сооружение держалось на золотой шапочке в виде сокола с крыльями синей эмали, глаза сокола были из драгоценных камней, а из-под шапочки лились ее черные длинные, до пят, волосы. На плечах вокруг стройной нежной шеи лежало широкое золотое ожерелье с изумрудами и кораллами. На запястьях и выше локтей — золотые браслеты, тоже с изумрудами и кораллами, в одной руке священный ключ жизни тау, выточенный из горного хрусталя, в другой — золотой царский жезл. Торс под обнаженной грудью обтянут сверкающей, как чешуя змеи, тканью, сплошь расшитой драгоценными камнями. Под этим сверкающим одеянием была сотканная из золотых нитей юбка с драпировкой из прозрачного вышитого шелка с острова Кос, она пышными складками падала к ее маленьким белым ножкам в сандалиях с застежками из огромных жемчужин.

Мне было довольно одного-единственного взгляда, чтобы все это разглядеть. Потом я посмотрел на ее лицо — лицо, которое пленило Цезаря, погубило Египет и в будущем должно было сделать Октавиана властелином мира — посмотрел и увидел безупречно прекрасную гречанку: округлый подбородок, пухлые изогнутые губы, точеные ноздри, тонкие, как раковина, совершенной формы уши; широкий низкий лоб, гладкий, как мрамор, темные кудрявые волосы, падающие тяжелыми волнами и блестящие на солнце; плавные дуги бровей, длинные загнутые ресницы. Она явилась мне в апофеозе своей царственной красоты и величия. Сияли ее изумительные глаза, лиловые, как кипрские фиалки, — глаза, в которых, казалось, спит ночь со всеми ее тайнами, непостижимыми, как пустыня, но и живые, как ночь, которая то темнее, то светлее, то вдруг озаряется вспышками света, рожденного в звездной пропасти неба. Да, я увидел это чудо, хотя и не умею описать его. И сразу же, тогда еще, я понял, что могущество чар этой женщины заключается не только в ее несравненной красоте. Покоряет то ликование, тот свет, которые переполняют ее необузданную, страстную душу и прорываются к нам сквозь телесную оболочку. Ибо эта женщина — порыв и пламя, подобной ей никогда в мире не было и не будет. Огонь ее пылкого сердца озарял ее, даже когда она погружалась в задумчивость. Но стоило ей стряхнуть печаль, и глаза ее вспыхивали, точно два солнца, голос журчал нежной вкрадчивой музыкой — есть ли на свете человек, способный рассказать, какой бывала Клеопатра в такие минуты? Ей было даровано непобедимое обаяние, которым так влечет нас женщина, ей был дарован глубочайший

ум, за который мужчина так долго сражался с небом. И с этим обаянием, с этим умом уживалось зло, то поистине демоническое зло, которое не ведает страха и, глумясь над людскими законами, захватывает ради забавы империи и с улыбкой смотрит, как льются ей в угоду реки крови. И все это сплелось в ее душе, создав ту Клеопатру, покорить которую не может ни один мужчина, и ни один мужчина не может позабыть, если хоть раз ее увидел, величественную, как гроза, ослепительную, как молния, беспощадную, как чума, и все же с сердцем женщины. Все знают, что она совершила. Горе миру, когда на него еще раз падет такое же проклятье!

Клеопатра равнодушно повернула голову взглянуть, почему волнуется толпа, и на миг наши глаза встретились. Ее глаза были темные и как бы обращены в себя, словно она и видит, что происходит, но все это скользит мимо сознания. Потом глаза вдруг ожили, и даже цвет их изменился, как меняется цвет моря, когда налетит ветер. Сначала в них мелькнул гнев, потом рассеянный интерес; когда же она увидела распростертое на земле тело гиганта нубийца, которого я готовился убить, и узнала в нем того самого непобедимого гладиатора, в глазах появилось что-то весьма похожее на удивление. И, наконец, они смягчились, хотя выражение ее лица ничуть не изменилось. Но тому, кто хотел прочесть мысли Клеопатры, нужно было смотреть ей в глаза, потому что в лице было мало игры. Обернувшись, она что-то сказала своим телохранителям. Они выступили вперед и подвели меня к ней. Народ в мертвом молчании ждал, что вот сейчас меня казнят.

Я стоял перед ней, скрестив на груди руки. Да, я был ошеломлен ее ослепительной красотой, но в моем сердце кипела ненависть к ней, этой смертной женщине, посмевавшей надеть на себя наряд Исиды, к этой самозванке, отнявшей у меня трон, к этой блуднице, расточающей богатства Египта на золотые колесницы и благовония. Она оглядела меня с ног до головы и спросила своим звучным грудным голосом на языке Кемета, которым она великолепно владела, единственная из всех Лагидов:

— Кто ты такой, египтянин, — а ты египтянин, я вижу, — кто ты такой, что осмелился избить моего раба, который расчищал мне путь по улицам моего города?

— Кто я? Меня зовут Гармахис, — смело ответил я. — Я астролог, приемный сын верховного жреца храма Сети и правителя Абидоса, приехал сюда в поисках судьбы. А раба твоего я избил, о царица, потому что он ударил дубинкой эту женщину, без всякой вины с ее стороны. Спроси народ, лгу я или говорю правду.

— Гармахис... — произнесла она задумчиво. — У тебя благородное имя и внешность и манеры аристократа.

Потом обратилась к стражу, который видел, что произошло, и велела ему все рассказать. Он не погрешил против правды, ибо почувствовал ко мне расположение, когда я одолел в драке нубийца. Выслушав стража, Клеопатра что-то сказала девушке с опахалом, которая стояла возле нее, — девушка была очень красивая, с роскошными кудрявыми волосами и темными застенчивыми глазами. Девушка прошептала какие-то слова в ответ. Тогда Клеопатра приказала подвести к себе раба; стражи подняли нубийца, к которому вернулось сознание, и подвели к ней вместе с женщиной, которую он сбил дубинкой на землю.

— Собака, трус! — бросила она все тем же звучным грудным голосом. — Ты кичишься своей силой и потому ударил слабую женщину, но этот юноша оказался сильнее, и ты сдался, презренный. Ну что ж, сейчас ты получишь хороший урок. Отныне если тебе вздумается ударить женщину, ты сможешь бить ее только левой рукой. Эй, стражи, отрубить этой черной твари правую руку.

Отдав этот приказ, она откинулась на сиденье своей колесницы, и ее глаза словно бы опять погрузились в сон. Гигант вопил и молил о пощаде, но стражи схватили его и отрубили мечом руку на полу нашей трибуны, а потом унесли прочь под его громкие стоны. Процессия двинулась дальше. Когда колесница миновала нас, красавица с опахалом обернулась, поймала мой взгляд и с улыбкой кивнула, словно чему-то радуясь, чем меня немало озадачила.

Народ вокруг тоже весело шумел, все поздравляли меня, шутили, что теперь меня пригласят во дворец и я стану придворным астрологом. Но мы с дядей при первой же возможности постарались ускользнуть и двинулись домой. Всю дорогу он возмущался моим безрассудством, но дома обнял меня и признался, как он счастлив и как гордится мной, что я так легко победил этого силача нубийца и не навлек на себя беды.

## Глава II , повествующая о приходе Хармианы и о гневе Сепы

Вечером того же дня, когда мы ужинали, в дом постучали. Дверь открыли, и в комнату вошла женщина, с ног до головы закутанная в темное покрывало, даже лица ее не было видно.

Дядя встал, и женщина тотчас же произнесла пароль.

— Я все-таки пришла, отец мой, — заговорила она нежным, мелодичным голосом, — хотя, признаюсь, очень нелегко сбежать с праздника, когда во дворце такое торжество. Но я убедила царицу, что от жары и уличного шума у меня разболелась голова, и она позволила мне уйти.

— Что ж, хорошо, — ответил он. — Сбрось покрывало, здесь ты в безопасности.

С легким усталым вздохом она расстегнула застёжку, выскользнула из покрывала, и я увидел ту очаровательную девушку, что стояла в колеснице возле Клеопатры и оведала ее опахалом. Да, она была удивительно хороша, а пеплум так изысканно обрисовывал ее хрупкое, стройное тело и юную маленькую грудь. Из-под золотого обруча падал каскад локонов, в которые свились ее буйные кудри, пряжки на сандалиях тоже были из золота. Ее щеки с ямочками алели, как раскрывшийся лотос, темные бархатные глаза были потуплены словно бы в смущении, но на губах порхала легкая улыбка, готовая ослепительно вспыхнуть.

Увидев ее наряд, дядя нахмурился.

— Почему ты пришла сюда в греческом платье, Хармиана? — сурово спросил он. — Разве одежда, которую носила твоя мать, недостаточно хороша для тебя? Забудь о женском кокетстве, не то сейчас время. Ты пришла сюда не покорять сердца мужчин, а выполнять повеления.

— Ах, отец мой, зачем ты гневаешься на меня, — вкрадчиво заворковала она, — разве ты не знаешь, что та, которой я служу, не позволяет носить при дворе нашу, египетскую одежду, мы должны одеваться модно. Если бы я ее надела, то вызвала бы подозрения, и к тому же я очень спешила, — говорила она, а сама то и дело тайком бросала на меня взгляды из-под длинных, мохнатых, скромно опущенных ресниц.

— Да, да, все так, — отрывисто проговорил он, впиваясь в ее лицо своим пронзительным взглядом, — конечно, Хармиана, ты права. Каждую

минуту своей жизни ты должна помнить клятву, которую дала, и дело, которому себя посвятила. Я требую: забудь обо всем суетном, забудь о красоте, которой тебя прокляла судьба. Но никогда не забывай о мести, которая тебя постигнет, если ты хоть в самой малой малости предашь нас, — о мести людей и богов! Не забывай о той великой роли, которую ты рождена сыграть, — его могучий голос гремел в маленькой комнате, оглушая нас, потому что он все больше и больше распалялся в своем гневе, — не забывай, как важна цель, ради которой тебя научили всему, что ты знаешь, и поместили туда, где ты находишься, чтобы заслужить доверие распутницы, которой, как все считают, ты служишь. Не забывай ни на единый миг! Не допусти, чтоб роскошь царского двора соблазнила тебя, Хармиана, чтобы она замутила чистоту твоей души и увела от твоего предназначения. — Его глаза сверкали, маленький и тщедушный, он вдруг словно вырос, стал величественным, я даже почувствовал благоговейный трепет.

— Я признаюсь тебе, Хармиана, — продолжал он, подходя к девушке и грозно уставляя в нее перст, — я признаюсь, что порой сомневаюсь в тебе. Два дня назад мне приснился сон: ты стояла среди пустыни, воздев руки к небу, и смеялась, а с неба лился кровавый дождь; потом небо опустилось на страну Кемет и закрыло его, точно саван. Почему мне привиделся этот сон, дочь моя, и что он означает? Пока что ты не совершила ничего дурного, но берегись: если я что-то узнаю, я забуду, что ты моя племянница и что я люблю тебя — ты в тот же миг умрешь, и это пленительное лицо, это прекрасное тело, которыми ты так тщеславишься, расклюют стервятники, растерзают шакалы, а душу твою боги подвергнут самым страшным пыткам! Ты останешься лежать поверх земли непогребенной, и твоя осужденная загробными судьями душа никогда не воссоединится с телом, но будет вечно скитаться в Аменти! Запомни — вечно!

Он умолк, его неожиданно вспыхнувший гнев иссяк. Но эта вспышка яснее всех его слов и поступков доказала мне, какие глубокие страсти таятся в сердце этого казалось бы добродушного шутника, и с какой фанатичной одержимостью стремится он к своей цели. А девушка — она в ужасе отпрянула от него и, закрыв свое прелестное лицо руками, разрыдалась.

— Не говори так, отец мой, пощади меня! — молила она, задыхаясь от слез. — Чем я провинилась? Тебе снятся дурные сны, но разве это я посылаю их тебе? И я не прорицательница, я не умею их толковать. Я свято выполняю все твои повеления. Разве я хоть на миг забыла эту страшную клятву? — Она содрогнулась. — Разве не играю роль соглядатая при дворе

и не сообщаю тебе обо всем до последней мелочи? Разве я не завоевала расположение царицы, которая любит меня как сестру и ни в чем не отказывает? Мало того, разве я не стала любимицей всех, кто ее окружает? Зачем же ты меня пугаешь и грозишь такими карами? — И она снова зарыдала еще более прекрасная в слезах, чем была с улыбкой.

— Ну довольно, довольно, — отрезал он, — я знаю, что я делаю, и не зря предупредил тебя. Впредь никогда не оскорбляй наших глаз зрелищем этого платья, пригодного лишь для развратницы. Думаешь, мы будем любоваться твоими точеными руками — мы, решившие вернуть себе Египет и посвятившие себя служению его истинным богам? Хармиана, перед тобой твой двоюродный брат и твой царь!

Она перестала плакать, вытерла глаза полой хитона, и я увидел, что от слез они стали еще нежнее.

— Мне кажется, о царственный Гармахис и мой любимый брат, — сказала она, склоняясь предо мной, — мне кажется, мы уже видели друг друга.

— Да, видели, сестра, — ответил я, заливаясь краской смущения, ибо никогда еще мне не доводилось беседовать с такой красивой девушкой, — ведь это ты была сегодня в колеснице Клеопатры, когда я дрался с нубийцем?

— Конечно, — подтвердила она, улыбнувшись, и глаза ее сверкнули, — это был великолепный поединок, только очень сильный и отважный борец мог победить этого черного негодяя. Я видела, как вы схватились, и, хотя еще не знала, кто ты, у меня сердце замерло от страха за человека столь мужественного. Но я сквиталась с ним за этот страх — ведь это по моему совету Клеопатра приказала стражам отрубить ему руку. Знай я, что это ты, ему бы отрубили голову. — Она бросила на меня быстрый взгляд и снова улыбнулась.

— Хватит болтать, — прервал ее дядя Сеп, — время дорого. Расскажи, Хармиана, все, что должна рассказать, и возвращайся во дворец.

Выражение ее лица тотчас же изменилось, она смиренно сложила руки перед собой и заговорила совсем другим тоном:

— Молю фараона выслушать свою служанку. Я — дочь твоего дяди, о фараон, покойного брата твоего отца, и потому в моих жилах тоже течет царская кровь. Я тоже чту древних богов Египта и ненавижу греков; видеть тебя на троне — моя заветная мечта, я лелею ее уже много лет. И ради того, чтобы она исполнилась, я Хармиана, забыв о своем высоком происхождении, поступила в услужение к Клеопатре, ибо нужно было выстроить ступеньку, на которую ты ступишь, когда придет твой час взойти

на трон. И эта ступенька выстроена, о царь.

Выслушай же, мой царственный брат, что мы задумали. Ты должен стать вхожим во дворец, проникнуть во все тайны и хитросплетения интриг, которые плетутся там, и если будет нужно, подкупить евнухов и начальников стражи — некоторых я уже склонила на свою сторону. Когда наши люди будут готовы, ты убьешь Клеопатру и, воспользовавшись всеобщим смятением, побежишь к воротам, а я и те, кто будет мне помогать, прикроем тебя и задержим преследователей; ты откроешь ворота ипустишь наших людей, которые уже будут ждать, вы перебьете солдат, которые откажутся перейти на нашу сторону, и захватите Бруцеум. Самое большее через два дня эта ветреница Александрия будет в твоих руках. В то же самое время все, кто поклялся тебе в верности, поднимутся по всему Египту с оружием в руках против римлян, и через десять дней после смерти Клеопатры ты действительно станешь фараоном. Мы все обсудили до самых ничтожных мелочей, и, хотя твой дядя подозревает меня во всех мыслимых грехах, ты видишь сам, мой царственный брат, что я неплохо выучила свою роль, — не только выучила, но и сыграла.

— Да, сестра, вижу, — ответил я, дивясь, что столь юная девушка — ей было всего двадцать лет — замыслила столь дерзкий план, заговор составил не кто иной, как она. Но в те дни я плохо знал Хармиану. — Однако продолжай. Что надо сделать, чтобы я стал вхож во дворец Клеопатры?

— О брат, нет ничего проще. Слушай же. Клеопатра очень равнодушна к мужской красоте, а ты — прости, что я это говорю, — очень хорош собой и сложен как бог. Она сегодня тебя заметила и дважды сетовала: как жаль, что не спросила этого астролога, где его найти, потому что астролог, который может убить нубийца-гладиатора голыми руками, конечно же, великий ученый и умеет расположить к себе звезды. Я сказала ей, что велю разыскать тебя. Запомни все, что я тебе скажу, мой царственный Гармахис. Днем Клеопатра почивает в своем внутреннем покое, который выходит в сад над гаванью. В полдень ты подойдешь к воротам дворца и потребуешь, чтобы тебе вызвали госпожу Хармиану, и я выйду к тебе. Клеопатре скажу, что тебя удалось найти, и устрою так, чтобы вы оказались одни, когда она пробудится, а дальше, Гармахис, ты будешь действовать сам. Она все пытается проникнуть в тайны мистических знаний, это ее любимая забава, и ночи напролет простаивает на крыше и наблюдает звезды, делая вид, будто умеет их читать. Совсем недавно она прогнала придворного врача, Диоскорида, потому что несчастный невежда осмелился заявить, что расположение звезд



предрекает поражение Марку Антонию в битве с Кассием. Клеопатра тотчас же приказала военачальнику Аллиену послать еще несколько легионов в Сирию, где Антоний сражался с Кассием и, согласно предсказанию Диоскорида по звездам, должен был, увы, проиграть битву. Но все случилось наоборот: Антоний разбил сначала Кассия, потом Брута, а Диоскороду пришлось убраться из дворца, и теперь он, чтобы не умереть с голоду, читает в Мусейоне лекции о свойствах трав, что же касается звезд, он даже их названий слышать не может. Место придворного астролога свободно, его займешь ты, и мы начнем тайно действовать, защищенные сенью царского трона. Как червь разъедает спелый плод, вгрызаясь в его сердцевину, так ты подточишь трон гречанки, и когда он рухнет, орел, его сокрушивший, сбросит оболочку червя, в которой был вынужден скрываться, и гордо расправит свои царственные крылья над Египтом, а потом и над другими землями и странами.

Я как зачарованный смотрел на эту удивительную девушку, ибо она ошеломила меня — лицо ее сейчас было озарено светом, какого я никогда не видел в глазах женщин.

— Благодарение богам, — воскликнула дядя, который тоже внимательно вглядывался в нее, — благодарение богам, теперь я узнаю тебя, теперь ты прежняя Хармиана, которую я с такой любовью воспитывал, а не придворная шлюха, раздетая в дорогие шелка и умащенная благовониями. Да не поколеблется твоя вера, Хармиана, пусть в твоём сердце пылает всепобеждающая любовь к отечеству, и судьба вознаградит тебя. А теперь надень покрывало на это свое бесстыдное платье и ступай, уже поздно. Завтра в полдень Гармахис придет к воротам дворца, жди его. Прощай, Хармиана.

Хармиана склонила перед ним голову и завернулась в свою темную накидку. Потом взяла мою руку, коснулась ее губами и, не сказав ни слова, скользнула прочь.

— Странная женщина! — заметил дядя, когда она ушла. — Очень странная, никогда не знаешь, что она выкинет!

— Мне кажется, дядя, — сказал я, — мне кажется, ты был слишком суров с ней.

— Да, верно, суров, — вздохнул он, — но она это заслужила. Послушай, что я тебе скажу, Гармахис: не очень доверяй Хармиане. Уж слишком своевольный у нее нрав, меня страшит ее непостоянство. Она женщина, женщина до мозга костей, ее еще труднее обуздать, чем норовистую лошадь. Да, она умна и смела, она жаждет освободить наш Египет от иноземных тиранов, но я молю богов, чтобы ее преданность

этому великому делу не пришла в противоречие с ее желаниями, ибо если она чего-то пожелала, больше для нее уже ничего не существует, она добьется своего любой ценой. Вот потому-то я и припугнул ее сейчас, пока она еще в моей власти: а вдруг она в один прекрасный день взбунтуется, я к этому готов. Пойми, эта девушка держит в своих руках жизнь стольких людей, и если она нам изменит, что тогда? Увы, как жалка наша участь, если мы вынуждены прибегать к услугам женщин! Но она нам помогла, другого пути не было. И все же, и все же меня гложут сомнения. Молю богов, чтобы наш замысел удался, но порой я боюсь мою племянницу Хармиану — слишком она красива, слишком молода, а кровь, что течет в ее жилах, слишком горяча.

Горе строителям, которые возводят здание на фундаменте женской преданности; женщина преданна, только пока любит, а разлюбила — и преданность обратилась в предательство. Мужчина не подведет, не предаст, а женщина — сама переменчивость, она словно море — сейчас оно спокойно и ласково, а к вечеру бушует шторм, волны взлетают к небу и низвергаются в бездну. Не очень-то доверяй Хармиане, Гармахис: она, как волны океана, может примчать твою барку в родную гавань и, как те же самые волны, может разбить ее и утопить тебя, а вместе с тобой последнюю надежду Египта!

## **Глава III , повествующая о том, как Гармахис пришел к царскому дворцу; как он заставил Павла войти в ворота; как увидел спящую Клеопатру и как показал ей свое искусство волхвования**

На следующий день, готовясь выполнить задуманное Хармианой, я обрядился в длинный просторный балахон, какие носят колдуны и астрологи, надел на голову шапочку с вышитыми звездами, а за пояс заткнул табличку писца и свиток папируса, сплошь покрытый мистическими символами и письменами. В руке у меня был жезл эбенового дерева с наконечником из слоновой кости — обязательная принадлежность жреца и кудесника. Кстати, в искусстве волхвования я достиг большого мастерства, ибо хоть я его не практиковал, зато проник в сокровенные тайны древних знаний, когда жил в Ана. И вот, сгорая от стыда, потому что мне претит вульгарное лицедейство и я считаю профанацией дешевые трюки бродячих прорицателей, я отправился в сопровождении дяди Сепы к царскому дворцу на мысе Лохиас. Мы миновали центр города, Бруцеум, прошли аллеей сфинксов, и наконец впереди показалась высокая мраморная ограда и в ней бронзовые ворота, за которыми находилось помещение для стражей. Здесь дядя Сепы оставил меня, трепетно моля богов охранить меня и даровать успех. Но я смело приблизился к воротам, где путь мне тотчас преградили стражи-галлы и потребовали, чтобы я назвал свое имя, сказал, чем занимаюсь и к кому пришел. Я ответил, что зовут меня Гармахис, я астролог и у меня дело к госпоже Хармиане, приближенной царицы. Стражи после этих слов хотели пропустить меня, но их начальник римлянин по имени Павел, выступил вперед и объявил, что не бывать тому, я никогда не войду в ворота. Этот Павел был огромного роста и тучен, но с женским лицом, и руки у него тряслись от пьянства. Оказывается, он узнал меня.

— Нет, ты только погляди, — крикнул он на своем родном, латинском языке приятелю, который вышел с ним: — это тот самый парень, который чуть не задушил вчера нубийца-гладиатора; нубиец до сих пор воет у меня под окном — видишь ли, руку ему отрубили. Будь проклята эта черная

собака! Я заключил на него пари. Он должен был сражаться с Каем, а теперь все, конец, никогда ему больше не выйти на арену, плакали мои денежки, и все из-за этого астролога. Что ты там такое сказал? Говоришь, у тебя дело к госпоже Хармиане? Ну уж нет, теперь я тебя точно не пущу. И не мечтай попасть во дворец. Да я без памяти влюблен в госпожу Хармиану, мы все в нее влюблены, хотя взаимностью, увы, она нас не дарит, лишь потешается. И ты решил, что мы допустим в наш круг такого соперника — астролога, да еще красавца, к тому же силача? Клянусь Вакхом, никогда! Ноги твоей не будет во дворце, а если у вас назначено свидание, пусть она сама идет к тебе.

— О благородный господин, — проговорил я почтительно, но с достоинством, — прошу тебя, пошли за госпожой Хармианой, ибо дело мое не терпит отлагательств.

— Всемогущие боги! — захохотал глупец. — Кто ты такой, что не желаешь ждать? Переодетый цезарь? Проваливай, да поскорей, не то придется кольнуть тебя копьем в задницу.

— Постой, — остановил его другой начальник стражи, — ведь он астролог, вот пусть и предскажет нам судьбу, пусть позабавит своими фокусами.

— Да, верно, — зашумели стражи, которых собралась уже целая толпа, — давайте поглядим, на что он способен. Если он маг, то войдет в ворота, и никакой Павел ему не помеха.

— Охотно выполню выше желание, благородные господа, — ответил я, ибо не видел другого способа проникнуть во дворец. — Ты мне позволишь, о молодой и благородный господин, — обратился я к приятелю Павла, — ты мне позволишь поглядеть в твои глаза? Быть может, я смогу прочесть, что в них написано.

— Что ж, гляди, — ответил юноша, — но я предпочел бы в роли прорицателя госпожу Хармиану. Клянусь, я бы ее переглядел.

Я взял его за руку и погрузил взгляд в его глаза.

— Я вижу поле битвы, — произнес я, — ночь, повсюду трупы, и среди них твой труп, в его горло впиалась гиена. Мой благородный господин, не пройдет и года, как ты умрешь, заколотый мечами.

— Клянусь Вакхом, с таким пророком лучше не встречаться! — воскликнул юноша, побледнев до синевы, и тотчас же исчез. И, кстати сказать, очень скоро мое предсказание сбылось. Его послали сражаться на Кипр, и там он погиб на поле брани.

— Теперь твой черед, о доблестный начальник! — сказал я, обращаясь к Павлу. — Я покажу тебе, как можно войти в эти ворота без твоего

разрешения, мало того — ты тоже войдешь в них, но следом за мной. Соблаговоли устремить свой царственный взгляд на кончик этой палочки. — И я поднял свой жезл.

Он неохотно повиновался, уступив подзуживанию приятелей, и я заставил его смотреть на белый кончик жезла, пока глаза у него не сделались пустыми, как у совы при свете солнца. Тогда я резко опустил палочку и перехватил его взгляд, вонзил в него свои глаза и волю и, медленно поворачиваясь, повлек его за собой, причем надменное застывшее лицо римлянина приблизилось к моему чуть не вплотную. Я так же медленно стал пятиться и вошел в ворота, по-прежнему увлекая его за собой, а потом вдруг резко отстранил голову. Он грянулся оземь, полежал немного и стал подниматься, потирая лоб; вид у него был на редкость глупый.

— Ну что, доволен, благороднейший из стражников? — спросил я. — Ты видишь — мы вошли в ворота. Желают ли кто-нибудь еще из благородных господ, чтобы я показал им свое искусство?

— Нет, клянусь богом грома Таранисом и всеми богами Олимпа в придачу! — вскричал старый галл-центурион по имени Бренн. — Слушай, астролог, ты мне не нравишься. От человека, который провел за собой нашего Павла через эти ворота одной только силой взгляда, надо держаться подальше. Ведь этот Павел вечно всем перечит, упрям он, как осел, — и вот пожалуйста! Да его если что и способно убедить, так только чаша с вином и женщина, а ты вмиг его скрутил!

Он умолк, потому что на мраморной дорожке показалась Хармиана в сопровождении вооруженного раба. Она ступала неторопливо, словно прогуливалась, сложив руки за спиной и как бы устремив взгляд в себя. Но именно в такие минуты, когда Хармиана напускала на себя рассеянность, она замечала самую ничтожную мелочь. Она приблизилась, и все стражи и их начальники расступились перед ней с поклонами, ибо, как я узнал позже, эта девушка была самое близкое и доверенное лицо Клеопатры, и никто не обладал во дворце такой властью, как она.

— Что тут за шум, Бренн? — обратилась она к центуриону, делая вид, что не замечает меня. — Неужто ты забыл, что в этот час царица почивает, и если ее разбудят, то наказан будешь ты, и наказан сурово?

— Прости, о госпожа, — смиренно проговорил галл-центурион, — сейчас я тебе все объясню. К воротам подошел кудесник, — он ткнул пальцем в мою сторону, — на редкость наглый — прошу прощения, я хотел сказать, на редкость искусный в своем ремесле, ибо он только что, приблизив свои глаза к глазам достойного Павла, повлек его за собой, —

заметь, именно Павла, а не кого-то другого, — и вошел с ним в ворота, хотя Павел поклялся, что умрет, а не пропустит в них кудесника. Но это еще не все, госпожа, ибо кудесник утверждает, что пришел к тебе по делу, а это меня чрезвычайно печалит и вызывает за тебя тревогу.

Хармиана повернула головку и небрежно глянула на меня.

— Ах да, я вспомнила, — равнодушно проговорила она, — ему в самом деле велено было прийти — может быть, он позабавит царицу своими фокусами; но если колдун лишь способен протащить за нос пьяницу, — тут она бросила презрительный взгляд на разинувшего от изумления рот Павла, — протащить за нос пьяницу через ворота, которые он должен охранять, и этим его искусство исчерпывается, ему у нас делать нечего. Впрочем, посмотрим. Следуй за мной, господин кудесник; а ты, Бренн утихомирь своих горлопанов, чтобы не смели шуметь. Тебе же высокородный Павел, советую как можно скорее протрезветь и накрепко усвоить: если кто-то подойдет к воротам и будет спрашивать меня, тотчас же проводить ко мне. — И, царственно кивнув головкой, повернулась и пошла обратно ко дворцу, я и вооруженный раб на почтительном расстоянии следовали за ней.

Мы шагали по мраморной дорожке, вьющейся по саду и украшенной с обеих сторон мраморными статуями богов и богинь, ибо Лагиды не постыдились осквернить царское жилище этими языческими идолами. Наконец мы подошли к великолепной галерее с желобчатыми колоннами — это уже была греческая архитектура, и в галерее оказалось еще несколько стражей, но все они почтительно расступились перед госпожой Хармианой. Миновав галерею, мы вступили в мраморный атриум, посреди которого тихо журчал фонтан, и из атриума через низкую дверь прошли в следующий покой, который именовался Алебастровым Залом и был сказочно прекрасен. Его потолок поддерживали легкие колонны черного мрамора, но все стены были из сияющего белого алебастра, а на них были изображены сцены из греческих мифов. В роскошной многоцветной мозаике на полу были выложены сцены, посвященные Психее и греческому богу любви; в зале стояли кресла из слоновой кости и золота. Хармиана велела вооруженному рабу остаться у входа в этот чертог, и мы вошли в него одни, ибо чертог был пуст, если не считать двух евнухов с обнаженными мечами, которые стояли у дальней стены перед опущенным занавесом.

— Я так скорблю, мой господин, — застенчиво и еле слышно прошептала Хармиана, — что тебе пришлось подвергнуться такому унижению у ворот; дело в том, что стражи простояли двойной срок, и я уже приказала начальнику дворцовой охраны сменить их. Эти римские

центурионы ужасные наглецы, они как будто бы и служат нам, однако великолепно знают, что Египет — игрушка в их руках. Но это даже кстати, что у тебя произошло с ними столкновение, потому что эти невежды суеверны и теперь будут бояться тебя. Ты побудь пока здесь, а я пройду в опочивальню Клеопатры. Я недавно убаюкала ее песней, и если она уже проснулась, я введу тебя к ней, ибо она ожидает твоего прихода с нетерпением. — И, не сказав больше ни слова, Хармиана скользнула прочь.

Немного погодя она вернулась и прошептала:

— Хочешь увидеть самую прекрасную женщину в мире спящей? Тогда следуй за мной. Не бойся: если она проснется, она только обрадуется, потому что велела привести тебя к ней сразу же, как ты явишься, хотя бы она и спала. Вот, смотри, у меня ее печать.

Мы пересекли роскошный зал и подошли к евнухам, которые стояли возле занавеса с обнаженными мечами, и евнухи тотчас преградили мне путь. Но Хармиана нахмурилась и, вынув спрятанную на груди печать, показала им. Они прочли надпись на печати, склонились перед Хармианой, опустили мечи, раздвинули тяжелый, расшитый золотом занавес, и мы вошли в покой, где почивала Клеопатра. Невозможно вообразить, как он был прекрасен — мрамор разных цветов, золото, слоновая кость, драгоценные камни, цветы — все лучшее, что может сотворить истинное искусство, вся роскошь, о которой можно лишь мечтать. Здесь были картины, написанные так живо, что птицы непременно стали бы клевать созданные кистью художника плоды; здесь были статуи женщин, чья редкостная красота навеки запечатлелась в мраморе; здесь были драпировки, тонкие и мягкие, как шелк, но сотканные из золотых нитей; здесь были ложа и ковры, каких я никогда не видел. Воздух нежно благоухал, через открытые окна доносился далекий шум моря. В противоположном конце покоя, на ложе, покрытом переливающимся шелком и защищенном пологом из тончайшего виссона, спала Клеопатра. Клеопатра, прекраснейшая из женщин, на которых когда-либо доводилось смотреть глазам мужчин, прекрасная, как мечта, спала передо мной в волнах своих темных разметавшихся волос. Ее голова покоилась на белой точеной руке, другая рука свешивалась вниз. Пухлые губы полуоткрылись в легкой улыбке, между ними сверкали ровные и белые, точно из слоновой кости зубы; схваченное поясом из драгоценных камней одеяние, в котором она спала, было такого тонкого шелка с острова Кос, что сквозь него светилось белорозовое тело. Я стоял ошеломленный, и хотя помыслы мои были далеки от женщин, ее красота поразила меня, как удар, я на миг забыл обо всем, подчинившись ее могуществу, и сердце мне кольнула боль, что я

должен убить столь пленительное создание.

Резко отвернувшись от Клеопатры, я увидел, что Хармиана впилась в меня своими зоркими глазами, впилась так, словно хотела проникнуть в сердце. Верно, на моем лице и вправду отразились мои мысли и она сумела их прочесть, потому что прошептала мне на ухо:

— Какая жалость, правда? Гармахис, ведь ты всего лишь мужчина; боюсь, тебе понадобится призвать на помощь все могущество твоих тайных знаний, чтобы они поддержали твоё мужество и ты смог совершить задуманное!

Я нахмурился, но не успел ничего сказать в ответ, ибо она слегка коснулась моей руки и указала на царицу. С царицей что-то произошло: руки были стиснуты, разгоревшееся ото сна лицо омрачено страхом. Дыхание стеснилось, она выбросила перед собой руки, точно защищаясь от удара, потом с глухим стоном села и распахнула озеро глаз. Они были темные-темные, как ночь; но вот свет проник в них, и они стали наливать синевой — синевой предрассветного неба.

— Цезарион! — вскричала она. — Где мой сын, где Цезарион? Слава богам, это было всего лишь во сне! Мне снилось, что Юлий, давно погибший Юлий, пришел ко мне в окровавленной тоге, обнял своего сына и увел прочь. Потом мне стало сниться, что я умираю, умираю в крови и в муках, а кто-то, невидимый мне, смеется надо мной... О, боги, кто этот мужчина?

— Успокойся, моя царица, успокойся! — проговорила Хармиана. — Это всего лишь астролог Гармахис, ты сама приказала мне привести его к тебе в час твоего пробуждения.

— Ах, астролог, тот самый Гармахис, который победил гладиатора? Теперь я вспомнила. Я рада, что ты пришел. Скажи же мне, астролог, ты можешь ли увидеть в своем магическом зеркале разгадку моего сна? Какая странная вещь — сон, он опутывает наш разум паутиной тьмы и властно подчиняет его себе. Откуда приходят эти страшные видения, почему они поднимаются над горизонтом нашей души, точно луна, вдруг проступившая на полуденном небе? Какие силы вызывают эти образы из глубин нашей памяти, кто наделяет их столь несомненной жизнью, и неумолимо показывая нам их страдания, сталкивает настоящее с прошлым? Что же, стало быть, они — вестники? Стало быть, во время той неполной смерти, которую мы называем сном, они проникают в наше сознание и связывают порванные нити, когда-то соединявшие судьбы? То был сам Цезарь в моем сне, я уверена, но я не знаю, кто стоял рядом, скрытый плащом, и глухо произносил зловещие слова, которых я не помню. Разгадай



мне эту загадку, египетский сфинкс, и я укажу тебе путь к счастью и богатству, каких тебе не дадут твои звезды. Ты принес мне знамение, растолкуй же его.

— Я вовремя пришел к тебе, о могущественнейшая из цариц, — отвечал я, — знай: я проник в некоторые тайны сна, а сон, как ты правильно угадала, порой впускает в наши живые души тех, кто воссоединился с Осирисом, и они символическими действиями или словами доносят до нас эхо того, что звучит в Царстве Истины, где они обитают, а посвященные смертные умеют эти знаки разгадать. Да, сон — это лестница, по которой в дух избранных спускаются в самых разных обличьях вестники божеств-охранителей. И те, кто владеет ключом к тайне, видят в безумии наших снов ясный смысл и понимают их язык гораздо лучше, чем язык мудрости и событий нашей повседневной жизни, которая как раз и есть истинный сон. Тебе привиделся великий Цезарь в окровавленной тоге, он обнял царевича Цезариона и увел от тебя. Слушай же, что твой сон означает. Да, ты видела Цезаря, он явился к тебе из Аменти в своем собственном обличье, тут ошибиться невозможно. Когда он обнял своего сына Цезариона, он хотел показать, что одному лишь ему передал свое величие и свою любовь. Тебе приснилось, что Цезарь увел его от тебя, так вот, это значит, что он увел его из Египта в Рим, где его коронуют в Капитолии и он станет владыкой Римской империи. Что значит другой твой сон, я не могу разгадать. Его смысл скрыт от меня.

Вот как истолковал я ей ее видение, хотя сам прозревал в нем иной, зловещий смысл. Но царям не следует предсказывать дурное.

Тем временем Клеопатра поднялась и, откинув виссон, который защищал ее от комаров, села на край ложа; глаза внимательно изучали мое лицо, пальцы играли концами пояса из драгоценных камней.

— Поистине, ты мудрейший из прорицателей! — воскликнула она. — Ты читаешь в моем сердце и видишь благой знак в том, что на первый взгляд кажется дурным предзнаменованием.

— Ты права, о царица, — сказала Хармиана, которая стояла рядом, опустив глаза, и в нежных переливах ее голоса мне послышались недобрые нотки. — Да не оскорбят отныне дурные предзнаменования твой слух, пусть все зло оборачивается для тебя таким же благом.

Клеопатра сцепила пальцы за головой и, откинувшись назад, посмотрела на меня полузакрытыми глазами.

— Ну что ж, египтянин, покажи нам теперь свое искусство, — сказала она. — На улице еще жарко, а эти иудейские послы с их разговорами об Ироде и Иерусалиме мне до смерти наскучили, терпеть не могу Ирода, он

очень скоро в этом убедится, а послы — нет, я их сегодня не приму, хоть я бы и не прочь поболтать на иудейском. Итак, что ты умеешь? Надеюсь, позабавишь нас какими-нибудь новыми фокусами? Клянусь Сераписом, если ты так же хорошо чародействуешь, как прорицаешь, я обещаю тебе место при дворе, хорошие деньги и подарки — если, конечно, твоя возвышенная душа не восстает в негодовании при мысли о подарках.

— Новых фокусов я не придумал, — ответил я, — но есть такие приемы волхвований, которые применяют очень редко и с большой осторожностью, и тебе, царица, они могут быть в новинку. Ты не боишься колдовства?

— Я ничего не боюсь; вызывай самые страшные силы. Поди ко мне, Хармиана, сядь рядом. Начинай. Нет, постой, а где другие девушки, где Ирада и Мерира? Они ведь тоже любят представления волшебников.

— Нет, не зови их, — остановил я ее, — когда много народу, чары плохо действуют. Итак, смотрите! — И, глядя на двух женщин, я бросил на пол мою палочку и стал шептать заклинание. Минуту палочка лежала неподвижно, потом начала медленно извиваться. Потом свернулась в кольцо, поднялась и начала раскачиваться. Вот на ее головке появились очки — она превратилась в змею, и змея поползла, грозно шипя.

— Ну удивил, нечего сказать! — презрительно вскричала Клеопатра. — И это-то ты называешь колдовством? Фокус стар как мир, любой уличный колдун умеет его делать. Я видела такое сотни раз.

— Не торопись, царица, — ответил я, — это всего лишь начало. — И тут же змею как бы разрезало на несколько частей, и каждая часть вытянулась в длинную змею. Эти змеи тоже разделились на множество маленьких, они росли и снова распадались, так что очень скоро под взглядами зачарованных женщин пол покоя словно бы залили играющие волны — это кишел толстый слой змей, они ползли друг по другу, шипели, свивались в кольца... Я сделал знак, и все устремились ко мне, стали медленно обвивать мне ноги, туловище, руки, и весь я покрылся многослойным панцирем змей, только лицо оставалось открытым.

— Это ужасно, ужасно! — закричала Хармиана и спрятала лицо в складках Клеопатриной юбки.

— Довольно, волшебник, довольно! — повелела Клеопатра. — Твое колдовство поразило нас.

Я взмахнул рукой, с которой свисали змеи, и все исчезло. У ног моих лежала черная палочка эбенового дерева с головкой из слоновой кости, и больше ничего не было.

Женщины взглянули друг на друга и ахнули от изумления. Но я поднял

свою палочку и, сложив на груди руки, встал перед ними.

— Довольна ли царица моим убогим представлением? — смиренно спросил я.

— О да, египтянин, довольна! Такого искусства я никогда не видела. С сегодняшнего дня ты — мой придворный астроном, тебе даруется право бывать в покоях царицы. У тебя есть в запасе что-нибудь еще занимательное?

— Есть, царица. Прикажи слегка затенить покой, и я покажу тебе еще одно представление.

— Мне немного страшно, — сказала Клеопатра, — но все равно опусти занавеси, Хармиана, как просил Гармахис.

Занавеси опустились, в покое стало сумрачно, будто приближался вечер. Я шагнул вперед и встал рядом с Клеопатрой.

— Смотри туда! — властно приказал я, указывая палочкой на то место, где я стоял раньше. — Смотри туда, и ты увидишь то, что у тебя в мыслях.

В немом молчании обе женщины пристально, с испуганными лицами глядели в пустоту.

И под их взглядом на этом месте сгустилось облачко. Оно медленно вытянулось и стало обретать очертания, — то были очертания мужчины, довольно смутные в сумраке покоя, они то проступали четче, то как бы таяли.

Я возгласил:

— Тень, заклинаю тебя, воплотись!

И лишь только я воззвал, смутный силуэт вдруг превратился в человека, очень ясно видимого. Перед нами был державный Цезарь, на голову наброшена тога, туника вся в крови от бесчисленных ран. С минуту он постоял, потом я взмахнул рукой, и он исчез.

Я повернулся к сидящим на ложе женщинам и увидел, что прелестное лицо Клеопатры искажено ужасом. Губы серые, как пепел, широко открытые глаза застыли, и вся она дрожит.

— О, боги! — Голос ее прервался. — О, боги, кто ты? Кто ты, умеющий вызывать на землю мертвых?

— Я — астроном царицы, ее кудесник, ее слуга, — все, что она пожелает, — ответил я со смехом. — Стало быть, я показал именно то, что мысленно видела царица?

Она мне не ответила, но встала и вышла из покоя через другую дверь.

Потом с ложа поднялась и Хармиана и отняла от лица руки, ибо ее тоже обуял смертельный страх.

— Как ты это делаешь, мой царственный Гармахис? — спросила она.

— Открой мне! Я скажу тебе правду: я боюсь тебя.

— Не бойся, — ответил я. — Может быть, ты видела лишь то, что было в моем воображении. В мире нет ничего, кроме теней. Откуда же тебе знать их природу? Откуда тебе знать, что истинно существует, а что нам только кажется? Но скажи лучше, как все прошло? И помни, Хармиана: эту игру мы должны довести до конца.

— Все получилось великолепно, — ответила она. — Завтра утром вся Александрия будет рассказывать, что произошло у ворот и здесь, при одном твоём имени людей станет бросать в дрожь. А теперь почтительно прошу тебя: следуй за мной.

## **Глава IV , повествующая о том, как Гармахис дивился повадкам Хармианы, и о том, как его провозгласили богом любви**

Назавтра я получил письменное уведомление, что назначен астрологом и главным прорицателем царицы, с указанием суммы жалованья и перечнем привилегий, полагающихся мне в этой должности, а они были весьма значительны. Мне также были отведены во дворце комнаты, из которых я поднимался ночью на высокую башню обсерватории, наблюдал звезды и сообщал, что предвещает их расположение. Как раз в это время Клеопатру чрезвычайно волновали политические дела, и, не зная, чем кончится жестокая борьба между могущественными группировками в Риме, но желая примкнуть к сильнейшей, она постоянно советовалась со мной и спрашивала, что предвещают звезды. Я читал их ей, руководствуясь высшими интересами дела, которому себя посвятил. Римский триумвир Антоний воевал сейчас в Малой Азии и, по слухам, был страшно зол на Клеопатру, потому что она, как ему сообщили, будто бы выступает против триумvirата, и ее военачальник Серапион даже сражался на стороне Кассия. Клеопатра же пылко убеждала меня и всех прочих, что Серапион действовал вопреки ее воле. Но Хармиана мне открыла, что и здесь не обошлось без участия злосчастного Диоскорида, ибо Клеопатра, следуя его предсказанию, сама тайно послала Серапиона с войском на помощь Кассию, когда приказывала Аллиену направить легионы ему в поддержку. Но это не спасло Серапиона, ибо, желая доказать Антонию свою невиновность, Клеопатра велела схватить военачальника в святилище, где он укрылся, и казнить. Горе тем, кто выполняет желания тиранов, когда весы судьбы склоняются не в их сторону! Увы, Серапион поплатился за это жизнью.

Меж тем нашим планам сопутствовал успех, ибо Клеопатра и ее советники были совершенно поглощены событиями, происходящими за пределами Египта, и никому из них и в голову не приходило, что сам Египет может восстать. С каждым днем число наших сторонников увеличивалось во всех городах страны, даже в Александрии, которую Египет как бы даже не считает Египтом — настолько все здесь нам было чуждо и враждебно. Каждый день к нам примыкали все новые колеблющиеся и клялись служить нашему делу священной клятвой,

которую нельзя нарушить, и мы чувствовала, что наши замыслы покоятся на прочном основании. Несколько раз в неделю я покидал дворец и шел к дяде Сепе обсуждать, как обстоят дела, встречался в его доме с сановниками и верховными жрецами, которые жаждали освобождения Кемета.

Я часто виделся с царицей Клеопатрой и каждый раз заново поражался глубине и широте ее редкого ума, — он был неисчерпаемо богат и сверкал, как золотая ткань, расшитая драгоценными камнями, озаряя своим переливчатым сиянием ее прекрасное лицо. Она немного боялась меня и потому желала заручиться моей дружбой, обсуждала со мной самые разные темы, вовсе не связанные с астрологией и прорицаниями. Много времени я проводил и в обществе госпожи Хармианы, — вернее, она почти всегда была возле меня и я даже не замечал, когда она исчезала и когда появлялась. Она подходила совсем близко своими легкими неслышными шагами, я оборачивался и вдруг видел, что она за моей спиной, стоит и смотрит на меня из-под длинных опущенных ресниц. Никакая услуга не затрудняла ее, она выполняла все мгновенно; и днем, и ночью она трудилась во имя нашей великой цели.

Но когда я благодарил ее за преданность и говорил, что скоро, совсем скоро настанет время, когда я смогу отблагодарить ее по-царски, она топала ножкой, надувала губки, как капризный ребенок, и возражала, что хоть я и великий ученый, но не знаю самых простых вещей: любовь не требует награды, она сама по себе счастье. Я же, глупец, вовсе не искушенный в любви, не знающий и не замечающий женщин, думал, что она говорит о любви к Кемету и считает счастьем служить делу его освобождения. Я выражал свое восхищение ее верностью отчизне, а она в гневе раздражалась слезами и убегала, оставляя меня в величайшем недоумении. Ведь я не знал о ее страданиях. Не знал, что, сам того не желая, внушил этой девушке страстную любовь, и эта любовь измучила, истерзала ее сердце, что оно все время кровоточит, словно в него вонзили десятки стрел. Ничего-то, ничего-то я не знал, да и как мог я догадаться о ее любви, ведь для меня она была всего лишь помощницей в нашем общем священном деле. Меня не волновала ее красота, и даже когда она склонялась ко мне и ее дыхание касалось моих волос, я не чувствовал в ней женщину, я любовался ею, как мужчина любит прекрасную статую. Что мне радости земной любви, ведь я посвятил себя служению Исиде и делу освобождения Египта! Великие боги, подтвердите, что я не виновен в том, что со мной случилось и стало причиной моего несчастья и навлекло несчастье на наш Кемет!

Какая непостижимая вещь — любовь женщины, столь хрупкая, когда

лишь зародилась, и столь грозная, когда развилась в полную силу! Ее начало напоминает ручеек, пробившийся из недр горы. А чем ручеек становится потом? Ручеек превращается в могучую реку, по которой плывут караваны богатых судов, которая животворит землю и дарит ей радость и счастье. Но вдруг эта река поднимается и смывает все, что было посеяно с такой надеждой, обращает в обломки построенное и рушит дворцы нашего счастья и храмы чистоты и веры. Ибо когда Непостижимый творил Мироздание, он вложил в его закон одной из составных частей семя женской любви, и на его непредсказуемом развитии зиждется равновесие миропорядка. Любовь возносит ничтожных на неизмеримые высоты власти, низвергает великих в прах. И пока существует это таинственнейшее создание природы — Женщина, Добро и Зло будут существовать неразделимо. Она стоит и, ослепленная любовью, плетет нить нашей судьбы, она льет сладкое вино в горькую чашу желчи, она отравляет здоровое дыхание жизни ядом своих желаний. Куда бы ты ни ускользнул, она будет всюду пред тобой. Ее слабость — твоя сила, ее могущество — твоя гибель. Ею ты рожден, ей обречен. Она твоя рабыня, и все же держит тебя в плену; ради нее ты забываешь о чести; стоит ей прикоснуться к запору, и он отомкнется, все преграды перед ней рушатся. Она безбрежна, как океан, она переменчива, как небо, ее имя — Непредугаданность. Мужчина, не пытайся бежать от Женщины и от ее любви, ибо, куда бы ты ни скрылся, она — твоя судьба, и все, что ты творишь, ты творишь для нее.

И так случилось, что я, Гармахис, чьи помыслы были всегда бесконечно далеки от женщин и от их любви, стал волею судьбы жертвой того, что в своем высокомерии презирал. Хармиана полюбила меня — почему ее выбор пал на меня, мне неизвестно, но ее постигла любовь, и я расскажу, к чему эта ее любовь всех привела. Пока же я, ни о чем не догадываясь, видел в ней лишь сестру и, как мне казалось, шел рука об руку к нашей общей цели.

Время летело, и вот наконец мы все подготовили.

Завтра ночью будет нанесен удар, а нынче вечером во дворце устроили веселое празднество. Днем я встретился с дядей Сепы и с командующими пяти сотен воинов, которые ворвутся завтра в полночь во дворец после того, как я заколю царицу Клеопатру, и перебьют римских и галльских легионеров. Еще раньше я договорился с начальником стражи Павлом, который чуть не ползал передо мной на коленях после того, как я заставил его войти в ворота. Сначала припугнув его, потом обещав щедро вознаградить, я добился от него обещания отпереть по моему сигналу завтра ночью боковые ворота с восточной стороны дворца, ибо дежурить

должен был именно он со своими стражами.

Итак, все было готово, еще несколько дней — и дерево свободы, которое росло двадцать пять лет, наконец-то расцветет. Во всех городах Египта собрались вооруженные отряды, со стен не спускались дозорные, ожидая прибытия вестника, который сообщит, что Клеопатра убита и трон захватил наследник истинных древних фараонов Египта Гармахис.

Да, все приготовления завершились, власть сама просилась в руки, как спелый плод, который ждет, чтобы его сорвали. Я сидел на царском пиру, но сердце мое давила тяжесть, в мыслях витала темная тень недоброго предчувствия. Сидел я на почетном месте, рядом с сиятельной Клеопатрой, и, оглядывая рады гостей, сверкающих драгоценностями, увенчанных цветами, отмечал тех, кого я обрек на смерть. Передо мной возлежала Клеопатра в апофеозе своей красоты, от которой у глядящих на нее захватывало дух, как от шума вдруг налетевшего полуночного урагана или при виде разбушевавшегося моря. Я не сводил с нее глаз: вот она пригубила кубок с вином, погладила пальцами розу в своем венке, а сам в это время думал о кинжале, спрятанном у меня под складками одежды, который я поклялся вонзить в ее грудь. Я смотрел и смотрел на нее, разжигая в себе ненависть к ней, пытаюсь наполнить душу торжеством от того, что она умрет, но не находил в себе ни ненависти, ни торжества. Здесь же, рядом с царицей, как всегда то и дело взглядывая на меня из-под своих длинных пушистых ресниц, возлежала прелестная госпожа Хармиана. Кто, любуясь ее детски ясным лицом, поверил бы, что именно она устроила западню, в которую должна попасться столь любящая ее царица и там погибнуть жалкой смертью? Кому пришло бы в голову, что в этой девственной груди таится столь кровавый замысел? Я пристально смотрел на Хармиану и чувствовал, что мне противна сама мысль обагрить мой трон кровью и освободить страну от зла, творя зло. В эту минуту я даже пожалел, зачем я не простой безропотный крестьянин, который прилежно сеет пшеницу, когда наступает пора сева, а потом собирает урожай золотого зерна. Увы, семя, которое я был обречен посеять, было семя смерти, и сейчас мне предстоит пожинать кровавые плоды моих трудов.

— Что с тобой, Гармахис? Чем ты озабочен? — спросила Клеопатра, улыбаясь своей томной улыбкой. — Неужто золотой узор звезд непредсказуемо нарушился, о мой астроном? Или, может быть, ты обдумываешь какой-то новый замечательный фокус? В чем дело, почему ты не принимаешь участия в нашем веселье? А знаешь, если бы я не знала доподлинно, расспросив кого следует, что столь ничтожные и жалкие создания, каковыми являемся мы, бедные женщины, не смеют даже



посягать на твое внимание, ибо ты не опустишься столь низко, я бы поклялась, Гармахис, что тебя поразила стрела Эрота!

— О нет, царица, Эрот мне не опасен, — ответил я. — Тот, кто наблюдает звезды, на замечает блеска женских глаз, гораздо менее ярких, и потому он счастлив!

Клеопатра склонилась ко мне и так долго смотрела в глаза странным пристальным взглядом, что сердце мое затрепетало, хоть я и призывал на помощь всю свою волю.

— Не гордись, высокомерный египтянин, проговорила Клеопатра так тихо, что слова ее услышали только я и Хармиана, — не гордись, чародей, не то у меня вдруг появится искушение испробовать на тебе мои чары. Разве есть на свете женщина, которая бы вынесла такое презрение? Оно оскорбляет весь наш пол и противно самой природе. — И она откинулась на ложе и рассмеялась своим чудесным мелодичным смехом. Но я поднял глаза и увидел, что Хармиана закусила губу и гневно хмурится.

— Прости меня, царица Египта, — ответил я сухо, но со всей изысканностью, на которую был способен, — перед Царицей Ночи бледнеют даже звезды! — Я, конечно, говорил о символе Великой Праматери — луне, с кем Клеопатра осмеливалась соперничать, именуя себя сошедшей на землю Исидой.

— Находчивый ответ! — сказала она и захлопала своими точеными белыми ручками. — Да мой астроном, оказывается, остроумен и к тому же великолепно умеет льстить! Нет, он просто чудо, мы должны воздать ему хвалу, иначе боги разгневаются. Хармиана, сними с моей головы этот веночек и возложи его на высокое чело нашего многомудрого Гармахиса. Желает он того или нет, мы коронуем его и жалуем ему титул «Бога любви».

Хармиана подняла веночек из роз, который украшал голову Клеопатры, и, поднеся ко мне, с улыбкой возложила на мою, еще теплый и хранящий благоухание волос царицы, — впрочем, она его отнюдь не возложила, а нахлобучила, да так грубо, что оцарапала мне лоб шипами. Она была вне себя от ярости, хотя на губах ее сияла улыбка, и с этой улыбкой шепнула мне на ухо: «Это предвестие твоей судьбы, мой царственный Гармахис». Ибо хоть Хармиана была женщина до мозга костей, когда она сердилась или ревновала, то вела себя как ребенок.

Итак, нахлобучив на меня веночек, она низко склонилась передо мной и нежнейшим голосом ехидно пропела по-гречески: «Да здравствует Гармахис, бог любви». Клеопатра засмеялась и провозгласила тост за «Бога любви», все гости подхватили шутку, сочтя ее на редкость удачной. Ведь в Александрии не выносят тех, кто ведет аскетическую жизнь и чурается

женщин.

Я сидел с улыбкой на устах, но меня душила черная ярость. Эти вульгарные придворные и легкомысленные красотки Клеопатрина двора потешаются надо мной — истинным властелином Египта! Сама эта мысль была невыносима. Но особенно я ненавидел Хармиану, ибо она смеялась громче всех, а я тогда еще не знал, что смехом и язвительностью раненое сердце часто пытается скрыть от мира свою боль. Предвестием моей судьбы назвала она эту корону из роз, и, о боги, — она оказалась права. Ибо я променял двойную корону Верхнего и Нижнего Египта на венок, сплетенный из роз страсти, которая увяла, не достигнув полного расцвета, а парадный трон фараонов из слоновой кости — на ложе неверной женщины.

— Бог любви! Приветствуем бога любви, увенчанного розами! — кричали пирующие, со смехом поднимая кубки. Бог, увенчанный розами? Нет, я увенчан позором! И я, по праву крови законный фараон Египта, помазанный на царство, в этом благоухающем позорном венке, стал думать о тысячелетнем нерушимом храме Абидоса и о том, другом короновании, которое должно состояться послезавтра утром.

Все так же улыбаясь, я тоже поднял свой кубок вместе со всеми и ответил какой-то шуткой. Потом встал и, склонившись пред Клеопатрой, попросил у нее позволения покинуть пир.

— Восходит Венера, — сказал я, ибо они именуют Венерой [96] планету, которая у нас носит имя Донау, когда восходит вечером, и имя Бону, когда является на утреннем небе. — И я, только что провозглашенный богом любви, должен приветствовать мою повелительницу. — Эти варвары считают Венеру богиней Любви.

И, провожаемый их смехом, я ушел к себе в обсерваторию, швырнул позорный венок из роз на мои астрономические приборы и стал ждать, делая вид, будто слежу за движением звезд. Обо многом я передумал, дожидаясь Хармианы, которая должна была принести окончательные списки тех, кого решено казнить, а также весть от дяди Сепы, ибо она виделась с ним после обеда.

Наконец дверь тихо отворилась, и проскользнула Хармиана, вся в драгоценностях и в белом платье, как была на пиру.

## **Глава V , повествующая о том, как Клеопатра пришла в обсерваторию к Гармахису; о том, как Гармахис бросил с башни шарф Хармианы; как рассказывал Клеопатре о звездах; и как царица подарила дружбу своему слуге Гармахису**

— Как ты долго, Хармиана, — сказал я. — Я уж заждался.

— Прости, о господин мой, но Клеопатра никак меня не отпускала. Она сегодня очень странно ведет себя. Не знаю, что это нам сулит. Ей приходят в голову самые неожиданные прихоти и фантазии, она как море летом, когда ветер беспрерывно меняется и оно то темнее от туч, то снова сияет. Не понимаю, что она задумала.

— Что нам за дело? Довольно о Клеопатре. Скажи мне лучше, видела ты дядю Сепу?

— Да, царственный Гармахис, видела.

— И принесла окончательные списки?

— Вот они. — И она извлекла папирусы из-под складок платья на груди. — Здесь имена тех, кто после смерти царицы должен быть немедленно казнен. Среди них старый галл Бренн. Жаль Бренна, мы с ним друзья; но он погибнет. Здесь много тех, кто обречен.

— Да, ты права, — ответил я, пробегая глазами папирус, — когда люди начинают думать о своих врагах, они вспоминают всех — всех до единого, а у нас врагов не перечесать. Но чему суждено случиться, то случится. Дай мне другие списки.

— Здесь имена тех, кого мы пощадили, ибо они заодно с нами или, во всяком случае, не против нас; а в этом перечислены города, которые восстанут, как только их достигнет весть, что Клеопатра умерла.

— Хорошо. А теперь... — я помолчал, — теперь обсудим, как должна погибнуть Клеопатра. Что ты решила? Она непременно должна умереть от моей руки?

— Да, мой господин, — ответила она, и снова я уловил в ее голосе язвительные нотки. — Я уверена, фараон будет счастлив, что избавил нашу

страну от самозванки и распутницы на троне своей собственной рукой и одним ударом разбил цепи, в которых задышался Египет.

— Не говори так, Хармиана, — ответил я, — ведь ты хорошо знаешь, как мне ненавистно убийство, я совершу его лишь под давлением суровой необходимости и выполняя клятвы, которые принес. Но разве нельзя ее отравить? Или подкупить кого-нибудь из евнухов, пусть он убьет ее? Мне отвратительна сама мысль об этом кровопролитии! Пусть Клеопатра совершила много страшных преступлений, но я безмерно удивляюсь, что ты без тени жалости готовишься предательски убить ту, которая так любит тебя!

— Что-то наш фараон уж слишком разжалобился, он, видно, позабыл, какое важное настало время, забыл, что от этого удара кинжалом, который пресечет жизнь Клеопатры, зависит судьба страны и жизнь тысяч людей. Слушай меня, Гармахис: убить ее должен ты — ты и никто другой! Я бы сама вонзила кинжал, если бы у меня в руках была сила, но увы — они слишком хрупки. Отравить ее нельзя, ибо все, что она ест и пьет, тщательно проверяют и пробуют три доверенных человека, а они неподкупны. На евнухов, охраняющих ее, мы тоже не можем положиться. Правда, двое из них на нашей стороне, но третий свято верен Клеопатре. Придется его потом убить; да и стоит ли жалеть какого-то ничтожного евнуха, когда кровь сейчас польется рекой? Так что остаешься ты. Завтра вечером, за три часа до полуночи, ты пойдешь читать звезды, чтобы сделать последнее предсказание, касающееся военных действий. Потом ты спустишься, возьмешь печать царицы и, как мы договорились, вместе со мной пойдешь в ее покои. Знай: завтра на рассвете из Александрии отплывает судно, которое повезет планы действий легионам Клеопатры. Ты останешься наедине с Клеопатрой, ибо она желает, чтобы ни единая душа не знала, какой она отдаст приказ, и прочтешь ей звездный гороскоп. Когда она склонится над папирусом, ты вонзишь ей кинжал в спину и убьешь, — да не дрогнут твои рука и воля! Убив ее — поверь, это будет очень легко, — ты возьмешь печать и выйдешь к евнуху, ибо двоих других там не будет. Если он вдруг что-то заподозрит, — это, конечно, исключено, ведь он не смеет входить во внутренние покои царицы, а крики умирающей до него не долетят через столько комнат, — но в крайнем случае ты убьешь и его. В следующем зале я встречу тебя, и мы вместе пойдём к Павлу, а я уж позабочусь, чтобы он был трезв и не отступил от своего слова, — я знаю, как этого добиться. Он и его стражи отомкнут ворота, а ждущие поблизости Сепы и пятьсот лучших воинов ворвутся во дворец и зарубят спящих легионеров. Поверь, все это так легко и просто, поэтому успокойся

и не позволяй недостойному страху вползти в свое сердце — ведь ты не женщина. Что значит для тебя удар кинжалом? Ровным счетом ничего. А от него зависит судьба Египта и всего мира.

— Тише! — прервал ее я. — Что это? Мне послышался какой-то шум.

Хармиана бросилась к двери и, глядя вниз, на длинную темную лестницу, стала прислушиваться. Через минуту она подбежала ко мне и, прижав палец к губам, торопливо зашептала:

— Это царица! Царица поднимается по лестнице одна. Я слышала, как она отпустила Ираду. Нельзя, чтобы она застала меня здесь в такой час, она удивится и может заподозрить неладное. Что ей здесь надо? Куда мне спрятаться?

Я оглядел комнату. В дальнем конце висел тяжелый занавес, который закрывал нишу в толще стены, где я хранил свои приборы и свитки папирусов.

— Скорее, туда, — указал я, и она скользнула за занавес и расправила складки, которые надежно скрыли ее. Я же спрятал на груди роковой список обреченных на смерть и склонился над своими мистическими таблицами. Через минуту я услышал шелест женского платья, в дверь тихо постучали.

— Кто бы ты ни был, войди, — сказал я.

Заслонка поднялась, через порог шагнула Клеопатра в парадном одеянии, с распущенными темными волосами до полу, со сверкающим на лбу священным золотым уреем — символом царской власти.

— Признаюсь тебе честно, Гармахис, — произнесла она, переведя дух и опускаясь на сиденье, — подняться к небу ох как нелегко. Я так устала, эта лестница просто бесконечная. Но я решила, мой астроном, посмотреть, как ты трудишься.

— Это слишком большая честь, о царица! — ответил я, низко склоняясь перед ней.

— В самом деле? Но на твоём лице нет радости, скорее недовольство. Ты слишком молод и красив, Гармахис, чтобы заниматься столь иссушающей душу наукой. Боги, что я вижу — мой венок из роз валяется среди твоих заржавленных приборов! Ах, Гармахис, сколько я знаю царей, которые хранили бы этот венок всю жизнь, дорожа им больше, чем самыми драгоценными диадемами! А ты швырнул его, точно пучок травы. Какой ты странный человек! Но погоди — что это? Клянусь Исидой, женский шарф! Изволь же объяснить мне, мой Гармахис, как он попал сюда? Значит, наши жалкие шарфы тоже входят в круг приборов, которые служат твоей возвышенной науке? Так, так, вот ты и выдал себя! Стало быть, ты меня все

время обманывал?

— Нет, величайшая из цариц, тысячу раз нет! — пылко воскликнул я, понимая, что оброненный Хармианой шарф действительно мог вызвать такие подозрения. — Клянусь тебе, я вправду не знаю, как эта безвкусная мишурная вещица могла оказаться здесь. Может быть, ее случайно забыла одна из женщин, что приходят убирать комнату.

— Ах да, как же я сразу не догадалась, — холодно проговорила она, смеясь журчащим смехом. — Ну конечно, у рабынь, которые убирают комнаты, полно таких безделиц — из тончайшего шелка, которые стоят дважды столько золота, сколько они весят, да к тому же сплошь расшиты разноцветными нитками. Я бы и сама не постыдилась надеть такой шарф. Сказать правду, мне кажется, я его на ком-то видела. — И она набросила шелковую ткань себе на плечи и расправила концы своей белой рукой. — Но что я делаю? Не сомневаюсь, в твоих глазах, я совершила святотатство, накинув шарф твоей возлюбленной на свою безобразную грудь. Возьми его, Гармахис; возьми и спрячь на груди, возле самого сердца!

Я взял злосчастную тряпку и, шепча про себя проклятия, которые не осмеливаюсь написать, шагнул на открытую площадку, казалось, вознесенную в самое небо, с которой наблюдал звезды. Там, скомкав шарф, я бросил его вниз, и он полетел, подхваченный ветром.

Увидев это, прелестная царица снова засмеялась.

— Зачем? — воскликнула она. — Что сказала бы твоя дама сердца, если бы увидела, как ты столь непочтительно выбросил ее залог любви? Может быть Гармахис, такая же участь постигнет и мой венок? Смотри, розы увядают; на, брось. — И, наклонившись, она взяла венок и протянула мне.

Я был в таком бешенстве, что вдруг решил разозлить ее и послать венок вслед за шарфом, однако обуздал себя.

— Нет, — ответил я уже не так резко, — этот венок — дар царицы, его я сохраню. — Эту минуту я увидел, что занавес колыхнулся. Сколько раз я потом жалел, что произнес эти слова пустой любезности, оказавшиеся роковыми.

— Как мне благодарить бога любви за столь великую милость? — проговорила она, вперяя в меня странный взгляд. — Но довольно шуток, выйдем на эту площадку, я хочу, чтобы ты рассказал мне о своих непостижимых звездах. Я всегда любила звезды, они такие чистые, яркие, холодные, и так чужды им наши одержимость и суета. Меня с детства тянуло к ним, вот бы жить среди них, мечтала я, ночь убаюкивала бы меня на своей темной груди, я вечно бы глядела на ее лик с нежными

мерцающими глазами и растворялась в просторах мироздания. А может быть, — кто знает, Гармахис? — может быть, звезды сотворены из той же материи, что и мы, и, связанные с нами невидимыми нитями Природы, и в самом деле влекут нас за собой, когда совершают предначертанный им путь? Помнишь греческий миф о человеке, который стал звездой? Может быть, это случилось на самом деле? Может быть, эти крошечные огоньки — души людей, только очистившиеся, наполненные светом и достигшие царства блаженного покоя, откуда они озаряют кипение мелких страстей на их матери-земле? Или это светильники, висящие в высоте небесного свода и ярко, благодарно вспыхивающие, когда к ним подносит свой извечно горящий огонь некое божество, которое простирает крылья и в мире наступает ночь? Поделись со мной своей мудростью, приоткрой свои тайны, мой слуга, ибо я очень невежественна. Но мой ум жаждет знаний, мне хочется наполнить себя ими, я думаю, что многое бы поняла, только мне нужен наставник.

Радуюсь, что мы выбрались из трясины на твердую землю, и дивясь, что Клеопатре не чужды возвышенные мысли, я начал рассказывать и, увлекшись, поведал то, что было дозволено. Я объяснил ей, что небо — это жидкая субстанция, разлитая вокруг земли и покоящаяся на мягкой подушке воздуха, что за ним находится небесный океан — Нут и в нем, точно суда, плывут по своим светозарным орбитам планеты. О многом я ей поведал, и в том числе о том, как благодаря никогда не прекращающемуся движению светил планета Венера, которую мы называем Донау, когда она горит на небе как утренняя звезда, становится прекрасной и лучистой вечерней звездой Бону. Я стоял и говорил, глядя на звезды, а она сидела, обхватив руками колено, и не спускала глаз с моего лица.

— Как удивительно! — наконец прервала она меня. — Значит, Венеру можно видеть и на утреннем, и на вечернем небе. Что ж, так и должно быть: она везде и всюду, хотя больше всего любит ночь. Но ты не любишь, когда я называю при тебе звезды именами, которые им дали римляне. Что ж, будем говорить на древнем языке Кемета, я его знаю хорошо: заметь, я первая из всех Лагидов, кто его выучил. А теперь, — продолжала она на моем родном языке, но с легким акцентом, от которого ее речь звучала еще милее, — оставим звезды в покое, ведь они, в сущности, коварные создания и, может быть, именно сейчас, в эту минуту замышляют недоброе против тебя или против меня, а то и против нас обоих. Но мне очень нравится слушать, когда ты говоришь о них, потому что в это время с твоего лица слетает маска угрюмой задумчивости, оно становится таким живым и человеческим. Гармахис, ты слишком молод, тебе не следует заниматься

столь возвышенной наукой. Я думаю, что должна найти тебе более веселое занятие. Молодость так коротка; зачем же растрачивать ее в таких тяжких размышлениях? Пора размышлений придет, когда мы уже не сможем действовать. Скажи мне, Гармахис, сколько тебе лет?

— Мне двадцать шесть лет, о царица, — отвечал я, — я рожден в первом месяце сезона шему, летом, в третий день от начала месяца.

— Как, стало быть, мы с тобой родились не только в один и тот же год и месяц, но и в тот же самый день, — воскликнула она, — ибо мне тоже двадцать шесть лет и я тоже рождена в третий день первого месяца сезона шему. Ну что ж, мы имеем право сказать, что не посрамили тех, кто дал нам жизнь. Ибо если я — самая красивая женщина Египта, то ты, Гармахис, самый красивый и самый сильный из всех мужчин Кемета и к тому же самый образованный. Мы родились в один день — знаешь, по-моему, судьба недаром свела нас и мы должны быть вместе: я — царица, а ты, Гармахис, быть может, самая надежная опора моего трона, мы принесем друг другу счастье.

— А может быть, горе, — ответил я и отвернулся, потому что ее чарующие речи терзали мой слух, а лицо от них запыхало, и я не хотел, чтобы она это видела.

— Нет, нет, не говори о горе. Сядь рядом со мной, Гармахис, давай поговорим не как царица и ее подданный, а как два друга. Ты рассердился на меня сегодня на пиру, когда я велела надеть на тебя этот венок, решил, что я издеваюсь, так ведь? Ах, Гармахис, то была всего лишь шутка. Как тяжело бремя монархов, как утомительны их обязанности! Если бы ты это знал, ты бы не вспыхнул гневом от того, что я попыталась развлечься безобидной шуткой. До чего же скучны эти царевичи и аристократы, эти чванливые надменные римляне! В глаза они клянутся мне в рабской преданности, а за спиной глумятся надо мной, говорят, что я пресмыкаюсь перед их триумvirатом, перед их империей, перед их республикой — колесо судьбы поворачивается, и те, кто крепче в него вцепился, возносятся наверх и обретают власть. Среди тех, кто меня окружает, нет ни одного настоящего мужчины, — глупцы, марионетки, трусы, ни единого мужественного человека я не встречала среди них после гибели Цезаря, которого весь мир не мог победить, а они предательски закололи кинжалами. Я не могут допустить, чтобы Египет попал к ним в руки, и потому вынуждена стравливать их друг с другом, может быть, хоть это нас спасет. И какова награда? Меня на всех перекрестках позорят, мои подданные ненавидят меня, я это знаю, знаю, — вот моя награда! И я уверена: хоть я и женщина, они давно убили бы меня, да только никак не



удается!

Она умолкла и закрыла глаза рукой, — это она сделала очень кстати, потому что я похолодел от ее слов и отпрянул в сторону.

Люди осуждают меня, я знаю; называют блудницей, а я оступилась один-единственный раз в жизни, когда полюбила величайшего человека в мире, любовь к нему зажгла во мне непреодолимую страсть, но страсть эта была священна. Бесстыдные клеветники-александрийцы обвиняют меня в том, что я отравила моего брата, Птолемея, которого римский Сенат, вопреки всем человеческим законам, насильно навязал мне в мужа — мне, его сестре! Но все эти обвинения — ложь: Птолемей заболел лихорадкой и умер. Однако это еще не все, молва утверждает, будто я хочу убить мою сестру Арсиною, ту самую Арсиною, которая спит и видит во сне, как бы убить меня. Какая отвратительная клевета! Арсиною знать меня не желает, а я, я — нежно ее люблю. Да, все осуждают меня, хотя ничего дурного я не совершила. Даже ты, Гармахис, меня осуждаешь. Но прежде чем судить, Гармахис, вспомни, какое зло — зависть! Это тяжкая болезнь, она разъедает душу, калечит ум, извращает зрение, и ты видишь в ясном, открытом лице Добра Преступление, а в чистых помыслах невинной девушки тебе мерещится Порок! Задумайся, Гармахис, как чувствует себя тот, кого судьба высоко вознесла над любопытной и бесчестной чернью, которая ненавидит тебя за твое богатство и за твой ум, скрежещет от ярости зубами и под прикрытием собственного ничтожества пронзает тебя стрелами лжи, ибо эти бескрылые твари не способны взлететь; они жаждут низвести все высокое и благородное до своего уровня, втоптать в грязь.

И потому не спеши осуждать облеченных властью, ибо за каждым их поступком следят миллионы враждебных глаз, каждое слово ловят миллионы настороженных ушей, их самую безобидную ошибку тут же разносит по всему свету молва, злорадно торжествуя и крича, что они совершили преступление. Не говори сразу: «Они правы; конечно, они правы», лучше спроси: «А правы ли они? Так ли все было на самом деле? По своей ли воле она так поступила?» Суди справедливо и милосердно, Гармахис, как судила бы я, окажись я на твоем месте. Помни, что царица не принадлежит себе. Она — игрушка и оружие в руках политических сил, которые творят историю и записывают ее события на железных скрижалях. О Гармахис, будь моим другом, другом и советником, которому я могла бы безраздельно доверять, ведь здесь, в этом кишачем людьми дворце, нет более одинокого существа, чем я. Но тебе я доверяю; в твоих спокойных глазах я вижу верность, и я добьюсь для тебя высокого положения. Ах, как мне невыносимо мое душевное одиночество, я должна найти человека, с

которым могла бы говорить, не опасаясь предательства, откровенно делиться своими мыслями. У меня много несовершенств, я сама знаю, но я не вовсе недостойна твоей преданности, ибо среди плевел в моей душе есть и добрые зерна. Скажи, Гармахис, ты чувствуешь ко мне сострадание, потому что я так одинока? Ты поддержишь меня своей дружбой — женщину, у которой столько поклонников, придворных, слуг, рабов, что и не счесть, но нет ни единого друга? — И она приблизилась ко мне, слегка коснувшись плечом и глядя на меня своими дивными фиалковыми глазами.

Я был потрясен. Я вспомнил о том, что должно произойти завтра ночью, и меня пронзили боль и стыд. Это меня-то она выбрала своим другом! Меня, у которого на груди спрятан кинжал убийцы! Я опустил голову, и то ли стон, то ли рыдание вырвалось из моего истерзанного сердца.

Но Клеопатра, считая, что я просто растроган ее столь неожиданно свалившейся на меня милостью, нежно улыбнулась и сказала:

— Уже поздно; завтра ночью, когда ты принесешь мне предсказание, мы снова будем говорить, мой друг Гармахис, и ты дашь мне ответ. — Она протянула мне руку, и я ее поцеловал. Поцеловал, сам не понимая, что я делаю, а она в тот же миг исчезла.

Я же остался стоять, глядя ей вслед, точно замороженный.

## **Глава VI , повествующая о сцене ревности и о признании Хармианы; о том, как Гармахис рассмеялся в ответ; о подготовке к кровавому деянию и о вести, которую старая Атуа передала Гармахису**

Я стоял, застыв, погруженный в свои мысли. Потом случайно мой взгляд упал на венок из роз, и я взял его в руки. Сколько я так стоял — не знаю, но когда я наконец поднял глаза, я увидел Хармиану, о которой совсем забыл. И хотя в тот миг мои помыслы были далеко от нее, я рассеянно отметил, что щеки ее горят словно бы от гнева и она нетерпеливо постукивает ножкой по полу.

— А, это ты, Хармиана, — сказал я, — что с тобой? Затекли ноги, потому что пришлось так долго стоять в нише? Почему не выбралась из нее незаметно и не убежала, когда мы с Клеопатрой вышли на площадку?

— Где мой шарф? — спросила она, впиваясь в меня гневным взглядом. — Я обронила здесь мой шелковый вышитый шарф.

— Как где твой шарф? Ты разве не видела? Клеопатра принялась меня поддразнивать, и я выбросил его с башни.

— Не сомневайся, видела, и видела все слишком хорошо. Мой шарф ты выбросил, а вот венок из роз — его ты выбросить не смог. Ведь это поистине «дар царицы», и потому царственный Гармахис, жрец Исиды, избранник богов, коронованный фараон, посвятивший себя возрождению и процветанию Египта, будет свято хранить его и любоваться им. Что такое в сравнении с венком мой шарф, — раз наша развратная царица посмеялась над тобой, его надо выкинуть!

— О чем ты? — спросил я, пораженный горечью, которая звучала в ее голосе. — Разгадай мне свои загадки.

— Ты не понимаешь, о чем я? — Она вскинула голову, и я увидел ее белую плавно выгнутую шею. — Да ни о чем, а если хочешь — о самом главном, понимай как знаешь. Неужто ты так простодушен, Гармахис, мой брат и господин мой? — продолжала она тихо и язвительно. — Тогда я объясню: тебе грозит великая опасность. Клеопатра опутала тебя своими роковыми сетями, и ты уже почти любишь ее, Гармахис, — любишь ту,

которую должен убить завтра! Да, стой и смотри как зачарованный на венок, что ты держишь в руках, венок, который ты не смог выбросить вслед за моим шарфом, — еще бы, ведь он был на голове Клеопатры! С благоуханием роз смешался аромат ее волос — волос любовницы Цезаря и множества других мужчин! Скажи мне, мой Гармахис, далеко ли ты продвинулся со своими любезностями, когда был с нею на площадке? Ведь из той ниши, где я пряталась, мне было ничего не видно и не слышно. Прелестное место для влюбленных, правда? И время самое подходящее, согласись. Не сомневаюсь: сегодня над всеми звездами царит Венера.

Она проговорила все это спокойно, мягко и даже ласково, хоть речь ее была жестока, и в то же время так ядовито, что каждое слово жгло мне сердце, я вспыхнул от гнева и даже не мог дать ей сразу отповедь.

— Да, ты ничего не упустишь, — продолжала она жалить меня, видя мою растерянность, — сегодня целуешь уста, которые завтра от твоего кинжала смолкнут навеки! Все точно рассчитываешь и пользуешься удобным случаем — удивительно достойное и благородное поведение.

И тут я наконец обрел дар речи.

— Да как ты смеешь так клеветать на меня, ничтожная? — вскричал я. — Ты что, забыла, кто ты и кто я? Как ты посмела осыпать меня своими глупыми насмешками?

— Я помню, кем тебе надлежит быть, — тотчас же парировала она. — Кто ты сейчас, я не знаю. Это ведомо только тебе — тебе и Клеопатре.

— О чем ты говоришь? Разве я виноват, что царица...

— Царица? Вот как, у нашего фараона есть царица?

— Если Клеопатра пожелала прийти сюда ночью и поговорить со мной...

— О звездах, Гармахис, о звездах и о розах, больше ее ничего не интересует!

Что я ей на это ответил — не помню, ибо хоть я и был в смятении чувств, злой язык девушки и нежно-вкрадчивый голос привели меня в бешенство. Знаю только одно: я говорил с ней так сурово, что она испугалась, как испугалась в тот вечер, когда дядя Септа поносил ее за греческое платье. И так же, как в тот вечер, залилась слезами, только сейчас она не плакала, а бурно рыдала.

Наконец я умолк, мне было стыдно, гнев не прошел, душу саднила обида. Ибо она хоть и рыдала, но время от времени отпускала шпильки — на редкость острые и ядовитые.

— Как можешь ты так со мной говорить! Это жестоко, это недостойно мужчины! Но я забыла: ведь ты же не мужчина, ты всего лишь жрец! Быть

может, ты мужчина только с Клеопатрой!

— По какому праву ты оскорбляешь меня? Какой смысл скрывается в твоих словах?

— По какому праву? — спросила она, глядя на меня своими темными глазами, из которых по нежным щекам лились слезы, словно капли утренней росы из сердцевины лилии. — По какому праву? О, Гармахис, неужели ты совсем слеп? Неужели в самом деле не знаешь, по какому праву я так говорю с тобой? Что ж, тогда придется мне открыть тебе. В Александрии такое признание не считается преступлением. Так вот, это право — великое святое право женщины, право безграничной любви, которой я люблю тебя, Гармахис, и которой ты, судя по всему, совсем не замечаешь, — право моего счастья и моего позора. Ах, не гневайся на меня, Гармахис, не отворачивайся от меня, не считай легкомысленной женщиной, потому что с уст моих наконец-то сорвались слова признания, — я вовсе не легкомысленная. Я такова, какой ты пожелаешь меня сделать. Я — воск в руках скульптора, и что ты из него вылепишь, то и будет. В душе моей поднимается прибой добра и света, и если ты будешь моим кормчим, моим вожаком, он принесет меня в страну высоких духом и благородных, о которой я никогда и не мечтала. Но если я тебя потеряю, то потеряю узду, которая сдерживает все худшее во мне, и пусть тогда разобьется моя барка! Ты не знаешь меня, Гармахис, не подозреваешь, какие могучие силы противостоят в оболочке моего хрупкого тела! Для тебя я всего лишь заурядная женщина, хитрая, капризная, пустая. Поверь мне, это не так! Поделись со мной своими самыми возвышенными мыслями — и я их разделю, открой, какая неразгаданная тайна мучит твой ум, — я помогу тебе проникнуть в ее суть. Мы с тобой одной крови, и любовь сметет то малое, в чем мы разнимся, она поможет слиться нам в одно существо. У нас одна и та же цель, мы любим ту же землю, одной и той же клятвой поклялись. Прими меня в свое сердце, Гармахис, посади рядом с собой на трон Верхнего и Нижнего Египта, и клянусь — я вознесу тебя туда, куда не поднимался ни один из смертных. Но если ты отвергнешь меня, то горе тебе, ибо я низвергну тебя во прах! Итак, я открылась тебе, презрев наши обычаи, преступив свою девичью сдержанность и скромность, меня толкнула на этот дерзкий поступок прекрасная царица Клеопатра, это живое воплощение коварства, которая ради забавы решила покорить своими уловками глупого астронома Гармахиса. Теперь ответь мне ты, я жду. — Она сжала руки и, сделав один единственный шаг ко мне, впиалась взглядом в мое лицо, бледная, как полотно, дрожащая.

Я словно онемел, ибо, вопреки всему, ее чарующий голос и ее

страстная речь растрогали меня и взволновали, точно переворачивающая душу музыка. Если бы я любил эту женщину, меня, без Сомнения, зажгло бы ее пламя; но я не чувствовал к ней и тени любви, а вызвать страсть разумом не мог. И в голове у меня замелькали разные картины, почему-то вдруг стало смешно, как случается с человеком, у которого нервы напряжены до предела. Я мысленно увидел себя вечером на пиру, когда она нахлобучила мне на голову венок из роз. Потом вспомнился ее шарф, который я выбросил с платформы башни. Я представил Хармиану в нише, где она пряталась, наблюдая за уловками — как она их называла — Клеопатры, услышал ее жалующие речи. И наконец, я подумал: интересно, а что сказал бы дядя Септа, если бы увидел и услышал ее сейчас, что он сказал бы о странном, запутанном положении, в котором я очутился, словно в ловушку попал? И я расхохотался — глупец, этим смехом я обрек себя на гибель!

Она еще больше побледнела, лицо стало серым, как у мертвой, и на нем появилось выражение, убившее мое дурацкое веселье.

— Так, стало быть, Гармахис, — проговорила она тихо, срывающимся голосом и глядя в пол, — мои слова всего лишь позабавили тебя?

— Нет, Хармиана, нет, — ответил я, — прости мне этот глупый смех. Ведь я смеялся от отчаяния: что я могу сказать тебе? Ты говорила так взволнованно и так возвышенно о том, что ты способна сделать, — мне ли рассказывать тебе о тебе самой?

Она вся сжалась, и я умолк.

— Продолжай, — прошептала она.

— Ты знаешь, и знаешь лучше многих, кто я и что я должен выполнить; ты также знаешь, что я посвящен Исиде и что божественный закон не позволяет мне даже думать о любви к тебе.

— Конечно, — прервала она меня все так же тихо и по-прежнему не отрывая глаз от пола, — конечно, я все знаю, и знаю также, что ты нарушил свои клятвы, — если не действием, то в душе, — они растаяли, как корона облаков в небе: Гармахис, *ты любишь Клеопатру!*

— Ложь! — вскричал я. — Распутница, ты хочешь соблазнить меня и вынудить предать мой долг, покрыть себе в глазах Египта несмываемым позором! Поддавшись страсти, честолюбию, а может быть, вдохновленная жаждой творить зло, ты не постыдилась преступить запреты, налагаемые девичьим целомудрием, и призналась мне в любви! Берегись, если ты зайдешь слишком далеко! Ты хотела, чтобы я тебе ответил? Что ж, я отвечу так же откровенно, как ты спросила. Хармиана, меня связывает с тобой только мой долг перед страной и принесенные мной клятвы — больше

ничего! Сколько бы ты ни пыталась заморозить меня своими нежными взглядами, сердце мое не забьется быстрее. И я даже не питаю к тебе дружеских чувств, ибо отныне не доверяю тебе. Но предупреждаю тебя еще раз: берегись! Мне ты можешь вредить сколько тебе вздумается, но если ты посмеешь причинить хоть самое малое зло нашему святому делу, знай — ты умрешь! Я все сказал. Игра кончена.

Я был вне себя от гнева, и, слушая меня, она отступала, отступала все дальше и наконец прижалась к стене и закрыла лицо руками. Но вот я умолк, и ее руки упали, она взглянула на меня, но лицо у нее было неподвижное, как у статуи, только огромные глаза горели, точно два угля, окруженные фиолетовыми тенями.

— Да, игра кончена, — проговорила она тихо, — осталось лишь посыпать песком арену. — Это она вспомнила, что после гладиаторских боев пролитую кровь засыпают мелким песком. — Ну что ж, — продолжала она, — не стоит тебе тратить свой гнев на столь презренное создание. Я бросила кости и проиграла. Дай мне свой кинжал, тот, что ты прячешь в складках одежды на груди, и я сейчас же, не медля ни минуты, избавлюсь от позора! Не даешь? Тогда хоть выслушай меня, о царственный Гармахис: забудь слова, что я произнесла, молю тебя, и никогда меня не бойся. Я так же верно, как и прежде, служу тебе и нашему общему делу. Прощай!

Она побрела прочь, цепляясь рукой за стену. А я, уйдя к себе в спальню, упал на ложе и застонал от муки. Увы, мы строим планы и медленно возводим дом нашей надежды, не зная, каких гостей приведет в этот дом Время. Кто, кто из нас способен предвидеть непредвиденное?

Наконец я заснул, и всю ночь мне снились дурные сны. Когда я пробудился, в окно уже лился свет дня, который увидит исполнение наших кровавых замыслов, в саду среди пальм радостно заливались птицы. Да, я проснулся, и в тот же миг меня пронзило предчувствие беды, ибо я вспомнил, что, прежде чем нынешний день канет в вечность, я должен буду обогреть руки в крови — в крови Клеопатры, которая верит мне и считает своим другом! Я должен ее ненавидеть, почему же у меня нет ненависти к ней? Когда-то я смотрел на этот акт мести и как на высокий подвиг и жаждал совершить его. А сейчас... сейчас... признаюсь честно: я с радостью бы отказался от своего царского происхождения, лишь бы меня избавили от этой тягостной обязанности. Но увы, я знал, что избавления мне нет. Я должен испить чашу до дна, иначе я навек покрою себя позором. Я чувствовал, что за мной наблюдают глаза Египта, глаза всех его богов. Я молился моей небесной матери Исиде, прося ниспослать мне сил, чтобы я

мог совершить это деяние, молился с таким жаром, какой никогда не вкладывал в мои молитвы, но странно — она не отзывалась на мой призыв. Почему? Что произошло? Кто разорвал нить, связующую нас, как случилось, что в первый раз в жизни богиня не пожелала услышать своего любимого сына и верного слугу? Неужели я согрешил против нее в своем сердце? Что там такое болтала Хармиана — что я люблю Клеопатру? Неужели эта моя мука — любовь? Нет, тысячу раз нет! Это лишь естественный протест природы против предательства и кровопролития. Богиня просто решила испытать мои силы, или, может быть, она тоже отвращает свой благой животворящий лик от тех, кто замышляет убийство?

Я встал, содрогаясь от ужаса и отчаяния, и начал заниматься делами, но это был как бы не я. Я выучил наизусть все имена в роковых списках, повторил в уме последовательность действий, более того, я даже мысленно составил обращение фараона к его подданным, которым завтра я поражу весь мир.

— Граждане Александрии и жители страны Египет, — так начиналось это обращение, — волею богов Клеопатру из династии Македонских Лагидов постигла кара за ее преступления...

Я продолжал трудиться, но делал все как бы во сне, словно у меня не было ни воли, не желаний, а мною двигали какие-то неведомые мне силы. Время летело. В третьем часу пополудни я пришел, как было условлено, в дом к дяде Сепе — в тот самый дом, куда я впервые вступил три месяца назад, вечером, когда приплыл в Александрию. Там уже тайно собрались на совет вожди, которые должны возглавить восставших в Александрии; всего их было семь, когда я вошел и двери комнаты замкнули, они простерлись предо мною ниц, восклицая: «Желаем здравствовать, наш фараон!» Но я попросил их встать и сказал, что я пока не фараон, я тот самый птенец, который еще не вылупился из яйца.

— Верно, царевич, — засмеялся дядя, — но клюв птенца уже пробил скорлупу. Если ты сегодня ночью сумеешь нанести этот удар кинжалом, значит, не зря Египет высиживал птенца все эти долгие годы. Да и что может тебе помешать? Мы идем прямо к победе, никто нас не остановит!

— Все в воле богов, — отвечивал я.

— Нет, — возразил он, боги поручили этот подвиг воле смертного — твоей воле, Гармахис, а твоя воля непоколебима. Смотри, вот еще несколько списков. В нашу поддержку поклялись выступить тридцать одна тысяча вооруженных воинов, как только до них дойдет весть о смерти Клеопатры и о твоей коронации. Через пять дней все цитадели Египта будут в наших руках, и тогда чего нам бояться? Рим нам не страшен, ему



бы разобраться в своих собственных делах; к тому же мы заключим союз с триумвиратом и, если нужно, откупимся от него. Денег в стране довольно, а если потребуется еще, ты знаешь, Гармахис, где их добыть, они хранятся в тайном месте на черный день для нужд Кемета, и римлянам они вовеки недоступны. Кто может причинить нам зло? Никто. Возможно, в этом ненадежном городе начнется борьба, возможно, существует еще один заговор, участники которого хотя привезти в Египет Арсиною и посадить на трон ее. Тогда с Александрией придется поступить жестоко и даже, если нужно, разрушить ее. Что до Арсиной, то завтра, после того, как станет известно, что царица умерла, мы изберем людей, которые тайно умертвят ее.

— Но остается мальчик, Цезарион, — заметил я. — Он — наследник Клеопатры, и римляне могут заявить, что Египет принадлежит им, раз им правит сын Цезаря. Тут кроется огромная опасность.

— Опасности нет никакой, — возразил дядя, — завтра Цезарион встретится в Аменти с теми, кто его родил на свет. Я уже об этом позаботился. Род Птолемеев должен быть выкорчеван, чтобы корни этого проклятого богами древа не дали больше ни одного ростка.

— А нельзя обойтись без убийств? — печально спросил я. — Мне тягостно думать об этих потоках крови. Я хорошо знаю мальчика: он унаследовал красоту и одухотворенность Клеопатры и Цезарев великий ум. Умертвить его было бы преступление.

— Что за малодушие, Гармахис? Я не узнаю тебя, — сурово сказал дядя. — Откуда эта жалость? Если мальчик и вправду таков, как ты его описываешь, тем больше оснований с ним покончить. Неужто ты хочешь оставить жизнь львенку, который вырастет в могучего льва и столкнет тебя с трона?

— Что ж, пусть будет так, — ответил я со вздохом, — по крайней мере, он избегнет многих страданий и вступит в Аменти, не совершив зла. Обсудим теперь последовательность действий.

Мы долго сидели и обсуждали, как и в каком случае лучше поступить, и наконец, проникшись важностью минуты и сознанием нашей высокой цели, я почувствовал, как сердце мое оживляется, хоть и не прежним воодушевлением. Но вот все было условлено и обговорено, мы предусмотрели все мелочи и исключили возможность неудачи; решили даже, что если непредвиденные обстоятельства помешают мне убить Клеопатру сегодня ночью, мы подождем до завтра и тогда уж начнем действовать, ибо смерть Клеопатры должна послужить сигналом к выступлению по всей стране. Закончив совет, мы снова встали и, возложив

руки на священный символ, поклялись клятвой, которую мне не позволено здесь начертать. Дядя поцеловал меня, в его черных живых глазах сверкали слезы радости и надежды. Он благословил меня и сказал, что счел бы счастьем отдать свою жизнь — тысячу жизней, если бы они у него были, — только бы увидеть Египет свободным, как прежде, а меня, Гармахиса, потомка его древних фараонов, возвести на престол. Он истинно и бескорыстно любил нашу отчизну и отдавал все силы ее возрождению. Я тоже поцеловал его, и мы расстались. Никогда больше я не встретился с ним в этом мире, а в том, другом, он вкушает покой среди полей Иалу, покой, в котором будет отказано мне.

Я покинул его дом и, поскольку было еще рано, быстро зашагал по улицам огромного города, осматривая все ворота, за которыми должны были собраться наши воины. В конце концов я пришел в порт, на набережную, где я сошел с барки, когда приплыл в Александрию, и увидел в открытом море судно. На сердце у меня было так тяжело, что я не мог оторвать от него глаз и мечтал лишь об одном: оказаться бы мне сейчас на этой барке и пусть ее белые паруса унесут меня на край света, где я стану жить, никому не ведомый, а потом умру, и все меня забудут. Потом я увидел еще одно судно, которое приплыло сюда по Нилу, с него на набережную спускались путешественники. С минуту я стоял и празднично их разглядывал, мелькнула мысль, не из Абидоса ли эти люди, как вдруг возле меня раздался знакомый голос:

— Ах-ха-ха-ах! Ну и город, такой старухе, как я, здесь делать нечего. Да разве я найду в эдаком столпотворении друзей, к которым приехала? Это все равно что искать в свитке папируса тростник, из которого он сделан. А ты, мошенник проваливай! Не трогай мою корзину с целебными травами, не то, клянусь богами, я с их помощью найду на тебя злую хворь!

Я в изумлении оглянулся — передо мной лицом к лицу стояла моя няня, старая Атуа. Она тотчас же узнала меня, ибо вздрогнула, это не укрылось от моих глаз, однако же вокруг был народ, и она не показала удивления.

— Мой добрый господин, — опасливо проговорила она, обращая ко мне свое морщинистое лицо и сделав рукой условный тайный знак, — мой добрый господин, судя по платью, ты астроном, мне строго наказали держаться от астрономов как можно дальше, ибо все они лгуны и дешевые шарлатаны, поклоняются только своей собственной звезде; и потому я, как истинная женщина, поступаю наоборот и прошу тебя помочь мне. Я уверена: в этой Александрии, где все не так, как у людей, астрономы наверняка единственные, кому можно доверять, а все остальные —

обманщики и воры. — И прошептала, потому что мы отошли от плотной толпы и никто нас теперь не слышал: — Мой царственный Гармахис, я привезла тебе весть от твоего отца Аменемхета.

— Здоров ли он? — спросил я.

— Да, он здоров, но ожидание великого события отнимает у него силы.

— А что за весть он послал мне с тобой?

— Сейчас услышишь. Он шлет тебе свою любовь и благословение и просит передать, что над тобой нависла грозная опасность, хотя какая именно — он не мог разгадать. Вот слова, которые он произнес: «Будь тверд, и ты восторжествуешь».

Я опустил голову, ибо от этих слов мое сердце опять похолодело и в страхе сжалось.

— Когда все должно произойти? — спросила она.

— Сегодня ночью. Куда ты направляешься?

— В дом благородного Сепы, жреца из Ана. Ты можешь проводить меня к нему?

— Нет, мне больше нельзя задерживаться; да и не — надо, чтобы нас видели вместе. Эй, поди сюда! — крикнул я носильщику, который болтался без дела, и, дав ему денег, велел отвести старуху к дому дяди Сепы.

— Прощай, — шепнул она, — прощай же до завтра. Будь тверд, и ты восторжествуешь.

Я побрел по запруженным людьми улицам, причем все расступались передо мной, ибо слава моя была велика.

Я шел, и мне слышалось, будто подошвы моих сандалий отбивают: «Будь тверд... Будь тверд... Будь тверд...», а потом стало казаться, что это сама земля предостерегает меня.

## Глава VII , повествующая о загадочных речах Хармианы; о появлении Гармахиса в покоях Клеопатры; и о его поражении

Наступил вечер, я сидел один в своей обсерватории и ждал Хармиану, которая, как уговорено, должна была прийти за мной и отвести в покои Клеопатры. Да, я сидел один, и передо мною лежал кинжал, который должен был пронзить сердце царицы. Лезвие было длинное и острое, а рукоятка в виде сфинкса, из чистого золота. Я сидел один и молил богов открыть мне будущее, но боги молчали. Наконец я поднял глаза и увидел, что возле меня стоит Хармиана — не та кокетливая и искрящаяся весельем, какой я ее всегда знал, но бледная, с пустым взглядом.

— Царственный Гармахис, — произнесла она, — Клеопатра призывает тебя к себе, она желает знать, что предвещают звезды.

Так вот он, час моей судьбы!

— Я иду, Хармиана, — ответил я. — Все ли подготовлено?

— Да, господин мой, все подготовлено: Павел выпил чуть не бочку вина и стоит у ворот, двое евнухов ушли, остался только один, легионеры спят, а Сепы и его отряд уже собрались в условленном месте, неподалеку от восточных ворот. Мы не упустили ни одну мелочь, и царица Клеопатра так же не подозревает об уготованной ей роковой участи, как не ждет смерти овечка, которая резво бежит на бойню.

— Что ж, хорошо, — проговорил я, — пойдём же. — И, встав, положил кинжал себе за пазуху. Потом взял кубок с вином, что стоял на столе, и осушил его до дна, ибо весь день я почти ничего не ел и не пил.

— Подожди, я хочу тебе сказать... — волнуясь, начала Хармиана. — У нас ещё есть время. Вчера ночью... вчера ночью... — грудь её судорожно вздымалась, — мне приснился сон, который неотступно преследует меня; и тебе тоже, мне кажется, снился сон. Все это было всего лишь сон, давай же его забудем, согласен, господин мой?

— Да, да, конечно, — ответил я, — не понимаю, зачем ты отвлекаешь меня такими пустяками в столь важный час.

— Прости, сама не знаю; но сегодня ночью, Гармахис, Судьба должна разрешиться великими событиями, и, корчась в родовых муках, она может раздавить меня... или тебя, Гармахис, а может быть, нас обоих. И если нам суждено погибнуть, я бы хотела услышать от тебя, пока ещё жива, что то

был всего лишь сон и ты его забыл...

— Да, все и вся в этом мире сон, — думая о своем, проговорил я, — и ты сон, и я, и наша земная твердь, и эта ночь невыразимого ужаса, и этот острый нож — разве все это нам не снится? И каким станет мир, когда мы проснемся?

— Ну вот, мой царственный Гармахис, теперь ты тоже проникся моим настроением. Как ты сказал, все в этой жизни сон; и он на наших глазах меняется. Видения, которые нам являются, удивительны, они не стоят на месте, но плывут, точно облака на закатном небе, то громоздятся горами, то тают; то темнеют, словно наливаясь свинцом, то горят в золотом сиянии. Поэтому до того, как мы проснемся завтра, скажи мне одно только слово. Тот сон, что привиделся нам прошлой ночью, в котором я, как мне вспоминается, словно бы опозорила себя, а ты — ты словно бы смеялся над моим позором, так вот — его лик запечатлелся в твоей памяти неизгладимо или, может быть, он вдруг способен измениться? Помни: как бы причудливы и фантастичны ни были наши сны, но после пробуждения их образы пребудут с нами, вечные и неизменные, как пирамиды. Они останутся в той недоступной переменах области прошлого, где все великое и малое — и даже наши сны, Гармахис, — застывает в своем собственном обличье, как бы обращаясь в камень, и из них воздвигается гробница Времени, которое бессмертно.

— Прости меня Хармиана, — ответил я, — мне больно, если я огорчу тебя, но то видение не изменилось. Вчера я был с тобою откровенен, и сейчас ничего иного сказать не могу. Я люблю тебя как сестру, как друга, но ты не можешь быть для меня ничем другим.

— Ну что ж, благодарю тебя. Забудем все, что было. Забудем о прошлых снах — пусть теперь снятся нам другие. — И она улыбнулась очень странной улыбкой, я никогда раньше не видел такой на ее лице: в ней было больше пророческой печали, чем на лбу страдальца, которого отметил своей печатью Рок.

Я был глуп и потому слеп, я был поглощен скорбью моего собственного сердца и потому не понял, что, улыбаясь этой улыбкой, египтянка Хармиана прощалась со счастьем, с юностью; надежда на любовь исчезла, Хармиана презрела священные узы долга. Этой улыбкой она предала себя Злу, отринула свою отчизну и богов, преступила священную клятву. Да, в тот самый миг улыбка этой девушки изменила ход истории. И если бы она не мелькнула на лице Хармианы, Октавиан не стал бы владыкой мира, а Египет вновь обрел бы свободу и возродился великим и могучим.

И все это решила женская улыбка!

— Почему ты так странно смотришь на меня, Хармиана? — спросил я.

— Случается, мы улыбаемся во сне, — ответила она. — А вот теперь действительно пора; следуй за мной. Исполнишь решимости, и ты восторжествуешь, царственный Гармахис! — И, склонившись передо мной, она взяла мою руку и поцеловала. Потом, бросив на меня еще один непостижимый взгляд, стала спускаться вниз по лестнице и повела по пустым залам дворца.

В чертоге, потолок которого поддерживают колонны из черного мрамора и который называется Алебастровым Залом, мы остановились. Дальше начинались покои Клеопатры, те самые, в которых я впервые увидел ее спящей.

— Подожди меня здесь, — сказала Хармиана, — а я доложу Клеопатре, что ты явился. — И она скользнула прочь.

Долго я стоял, может быть, полчаса, считая удары своего сердца, я был словно во сне и все пытался собрать силы, чтобы совершить то, что мне предстояло.

Наконец появилась Хармиана, она ступала тяжело, голова была низко опущена.

— Клеопатра ожидает тебя, — сказала она, — входи, стражи нет.

— Где я тебя найду, когда все будет кончено? — хрипло спросил я ее.

— Ты найдешь меня здесь, а потом мы пойдем к Павлу. Исполнишь решимости, и ты восторжествуешь. Прощай, Гармахис!

И я пошел к покоям Клеопатры, но возле занавеса вдруг обернулся и в этом пустом, освещенном светильником зале увидел странную картину. Далеко от меня, подле самого светильника, в бьющих прямо в нее лучах стояла Хармиана, откинув назад голову и заломив руки, и ее юное лицо было искажено мукой такой губительной страсти, что описать ее я не могу. Ибо она была уверена, что я, ее любимый, самое дорогое, что у нее есть на свете, иду на смерть и она прощается со мной навек.

Но ничего этого я тогда не знал; и, еще раз болезненно и мимолетно удивившись, откинул занавес, переступил порог и оказался в покое Клеопатры. Там, в дальнем углу благоухающего покоя, на шелковом ложе возлежала в роскошном белом одеянии царица. В руке у нее было опахало из страусовых перьев с ручкой, усыпанной драгоценными камнями, и она томными движениями овеивала себя; возле ложа стояла ее арфа слоновой кости и столик, а на столике блюдо с инжиром, два кубка и графин рубинового вина. Я медленно приближался сквозь мягкий приглушенный

свет к ложу, на котором во всей своей спящей красоте лежала Клеопатра, это чудо света. Да, поистине, никогда она не была столь прекрасна, как в ту роковую ночь. Среди шелковых, янтарного цвета подушек она казалась как бы звездой на золотом закатном небе. От ее волос и одежд исходило благоухание, голос звучал чарующей музыкой, в синих сумеречных глазах мерцали и вспыхивали огни, точно в недобрых опалах.

И эту женщину я должен сейчас убить!

Я медленно шел к ней, потом поклонился, но она меня не замечала. Она лежала среди шелков, и ее украшенное драгоценностями опахало осеняло ее, точно яркое крыло парящей птицы.

Наконец я остановился возле ложа, и она подняла на меня глаза, а страусовыми перьями прикрыла грудь, словно желая скрыть ее красоту.

— А, это ты, мой друг? Ты пришел, — пропела она. — Я рада тебе, мне было так одиноко. В каком печальном мире мы живем! Вокруг нас столько лиц, и как же мало тех, кого хочется видеть. Что ты стоишь, как изваяние, присядь. — И она указала своим опахалом на резное кресло у изножья своего ложа.

Я снова поклонился и сел в кресло.

— Я выполнил повеление царицы, — начал я, — и со всем тщанием и всем искусством, которое мне подвластно, прочел предначертание звезд; вот записи, что я составил после всех моих трудов. Если царица позволит, я растолкую ей звездный гороскоп. — И я поднялся, чтобы склониться над ней сзади и, когда она будет читать папирус, вонзить кинжал ей в спину.

— Не надо, Гармахис, — спокойно проговорила она, улыбаясь своей томительной, обвораживающей улыбкой. — Не вставай, дай мне только свои записи. Клянусь Сераписом, твое лицо слишком красиво, я хочу смотреть на него, не отрывая глаз!

Она разрушила наш замысел, и мне не оставалось ничего другого, как отдать ей папирус, и, отдавая, я подумал про себя, что вот сейчас она начнет смотреть его, а я неожиданно брошусь на нее и убью, вонзив кинжал в сердце. Она взяла папирус и при этом коснулась моей руки. Потом сделала вид, что читает предсказание, но сама и не взглянула в него, она из-под ресниц внимательно глядела на меня, я это видел.

— Почему ты прижимаешь руку к груди? — через минуту спросила она, ибо я действительно сжимал рукоять кинжала. — У тебя болит сердце?

— Да, о царица, — прошептал я, — оно вот-вот разорвется.

Она ничего не ответила, но снова притворилась, что читает предсказание, хотя сама не спускала с меня глаз.

Мысли мои лихорадочно метались. Как совершить это омерзительное

преступление? Броситься на нее с кинжалом сейчас? Она увидит, начнет кричать, бороться. Нет, надо дождаться удобного случая.

— Так, стало быть, Гармахис, звезды нам благоприятствуют? — спросила она наконец, вероятно, просто по наитию.

— Да, моя царица.

— Великолепно. — И она бросила папирус на мраморный столик. — Значит, барки на рассвете отплывут. Победой это кончится или поражением, но мне смертельно надоело плести интриги.

— Это очень сложная схема, о царица, — возразил я, — мне хотелось объяснить тебе, какие знамения я положил в основу гороскопа.

— Нет, мой Гармахис, благодарю, не надо; мне надоели причуды звезд. Ты составил предсказание, мне и довольно; ты честный человек, и, стало быть, твое предсказание правдиво. Поэтому не объясняй мне ничего, давай лучше веселиться. Что мы будем делать? Могу сплясать тебе — никто не сравнится со мной в искусстве танца! Но нет, пожалуй, это недостойно царицы! Придумала: я буду петь! — Она села на ложе, спустила ноги, притянула к себе арфу и несколько раз пробежала по ее струнам пальцами, потом запела своим низким, бархатным голосом прекрасную песнь любви:

Благоуханна ночь, так тихо плещет море,  
И музыкой сердца наши полны.  
Баюкают нас волны,  
Вздыхает ветер, целуя нежно кудри.  
Ты глаз с меня неводишь,  
Ты шепчешь: «О прекрасная!»  
И песнь любви, песнь счастья и восторга  
Летит из сердца твоего:

«Сверкают звезды в вышине,  
Дробится свет их в глубине,  
Скользит ладья среди миров,  
И кружатся светила,  
Подвластны высшей воле.  
Подвластно высшей воле,  
Стремится твое сердце к моему.  
Лишь время неподвижно.

Несет нас Жизнь  
Меж берегами Смерти,



Куда — не ведаем,  
А прошлое забыто.  
Как высоко и недоступно небо,  
Как холодны глубины океана.  
Где память о любивших прежде нас?  
Моя возлюбленная, поцелуй меня!

Как одинок наш, путь средь океана.  
Хрупка наша ладья,  
Под ней — бездонная пучина.  
О, сколько в ней надежд погребено!  
Оставь же весла,  
Не борись с волнами,  
Пусть нас несет течение, куда хочет.  
Моя возлюбленная, поцелуй меня!»

Меня зачаровала твоя песня.  
Вот ты умолк, а сердце -  
Сердце бьется в лад с твоим.  
Прочь, страх, прочь, все сомненья,  
Страсть, ты воспламенила мою душу!  
Приди ко мне, я жажду поцелуев!  
Любимый, о любимый, забудем все,  
Есть только ночь, есть звездный свет и мы!

Замерли последние звуки ее выразительного голоса, заполнившего спальню, но в моем сердце они продолжали звучать. Среди певиц Абидоса я слышал более искусных, с более сильным голосом, но ни один не проникал так глубоко в душу, не завораживал такой нежностью и страстью. Чудо творил не один ее голос — меня словно переносил в сказку благоухающий покой, где было все, что чарует наши чувства; я не мог противостоять страсти и мудрости переложенных на музыку стихов, не мог противостоять всепобеждающему обаянию и грации царственнейшей из женщин, которая их пела. Ибо когда она пела, мне казалось, что мы плывем с ней вдвоем под пологом ночи по летнему морю в игольчатых отражениях звезд. И когда струны арфы смолкли, а она с последним призывом песни, трепещущим на ее устах, поднялась и, вдруг протянув ко мне руки, устремила в мои глаза взгляд своих изумительных глаз, меня повлекло к ней непреодолимой силой. Но я вовремя опомнился и остался в кресле.

— Так что же, Гармахис, ты даже не хочешь поблагодарить меня за мое безыскусное пение? — наконец спросила она.

— О царица, — еле слышно прошептал я, ибо голос не повиновался мне, — сыновьям смертных не должно слушать твои песни! Они привели меня в такое смятение, что я почувствовал страх.

— Ну что ты, Гармахис, уж тебе-то нечего опасаться, — проговорила она с журчащим смехом, — ведь я знаю, как далеки твои помыслы от красоты женщин и как чужды тебе слабости мужчин. С холодным железом можно спокойно забавляться, ему ничего не грозит.

Я подумал про себя, что самое холодное железо можно раскалить добела, если положить его в жаркий огонь, однако ничего не сказал и, хотя мои руки дрожали, снова сжал рукоятку смертоносного оружия; меня приводила в ужас моя нерешительность, нужно скорее, пока я окончательно не потерял рассудок, придумать, как же все-таки убить ее.

— Подойди ко мне, — с негой в голосе продолжала она. — Подойди, сядь рядом, и будем разговаривать; мне столько нужно тебе сказать. — И она подвинулась на своем шелковом ложе, освобождая для меня место.

Я подумал, что теперь мне будет гораздо легче нанести удар, поднялся с кресла и сел на ложе чуть поодаль от нее, а она откинула назад голову и поглядела на меня своими дремотно-томными очами.

Ну вот, сейчас я все свершу, ее обнаженная шея и грудь прямо передо мной, я снова поднял руку и хотел выхватить спрятанный под хитоном кинжал. Но она быстрее молнии поймала мою руку и нежно сжала своими белыми пальчиками.

— Какое у тебя странное лицо, Гармахис! — сказала она. — Тебе нехорошо?

— Да, ты права, мне кажется, я сейчас умру! — задыхаясь, прошептал я.

— Тогда откинься на подушки и отдохни, — ответила она, не выпуская моей руки, от чего я лишился последних сил. — Припадок скоро пройдет. Ты слишком долго трудился в своей обсерватории. Какой ласковый ночной ветерок веет в окно, принося с собой аромат лилий! Прислушайся к плеску волн, набегающих на скалы, они нам что-то шепчут, тихо-тихо, и все же заглушают журчание фонтана. Послушай пенье Филомелы; как искренне, с какой негой рассказывает она возлюбленному о своей любви! Поистине, волшебна хороша нынешняя ночь, наполненная дивной музыкой природы, хором тысяч голосов, в котором голоса деревьев и птиц, седых волн океана и ветра сливаются в божественной гармонии. Знаешь, Гармахис, мне кажется, я разгадала одну из твоих тайн. В твоих жилах течет вовсе не

кровь простолюдинов — ты тоже царского происхождения. Столь благородный росток могло дать лишь древо царей. Ты что, увидел священный листок на моей груди? Он выколот в честь величайшего из богов, Осириса, которого я чту так же, как и ты. Вот, смотри же!

— Пусти меня, — простонал я, порываясь встать, но силы меня оставили.

— Нет, подожди, неужели ты хочешь уйти? Побудь со мной еще, прошу тебя. Гармахис, неужели ты никогда не любил?

— Нет, о царица, никогда! Любовь не для меня, такое и представить невозможно. Пусти меня! Я больше не могу... Мне дурно...

— Чтобы мужчина никогда не любил — боги, это непостижимо! Никогда не слышал, как сердце женщины бьется в такт с твоим, никогда не видел, как глаза возлюбленной увлажняются слезами страсти, когда она шепчет слова признания, прижавшись к твоей груди! Ты никогда не любил! Никогда не тонул в пучине женской души, не чувствовал, что Природа может помочь нам преодолеть наше безбрежное одиночество, ибо, пойманные золотой сетью любви, два существа сливаются в неразделимое целое! Великие боги, да ты никогда не жил, Гармахис!

Шепча эти слова, она придвинулась ко мне, потом с глубоким страстным вздохом обняла одной рукой и, вперив в меня синие бездонные глаза, улыбнулась своей таинственной, томительной улыбкой, в которой, как в распускающемся цветке, была заключена вся красота мира. Ее царственная грудь прижималась к моей все крепче, все нежнее, от ее сладостного дыхания у меня кружилась голова, и вот ее губы прижались к моим.

О, горе мне! Этот поцелуй, более роковой и неодолимый, чем объятье Смерти, заставил меня позабыть Исиду — мою небесную надежду, клятвы, которые я приносил, мою честь, мою страну, друзей, весь мир, — я помнил лишь, что меня ласкает Клеопатра и называет своим возлюбленным и повелителем.

— А теперь выпей за меня, — шепнула она, — выпей кубок вина в знак того, что ты меня любишь.

Я поднял кубок с питьем и осушил до дна и лишь потом понял, что вино отравлено.

Я упал на ложе и, хоть был еще в сознании, не мог произнести ни слова, не мог даже шевельнуть рукой.

А Клеопатра склонилась ко мне и вынула кинжал из складок одежды на груди.

— Я выиграла! — крикнула она, откидывая назад свои длинные

волосы. — Да, выиграла! А ставка в этой игре была — Египет, и, клянусь богами, игру стоило вести! Значит вот этим кинжалом, мой царственный соперник, ты собирался убить меня, а твои приверженцы до сих пор ждут, собравшись у ворот моего дворца? Ты еще не заснул? Скажи, а почему бы мне не вонзить этот кинжал в твое сердце?

Я слышал, что она говорит, и вялым, бессильным движением указал на свою грудь, ибо жаждал смерти. Она величественно выпрямилась, занесла руку, в ней сверкнул кинжал. Вот кинжал опустился, его кончик кольнул мне грудь.

— Нет! — снова воскликнула она. — Ты мне слишком нравишься. Жаль убивать такого красивого мужчину. Дарую тебе жизнь. Живи, потерявший престол фараон! Живи, бедный павший царевич, которого обвела вокруг пальца женщина! Живи, Гармахис, чтобы украсить мое торжество!

Больше я ничего не видел, хотя в ушах раздавалось пенье соловья, слышался ропот моря, победной музыкой лился смех Клеопатры. Сознание отлетало, я погружался в царство сна, но меня провожал ее хрипловатый смех — он прошел со мной через всю жизнь и теперь провожает в смерть.

## **Глава VIII , повествующая о пробуждении Гармахиса; о трупе у его ложа; о приходе Клеопатры; и о словах утешения, которые она произнесла**

Я снова проснулся и снова увидел, что я в своей комнате. Меня так и подбросило. Что же, стало быть, мне тоже приснился сон? Ну конечно же, конечно, мне все это приснилось! Не мог я, в самом деле, совершить предательство! Не мог навсегда потерять нашу единственную возможность! Не мог предать наше великое дело, не мог бросить на произвол судьбы храбрецов, во главе которых стоял мой дядя Сеп! Неужели они напрасно ждали у восточных ворот дворца? Неужели весь Египет до сих пор ждет — и ждет напрасно? Нет, все, что угодно, но это немыслимо! Мне просто приснился кошмар, если такой приснится еще раз, сердце у человека разорвется. Лучше умереть, чем увидеть подобный ужас, который наслали на меня силы зла. Да, да, конечно, все это лишь чудовищное видение, рожденное измученным воображением, однако где я? Где я сейчас? Я должен быть в Алебастровом Зале и ждать, когда ко мне выйдет Хармиана.

Но это не Алебастровый Зал, и, боги великие, что это за страшная грудa лежит возле изножья ложа, на котором, я кажется, спал, — что-то зловеще напоминающее человека, завернутое в белую окровавленную ткань?

С пронзительным воплем я прыгнул на эту грудy, как лев, и изо всех сил нанес по ней удар. Под его тяжестью грудa перевернулась на бок. Обезумев от ужаса, я сорвал белую ткань: согнутый пополам, с коленями, подтянутыми к отвисшей челюсти, лежал голый труп мужчины, и труп этот был начальник стражи римлянин Павел. Он лежал передо мной, и в сердце у него был кинжал, — мой кинжал, с золотой рукояткой в виде сфинкса! — а лезвие прижимало к его могучей груди кусок папируса, на котором было что-то написано латинскими буквами. Я наклонился и прочел:

*HARMACHIDI · SALVERS · EGO · SUM · QUEM ·*

**SUBDERE · MORAS · PAULUS · ROMANUS ·**

**DISCE · HINC · QUID · PRODERE · PROSIT ·**

*«Приветствую тебя, Гармахис! Я был тот самый римлянин Павел, которого ты подкупил. Узнай, какая жалкая судьба ждет предателей!»*

На меня нахлынула дурнота, я, шатаюсь, стал пятиться от трупа, который был весь в пятнах запекшейся крови. Я пятился, шатаюсь, пока не наткнулся на стенку, и замер возле нее, а за окном пели птицы, весело приветствуя день. Стало быть, это был не сон, и я погиб, погиб, погиб!

Я подумал о моем старом отце Аменемхете. Но тут же меня пронзил страх, что он умрет, когда узнает, что сын его покрыл себя позором и погубил его надежды. Подумал о преданном отчизне жреце, моем любимом дяде Сепа, который всю долгую нынешнюю ночь ждал сигнала, но так и не дождался! И сердце мое опять сжалось: что будет с ним и со всеми нашими сторонниками? Ведь я оказался не единственным предателем — меня тоже кто-то предал. Кто это был? Быть может, мертвый Павел. Однако, если предал Павел, он ничего не знал о заговорщиках, которые трудились со мною заодно! Но тайные списки были у меня на груди, в моей одежде... О Осирис, они исчезли! Всех, кто жаждал возрождения Египта, ждет судьба Павла. Эта мысль поразила меня, как удар. Я медленно сполз на пол, чувствуя, что теряю сознание.

Когда я очнулся, то по теням догадался, что уже полдень. Я кое-как поднялся; труп Павла лежал на том же месте, как бы неся свою зловещую вахту. Я в отчаянии бросился к двери. Она была заперта, снаружи раздавались тяжелые шаги стражей. Они спросили у кого-то пароль, потом я услышал, как стукнули о пол древки копий. Запоры отомкнули, дверь открылась, и в комнату вошла сияющая, в парадном царском одеянии, победительная Клеопатра. Вошла одна, и дверь за ней закрылась. Я стоял как громом пораженный, а она легким шагом приблизилась ко мне и встала рядом.

— Приветствую тебя, Гармахис, — проворковала она, улыбаясь. —

Стало быть, мой вестник нашел тебя! — И она указала на труп Павла. — Фи, как он безобразен. Эй, стражи!

Дверь отворилась, два вооруженных галла переступили порог.

— Унесите эту разлагающуюся падаль и выбросите стервятникам, пусть его терзают. Погодите, выньте сначала кинжал из груди этого предателя. — Стражи склонились к трупу, с усилием вытащили из сердца Павла окровавленный кинжал и положили на стол. Потом взяли за плечи и за ноги и понесли прочь, я слышал их тяжелые шаги по лестнице.

— Кажется мне, Гармахис, ты попал в большую беду, — произнесла она, когда звуки шагов замерли. — Как неожиданно поворачивается колесо Судьбы! Если бы не этот предатель, — она кивнула в сторону двери, через которую пронесли труп Павла, — я представляла бы сейчас собой столь же отвратительное зрелище, как он, и кинжал, что лежит на столе, был бы обогрен моей кровью.

Стало быть, меня предал Павел.

— Да, — продолжала она, — и когда ты пришел ко мне вчера ночью, я знала, что ты пришел меня убить, когда ты раз за разом подносил руку к груди, я знала, что рука твоя сжимает рукоятку кинжала и что ты собираешь все свое мужество, чтобы совершить деяние, которому противится твоя душа. Странные то были, фантастические минуты, когда вся жизнь висит на волоске, ради таких минут только и стоит жить, и я неотступно думала, кто же из нас победит, ибо в этом поединке мы были равны и в силе и в вероломстве.

Да, Гармахис, твою дверь охраняют стражи, но я не хочу тебя обманывать. Не знай я, что связала тебя узами, более надежными, чем тюремные цепи, не знай я, что мне не угрожает от тебя никакое зло, ибо меня защищает твоя честь, которую не сокрушат копья всех моих легионов, ты давно был бы мертв, мой Гармахис. Смотри, вот твой кинжал, — она протянула его мне, — убей меня, если можешь. — И, встав передо мной, обнажила грудь и стала ждать; ее глаза были безмятежно устремлены на меня. — Ты не можешь убить меня, — вновь заговорила она, — ибо есть поступки, которых ни один мужчина — я говорю о настоящих мужчинах, таких, как ты, — не может совершить и после этого остаться жить; самый страшный из этих поступков, Гармахис, — убить женщину, которая тебя любит. Что ты делаешь, не смей! Отведи кинжал от своей груди, ибо если ты не смеешь убить меня, насколько более тяжкое преступление ты совершишь, лишив жизни себя, о жрец Исиды, преступивший клятвы! Тебе что, не терпится предстать пред разгневанным божеством в Аменти? Как ты думаешь, какими глазами посмотрит Небесная Мать на своего сына,

который покрыл себя позором, нарушил самую свою святую клятву и вот теперь явился приветствовать ее с обагренными кровью руками? Где ты будешь искупать содеянное зло — если его тебе вообще позволят искупать!

Этого я уже не мог вынести, сердце переполнилось горечью. Увы, она была права: я не имел права умереть. Я совершил столько злодеяний, что не смел даже думать о смерти! Я бросился на ложе и заплакал слезами того отчаянья, когда у человека уже не осталось тени надежды.

Но Клеопатра подошла ко мне, присела рядом и, пытаясь утешить меня, нежно обняла.

— Не плачь, любимый, подними голову, — пел ее голос, — не все потеряно, и я вовсе не сержусь на тебя. Да, игра была не на жизнь, а на смерть, но я предупреждала тебя, что пуцу в ход свои женские чары против твоего чародейства, и видишь — я победила. Но я ничего не скрою от тебя. И как женщина, и как царица я полна жалости к тебе, — не просто жалости, а сострадания; но это еще не все: мне больно видеть, как ты терзаешься. То, что ты стремился отвоевать трон, который захватили мои предки, и вернуть свободу своей древней стране Кемет, лишь справедливо и достойно восхищения. Я сама, как законная царица, поступила в свое время так же и не остановилась перед жестокостью, ибо принесла клятву. И потому все мое сочувствие отдано тебе, как я всегда отдаю его великим и отважным. Тебя ужасает глубина твоего падения, но это тоже вызывает уважение. И я как женщина — как любящая тебя женщина — разделяю твою горе. Но знай: не все потеряно. Твой план был неудачен, ибо мне хорошо известно, что Египет не может существовать сам по себе как независимая держава, пусть бы даже ты отнял у меня корону и стал править, а вам, без всякого сомнения, переворот должен был бы удался, — так вот, Гармахис, нельзя сбрасывать со счетов Рим. И я хочу вселить в тебя надежду: меня принимают не за ту, что я есть на самом деле. Нет сердца в этой огромной стране, которое переполняла бы такая беззаветная любовь к древнему Кемету, как мое, — да, Гармахис, я люблю его даже больше, чем ты. Но до сих пор я была словно в окопах — войны, восстания, заговоры, зависть связывали меня по рукам и по ногам, я не могла служить моему народу, как мне того хотелось. Но теперь, Гармахис, ты научишь меня. Ты будешь не только моим возлюбленным, но и моим советником. Разве так просто покорить сердце Клеопатры — то самое сердце, которое ты, да будет тебе во веки веков стыдно, хотел пронзить сталью? Да, ты, именно ты сможешь мне найти путь к моему народу, мы будем править вместе, объединив в едином царстве древнюю и новую страну, новое и древнее мышление. Ты видишь, все складывается к лучшему — о таком нельзя



было и мечтать: ты взойдешь на престол фараона, но тебя приведет к нему совсем не столь жестокий и кровавый путь.

Итак, мы сделаем все, Гармахис, чтобы замаскировать твоё предательство. Твоя ли в том вина, что подлый римлянин донес о твоих намерениях? Что после того тебя опоили, выкрали тайные списки и без труда расшифровали? Разве тебя станут винить, что после неудачи великого заговора, когда его участники рассеялись по стране, ты, верный своему долгу, продолжал служить отчизне, пользуясь тем оружием, которое дала тебе Природа, и покоришь сердце царицы Египта, надеясь с помощью её преданной любви достичь своей цели и осенить своими мощными крылами родину Нила? Скажи, Гармахис, разве я плохо придумала?

Я поднял голову, чувствуя, как во мраке моего отчаяния блеснула слабая надежда, ибо когда мужчина тонет, он хватается за соломинку. И я в первый раз за все время заговорил:

— А те, кто был со мной... кто верил мне... что будет с ними?

— Ты спрашиваешь о своем отце Аменемхете, старом жреце из Абидоса; о дяде Сепе, этом пламенном патриоте, с такой заурядной внешностью, но с великим сердцем; ты спрашиваешь о...

Я думал, она скажет «о Хармиане», но нет, она не произнесла этого имени.

— ...о многих, многих других, — да, я знаю всех!

— И что же ждет их?

— Выслушай меня, Гармахис, — ответила она, вставая и кладя мне руку на плечо. — Ради тебя я проявлю ко всем к ним великодушие. Я накажу лишь тех, кого нельзя не наказать. Клянусь моим тронem и всеми богами Египта, я никогда не причиню ни малейшего зла твоему старому отцу, и если еще не поздно, я пощажу твоего дядю Сепе и всех, кто был с ним. Я не поступлю, как мой прапрадед Эпифан: когда египтяне восстали против него, он повелел привязать к своей колеснице Афиниса, Павзираса, Хезифуса и Иробастуса, как Ахилл когда-то привязал Гектора, — только те, в отличие от Гектора, были живые, заметь, — и прокатился с ними вокруг городских стен. Я пощажу всех, кроме иудеев, если они были среди вас, ибо ненавижу их.

— Иудеев среди нас нет, — ответил я.

— Тем лучше, ибо их бы я не пощадила. Неужто я в самом деле такая жестокая, как меня расписывают? В твоём списке, Гармахис, было много обреченных на смерть, а я лишила жизни одного-единственного негодяя римлянина, дважды предателя, ибо он предал и меня и тебя. Скажи, Гармахис, ты не раздавлен милостью, которую я к тебе проявила, ибо ты

мне нравишься, а для женщины, поверь, это достаточно веская причина, чтобы помиловать преступника. Нет, клянусь Сераписом! — Она вдруг негромко рассмеялась. — Я передумала: пожалуй, я не дам тебе так много даром. Ты должен заплатить за мою милость, и заплатить дорогой ценой — ты поцелуешь меня, Гармахис.

— Нет, — ответил я, отворачиваясь от прекрасной искусительницы, — это действительно слишком дорогая цена. Я больше никогда не буду целовать тебя.

— Подумай, прежде чем отказываться. — Она сердито нахмурилась. — Подумай хорошенько и сделай выбор. Ведь я всего лишь женщина, Гармахис, и женщина, которая не привыкла слышать от мужчины «нет». Поступай как знаешь, но если ты мне откажешь, я отберу у тебя милость, которую решила подарить. И потому, мой целомудреннейший из жрецов, выбирай: либо ты принимаешь тяжкое бремя моей любви, либо в самом скором времени погибнут от руки палача и твой отец, и все те, кто входил в его заговор.

Я взглянул на нее и увидел, что она и в самом деле разгневана, ибо глаза ее сверкали, а грудь высоко вздымалась. Я вздохнул и поцеловал ее, и этот поцелуй замкнул цепь моего постыдного рабства. А она с торжествующей улыбкой Афродиты упорхнула, захватив с собой кинжал.

Я еще не знал, проникла ли Клеопатра в самое сердце нашего заговора; не знал, почему мне оставили жизнь, не знал, почему Клеопатра, эта женщина с сердцем тигрицы, проявила к нам милость. Да, я не знал, что она боялась убить меня, ибо заговор был слишком могуч, а двойная корона еле держалась на ее голове, и если бы разнеслась молва, что я убит, страну потряс бы бунт и вышиб из-под нее трон, хоть я его уже занять и не мог. Не знал, что лишь из страха и соображений политики проявила она подобие милости к тем, кого я выдал, и что коварный расчет, а не святая женская любовь — хотя, если говорить правду, я ей очень нравился, — побудил ее привязать меня к себе узами страсти. И все же я должен сказать слово в ее защиту: даже когда нависшая над ней туча растаяла в небе, она сохранила верность мне, и никто, кроме Павла и еще одного человека, не подвергся высшей мере наказания — смерти за участие в заговоре против Клеопатры, у которой хотели отнять корону и жизнь. Зато сколько мук эти люди перенесли!

Итак, она ушла, но ее прекрасный образ остался в моем сердце, хотя печаль и стыд гнали его. О, какие горькие часы ждали меня, ведь я не мог облегчить свое горе молитвой. Связь между мною и божественной Исидой оборвалась, богиня не отзывалась больше на призывы своего жреца. Да,

горьки и черны были эти часы, но в этой тьме сияли звездные глаза Клеопатры и эхом отдавался ее голос, шепчущий слова любви. Чаша моего горя еще не переполнилась. В сердце тлела надежда, я убеждал себя, что не сумел достичь высокой цели, но выберусь из глубин пропасти, в которую упал, и найду иной, не столь тернистый путь к победе.

Так преступники обманывают себя, возлагая вину за содеянное зло на неотвратимую Судьбу, пытаюсь убедить себя, что в своей порочности они могут сотворить добро, и убивают совесть, якобы подчиняясь велению необходимости. Но тщетно, тщетно все, ибо на пути порока их неизменно преследуют угрызения совести, а впереди ждет гибель, и горе тем, кто идет по этому пути! О, горе мне, преступнейшему из преступных!

## **Глава IX , повествующая о пребывании Гармахиса под стражей; о презрении, высказанном ему Хармианой; об освобождении Гармахиса; и о прибытии Квинта Деллия**

Целых одиннадцать дней прожил я в своей комнате пленником, никого не видя, кроме стражников возле моих дверей, рабов, которые молча приносили мне еду и питье, и Клеопатры, а Клеопатра почти все время была со мной. Она нескончаемо говорила мне о любви, но ни разу не обмолвилась и словом о том, что происходит в стране. Приходила она всегда разная — то весело смеялась и шутила, то делилась возвышенными мыслями, то была сама страсть, и больше для нее ничего не существовало, и в каждом настроении она была всякий раз по-новому пленительна. Она любила говорить о том, как я помогу ей вернуть величие Египту, как мы облегчим участь народа и заставим римского орла улететь восвояси. И хотя сначала я отвращал слух от ее речей, когда она начинала рисовать передо мной картины будущего, она медленно, подбираясь все ближе и ближе, опутала меня своей волшебной паутиной, из которой было не вырваться, и я стал думать точно так же, как она. Потом я приоткрыл ей свое сердце и рассказал немного о том, как я хотел возродить Египет. Она с восхищением слушала, вдумывалась в мои планы, говорила, что, по ее мнению, следует сделать, чтобы их выполнить, объясняла, каким путем она хочет вернуть Египту истинную веру и восстановить древние храмы — не только восстановить, но и построить новые, где будут поклоняться нашим богам. И она все глубже вползала в мое сердце, проникла во все его уголки и заполнила до краев, и поскольку все остальное у меня в жизни было отнято, я полюбил ее всей нерастроченной страстью моей больной души. У меня ничего не осталось, кроме любви Клеопатры, я жил ею, лелеял ее, как вдова лелеет свое единственное дитя. Вот как случилось, что виновница моего позора стала для меня источником жизни, дороже, чем зеница ока, чем весь мир, я любил ее неутолимо, с каждым часом все сильнее и сильнее, и наконец в этой любви потонуло прошлое, а настоящее стало казаться сном. Ибо она подчинила меня себе, украла мою честь, опозорила

так, что вовек не отмыться, я, жалкое слепое ничтожество, падший глупец, целовал плеть, которой меня стегали, и полз за палачом на коленях, как раб.

Да и сейчас, в моих виденьях, которые слетаются, когда сон отпирает тайные запоры нашего сердца и выпускает в просторные чертоги мысли томящиеся в нем страхи, я, как и прежде, вижу эту царственную женщину, она летит ко мне, распахнув объятия, в глазах ее сияет свет любви, губы полуоткрыты, свернувшиеся в локоны волосы развеваются, а на лице небесная нежность и самозабвенная страсть, на какие была способна лишь она. Через столько лет мне снится, что она пришла ко мне, как приходила когда-то! Потом я просыпаюсь и думаю, что она — воплощение изощреннейшей лжи.

Такой однажды она пришла ко мне, когда я жил в своей комнате под стражей. Не пришла, а прибежала, объяснила она, удрала с какого-то важного совета, где обсуждались военные действия Антония в Сирии, и бросилась прямо ко мне, в парадном церемониальном одеянии, как была, со скипетром в руке и с золотым уреем, обвивающим лоб. Смеясь, она села рядом со мной на ложе; ей надоели послы, которым она давала аудиенцию в зале совета, и она объявила им, что вынуждена покинуть их, потому что получено срочное известие из Рима; собственная выдумка ее развеселила. Она вдруг поднялась, сняла диадему в виде урея и возложила на мой лоб, накинула мне на плечи свою мантию, вложила в руку жезл и склонилась предо мной. Потом снова рассмеялась, поцеловала меня в губы и сказала, что я поистине ее царь и повелитель. Но я вспомнил коронацию в Абидосском храме, вспомнил и ее венок из роз, запах которых до сих пор преследует меня, вскочил, побелев от ярости, сбросил с себя мишуру, в которую она меня обрядила, и сказал, что не позволю издеваться над собой, хоть я и ее пленник. Видно, выражение у меня было такое, что она испугалась и отпрянула от меня.

— Ну что ты, милый Гармахис, — прожурчала она, — не надо сердиться. Почему ты решил, что я над тобой издеваюсь? Почему думаешь, что тебе не стать фараоном перед богами и пред людьми?

— Как мне понять тебя? — спросил я. — Ты что же, хочешь сочетаться со мной браком и объявить об этом всему Египту? Разве есть сейчас для меня иной путь стать фараоном?

Она потупила глаза.

— Быть может, мой возлюбленный, я в самом деле хочу сочетаться с тобой браком, — ласково сказала она. — Послушай, здесь, в этой тюрьме, ты очень побледнел и почти ничего не ешь. Не спорь, я знаю от рабов. Я держала тебя здесь, под стражей, ради того, чтобы спасти твою жизнь,

Гармахис, ибо ты мне очень дорог; ради того, чтобы спасти твою жизнь и твою честь, мы должны и дальше делать вид, что ты мой пленник. Иначе тебя все будут поносить и убьют — тайно подошлют убийц, и ты умрешь. Но я не могу больше видеть, как ты здесь чахнешь. И потому я завтра освобожу тебя и объявлю, что ты ни в чем не виноват, и ты снова появишься во дворце как мой астроном. Скажу, что ты не причастен к заговору, я в этом окончательно убедилась; к тому же твои предсказания сбылись все до единого — кстати, это истинно так, хотя я не вижу причин благодарить тебя, ибо понимаю, что ты составлял предсказания исходя из интересов вашего заговора. А теперь прощай, мне пора к этим чванливым тугодумам-послам; и молю тебя, Гармахис, не поддавайся этим неожиданным вспышкам ярости, ибо ведь тебе неизвестно, чем завершится наша любовь.

И, слегка кивнув головкой, она ушла, заронив мне в душу мысль, что она хочет открыто сочетаться со мной браком. И скажу правду: я уверен, что в тот миг она искренне этого желала, ибо хоть и не любила меня всепоглощающей любовью, но пылко увлеклась мной и я еще ей не успел наскучить.

Утром Клеопатра не пришла, зато пришла Хармиана — та самая Хармиана, которой я не видел с роковой ночи моей гибели. Она вошла и встала передо мной, бледная, глаза опущены, и первые же ее слова ужалили меня, точно укус змеи.

— Прощу простить меня, — проговорила она елеинным голосом, — прошу простить, что я посмела явиться к тебе вместо Клеопатры. Но тебе недолго ждать встречи со своим счастьем: скоро ты ее увидишь.

Я сжался от ее слов, да это и неудивительно, а она, почувствовав, что перевес на ее стороне, стала наступать.

— Я пришла, Гармахис, — увы, больше не царственный! — сказать тебе, что ты свободен! Свободен встретиться лицом к лицу со своим позором и увидеть его отражение в глазах всех, кто верил тебе, — он будет там, подобно теням в глубинах вод. Я пришла сказать тебе, что великий заговор, который готовился больше двадцати лет, погиб безвозвратно. Правда, никого из заговорщиков не убили, может быть, только дядю Сепы, потому что он исчез. Однако всех вождей схватили и заковали в кандалы или же подвергли изгнанию, дух наших людей сломлен, борцы рассеялись по всей стране. Гроза собиралась, но так и не успела грянуть — ветер унес тучи. Египет погиб, погиб навсегда, его последняя надежда разрушена. Никогда нашей стране не подняться с оружием в руках, теперь она во веки веков будет влачить ярмо рабства и подставлять спину плетям угнетателей!

Я громко застонал.

— Увы, меня предали! Нас предал Павел.

— Тебя предали? Нет, это ты сам оказался предателем! Почему ты не убил Клеопатру, когда остался с ней наедине? Отвечай, клятвопреступник!

— Она опоила меня, — проговорил я.

— Ах, Гармахис! — воскликнула безжалостная девушка. — Как низко ты пал и как непохож стал на того царевича, которого я когда-то знала: ты теперь не гнушаешься ложью! Да, тебя опоили — опоили любовным зельем! И ты продал Египет и всех, кто жаждал его возрождения, за поцелуй распутницы! Горе тебе и вечный позор! — Она устала в меня перст и впиалась в лицо глазами. — От тебя все отвернутся, все тебя отвергнут! Ничтожнейший из ничтожных! Презренный! Посмей это опровергнуть, если можешь! Да, прочь от меня! Ты знаешь, какой ты трус, и потому правильно делаешь, что отступаешь в угол! Ползай у Клеопатриных ног, целуй ее сандалии, пока она не втопчет тебя в грязь, где тебе и место. Но от людей честных держись подальше, как можно дальше!

Душа моя корчилась в муках от ее жалящего презрения и ненависти, но ответить ей мне было нечего.

— Как случилось, — наконец спросил я хрипло, — как случилось, что тебя, единственную из всех, не выдали и ты по-прежнему приближенная царицы и по-прежнему издеваешься надо мной, хотя еще совсем недавно клялась мне в любви? Ведь ты женщина, неужели нет в твоей душе жалости и понимания, что и мужчина может оступиться?

— Моего имени не было в списке, — отвечала она, потупляя глаза. — Дарю тебе счастливую возможность: предай заодно и меня, Гармахис! Да, твое падение причинило мне особенно острую боль именно потому, что я любила тебя когда-то, — неужели ты еще это помнишь? Позор того, кто был нам дорог, становится отчасти и нашим позором, он как бы навеки прилипает к нам, потому что мы так слепо любили это ничтожество всеми сокровенными глубинами нашего сердца. Стало быть, ты такой же глупец, как все? Стало быть, ты, еще разгоряченный объятиями царственной распутницы, обращаешься за утешением ко мне — не к кому-то другому, а именно ко мне?!

— Может быть, именно ты в своей злобе и ревности предала нас, это вовсе не так невероятно, — сказал я. — Хармиана, давно, еще в самом начале, дядя Септа предупреждал меня: «Не доверяй Хармиане», и, сказать честно, теперь, когда я вспомнил его слова...

— Как это похоже на предателя! — прервала она меня, вспыхнув до корней волос. — Предатели считают, что все вокруг предатели, и всех

подозревают! Нет, я тебя не предавала; тебя предал этот жалкий мошенник Павел, нервы у него не выдержали, и он за это поплатился. Я не желаю больше слушать такие оскорбления. Гармахис, — царственным тебя уже никто больше не назовет! — Гармахис, царица Египта Клеопатра повелела мне сказать тебе, что ты свободен и что она ожидает тебя в Алебастровом Зале.

И, метнув в меня быстрый взгляд из-под своих длинных ресниц, она поклонилась и исчезла.

И вот я снова вышел из своих комнат и пошел по дворцу, пошел кружным путем, ибо меня переполняли ужас и стыд и я со страхом глядел на людей, уверенный, что увижу на их лицах презрение к предателю, каким я оказался. Но никакого презрения на лицах не было, ибо все, кто знал о заговоре, бежали, Хармиана же ни словом не проговорились, — без сомнения, желая спасти себя. К тому же Клеопатра убедила всех, что я к заговору не причастен. Но моя вина давила на меня непереносимой тяжестью, я похудел, осунулся, никто бы не нашел меня сейчас красивым. И хоть считалось, что я свободен, на самом деле за каждым моим шагом следили, я не имел права выйти за ворота дворца.

И вот настал день, когда к нам прибыл Квинт Деллий, этот продажный римский патриций, который всегда служил лишь восходящим звездам. Он привез Клеопатре послание от триумвира Марка Антония, который, не успев одержать победу в сражении при Филиппах, перебросил свои войска из Фракии в Азию и грабил там покоренных царей, чтобы расплатиться их золотом со своими алчными легионерами.

Я хорошо помню тот день. Клеопатра в своем парадном церемониальном наряде, окруженная советниками двора, среди которых был и я, сидела в большом зале для приемов на своем золотом троне. Вот она приказала ввести посланника триумвира Антония. Огромные двери распахнулись, и среди грома фанфар, приветствуемый стражами-галлами, вошел, в сопровождении свиты военачальников, римлянин в золотых сверкающих доспехах и алом шелковом плаще. Лицо у него было бритое, — ни бороды, ни усов, — красивое и переменчивое, но с жестким ртом и лживыми прозрачными глазами. И пока глашатаи объявляли его имя, титул и должности, которые он занимает, он, уставившись, глядел во все глаза на Клеопатру, которая спокойно сидела на своем троне, сияя лучезарной красотой, и было видно, что он потрясен. Наконец глашатаи смолкли, а он все продолжал стоять и даже не шевельнулся. Тогда Клеопатра обратилась к нему на латыни:



— Приветствую тебя, благородный Деллий, посол могущественного Антония, чья тень закрыла весь мир, словно это сам Марс явился перед нами, мелкими ничтожными владыками. Добро пожаловать в нашу бедную Александрию. Прошу тебя, открой нам цель твоего приезда.

Но хитрый Деллий по-прежнему молчал и все стоял как громом пораженный.

— Что с тобой, благородный Деллий, ты утратил дар речи? — спросила Клеопатра. — Или так долго скитался по просторам Азии, что позабыл родной язык? Какой язык ты еще помнишь? Назови его, и будем говорить на нем, ибо мы знаем все языки.

И тут он наконец заговорил звучным вкрадчивым голосом:

— Прости меня, прекраснейшая царица Египта, за то, что я онемел перед тобой, но столь великая красота, подобно смерти, замыкает уста смертных и отнимает разум. Глаза того, кто смотрит на слепящее полуденное солнце, не видят ничего вокруг; вот так и я, царица Египта, ошеломленный представшим столь внезапно предо мной прекрасным видением, потерял власть над своими мыслями, над своей волей и над своими чувствами.

— Должна отдать тебе должное, — проговорила Клеопатра, — я вижу, у вас в Киликии ты прошел неплохую школу лести.

— Кажется, в Александрии есть пословица: «Сколько ни кади лестью, до облака фимиам не долетит». Но доложу, зачем я прибыл. Вот, царица Египта, послание, с печатями и подписью Антония, где речь идет о государственных делах. Желает ли ты, чтобы я прочел его вслух, при всех?

— Сорви печати и прочти, — повелела она.

И он, отдав ей поклон, сорвал печати и стал читать:

— «От имени *Triumviri Reipublicae Constituendae* триумвир Марк Антоний приветствует Клеопатру, милостью римского народа царицу Верхнего и Нижнего Египта. Нам стало известно, что ты, Клеопатра, нарушив свое обещание и преступив свой долг, послала своего слугу Аллиена с войсками и своего слугу Серапиона, правителя Кипра, тоже с войсками, дабы поддержать убийцу Кассия, который выступил против благороднейшего триумвирата. Известно нам и то, что ты сама готовишь огромный флот ему в поддержку. Мы требуем, чтобы ты без промедления отправилась в Киликию, дабы встретиться там с благородным Антонием и собственными устами дать ему ответ на все обвинения, которые выдвигают против тебя. Предупреждаем, что если ты не исполнишь наше повеление, пеняй на себя. Прощай».

Когда Клеопатра услышала эти наглые угрозы, глаза ее засверкали и руки сжали золотые львиные головы, на которых покоились.

— Сначала нам преподнесли сладчайшую лесть, — произнесла она, — а потом, боясь, что мы пресытимся сладким, напоили желчью. Слушай меня, Деллий: все обвинения, которые перечислены в этом послании, — вернее, в этой повестке в суд, — ложь от начала до конца, и мои советники могут это подтвердить. Но в наших действиях, касающихся войн и политики, мы не собираемся отдавать отчет тебе, и уж тем более сейчас. И мы не покинем нашего царства и не поплывем в далекую Киликию, мы не станем, подобно бесправному обвиняемому, оправдываться перед судом благородного Антония. Если Антоний желает побеседовать с нами и обсудить эти важные дела, что ж — море открыто, и ему будет оказан здесь царский прием. Пусть сам плывет сюда. Вот, Деллий, наш ответ тебе и триумвирату, от имени которого ты прибыл.

Но Деллий улыбнулся улыбкой царедворца, который не снисходит до гнева, и снова заговорил:

— Царица Египта, ты не знаешь благородного Антония. Он суров в посланиях, где выражает свои мысли так, будто в руках его не стило, а копье, обогренное кровью. Но, встретившись с ним лицом к лицу, ты убедишься, что этот величайший в мире полководец столь же любезен и уступчив, сколь и отважен. Послушайся моего совета, о царица! Езжай к нему. Не отсылай меня с таким обидным ответом, ибо если Антоний, следуя твоему приглашению, прибудет в Александрию, то горе Александрии, горе народу Египта и горе тебе, царица Египта! Он приплывет с войсками, приплывет сражаться с тобой, и тяжело придется тебе, посмевшей бросить вызов могущественному Риму. Молю тебя, выполни его повеление. Прибуди в Киликию, явись с дарами мира, а не с оружием в руках. Явись во всем блеске своей красоты, в роскошнейшем одеянии, и тебе не придется бояться благородного Антония. — Он умолк, многозначительно глядя на нее; а я сообразив, куда он клонит, почувствовал, как лицо мне заливают жаркая кровь негодования.

Клеопатра тоже поняла, ибо подперла рукой подбородок и задумалась, в глазах у нее собрались тучи. Она сидела так и молчала, а лукавый царедворец Деллий с любопытством наблюдал за ней. Хармиана, стоявшая с другими придворными дамами возле трона, тоже все поняла, ибо ее лицо озарилось, как озаряется летним вечером туча, когда на небе сверкнет яркая молния. Потом оно снова побледнело и поникло.

Наконец Клеопатра заговорила:

— Дело это очень непростое, и потому, благородный Деллий, нам

нужно время, чтобы все обдумать и принять решение. Отдохни пока у нас, развлекайся, насколько это позволяют наши жалкие обстоятельства. Не позже чем через десять дней ты получишь от нас ответ.

Посол подумал немного, потом ответил с улыбкой:

— Благодарю тебя, царица. На десятый день, считая от нынешнего, я приду к тебе за ответом, а на одиннадцатый отплыву к моему повелителю Антонию.

Снова по знаку, поданному Клеопатрой, затрубили фанфары, и Деллий, поклонившись, удалился.

## **Глава X , повествующая о смятении Клеопатры; о ее клятве Гармахису; и о тайне сокровища, лежащего в сердце пирамиды, которую открыл Клеопатре Гармахис**

В ту же самую ночь Клеопатра вызвала меня к себе в покои, где она жила. Я пришел и застал ее в чрезвычайном смятении; никогда прежде не видел я ее столь встревоженной. Она была одна и металась по мраморному покою, как львица в клетке, мысли теснились у нее в голове, точно облака над морем, и тенями мелькали в глубинах ее глаз.

— Ах, наконец-то ты пришел, Гармахис, — сказала она, с облегчением вздыхая и беря меня за руку. — Дай мне совет, ибо никогда еще я не нуждалась так в мудром совете. Что за жизнь даровали мне боги — бурную, как океан! С детства на мою долю не выпало ни одного безмятежного дня и, судя по всему, никогда не выпадет. Только что моя жизнь висела на волоске, я чудом ускользнула от твоего кинжала, Гармахис, и вот теперь новая беда, точно далеко за горизонтом собралась гроза, вдруг налетела и разразилась надо мной. Как тебе понравился этот щеголь с душой хищника? Вот бы кого поймать в ловушку! Как мягко говорит! Не говорит, а мурлычет, точно кошка, и каждую минуту готов вонзить в тебя когти. А что ты скажешь о послании? Неслыханная наглость! Знаю я этого Антония. Видела его, когда была еще совсем девочка, едва вступала в пору юности, но ум у меня уже тогда был острый, женский, я сразу поняла, что он за человек. Могуч, как Геркулес, но глуп, однако сквозь эту глупость вдруг прорывается ум гения. Сластолюбив; охотно идет за теми, кто потакает ему в его слабостях, но стоит возразить — и он твой смертельный враг. Верен в дружбе, если, впрочем, любит своих друзей; часто совершает поступки, которые противоречат его собственным интересам. Великодушен, смел, в трудных обстоятельствах стоек и вынослив, в благоденствии — любитель вина и раб женщин. Вот каков Антоний. Как вести себя с мужчиной, которого Судьба и Случай, вопреки его собственной воле и желанию, вознесли на гребень успеха? Настанет день, когда волна низвергнется, но пока он летит на ней и смеется

над теми, кто тонет.

— Антоний всего лишь человек, — ответил я, — и человек, у которого много врагов; а человека, у которого много врагов, можно победить.

— Да, его можно победить, но он ведь не один, Гармахис, — с ним еще двое. Кассий отправился туда, где и надлежит быть глупцу, — казалось бы, Рим отсек голову гидре. И что же? Отсечь-то голову отсекали, а на тебя уже шипит другая. Ведь есть еще Лепид и Октавиан-младший, который спокойно, с улыбкой торжества посмотрит на холодный труп Лепида ли, Антония ли, Клеопатры. Если я не поплыву в Киликию, Антоний непременно войдет в союз с парфянами и, сочтя гнусные слухи, которые распускают обо мне, правдой, — кстати, все это, конечно, и в самом деле правда, — обрушит свои легионы на Египет. И что тогда?

— Что тогда? Прогнать его обратно в Рим.

— Ах, Гармахис, тебе легко так говорить, и, может быть, если бы я не выиграла ту игру, что мы вели с тобой двенадцать дней назад, и фараоном стал бы ты, ты с легкостью разбил бы Антония, ибо весь Египет сплотился, поддерживая твой трон. Но меня Египет не любит, им ненавистна царица, в чьих жилах течет греческая кровь; а я уже разрушила великий заговор твоих сторонников, в котором объединилась половина жителей Египта. Так разве эти люди поднимутся, чтоб поддержать меня? Будь Египет верен мне, я, конечно, могла бы выстоять против всех войск, которые приведет Рим; но Египет ненавидит меня и предпочтет покориться римлянам, как в свое время покорился грекам. И все же я могла бы его защитить, будь у меня золото: я наняла бы солдат и они за деньги стали бы сражаться за меня. Но денег нет; моя казна пуста, и хоть земля наша богата, мне нечем заплатить огромные долги. Эти войны разорили меня, мне негде взять ни единого таланта. Может быть, ты, Гармахис, по праву крови жрец пирамид, — она приблизилась ко мне и посмотрела в глаза, — может быть, ты, — если легенда, дошедшая до нас сквозь десятки поколений, не лжет, — может быть, ты откроешь мне, где взять золото, чтобы спасти страну от гибели, а твою возлюбленную от участи Антониевой рабыни? Скажи, эта легенда о сокровище — сказка или правда?

Я подумал немного, потом сказал:

— Предположим, эта легенда — правда, предположим, я покажу тебе сокровище, сокрытое великим фараоном седой древности, чтобы в черный час нашей истории спасти Кемет, но могу ли я быть уверен, что ты поистине употребишь его богатства для этой благой цели?

— Так, стало быть, сокровище есть? — живо спросила она. — О, не сердись на меня, Гармахис, ибо, признаюсь тебе честно, само слово

«золото» в этот роковой час бедствия наполняет сердце такой же радостью, как вид ручья в пустыне.

— Я думаю, что такое сокровище существует, — ответил я, — хотя сам его никогда не видел. Но знаю, что оно по-прежнему лежит там, куда было положено, ибо на тех, кто прикоснется к нему нечистыми руками и ради выполнения своих корыстных замыслов, падет столь страшное проклятье, что ни один из фараонов, кому сокровище было показано, не осмелился его взять даже в годину великих бедствий страны.

— Ах, в былые времена все всего боялись, — возразила она, — или же не так велики были постигшие их бедствия. Стало быть, Гармахис, ты мне покажешь это сокровище?

— Может быть, и покажу, если оно действительно все еще там, куда было положено, но ты должна поклясться мне, что употребишь его только на то, чтобы защитить Египет от Антония и облегчить жизнь его народа.

— Клянусь! — с искренним пылом воскликнула она. — Клянусь всеми богами Кемета, что если ты покажешь мне это великое сокровище, я объявлю Антонию войну и отошлю Деллия обратно в Киликию с еще более оскорбительным посланием, чем Антоний прислал мне. Но это еще не все, я сделаю больше, Гармахис: в самом скором времени я сочетаюсь с тобой браком и объявлю об этом всему миру, и ты сам будешь выполнять свои замыслы и отгонишь от нашей страны римского орла.

Так она говорила, глядя на меня со всей правдивостью и искренностью, на какие способен человек. Я ей поверил и впервые после моего падения почувствовал, что счастлив, подумал, что не все потеряно для меня и что вместе с Клеопатрой, которую я любил до крайней степени безумия, я смогу еще вернуть себе уважение египтян и власть.

— Клянись же Клеопатра! — потребовал я.

— Клянусь, любимый! И этой печатью скрепляю мою клятву! — Она поцеловала меня в лоб. Я тоже поцеловал ее, и мы стали говорить о том, как будем жить, когда станем мужем и женой, и что надо сделать, чтобы одолеть Антония.

Вот как я еще раз поддался обольщению и был обманут, хотя я верю, что если бы не злобная ревность Хармианы, которая, как вы увидите дальше, постоянно толкала ее на все новые преступления, Клеопатра в самом деле сочеталась бы со мной браком и отгородилась бы от Рима. И в конечном итоге так было бы лучше и для нее, и для Египта.

Мы просидели чуть ли не до рассвета, и я приоткрыл перед ней завесу тайны, окутывающей сокровище — несметные богатства, которые лежат в толще пирамиды. Было решено, что завтра же мы отправимся в путь и,

прибыв туда через два дня, ночью начнем их искать. Рано утром была тайно снаряжена барка, Клеопатра вошла в нее, скрыв лицо под покрывалом и выдавая себя за египтянку, которая совершает паломничество к храму Хор-эм-ахета. Я тоже плыл с ней, одетый паломником, и с нами десятеро ее самых верных слуг, переодетых гребцами. Но Хармианы с нами не было. От Канопы по Нилу нас провожал попутный ветер, и в первую же ночь, плывя при свете луны, мы достигли Саиса и там немного отдохнули. На рассвете наше судно снова отчалило, весь день мы двигались быстро и покрыли большое расстояние, так что часа через два после заката солнца впереди показались огни крепости, именуемой Вавилоном. Мы подошли к противоположному берегу и незаметно причалили среди высоких зарослей тростника.

Потом мы, соблюдая величайшую осторожность, двинулись пешком в сторону пирамид, до которых было около двух лиг. Шли я, Клеопатра и преданный евнух, остальных слуг мы оставили в барке. Мне удалось поймать для Клеопатры ослика, который пасся среди поля пшеницы. Я бросил ему на спину плащ, и она села, и я повел ослика известными мне тропами, а евнух следовал за нами пешком. Через час с небольшим мы миновали большую дамбу, и перед нами встали величественные пирамиды, возносящиеся сквозь лунный свет свои вершины к небу; мы в благоговейном трепете умолкли и дальше шли, не произнося ни слова, по населенному духами городу мертвых, вокруг нас поднимались торжественные гробницы, и наконец мы поднялись на каменистую площадку и стали подле пирамиды Хуфу — его великолепного трона.

— Я уверена, — прошептала Клеопатра, глядя вверх на сверкающую в лучах луны мраморную грань с миллионами мистических символов, вырезанных на ней, — я уверена, что в те времена Египтом правили не люди, а боги. Это место печально, как сама смерть, и так же величественно и отчуждено от нас. Мы в эту пирамиду должны войти?

— Нет, не в нее, — ответил я. — Идем дальше.

И я повел их среди бесчисленных древних усыпальниц, пока мы не дошли до пирамиды Хефрена Великого. Остановились в ее тени и стали глядеть на красную, пронзающую небо громаду.

— Это она? — снова прошептала она.

— Нет, не она, — ответил я. — Нужно идти дальше.

Опять мы шли мимо гробниц, им не было конца, но вот мы остановились под сенью Верхней пирамиды, и потрясенная Клеопатра не могла оторвать глаз от зеркальных поверхностей этой красавицы, которая тысячелетие за тысячелетием каждую ночь посылала обратно в небо

лунный свет, покоясь на своем черном базальтовом основании. Поистине, из всех пирамид эта — самая прекрасная.

— Что ж, здесь? — спросила она.

— Да, здесь, — ответил я.

Мы прошли между храмом для культовых церемоний, посвященных его божественному величеству, Менкаура, воссиявшему в Осирисе, и основанием пирамиды и оказались у ее северной грани. Здесь в самой середине выбито имя фараона Менкаура, который построил эту пирамиду, дабы она стала его усыпальницей, и спрятал в ней сокровища, дабы они спасли Кемет, когда настанет черный день беды.

— Если сокровища все еще здесь — сказал я Клеопатре, — как оно было здесь во времена моего прапрадеда, так же как и я, верховного жреца пирамид, то оно покоится в самом сердце громады, перед которой ты стоишь, Клеопатра; и просто так его не возьмешь — потребуются великий труд, придется преодолевать огромные опасности, бороться с безумием. Готова ли ты войти в пирамиду, ибо ты сама должна в нее войти и сама принять решение?

— А ты не можешь, Гармахис, пойти туда с евнухом и принести сокровища? — спросила она, ибо мужество уже изменило ей.

— Нет, Клеопатра, — ответил я, — я не притронусь к сокровищу даже ради тебя и ради благоденствия Египта, ибо из всех преступлений это — самое кощунственное. Но вот что мне позволено. Я, по праву рождения посвященный в тайну сокровища, могу показать правящему владыке Кемета, если он того потребует, место, где лежит сокровища, и предостережение божественного Менкаура тем, кто хочет его взять. И если фараон, прочтя предостережение, решит, что положение Кемета поистине бедственно и катастрофа неотвратима, и потому не испугается проклятия богов и возьмет сокровища, — что ж, вина за совершенное святотатство падет на его голову. Три венценосца — так говорится в летописях, которые я читал, — осмелились войти в гробницу в великий час несчастья нашего Кемета. То были божественная царица Хатшепсут, это земное чудо, равное богам; ее божественный брат Тутмос Менхеперра и божественный Рамсес Ми-Амон. Но ни один из этих царственных владык не посмел прикоснуться к сокровищу, когда прочел предостережение: да, нужда в средствах была огромна, но не настолько, чтобы совершить это деяние. И, испугавшись, что проклятие падет на них, все трое с сожалением ушли.

Она задумалась, потом я понял, что отвага одолела ее страх.

— По крайней мере я увижу все собственными глазами, — сказала она.



— Быть по сему, — ответил я. И вот мы с евнухом, который сопровождал нас, стали собирать валуны и класть их друг на друга в ведомом мне месте у основания пирамиды, пока груды не поднялись выше человеческого роста; я взобрался на нее и стал искать известный одному мне выступ, маленький, как древесный листок. Долго мне пришлось его искать, ибо солнце и ветры, несущие песок пустыни, не пощадили даже базальт. Но наконец я все-таки его нашел и по-особому нажал на выступ изо всех своих сил. И вот камень, не страгиваемый с места тысячелетия, повернулся, и передо мной открылся небольшой ход, через который едва мог протиснуться человек. Едва лишь камень повернулся, из хода вырвалась огромная летучая мышь, белая, как бы седая от древности, и столь невиданных размеров, что я поразился, ибо никогда не встречал ничего подобного — она была, пожалуй, больше ястреба. Летучая мышь повисла, трепеща крылами, над Клеопатрой, потом стала медленно, кругами подниматься в небо и наконец растаяла в лунном сиянии.

С уст Клеопатры сорвался крик ужаса, а евнух, который глядел на летучую мышь, не отрывая глаз, от страха упал на землю — он был уверен, что это дух-охранитель пирамиды. Мне тоже сжал сердце страх, хоть я и ничего им не сказал. Прошло столько лет, но я и сейчас убежден, что нам явился дух воссиявшего в Осирисе Менкаура, который принял облик летучей мыши и вылетел из своего священного обиталища, дабы предостеречь нас.

Я подождал немного, чтобы проветрить коридор, в котором застоялся воздух. Достал тем временем светильники, зажег их и поставил все три у входа в коридор. Потом спустился с каменной груды вниз, отвел в сторону евуха и заставил поклясться живым духом Того, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что он никогда не откроет никому то, чему станет свидетелем.

Он дал мне эту клятву, дрожа от головы до ног, ибо обезумел от страха. И он сдержал свою клятву.

Потом я протиснулся в отверстие, обвязал себя вокруг пояса веревкой, которую захватил с собой, и сделал знак Клеопатре, чтобы она поднималась ко мне. Она заткнула за пояс юбку своего платья и взобралась наверх, я втянул ее внутрь через отверстие, и наконец она оказалась возле меня в проходе, облицованном гранитными плитами. За ней вскарабкался евнух и тоже встал рядом с нами. Потом, сверившись с планом, который я принес с собой и который был составлен так, что только посвященные могли его прочесть, ибо был переснят с древнейших документов, дошедших до меня через сорок одно поколение моих предков, жрецов пирамиды

божественного Менкаура и поминального храма этого великого фараона, воссоединившегося с Осирисом, я повел моих спутников по темному коридору в тысячелетнее безмолвие пирамиды. Дрожали неверные огоньки наших светильников, в их свете мы спустились по крутому ходу, задыхаясь от жары и духоты вязкого, застоявшегося воздуха. Но вот каменная кладка кончилась, мы оказались в галерее, выбитой в толще скалы. Сто локтей она круто шла вниз, потом спуск сделался более пологим, и вскоре мы оказались в камере с выкрашенными белой краской стенами и потолком, но до того низкой, что я, при моем высоком росте, не мог в ней выпрямиться; в длину камера была двадцать локтей, в ширину пятнадцать, и беленые ее стены сплошь покрывали рельефы. Здесь Клеопатра опустилась на пол и хотела немного отдохнуть, ибо была измучена жарой и безмерно боялась темноты.

— Встань! — приказал я. — Нельзя здесь долго оставаться, мы можем впасть в беспамятство.

И она поднялась и, взяв меня за руку, прошла вместе со мной через камеру, и мы оказались перед массивной гранитной дверью, которая спускалась с потолка, скользя по желобам. Я опять сверился с планом, нажал ногой на обозначенный там камень и стал ждать. Вдруг медленно и плавно, не знаю, с помощью каких сил, тяжелый гранит стал подниматься, открывая проход в толще скалы. Мы прошли в него и оказались перед второй гранитной дверью. И снова я нажал ногой означенный на плане камень, и эта дверь широко распахнулась перед нами как бы сама, и мы в нее вошли, но тут же увидели перед собою третью дверь, еще более массивную, чем те две, что уже пропустили нас. Следуя указаниям моего написанного тайными символами плана, я ударил по ней, где было обозначено, и дверь медленно, словно по волшебству, поползла вниз и наконец ее верхний край сровнялся с полом. Мы переступили через порог и снова оказались в коридоре, который плавно спускался вниз и через семьдесят локтей привел нас в большую камеру, сплошь облицованную черным мрамором, высотой более девяти локтей, шириной девять локтей и длиной тридцать. На мраморном полу стоял огромный гранитный саркофаг, и на его крышке были выбиты имя и титул жены фараона Менкаура. В этой камере воздух был свежий, хоть я не знаю, как он проникал туда.

— Сокровище здесь? — прошептала Клеопатра.

— Нет, — ответил я, — следуй за мной.

И я повел ее по ходу, в который мы проникли через отверстие в полу большой погребальной камеры. Отверстие закрывалось каменной дверью-пробкой, но сейчас дверь была откинута. Мы проползли по этой шахте,

или, если хотите, коридору, пятьдесят локтей и наконец увидели колодец глубиной в семь локтей. Обвязав один конец веревки вокруг пояса, а другой прикрепив к кольцу, вделанному в скалу, я спустился со светильником в руке и оказался в месте последнего упокоения божественного Менкаура. Потом евнух поднял веревку, обвязал Клеопатру и спустил вниз, а я принял ее в свои объятия. Но евнуху я приказал ждать нашего возвращения наверху, у устья колодца, хоть он ужасно этого не хотел, ибо смертельно боялся остаться в одиночестве. Но ему не должно было сопровождать нас туда, куда мы шли.

## **Глава XI , повествующая о том, как выглядела погребальная камера божественного Менкаура; о том, что было написано на золотой пластине, лежащей на груди фараона; о том, как Клеопатра и Гармахис доставали сокровище; о духе, обитающем в погребальной камере; и о бегстве Гармахиса и Клеопатры из священной гробницы**

Мы стояли в небольшой камере со сводчатым потолком, стены и пол были облицованы огромными плитами сиенского гранита. Перед нами, вытесанный из базальтовой глыбы в виде деревянного домика и покоящийся на спине сфинкса с головой литого золота, был саркофаг божественного Менкаура [114].

Мы замерли в благоговейном ужасе, на нас давила невыносимая тяжесть безмолвия, мрачная торжественность этой священной усыпальницы. Над нами неизмеримо высоко поднималась в небо могучая пирамида, ее овевал снаружи ласковый ночной воздух. А мы были внизу, под ее толщей, в недрах огромной скалы, ниже базальтового основания. Мы были наедине с мертвым, чей покой готовились нарушить, и ни один звук не доносился сюда из мира живых — хотя бы ветерок прошелестел, хоть бы что-то шевельнулось, напомнив о жизни и смягчив наше пронзительное одиночество. Я не мог оторвать глаз от саркофага; его тяжелая крышка была снята и стояла сбоку, вокруг толстым слоем лежала пыль тысячелетий.

— Смотри, — прошептал я, указывая на священные древние символы, которые кто-то начертал краской на стене и из которых складывалось послание.

— Прочти, Гармахис, — все так же шепотом попросила Клеопатра, — ведь я не понимаю эти письма.

И я прочел:

«Я, Рамсес Ми-Амон посетил эту усыпальницу в день и в час великой беды, постигшей страну Кемет. Но хоть велика моя беда, а мое сердце отважно, я убоюсь проклятия Менкаура. Подумай хорошо, о ты, кто придет после меня, и если душа твоя чиста, а нашему Кемету поистине грозит гибель, тогда возьми то, что я не посмел тронуть».

— Но где же сокровище? — прошептала Клеопатра. — Эта золотая голова сфинкса?

— Сокровище там, — промолвил я, указывая на саркофаг. — Подойди ближе и взгляни.

Она взяла меня за руку, и мы приблизились к саркофагу.

Крышка была снята, как я уже сказал, но внутри саркофага лежал покрытый цветной росписью гроб фараона. Мы поднялись на сфинкса, я сдул с гроба пыль и прочел то, что было написано на его крышке. Вот эти надписи:

«Фараон Менкаура, дитя неба».

«Фараон Менкаура, царственный сын Солнца».

«Фараон Менкаура, который лежал под сердцем богини Нут».

«Твоя небесная мать Нут осеняет тебя своим священным именем».

«Имя твоей небесной матери Нут — тайна неба».

«Нут, твоя небесная мать, причисляет тебя к сонму богов».

«Дыхание твоей небесной матери Нут испепеляет твоих врагов».

«О фараон Менкаура, жив ты вечно!»

— Но где же сокровище? — опять спросила Клеопатра. — Да, здесь покоится тело божественного Менкаура, но даже у фараонов тело из обыкновенной плоти, а не из золота; и если голова сфинкса золотая, то как нам ее снять?

Я ничего ей не ответил, но велел, все так же стоя на сфинксе, взяться за крышку гроба в головах фараона, а сам взялся за ее противоположный конец. Потом мы по моей команде потянули крышку вверх, она легко снялась, потому что была не прикреплена, и мы поставили ее на пол. В гробу лежала мумия фараона — в том виде, как ее положили три тысячи лет назад. Мумия была большая и убрана более чем скромно. На лице не было золотой маски, какой закрывают лица мумий сейчас, голова завернута в пожелтевшую от времени ткань и обмотана красными полотняными бинтами, под которые были засунуты стебли распустившихся лотосов. На груди тоже лежал венок из лотосов, и внутри него большая золотая пластина, сплошь покрытая священными письменами. Я взял в руки пластину и, поднеся к свету, стал читать:

Я, Менкаура, воссоединившийся с Осирисом, бывший некогда фараоном страны Кемет, проживший отведенный мне срок жизни праведно и неизменно шедший по пути, который мне предназначтал Непостижимый — начало и конец всего, — обращаюсь из своей гробницы к тем, кто после меня будет на краткий миг занимать мой трон. Слушайте же меня. Мне, Менкаура, воссоединившемуся с Осирисом, еще в дни моей жизни было явлено в пророческом сне, что настанет время, когда стране Кемет будет грозить иго чужеземцев и ее владыкам потребуются несметные богатства, дабы снарядить войска и прогнать дикарей. И вот что я в своей мудрости сделал.

Благоволящие ко мне боги в своей щедрости столь обильно одарили меня богатствами, что ни один фараон со времен Гора не мог бы соперничать со мной — у меня были тысячи коров и гусей, тысячи волов и овец, тысячи мер зерна, сотни мер золота и драгоценных камней; я берег свое богатство и в конце жизни обратил его в драгоценные камни — в изумруды, самые прекрасные и крупные в мире. И эти камни я завещаю взять, когда для Кемета настанет черный день. Но на земле всегда были и будут злодеи, которые, алкая наживы, могут похитить богатства, которые я завещал своей стране, и использовать их для собственных ничтожных целей; знай же, о ты, нерожденный, кто встанет надо мной, когда исполнятся сроки, и прочтет слова, что я повелел начертать на этой таблице: сокровище скрыто внутри моей мумии. И я предупреждаю тебя, о нерожденный, спящий до времени в утробе Нут! Если тебе богатства нужны действительно затем, чтобы спасти Кемет от врагов Кемета, без страха и без промедления вынь меня, Осириса, из гроба, сними пелены и достань из моей груди сокровище, и с тобою пребудет мое благословение и благоволение богов; прошу тебя лишь об одном: положи мои останки обратно в гроб. Но если нужда в средствах преходяща и не так уж велика или если в сердце твоём затаился коварный умысел, да падет на тебя проклятье Менкаура! Да падет проклятье на того, кто пригреет осквернившего прах! Да падет проклятье на того, кто вступит в сговор с предателем! Да падет проклятье на того, кто оскорбил великих богов! Всю жизнь тебя будут преследовать несчастья, ты умрешь кровавой смертью в муках, но муки твои будут длиться вечно, терзаньям твоим не будет конца! Ибо там, в Аменти, мы встретимся с тобой, злодей, лицом к лицу!

Для того, чтобы сохранить тайну сокровища, я, Менкаура, повелел построить на восточной стороне моего дома смерти поминальный храм. Тайну будут передавать друг другу верховные жрецы этого храма. И если

один из верховных жрецов откроет эту тайну кому-то другому, кроме фараона или той, что носит корону фараона и правит Кеметом, сидя на его троне, да будет проклят и он. Так написал я, Менкаура, воссиявший в Осирисе. Но пройдет время, и ты, спящий ныне в лоне небесной Нут, встанешь передо мной и прочтешь мои слова. Так вот, подумай, молю тебя, подумай, прежде чем решиться. Ибо если тобою движет зло, на тебя падет проклятье Менкаура, от которого нет избавленья. Приветствую тебя, и прощай.

— Ты слышала все, о Клеопатра, — торжественно произнес я. — Теперь загляни в свое сердце; решай и ради собственной своей судьбы не ошибись.

Она в задумчивости опустила голову.

— Я не могу решиться, я боюсь, — наконец сказала она. — Уйдем отсюда.

— Уйдем, — сказал я с облегчением и нагнулся, чтобы поднять деревянную крышку гроба. Не скрою, мне тоже было страшно.

— Подожди минуту; что там написал на этой пластине божественный Менкаура? Кажется, он говорил про изумруды? А изумруды сейчас такая редкость, их очень трудно купить. Как я всю жизнь любила изумруды, и никогда мне не удавалось найти камень без изъянов.

— То, что ты любишь или не любишь, не имеет никакого значения, — возразил я. — Важно другое: действительно ли столь безнадежно положение Кемета и свободно ли твое сердце от тайного коварства, а это можешь знать только ты.

— Ах, Гармахис, и ты еще спрашиваешь! Можно ли представить себе время более черное? В казне нет золота, а разве можно без золота воевать с Римом? И не я ли тебе поклялась, что стану твоей супругой и объявлю войну Риму? Я повторяю сейчас свою клятву — здесь, в этой священной усыпальнице, положив руку на сердце мертвого фараона. Да, настал тот самый час, который привиделся божественному Менкаура в его вещем сне. Ты же понимаешь, что это так, иначе Хатшепсут, или Рамсес, или какой-нибудь другой фараон взяли бы из гроба изумруды. Но нет, они оставили их для нас, потому что тогда время еще не наступило. А теперь оно, я уверена, наступило, потому что, если я не возьму драгоценности, римляне, несомненно, захватят Египет, и уже не останется в нем фараонов, которым можно будет передавать тайну. Нет, прочь страх, за дело. Почему у тебя такое испуганное лицо? Тому, кто чист сердцем, нечего бояться, ты же сам это прочел Гармахис.

— Как пожелаешь, — снова сказал я, — решать тебе, но загляни еще раз в свое сердце, ибо, если ты ошибешься, на тебя падет проклятье, от которого нет избавления.

— Гармахис, ты бери фараона за плечи, а я возьму его за... О, как здесь страшно! — И она вдруг прильнула ко мне. — Мне показалось, там, в темноте, появилась тень! Она стала надвигаться на нас и потом неожиданно исчезла! Давай уйдем! Ты ничего не видел?

— Нет, Клеопатра, ничего; но, может быть, то был дух божественного Менкаура, ибо дух всегда витает возле тленной оболочки того, в ком жил когда-то. Ты права, уйдем отсюда; я рад, что ты так рассудила.

Она двинулась было к колодцу, но потом остановилась и сказала:

— Нет, никакой тени не было, мне просто померещилось, в столь ужасном месте измученное страхом воображение рождает поистине чудовищные видения. Знаешь, я должна взглянуть на эти изумруды, — пусть даже я умру, мне все равно! Не будем медлить, за дело! — И она нагнулась и собственными руками достала из саркофага один из четырех алебастровых сосудов [120], которые были запечатаны крышками с головами богов-охранителей и в которых хранились сердце и внутренности божественного Менкаура. Но ни в одном сосуде мы ничего не нашли, там лежало лишь то, чему полагалось лежать, — сердце и внутренности.

Потом мы вместе взобрались на сфинкса, с великим трудом извлекли из гроба мумию божественного фараона и положили ее на пол. Клеопатра взяла мой кинжал, разрешила им бинты, которые обвивали мумию поверх погребальных пелен, и цветы лотоса, чьи стебли заложила под них три тысячи лет назад чья-то любящая рука, упали в пыль. Потом мы долго искали конец пелены, но все-таки нашли — он был закреплен на спине мумии, возле шеи. Пришлось его обрезать, ибо он приклеился слишком прочно. И вот мы начали распеленывать священную мумию. Я сидел на каменном полу, прислонившись к саркофагу, мумия лежала у меня на коленях, и я поворачивал ее, а Клеопатра снимала пелены — жуткое, зловещее занятие. Вдруг что-то выпало из пелен — это оказался жезл фараона, золотой, с навершием из огромного ограненного изумруда.

Клеопатра схватила жезл и молча впилась в него взглядом. Потом положила в сторону, и мы вновь вернулись к этому святотатству. Она разворачивала пелены, и из-под них сыпались золотые украшения и предметы, которые по обычаю кладут с мертвым фараоном в гроб: браслеты, ожерелья, крошечные сестры, топорик с инкрустированным топориком, фигурка божественного Осириса, символ священного Кемета... Наконец все пелены были сняты, под ними оказался саван из грубого,



затвердевшего от благовонных масел льна, — ведь в древности ремесла не были так развиты, как нынче, и искусство бальзамирования еще не достигло своих вершин. На льняном саване в овале было начертано [121] «Менкаура, царственный сын Солнца». Мы никак не могли снять этот саван, он слишком плотно охватывал тело. И потому мы, чувствуя, что вот-вот потеряем сознание в этой жаре, задыхаясь от тысячелетней пыли и одуряющего запаха благовоний, дрожа от ужаса, ибо в священнейшем уединении древней усыпальницы совершалось кощунство, положили мумию на пол и разрезали последний покров кинжалом. Сначала мы освободили голову фараона, и нам открылось лицо, которое три тысячи лет не видели ничьи глаза. Это было благородное лицо, с дерзновенным лбом, который венчал символ царственной власти — золотой урей, а из-под диадемы падали длинные седые пряди прямых волос, пожелтевших от благовоний. Ни холодная печать смерти, ни медленное течение трех тысячелетий не властны были обезобразить эти ссохшиеся черты, лишить величия. Мы долго глядели на это лицо, не в силах оторвать глаз, но в конце концов, осмелев от страха, стали срывать саван. И перед нами обнажилось тело — негнущееся, желтое, невыразимо ужасное, с левой стороны разрез, через который бальзамировщики вынимали внутренности фараона, но зашит он был столь искусно, что мы с трудом нашли его след.

— Драгоценные камни там, внутри, — прошептал я, ибо мумия была очень тяжелая. — Что ж, если твое сердце не дрогнет, проделай вход в этот несчастный дом, слепленный из праха, который некогда был фараоном. — И я протянул ей кинжал — тот самый кинжал, что совсем недавно отнял жизнь у Павла.

— Поздно раздумывать, — сказала она, обращая ко мне свое бледное прелестное лицо и глядя в мои глаза своими синими огромными от ужаса очами. Взяла кинжал, стиснула зубы, и вот рука живой царицы вонзилась в мертвую плоть фараона, который жил три тысячи лет тому назад. И в этот миг из шахты, у устья которой мы наверху оставили евнуха, к нам прилетел стон! Мы вскочили на ноги, но стон не повторился, из шахты по-прежнему лился сверху свет.

— Почудилось, — сказал я. — Давай же завершим начатое.

И вот, безжалостно терзая одеревеневшую плоть, мы с огромным усилием проделали отверстие, и я все время слышал, как кончик кинжала задевает лежащие внутри камни.

Клеопатра запустила руку в мертвую грудь фараона и что-то вынула. Поднесла предмет к свету и ахнула, ибо, извлеченный из тьмы фараонова нутра, сверкнул и ожил великолепнейший изумруд, какой только

доводилось видеть человеку. Он был безупречного темно-зеленого цвета, очень большой, без единого изъяна, в виде скарабея, и на нижней поверхности вырезан овал, а в овале — имя божественного Менкаура, сына Солнца.

Она раз за разом погружала в отверстие руку и раз за разом вынимала из благовонных масел, налитых в грудь фараона, огромные изумруды. Некоторые камни были выделаны, некоторые нет; но все были безупречного темно-зеленого цвета и без единого изъяна, им не было цены. А ее рука все опускалась в эту ужасную грудь, и наконец мы насчитали сто сорок восемь камней, равных которым не найти во всем мире. Когда рука в последний раз нырнула в поисках камней, то извлекла не изумруды, а две огромные жемчужины, каких еще никто и никогда не видел; жемчужины были завернуты в куски льняной ткани. О судьбе этих жемчужин я поведаю позже.

Итак, мы вынули сокровище, и вот оно сверкающей грудой возвышалось перед нами. Рядом с камнями лежали золотые символы царской власти, украшения, вокруг были разбросаны пропитанные благовонными маслами пелены, от приторного запаха которых кружилась голова, и тут же растерзанный труп седого фараона Менкаура, вечноживущего Осириса, который царит в Аменти.

Мы поднялись на ноги, и нас охватил неодолимый ужас — ведь кощунство уже совершилось, и азарт поисков больше не поддерживал наше мужество, — ужас столь великий, что нас сковала немота. Я сделал знак Клеопатре. Она схватила фараона за плечи, я за ноги, мы вдвоем подняли его, взобрались на сфинкса и положили в гроб, где он лежал три тысячи лет. Я бросил на мумию разрезанный саван и сорванные с нее погребальные пелены и закрыл гроб крышкой.

Мы стали собирать огромные изумруды и те украшения, которые можно было без труда унести, и я завязал их в мой плащ. То, что осталось, Клеопатра спрятала у себя на груди. С тяжелым грузом бесценных сокровищ мы в последний раз окинули взглядом торжественную усыпальницу, саркофаг, покоящийся на спине сфинкса, чье безмятежное золотое лицо мудро улыбалось своей загадочной улыбкой, как бы издеваясь над нами. Мы отвернулись от него и пошли туда, где в потолке было отверстие.

Под ним мы остановились. Я позвал евнуха, который оставался наверху, и мне послышалось, что кто-то негромко и зловеще рассмеялся в ответ. Это было так жутко, что я не осмелился крикнуть еще раз, но я знал, что медлить нельзя, Клеопатра вот-вот лишится чувств, и потому схватился

за веревку и с легкостью поднялся наверх, в коридор. Светильник горел, но евнуха я не увидел. Решив, что он, без сомнения, отошел на несколько шагов, сел и заснул — увы, моя догадка оказалась верной, — я крикнул Клеопатре, чтобы она обвязала себя веревкой вокруг пояса, и с большим трудом вытянул ее наверх. Мы немного отдохнули и, держа светильники, пошли искать евнуха.

— Ему стало страшно, и он убежал, а светильник оставил, — сказала Клеопатра. — Великие боги! Кто это там?

Я стал всматриваться в темноту, выставив перед собой светильники, и от того зрелища, которое предстало предо мной, у меня и по сей день холодеет в жилах кровь. Лицом к нам, привалившись к скале и раскинув в стороны руки, сидел на полу евнух — но он был мертв! Глаза его были вытаращены, челюсть отвалилась, толстые щеки обвисли, жидкие волосы стояли дыбом, и на лице застыло выражение такого нездешнего ужаса, что, глядя на него, и сам ты мог сойти с ума. Но это еще не все! Вцепившись в его подбородок когтями, висела огромная седая летучая мышь, которая вылетела из пирамиды, когда я открыл ход, и исчезла потом в небе, но вернулась вместе с нами в самое сердце гробницы. Она висела на подбородке мертвого евнуха и медленно раскачивалась, и мы видели, как горят ее красные глаза.

Оцепенев от страха, стояли мы на подламывающихся ногах и глядели на эту омерзительную тварь, а она вдруг расправила свои гигантские крылья, разжала когти, выпустила подбородок евнуха и поплыла к нам. Вот она остановилась в воздухе прямо перед лицом Клеопатры, медленно взмахивая своими белыми крыльями. Потом пронзительно крикнула, точно разъяренная женщина, и полетела к входу в свою оскверненную гробницу, нырнула в колодец и исчезла в камере, где стоял ее саркофаг. Я обессиленно прислонился к стене. А Клеопатра сползла на пол и, стиснув голову локтями, стала отчаянно кричать, она кричала и не могла остановиться, крики метались по пустым коридорам, эхо нескончаемо их множило, многократно усиливало, и казалось, своды сейчас расколются от хриплого пронзительного вопля.

— Встань! — приказал я. — Встань, и бежим отсюда скорее, пока не вернулся дух, который преследует нас. Если ты сейчас поддашься малодушию и будешь медлить, ты погибнешь.

Она, шатаясь, поднялась на ноги — и, боги великие, никогда я не забуду выражение ее искаженного ужасом пепельного лица и горящих глаз. Поспешно схватив светильники, мы прошли мимо ужасного, словно

явившегося в кошмарном сне труп евнуха, причем я вел ее за руку. Вот мы добрались до большой погребальной камеры, где стоял саркофаг супруги фараона Менкаура, миновали ее, потом кинулись бежать по коридору. Что, если летучая мышь закрыла все три массивные двери? Но нет, они открыты, и мы молнией бросились в них; я остановился и запер только последнюю. Прикоснулся к камню в том месте, которое было обозначено на плане, и тяжелейшая дверь рухнула вниз, отрезав нас от мертвого евнуха и от чудовища, которое раскачивалось, вцепившись в его подбородок. Мы были в белой комнате с рельефами на стенах, осталось одолеть последний крутой подъем. О, как он оказался тяжок, этот подъем! Дважды Клеопатра оскальзывалась на гладких полированных камнях пола и падала. Когда она упала во второй раз — мы уже были на середине пути, — она уронила светильник, и не удержи я ее, сама бы скатилась бы вместе с ним вниз. Но ловя ее, я тоже выпустил из рук свой светильник, он понесся вниз, подсакивая, и мы остались в полной темноте. И может быть, над нами в этой тьме витало то чудовище из кошмара!

— Будь мужественна! — воскликнул я. — О любовь моя, будь мужественна! Да, подъем крут, но нам осталось уже немного; и хоть здесь темно, коридор прямой, никакие неожиданности нас здесь не подстерегают. Если тебе тяжело нести камни, брось их.

— Ну уж нет, никогда, — прошептала она, с трудом переводя дух. — Перенести такое и потом бросить изумруды? Да я скорее умру!

Вот когда мне открылось истинное величие души этой женщины: в полнейшей тьме, дрожа от пережитых ужасов и понимая, что наша жизнь висит на волоске, она прижалась ко мне и стала подниматься по головокружительно крутому коридору. Шаг, другой... мы двигались, держа друг друга за руку, я чувствовал, что сердце вот-вот разорвется в груди, но наконец милость или гнев богов привели нас туда, откуда мы увидели пробившийся сквозь узкий ход в пирамиде слабый свет луны. Еще несколько усилий — и мы у выхода, свежий ночной ветерок овеял нам лица, точно дуновение небес. Я протиснулся сквозь отверстие и, стоя на груди валунов, поднял и вытащил наружу Клеопатру. Она спустилась вниз, медленно сползла на землю и осталась лежать без движения.

Я дрожащими руками нажал на выступ в поворотном камне, он сдвинулся и встал на место, как будто никогда не открывал тайный вход в пирамиду. Я спрыгнул вниз, разбросал валуны, которые мы складывали с евнухом и поглядел на Клеопатру. Она лежала в глубоком обмороке, и хотя лицо ее было покрыто копотью и пылью, она была так бледна, что сначала я подумал: она умерла. Я приложил руку к ее сердцу и почувствовал, что

оно бьется; я сам был так измучен, что бросился на песок рядом с ней: надо хоть немного отдохнуть и восстановить силы.

## **Глава XII , повествующая о возвращении Гармахиса; о его встрече с Хармианой; и об ответе, который Клеопатра дала послу триумвира Антония Квинту Деллию**

Наконец я сел и, положив голову царицы Египта себе на колени, стал приводить ее в чувства. Как пленительно хороша она была даже сейчас, измученная, обессиленная, в плаще длинных распустившихся волос! Как мучительно прекрасно было в бледном свете луны лицо этой женщины, память о красоте и преступлениях которой переживет незыблемую пирамиду, что высится над нами! Глубокий обморок стер с ее лица налет лжи и коварства, осталось лишь божественное очарование вечной женственности, смягченное тенями ночи, в высокой отрешенности похожего на смерть сна. Я не мог отвести от нее глаз, и сердце мое разрывалось от любви к ней; мне кажется, я любил ее еще сильнее оттого, что пал так низко и совершил ради нее столько несмыслимых преступлений, оттого, что вместе с ней мы пережили такой ужас. Без сил, истерзанный страхом и сознанием вины, я тянулся к ней сердцем и жаждал, чтобы она дала мне отдохновение, ибо только она одна осталась у меня на свете. Она поклялась стать моей супругой, и с помощью сокровища, которое мы сейчас добыли, мы с ней вернем Египту прежнее могущество, победим его врагов, — еще можно все поправить. Ах, если бы я знал, когда и где мне еще раз доведется держать на коленях голову этой женщины, бледную, с печатью смерти на лице! Если бы я мог провидеть в тот миг грядущее!

Я стал растирать ее руки, потом склонился и поцеловал в губы, и от моего поцелуя она очнулась — очнулась и, сдавленно вскрикнув в страхе, задрожала всем своим хрупким телом и уставилась мне в лицо широко раскрытыми глазами.

— Ах, это ты, ты! Теперь я вспомнила — ты спас меня и вывел из гробницы, где живет это чудовище! — И она обхватила меня руками, привлекла к себе и поцеловала. — Пойдем, любовь моя! Скорее прочь отсюда! Я смертельно хочу пить и... боги, как же я устала! А эти изумруды впиваются мне в грудь. Никому еще богатства не доставались такими муками. Уйдем, уйдем, на нас падает тень этой ужасной пирамиды!

Смотри, небо сереет, это рассвет уже раскинул свои крылья. Как прекрасен мир, какое счастье видеть наступающий день! В этом лабиринте, где царит вечная ночь, я думала, что никогда больше не увижу лик зари! Перед моими глазами неотступно стоит лицо моего мертвого раба, и на его подбородке качается это омерзительное чудовище. Подумай только, он будет сидеть там вечно, — вечно! — запертый вместе с чудовищем! Но пойдем. Где нам найти воды? За несколько глотков воды я отдала бы изумруд!

— Вокруг возделанных полей за храмом прорыт канал, он недалеко, — сказал я. — Если кто-то нас увидит, объясним, что мы паломники, заблудились здесь ночью среди гробниц. Поэтому как можно тщательней скрой лицо под покрывалом, Клеопатра, и сама закутайся поплотнее: никто не должен видеть эти камни.

Она закуталась, спрятала лицо, я поднял ее на руки и посадил на ослика, который был привязан неподалеку. Мы медленно двинулись по долине и наконец подошли к тому месту, где в образе царственного Сфинкса, увенчанная диадемой фараонов Египта, величественно возвышается над окрестными землями статуя бога Хор-эм-ахета (греки называют его Гармахисом), глаза которого неизменно устремлены на восток. В этот миг первые лучи, посланные солнцем, пронзили рассветную дымку и упали на губы Хор-эм-ахета, выражающие небесный покой, — Заря поцеловала бога Рассвета, приветствуя его. Свет разгорался, залил сверкающие грани двадцати пирамид и, словно благословляя жизнь в смерти, хлынул в порталы десяти тысяч гробниц. Он затопил золотым потоком пески пустыни, сорвал с неба тяжелое покрывало ночи, устремился к зеленым полям, к роще пышных пальм. И вот из-за горизонта торжественно поднялся со своего ложа царственный Ра — настал день.

Мы прошли мимо храма из гранита и алебаstra, который был построен в честь великого бога [124] Хор-эм-ахета задолго до того, как на египетский трон сел фараон Хеопс, спустились по пологому склону и вышли к берегу канала. Там мы напились, и эта мутная вода показалась нам слаще самых изысканных вин Александрии. Мы также смыли с наших лиц и рук копоть и пыль гробницы, освежились, привели себя в порядок. Когда Клеопатра мыла шею, нагнувшись к воде, огромный изумруд выскользнул у нее из-за пазухи и упал в канал, и я с великим трудом отыскал его в тине. Потом я снова посадил Клеопатру на ослика, и мы медленно, ибо я едва держался на ногах от усталости, побрели к берегам Сихора, где стояло на якоре наше судно. И вот мы наконец приблизились к нему, встретив по пути всего несколько крестьян, которые шли трудиться

на своих полях, я отпустил ослика в том самом месте, где вчера поймал, мы взошли на судно и увидели, что все наши гребцы спят. Мы разбудили их велели поднимать паруса, а про евнуха сказали, что он пока поживет здесь, — и это была истинная правда. Мы спрятали изумруды и все те золотые украшения и изделия, что нам удалось принести с собой, и вскорости барка отчалила.

Мы плыли в Александрию почти пять дней, ибо дул встречный ветер; и каким же счастьем были наполнены эти дни! Правда, сначала Клеопатра была молчалива и угнетена, ибо то, что она увидела и пережила в глубинах пирамиды, преследовало ее, не оставляя ни на миг. Но скоро ее царственный дух воспрянул и сбросил тяжесть, которая камнем давила ее, и она снова стала такой, как прежде, — то веселой, то поглощенной возвышенными мыслями, то страстной, то холодной, то неприступно величественной, то искренней и простой — переменчивой, как ветер, и, как небо, прекрасной, бездонной, непостижимой!

Ночь за ночью, летящие как бы вне времени и наполненные беспредельным счастьем, — это были последние часы счастья, которые подарила мне жизнь, — мы сидели с ней на палубе, держа друг друга за руку, и слушали, как плещут о борт нашего судна волны, смотрели, как убегает вдаль лунная дорожка, как мягко серебрится черная вода, пропуская в свои глубины лунные лучи. Мы бесконечно говорили о том, как любим друг друга, о том, что скоро станем мужем и женой, обсуждали, что сможем сделать для Египта. Я рассказывал ей о своих планах войны с Римом, которые у меня уже возникли, — ведь теперь у нас довольно средств, мы можем отстоять свою свободу; она их все одобряла и нежно говорила, что согласна со всем, что я задумал, ведь я так мудр. Четыре ночи миновали, как единый миг.

О, эти ночи на Ниле! Воспоминание о них терзает меня до сих пор. Во сне я снова и снова вижу, как дробится и пляшет на воде отражение луны, слышу голос Клеопатры, шепчущий слова любви, он сливается с шепотом волн. Кинули в вечность те блаженные ночи, умерла луна, что озаряла их; волны, которые качали нас на своей груди, точно в колыбели, влились в соленое море и растворились в нем, и там, где мы целовали друг друга и сжимали в объятьях, когда-нибудь будут целоваться влюбленные, которые еще не родились на свет. Сколько счастья обещали эти ночи, но обещанию не суждено было сбыться, оно оказалось пустоцветом — цветок завял, упал на землю и засох, и вместо счастья меня постигло величайшее несчастье. Ибо все кончается тьмой и тленом, и тот, кто сеет глупость, пожинает скорбь. О, эти ночи на Ниле!



Но вот сон кончился — мы снова оказались за ненавистными стенами прекрасного дворца на мысе Лохиас.

— Куда это вы, Гармахис, ездили с Клеопатрой? — спросила меня Хармиана, встретившись со мной случайно в день возвращения. — Замыслил какое-то новое предательство? Или любовники просто уединились, чтобы им никто не докучал?

— Я ездил с Клеопатрой по тайным делам чрезвычайной государственной важности, — сухо ответил я.

— Ах, вот как! Любая тайна чревата злом, — не забудь, самые коварные птицы летают ночью. А ты, Гармахис, достаточно умен и понимаешь, что тебе нельзя открыто показываться в Египте.

От ее слов я вспыхнул гневом, ибо мне было непереносимо презрение этой хорошенькой девушки.

— Неужели твой язык должен язвить без передышки? — спросил я ее. — Так знай же: я был там, куда тебе не позволено и приблизиться; мы пытались добыть средства, которые помогут Египту удержаться в борьбе с Антонием и не стать его добычей.

— Вот оно что, — проговорила она, метнув в меня быстрый взгляд. — Глупец! Ты зря трудился, Египет все равно станет добычей Антония, сколько бы ты ни старался его спасти. Что ты сегодня значишь для Египта?

— Мои старания, быть может, действительно ничего не стоят; но когда против Антония выступит Клеопатра, он не сможет одолеть Египет.

— Сможет и обязательно одолеет его с помощью самой Клеопатры, — проговорила Хармиана и с горечью усмехнулась. — Когда царица торжественно проплывет со всей своей свитой по Кидну, потом за ней в Александрию, без всякого сомнения, увяжется этот солдафон Антоний — победитель и такой же, как ты, раб!

— Ложь! Ты лжешь! Клеопатра не поплывет в Тарс, и Антоний не явится в Александрию, а если явится, то только воевать.

— О, ты в этом так уверен? — И она негромко рассмеялась. — Ну что же, тешь себя такими надеждами, если тебе приятно. Через три дня ты будешь все знать. До чего же легко обвести тебя вокруг пальца, одно удовольствие смотреть! Прощай же! Иди мечтать о своей возлюбленной, ибо нет на свете ничего слаще любви.

И она исчезла, оставив меня в гневе и тревоге, которую посеяла в моем сердце.

Больше я Клеопатру в тот день не видел, но на следующий мы

встретились. Она была в дурном расположении духа и не нашла для меня ласкового слова. Я завел речь о войсках, которые будут защищать Египет, но она отмахнулась от разговора.

— Зачем ты докучаешь мне? — сердито набросилась она на меня. — Разве не видишь, что я извелась от забот? Вот дам завтра Деллию ответ, и будем обсуждать дела, с которыми ты пришел.

— Хорошо, я подожду до завтра, до того, как ты дашь Деллию ответ, — сказал я. — А знаешь ли ты, что еще вчера Хармиана, которую все во дворце называют хранительницей тайн царицы, — так вот, Хармиана вчера поклялась, что ты скажешь Деллию: «Я хочу мира и поплыву к Антонию!»

— Хармиане неведомы мои замыслы, — отрезала Клеопатра и в сердцах топнула ножкой, — а если у нее такой длинный язык, она будет тотчас же изгнана из дворца, как того и заслуживает. Хотя, если говорить правду, — возразила она сама себе, — в этой головке больше ума, чем у всех моих тайных советников вместе взятых, к тому же никто не умеет так ловко этот ум применить. Ты знаешь, что я продала часть этих изумрудов богатым иудеям, которые живут в Александрии, и продала по очень дорогой цене — за каждый получила пять тысяч сестерций? Но я продала всего несколько, сказать правду, они пока больше просто не могли купить. Вот было зрелище, когда они увидели камни: от алчности и изумления глаза у них сделались огромные, как яблоки. А теперь, Гармахис, оставь меня, я очень утомлена. Никак не изгладится воспоминание о подобной кошмару ночи в пирамиде.

Я встал и поклонился, но медлил уходить.

— Прости меня Клеопатра, а как же наше бракосочетание?

— Наше бракосочетание? А разве мы не муж и жена?

— Да, но не перед миром и людьми. Ты обещала.

— Конечно, Гармахис, я обещала, и завтра, едва только я избавлюсь от этого наглеца Деллия, я выполню свое обещание и объявлю всему двору, что ты — повелитель Клеопатры. Непременно будь в зале. Ты доволен?

И она протянула мне руку для поцелуя, глядя на меня странным взглядом, как будто боролась с собой. Я ушел, но ночью попытался еще раз увидеть Клеопатру, однако это не удалось. «У царицы госпожа Хармиана», — твердили евнухи и никого не пропускали.

Утром двор собрался в большом тронном зале за час до полудня, я тоже пришел; сердце то бешено колотилось, то замирало — скорее бы дожидаться, что ответит Клеопатра Деллию, и услышать, что я — соправитель царицы Египта. Двор был в полном составе, все поражали великолепием нарядов: советники, вельможи, военачальники, евнухи,

придворные дамы — все были здесь, кроме Хармианы. Миновал час, но Клеопатра с Хармианой все не появились. Наконец через боковую дверь незаметно проскользнула Хармиана и встала среди придворных дам у трона. Она сразу же бросила взгляд на меня, и в ее глазах я увидел торжество, хотя не мог понять, по поводу чего она торжествует. Как мог я догадаться, что она уже погубила меня и обрекла на гибель Египет?

Раздались звуки фанфар, и в парадном церемониальном наряде, с золотым уреем на лбу и с огромным изумрудом в виде скарабея, который Клеопатра извлекла из нутра мертвого фараона, сияющим сейчас, как звезда, на ее груди, величественно вошла царица и двинулась к трону в сопровождении стражников-галлов в сверкающих доспехах. Ее прелестное лицо было сумрачно, дремотно-отрешенные глаза темны, и никто не мог прочесть, что в них таится, хотя все придворные так и встрепенулись в ожидании того, что произойдет. Она медленно опустилась на трон, точно каждое движение стоило ей великого труда, и обратилась к главному глашатаю по-гречески:

— Ожидает ли посланец благородного Антония?

Глашатай поклонился и ответил, что да, ожидает.

— Пусть войдет и выслушает наш ответ.

Двери распахнулись, и в сопровождении свиты военачальников в тронный зал своим мягким, кошачьим шагом вошел Деллий в золотых доспехах и пурпурном плаще и низко склонился перед престолом.

— Великая и прекраснейшая царица Египта, — вкрадчиво заговорил он, — тебе было угодно милостиво повелеть, чтобы я сегодня явился выслушать твой ответ на послание благородного триумвира Антония, к которому я завтра отплываю в Киликию, в Тарс, и вот я здесь. Молю простить дерзость моих речей, о царица, но выслушай меня: прежде чем с твоих прелестных уст сорвутся слова, которых не вернуть, подумай многожды. Объяви Антонию войну — и Антоний разобьет тебя. Но явись пред ним, сияя красотой, средь волн, пеннорожденная, подобная твоей матери — богине Афродите, и никакого поражения тебе не надо опасаться, он осыплет тебя всеми дарами, которые любы сердцу царицы и женщины, — ты получишь империю, роскошные дворцы, города, власть, славу и богатство, и никто не посмеет посягнуть на твою корону. Не забывай: Антоний держит все страны Востока в своей руке воина; его волею восходят на трон цари; вызвав его неудовольствие, они лишаются и трона, и жизни.

Он поклонился и, скрестив руки на груди, стал терпеливо ждать ответа.

Минуты шли, Клеопатра молчала, она сидела, точно сфинкс Хор-эм-ахет, безмолвная, непроницаемая, и глядела мимо стен огромного тронного зала ничего не видящими глазами.

Потом раздалась нежная музыка ее голоса — она заговорила; я с трепетом ждал, что вот сейчас Египет объявит войну Риму.

— Благородный Деллий, мы много размышляли о том, что содержится в послании, которое ты привез от великого Антония нам, отнюдь не блистающей мудростью царице Египта. Мы долго вдумывались в него, держали совет с оракулами богов, с мудрейшими из наших друзей, прислушивались к голосу нашего сердца, которое неусыпно печется о благе нашего народа, как птица о своих птенцах. Оскорбительны слова, что ты привез нам из-за моря; мне кажется, их было бы пристойнее послать какому-нибудь мелкому царьку крошечной зависимой страны, а вовсе не ее величеству царице славного Египта. И потому мы сосчитали, сколько легионов мы сможем снарядить, сколько трирем и галер поплывут по нашему приказу в море, сосчитали, сколько у нас денег, — и оказалось, что мы сможем купить все необходимое, дабы вести войну. И мы решили, что, хоть Антоний и силен, Египту его сила не страшна.

Она умолкла, по залу запорхали рукоплескания — все выражали восхищение ее гордой отповедью. Один лишь Деллий протянул вперед руки, как бы отталкивая ее слова. Но она заговорила снова!

— Благородный Деллий, нам хотелось бы завершить на этом свой ответ и, укрепившись в наших могучих каменных цитаделях и в цитаделях сердец наших воинов, перейти к действиям. Но мы этого не сделаем. Мы не совершали тех поступков, которые молва превратно донесла до слуха благородного Антония и в которых он столь грубо и оскорбительно обвинил нас; и потому мы не поплывем в Киликию оправдываться.

Снова вспыхнули рукоплескания, мое сердце бешено заколотилось от торжества; потом вновь наступила тишина, и Деллий спросил:

— Так, стало быть, царица Египта, я должен передать Антонию, что ты объявляешь ему войну?

— О нет, — ответила она, — мы объявляем мир. Слушай же: мы сказали, что не поплывем в Киликию оправдываться перед ним, и мы действительно не поплывем оправдываться. Однако, — тут она улыбнулась в первый раз за все время, — мы согласны плыть в Киликию, и плыть без промедления, дабы на берегах Кидна доказать наше царственное расположение и наше миролюбие.

Я услышал ее слова и ушам своим не поверил. Не изменяет ли мне слух? Неужели Клеопатра так легко нарушает свои клятвы? Охваченный

безумием, сам не понимая, что я делаю, я громко крикнул:

— О царица, вспомни!

Она повернулась ко мне с быстротой тигрицы, глаза вспыхнули, прелестная головка гневно вскинулась.

— Молчи, раб! — произнесла она. — Кто позволил тебе вмешиваться в нашу беседу? — Твое дело — звезды, война и мир — дело тех, кто правит миром.

Я сжался от стыда и тут увидел, как на лице Хармианы снова мелькнула улыбка торжества, потом на него набежала тень — быть может, ей было жаль меня в моем падении.

— Ты просто уничтожила этого наглого невежду, сказал Деллий, указывая на меня пальцем в сверкающих перстнях. — А теперь позволь мне, о царица Египта, поблагодарить тебя от всего сердца за твои великодушные слова и...

— Нам не нужна твоя благодарность, о благородный Деллий; и не пристало тебе корить нашего слугу, — прервала его Клеопатра, гневно хмурясь, — мы примем благодарность из уст одного лишь Антония. Возвращайся к своему повелителю и передай ему, что, как только он успеет подготовить все, чтобы оказать нам достойный прием, наши суда поплывут вслед за тобой. А теперь прощай! На борту твоего корабля тебя ожидает скромный знак нашей милости.

Деллий трижды поклонился и пошел к выходу, а все придворные встали, ожидая, что скажет царица. Я тоже ждал, надеясь, что, может быть, она все-таки выполнит клятву и назовет меня перед лицом всего Египта своим царственным супругом. Но она молчала. Все так же мрачно хмурясь, она встала и в сопровождении своих стражей прошествовала из тронного зала в Алебастровый. Тогда и придворные стали расходиться, и, проходя мимо меня, все до единого вельможи и советники презрительно кривились. Никто из них не знал моей тайны, никто не догадывался о нашей с Клеопатрой любви и о ее решении стать моей супругой, но все завидовали мне, ибо я был в милости у царицы, и теперь не просто радовались моему падению, но открыто ликовали. Однако что мне было до их радости их презрения, я стоял, окаменев от горя, и чувствовал, что надежда улетела и земля ускользает у меня из-под ног.

## **Глава XIII , повествующая об обвинениях, которые Гармахис бросил в лицо Клеопатре; о сражении Гармахиса с телохранителями Клеопатры; об ударе, который нанес ему Бренн; и о тайной исповеди Клеопатры**

Наконец тронный зал опустел, я тоже хотел подняться к себе, но в эту минуту меня хлопнул по плечу один из евнухов и грубо приказал идти в покои царицы, ибо она желает меня видеть. Час назад этот негодяй пресмыкался бы передо мной во прахе, но он все слышал и сейчас — такова уж подлая натура рабов — готов был топтать меня ногами, как мир всегда топчет павших. Те, кто сорвался с вершины и упал, познают всю горечь позора. И потому горе великим, ибо их на каждом шагу подстерегает падение!

Я с такой яростью глянул на раба, что он отскочил от меня, точно трусливая собака; потом пошел к Алебастровому Залу, и стражи меня пропустили. В центре зала возле фонтана сидела Клеопатра, с ней были Хармиана, гречанки Ирада, Мерира и еще несколько ее придворных дам.

— Ступайте, — сказала она им, — я хочу говорить с моим астрологом.

И все они ушли, оставив нас вдвоем.

— Стой там, — произнесла она, впервые за все время подняв глаза. — Не подходи ко мне, Гармахис: я тебе не доверяю. Может быть, ты припас новый кинжал. По какому праву осмелился ты вмешаться в мою беседу с римлянином? Отвечай!

Кровь моя вскипела, в душе заклокотали горечь и гнев, точно волны во время бури.

— Нет, это ты ответь мне, Клеопатра! — властно потребовал я. — Где твоя торжественная клятва, которой ты поклялась, положив руку на мертвое сердце Менкаура, вечноживущего Осириса? Где твоя клятва, что ты объявишь войну этому римлянину Антонию? Где твоя клятва, что ты назовешь меня своим царственным супругом перед лицом всего Египта?! — Голос мой прервался, я умолк.

— О да, Гармахис, кому, как не тебе, напоминать о клятвах, ведь сам-то ты их никогда не нарушал! — язвительно проговорила она. — И все же, о ты, целомудреннейший из жрецов Исида; вернейший в мире друг, который никогда не предавал своих друзей; честнейший, достойнейший, благороднейший муж, который никогда не отдавал свое право на трон, свою страну и ее свободу в обмен на мимолетную любовь женщины, — и все же, откуда ты знаешь, что моя клятва — пустой звук?

— Я не буду отвечать на твои упреки, Клеопатра, ответил я, изо всех сил сдерживаясь, — я все их заслужил, хоть и не из твоих уст мне их слышать. Я объясню тебе, откуда я все знаю. Ты собираешься плыть к Антонию; ты прибудешь в своем роскошнейшем одеянии, как советовал тебе этот лукавый римлянин, и станешь пировать с тем, чей труп ты должна бы выбросить стервятникам — пусть они пируют над ним. Может быть, ты даже намереваешься расточить сокровища, которые ты выкрала из мумии Менкаура, — сокровища, которые Египет хранил тысячелетия про черный день, — на буйные пиры, и этим увенчаешь бесславную гибель Египта. Знаю я потому, что ты — клятвoprеступница и ловко обманула меня, а я-то, я-то полюбил тебя и свято тебе верил; знаю потому, что еще вчера ты клялась сочетаться со мной браком, а сегодня осыпаешь ядовитыми насмешками и оскорбила перед этим римлянином и перед всем двором!

— Я клялась сочетаться с тобой браком? Боги, что такое брак? Разве это истинный союз сердец, узы, прекрасные, точно летящая паутинка, и столь же невесомые, но соединяющие две души, когда они плывут по полному видений ночному океану страсти, и тающие в каплях утренней росы? Тебе не кажется, что брак скорее напоминает железную цепь, в которую насильно заковали на всю жизнь двоих, и когда тонет один, за ним на дно уходит и другой, точно приговоренный к жесточайшей смерти раб? Брак! И чтобы я в него вступила! Чтобы я пожертвовала свободой, чтобы своей волей надела на себя ярмо тягчайшего рабства, которое влачат женщины, ибо себялюбивые мужчины, пользуясь тем, что они сильнее, заставляют нас делить с ними ставшее ненавистным ложе и выполнять обязанности, давно уже не освященные любовью! Какой же тогда смысл быть царицей, если я не могу избежать злой судьбы рожденных в низкой доле? Запомни, Гармахис: больше всего на свете женщина страшится двух зол — смерти и брака, причем смерть для нее даже милее, ибо она дарит нам покой, а брак, если он оказался несчастлив, заживо ввергает нас во все муки, которые нам уготовали чудовища Аменти. Нет, меня не может испачкать клевета черни, которая из зависти порочит те истинно чистые,

возвышенные души, которые не выносят принуждения и никогда не станут насильно удерживать привязанность другого и потому, Гармахис, я могу любить, но в брак я не вступлю никогда!

— Но лишь вчера, Клеопатра, ты клялась, что назовешь меня своим супругом и посадишь рядом с собой на трон, что ты объявишь об этом всему Египту!

— Вчера, Гармахис, красная корона вокруг луны предвещала бурю, а нынче день так ясен! Но кто знает: завтра, быть может, налетит гроза, кто знает, может быть, я выбрала лучший и самый легкий путь спасти Египет от римлян. Кто знает, Гармахис, может быть, ты еще назовешь меня своей супругой.

Больше я не мог вынести ее лжи, ведь я видел, что она играет мной. И я выплеснул в лицо ей все, что терзало мне сердце.

— Клеопатра, ты поклялась защищать Египет — и готовишься предать его Риму! Ты поклялась использовать сокровища, тайну которых я тебе открыл, только во благо Египта, — и что же? Ты готовишься с их помощью ввергнуть Египет в бесславие и навеки заковать в кандалы! Ты поклялась сочетаться со мной браком, ведь я люблю тебя и пожертвовал тебе всем, — и что же? Ты глумишься надо мной и отвергаешь меня! И потому слушай меня — не меня, а грозных богов, которые вещают моими устами: проклятие Менкаура падет на тебя, ибо ты поистине ограбила его священный прах и надругалась над ним! А теперь отпусти меня, о воплощение порока в пленительнейшей оболочке, отпусти меня, царица лжи, которую я полюбил на свою погибель и которая навлекла на меня последнее проклятье судьбы! Позволь мне где-нибудь укрыться и никогда больше не видеть твоего лица!

Она в гневе поднялась, и гнев ее был ужасен.

— Отпустить тебя, чтобы ты на свободе стал замышлять зло против меня? Нет, Гармахис, я больше не позволю тебе плести заговоры и покушаться на мой трон! Я повелеваю, чтобы ты тоже сопровождал меня, когда я поплыву к Антонию в Киликию, и там, быть может, я отпущу тебя! — И не успел я произнести в ответ хоть слово, как она ударила в серебряный гонг, что висел возле нее.

Глубокий мелодичный звон еще не замер, а в зал уже входили в одну дверь Хармиана и придворные дамы Клеопатры, в другую — четыре телохранителя царицы, могучие воины в оперенных шлемах и с длинными белокурыми волосами.

— Взять этого изменника! — крикнула Клеопатра, указывая на меня. Начальник стражи — то был Бренн — вскинул руку в салюте и двинулся ко



мне с обнаженным мечом.

Но в моем отчаянии я больше не дорожил жизнью — пусть они меня зарубят, я словно обезумел и, бросившись на Бренна, нанес ему такой тяжелый удар кулаком под подбородок, что великан упал навзничь, только латы загремели на мраморном полу. Едва лишь он упал, я выхватил у него меч и круглый щит и во всеоружии встретил следующего солдата, который с воплем кинулся на меня, подставил его удару щит и сам занес над ним свой меч. Я вложил в удар всю свою силу и вонзил меч в самое основание шеи, перерубив металл доспехов: колени телохранителя согнулись, он медленно упал мертвый. Третьего, когда настал его черед, я поймал на кончик моего меча прежде, чем он успел опустить свой, пронзил его сердце, и он мгновенно умер. Потом последний устремился ко мне с криком: «Таранис!», и я рванулся ему навстречу, ибо кровь моя воспламенилась. Женщины пронзительно кричали, только Клеопатра стояла и молча наблюдала неравный бой. Вот мы сошлись, и я всей своей яростью обрушился на него — да, то был поистине могучий удар, ибо меч рассек железный щит и сам сломался, теперь я был безоружен. С торжествующим криком телохранитель высоко занес свой меч и опустил на мою голову, но я успел подставить щит. Он снова опустил меч, и снова я отбил удар, но когда он замахнулся в третий раз, я понял, что бесконечно это продолжаться не может, и с криком ткнул мой щит ему в лицо. Скользя по его щиту, мой щит ударил солдата в грудь, и он зашатался. Он не успел обрести равновесие, я обманул его бдительность и обхватил за пояс.

Наверно, целую минуту я и высоченный страж отчаянно боролись, но я был так силен в те дни, что наконец поднял его, как игрушку, и швырнул на мраморный пол, у него не осталось ни одной целой кости, и он навек умолк. Но я и сам не удержался на ногах и рухнул на него, и, когда я упал, начальник стражи Бренн, которого я еще раньше сбил кулаком наземь и который тем временем очнулся, подкрался ко мне сзади и, подняв меч одного из тех солдат, которых я убил, полоснул меня по голове и по плечам. Но я лежал на пату, и пока меч летел такое большое расстояние, удар потерял часть своей силы, к тому же мои густые волосы и вышитая шапочка смягчили его; и потому Бренн тяжело меня ранил, но не убил. Однако сражаться я больше не мог.

Трусливые евнухи, которые сбежались, слышав звуки боя, и наблюдали за нами, сбившись в кучу, точно стадо баранов, сейчас увидели, что я лишился сил, бросились на меня и хотели заколоть ножами. Но Бренн, теперь, когда я был повержен, не стал меня добивать, он просто

стоял надо мной и ждал. А евнухи, без всякого сомнения, растерзали бы меня, потому что Клеопатра глядела на всех нас точно во сне и никого не останавливала. Вот они уже откинули мне голову назад, вот уже острия их ножей у моего горла, но тут ко мне бросилась Хармиана, растолкала их, крича: «Собаки, трусы!», и закрыла меня своим телом, так что они не могли теперь меня убить. Тогда Бренн, бормоча ругательства, схватил одного евнуха, другого, третьего и всех их отшвырнул от меня.

— Даруй ему жизнь, царица! — обратился он к Клеопатре на своей варварской латыни. — Клянусь Юпитером, вот доблестный боец! Я сам свалился от его удара, как бык на бойне, а трое моих людей лежат мертвехоньки, и ведь он был без оружия и не ожидал нападения! Нет, на такого бойца нельзя держать зла! Прояви милость, царица, даруй ему жизнь и отдай его мне.

— Да, пощади его! Даруй ему жизнь! — воскликнула Хармиана, бледная, дрожа с головы до ног.

Клеопатра приблизилась к нам и поглядела на двух мертвых телохранителей и одного умирающего, которого я разбил о мраморный пол, поглядела на меня, своего любовника, которому она всего два дня назад давала клятвы верности, а сейчас я лежал в крови, и моя раненая голова покоилась на белом одеянии Хармианы.

Я встретился глазами с царицей.

— Мне не нужна жизнь! — с усилием прошептал я. — *Vae victis!*

Ее лицо залилось краской — надеюсь, это была краска стыда.

— Стало быть, Хармиана, ты в глубине души все-таки его любишь, — сказала она с легким смешком, — иначе не закрыла бы его своим хрупким телом и не защитила от ножей этих бесполох псов. — И она бросила презрительный взгляд на евнухов.

— Нет! — пылко воскликнула девушка. — Я не люблю его, но мне невыносимо видеть, когда такого отважного бойца предательски убивают трусы.

— О да, он храбр, — проговорила Клеопатра, — и доблестно сражался; я даже в Риме, во время гладиаторских боев, не видела такой отчаянной схватки! Что ж, я дарую ему жизнь, хоть это и слабость с моей стороны — женская слабость. Отнесите звездочета в его комнату и охраняйте там, пока он не поправится — или пока не умрет.

Голова у меня закружилась, волной накатили дурнота и слабость, я стал проваливаться в пустоту, в ничто...

Сны, сны, сны, нескончаемые и бесконечно меняющиеся, казалось,

они год за годом носят меня по океану муки. И сквозь эти сны мелькает видение нежного женского лица с темными глазами, прикосновение белой руки так отрадно, оно утишает боль. Я так же вижу иногда царственный лик, он склоняется над моим качающимся на бурных волнах ложем, — от меня все время ускользает, чей этой лик, но его красота вливается в мою бешено пульсирующую кровь, я знаю — она часть меня... мелькают картины детства, я вижу башни храма в Абидосе, вижу седого Аменемхета, моего отца... и вечно, вечно я вижу или ощущаю величественный зал в Аменти, маленький алтарь и вокруг, у стен, божества, облаченные в пламя! Там я неотступно брожу, призываю мою небесную мать Исиду, но вспомнить ее образ не могу; зову ее — и все напрасно! Не опускается облачко на алтарь, только время от времени глас божества грозно вещает: «Вычеркните имя сына Земли Гармахиса из живой книги Той, что вечно была, есть и будет! Он погиб! Он погиб! Он погиб!»

Но другой голос ему отвечает: «Нет, нет, подождите! Он искупит содеянное зло, не вычеркивайте имя сына Земли Гармахиса из живой книги Той, что вечно была, есть и будет! Страдания искупят преступление!»

Я очнулся и увидел, что лежу в своей комнате, в башне дворца. Я был так слаб, что едва мог поднять руку, и жизнь едва трепетала в моей груди, как трепещет умирающая птица. Я не мог повернуть голову, не мог пошевелиться, но в душе было ощущение покоя, словно бы какая-то черная беда миновала. Огонь светильника резал глаза, я закрыл их и, закрывая, услышал шелест женских одежд на лестнице, услышал быстрые легкие шаги, которые так хорошо знал. То были шаги Клеопатры!

Она вошла в комнату и стала медленно приближаться ко мне. Я чувствовал, как она подходит! Мое еле теплящееся сердце отвечало ударом на каждый ее шаг, из тьмы подобного смерти сна поднялась великая любовь к ней и вместе с любовью — ненависть, они схватились в поединке, терзая мою душу. Она склонилась надо мной, над моим лицом веяло ее ароматное дыхание, я даже слышал, как бьется ее сердце! Вот она нагнулась еще ниже, и ее губы нежно коснулись моего лба.

— Бедняжка, — тихо проговорила она. — Бедняжка, ты совсем ослаб, ты умираешь! Судьба жестоко обошлась с тобой. Ты был слишком хорош, и вот оказался добычей такой хищницы, как я, заложником в той политической игре, которую я веду. Ах, Гармахис, условия этой игры должен был бы диктовать ты! Эти заговорщики-жрецы сделали из тебя ученого, но не вооружили знаниями о человеке, не защитили от непобедимого напора законов Природы. И ты всем сердцем полюбил меня

— ах, мне ли это не знать! Ты, столь мужественный, полюбил глаза, которые, точно огни разбойничьего судна, манили и манили твою барку, пока она не разбилась о скалы; ты с такой страстью целовал уста, так свято верил каждому слову, что с них слетало, а эти уста тебе лгали, даже называли тебя рабом! Что ж, игра была на равных, ибо ты хотел убить меня; и все же мое сердце скорбит. Стало быть, ты умираешь? — Прощай, прощай же! Никогда больше мы не встретимся с тобою на земле, и, может быть, так даже лучше, ибо кто знает, как бы я поступила с тобой, если бы ты остался жив, а мимолетная нежность, что ты вызвал во мне, прошла. Да, ты умираешь, так говорят эти ученые длиннобородые глупцы, — они мне дорого заплатят, если позволят тебе умереть. И где мы встретимся потом, когда я в последний раз брошу в этой игре свой шарик? Там, в царстве Осириса, мы будем с тобою равны. Пройдет немного времени, и мы встретимся, — через несколько лет или дней, быть может, даже завтра; и не отвернешься ли ты от меня теперь, когда знаешь обо мне все? Нет, ты и там будешь любить меня так же сильно, как любил здесь! Ибо любовь, подобная твоей, бессмертна, ее не могут убить обиды. Любовь, которая наполняет благородное сердце, может убить только презрение, оно разест ее, как кислота, и обнаружит истинную суть любимого существа во всей ее жалкой наготе. Ты должен по-прежнему боготворить меня, Гармахис, ибо при всех пороках у меня великая душа, и я не заслужила твоего презрения. О, если бы я могла любить тебя той же любовью, какой ты любишь меня! Я и почти любила, когда ты убивал моих телохранителей, — почти, но чего-то этой любви не доставало...

Какая неприступная твердыня — мое сердце, оно никому не сдается, даже когда я распахиваю ворота, ни один мужчина не может его покорить! О, как мне постыло мое одиночество, как чудесно было бы раствориться в близкой душе! На год, на месяц, хоть на час забыть и ни разу не вспомнить о политике, о людях, о роскоши моего дворца и быть всего лишь любящей женщиной! Прощай, Гармахис! Иди к великому Юлию, которого ты совсем недавно вызвал своим искусством из царства мертвых и явил передо мной, и передай ему приветствия от его царственной египтянки. Что делать, я обманула тебя, Гармахис, я обманывала и Цезаря, — быть может, Судьба еще при жизни рассчитается со мной и обманутой окажусь я. Прощай, Гармахис, прощай!

Она пошла к двери, и в это время я услышал шелест еще одного платья, свет упал на ножку другой женщины.

— А, это ты, Хармиана. Как ни выхаживаешь ты его, он умирает.

— Да, — ответил голос Хармианы, бесцветный от горя. — Да, о

царица, так говорят врачи. Сорок часов он пролежал в таком глубоком забытьи, что временами это перышко почти не шевелилось возле его губ, и ухо мое не слышало, бьется ли его сердце, когда я прижимала голову к его груди. Вот уже десять нескончаемых дней я ухаживаю за ним, не спуская с него глаз ни днем, ни ночью, я ни на миг не заснула, и глаза мои режет, точно в них насыпали песок, мне кажется, я сейчас упаду от усталости. И вот награда за мои труды! Все погубил предательский удар этого негодяя Бренна — Гармахис умирает!

— Любовь не считает свои труды, Хармиана, и не взвешивает заботу на весах торговца. Она радостно отдает все, что у нее есть, отдает бесконечно, пока душа не опустошится, и ей все кажется, что она отдала мало. Твоему сердцу дороги эти бессонные ночи у ложа больного; твоим измученным глазам отрадно это печальное зрелище — геркулес сейчас беспомощен и нуждается в тебе, слабой женщине, как дитя в матери. Не отрекайся, Хармиана: ты любишь этого мужчину, не отвечающего на твою любовь, и теперь, когда он в твоей власти, когда в его душе воцарилась отрешенная от жизни тьма, ты изливаешь на него свою нежность и тешишь себя мечтами, что он поправится и вы еще будете счастливы.

— Я не люблю его, царица, и доказала это тебе! Как я могу любить человека, который хотел убить тебя — тебя, мою царицу, которая мне дороже сестры! Я ухаживаю за ним из жалости.

Клеопатра негромко рассмеялась.

— Жалость — та же любовь, Хармиана. Неисповедимы пути женской любви, а твоя любовь совершила нечто поистине непостижимое, мне это ведомо. Но чем сильнее любовь, тем глубже пропасть, в которую она может пасть, чтобы потом опять вознестись в небеса и снова низвергнуться. Бедная Хармиана! Ты — игрушка своей собственной страсти: сейчас ты нежна, как небо на рассвете, но когда ревность терзает твое сердце, становишься жестокой, как море. Так уж мы, женщины, устроены. Скоро, скоро, когда твое горестное бдение кончится, тебе не останется ничего, кроме слез, раскаяния — и воспоминаний.

И она ушла.

## **Глава XIV , повествующая о нежной заботе Хармианы; о выздоровлении Гармахиса; об отплытии Клеопатры со свитой в Киликию; и о словах Бренна, сказанных Гармахису**

Клеопатра ушла, и я долго лежал молча, собираясь с силами, чтобы заговорить. Но вот ко мне приблизилась Хармиана, склонилась надо мной, и из ее темных глаз на мою щеку упала тяжелая слеза, как из грозовой тучи падает первая крупная капля дождя.

— Ты уходишь от меня, — прошептала она, — ты умираешь, а я не могу за тобой последовать! О Гармахис, с какою радостью я умерла бы, чтобы ты жил!

И тут я наконец открыл глаза и слабым, но ясным голосом произнес:

— Не надо так горевать, мой дорогой друг, я еще жив. И скажу тебе правду: мне кажется, что я как бы родился заново.

Она вскрикнула от радости, ее залитое слезами лицо засияло и сделалось несказанно прекрасным. Мне вспомнилось серое небо в тот печальный час, что отделяет ночь от утра, и первые лучи зари, окрашивающие его румянцем. Прелестное лицо девушки порозовело, потухшие глаза замерцали, точно звезды, сквозь слезы пробилась улыбка счастья, — так вдруг начинают серебриться легкие волны, когда море целуют лучи восходящей луны.

— Ты будешь жить! — воскликнула она и бросилась на колени перед моим ложем. — Ты жив, а я-то так боялась, что ты умрешь! Ты возвратился ко мне! Ах, что я болтаю! Какое глупое у нас, у женщин, сердце! Это все от долгих ночей у твоего ложа. Нет, нет, тебе нельзя говорить, Гармахис, ты должен сейчас спать, тебе нужен покой! Больше ни одного слова, я запрещаю! Где питье, которое оставил этот длиннобородый невежда? Нет, не надо никакого питья! Засни, Гармахис, засни! — Она присела на полу у моего ложа и опустила на мой лоб свою прохладную ладонь, шепча: — Спи, спи...

Когда я пробудился, она по-прежнему была рядом со мной, но в окно сочился рассвет. Она сидела, подогнув под себя колени, ее ладонь лежала

на моем лбу, головка с рассыпавшимися локонами покоилась на вытянутой руке.

— Хармиана, — шепотом позвал я ее, — стало быть, я спал!

Она в тот же миг проснулась и с нежностью взглянула на меня.

— Да, Гармахис, ты спал.

— Сколько же я проспал?

— Девять часов.

— И все эти долгие девять часов ты провела здесь, возле меня?

— Да, но это пустяки, я ведь тоже спала — боялась разбудить тебя, если пошевелюсь.

— Иди к себе, отдохни, — попросил я. — Ты так измучилась со мной, мне стыдно. Тебе нужен отдых, Хармиана!

— Не беспокойся обо мне, — ответила она, — я велю сейчас рабыне быть неотлучно при тебе и разбудить меня, если тебе что-то понадобится; я лягу спать здесь же, в соседней комнате. А ты отдыхай. — Она хотела подняться, но тело ее так затекло в неудобной позе, что она тут же упала на пол.

Не могу описать, каким горьким стыдом наполнилось мое сердце, когда я это увидел. Увы, я в моей великой слабости не мог поднять ее!

— Ничего, пустяки, — сказала она, — лежи и не шевелись, у меня просто нога подвернулась. Ой! — Она поднялась и снова упала. — До чего же я неловкая! Это я со сна. Ну вот, все прошло. Сейчас пришлю рабыню. — И она пошла из комнаты, пошатываясь, точно пьяная.

Я тут же снова заснул, ибо совсем обессилел. Проснулся уже в полдень и почувствовал неутолимый голод. Хармиана принесла мне еду.

Я тут же все съел.

— Стало быть, я не умер, — сказал я.

— Нет, — и она вскинула головку, — ты будешь жить. Сказать правду, зря, я расточала на тебя свою жалость.

— Твоя жалость спасла мне жизнь, — с горечью сказал я, ибо теперь все вспомнил.

— О нет, пустяки, — небрежно бросила она. — В конце концов, ведь ты — мой двоюродный брат, к тому же я люблю ухаживать за больными, это истинно женское занятие. Я точно так же стала бы выхаживать любого раба. А теперь, когда опасность миновала, я уйду.

— Лучше бы ты позволила мне умереть, Хармиана, — проговорил я после долгого молчания, — ибо в жизни меня теперь не ждет ничего, кроме нескончаемого позора... Скажи мне, когда Клеопатра собирается плыть в Киликию?

— Она отплывает через двадцать дней и готовится поразить Антония таким блеском и такой роскошью, каких Египет никогда еще не видел. Признаюсь честно: я не представляю, где она взяла средства для всего этого великолепия, разве что по всему Египту на полях крестьян пшеница дала зерна из чистого золота.

Но я-то знал, откуда взялись богатства, и ничего ей не ответил, только застонал от муки. Потом спросил:

— Ты тоже плывешь с ней, Хармиана?

— Конечно, как и весь двор. И ты... и ты тоже поплывешь.

— Я? А я-то ей зачем?

— Ты — раб Клеопатры и должен идти за ее колесницей в золоченых цепях; к тому же она боится оставить тебя здесь, в Кемете; но главное — она так пожелала, а ее желание — закон.

— Хармиана, а нельзя мне бежать?

— Бежать? Бедняга, да ты едва жив! Нет, о побеге и речи быть не может. Тебя и умирающего стерег целый отряд стражей. Но если бы ты даже убежал, где тебе спрятаться? Любой честный египтянин с презрением плюнет тебе в лицо!

Я снова застонал про себя и почувствовал, как по моим щекам скатились слезы, вот до чего ослаб мой дух.

— Не плачь! — быстро заговорила она, отворачивая от меня свое лицо. — Ведь ты мужчина, ты должен с твердостью перенести это несчастье. Ты сам посеял семена — настало время жатвы; но после того, как урожай собран, разливаются Нил, смывает высохшие корни и уносит их, а потом снова наступает сезон сева. Может быть, там, в Киликии, когда ты обретешь прежние силы, мы найдем для тебя способ бежать, — если, конечно, ты способен жить вдали от Клеопатры, не видя ее улыбки; и где-нибудь в далекой стране ты проведешь несколько лет, пока эти горестные события не забудутся. А теперь я выполнила свой долг, и потому прощай! Я буду навещать тебя и следить за тем, чтобы ты ни в чем не нуждался.

Она ушла, оставив меня на попечении врача и двух рабынь, которые со всем тщанием меня выхаживали; рана моя заживала, силы возвращались — сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Через четыре дня я встал на ноги, а еще через три уже мог по часу гулять в дворцовых садах; прошла еще неделя, и я начал читать и размышлять, хотя при дворе не появлялся. И вот однажды вечером пришла Хармиана и велела готовиться к путешествию, ибо через два дня суда царицы отплывают, их путь лежит вдоль берегов Сирии в пролив Исс и дальше в Киликию.

Я написал Клеопатре письмо, в котором со всей почтительностью



просил позволить мне остаться дома, ссылаясь на то, что еще не оправился от болезни и вряд ли вынесу такое путешествие. Но мне передали на словах, что я должен сопровождать царицу.

И вот в назначенный день меня перенесли на носилках в лодку, и вместе с тем самым воином, который ранил меня, — начальником стражи Бренном, — и несколькими его солдатами (их нарочно послали охранять меня) мы подплыли к судну, которое стояло на якоре среди множества других кораблей, ибо Клеопатра снарядила огромный флот, как будто отправлялась воевать, и все суда были пышно убраны, но самой великолепной и дорогой была ее галера, построенная в виде дома из кедрового дерева и сплошь увешанная шелковыми занавесями и драпировками, такой роскошной мир еще никогда не видел. Но мне предстояло плыть не на этой галере, и потому я не видел ни Клеопатры, ни Хармианы, пока мы не сошли на берег у устья реки Кидн.

Вот отдана команда, и флот отплыл; ветер дул попутный, и к вечеру второго дня показалась Яффа. Ветер переменялся на встречный, от Яффы мы поплыли вдоль берегов Сирии мимо Цезарии, Птолемаиды, Тира, Берита, мимо белых скал Ливана, увенчанных по гребню могучими кедрами, мимо Гераклеи и, пересекши залив Исс, приблизились к устью Кидна. И с каждым днем нашего путешествия крепкий морской ветер вливал в меня все больше сил, и я наконец почувствовал себя почти таким же легким и здоровым, каким был прежде, только на голове остался шрам от меча. Однажды ночью, когда мы уже подплывали к Кидну, мы сидели с Бренном вдвоем на палубе, и его взгляд упал на шрам от раны, нанесенной его мечом. Он разразился проклятьями, поминая всех своих языческих богов.

— Если бы ты умер, — признался он, — я бы, наверное, никогда больше не мог глядеть людям в глаза. Какой предательский удар и как же мне стыдно, что это я его нанес. Эх! А ты-то, ты-то лежал на полу, лицом вниз! Знаешь, когда ты там умирал у себя в башне, я каждый день приходил справляться, как ты. Клянусь Таранисом, если бы ты умер, я бросил бы эту легкую жизнь в царицыном дворце и отправился к себе, на милый сердцу север.

— Напрасно ты коришь себя, Бренн, — ответил я; ты же выполнял свой долг.

— Долг-то долг, но не всякий долг честный человек станет выполнять, пусть даже ему приказывают все царицы Египта вместе взятые! Ты из меня всякое соображение вышиб, когда сбил наземь, иначе я бы не рубанул тебя мечом. А что случилось, Гармахис? У тебя беда, ты прогневил царицу?

Почему тебя везут под стражей на эту увеселительную прогулку? Тебе известно, что нам приказано не спускать с тебя глаз, ибо если ты убежишь, мы заплатим за это жизнью?

— Да, друг, у меня великая беда, — ответил я, — но прошу тебя, не расспрашивай о ней.

— Ну что ж, ты молод, и клянусь, что в этой беде повинна женщина, и хоть я неотесан и не блещу умом, но, кажется мне, догадался, кто она. Слушай, Гармахис, что я тебе скажу. Мне надоело служить Клеопатре, надоела эта страна с ее жарой, с ее пустынями и с ее роскошью, она отнимает у человека все силы и выворачивает наизнанку карман; такая жизнь многим из нас опостылела. Давай похитим одну из этих неповоротливых посудин и уплывем на север, что ты скажешь? Я приведу тебя в прекрасный край, его не сравнить с Египтом — это страна озер и гор, страна бескрайних лесов, где растут благоухающие сосны; и там есть девушка тебе под стать — высокая и сильная, с большими голубыми глазами и длинными белокурыми волосами, когда она сожмет тебя в объятиях, у тебя хрустнут ребра; эта девушка — моя племянница. Пойдем со мной, согласен? Забудь прошлое, уедем на милый сердцу север, ты будешь мне за сына.

Я подумал немного, потом горестно покачал головой: мне страстно хотелось уйти с ним, и все же я знал, что судьба навек связала мою жизнь с Египтом и что мне не должно бежать от моей судьбы.

— Нет, Бренн, это невозможно, — отвечал я. — Чего бы я только не отдал, чтобы уйти с тобой, но я скован цепями Рока, которых мне не разорвать, мне суждено жить и умереть в Египте.

— Я не неволю тебя, Гармахис, — вздохнул старый солдат. — Но с какой бы радостью я выдал за тебя мою племянницу, принял бы в свою семью, любил, как сына... Но помни хотя бы, что, пока Бренн здесь, у тебя есть друг. И еще одно: опасайся своей прекрасной царицы, ибо, клянусь Таранисом, может настать час, когда она решит, что ты знаешь слишком много, и тогда... — Он провел рукой по своему горлу. — А сейчас покойной ночи. Выпьем кубок вина и спать, ибо завтра начнется это дурацкое представление, и тогда...

*(Здесь довольно большой кусок второго папируса так сильно поврежден, что расшифровать его оказалось невозможно. Судя по всему, в нем описывается путешествие Клеопатры вверх по Кидну к Тарсу.)*

...И глазам тех (повествование продолжается), кто находит

удовольствие в такого рода зрелищах, представилась поистине восхитительная картина. Борты нашей галеры были обшиты листами золота, паруса выкрашены финикийским пурпуром, серебряные весла погружались в воду, и ее журчанье было подобно музыке. В середине палубы, под навесом из ткани, расшитой золотом, возлежала Клеопатра в одеянии римской богини Венеры, — и, без сомнения, она затмила бы Венеру красотой! — в прозрачном хитоне из белейшего шелка, подхваченном под грудью золотым поясом с искусно вытисненными на нем любовными сценами. Вокруг нее резвились прелестные пухленькие мальчики лет четырех-пяти, вовсе без одежды, если не считать привязанных за плечами крылышек, лука и колчана со стрелами, они оведали ее опахалами из страусовых перьев. На палубах галеры стояли не грубые бородатые моряки, а красивейшие девушки в одеждах Граций и Нереид — то есть почти нагие, только в благоухающих волосах были цветы и украшения, — и с тихим пением, под аккомпанемент арф и удары по журчащей воде серебряных весел, тянули канаты, свитые из тонких, как паутина, шелковых нитей. Позади ложа стоял с обнаженным мечом Бренн, в великолепных латах и в золотом шлеме с крыльями; возле него толпа придворных в роскошных одеяниях, и среди них я — раб, и все знали, что я раб! На корме стояли курильницы, наполненные самым дорогим фимиамом, от них за нашим судном вился ароматный дым.

Словно в сказочном сне плыли мы, сопровождаемые множеством судов, к лесистым горам Тавра, у подножия которых находится город, именованный в древности Таршишем. Мы приближались к нему, а на берегах волновались толпы, люди бежали впереди нас, крича: «Морские волны примчали Венеру! Венера приплыла в гости к Вакху!» Вот наконец и сам город, все его жители, кто только мог ходить и кого можно было принести, высыпали на пристань, толпа собралась многотысячная, да к тому же тут было чуть не все войско Антония, так что триумvir в конце концов остался на помосте один.

Явился льстивый Деллий, и, кланяясь чуть ли не до земли, передал приветствия Антония «богине красоты», и от его имени пригласил на пир, который его повелитель приготовили в честь гостя. Но Клеопатра гордо отказалась: «Поистине, сегодня Антоний должен угождать нам, а не мы ему. Передай благородному Антонию, что мы сегодня вечером ждем его к нам на скромную трапезу — иначе нам придется ужинать в одиночестве».

Деллий ушел, чуть не распластавшись в поклоне; все уже было приготовлено для пира, и тут я в первый раз увидел Антония. Он приближался к нам в пурпурном плаще, высокий красивый мужчина в

расцвете лет и сил, кудрявый, с яркими голубыми глазами и благородными точеными чертами, как на греческой камее. Могучего сложения, с царственной осанкой и открытым выражением лица, на котором отражались все его мысли, так что каждый мог их прочесть; и только рот выдавал слабость, которая как бы перечеркивала властную силу лба. Он шел со свитой военачальников и, подойдя к ложу Клеопатры, остановился пораженный и уставился на нее широко раскрытыми глазами. Она тоже не отрываясь смотрела на него; я видел, как порозовела ее кожа, и сердце мое пронзила острая боль ревности. От Хармианы, которая видела все из-под своих опущенных ресниц, не, укрылась и моя мука, — она улыбнулась. А Клеопатра молчала, она лишь протянула Антонию свою белую ручку для поцелуя; и он, не произнося ни слова, склонился к руке и поцеловал ее.

— Приветствую тебя, благородный Антоний! — проговорила она своим дивным мелодичным голосом. — Ты звал меня, и вот я приплыла.

— Да, приплыла Венера, — услышал я его глубокий звучный бас. — Я звал смертную женщину — и вот из пены волн поднялась богиня!

— А на суше ее встретил прекрасный бог, — смеясь, подхватила она игру. — Но довольно любезностей и лести, ибо на суше Венера проголодалась. Подай мне руку, благородный Антоний.

Затрубили фанфары, толпа, кланяясь, расступилась, и рука об руку с Антонием Клеопатра прошествовала в сопровождении своей свиты к пиршественному столу.

(Здесь в папирусе снова пропуск).

## **Глава XV , повествующая о пире Клеопатры; о том, как она растворила в кубке жемчужину и выпила; об угрозе Гармахиса; и о любовной клятве Клеопатры**

Вечером третьего дня в зале дома, который был отведен Клеопатре, снова был устроен пир, и своим великолепием этот пир затмил два предыдущих. Двенадцать лож, которые стояли вокруг стола, были украшены золотыми рельефами, а ложе Клеопатры и ложе Антония были целиком из золота и сверкали в узорах драгоценных камней. Посуда была тоже золотая с драгоценными камнями, стены зала увешаны пурпурными тканями, расшитыми золотом, пол, покрытый золотой сеткой, усыпан таким толстым слоем едва распустившихся роз, что нога тонула в них по щиколотку, и когда прислуживающие рабы ступали по ним, от пола поднимался одуряющий аромат. Мне опять было приказано стоять у ложа Клеопатры вместе с Хармианой, Ирадой и Мерирой и, как того требуют обязанности раба, объявлять каждый час пролетевшего времени. Выказать неповиновение я не мог, меня охватило бешенство, но я поклялся, что играю эту роль в последний раз, больше я себя такому позору не подвергну. Правда, я еще не верил Хармиане, которая убеждала меня, что Клеопатра вот-вот станет любовницей Антония, но это надругательство надо мной и эта изощренная пытка были невыносимы. Теперь Клеопатра больше не разговаривала со мной, только иногда бросала приказания, как царица приказывает рабу, и, мне кажется, ее жестокому сердцу доставляло удовольствие мучить меня.

И вот веселый пир в разгаре, гости смеются, поднимают кубки с вином, а я, фараон, коронованный владыка страны Кемет, стою среди евнухов и приближенных девушек у ложа царицы Египта. Глаза Антония не отрываются от лица Клеопатры, она тоже порой погружает в его глаза свой взгляд, и тогда беседа их замирает... Он рассказывает ей о войнах, о сражениях, в которых бился, отпускает соленые шуточки, не предназначенные для женских ушей. Но ее все это ничуть не смущает она, заразившись его настроением, рассказывает анекдоты более изысканные,

но ничуть не менее бесстыдные.

Наконец роскошная трапеза закончилась, и Антоний оглядел окружающее его великолепие.

— Скажи мне, о прелестнейшая царица Египта, — спросил он, — что, пески в пустынях, среди которых течет Нил, все из чистого золота и потому ты можешь ночь за ночью устраивать пиры, швыряя за каждый баснословные суммы, на которые можно купить целое царство? Откуда эти несметные богатства?

Я мысленно увидел усыпальницу божественного Менкаура, священное сокровище которого она столь непристойно расточала, и поглядел на Клеопатру так, что она повернула ко мне голову и встретилась со мной глазами; прочтя мои мысли, она гневно нахмурилась.

— Ах, благородный Антоний, что тебя так поразило? У нас в Египте есть свои тайны, и мы умеем, когда нам надо, создавать богатства с помощью заклинаний. Как ты думаешь, какова цена золотых приборов, а также яств и вин, которыми я вас угощаю?

Он оглядел пиршественный стол и наугад предположил:

— Тысяча систерций?

— Увеличь цифру в два раза, благородный Антоний! Но все равно: я в знак дружбы дарю то, что ты видишь, тебе и твоим друзьям. А сейчас я удивлю тебя еще больше: я выпью в одном-единственном глотке десять тысяч систерций.

— Это невысказано, прекрасная царица!

Она засмеялась и велела рабу принести в прозрачном стеклянном кубке немного уксуса. Уксус принесли и поставили перед ней, и она снова засмеялась, а Антоний, поднявшись со своего ложа, подошел к ней и встал рядом; все гости смолкли и устремили на нее глаза — что-то она задумала? А она — она вынула из уха одну из тех огромных жемчужин, которые извлекла из мертвой груди божественного фараона, когда в последний раз запускала туда руку, и, не успел никто догадаться о ее намерениях, как она опустила жемчужину в уксус. Наступило молчание, потрясенные гости, замерев, наблюдали, как несравненная жемчужина медленно растворяется в крепком уксусе. Вот от нее не осталось следа, и тогда Клеопатра подняла кубок, покрутила его, взбалтывая уксус, и выпила весь до последней капли.

— Еще уксусу, раб! — воскликнула она. — Моя трапеза не кончена! — И она вынула жемчужину из другого уха.

— Нет, клянусь Ваххом! Этого я не позволю! — вскричал Антоний и схватил ее за руки. — Того, что я видел, довольно.

И в эту минуту я, повинувшись неведомой мне силе, громко произнес:

— Еще один час твоей жизни пролетел, о царица, — еще на один час приблизилось свершение мести Менкаура!

По лицу Клеопатры разлилась пепельная бледность, она в бешенстве повернулась ко мне, все остальные в изумлении глядели на нас, не понимая, что означают мои слова.

— Как ты посмел пророчить мне несчастье, жалкий раб! — крикнула она. — Произнеси такое еще раз — и тебя накажут палками! Да, палками, клянусь тебе, Гармахис, — как злого колдуна, который накликает беду!

— Что хотел сказать этот астролог? — спросил Антоний. — А ну, отвечай, негодяй. И объясни все ясно, без утайки, ибо проклятьями не шутят.

— Я служу богам, благородный Антоний, и слова, которые я произношу, вкладывают в мои уста они, а смысла их я не могу прочесть, — смиренно ответил я.

— Ах, вот как, ты, стало быть, служишь богам, о многоцветный волшебник! — Это он так отозвался о моем роскошном одеянии. — А я служу богиням, они не так суровы. Но у нас с тобой много общего: я тоже произношу слова, повинаясь их воле, и тоже не понимаю, что они значат. — И он вопросительно посмотрел на Клеопатру.

— Оставь этого негодяя, — с досадой проговорила она. — Завтра мы от него избавимся. Ступай прочь, презренный.

Я поклонился и пошел из зала, и пока я шел, я слышал, как Антоний говорит:

— Что ж, может быть, он и негодяй — ведь все мужчины негодяи, — но мне твой астролог нравится: у него вид и манеры царя, к тому же он умен.

За дверью я остановился, не зная, что делать, в моем горе я растерялся. Но тут кто-то тронул меня за руку. Я подняла глаза — возле меня стояла Хармиана, она выскользнула из зала, воспользовавшись тем, что пирующие поднимаются из-за стола, и догнала меня.

В беде Хармиана всегда спасала меня.

— Идем со мной, — шепнула она, — тебе грозит опасность.

Я послушно пошел за ней. Что мне еще оставалось?

— Куда мы идем? — спросил я наконец.

— В мою комнату, — ответила она. — Не бойся; нам, придворным дамам Клеопатры, нечего терять: если нас кто-то увидит, то решит, что мы любовники и у нас свидание, и ничуть не удивится — такие уж у нас нравы.

Мы далеко обошли толпу и, никем не замеченные, оказались возле

маленькой боковой двери, за которой начиналась лестница, и мы по ней поднялись. Наверху был коридор, мы двинулись по коридору и нашли с левой стороны дверь. Хармиана молча вошла в темную комнату, я за ней. Потом она заперла дверь на задвижку и, раздув тлеющий уголек, зажгла висячий светильник. Огонь разгорелся, и я стал осматривать комнату. Комната была небольшая, всего с одним окном, причем оно было тщательно занавешено. Стены выкрашены белой краской, убранство самое простое: несколько ларей для платьев; древнее кресло; что-то вроде туалетного столика, ибо на нем стояли флаконы с духами, лежали гребни и разные вещицы, которыми любят украшать себя женщины; белое ложе с накинутым на него вышитым покрывалом и с прозрачным пологом от комаров.

— Садись, Гармахис, — сказала Хармиана, указывая на кресло, а сама, откинув прозрачный полог, села напротив меня на ложе.

Мы оба молчали.

— Ты знаешь, что сказала Клеопатра, когда ты вышел из пиршественного зала? — наконец спросила она меня.

— Нет, откуда же мне знать?

— Она смотрела не отрываясь тебе в спину, и когда я подошла к ней оказать какую-то услугу, она тихо, чуть не про себя прошептала: «Клянусь Сераписом, я положу этому конец! Довольно я терпела его дерзость, завтра же его задушат!»

— Вот как, — отозвался я, — что ж, может быть; хотя после всего, что у нас с ней было, я не верю, чтобы она решилась подослать ко мне убийц.

— Да как же ты можешь не верить, глупый ты, упрямый человек? Разве ты забыл, как близок был ты к смерти в Алебастровом зале? Кто спас тебя от ножей этих подлых евнухов? Может быть, Клеопатра? Или мы с Бренном? Слушай же меня. Ты все отказываешься мне верить, потому что в твоей глупости тебе не понять, как это женщина, которая совсем недавно была твоей женой, сейчас вдруг предательски обрекает тебя на смерть. Нет, не возражай мне — я знаю все, и я тебе скажу: неизмерима глубина коварства Клеопатры, чернее самой черной тьмы зло ее сердца. Она бы не колеблясь убила тебя в Александрии, но она боялась, что весть о твоём убийстве разнесется по всему Кемету и ей несдобровать. Вот потому-то она и привезла тебя сюда, чтобы умертвить тайно. На что ты ей сейчас? Ты отдал ей всю свою любовь, она пресытилась твоей красотой и силой. Она украла у тебя трон, который принадлежит тебе по праву крови и рождения, и принудила тебя, царя, стоять среди придворных дам у ее пиршественного ложа; она украла у тебя великую тайну священного сокровища!



— Как, ты и это знаешь?

— Да, я знаю все; и сегодня ты видел, как царица Кемета, эта гречанка, эта чужеземка, узурпировавшая нашу корону, транжирит на бессмысленную роскошь святые богатства, которые хранились в сердце пирамиды три тысячелетия, чтобы спасти Кемет, когда настанет лихолетье! Ты видел, как она сдержала свою клятву вступить с тобой в освященный богами брак. Гармахис, наконец-то ты прозрел!

— Да, я прозрел, но ведь она клялась, что любит меня, а я, жалкий глупец, ей верил!

— Она клялась, что любит тебя! — проговорила Хармиана, вскидывая на меня свои темные глаза. — Сейчас я покажу тебе, как она тебя любит. Ты знаешь, что было раньше в этом доме? Школа жрецов, а жрецы, Гармахис, как тебе лучше других известно, знают много всяких хитростей. Раньше в этой небольшой комнате жил главный жрец, а в комнате, что рядом с нашей, собирались на молитву младшие жрецы. Все это мне рассказала старуха рабыня, которая убирает дом, и она же показала мне секреты, которые я сейчас тебе открою. Молчи, Гармахис, ни звука, и иди за мной!

Она задула светильник и в темноте, которую не мог разогнать свет ночи, пробивающийся сквозь занавешенное окно, взяла меня за руку и потянула в дальний угол. Здесь она нажала плечом на стену, и в ее толще открылась дверь. Мы вошли, она плотно закрыла эту дверь за нами. Мы оказались в камерке локтей пять в длину и локтя четыре в ширину, в нее неведомо откуда пробивался слабый свет и доносились чьи-то голоса. Отпустив мою руку, Хармиана на цыпочках подкралась к стене напротив и стала пристально в нее вглядываться, потом так же тихо подкралась ко мне и, прошептав «Тс-с!», повлекла за собой. И тут я увидел, что в стене множество смотровых глазков, которые с другой стороны скрыты в каменных рельефах. Я поглядел в тот глазок, что был передо мной, и вот что я увидел: локтях в шести подо мной был пол большой комнаты, освещенной светильниками, в которые были налиты благовония, и убранной с великой роскошью. Это была спальня Клеопатры, и примерно в десяти локтях от нас сидела на золоченом ложе сама Клеопатра и рядом с ней — Антоний.

— Скажи мне, — томно прошептала Клеопатра — камерка, в которой мы стояли, была так искусно устроена, что в ней было слышно каждое слово, произнесенное внизу, — скажи, благородный Антоний, тебе понравилось мое скромное празднество?

— Да, — ответил он своим звучным голосом воина, — да, царица, я

сам устраивал пиры, немало пировал на празднествах, устроенных в мою честь, но ничего подобного я в жизни не видывал; и хоть язык мой груб и я не искушен в любезностях, которые так милы сердцу женщин, но я тебе скажу, что самым драгоценным украшением на этом роскошном празднестве была ты. Пурпурное вино бледнело рядом с румянцем твоих щек, когда ты подносила к устам кубок, твои волосы благоухали слаще, чем розы, и не было сапфира, который своим цветом и переменчивой игрой затмил бы красоту твоих синих, как море, глаз.

— Как, я слышу похвалу из уст Антония! Человек, который пишет суровые послания, точно команды отдает, вдруг говорит мне столь приятные слова! Да, такую похвалу надо высоко ценить!

— Ты устроила пир, поистине достойный царей, хотя мне очень жаль ту редкостную жемчужину; и потом, что значили слова этого твоего астролога, который объявлял время, он предрекал беду и поминал проклятье Менкаура?

На ее сияющее счастьем лицо набежала тень.

— Не знаю; он недавно подрался и был ранен в голову; по-моему, от этого удара он повредился рассудком.

— Он вовсе не показался мне безумным, у меня в ушах до сих пор звучит его голос, и я не могу отделаться от мысли, что это глас судьбы. И он с таким отчаянием глядел на тебя, царица, своими пронцающими все тайные мысли глазами, словно он любит тебя и, борясь с любовью, ненавидит.

— Я же говорила тебе, благородный Антоний, он странный человек и к тому же ученый. Я временами сама чуть ли не боюсь его, ибо он весьма сведущ в древних магических знаниях Египта. Ты знаешь, что он царского происхождения, что в Египте был заговор и он должен был убить меня? Но я одержала над ним победу в этой игре и не стала его убивать, ибо у него есть ключ к тайнам, которые мне без него никак было не разгадать; он очень мудр, я так любила слушать его рассуждения о сокровенной сути явлений.

— Клянусь Вакхом, я начинаю ревновать тебя к этому колдуну! А что сейчас, царица?

— Сейчас? Я выжала из него все, что он знает, и больше у меня нет причин его бояться. Разве ты не видел, что я три ночи подряд заставляла его стоять, словно раба, среди моих рабов, и объявлять час летящего, пока мы пируем, времени? Ни один пленный царь, идущий в цепях за твоей колесницей, когда тебя торжественно встречал после победы Рим, не испытывал таких мук, как этот гордый египетский царевич, стоящий в

своем бесславии у моего пиршественного ложа.

Тут Хармиана коснулась моей руки и сжала ее, как мне показалось, с состраданием.

— Довольно, больше он не будет тревожить нас своими предсказаниями беды, — медленно проговорила Клеопатра: — завтра он умрет — быстро, тайно, во сне, и никто никогда не узнает, что с ним произошло. Я это решила, благородный Антоний, и даже отдала распоряжения. Вот я сейчас говорю о нем, а в мое сердце вползает страх и свивается, точно холодная змея. Мне даже хочется приказать, чтобы с ним покончили сейчас, ибо, пока он жив, я не могу свободно дышать. — И она сделала движение, желая встать.

— Не надо, подожди до утра, — сказал он и поймал ее руку, — солдаты все перепились, причинят ему ненужные страдания. И потом, мне его жаль. Не люблю, когда людей убивают во сне.

— А вдруг утром сокол улетит, — сказала она задумчиво. — У этого Гармахиса острый слух, он может призвать к себе на помощь потусторонние силы. Быть может, он и сейчас слышит меня слухом своей души; признаюсь тебе: мне кажется, он рядом, здесь, я ощущаю его присутствие. Пожалуй, я открою тебе... но нет, забудем о нем! Благородный Антоний, будь сегодня моей служанкой и сними с меня эту золотую корону, она тяжелая, голова в ней устала. Осторожно, не оцарапай лоб, — вот так.

Он поднял с ее лба диадему в виде золотого урея, она встряхнула головой, и тяжелый узел волос распустился, темные волны хлынули вниз, закрыв ее, точно плащ.

— Возьми свою корону, царица Египта, — тихо произнес он, — возьми ее из моих рук; я не отниму ее у тебя — я надену ее так, что она будет еще крепче держаться на этой прелестной головке.

— Что означают твои слова, о мой властелин? — спросила она, улыбаясь и глядя в его глаза.

— Что они означают? Сейчас объясню. Ты приплыла сюда, повинуюсь моему повелению, дабы оправдаться передо мной в своих действиях, касающихся политики. И знаешь, царица, окажись ты не такой, какова ты есть, не царствовать бы тебе больше в твоём Египте, ибо я уверен, что ты совершила все, в чем тебя обвиняют. Но когда я тебя встретил — и увидел, что никогда еще природа не одаривала женщину столь щедро, — я все тебе простил. Твоей красоте и очарованию я простил то, чего не простил бы добродетели, любви к отечеству, мудрой и благородной старости. Видишь, какая великая сила — ум и чары прелестной женщины, даже великие мира

сего забывают перед ними свой долг и обманом вынуждают слепое Правосудие приподнять повязку, прежде чем оно занесет свой карающий меч. Возьми же свою корону, о царица! Теперь я буду заботиться, чтобы она не тяготила тебя, хоть она поистине тяжела.

— Слова, достойные царя, мой благороднейший Антоний, — ответила она, — великодушные и милосердные, такие только и может произносить великий покоритель мира! Но коль уж ты завел речь о моих былых проступках — если это и в самом деле были проступки, — могу ответить тебе только одно: в то время я не знала Антония. Ибо тот, кто знает Антония, не может злоумышлять против него. Разве хоть одна женщина способна поднять меч против мужчины, которому мы все должны, поклоняться как богу: к этому мужчине мы, увидев и узнав его, тянемся всем сердцем, как к солнцу тянутся цветы. Могу ли я сказать больше, не преступив запретов, налагаемых женской скромностью? Пожалуй, лишь одно: прошу тебя, надень на меня эту корону, великий Антоний, я приму ее как твой дар, и корона будет мне тем более драгоценна, что я получила ее из твоих рук, я клянусь: она будет отныне служить тебе. Я — твоя подданная, и моими устами вся древняя страна Египет, которой я правлю, клянется в верности триумвиру Антонию, который скоро станет римским императором Антонием и царственным владыкой Кемета!

Он возложил корону на ее голову и замер, любуясь ею, опьяненный жарким дыханием ее цветущей красоты, но вот он совсем потерял над собой власть, схватил ее за руки, привлек к себе и страстно поцеловал.

— Клеопатра, я люблю тебя... я люблю тебя, божество мое... никогда еще я никого так не любил... — пылко шептал он. Она с томной улыбкой откинулась назад в его объятьях, и от этого движения золотой венец, сплетенный из священных змей, упал с ее головы, ибо Антоний не надел его, а лишь возложил, и укатился в темноту, за пределы освещенного светильниками круга.

Сердце мое разрывалось от муки, но я сразу понял, что это очень дурное предзнаменование. Однако ни он, ни она ничего не заметили.

— Ты меня любишь? — лукаво пропела она. — А как ты мне докажешь свою любовь? Я думаю, ты любишь Фульвию, свою законную жену, ведь так, признайся?

— Нет, не люблю я Фульвию, я люблю тебя, одну тебя. Всю мою жизнь с ранней юности женщины были ко мне благосклонны, но ни одна из них не внушала мне такого непобедимого желания, как ты, о мое чудо света, единственная, несравненная! А ты, ты любишь меня, Клеопатра, ты будешь хранить мне верность — не за мое могущество и власть, не за то,

что я дарю и отнимаю царства, не за то, что весь мир содрогается от железной поступи моих легионов, не за то, что моя счастливая звезда светит столь ярко, а просто потому, что я — Антоний, суровый воин, состарившийся в походах [131]? За то, что я — гуляка, бражник, за мои слабости, за переменчивость, за то, что я никогда не предал друга, никогда не взял последнее у бедняка, не напал на врага из засады, застав его врасплах? Скажи, царица, ты будешь любить меня? О, если ты меня полюбишь, я не променяю это счастье на лавровый венок римского императора, провозглашенного в Капитолии властелином мира!

Он говорил, а она смотрела на него своими изумительными глазами, и в них сияли искренность, волнение и счастье, каких мне никогда не доводилось видеть на ее лице.

— Твои слова просты, — ответила она, — но доставляют мне большую радость — я радовалась бы, даже если бы ты лгал, ибо есть ли женщина, которая не жаждет видеть у своих ног властелина мира? Но ты не лжешь, Антоний, и что может быть прекрасней твоего признания? Какое счастье для моряка вернуться после долгих скитаний по бурному морю в тихую пристань! Какое счастье для жреца-аскета мечтать о блаженном покое среди полей Иалу, эта надежда озаряет его суровый путь жертвенного служения! Какое счастье смотреть, как просыпается розовоперстая заря и шлет улыбку заждавшейся ее земле! Но самое большое счастье — слышать твои слова любви, о мой Антоний. Слушая их, забываешь, что в жизни есть иные радости! Ведь ты не знаешь, — да и откуда тебе знать? — как пуста и безотраднa была моя жизнь, ибо только любовь исцеляет нас от одиночества, так уж мы, женщины, устроены. А я до этой дивной ночи никогда не любила — мне было неведомо, что такое любовь. Ах, обними меня, давай, давай дадим друг другу великую клятву любви и не нарушим ее до самой смерти. Так слушай же, Антоний! Отныне и навеки я принадлежу тебе, одному тебе, и эту верность я буду свято хранить, пока жива!

Хармиана взяла меня за руку и потянула прочь из каморки.

— Ну что, довольно тебе того, что ты видел? — спросила она, когда мы вернулись в ее комнату и она зажгла светильник.

— Да, — ответил я, — теперь-то я наконец прозрел.

## **Глава XVI , повествующая о плане побега, который замыслила Хармиана; о признании Хармианы и об ответе Гармахиса**

Долго я сидел, опустив голову, душа была до краев наполнена стыдом и горечью.

Так вот, стало быть, чем все кончилось. Вот ради чего я нарушил свои священные обеты, вот ради чего открыл тайну пирамиды, вот ради чего пожертвовал своей короной, честью, быть может, надеждой на воссоединение с Осирисом! Был ли в ту ночь на свете человек, раздавленный таким же беспощадным, черным горем, как я? Нет, я уверен. Куда бежать? Что делать? Но даже буря, разрывавшая мне грудь, не могла заглушить отчаянный крик ревности. Ведь я любил эту женщину, я отдал ей все, а она сейчас, в эту минуту... О! Эта мысль была невыносима, и в пароксизме отчаяния я разразился слезами, они хлынули рекой, но такие слезы не приносят облегчения.

Хармиана подошла ко мне, и я увидел, что она тоже плачет.

— Не плачь, Гармахис! — сквозь рыдания проговорила она и опустилась возле меня на колени. — Я не могу видеть твоего горя. Ах, почему ты раньше был так слеп и глух? Ведь ты мог бы быть сейчас счастлив и могуч, никакие беды не коснулись бы тебя. Послушай меня, Гармахис! Ты помнишь, эта лживая тигрица сказала, что завтра тебя убьют?

— Пусть, я буду рад умереть, — прошептал я.

— Нет, радоваться тут нечему. Гармахис, не позволяй ей в последний раз восторжествовать над собой! Ты потерял все, кроме жизни, но пока ты жив, живет и надежда, а если жива надежда, ты можешь отомстить.

— А! — Я поднялся с кресла. — Как же я позабыл о мести? Да, ведь можно отомстить! Мечь так сладка!

— Ты прав, Гармахис, мечь сладка, и все же... это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил. Я сама... мне это хорошо известно. — Она тяжело вздохнула. — Но довольно предаваться горю и разговорам. У нас впереди долгая цепь тяжелых лет, наполненных одним лишь горем, а разговоры — кто знает, придется ль их вести? Ты должен бежать, бежать как можно скорее пока не наступило утро. Вот что я придумала. Еще до

рассвета в Александрию отплывает галера, которая вчера привезла оттуда фрукты и разные запасы, я знаю ее кормчего, а вот он тебя не знает. Я сейчас раздобуду тебе одежду сирийского купца, ты закутаешься в плащ и отнесешь кормчему галеры письмо, которое я тебе дам. Он отвезет тебя в Александрию, и для него ты будешь всего лишь купцом, плывущим по своим торговым делам. Сегодня ночью начальник стражи — Бренн, а Бренн и мой друг, и твой. Может быть, он о чем-то догадается, а может быть, и нет, во всяком случае, стражник без всяких подозрений пропустит сирийского купца. Что ты на это скажешь?

— Спасибо, Хармиана, я согласен, — с усилием проговорил я, — хоть мне и все равно.

— Тогда, Гармахис, отдохни пока здесь, а я займусь приготовлениями. И прошу тебя: не предавайся так беззаветно своему горю, есть люди, чье горе чернее твоего. — И она ушла, оставив меня один на один с моей мукой, которая терзала меня, как палач. И если бы не бешеная жажда мести, которая вдруг вспыхивала в моем агонизирующем сознании, точно молния над ночным морем, мне кажется, я в этот страшный час сошел бы с ума. Но вот послышались шаги Хармианы, она вошла, тяжело дыша, потому что принесла тяжелый мешок с одеждой.

— Все улажено, — сказала она, — вот твоё платье, здесь есть и другое на смену, таблички для письма и все, что тебе необходимо. Я успела повидаться с Бренном и предупредила его, что за час до рассвета пройдет сирийский купец, пусть стражи его пропустят. Я думаю, он все понял, потому что, когда я пришла к нему, он притворился, будто спит, а потом стал зевать и заявил, что пусть хоть сто сирийских купцов идут, ему до них дела нет, лишь бы произнесли пароль — Антоний. Вот письмо к кормчему, ты без труда найдешь галеру, она стоит на набережной, по правую сторону, небольшая, черная, и главное — моряки не спят и готовятся к отплытию. Я сейчас выйду, а ты сними этот наряд слуги и облачись в то платье, которое я принесла.

Лишь только она закрыла дверь, я сорвал свое роскошное одеяние раба, плюнул на него и стал топтать ногами. Потом надел скромное платье купца, на ноги сандалии из грубой кожи, обвязал воцеленные дощечки вокруг пояса и за пояс заткнул кинжал. Когда я был готов, вошла Хармиана и оглядела меня.

— Нет, ты все тот же царственный Гармахис, — сказала она, — сейчас попробуем тебя изменить.

Она взяла с туалетного столика ножницы, велела мне сесть и очень коротко остригла волосы. Потом искусно смешала краски, которыми

женщины обводят и оттеняют глаза, и покрыла смесью мое лицо и руки, а также багровый шрам в волосах — ведь меч Бренна рассек мне голову до кости.

— Ну вот, теперь гораздо лучше, хоть ты и подурнел, Гармахис, — заметила она с горьким смешком, — пожалуй, даже я тебя бы не узнала. Подожди, еще не все. — И, подойдя к ларю, где лежала одежда, она достала из него тяжелый мешочек с золотом.

— Возьми, — сказала она, — тебе будут нужны деньги.

— Нет, Хармиана, я не могу взять у тебя золото.

— Не сомневайся, бери. Мне дал его Сепя для нужд нашего общего дела, и потому будет лишь справедливо, чтобы его истратил ты. К тому же, если мне понадобятся деньги, Антоний, без всякого сомнения, даст, сколько я скажу, ведь отныне он мой хозяин, а он мне многим обязан и хорошо это знает. Прошу тебя, не будем тратить время на пустые пререканья — ты все еще не стал купцом, Гармахис. — И она без лишних слов засунула золото в кожаную суму, которая висела у меня за плечами. Потом свернула запасную одежду и в своей женской заботливости положила вместе с нею в мешок алебастровую баночку с краской, чтобы я время от времени мазал ею лицо и руки; взяла роскошные вышитые одежды слуги, которые я в такой ярости сбросил, и спрятала их в той тайной каморке, куда меня водила. И вот все наконец готово.

— Ну что же, мне пора идти? — спросил я.

— Нет, придется немного подождать. Не торопись, Гармахис, тебе недолго осталось терпеть мое общество, скоро мы расстанемся — быть может, навсегда.

Я с досадой нахмурился — время ли сейчас язвить, неужто она не понимает?

— Прости мой злой язык, — сказала она, — но когда источник отравлен, вода в нем горькая. Сядь, Гармахис. Прежде чем ты уйдешь, я скажу тебе еще более горькие слова.

— Говори, — ответил я, — как бы горьки они ни были, сейчас меня ничто не тронет.

Она встала передо мной и скрестила на груди руки; лучи светильника ярко освещали ее прекрасное лицо. Я равнодушно подумал, что она смертельно бледна и что черные бархатные глаза обведены огромными темными кругами. Дважды она приоткрывала губы и дважды голос изменял ей. Наконец она хрипло прошептала:

— Я не могу отпустить тебя... не могу отпустить, не сказав всей правды. Гармахис, это я предала тебя!



Я вскочил на ноги, с уст сорвалось проклятье, но она схватила меня за руку.

— Ах, нет, сядь, — взмолилась она, — сядь и выслушай меня, и когда ты все узнаешь, сделай со мной все, что хочешь. Слушай же. Я люблю тебя с той злой для меня минуты, когда я увидела тебя в доме дяди Сепы, во второй раз в моей жизни, и ты даже не догадываешься, как сильна моя любовь. Удвой свою страсть к Клеопатре, потом утрой и учетвери, и ты получишь слабое представление о том, что испытывала все это время я. С каждым днем я любила тебя все более пламенно, все более неукротимо, в тебе одном сосредоточилась вся моя жизнь. Но ты был холоден — холоден не то слово: ты даже не видел, что я живая женщина, я для тебя была всего лишь средство, с помощью которого ты должен достичь цели — короны и трона. И тут я стала догадываться — задолго до того, как ты это понял сам, — что сердце твое устремилось к гибельным скалам, о которые сегодня разбилась твоя жизнь. И вот наступил вечер, тот страшный вечер, когда я, притаившись в твоей комнате за занавесом в нише, увидела как ты бросил с башни мой шарф и его унес ветер, а венок моей царственной соперницы сохранил и наговорил ей любезных слов. И тогда я, — о, знал бы ты всю меру моей муки! — я открыла тебе тайну, о которой ты и не догадывался, а ты, Гармахис, в ответ лишь посмеялся надо мной! О, какой позор и стыд, — ты в своей глупости смеялся надо мной! Я ушла, мое сердце грызла и терзала ярая ревность, какой не под силу вынести женщине, ибо я теперь уже уверилась, что ты любишь Клеопатру! Меня охватило безумие, я хотела в ту же ночь выдать тебя, но все же удержалась, я убеждала себя: нет, все еще можно поправить, завтра он смягчится. И вот настало завтра, все подготовлено, участники могущественного заговора ждут сигнала, чтобы ворваться во дворец и возвести тебя на трон. Я снова пришла к тебе — ты помнишь — и иносказательно завела речь о вчерашнем, но ты снова отмахнулся от меня, как от доуки, не стоящей даже минутного внимания. И, зная, что виной тому Клеопатра, которую ты, сам того не подозревая, любишь и должен сейчас убить, я обезумела, в меня словно вселился злой дух и подчинил меня себе, я уже не владела собой, сама не понимала, что я делаю. Ты с презреньем оттолкнул меня, и потому я пошла к Клеопатре и выдала тебя и всех, кто тебя поддерживал, предала наше священное дело и тем навлекла на себя вечный позор и скорбь! Я ей сказала, что нашла записку, которую ты уронил, и в ней прочитала о заговоре.

Я молчал, лишь тяжело перевел дух; она печально поглядела на меня и продолжала:

— Когда Клеопатра поняла, как могуществен и разветвлен по всей

стране заговор и как глубоко уходят его корни, она очень испугалась и сначала хотела бежать в Саис или тайно пробраться на судно и плыть на Кипр, но я ее убедила, что ее поймают по дороге заговорщики. Тогда она решила, что тебя надо заколоть в ее покоях, и я оставила ее в этом намерении, ибо в ту минуту жаждала твоей смерти — да, Гармахис, я плакала бы потом всю жизнь на твоей могиле, но я обрекла тебя на смерть. Погоди, что я сейчас сказала? Ах да: мечь, подобно стреле, может поразить того, кто ее выпустил. Так случилось со мной, ибо, когда я вышла от Клеопатры, она придумала более коварный план. Она сообразила, что убив тебя, вызовет лишь еще большую ярость восставших, и испугалась; но если она привяжет тебя к себе, вселит в народ сомнение, а потом объявит, что ты предал своих соратников, она подрубит корни заговора, и он зачахнет, как бы ни был могуч заговор, никогда нет уверенности, что он победит, и вот она сделала ставку на его поражение — нужно ли мне продолжать? Как она тебя победила — ты знаешь сам, Гармахис, и стрела мести, которую я выпустила, вонзилась в меня. Утром я узнала, что совершила преступление напрасно, что за мое предательство поплатился жизнью бедняга Павел; что я погубила дело, которому поклялась служить, и собственными руками отдала человека, которого люблю, в объятия этой распутницы.

Она низко опустила голову, но я по-прежнему молчал, и она снова заговорила:

— Я расскажу о всех моих преступлениях, Гармахис, и приму наказание, которое заслужила. Теперь ты знаешь, как все произошло. В сердце Клеопатры уже зародилась любовь к тебе, и она почти решила сделать тебя своим супругом и разделить с тобой трон. Ради этой зародившейся любви она и пощадила жизнь тех, кто, как ей стало известно, был замешан в заговоре, надеясь, что, если она сочетается с тобой браком, она с их помощью привлечет на свою сторону самых знатных и влиятельных египтян, которые ненавидят ее так же, как и всех Птолемеев. И тут она снова поймала тебя в ловушку, и ты в своей великой глупости открыл ей тайну древних сокровищ Египта, которые она сейчас бросает на ветер, желая вызвать восхищение сластолюбивого Антония; отдам ей справедливость: она в то время искренне хотела выполнить свою клятву и стать твоей супругой. Но в тот день, когда Деллий должен был прийти за ответом, она призвала меня к себе и, рассказав мне все, ибо ценит мой ум чрезвычайно высоко, спросила моего совета: объявить ли ей войну Антонию и разделить трон с тобой или выбросить из головы мысль о войне и о тебе и плыть к Антонию? И я — измерь всю тяжесть моего

преступления — я, истерзанная ревностью, взбунтовалась при мысли, что она станет твоей женой, а ты — ее любящим супругом, и я буду свидетельницей вашего счастья; так вот, я ей сказала, что надо непременно плыть к Антонию, прекрасно зная — ибо у меня была беседа с Деллием, — что, если она поплывет в Тарс, влюбчивый Антоний упадет к ее ногам, как спелое яблоко, и так все и случилось. Только что я показала тебе последнюю сцену в поставленном мною представлении. Антоний влюбился в Клеопатру, Клеопатра влюбилась в Антония, а ты лишился всего, жизнь твоя висит на волоске, я тоже получила по заслугам: сегодня нет на свете женщины несчастнее меня. Когда я увидела сейчас, как разбилось твое сердце, вместе с твоим разбилось и мое, я почувствовала, что больше не могу нести бремя содеянного мной зла, что я должна покаяться в нем и принять наказание.

Мне больше нечего сказать, Гармахис; могу только поблагодарить тебя, что ты проявил милосердие и выслушал меня. Движимая великой любовью к тебе, я причинила тебе зло, за которое буду расплачиваться всю жизнь и всю нескончаемую вечность после смерти! Я погубила тебя, погубила Кемет, и себя я тоже погубила! И пусть я за это приму смерть! Убей меня, Гармахис, — какое счастье умереть от твоей руки, я поцелую несущий смерть клинок. Убей меня и иди, спасайся, ибо, если ты не убьешь меня, я сама избавлюсь от этой постылой жизни! — И она бросилась передо мной на колени и откинулась назад, чтобы мне было легче вонзить кинжал в ее прелестную грудь. И я в затмении ярости занес его над ней, ибо вдруг вспомнил, с каким презреньем эта женщина, навлекшая на меня бесславие, язвила и оскорбляла меня, когда я уже пал. Но трудно убить красивую женщину, а ведь Хармиана к тому же дважды спасла мне жизнь.

— О женщина! Бесстыдная женщина! — вырвалось у меня. — Встань, я не убью тебя. Мне ли судить тебя за твое преступление, ведь я сам повинен в таком зле, что нет на свете кары, достаточно суровой для меня.

— Убей меня, Гармахис! — простонала она. — Убей меня, или я сама себя убью! Бремя моей вины непомерно тяжело, мне его не вынести! Не будь так равнодушен и жесток! Прокляни меня и убей!

— Что ты мне недавно говорила, Хармиана, о себе и о жатве? Боги запрещают тебе убивать себя, и боги запрещают мне такому же преступнику, как ты, убить тебя, потому что на преступление меня толкнула ты. Ты посеяла семена зла, собирай же теперь кровавую жатву. Ничтожная женщина, чья беспощадная ревность навлекла такие беды на меня и на наш Египет, — живи! Живи и собирай всю жизнь горькие плоды зла! Пусть ночь за ночью тебя преследуют во сне видения разгневанных

богов, чья месть ожидает и тебя, и меня в их мрачном Аменти! Пусть день за днем тебя терзают воспоминания о человеке, которого твоя свирепая любовь ввергла в позор и погубила, гляди же каждый день на Кемет, который стал добычей ненасытной Клеопатры и рабом этого сластолюбивого римлянина Антония.

— О Гармахис, не говори со мною так жестоко! Твои слова ранят больнее, чем твой кинжал, и эти раны смертельны, моя смерть будет медленной и нескончаемой агонией. Послушай, Гармахис! — Она вцепилась в мое платье руками. — Когда ты был недосыгаемо высоко и в твоих руках была огромная власть, ты меня отверг. Не отвергай же меня сейчас, после того, как Клеопатра отринула тебя, когда ты беден, опозорен и бесприютен! Ведь я по-прежнему красива и вся моя жизнь — в тебе. Позволь же мне бежать с тобой и искупить свою вину беззаветной любовью, ибо я буду любить тебя до последнего дыхания. Может быть, я прошу слишком многого, тогда позволь мне быть твоей сестрой, твоей служанкой, твоей рабыней, позволь мне просто видеть твое лицо, делить твои тревоги, беды, прислуживать тебе. Молю тебя, Гармахис, возьми меня с собой, я вынесу все тяготы, ничто меня не испугает, и только смерть отторгнет меня от тебя. Я верю, что любовь, которая столкнула меня в бездну и заставила увлечь за собой и тебя, поможет мне подняться столь же высоко, сколь низко я пала, и ты — ты тоже вознесешься со мной!

— Ты искушаешь меня, толкая к новым преступлениям? Неужто, Хармиана, ты думаешь, что в той лачуге, где я буду скрываться от всего света, я смогу день за днем смотреть на твое красивое лицо и каждый раз, увидев эти губы, думать: это они меня предали? Нет, так легко искупление не дается! Я знаю, и знаю слишком хорошо: много тяжелых и одиноких дней будет длиться твое покаяние. Быть может, час мести еще наступит, и ты — кто знает? — доживешь до него и поможешь мне отомстить. Ты должна остаться при дворе Клеопатры, и, пока ты будешь здесь, я, если останусь жив, найду способ посылать тебе время от времени весточку. Быть может, когда-нибудь мне снова понадобятся твои услуги. Так поклянись, что, если это случится, ты не предашь меня во второй раз.

— Клянусь, Гармахис, о клянусь! Если я хоть в самой малой малости обману твои надежды, да осудят меня боги на вечные терзания, о которых страшно и помыслить, — страшнее тех, что разрывают мою грудь сейчас; и я всю жизнь буду ждать вести от тебя.

— Довольно. Ты не посмеешь нарушить клятву, ибо дважды не предают. Я пойду своим путем, подчиняясь своей судьбе; у тебя судьба иная, ты будешь следовать ей. Быть может, нити наших судеб еще

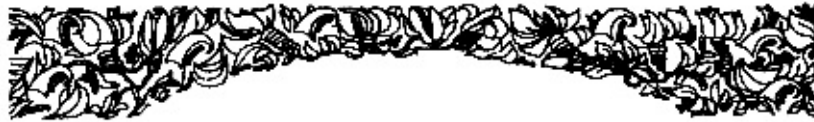
переплетутся в том узоре, который ткёт жизнь. Хармиана, не любимая мною, подарившая мне свою любовь и, движимая этой своей страстной любовью, предавшая и погубившая меня, — прощай!

Ее безумный взгляд впился мне в лицо, она протянула ко мне руки, точно желая обнять, потом отчаяние сломило ее, она упала на пол.

Я взял мешок с вещами, посох и открыл дверь. Переступая порог, я бросил на нее последний взгляд. Она лежала, раскинув руки, бледнее своего белого одеяния, темные волосы рассыпались, прекрасный высокий лоб в пыли.

И я ушел, оставив ее на полу в беспомощности. Увидел я ее лишь девять долгих лет спустя.

(На этом кончается второй, самый большой свиток папируса.)



# **КНИГА ТРЕТЬЯ**

## **МЕСТЬ ГАРМАХИСА**

### **Глава I , повествующая о том, как Гармахис бежал из Тарса; как его принесли в жертву морскому богу; как он жил на острове Кипр; как вернулся в Абидос; и как умер его отец Аменемхет**

Я благополучно спустился по лестнице и оказался во дворе огромного дома. До рассвета оставался еще час, вокруг никого не было. Угомонились пьяные, танцовщицы перестали плясать, в городе царил тишина. Я подошел к воротам, и меня окликнул начальник стражи, который стоял возле них, завернувшись в плащ из грубой ткани.

— Кто идет? — раздался голос Бренна.

— Сирийский купец, мой благородный господин, я привез из Александрии товары придворной даме царицы, эта дама оказала мне гостеприимство, и вот теперь я возвращаюсь на свое судно, — ответил я, изменив голос.

— Поздно же развлекаются со своими гостями придворные дамы царицы, — проворчал Бренн. — Ну да что там, сейчас все веселятся — праздник. Пароль знаешь, господин лавочник? Если не знаешь, придется возвращаться к своей милой и просить приюта у нее.

— Пароль — «Антоний», господин мой, и, должен сказать, удачнее слова не придумать. Много я путешествовал по разным странам, но никогда не видал такого красавца и такого великого полководца. А ведь мне где только не довелось побывать, мой благородный господин, и полководцев я встречал немало.

— Верно, пароль — «Антоний». Что ж, Антоний на свой лад неплохой полководец — когда не пьет и поблизости нет хорошенькой женщины. Я

воевал с Антонием — и против него тоже воевал, так что знаю все его достоинства и слабости. Сейчас ему не до кого и не до чего, вот так-то, друг!

Беседуя со мной, страж вышагивал взад-вперед. Но сейчас он отступил вправо, пропуская меня.

— Прощай, Гармахис, иди, не медли! — быстро шепнул Бренн, шагнув ко мне. — Тебе надо спешить. Вспоминай иногда Бренна, который поставил на кон свою жизнь, чтобы спасти твою. Прощай, друг, жаль, что мы не уплыли с тобой на север. — И, отвернувшись, он запел себе под нос какую-то песню.

— Прощай, Бренн, мой верный благородный друг, — шепнул я ему и тут же исчез. Потом я много раз слышал рассказы о том, какую услугу оказал мне Бренн, когда утром начался шум и суета, ибо убийцы не могли меня найти, хотя искали повсюду. Так вот, Бренн поклялся, что через час после полуночи, когда он охранял ворота один, он увидел, как я появился на крыше, встал на парапет, раскинул плащ, который превратился в крылья, и медленно улетел на них в небо, а на него от изумления напал столбняк. Эта история обошла весь двор, и все ей поверили, ибо моя слава чародея была велика; всех охватило волнение, ибо люди не понимали, что предвещает это знамение. Сказка эта долетела до Египта и обелила меня в глазах тех, кого я предал, ибо самые невежественные среди них уверовали, что я действовал не по своей собственной воле, а повинуюсь воле великих богов, которые забрали меня живым на небо. До сих пор народ наш говорит: «Египет станет свободным, когда к нам вернется Гармахис». Но увы — Гармахис не вернется! Одна лишь Клеопатра, хотя и сильно испугалась, выдумке Бренна не поверила и послала судно с вооруженными солдатами на поиски сирийского купца, однако солдаты не нашли его, о чем я поведаю ниже.

Когда я подошел к галере, о которой мне говорила Хармиана, она уже готовилась отплыть; я отдал письмо кормчему, он его внимательно прочел, с любопытством оглядел меня, однако ничего не сказал.

Я поднялся на борт, и мы быстро поплыли вниз по течению. Добрались до устья Кидна, и никто нас не остановил, хотя нам встретилось довольно много судов, и вот мы в открытом море, нас несет сильный попутный ветер, который во второй половине дня разыгрался в шторм. Моряки испугались, хотели повернуть обратно и плыть к устью Кидна, но в столь бурном море галера им не повиновалась. Шторм бушевал всю ночь, ветер сорвал мачту, могучие волны швыряли наше судно, точно щепку. Но я

сидел, закутавшись в свой плащ, и ничего не замечал; в конце концов моряки, увидев, что я не чувствую никакого страха, стали кричать: «Он колдун! Он злой колдун!» — и хотели выбросить меня за борт, но кормчий воспротивился. К утру ветер начал утихать, но еще до полудня снова расвирепел. В четвертом часу пополудни впереди показался остров Кипр, та его скалистая гряда Динарет, где есть гора Олимп, и нас понесло туда. Когда матросы увидели грозные скалы, о которые разбивались взбешенные волны, они снова испугались и стали вопить от ужаса. А я сидел все такой же безучастный, и они закричали, что я злой колдун, тут никаких сомнений быть не может, надо бросить меня в море, чтобы умиловить морских богов. На этот раз капитан понял, что не сможет защитить меня, и не стал с ними спорить. И вот моряки подступили ко мне, а я лишь встал и с презрением проговорил: «Хотите бросить меня в море? Бросайте. Но если бросите, вас ждет гибель».

Мне и в самом деле было все равно. Я не хотел жить. Я жаждал смерти, хоть и боялся предстать перед моей небесной матерью Исидой. Но этот мучительный страх растворился в душевной опустошенности и в горечи сознания, что мне выпал столь тяжкий жребий; и когда эти разъяренные звери схватили меня, раскачали и швырнули в кипящие волны, я лишь начал молиться Исиде, готовясь предстать перед ней. Но судьбе было не угодно, чтобы я погиб: вынырнув на поверхность, я увидел неподалеку бревно, подплыл к нему и обхватил руками. В это время накатила огромная волна, подняла меня на бревне — а я, нужно сказать, еще в детстве научился плавать на Ниле и искусно управлялся с бревнами, — и пронесла мимо галеры, где с искаженными от злобы лицами сгрудились матросы — глядеть, как я буду тонуть. Когда же они увидели, что я лечу на гребне волны и проклиная их, а лицо и руки у меня из темных стали белыми, ибо соленая вода смыла краску Хармианы, они завизжали от страха и повалились на палубу. Меня несло к прибрежным скалам, но тут еще одна огромная волна накрыла судно, перевернула вверх килем и утащила в пучину.

Галера утонула вместе со всеми матросами. Во время этого же шторма утонула и галера, которую Клеопатра послала на поиски сирийского купца. Следы мои затерялись, и царица, без сомнения, поверила, что я погиб.

А я плыл к берегу. Выл ветер, соленые волны больно секли лицо, над головой пронзительно кричали чайки, но в моем поединке с разбушевавшейся стихией я не сдавался. В душе не было и тени страха, ее наполнял ликующий восторг — когда в глаза заглянула смерть, я вдруг почувствовал, что просыпается любовь к жизни. И я стал бороться за свою



жизнь: то делал могучие рывки вперед, то отдавался течению, то взлетал на гребне волн к нависшим над самым морем тучам, падал в бездонные провалы, и вот наконец совсем близко встала скалистая гряда, я видел, как пенные валы разбиваются о неколебимые утесы, я слышал сквозь свист и завывание ветра, как они с глухим гулом обрушиваются на берег, как стонут огромные камни, которые они тащат за собой в море. Могучая волна подбросила меня на самый верх, я был словно на троне в гриве ее пены, в пятидесяти локтях подо мной шипела бездна, на голову падало черное небо! Все, конец! Стихия вырвала из моих рук бревно, тяжелый мешочек с золотом и мокрая, облепившая тело одежда потянули меня вниз, и, как я ни сопротивлялся, я стал тонуть.

И вот я под водой, на миг сквозь ее толщу пробился зеленый свет, потом все залила тьма, и в этой тьме замелькали картины прошлого, одна за другой — вся моя долгая жизнь предстала предо мной. Потом я стал погружаться в сон, а в ушах звучала песнь соловья, слышался ласковый плеск летнего моря, раздавался мелодичный торжествующий смех Клеопатры... но все тише, тише, все дальше.

И снова ко мне вернулась жизнь и с нею ощущение непереносимой боли и мысль, что я смертельно болен. Я открыл глаза, увидел склонившиеся надо мной участливые лица и понял, что я в доме, в небольшой комнате.

— Как я здесь оказался? — спросил я слабым голосом.

— Мы думаем, странник, тебя принес к нам Посейдон, — ответил мужской голос на варварском греческом языке. — Ты лежал на берегу, точно мертвый дельфин, а мы нашли тебя и принесли в дом; сами мы рыбаки. И тут, у нас, ты лежишь уже давно, ибо твоя левая нога сломана — видно, волны уж очень сильно швырнули тебя на камни.

Я хотел пошевелить ногой, однако она мне не повиновалась. Да, кость действительно была сломана ниже колена.

— Кто ты и как твое имя? — спросил бородатый рыбак.

— Я — египетский путешественник, мой корабль утонул во время бури, а зовут меня Олимпий, — ответил я; мне вспомнилось, что моряки называли гору, что возвышалась на острове, Олимпом, и я взял себе это первое попавшееся имя. С тех пор я так его и ношу.

Здесь, в семье этих простых рыбаков, я прожил почти полгода, платя за их заботы золотом, которое море выбросило на берег вместе со мной. Кости мои долго не срастались, а когда срослись, я стал калекой: я некогда такой красивый, сложенный как бог, высокий, теперь хромал, ибо

сломанная нога стала короче здоровой. И даже оправившись от болезни, я продолжал жить в приютившей меня семье, трудился вместе с ними, ловил рыбу; я не знал, куда мне идти и что делать, и даже стал подумывать, что, пожалуй, останусь здесь навсегда, буду ловить рыбу, и так пройдет моя постылая жизнь. Рыбаки относились ко мне с большой добротой, хотя, как и все, с кем сталкивала меня судьба, боялись меня, считая, что я — колдун и что меня принесло к ним море. Мои несчастья наложили на мое лицо такую странную печать, что люди, глядя на него, пугались этой спокойной застывшей маски — кто знает, что за ней таится, думали все.

Так мирно тянулась моя жизнь на острове, но вот однажды ночью, когда я лежал, тщетно пытаюсь заснуть, меня охватило неодолимое волнение, мне страстно захотелось еще раз увидеть Сихор. Ниспослали ли мне это желание боги, или оно родилось в моем собственном сердце, я не знаю. Но голос, который звал меня на родину, был так силен, что, не дождавшись рассвета, я встал со своей соломенной постели, надел одежду рыбака, которую носил, и покинул бедный дом, где жил, — мне не хотелось ничего объяснять этим добрым людям. Я только положил на чисто выскобленную деревянную столешницу несколько золотых монет, взял горсть муки и написал ею:

Это дар египтянина Олимпия, который возвратился в море.

И я ушел от них и на третий день добрался до большого города Саламина, который также стоит на берегу моря. Здесь я поселился в рыбацком квартале и жил там, пока не узнал, что в Александрию отплывает судно, и тогда я нанялся на это судно моряком; кормчий, сам уроженец Пафа, охотно меня взял. Мы отплыли и при попутном ветре, который сопровождал нас, на пятый день прибыли в Александрию — в этот ненавистный мне город, и я увидел, как сверкают на солнце его золотые купола.

Здесь мне нельзя было оставаться, и я снова нанялся матросом на судно, кормчий которого за мои труды согласился довести меня по Нилу до Абидоса. Из разговоров гребцов я узнал, что Клеопатра вернулась в Александрию и привезла с собой Антония, что оба они живут в большой роскоши в царском дворце на мысе Лохиас. Гребцы пели о них песню, работая веслами. Услышал я и о том, как галера, посланная на розыски вслед судну, на котором уплыл из Тарса сирийский купец, пошла со всей командой ко дну, а также сказку о царицыном астрономе Гармахисе, который улетел в небо с крыши дома в Тарсе, где жила царица. Моряки

дивились на меня, потому что я трудился изо всех сил, но не пел вместе с ними непристойных песен о любовниках Клеопатры. Они тоже начали сторониться меня и с опаской перешептывались. Тогда я понял, что я поистине проклят и что между мною и всеми людьми лежит непреодолимая пропасть — такого, как я, нельзя любить.

На шестой день мы подплыли туда, где в нескольких часах пути находится Абидос, я сошел на берег — как мне кажется, к великой радости гребцов. Я шагал по дороге, вьющейся среди тучных полей, встречал людей, которых так хорошо знал с детства, и сердце разрывалось в моей груди. На мне была простая одежда моряка, я шел, припадая на левую ногу, и никто меня не узнавал. Когда солнце стало клониться к закату, я наконец приблизился к гигантским пилонам храмового двора; здесь я вошел в разрушенный дом напротив ворот и опустился на пол. Зачем я сюда вернулся, что мне делать, думал я. Точно заблудившийся бык, я все-таки нашел дорогу к дому, туда, где появился на свет, пришел в родные поля, но что меня здесь ждет? Если мой отец Аменемхет еще жив, он с презреньем отвернется от меня. Я не смел даже думать о встрече с ним. Сидел среди обвалившихся стропил и бессмысленно глядел на ворота — а вдруг из двора храма выйдет кто-то, кого я знаю? Но никто не вышел из ворот, и никто в них не входил, хотя они были распахнуты настежь; и тогда я увидел, что между каменными плитами, которыми вымощен двор, пробилась трава — такого еще никогда здесь не бывало. Что это означает? Неужели храм заброшен? Нет, немислимо! Разве можно перестать служить вечным богам в этом святилище, где каждый день, тысячелетие за тысячелетием, совершались таинства и ритуальные церемонии в их славу? Так что же, значит, отец мой умер? Да, может быть. Но почему такая мертвая тишина? Где все жрецы, где люди, творящие молитву?

Больше я не мог выносить неизвестности, и, когда диск солнца налился красным, я крадучись, точно шакал, вошел в открытые ворота, миновал двор и вступил в первый огромный Зал Колонн и Статуй. Здесь я остановился и стал глядеть по сторонам — ни души в этом сумрачном святилище, ни звука, не доносится ниоткуда. Сердце мое бешено колотилось, я вошел во второй огромный зал — Зал Тридцати Шести Колонн, где некогда я был коронован венцом Верхнего и Нижнего Египта: и здесь тоже ни души, ни звука. Пугаясь шума собственных шагов, которые таким зловещим эхом отдавались в безмолвии покинутых святилищ, вошел я в галерею, где на стенах выбиты имена фараонов. Вот и покой моего отца. Дверной проем по-прежнему задернут тяжелым занавесом; что-то там, за ним, неужто тоже пустота? Я отвел занавес и неслышно скользнул внутрь.

В своем резном кресле за столом сидел в жреческом одеянии мой отец Аменемхет, его длинная седая борода покоилась на мраморной столешнице. Он был так неподвижен, что в голове мелькнула мысль: он умер! Но вот он поднял голову, и я увидел, что глаза у него белые — он ослеп. Слепой, лицо прозрачное, как у покойника, истаявшее от старости и горя.

Я стоял как вкопанный и чувствовал, что его невидящие глаза изучают меня. Говорить я не мог — не смел; мне хотелось убежать и снова где-нибудь спрятаться.

Я уже повернулся и отвел было занавес, но тут услышал низкий голос отца, который произнес:

— Подойди ко мне, о ты, кто некогда был мне сыном и потом стал предателем. Подойди ко мне, Гармахис, надежда Кемета, обманувшая его. Ведь это я тебя призвал сюда из такой дали! И все это время я удерживал в своем теле жизнь, чтобы услышать, как ты крадешься по этим пустым святилищам, точно вор!

— Ах, отец! — изумленно прошептал я. — Ведь ты слеп, как же ты узнал меня?

— Как я тебя узнал? И это спрашиваешь ты, посвященный в тайны наших древних наук? Еще бы мне тебя не узнать, когда я сам призвал тебя к себе. Ах, Гармахис, лучше бы мне никогда тебя не знать! Лучше бы Непостижимый отнял у меня жизнь до того, как ты отозвался на мой зов и явился из лона богини Нут, чтобы стать моим проклятьем и позором и отнять последнюю надежду у Кемета!

— О, не говори так, отец! — простонал я. — Разве я и без того не раздавлен бременем, которое несусь? Разве самого меня не предали и не отвергли, как прокаженного? Пощади меня, отец!

— Пощадить тебя? Тебя, который сам никого не пощадил? Разве ты пощадил благородного Сепы, который умер от пыток в руках палачей?

— Нет, нет, неправда, быть того не может! — воскликнул я.

— Увы, предатель, правда! Он умер в нечеловеческих муках и до последнего дыхания твердил, что ты, его убийца, ни в чем не повинен, что твоя честь осталась незапятнанной! Пощадить тебя, пожертвовавшего лучшими, храбрейшими, достойнейшими гражданами Кемета ради объятий блудницы! Как ты думаешь, Гармахис, надрываясь в подземельях рудников, в пустыне, этот цвет нашей несчастной страны пощадил бы тебя? Пощадить тебя, из-за которого этот великий священный храм Абидоса разграблен, земли его отняты, жрецы изгнаны, лишь я один, древний старик, оплакиваю здесь его гибель, — пощадить тебя, осыпавшего сокровищами Менкаура сувою любовницу, предавшего себя, свою Отчизну,

свое высокое происхождение и своих богов! Нет, у меня нет жалости к тебе: я проклинаяю тебя, плод моих чресел! Да будет жизнь твоя наполнена сознанием вечного несмываемого позора! Да будет смерть твоя нескончаемой агонией и да ввергнут тебя после нее великие боги в терзания преисподней! Где ты? Да, я ослеп от слез, когда узнал о преступлениях, которые ты совершил, хотя все близкие старались от меня их скрыть. Отступник, выродок, изменник, я хочу подойти к тебе и плюнуть тебе в лицо. — И он поднялся с кресла и медленно двинулся в мою сторону, рассекая воздух своим жезлом — живое олицетворение гнева. Он шел неверными шагами, вытянув вперед руки, — невыносимое зрелище, и вдруг жизнь в нем стала угасать, он вскрикнул и упал на пол, изо рта хлынула темная кровь. Я бросился к нему, поднял на руки, и он, слабея, прошептал:

— Он был мой сын, чудесный, ясноглазый мальчик, он был наша надежда, наша весна, а сейчас... сейчас... о, если бы он умер!

Он умолк, потом в горле у него заклокотало.

— Гармахис, — задыхаясь, прошептал он, — это ты?

— Да, отец, я.

— Гармахис, искупи свою вину! Слышишь — искупи! Ты еще можешь отомстить... можешь заслужить прощение... У меня есть золото, я его спрятал... Атуа... Атуа тебе покажет... о, какая боль! Прощай!

Он слабо затрепетал в моих руках и умер.

Так я и мой горячо любимый отец, царевич Аменемхет, встретились в этой жизни в последний раз и в последний раз расстались.

## **Глава II , повествующая об отчаянии Гармахиса; о страшном заклинании, которым он призвал Исиду; об обещании Исиды; о появлении Атуа и о ее словах, сказанных Гармахису**

Я скорчился на полу, глядя на труп моего отца, который дождался меня и проклял, — меня, до скончания веков проклятого; в покой вползала и сгущалась вокруг нас темнота, и наконец мы с мертвым остались в черном беспросветном безмолвии. О, как страшны были эти часы безнадежного отчаяния! Воображение не может этого представить, слова бессильны описать. И снова я в неизмеримой глубине моего падения стал думать о смерти. За поясом у меня был нож, как легко пресечь им страдания и освободить мой дух. Освободить? Да, чтобы он свободно летел к великим богам принять их великую месть! Увы, увы, я не смел умереть. Уж лучше жизнь на земле со всеми моими горестями и скорбями, чем мгновенное погружение в невообразимые ужасы, которые уготованы в мрачном Аменти всем падшим.

Я катался по полу и плакал жгучими слезами о своей погибшей жизни, о прошлом, которого не изменить, — плакал, пока не иссякли слезы; но безмолвие не отзывалось на мое горе, не давало ответа, я слышал лишь эхо собственных рыданий. Ни проблеска надежды! В моей душе была тьма, более черная, чем темнота покоя: богов я предал, люди от меня отвернулись. Один на один с леденящим душу величием смерти, я почувствовал, что меня охватывает ужас. Скорее прочь отсюда! Я поднялся с пола. Но разве я найду дорогу в этой темноте? Я сразу же заблужусь в галереях, в залах среди колонн. И куда бежать, ведь мне негде приклонить голову. Я снова скорчился на полу, страх обручем сдавливал голову, на лбу выступил холодный пот, казалось, я сейчас умру. И тогда я, в моем смертном отчаянии, стал громко молиться Исиде, к которой уже много, много дней не смел обращаться.

— О Исида! Небесная мать! — взывал я. — Забудь на краткий миг о своем гневе и в своем неизреченном милосердии, о ты, которая сама есть милосердие, отвори сердце свое страданиям того, кто был твоим слугой и

сыном, но совершил преступление, и ты отвратила от него лик своей любви! О ты, великая миродержица, живущая во всем и во все проникающая, разделяющая всякое горе, положи свое сострадание на чашу весов и уравновесь им зло, сотворенное мною! Увидь мою печаль, измерь ее; исчисли глубину моего раскаянья и силу скорби, что изливается потоком из моей души. О ты, державная, с кем мне было дано встретиться и узреть твой лик, я призываю тебя священным часом, когда ты явилась мне в Аменти; я призываю тебя великим тайным словом, что ты произнесла. Снизойди ко мне в своем милосердии и спаси меня; или же слети в гневе и положи конец мучениям, которые больше невозможно переносить.

И, поднявшись с колен, я воздел к небу руки и громко выкрикнул то страшное заклинание, произносить которое дозволено лишь в самый тяжкий час, иначе ты умрешь.

И тотчас же богиня отозвалась. В тиши покоя я услышал бряцанье систра, возвещавшего о появлении Исиды. Потом в дальнем углу слабо засветился как бы изогнутый золотой рог месяца и внутри рога — маленькое темное облачко, из которого то высовывал свою голову огненный змей, то прятался в облачке.

Ноги мои подогнулись, когда я увидел богиню, я упал перед нею ниц.

Из облачка послышался тихий нежный голос:

— Гармахис, который был моим слугой и моим сыном, я услышала твою молитву и заклинание, которое ты осмелился произнести, оно властно вызвать меня из горних миров, когда его изрекают уста того, с кем я беседовала. Но нас уже не связывают узы единой божественной любви, Гармахис, ибо ты своим деянием отверг меня. И потому теперь, после того, как я столь долго не отвечала тебе, я явилась перед тобой, Гармахис, в гневе и, быть может, даже с жаждой мести, ибо просто так Исида не покидает свою священную высокую обитель.

— Покарай меня, богиня! — воскликнул я. — Покарай и отдай тем, кто исполнит твою месть, ибо мне не под силу больше нести бремя моего горя!

— Что ж, если ты не можешь нести бремя своего наказания здесь, на земле, — ответил печальный голос, — как же ты понесешь неизмеримо более тяжелое бремя, которое возложат на тебя там, куда ты придешь, покрытый позором и не искупивший вину, — в мое мрачное царство Смерти, которая есть Жизнь в обличьи нескончаемых перемен? Нет, Гармахис, я не стану тебя карать, ибо не так уж велик мой гнев за то, что ты осмелился призвать меня страшным заклинанием: ведь я пришла к тебе.

Слушай же меня, Гармахис: не я возвеличиваю и не я караю, я лишь исполнительница повелений Непостижимого, я лишь слежу, чтобы достойный был вознагражден, а недостойный понес кару; и если я дарую милосердие, я дарую его без слов похвалы, и поражаю я тоже без укора. И потому не буду утяжелять твое бремя гневной речью, хоть ты и виноват в том, что скоро, скоро госпожа волхвований, великая чарами богиня Исида станет для Египта лишь воспоминанием. Ты совершил зло, и тяжкое наказание ты за него понесешь, как я тебя и остерегала, — здесь, в этой земной жизни, и там, в моем царстве Аменти. Но я также говорила тебе, что есть путь к искуплению, и ты на него уже вступил, я это знаю, но по этому пути нужно идти, смилив гордыню, и есть горький хлеб раскаяния, пока не исполнятся сроки твоей судьбы.

— Так, стало быть, благая, нет для меня надежды?

— То, что свершилось, Гармахис, то свершилось, и ничего теперь не изменить. Никогда уже Кемет не будет свободным, храмы его разрушатся, их засыпят пески пустыни; иные народы будут завоевывать Кемет и править здесь; в тени его пирамид будут расцветать и умирать все новые и новые религии, ибо у каждого мира, у каждой эпохи, у каждого народа свои собственные боги. Вот дерево, что вырастет, Гармахис, из семени зла, которое посеял ты и те, кто искушал тебя!

— Увы! Я погиб! — воскликнул я.

— Да, ты погиб; но тебе будет дано утешение: ты погубишь ту, что погубила тебя, — так суждено во имя справедливости, которую творю я. Когда тебе будет явлено знамение, брось все, иди к Клеопатре и сверши месть, повинувшись моим повелениям, которые ты прочтешь в своем сердце. А теперь о тебе, Гармахис: ты отринул меня, и потому мы не встретимся с тобою, как тогда, в Аменти, пока в круговороте Времени с этой земли не исчезнет последний росток посеянного тобой зла! Но всю эту нескончаемую череду тысячелетий помни: любовь божественная вечна, она не умирает, хотя порою улетает в недостижимые дали. Искупи свое преступление, мой сын, искупи зло, пока еще не поздно, чтобы в скрытом мглой конце Времени я снова могла принять тебя в свое сияние. И я, Гармахис, тебе обещаю: пусть даже ты никогда меня не будешь видеть, пусть имя, под которым ты меня знаешь, станет пустым звуком, неразгаданной тайной для тех, кто придет на землю после тебя, — и все же я, живущая вечно, я, наблюдавшая, как зарождаются, цветут и под испепеляющим дыханием Времени рушатся миры, чтобы возникнуть снова и пройти начертанный им путь, — я пребуду всегда с тобой. Где бы ты ни был, в каком бы облике ни возродился, — я буду охранять тебя! На самой



далекой звезде, в глубочайших безднах Аменти — в жизни и в смерти, в снах, наяву, в воспоминаниях, в забвении всего и вся, в странствиях души в потусторонней жизни, во всех перевоплощениях твоего духа, — я неизменно буду с тобой, если ты искупишь содеянное зло и больше не забудешь меня; я буду ждать часа твоего очищения. Такова природа Божественной Любви, которая изливается на тех, кто причастился ее святости и связан с ней священными узами. Суди же сам, Гармахис: стоило ли отвергать нетленную любовь ради прихоти смертной женщины? И пока ты не исполнишь все, о чем я тебе говорила, не произноси больше Великого и Страшного Заклятья, я тебе запрещаю! А теперь, Гармахис, прощай до встречи в иной жизни!

Последний звук нежного голоса умолк, огненный змей спрятался в сердце облачка. Облачко выплыло из лунного серпа и растворилось в темноте. Месяц стал бледнеть и наконец погас. Богиня удалялась, снова донеслось тихое, наводящее ужас бряцанье систра, потом и оно смолкло.

Я закрыл лицо полой плаща, и хотя рядом со мной лежал холодный труп отца — отца, который умер, проклиная меня, я почувствовал, как в сердце возвращается надежда, я знал, что я не вовсе погиб и не отвергнут той, которую я предал и которую по-прежнему люблю. Усталость сломила меня, я сдался сну.

Когда я проснулся, сквозь отверстие в крыше пробивался серый свет зари. Зловеще глядели на меня со стен окутанные тенями скульптуры, зловеще было мертвое лицо седобородого старца — моего отца, воссиявшего в Осирисе. Я содрогнулся, вспомнив все, что произошло, потом мелькнула мысль — что же мне теперь делать, но отстраненно, словно я думал не о себе, а о ком-то другом. Я стал подниматься и тут услышал в галерее с именами фараонов на стенах чьи-то тихие шаркающие шаги.

— Ах-ха-ха-ах! — бормотал голос, который я сразу узнал, — это была старая Атуа. — Темно, будто я в жилище смерти! Великие служители богов, которые построили этот храм, не любили источник жизни — солнце, хоть и поклонялись ему. Где же занавес?

Наконец Атуа его подняла и вошла в покой отца с посохом в одной руке и с корзиной в другой. На ее лице стало еще больше морщин, в редких волосах почти не было темных прядей, но в остальном она почти не изменилась. Старуха остановилась у занавеса и стала вглядываться в сумрак покоя своими зоркими глазами, потому что заря еще не осветила комнату отца.

— Где же он? — спросила она. — Неужто ушел ночью бродить,

слепой, — да не допустит этого Осирис, славится его имя вечно! Горе мне, горе! И почему я не зашла к нему вечером? Горе всем нам, великое горе! До чего же мы дожили: верховный жрец великого и священного храма, по праву рождения правитель Абидоса, остался в своей немощи один, и только ветхая старуха, которая сама стоит одной ногой в могиле, ухаживает за ним! О Гармахис, бедный мой, несчастный мальчик, это ты навлек на нас такое горе!... Великие боги, что это? Неужто он спит на полу? Нет, нет... он умер? Царевич! Божественный отец! Аменемхет! Проснись, восстань! — И она заковыляла к трупу. — Что с тобой? Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе, ты умер? Умер один, никого не было рядом с тобой поддержать в эту священную минуту, сказать слова утешения! Ты умер, умер, умер! — И ее горестный вопль полетел к потолку, отскакивая эхом от украшенных статуями стен.

— Тише, перестань кричать! — сказал я, выходя из темноты на свет.

— Ай, кто ты такой?! — крикнула она и выронила из рук корзину. — Злодей, это ты убил нашего владыку праведности, единственного владыку праведности во всем Египте? Да падет на тебя извечное проклятье, ибо хотя боги отвернулись от нас в час горького испытания, но они не оставят преступления безнаказанным и тяжко покарают того, кто убил их помазанника!

— Посмотри на меня, Атуа, — сказал я.

— А разве я не смотрю? Смотрю и вижу злодея, бродягу, который совершил это великое зло! Гармахис оказался предателем и сгинул где-то в дальних странах, а ты убил его божественного отца Аменемхета, и вот теперь я осталась одна на всем белом свете, у меня нет никого, ни единой души. Я отдала убийцам моего родного внука, пожертвовала дочерью и зятем ради предателя Гармахиса! Ну что ж, убей и меня, злодей!

Я шагнул к ней, а она, решив, что я хочу ее зарезать, в ужасе закричала:

— Нет, нет, мой господин, пощади меня! Мне восемьдесят шесть лет, клянусь извечными богами, — когда начнется разлив Нила, мне исполнится восемьдесят шесть лет, и все же я не хочу умирать, хотя Осирис милостив к тем, кто верно служил им всю жизнь! Не подходи ко мне, не подходи... На помощь! Помогите!

— Замолчи, глупая! — приказал я. — Неужто ты меня не узнаешь?

— А почему же я должна тебя узнать? Разве мне знакомы все бродяги-моряки, которым Себек позволяет добывать средства на жизнь, грабя и убивая, пока они не попадут во власть Сета? А впрочем, погоди... как странно... лицо так изменилось... и этот шрам... и ты хромаешь... О, это

ты, Гармахис! Это ты, любимый мой, родной мой мальчик! Ты вернулся, мои старые глаза тебя видят, до какого счастья я дожидка! Я думала, ты умер! Позволь же мне обнять тебя! Ах, я забыла: Гармахис — предатель и убийца! Вот лежит передо мной божественный Аменемхет, принявший смерть от рук отступника Гармахиса! Ступай прочь! Я не желаю видеть предателей и отцеубийц! Ступай к своей распутнице! Ты не тот, кого я с такой любовью нянчила и растила!

— Успокойся, Атуа, молю тебя: успокойся! Я не убивал отца, — увы, он умер сам, умер в моих объятьях!

— Да, конечно: в твоих объятьях и проклиная тебя, я в том уверена, Гармахис! Ты принес смерть тому, кто дал тебе жизнь! Ах-ха! Долго я живу на свете, и много выпало на мою долю горя, но такого черного часа еще не было в моей жизни! Никогда я не любила глядеть на мумию, но лучше бы мне давно усохнуть и покоиться в гробу! Уходи, молю тебя, уйди с моих глаз!

— Добрая моя старая няня, не упрекай меня! Разве я и без того не довольно вынес бед?

— Ах, да, да, я и забыла! Так что за преступление ты совершил? Тебя сгубила женщина, как женщины всегда губили и будут губить мужчин до скончания века. Да еще какая это была женщина! Ах-ха! Я видела ее, такой красавицы еще на свете не было — злые боги нарочно сотворили ее людям на погибель! А ты совсем молоденький, да к тому же жрец, проведший всю жизнь в затворничестве, — от такого воспитания добра не жди, одна пагуба! Где тебе было устоять против нее? Конечно, ты сразу попался в ее сети, что тут удивительного. Подойди ко мне, Гармахис, я поцелую тебя! Разве женщина может осудить мужчину за то, что он потерял голову от любви? Такова уж наша природа, а Природа знает, что делает, иначе сотворила бы нас другими. С нами здесь случилась беда похуже, вот это уж беда так беда! Знаешь ли ты, что твоя царица-гречанка отобрала у храма земли и доходы, разогнала жрецов — всех, кроме нашего божественного Аменемхета, который теперь лежит здесь мертвый, его она пощадила неведомо почему; мало того: она запретила служить в этих стенах нашим великим богам. А теперь и Аменемхета не стало! Скончался наш Амснемхет! Что ж, он вступил в сияние Осириса, и ему там лучше, ибо жизнь его здесь, на земле, была невыносимым бременем. Слушай же, Гармахис, что я тебе скажу: он не оставил тебя нищим; как только заговор был обезглавлен, он собрал все свои богатства, а они немалые, и спрятал их, я покажу тебе тайник, — они по праву должны перейти к тебе, ведь ты его единственный сын.

— Атуа, не надо говорить мне о богатствах. Куда мне деться, где скрыть свой позор?

— Да, да, ты прав; здесь тебе нельзя оставаться, тебя могут найти, и если найдут, то ты умрешь страшной смертью — тебя удушат в просмоленном мешке. Не бойся, я тебя спрячу, а после погребальных церемоний и плача по божественному Аменемхету мы тайно уедем отсюда и будем жить вдали от людских глаз, пока эти несчастья не забудутся. Ах-ха! Печален мир, в котором мы живем, и бед в нем не счесть, как жуков в нильском иле. Идем же, Гармахис, идем!

## **Глава III , повествующая о жизни того, кто стал известен всем под именем ученого затворника Олимпия, в усыпальнице арфистов гробницы Рамсеса близ Тапе; о вести, что прислала ему Хармиана; о советах, которые он давал Клеопатре; и о возвращении Олимпия в Александрию**

И вот что произошло потом. Восемьдесят дней прятала меня старая Атуа, пока искуснейшие из бальзамировщиков готовили труп моего отца, царевича Аменемхета, к погребению. И когда наконец все предписанные законом обряды были соблюдены, я тайно выбрался из своего убежища и совершил приношения духу моего отца, возложил ему на грудь венок из лотосов и в великой скорби удалился. А назавтра я увидел с того места, где лежал, затаившись, как собрались жрецы храма Осириса и святилища Исиды, как медленно двинулась печальная процессия к священному озеру, неся расписанный цветными красками гроб отца, как опустили его в солнечную ладью с навесом. Жрецы совершили символический ритуал суда над мертвым и провозгласили отца справедливейшим и достойнейшим среди людей, потом понесли его в глубокую усыпальницу, вырубленную в скалах неподалеку от могилы всеблагого Осириса, чтобы положить рядом с моей матерью, которая уже много лет покоилась там, — надеюсь, что и я, невзирая на все свершенное мной зло, скоро тоже упокоюсь рядом с ними. И когда отца похоронили и запечатали вход в глубокую гробницу, мы с Атуа извлекли из тайника сокровища отца, надежно их укрыли, я переоделся паломником и вместе со старой Атуа поплыл по Нилу в Тапе; там, в этом огромном городе, мы поселились, и я стал искать место, куда мне будет безопасно удалиться и жить в уединении.

Такое место я наконец нашел. К северу от города возвышаются среди раскаленной солнцем пустыни бурые крутые скалы, и здесь, в этих безотрадных ущельях, мои предки — божественные фараоны — приказывали высекать себе в толще скал гробницы, большая часть которых и по сей день никем не обнаружена, так хитро маскировали вход в них. Но

есть и такие, что были найдены, в них проникли окаянные персы и просто воры, которые искали спрятанные сокровища. И вот однажды ночью — ибо я не осмеливался покинуть свое убежище при свете дня, — когда небо над зубцами скал начало сереть, я вступил один в эту печальную долину смерти, подобной которой нет больше нигде на свете, и недолгое время спустя приблизился к входу в гробницу, спрятанному в складках скал, где, как я потом узнал, был похоронен божественный Рамсес, третий фараон, носящий это имя, давно вкушающий покой в царстве Осириса. В слабом свете зари, пробившемся сквозь ход, я увидел, что там, внутри, — просторное помещение и дальше много разных камер.

Поэтому на следующую ночь я вернулся со светильниками, и со мной пришла моя старая няня Атуа, которая преданно служила мне всю жизнь с младенчества, когда я, беспомощный и несмышленный, еще лежал в колыбели. Мы осмотрели величественную гробницу и наконец вошли в огромный зал, где стоит гранитный саркофаг с мумией божественного Рамсеса, который много веков поживает в нем; на стенах начертаны мистические знаки; змея, кусающая себя за хвост, — символ вечности; Ра, покоящийся на скарабее; Нут, рождающая Ра; иероглифы в виде безголовых человечков и много, много других тайных символов, которые я легко прочел, ибо принадлежу к числу посвященных. От длинной наклонной галереи отходит несколько камер с прекрасными настенными росписями. Под полом каждой камеры могила человека, о котором рассказывается в сценах росписей на стенах — знаменитого мастера в своем искусстве или ремесле, которым он славил со своими помощниками дом божественного Рамсеса. На стенах последней камеры, той, что по левую сторону галереи, если стоять лицом к залу, где саркофаг, росписи особенно хороши, они посвящены двум слепым арфистам, играющим на своих арфах перед богом Моу; а под плитами пола мирно спят эти самые арфисты, которым уже не держать в руках арфу на этой земле. И здесь, в этой печальной обители, где покоятся арфисты, я поселился в обществе мертвых и прожил восемь долгих лет, неся наказание за совершенные мною преступления и искупая свою вину. Но Атуа любила свет и потому выбрала себе камеру с изображениями барок, а эта камера первая по правую сторону галереи, если стоять лицом к усыпальнице с саркофагом Рамсеса.

Вот как проходила моя жизнь. Через день старая Атуа ходила в город и приносила воду и еду, необходимую для поддержания жизни, а также жир для светильников. На закате и на рассвете я выходил на час в ущелье и прогуливался по нему, чтобы сохранить здоровье и зрение, которого я мог лишиться в крошечной темноте гробницы. Ночью я поднимался на скалы и

наблюдал звезды, все остальное время дня и ночи, когда я не спал, я проводил в молитвах и в размышлениях, и наконец груз вины, свинцовой глыбой давившей мое сердце, стал не так тяжек, я снова приблизился к богам, хотя мне не было дозволено обращаться к моей небесной матери Исиде. Я также обрел много знаний и мудрости, проникнув в тайны, которые начал постигать еще раньше. От воздержанной жизни, наполненной молитвами в печальном одиночестве, плоть моя как бы истаяла, но я научился заглядывать в самое сердце явлений и вещей глазами моего духа, и наконец меня осенило великое счастье Мудрости, живительное, точно роса.

Скоро по городу распространился слух, что в зловещей Долине Мертвых, уединившись во мраке гробницы, живет некий великий ученый по имени Олимпий, и ко мне стали приходить люди и приносить больных, чтобы я их исцелил. Я принялся изучать свойства трав и растений, в чем меня наставляла Атуа, и с помощью ее науки и заключений, которые я сделал сам в своих углубленных размышлениях, я достиг больших высот в искусстве врачевания, и многие больные излечивались. Шло время, слава обо мне достигла других городов Египта, люди, говорили, что я не только великий ученый, но и чародей, ибо беседую в своей гробнице с духами умерших. И я действительно с ними беседовал, но об этом мне не позволено рассказывать. И вот немного времени спустя Атуа перестала ходить в город за водой и пищей, все это приносили нам теперь люди, и даже гораздо больше, чем нам было нужно, ибо я не брал платы за лечение. Сначала, опасаясь, что кто-то узнает в отшельнике Олимпии пропавшего Гармахиса, я принимал посетителей лишь в темной камере гробницы. Но потом, когда я узнал, что молва разнесла по всему Египту весть о гибели Гармахиса, я стал выходить на свет и, сидя у входа в гробницу, оказывал помощь больным, а также составлял для знатных и богатых жителей гороскопы. Слава моя меж тем все росла, ко мне стали приезжать люди из Мемфиса и Александрии; от них я узнал, что Антоний оставил Клеопатру и, так как Фульвия умерла, женился на сестре цезаря Октавии. Много, много разных новостей узнавал я от посещавших меня людей.

Когда пошел второй год моего затворничества, я послал старую Атуа в Александрию под видом знахарки, торгующей целебными травами, велел ей разыскать Хармиану и, если она увидит, что Хармиана хранит верность своим клятвам, поведать ей о том, где я живу. И Атуа отправилась в Александрию, откуда приплыла через четыре с лишним месяца, привезя мне пожелания здоровья и радости от Хармианы, а также ее дары. Атуа мне рассказала, как ей удалось добиться встречи с Хармианой и как она,

беседуя с ней, упомянула мое имя и сказала, что я погиб, после чего Хармиана, не в силах сдержать своего горя, разразилась рыданиями. Тогда старуха, проникнув в ее помыслы и чувства, ибо была очень умна и обладала великими познаниями человеческой природы, открыла Хармиане, что Гармахис жив и посылает ей приветствие. Хармиана зарыдала еще громче — теперь уже от радости, бросилась обнимать старуху, осыпала дарами и просила передать мне, что верна своей клятве и ждет меня, чтобы свершить месть. Узнав в Александрии много такого, что другим было неизвестно, Атуа вернулась в Тапе.

В том же году ко мне прибыли посланцы Клеопатры с запечатанным посланием и с богатыми дарами. Я развернул свиток и прочел:

Клеопатра — Олимпию, ученому египтянину, живущему в Долине Мертвых близ Тапе.

Слава о твоей учености, о мудрой Олимпий, достигла наших ушей. Дай же нам совет, и если твой совет поможет нам исполнить наше желание, мы осыпем тебя почестями и богатствами, каких еще не удостаивался никто во всем Египте. Как нам вернуть любовь благородного Антония, которого околдовала злокозненная Октавия и так долго удерживает вдали от нас?

Я понял, что Хармиана начала действовать и что это она рассказала Клеопатре о моей великой учености.

Всю ночь я размышлял, призвав на помощь мою мудрость, а утром написал ответ, который продиктовали мне великие боги, дабы погубить Клеопатру и Антония:

Египтянин Олимпий — царице Клеопатре.

Отправляйся в Сирию с тем, кто будет послан, дабы доставить тебя туда; Антоний снова вернется в твои объятия и одарит тебя столь щедро, что ты и в самых дерзких мечтах такого не можешь представить.

Это письмо я отдал посланцам Клеопатры и велел им поделить между собой посланные мне Клеопатрой дары.

Они отбыли в великом изумлении.

Клеопатра же ухватилась за мой совет и, повинувшись порывам своей страсти, тотчас же отправилась в Сирию с Фонтейем Капито, и все случилось, как я ей предсказал. Она снова опутала Антония своими чарами, и он подарил ей большую часть Киликии, восточный берег Аравии,



земли Иудеи, где добывался бальзам, Финикию, Сирию, богатый остров Кипр и библиотеку Пергама. Детей же, близнецов, которых Клеопатра после сына Птолемея родила Антонию, он кощунственно провозгласил «Владыками, детьми владык», и нарек мальчика Александром Гелиосом, что по-гречески означает солнце, а дочь — Клеопатрой Селеной, то есть крылатой луной.

Вот как развивались события дальше.

Вернувшись в Александрию, Клеопатра послала мне богатейшие дары, которых я не принял, и стала умолять меня, мудрейшего ученого Олимпия, переехать жить в ее дворец в Александрию, но время еще не наступило, и я отказался. Однако и она, и Антоний постоянно отправляли ко мне посланцев, спрашивая моего совета, и все мои советы приближали их гибель, все мои пророчества сбывались.

Один долгий год сменялся другим, еще более долгим, и вот я, отшельник Олимпий, живущий вдали от людей в гробнице, питающийся хлебом и водой, снова возвеличился в Кемете благодаря великой мудрости, которой осенили меня боги-мстители. Чем искренней я презирал потребности плоти, чем вдохновенней обращал свой взор к небу, тем большую глубину и власть обретала моя мудрость.

И вот прошло целых восемь лет. Началась и кончилась война с парфянами, по улицам Александрии провели во время триумфального шествия пленного царя Большой Армении Артавазда. Клеопатра побывала на Самосе и в Афинах; повинувшись ей, Антоний выгнал из своего дома в Риме благородную Октавию, точно опостылевшую наложницу. Он совершил столько противных здравому смыслу поступков, что добром это уже не могло кончиться. Да и удивительно ли: властелин мира потерял последние крохи великого дара богов — разума, он растворился в Клеопатре, как некогда растворялся в ней я. И кончилось все тем, что Октавиан, как и следовало ожидать, объявил ему войну.

Однажды днем я спал в камере слепых арфистов, в той самой гробнице фараона Рамсеса близ Тапе, где я по-прежнему жил, и мне во сне явился мой старый отец Аменемхет, он встал у моего ложа, опираясь на посох, и повелел:

— Смотри внимательно, мой сын.

Я стал всматриваться глазами моего духа и увидел море, скалистый берег и два флота, сражающиеся друг с другом. На судах одного флота развевались штандарты Октавиана, на судах другого — штандарты Клеопатры и Антония. Суда Антония и Клеопатры теснили флот цезаря, он

отступал, и победа клонилась на сторону Антония.

Я еще пристальней взгляделся в открывшуюся моим глазам картину. На золотой палубе галеры сидела Клеопатра и в волнении наблюдала за ходом сражения. Я устремил к ней свой дух, и она услышала голос мертвого Гармахиса, который оглушил ее:

— Беги, Клеопатра, беги, иль ты погибнешь!

Она с безумным видом оглянулась и снова услышала, как мой дух кричит: «Беги!» Ее охватил необоримый страх. Она приказала морякам поднять паруса и дать сигнал всем своим кораблям плыть прочь. Моряки с изумлением, но без особой неохоты повиновались, и галера поспешно устремилась с поля боя.

Воздух задрожал от оглушительного крика, который сорвался с уст матросов Антония и Октавиана:

— Клеопатра бежит! Смотрите: Клеопатра бежит!

И я увидел, что флот Антония разбит, что море стало багровым от крови, и вышел из своего транса.

Миновало несколько дней, и снова мне во сне явился мой отец и так сказал:

— Восстань, мой сын! Час возмездия близок! Ты не напрасно трудился, молитвы твои услышаны. Боги пожелали, чтобы сердце Клеопатры сковал страх, когда она сидела на палубе своей галеры во время битвы при мысе Аксиум, ей послышался твой голос, который кричал: «Беги иль ты погибнешь», и она бежала со всеми своими судами. Антоний потерпел жестокое поражение на море. Ступай к ней и выполни то, что повелят тебе боги.

Утром я проснулся, раздумывая над ночным видением, и двинулся к выходу из гробницы; там я увидел, что по ущелью ко мне приближаются посланцы Клеопатры и с ними стражник-римлянин.

— Зачем вы тревожите меня? — сурово спросил я.

— Мы принесли тебе послание от царицы и от великого Антония, — ответил главный из них, низко склоняясь передо мной, ибо я внушал всем людям до единого неодолимый страх. — Царица повелевает тебе явиться в Александрию. Много раз она обращалась к тебе с такой просьбой, но ты ей всегда отказывал; сейчас она приказывает тебе плыть в Александрию, и плыть не медля, ибо нуждается в твоём совете.

— А если я скажу «нет», то что ты сделаешь, солдат?

— Я подневольный человек, о мудрый и ученейший Олимпий: мне дан приказ доставить тебя силой.

Я громко рассмеялся.

— Ты говоришь — силой, глупец? Ко мне нельзя пытаться применить силу, иначе ты умрешь на месте. Знай, что я не только исцеляю, но и убиваю!

— Молю тебя, прости мою дерзость, — ответил он, сжавшись и побелев. — Я повторил лишь то, что мне было приказано.

— Да, да, я знаю. Не бойся, я поеду в Александрию.

И в тот же день я туда отправился вместе с моей старенькой Атуа. Исчез я так же тайно, как явился, и больше никогда уж не возвращался в гробницу божественного Рамсеса. Я взял с собою все богатства моего отца Аменемхета, ибо не желал, чтобы меня приняли в Александрии за нищего попрошайку, — пусть все видят, что я богат и знатен. По дороге я узнал, что во время сражения при Аксиуме Антоний действительно бежал вслед за Клеопатрой, и понял: развязка приближается. Все это и многое другое я провидел во тьме фараоновой гробницы близ Тапе и силой своего духа воплотил.

И вот я наконец приплыл в Александрию и поселился в доме напротив дворцовых ворот, который велел снять и приготовить к моему прибытию.

И в первый же вечер, поздно, ко мне пришла Хармиана — Хармиана, которую я не видел девять долгих лет.

## **Глава IV , повествующая о встрече Хармианы с мудрым Олимпием; об их беседе; о встрече Олимпия с Клеопатрой; и о поручении, которое дала ему Клеопатра**

Одетый в свое темное простое платье, сидел я в кое для приема гостей в доме, который был должным образом обставлен и убран. Я сидел в резном кресле с ножками в виде львиных лап и глядел на раскачивающиеся светильники, в которые было добавлено благовонное масло, на драпировочные ткани с вытканными сценами и рисунками, на драгоценные сирийские ковры, и среди всей этой роскоши вспоминал усыпальницу слепых арфистов близ Тапе, где прожил девять долгих лет во мраке и одиночестве, готовясь к этому часу. Возле двери на ковре свернулась калачиком моя старая Атуа. Волосы у нее побелели, как соль Мертвого моря, сморщенное лицо стало пергаментным, она была уже древняя старуха, и эта древняя старуха всю жизнь преданно заботилась обо мне, когда все остальные отринули меня, и в своей великой любви прощала мои великие преступления. Девять лет прошло! Девять нескончаемо долгих лет! Опять я, в предначертанном круге развития, явился, пройдя искус и затворничество, чтобы принести смерть Клеопатре; и в этот, второй раз игру выиграю я.

Но как изменились обстоятельства! Я уже не герой разыгрывающейся драмы, мне отведена более скромная роль: я лишь меч в руках правосудия; погибла надежда освободить Египет и возродить его великим и могучим. Обречен Кемет, обречен и я, Гармахис. В бурном натиске событий и лет погребен и предан забвению великий заговор, который создался ради меня, даже память о нем подернулась пеплом. Над историей моего древнего народа скоро опустится черный полог ночи; сами его боги готовятся покинуть нас; я уже мысленно слышу торжествующий крик римского орла, летящего над дальними берегами Сихора.

Я все-таки заставил себя отстранить эти безотрадные мысли и попросил Атуа найти и принести мне зеркало, мне хотелось посмотреть, каким я стал.

И вот что я увидел в зеркале: бритая голова, худое бледное до желтизны лицо, которое никогда не улыбалось; огромные глаза, выцветшие от многолетнего созерцания темноты, пустые, точно провалы глазниц черепа; длинная борода с сильной проседью; тело, иссохшее от долгого поста, горя и молитвы; тонкие руки в переплетении голубых вен, дрожащие, точно лист на ветру; согбенные плечи; я даже стал ниже ростом. Да, время и печаль поистине оставили на мне свой след; я не мог поверить, что это тот самый царственный Гармахис, который в расцвете своих могучих сил, молодости и красоты впервые увидел женщину несказанной прелести и попал под обаяние ее чар, принесших мне гибель. И все же в моей душе горел прежний огонь; я изменился только внешне, ибо время и горе не властны над бессмертным духом человека. Сменяются времена года, может улететь Надежда, точно птица, Страсть разбивает крылья о железную клетку Судьбы; Мечты рассеиваются, точно сотканые из туманов дворцы при восходе солнца; Вера иссякает, точно бьющий из-под земли родник; Одиночество отрезает нас от людей, точно бескрайние пески пустыни; Старость подкрадывается к нам, как ночь, нависает над нашей покрытой позором седой согбенной головой — да, прикованные к колесу Судьбы, мы испытываем все превратности, которым подвергает нас жизнь: возносимся высоко на вершины, как цари; низвергаемся во прах, как рабы; то любим, то ненавидим, то утопаем в роскоши, то влачимся в жалкой нищете. И все равно во всех перипетиях нашей жизни мы остаемся неизменными, и в этом великое чудо нашей Сущности.

Я с горечью в сердце смотрел на себя в зеркало, и тут в дверь постучали.

— Отопри, Атуа! — сказал я.

Атуа поднялась с ковра и отворила дверь; в комнату вошла женщина в греческой одежде. Это была Хармиана, такая же красивая, как прежде, но с очень печальным нежным лицом, в ее опущенных глазах тлел огонь, готовый каждую минуту вспыхнуть.

Она пришла без сопровождающих ее слуг; Атуа молча указала ей на меня и удалилась.

— Старик, отведи меня к ученому Олимпию, — сказала Хармиана, обращая ко мне. — Меня прислала царица.

Я встал и, подняв голову, посмотрел на нее.

Глаза ее широко раскрылись, она негромко вскрикнула.

— Нет, нет, не может быть, — прошептала она, обводя взглядом комнату, — неужели ты... — Голос ее пресекся.

— ...тот самый Гармахис, которого когда-то полюбило твое неразумное сердце, о Хармиана? Да, тот, кого ты видишь, прекраснейшая из женщин, и есть Гармахис. Но Гармахис, которого ты любила, умер; остался великий своей ученостью египтянин Олимпий, и он ждет, что ты ему скажешь.

— Молчи! — воскликнула она. — О прошлом скажу совсем немного, а потом... потом оставим его в покое. Плохо же ты, Гармахис, при всей своей учености и мудрости, знаешь, как велика преданность женского сердца, если поверил, что оно способно разлюбить, когда изменилась внешность любимого: даже самые страшные перемены, которым подвергает его смерть, бессильны убить любовь. Знай же, о ученый врач, что я принадлежу к тем женщинам, которые, полюбив однажды, любят до последнего дыхания, а если их любовь не встречает ответа, уносят свою девственность в могилу.

Она умолкла, и я лишь склонил перед ней голову, ибо ничего не мог сказать в ответ. Но хотя я молчал, хотя безумная страсть этой женщины погубила меня, признаюсь: я втайне был благодарен ей — ведь ее влюбленно домогались все до единого мужчины этого бесстыдного двора, а она столько нескончаемо долгих лет хранила верность изгою, который не любил ее, и когда этот жалкий, сломленный раб Судьбы вернулся в столь непривлекательном обличьи, он был все так же дорог ее сердцу. Найдется ли на свете мужчина, который не оценит этот редкий и прекрасный дар, единственное сокровище, которое не купишь и не продашь за золото — истинную любовь женщины?

— Я благодарна тебе за молчание, — проговорила Хармиана, — ибо не забыла жестоких слов, которые ты бросил мне в давно прошедшие дни там, в далеком Тарсе, израненное ими сердце до сих пор болит, оно не выдержит твоего презрения, отравленного одиночеством столь долгих лет. Не будем больше вспоминать былое. Вот, я вырываю из своей души эту губительную страсть, — она взглянула на меня и, прижав к груди руки, как бы оттолкнула что-то прочь от себя, — я вырываю ее, но забыть не смогу никогда! С прошлым покончено, Гармахис; моя любовь больше не будет тебя тревожить. Я счастлива, что моим глазам было дано еще раз увидеть тебя до того, как их смежит вечный сон. Ты помнишь, как я жаждала умереть от твоей столь любимой мною руки, но ты не захотел меня убить, ты обрек меня жить и собирать горькие плоды моего преступления, ты помнишь, как проклял меня и предсказал, что я никогда не избавлюсь от видений сотворенного мной зла и от воспоминаний о тебе, кого я погубила?

— Да, Хармиана, я все помню.

— Поверь, я выпила до дна чашу страданий. О, если бы ты мог заглянуть мне в душу и прочесть повесть о пытках, которым я подвергалась и которые переносила с улыбкой на устах, ты понял бы, что я искупила свою вину.

— И все же, Хармиана, молва твердит, что при дворе тебя никто не может затмить, ты самая могущественная среди царедворцев и пользуешься самой большой любовью. Не признавался ли сам Октавиан, что объявляет войну не Антонию и даже не его любовнице Клеопатре, а Хармиане и Ираде?

— Да, Гармахис, а ты хоть раз представил себе, что в это время испытываю я — я, поклявшаяся тебе страшной клятвой и вынужденная есть хлеб той, кого я так люто ненавижу, есть ее хлеб и служить ей, хотя она отняла у меня тебя и, играя на струнах моей ревности, вынудила меня изменить нашему святому делу, покрыть бесславием тебя и погубить нашу отчизну, наш Кемет! Разве богатства, драгоценности и лесть царевичей и вельмож способны принести счастье такой женщине, как я, — ах, я завидую нищей судомойке, ее доля и то легче, чем моя! Я всю ночь не осушаю глаз, а потом настает утро, и я поднимаюсь, убираю себя и с улыбкой иду выполнять повеления царицы и этого тупоголового Антония. Да ниспошлют мне великие боги счастье увидеть их обоих мертвыми — и ее, и его! Тогда я умру спокойно! Тяжка была твоя жизнь, Гармахис, но ты по крайней мере был свободен, а я — сколько раз завидовала я твоему ненарушаемому покою в этой мрачной гробнице!

— Я убедился, Хармиана, что ты верна своим обетам, и это меня радует, ибо час мести близок.

— Да, я верна своим обетам, более того: все эти годы я тайно трудилась для тебя — чтобы помочь тебе и наконец-то погубить Клеопатру и ее любовника римлянина. Я разжигала его страсть и ее ревность, я толкала ее на злодеяния, а его на глупости, и обо всех их поступках по моему указанию доносили цезарю. Слушай же, как обстоят дела. Ты знаешь, чем кончилось сражение при Акциуме. Туда прибыла Клеопатра со всем своим флотом, хотя Антоний бурно возражал. Но я, повинувшись твоим наставлениям, стала со слезами умолять его, чтобы он позволил царице сопровождать его, ибо если он оставит ее, она умрет от горя; и он, этот ничтожный глупец, поверил мне. И вот она поплыла с ним и в самый разгар боя, неведомо по какой причине, хотя тебе, Гармахис, эта причина, быть может, и известна. Клеопатра приказала своим судам повернуть обратно и, покинув поле боя, поплыла к Пелопоннесу. И к чему это привело! Когда Антоний увидел, что она бежит, он в своем безумии бросил свои суда и

кинулся за ней, так что его флот был разбит и потоплен, а его огромное войско в Греции, состоящее из двадцати легионов и двенадцати тысяч конницы, осталось без полководца. Никто бы не поверил, что Антоний, этот любимец богов, падет так низко. Войско сколько-то времени ждало, но сегодня вечером военачальник Канидий прибыл с вестью, что легионам надоело неведение, в котором они пребывали, они решили, что Антоний их бросил, и все огромное войско перешло на сторону цезаря.

— А где же Антоний?

— Он построил себе жилище на островке в Большой Бухте и назвал его Тимониум, ибо, подобно Тимону, скорбит о людской неблагодарности, считая, что все его предали. Там он скрывается в великом смятении духа, и туда к нему ты должен отправиться на рассвете, так желает царица, — ты излечишь его от его помрачения и вернешь в ее объятия, ибо он не желает видеть ее и еще не знает всей меры постигших его бед. Но сначала я должна отвести тебя к Клеопатре, которая желает получить от тебя совет, и как можно скорее.

— Ну что ж! — Я встал. — Веди меня.

Мы вошли в дворцовые ворота, вот и Алебастровый Зал, я снова стою перед дверью в покои Клеопатры, и снова Хармиана оставляет меня одного и проскальзывает за занавес сообщить Клеопатре, что я здесь.

Через минуту она вернулась и сделала мне знак рукой.

— Укрепи свое сердце, — шепнула она, — и не выдай себя, ведь глаза у Клеопатры очень острые. Входи же!

— О нет, не настолько остры ее глаза, чтобы прозреть в ученом Олимпии юного Гармахиса! Ты и сама бы не узнала меня, Хармиана, не пожелай я того, — ответил я.

И после этих слов вступил в покой, который так хорошо помнил, и снова услышал журчанье фонтана, песнь соловья, ласковый плеск летнего моря. Я двинулся вперед неверным шагом, низко склонив голову, и вот наконец приблизился к ложу Клеопатры — к тому самому золотому ложу, на котором она сидела в ту ночь, когда я пал ее жертвой. Я собрался с духом и посмотрел на нее. Передо мной была Клеопатра, ослепительная как и прежде, но до чего же изменилась она с той ночи, когда я видел ее в последний раз в Тарсе, в объятиях Антония! Красота ее была по-прежнему подобна драгоценному наряду, глаза такие же синие и бездонные, как море, лицо пленительно в своем совершенстве и высшей гармонии черт. И все же это была другая женщина. Время, которое не властно было отнять у нее дарованные богами чары, наложило на ее лицо печать безмерной усталости и скорби. Страсть, переполнявшая ее необузданное сердце, оставила свои



следы на лбу, глаза мерцали, точно две печальные звезды.

Я низко поклонился этой царственнейшей женщине, которая когда-то была моей любовницей и погубила меня, а сейчас даже не узнала.

Она усталым взглядом поглядела на меня и неспешно заговорила своим низким голосом, который я так хорошо помнил:

— Итак, ты наконец пришел ко мне, врач. Как звать тебя? Олимпий? Это имя вселяет надежду, ибо теперь, когда египетские боги нас покинули, нам очень нужна помощь богов Олимпа. Да, ты, без сомнения, ученый, ибо ученость редко сочетается с красотой. Странно, ты мне кого-то напоминаешь, но вот кого — не могу вспомнить. Скажи, Олимпий, мы встречались раньше?

— Нет, царица, никогда до этого часа мои глаза не созерцали тебя в телесной оболочке, — ответил я, изменив голос. — Я прибыл сюда, оставив свою затворническую жизнь, дабы исполнить твои повеления и излечить тебя от болезней.

— Странно! Даже голос... никак не всплывет в памяти. В телесной оболочке, ты сказал? Так, может быть, я видела тебя во сне?

— О да, царица: мы встречались с тобою в снах.

— Ты странный человек, и речи твои странны, но люди утверждают, что ты — великий ученый, и я в это верю, ибо помню, как ты повелел мне ехать к моему возлюбленному властелину Антонию в Сирию и как твоё прорицание исполнилось. Ты чрезвычайно искусен в составлении гороскопов и в предсказаниях по звездам, в чем наши александрийские невежды полные профаны. Однажды мне встретился столь же ученый астролог, некий Гармахис, — она вздохнула, — но он давно умер, — как жаль, что я тоже не умерла! — и я порой о нем скорблю.

Она умолкла, я опустил голову на грудь и тоже не произносил ни слова.

— Олимпий, растолкуй мне, что со мной случилось. Во время этого ужасного сражения при Аксиуме, в самый разгар боя, когда победа уже начала улыбаться нам, мое сердце сжал невыносимый страх, глаза застлала темнота, и в ушах раздался голос Гармахиса, — того самого Гармахиса, который давно умер. «Беги! — кричал Гармахис. — Беги иль ты погибнешь!» И я бежала. Но мой страх передался Антонию, он бросился следом за мной, и мы проиграли сражение. Скажи мне, кто из богов сотворил это зло?

— Нет, царица, боги тут не при чем, — ответил я, — разве ты прогневила богов Египта? Разве ограбила храмы, где им поклоняются? Разве презрела свой долг перед Египтом? А раз ты не повинна в этих

преступлениях, за что же египетским богам наказывать тебя? Не надо страшиться, то был всего лишь плод воображения, ибо твоей нежной душе невыносимо зрелище кровавой бойни, невыносимо было слышать крики умирающих; что же до благородного Антония, то он всегда устремляется за тобой, куда бы ты ни последовала.

Когда я начал говорить, Клеопатра побледнела и задрожала, она не спускала с меня глаз, пытаюсь понять, что означают мои слова. Я успокаивал ее, но сам-то знал, что она бежала, повинувшись воле богов, избравших меня своим мстителем.

— Ученый Олимпий, мой повелитель Антоний болен и вне себя от горя, — сказала она, не отвечая на мое объяснение. — Точно жалкий беглый раб, прячется он в этой башне на острове среди моря и никого к себе не допускает, даже меня, перенесшую из-за него столько мук. И вот что я желаю, чтобы ты исполнил. Завтра, как только начнет светать, ты и моя придворная дама Хармиана сядете в лодку, подплывете к острову и попросите стражей впустить вас в башню, объявив, что привезли вести от военачальников Антония. Он прикажет отворить вам дверь, и тогда ты, Хармиана, должна будешь сообщить ему горестные вести, что привез Канидий, ибо самого Канидия я не решаюсь к нему послать. И когда взрыв горя утихнет, прошу тебя, Олимпий, исцели его измученное тело своими знаменитыми снадобьями, а душу — словами утешения и привези его ко мне, ведь все еще можно исправить. Если тебе это удастся, я дарую тебе столько богатств, что и не счесть, ведь я еще царица и могу щедро оплатить услуги тех, кто выполняет мою волю.

— Не тревожься, о царица, — ответил я, — я выполню все, что ты желаешь, и не возьму награды, ибо пришел, чтобы служить тебе до самого конца.

Я отдал ей поклон и вышел, а дома попросил Атуа приготовить нужное мне снадобье.

## **Глава V , повествующая о том, как Антоний был привезен из Тимониума к Клеопатре; о пире Клеопатры; и о том, какой смертью умер управитель Клеопатры Евдосий**

Еще не рассвело, а Хармиана уже опять пришла ко мне, и мы с ней спустились к тайной дворцовой пристани. Там мы сели в лодку и поплыли к скалистому острову, на котором возвышается Тимониум — небольшая круглая башня с куполом, хорошо укрепленная. Мы высадились на острове, подошли к двери башни и постучали, но никто не отозвался, и мы постучали еще раз, после чего в двери открылось забранное решеткой оконце, в него выглянул старый евнух и грубо спросил, что нам здесь надо.

— Нам нужен благородный Антоний, — ответила Хармиана.

— А вы ему не нужны, ибо мой хозяин, благородный Антоний, не желает видеть никого — ни мужчин, ни женщин.

— Но нас он допустит к себе, мы привезли ему важные новости. Ступай к своему хозяину и доложи, что здесь госпожа Хармиана с вестями от его военачальников.

Евнух ушел, но скоро вернулся.

— Мой господин Антоний желает знать, дурные это вести или хорошие, ибо с дурными он вас к себе не пустит, слишком их много было за последние дни, с него довольно.

— Одним словом не скажешь — наши вести и хорошие, и дурные. Отопри дверь, раб, я сама буду говорить с твоим хозяином! — И Хармиана просунула через прутья решетки тяжелый кошелек с золотом.

— Что же с вами делать, — проворчал он, беря кошелек, — времена сейчас тяжелые, а грядут и того тяжелее; чем кормиться шакалу, когда льва убьют? Хорошие вести или дурные — мне все равно, лишь бы вам удалось выманить благородного Антония из этой обители стенаний. Ну вот, я отпер дверь, ступайте по этому коридору в столовую.

Мы вошли и оказались в узком коридоре, евнух принялся возиться с запорами и задвижками, а мы двинулись вперед и наконец оказались перед занавесом. Подняли его и вступили в сводчатое помещение, тускло

освещенное через оконца в потолке. В дальнем углу этой пустой комнаты лежали друг на друге несколько ковров, и на этом ложе сидел, скорчившись, мужчина, лицо его было скрыто складками тоги.

— Благороднейший Антоний, — произнесла Хармиана, приближаясь к нему, — открой свое лицо и выслушай меня, ибо я принесла тебе вести.

Он поднял голову. Его лицо было искажено страданием; поседевшие взлохмаченные волосы падали на глаза, из которых глядела пустота, подбородок оброс седой колючей щетиной. Одежда мятая, грязная, вид жалкий, точно у нищего возле храмовых ворот. Вот до чего довела любовь Клеопатры блистательного, прославленного Антония, которому некогда принадлежала половина мира!

— Зачем ты тревожишь меня? — спросил он. — Я хочу умереть здесь в одиночестве. Кто этот человек, пришедший посмотреть на сломленного опозоренного Антония?

— Благородный Антоний, это Олимпий, знаменитый врач, великий прорицатель судеб, о котором ты много слышал и которого Клеопатра, неустанно пекущаяся о твоём благе, хоть ты и безразличен к её скорби, прислала, чтобы он помог тебе.

— И что же, этот твой врач может исцелить горе, постигшее меня? Его снадобья вернут мне мои галеры, честь, спокойствие души? Прочь с моих глаз, я не желаю видеть никаких врачей! Что ты за вести привезла мне? Ну же, скорее! Может быть. Канидий разбил цезаря? Скажи, что это так, и я подарю тебе царство, клянусь! А если к тому же погиб Октавиан, ты получишь двадцать тысяч систерций в придачу. Говори же... нет, молчи! За всю мою жизнь я ничего так не боялся, как слова, которое ты сейчас произнесешь. Что, колесо Фортуны повернулось и Канидий победил? Ведь верно? Ну, не томи же меня, это нестерпимо!

— О благородный Антоний, — начала она, — обрати свое сердце в сталь, дабы выслушать вести, которые я привезла! Канидий в Александрии. Он прибыл издалека и не медлил в пути, и вот что сообщил нам. Семь долгих дней дожидались легионы, когда прибудет к ним Антоний и, как в былые времена, поведет в победоносный бой, и никто из твоих солдат даже слушать не хотел посланников цезаря, которые сманивали их на свою сторону. Но Антония все не было. И тогда поползли слухи, что Антоний бежал на Тенар, следуя за Клеопатрой. Первого, кто принес в лагерь это известие, легионеры, пылая негодованием, избили до смерти. Но слух упорно распространялся, и скоро твои люди перестали сомневаться, что тот несчастный говорил правду; и тогда, Антоний, центурионы и легаты стали один за другим переходить на сторону цезаря, а вместе с военачальниками

и их солдаты. Но это еще не все: твои союзники — царь Мавритании Бокх, правитель Киликии Таркондимот, царь Коммагены Митридат, правитель Фракии Адалл, правитель Пафлагонии Филадельф, правитель Каппадокии Архелай, иудейский царь Ирод, правитель Галатии Аминт, правитель Понта Полемон и правитель Аравии Мальх — все до единого бежали либо приказали своим военачальникам вернуться с войсками домой, и уже сейчас их послы пытаются снискать расположение сурового цезаря.

— Ну что, ворона в павлиньих перьях, ты кончила каркать или твой зловещий голос будет еще долго меня терзать? — спросил раздавленный вестями Антоний и отнял от посеревшего лица дрожащие руки. — Ну продолжай же, скажи, что прекраснейшая в мире женщина, царица Египта, умерла; что Октавиан высадился у Канопских ворот; что мертвый Цицерон и с ним все духи Аида кричат о гибели Антония! Да, собери все беды, что могут поразить великих, которым некогда принадлежал мир, и обрушь их на седую голову того, кого ты, в своей лицемерной учтивости, по-прежнему изволишь именовать «благородным Антонием!»

— Я все сказала, о господин мой, больше ничего не будет.

— Да, ты права, не будет ничего! Это конец, конец всему, осталось сделать лишь последнее движение! — И он, схватив с ложа свой меч, хотел вонзить его себе в сердце, но я быстрее молнии метнулся к нему и перехватил руку. В мои расчеты не входило, чтобы он скончался сейчас, ибо умри он, Клеопатра тотчас же заключила бы мир с цезарем, а цезарь хотел не столько покорить Египет, сколько убить Антония.

— Антоний, ты обезумел, неужто ты стал трусом? — вскричала Хармиана. — Ты хочешь бежать от своих бед в смерть и возложить все бремя горестей на плечи любящей тебя женщины — пусть она одна несет за все расплату?

— А почему нет, Хармиана, почему бы нет? Ей не придется долго быть одной. Цезарь разделит ее одиночество. Октавиан хоть и суров, но любит красивых женщин, а Клеопатра все еще прекрасна. Ну что ж, Олимпий, ты удержал мою руку и не позволил умереть, дай же мне в своей великой мудрости совет. Значит, ты считаешь, что я, триумвир, дважды занимавший пост консула, бывший властелин всех царств Востока, должен сдаться цезарю и идти пленником во время его триумфального шествия по улицам Рима, того самого Рима, который столько раз восторженно рукоплескал мне, триумфатору?

— Нет, мой благородный повелитель, — ответил я. — Если ты сдашься, ты обречен. Вчера всю ночь я наблюдал звезды, пытаюсь прочесть твою судьбу, и вот что я увидел: когда твоя звезда приблизилась к звезде

цезаря, свет ее начал бледнеть и наконец совсем померк, но лишь только она вышла из области сияния цезаревой, она стала разгораться все ярче, все лучистей и вскоре сравнялась с ней по величине. Поверь, не все потеряно, и пока сохраняется хоть крошечная часть, можно вернуть целое. Можно собрать войска и удержать Египет. Цезарь пока бездействует; его войска не приближаются к воротам Александрии, и, может быть, с ним удастся договориться. Лихорадка твоих мыслей передалась твоему телу; ты болен и не способен сейчас судить здраво. Вот, смотри, я привез снадобье, которые тебя излечит, ведь я весьма сведущ в искусстве врачевания. — И я протянул ему фиал.

— Ты сказал — снадобье?! — закричал он. — Это не снадобье, а яд, а сам ты — убийца, тебя подослала коварная Клеопатра, она хочет избавиться от меня, ведь я ей теперь не нужен. Голова Антония в обмен на мир с Октавианом — она пошлет ее цезарю, она, из-за которой я потерял все! Давай твое снадобье. Пусть это эликсир смерти, — клянусь Вакхом, я выпью его до последней капли!

— Нет, благородный Антоний, это не яд, а я не убийца. Я сам выпью глоток, если желаешь, смотри. — И я пригубил снадобье, которое обладает способностью вливать силы в кровь людей.

— Давай же, врач. Тем, кто дошел до последней черты отчаяния, не страшно ничего. Пью!... Боги, что это? Ты дал мне чудодейственный напиток! Все мои беды рассеялись, словно налетел южный ветер и унес грозные тучи; сердце оживило, точно пустыня весной, в нем расцвела надежда! Я — прежний Антоний, я снова вижу, как сверкают на солнце копья моих легионов, я слышу подобный грому рев — это войска, мои войска приветствуют Антония, своего любимого полководца, который едет в сверкающих доспехах вдоль нескончаемых шеренг! Нет, нет, не все потеряно! Судьба переменится! Я еще увижу, как с сурового лба цезаря — того самого цезаря, который никогда не ошибается, разве что ему выгодно совершить ошибку, — будет сорван лавровый венок победителя и как этот лоб навеки увенчается позором!

— Ты прав! — вскричала Хармиана. — Конечно, судьба переменится, но ты должен вести себя как подобает мужчине! О господин мой, вернись со мною во дворец, вернись в объятия любящей тебя Клеопатры! По всем ночам она лежит без сна на своем золотом ложе, и темнота покоя, рыдая, зовет вместе с ней: «Антоний!», а Антоний отгородился от мира своим горем, забыл и свой долг, и свою любовь!

— Я еду, еду! Как мог я усомниться в ней? Позор мне! Раб, принесли воды и пурпурное одеянье — в таком виде я не могу предстать пред

Клеопатрой. Сейчас я вымоюсь, переоденусь — и к ней, к ней!

Вот так мы убедили Антония вернуться к Клеопатре, чтобы вернее погубить обоих.

Все трое прошли мы через Алебастровый Зал в покои Клеопатры, где она лежала на золотом ложе в облаке своих волос и нескончаемо лила слезы.

— Моя египтянка! — воскликнул он. — Я у твоих ног, взгляни!

Она соскочила с ложа.

— Неужели это ты, любимый мой? — залепетала она. — Ну вот, опять все хорошо. Иди ко мне, забудь свои тревоги в моих объятьях, обрати мое горе в радость. О мой Антоний, пока мы любим друг друга, нет никого на свете счастливее нас!

И она упала ему на грудь и страстно поцеловала.

В тот же день ко мне пришла Хармиана и попросила приготовить сильный смертельный ад. Я сначала отказался, испугавшись, что Клеопатра хочет отравить им Антония, а время для этого еще не наступило. Но Хармиана объяснила, что мои опасения напрасны, и рассказала, для какой цели этот ад предназначен. Поэтому я призвал Атуа, столь сведущую в свойствах трав и растений, и несколько часов мы с ней трудились, готовя смертоносное зелье. Когда оно было готово, снова пришла Хармиана с венком из только что срезанных роз и попросила меня погрузить венок в зелье.

Я сделал, как она велела.

В тот вечер на пиру, который устроила Клеопатра, я сидел возле Антония, а Антоний сидел рядом с ней, и на голове его был отравленный венок. Пир был роскошный, вино лилось рекой, и наконец Антоний и царица развеселились. Она рассказывала ему о том, какой план она придумала: ее галеры сейчас стягиваются в Героополитанский залив по каналу, который прорыт от Бубастиса, что на Пелузийском рукаве Нила. Она решила, что если цезарь не пойдет на уступки, они с Антонием, забрав все ее сокровища, спустятся в Аравийский залив, где у цезаря нет флота, и найдут убежище в Индии, куда враги не смогут за ними последовать. Но этот ее замысел не осуществился, потому что арабы из Петры сожгли галеры, получив известие о планах Клеопатры от живущих в Александрии иудеев, которые ненавидели Клеопатру, а Клеопатра ненавидела их. Это я сообщил иудеям о том, что она задумала.

И вот сейчас, во время пира, посвятив Антония в свои намерения,

царица попросила его выпить с ней за успех, но сначала пусть он опустит в свою чашу розовый венок, чтобы вино стало еще слаще. Антоний снял венок и опустил в чашу, она подняла свою. Он тоже поднял, но вдруг она схватила его за руку, вскрикнула: «Подожди!», и он в удивлении замер.

Нужно сказать, что среди слуг Клеопатры был управитель, которого звали Евдосий; и этот Евдосий, убедившись, что счастье изменило Клеопатре, задумал в ту самую ночь перебежать к цезарю, как уже переметнулись многие и поважнее его, причем заранее украл все, что можно было украсть во дворце из дорогих вещей, и припрятал, чтобы захватить с собой. Но Клеопатра прознала о замысле Евдосия и решила достойно наказать изменника.

— Евдосий, — позвала она его, ибо управитель стоял неподалеку, — подойди к нам, наш верный слуга! Взгляни на этого человека, благороднейший Антоний: он остался нам верен невзирая на все превратности нашей судьбы, всегда поддерживал нас. И потому он будет награжден согласно его заслугам и преданности из твоих собственных рук. Дай ему эту золотую чашу с вином, пусть он выпьет за наш успех, а чашу примет как, наш дар.

Все еще ничего не понимая, Антоний протянул управителю чашу, и тот, дрожа всем телом, ибо совесть его была нечиста и он испугался, взял ее. Но пить не стал.

— Пей! Пей же, раб! — вскричала Клеопатра, приподнимаясь со своего ложа и впиваясь в его побледневшее лицо зловещим взглядом. — Клянусь Сераписом, если ты посмеешь пренебречь вниманием своего господина Антония, я прикажу высечь тебя и превратить в кусок кровавого мяса, а потом вылью на твои раны это вино вместо целебной примочки, — это так же верно, как то, что я победительницей войду в Капитолий в Риме! Ага, ты все-таки выпил! О, что с тобою, преданный Евдосий? Тебе дурно? Наверно, это вино похоже на ту воду иудеев, что убивает предателей и придает силы честным. Эй, кто-нибудь, обыщите его комнату: мне кажется, он замыслил недоброе!

Управитель стоял, стиснув голову руками. Вот по телу его пробежала судорога, он страшно закричал и упал наземь. Потом поднялся, раздирая руками грудь, точно хотел вырвать свое сердце. Лицо исказилось невыразимой мукой, его покрыла мертвенная бледность, на губах закипела пена, и он, шатаясь, двинулся туда, где возлежала Клеопатра и глядела на него, спокойно, зловеще улыбалась.

— Ну что, изменник? Ты выпил свою чашу, — произнесла она, — теперь поведай нам, сладка ли смерть?



— Подлая распутница! — прохрипел умирающий. — Ты отравила меня! Так умри ж и ты! — И он с пронзительным воплем кинулся на нее. Но она разгадала его намерение и с быстротой и легкостью тигрицы метнулась в сторону, он лишь вцепился в ее царскую мантию, пристегнутую огромным изумрудом, и сорвал. Евдосий рухнул на пол и стал кататься, ее пурпурная мантия обернулась вокруг него, но вот он наконец затих и умер, на лице застыла страшная гримаса боли, широко открытые глаза остекленели.

— Раб умер в великолепных мучениях, — с презрительным смешком проговорила Клеопатра, — да еще меня хотел с собой увлечь. Смотрите, он сам надел на себя саван — мою мантию. Унесите его прочь и похороните в этой пелене.

— Клеопатра, что все это значит? — спросил Антоний, когда стражи уносили труп. — Он выпил вино из моей чаши. Как понять твою жестокую шутку?

— У меня была двойная цель, мой благородный Антоний. Нынешней ночью этот негодяй хотел бежать к Октавиану и унести с собой наши ценности. Что ж, я одолжила ему крылья, ибо если живым приходится идти, то мертвые летят. Но это еще не все: ты опасался, мой повелитель, что я отравлю тебя, не спорь, я это знаю. Теперь ты видишь, Антоний, как легко мне было бы убить тебя, если бы я захотела. Этот веночек из роз, который ты опустил в чашу с вином, был покрыт сильнейшим ядом. И пожелай я твоей гибели, разве остановила бы я твою руку? О Антоний, молю тебя: верь мне всегда! Для меня один-единственный волосок с твоей любимой головы дороже моей жизни. Ну вот, вернулись слуги. Говорите, что вы нашли?

— Великая царица Египта, осмотрев комнату Евдосия, мы обнаружили, что он приготовился бежать и что в его вещах много разных ценностей.

— Слышали? — спросила она, зловеще улыбаясь. — Теперь вы знаете, мои верные слуги, что предавать Клеопатру безнаказанно никому не удастся. Пусть судьба этого римлянина послужит вам уроком.

В пиршественном зале воцарилась мертвая тишина, Антоний тоже сидел и молчал.

## **Глава VI , повествующая о беседах ученого Олимпия с жрецами и правителями в Мемфисе; о том, как Клеопатра отравила своих слуг; как Антоний говорил со своими легатами и центурионами; и о том, как великая богиня Исида навек покинула страну Кемет**

Я должен спешить, у меня осталось совсем мало времени, я не успею рассказать все, о чем хотел поведать в этой повести, лишь коротко опишу главное. Мне уже объявили, что дни мои сочтены и скоро, скоро я предстану перед великим судом. Итак, после того, как мы выманили Антония из Тимониума, наступило тягостное затишье, подобное тому, которое сметают налетающие из пустыни ветры. Антоний и Клеопатра продолжали тратить безумные деньги на роскошь, каждый вечер устраивали во дворце великолепные пиры. Они отправили своих послов к цезарю, но цезарь послов не принял; и когда надежда на заключение мира исчезла, они стали готовить защиту Александрии. Строили суда, вербовали солдат, собрали огромное войско, готовое дать отпор цезарю.

А я с помощью Хармианы начал последние приготовления, чтобы свершилась месть, взлелеянная ненавистью. Я проник во все хитросплетения дворцовых тайн, и все советы, которые я давал, несли лишь зло. Я убеждал Клеопатру, что нужно развлекать Антония и не позволять ему задумываться над постигшими их бедами, и потому она послушно топила его силы и энергию в изнеживающей роскоши и в вине. Я давал ему мои снадобья — снадобья, которые опьяняли его мечтами о счастье и о власти, но погружали в еще более глубокое отчаяние, когда после пробуждения наступало похмелье. Скоро он уже не мог спать без моих лекарств, а я всегда был подле него и настолько подчинил его ослабшую волю своей, что он уже был не способен что-то предпринять без моего одобрения. Клеопатра тоже стала очень суеверна и постоянно обращалась ко мне за помощью; я составлял ей прорицания, вернее, лжепророчества. Но это еще не все, я плел свою паутину везде, где только

мог. Меня высоко почитали в Египте, ибо во время моего долгого отшельничества близ Тапе слава моя распространилась по всей стране. И потому ко мне приходили многие именитые люди, желая исцелиться от какого-нибудь недуга или же зная, как взыскан я милостями Антония и царицы, ибо в те смутные тревожные дни все пытались выведать, что можно, как обстоят дела в стране. Со всеми с ними я говорил уклончиво, незаметно вселяя недоверие к царице, многих вовсе отвратил от нее, но никто не мог бы уличить меня в злонамеренных речах и в подстрекательстве к измене. Клеопатра послала меня в Мемфис, чтобы я встретился там с верховными жрецами и с правителями и поручил им набрать в Верхнем Египте людей для пополнения войск, которые будут защищать Александрию. И я поехал туда и начал говорить перед верховными жрецами таким глубоким и тонким иносказанием, что они узнали во мне одного из посвященных в сокровенные таинства древних знаний. Но никто из них не мог понять, почему я, ученый врач Олимпий, вдруг оказался посвященным. Они стали окольными путями выведывать, как такое могло произойти, и тогда я сделал священный жест, который известен лишь членам братства и просил их не допытываться у меня, кто я такой, но выполнять мои повеления и не оказывать помощи Клеопатре. Нужно заручиться поддержкой цезаря, ибо только его благоволение может спасти наши храмы, иначе служение богам Кемета навсегда заглухнет. И вот после знамения, которое жрецы получили от божественного Аписа, они обещали мне на словах заверить Клеопатру, что окажут ей всяческую помощь, но в тайне от нее отправят посланцев к цезарю.

Вот почему Египет не встал на защиту столь ненавистной ему царицы-гречанки. Из Мемфиса я вернулся в Александрию и, успокоив Клеопатру, сообщением, что Верхний Египет обещал ей поддержку, продолжал свои тайные козни. Жителей Александрии было очень легко в них вовлечь, недаром же народ наш сложил пословицу: «Ослу бы надо избавиться от хозяина, а он лишь хочет сбросить свою ношу». Да, слишком жестоко их угнетала Клеопатра, и потому они ждали римлян, как избавителей.

А время между тем летело, и с каждым днем у Клеопатры оставалось все меньше и меньше друзей, ибо в беде наши друзья улетают, как ласточки перед сезоном дождей. Но Клеопатра хранила верность Антонию, которого по-прежнему любила, хотя как мне стало известно, цезарь через своего вольноотпущенника Тирея обещал ей, что оставит ей и ее детям прежние владения, если она убьет Антония или выдаст его живым. Но против этого бунтовало ее женское сердце, — ибо сердца она еще не лишилась, — к тому же мы с Хармианой всячески поддерживали этот бунт, нам во что бы

то ни стало нужно было удержать его при ней, ведь если Антоний бежит или его убьют, Клеопатра еще может пережить надвигающуюся бурю и остаться царицей Египта. И душа моя скорбела, ибо хоть Антоний сейчас и растерялся, в нем еще оставалось довольно мужества, он был истинно великий человек; к тому же в его судьбе, как в зеркале, я видел отражение собственной гибели. Разве не роднило нас с ним общее несчастье? Разве не та же самая женщина украла у нас царство, друзей, честь? Но в политических делах нет места жалости, она не должна совлечь меня с пути мести, по которому меня направили высшие силы. Цезарь приближался; Пелузий пал; еще немного — и наступит развязка. Весть о падении Пелузия принесла царице и Антонию Хармиана, когда они почивали в самое знойное время дня в покое, где был фонтан; я пришел туда вместе с ней.

— Проснись! — закричала Хармиана. — Проснитесь, не время спать! Селевк сдал цезарю Пелузий, цезарь со своими войсками идет на Александрию!

С уст Антония сорвалось проклятье, он вскочил с ложа и стиснул рукой плечо Клеопатры.

— Ты предала меня, клянусь богами! Теперь расплачивайся за свою измену! — Он выхватил из ножен меч и занес над ней.

— Антоний, опусти свой меч! — взмолилась она, — зачем ты меня винишь в измене, я ничего не знала! — Она бросилась ему на грудь и, рыдая, крепко обняла. — О повелитель мой, поверь, я ничего не знала! Возьми жену Селевка и его маленьких детей, которых я держу под стражей, и отомсти. Антоний, мой Антоний, как можешь ты сомневаться во мне?

Антоний швырнул меч на мраморный пол, упал на ложе, уткнулся лицом в подушки и от безысходности застонал.

Зато Хармиана улыбнулась, ибо никто иной, как она тайно посоветовала Селевку, с которым была в доброй дружбе, сдать без боя, заверив, что Александрия сопротивляться не будет. В ту же ночь Клеопатра собрала весь свой огромный запас жемчуга и те изумруды, что остались от сокровища Менкаура, все золото, эбеновое дерево, слоновую кость, корицу — несметные, бесценные богатства — и приказала перенести все в гранитный мавзолей, который, по египетскому обычаю, построила для себя на холме возле храма богини Исиды. Все эти сокровища она сложила на снопы льна, которые в случае надобности подожжет — пусть все погибнет в пламени, лишь бы не досталось алчному Октавиану. И стала после этого ночевать в гробнице без Антония, одна, но день проводила с ним во дворце.

Недолгое время спустя, когда цезарь со всем своим могучим войском

уже переправился через Канопский рукав Нила и подступал к Александрии, Клеопатра приказала мне явиться во дворец, и я пришел к ней. Она была в Алебастровом Зале, одетая в свой парадный церемониальный наряд, ее глаза горели, точно у безумной, с ней были Ирада и Хармиана, а также ее телохранители; на мраморном полу валялось несколько трупов, один из мужчин был еще жив.

— Приветствую тебя, Олимпий! — воскликнула она. — Вот зрелище, которое должно наполнить сердце врача радостью, — одни умерли, другие умирают!

— Что ты делаешь, царица? — в испуге спросил я.

— Ты спрашиваешь, что я делаю? Творю правосудие над этими изменниками и преступниками, а заодно, Олимпий, знакомлюсь с повадками Смерти. Я приказала дать этим рабам шесть разных ядов, а потом внимательно наблюдала, как они действуют. Вот этот — она указала на нубийца, — потерял рассудок, начал тосковать о своих родных пустынях и о матери. Дурачок, ему представилось, что он опять ребенок, он звал мать и умолял ее прижать его к своей груди и защитить от тьмы, которая к нему подкрадывается. Грек кричал и кричал, пока не умер. А вот этот трус лил слезы, молил сжалиться над ним, спасти от смерти. Египтянин — видишь, он еще жив и стонет, — выпил яд первым, причем мне клялись, что это самый сильный яд, и представляешь — презренный так пламенно любит жизнь, что никак не может с ней расстаться! Смотри, он все пытается извергнуть из себя яд; я дала рабу второй кубок, а ему все мало. Сколько же надо, чтобы его убить, — бочку? Глупец, глупец, неужто ты не знаешь, что только в смерти мы обретаем покой? Перестань цепляться за жизнь, тебя ждет отдохновение. — И едва она произнесла эти слова, несчастный пронзительно вскрикнул и испустил дух.

— Ну вот, наконец-то фарс кончился! — воскликнула она. — Я втокнула этих рабов в царство радости через разные ворота. Убрать! — И она хлопнула в ладоши. Но когда слуги унесли трупы, она приблизилась ко мне и вот что сказала: — Олимпий, ты предсказываешь нам счастливый исход, но я-то знаю: конец наш близок. Цезарь победит, я и мой повелитель Антоний обречены. Драма земной жизни сыграна, и я должна покинуть сцену как подобает царице. Мне надо подготовиться, и потому я испытывала сейчас действие этих ядов — ведь скоро мне самой придется пережить все те страдания, которым я сегодня подвергла злосчастных слуг. Эти зелья мне не подходят: одни причиняют слишком мучительную боль, отторгая душу от тела, другие убивают невыносимо медленно. Но ты искусен в приготовлении смертельных ядов. Составь же мне такой, чтобы

погасил мою жизнь мгновенно и без боли.

В мое опустошенное горем сердце хлынуло торжество: теперь я знал, что эта обреченная женщина погибнет от моей руки и что моей рукой свершится правосудие богов.

— Повеление, достойное царицы, о Клеопатра! — ответил я. — Смерть исцелит твои недуги, а я сделаю тебе вино, ты его выпьешь, и Смерть тотчас же примет тебя в объятия, точно любящая мать, и уплывет с тобою в море сна, от которого ты никогда уже на этой земле не пробудишься. О царица, не страшись Смерти: Смерть сулит надежду, и я уверен, что ты предстанешь пред грозным судом богов безгрешной и с чистым сердцем.

Она содрогнулась.

— А если сердце не вполне чисто, скажи мне, о таинственный Олимпий, что ждет меня тогда? Но нет, я не боюсь богов! Ведь если карающие боги — мужчины, я сумею их победить. Я была царица в жизни, останусь ей вовек и после смерти.

В тот миг у дворцовых ворот раздался громкий шум, слышались радостные клики.

— Что там такое? — спросила она, быстро вставая с ложа.

— Победа! Победа! — ширился крик. — Антоний победил!

Она как птица полетела навстречу ему, длинные волосы подхватил ветер. Я устремился за ней, но так быстро бежать не мог, я миновал тронный зал, дворцовый двор, вон наконец ворота. В них как раз въезжал Антоний с ликующей улыбкой, в сверкающих римских доспехах. Увидев Клеопатру, он спрыгнул с коня и, как был, в полном боевом снаряжении, прижал ее к груди.

— Рассказывай скорее! — воскликнула она. — Ты разбил цезаря?

— Нет, не совсем, моя египтянка, но мы отогнали его конницу к самому лагерю, а это добрый знак, теперь уж мы не отступим — недаром я люблю пословицу: «Славное начало — славный конец». Но это еще не все, я вызвал цезаря на поединок, и если он со мною встретится лицом к лицу с оружием в руках, то мир увидит, кто сильнее — Антоний или Октавиан.

Его слова потонули в ликующих криках, но в это время мы услышали: «Посланец цезаря!»

Гонец вошел, и низко поклонившись, протянул Антонию письмо, снова отдал поклон и удалился. Клеопатра выхватила письмо из рук Антония, сорвала шелковый шнурок и вслух прочла:

Цезарь — Антонию.

Приветствую тебя. Вот мой ответ на твой вызов: неужели Антоний не мог придумать более достойной смерти, чем от меча цезаря? Прощай!

Больше не раздалось ни одного радостного возгласа.

Настал вечер, Антоний пировал с друзьями, которые сегодня так искренне скорбели о его поражениях, а завтра им предстояло его предать. Незадолго до полуночи он вышел к собравшимся перед дворцом военачальникам легионов, конницы и флота, среди которых был и я.

Они окружили его, а он снял шлем и, озаренный светом луны, торжественно заговорил:

— Друзья, соратники, хранящие мне верность, к вам обращаюсь я! Я столько раз вас приводил к победе, а завтра вы, может быть, бесславно ляжете навеки в немую землю. Вот что мы решили: довольно нам плыть по течению войны, мы ринемся навстречу волнам и вырвем из рук врага венец победителя, а если судьба того не пожелает, пойдем на дно. Если вы не оставите меня, не предадите свою честь, у вас есть еще надежда занять места по правую руку от меня в римском Капитолии, и все будут с завистью взирать на вас. Но если вы сейчас измените мне и Антоний проиграет — проиграете вместе с ним и вы. Да, много крови прольется в завтрашнем сражении, но мы столько раз одерживали верх и над более грозным противником, мы разметали войско за войском, точно пески пустыни, ни один враг не мог противостоять натиску наших победоносных легионов, и солнце еще не успевало сесть, а мы уже делили отнятые у царей богатства. Чего же нам бояться теперь? Да, наши союзники бежали, но ведь наша армия не слабее цезаревой! И если мы будем биться столь же доблестно, клянусь вам моим словом императора: завтра вечером я украшу Канопские ворота головами Октавиана и его военачальников!

Да, да, ликуйте! Как я люблю эти воинственные клики, они словно вырываются из сердец, объединенных преданностью Антонию, разве их сравнишь со звуками фанфар, которым все равно, в чью славу трубить — Антония ли, Цезаря. Но довольно, друзья, сейчас поговорим тихо, как над могилой дорогого нам усопшего. Слушайте же: если Фортуна все-таки отвернется от меня, если солдат Антоний не сможет одолеть напавших на него и умрет смертью солдата, оставив вас скорбеть о том, кто был всегда вашим другом, я, по суровому обычаю воинов, сейчас объявлю вам мою волю и завещаю выполнить ее. Вы знаете, где спрятаны мои сокровища. Возьмите их, любимые друзья, и честно разделите между собой на память об Антонии. Потом идите к Цезарю и так ему скажите: «Мертвый Антоний

приветствует живого цезаря и во имя прежней дружбы и в память о тех боях, когда вы с ним сражались рядом, за одно и то же дело, просит проявить великодушие к тем, кто остался ему верен до конца, и не отнимать его даров».

Я не могу сдержать слез, но вам не подобает плакать. Перестаньте, ведь это слабость, ведь вы мужчины! Мы все умрем, и смерть была бы счастьем, если бы не обнажала наше беспощадное одиночество. Прошу вас, позаботьтесь о моих детях, если я погибну, — ведь может так случиться, что они останутся совсем беспомощны. Все, солдаты, довольно! Завтра на рассвете мы бросим все наши силы на цезаря на суше и на море. Поклянитесь, что будете верны мне до последнего!

— Клянемся! — воскликнули они. — Клянемся, благороднейший Антоний!

— Благодарю! Моя звезда еще снова засияет; завтра она поднимется высоко в небе и, быть может, затмит звезду цезаря. Итак, до утра, прощайте!

Он повернулся и хотел уйти. Но потрясенные военачальники брали его за руку и целовали, многие плакали, как дети; Антоний тоже не мог совладать со своим горьким волнением, я видел при свете луны, как по его лицу с резкими складками текут слезы и падают на могучую грудь.

В сердце у меня зашевелилась тревога. Я хорошо знал, что если эти люди сохранят преданность Антонию, беда вполне может миновать Клеопатру; и хоть я не питал к Антонию зла, но он был обречен, он должен погибнуть и увлечь за собой женщину, которая, подобно ядовитому растению, обвилась вокруг этого гиганта и выпила всю его силу, задушила в своих объятиях.

И потому, когда Антоний ушел, я остался, лишь отступил в тень и принялся внимательно изучать лица его военачальников.

— Итак, все решено! — произнес командующий флотом. — Мы все до одного клянемся стоять за благородного Антония до конца, как бы ни повернулась Судьба!

— Клянемся! И выполним нашу клятву! — подхватили остальные.

— Да, выполните свою клятву! — сказал я, не выходя из тени. — Стойте за благородного Антония до конца, и всех вас постигнет смерть!

Они кинулись ко мне и в ярости схватили.

— Кто он такой? — вскричал один из них.

— Презренный пес Олимпий! — отвечал другой. — Олимпий, злой волшебник!

— Предатель! — раздался возглас. — Убьем его, пусть сгинут его злые



чары! — И тот, кто это крикнул, выхватил свой меч.

— Да, убей его! Он должен исцелять благородного Антония от недугов, а сам хочет предать его!

— Остановитесь! — приказал я властно и торжественно. — Не в вашей власти убить того, кто служит богам. Я не предатель. Я сам останусь здесь, в Александрии, но вам я говорю: бегите, переходите на сторону цезаря! Я служу Антонию и царице — служу им со всей верностью и преданностью; но еще более преданно я служу великим богам; и то, что они мне открыли, благородные господа, ведомо лишь мне. Но я вас посвящу в божественное откровение: Антоний погибнет, погибнет Клеопатра, победа суждена цезарю. И потому, благородные воины, я говорю вам, ибо высоко чту вас и преисполнен жалости к вашим женам, над которыми нависла печальная участь вдов, и к вашим детям, которые будут проданы в рабство, если останутся сиротами, — я говорю вам: если вы решили хранить верность Антонию и умереть — умрите; но если вам дорога жизнь — идите к цезарю! Так определили боги, я лишь передал вам предначертанное ими.

— Боги! Что нам твои боги? — в ярости закричали они. — Перережьте предателю горло, довольно нам его зловещих предсказаний!

— Пусть явит нам знамение своих богов, иначе ему смерть: я не верю этому колдуну!

— Отойдите прочь, глупцы! — потребовал я. — Освободите мои руки и прочь, подальше от меня, я покажу вам священное знамение. — И такое было у меня в тот миг лицо, что они испугались, выпустили меня и отступили на несколько шагов. А я — я воздел к небу руки и, сосредоточив все силы своей души в едином порыве, устремил их в просторы вселенной, и вот мой дух встретился там с духом священной матери Исиды. Но я не произнес Великое Заклинание, ибо мне это было запрещено. И державная владычица миров и тайн ответила на мой призыв: леденящее кровь безмолвие возвестило, что она летит к земле. Это страшное безмолвие вязко сгущалось, даже собаки перестали лаять, а люди в городе замерли, охваченные ужасом. Но вот где-то вдали послышалось тихое бряцание сistr. Сначала оно лишь призрачно овевало нас, но, приближаясь, стало набирать силу, мощь, вот самый воздух задрожал от грозных, неведомых земле звуков. Я ничего не говорил, лишь указал рукой на небо. Там, в вышине, парило окутанное покрывалом божество, оно медленно плыло к нам в нарастающем громе сistr, вот тень его упала на нас... Божество приблизилось, проплыло мимо и стало удаляться в сторону цезарева лагеря, музыка замерла вдали, вызвавший благоговейный ужас образ

растаял в ночном небе.

— Это Вакх! — воскликнул кто-то из военачальников. — Вакх покинул Антония, Антоний обречен!

У всех вырвался вопль ужаса.

Но я-то знал, что это был не римский лжебог Вакх, а наша божественная покровительница Исида, она сейчас покинула Кемет и, миновав бездну, разделяющую миры, устремилась в просторы вселенной, где будет жить, забытая людьми. Да, Исиде продолжают еще поклоняться в Египте, она по-прежнему здесь, на земле, как и во всех других мирах, но наши призывания к ней безответны. Я закрыл лицо руками и стал молиться, а когда опустил руки и посмотрел вокруг, увидел, что военачальники Антония ушли и я один.

## **Глава VII , повествующая о том, как войско и флот Антония сдались цезарю у Канопских ворот; о том, как благородный Антоний умер; и как Гармахис приготовил смертельный яд**

На рассвете Антоний приказал своему огромному флоту двинуться против флота цезаря, а своей многочисленной коннице устремиться на цезареву конницу. Выстроенные в три линии суда поплыли навстречу судам цезаря, которые уже готовились принять бой. Но когда два флота сблизились, галеры Антония подняли весла в знак приветствия, присоединились к галерам цезаря, и оба флота уплыли вместе прочь. В это время из-за Ипподрома показалась голова конницы Антония, мчавшейся на конницу цезаря, но, встретившись с ней, воины Антония опустили мечи и перешли в стан цезаря — и они тоже покинули Антония. Антоний обезумел от ярости, на него было страшно смотреть. Он закричал своим легионам, чтобы они не смели отступить и ждали боя; и легионы остались на месте. Однако вскоре один из легатов — тот самый, который вчера вечером хотел убить меня, — попытался незаметно ускользнуть; но Антоний схватил его, швырнул на землю и, соскочив с коня, выхватил из ножен меч и хотел убить. Он высоко занес меч, а легат закрыл лицо руками, ожидая смерти. Но вдруг Антоний опустил свой меч и приказал легату встать.

— Иди! — сказал он. — Иди к цезарю и благоденствуй! Я любил тебя когда-то. Почему же из всех бесчисленных предателей я должен убить одного тебя?

Легат поднялся и горестно посмотрел на Антония. Его жег стыд, он с громким криком сорвал с себя панцирь, вонзил в грудь меч и упал мертвый. Антоний стоял и глядел на него, но так и не произнес ни слова. А колонны цезаря тем временем подступали все ближе, и едва они взметнули копья, как легионы Антония бросились бежать. Солдаты цезаря остановились, провожая их издевательским хохотом; они не устремились им вдогонку, никто из воинов Антония не был убит.

— Беги, мой повелитель, беги! — вскричал приближенный Антония Эрос, который один из всего войска остался вместе со мной подле него. —

Беги, иначе тебя схватят и поведут пленником к цезарю!

У Антония вырвался тяжкий стон, он повернул коня и поскакал к городу. Я за ним, и когда мы въезжали в Канопские ворота, где собралась огромная толпа любопытных, Антоний сказал мне:

— Теперь оставь меня, Олимпий; езжай к царице и скажи: «Антоний приветствует Клеопатру, предавшую его! Желает здравствовать и радоваться и прощается навек!»

Я двинулся к мавзолею, Антоний же во весь опор помчался во дворец. У мавзолея я спешил и постучал в дверь, в окно выглянула Хармиана.

— Впусти меня! — крикнул я, и она отперла засовы.

— Какие новости, Гармахис? — шепотом спросила она.

— Хармиана, конец близок, — ответил я. — Антоний бежал.

— Слава богам! Я истомилась от ожидания.

Клеопатра сидела на своем золотом ложе.

— Скорее, говори! — приказала она.

— Антоний бежал, его войска бежали, цезарь подходит к Александрии. Великий Антоний приветствует Клеопатру и прощается с ней. Желает здравствовать и радоваться Клеопатре, предавшей его, и прощается навек.

— Ложь! — крикнула она. — Я не предавала его! Олимпий, скачи к Антонию и передай ему: «Клеопатра, которая никогда не предавала Антония, приветствует его и прощается навек. Клеопатра умерла».

И я поехал исполнять ее повеление, ибо все шло как я задумал. Антония я нашел в Алебастровом Зале, он метался по нему, как тигр в клетке, вскидывал руки к небу; с ним был один лишь Эрос, ибо все остальные слуги покинули этого гибнущего властелина.

— Мой благородный повелитель Антоний, — проговорил я, — царица Египта прощается с тобой. Она рассталась с жизнью по своей воле.

— Умерла? Царица умерла? — прошептал он. — Моей египтянки больше нет? И это прекраснейшее в мире лицо и тело станут добычей червей? О, она была истинная женщина и царица! Мое сердце разрывается от любви к ней. Неужто в ней больше силы духа, чем во мне, чья слава некогда гремела по всему свету; неужто я так низко пал, что женщина в своем царственном величии первой ушла туда, куда я страшусь за ней последовать? Эрос, ты с детства предан мне, ты помнишь, как я нашел тебя в пустыне, где ты умирал от голода, как я возвысил тебя, даровал богатства? Теперь спаси меня ты. Возьми свой меч и пресеки страдания Антония.

— Нет, повелитель, не могу! — воскликнул грек. — Разве у меня

поднимется рука убить богоподобного Антония?

— Ни слова, Эрос, в этот страшный час я вверяю мою судьбу тебе. Повинуйся или уйди прочь, я останусь один. Предатель, я не желаю больше тебя видеть!

Тогда Эрос выхватил свой меч, а Антоний упал перед ним на колени и, сорвав панцирь, поднял глаза к небу. Но Эрос крикнул: «Нет, не могу!», вонзил меч в собственное сердце и рухнул на пол мертвый.

Антоний медленно встал на ноги, не отрывая от него глаз.

— О Эрос, как благородно ты поступил, — тихо произнес он. — Какое величие души, какой урок ты преподал мне! — Он опустил на колени и поцеловал умершего.

Потом вскочил, вырвал меч из сердца Эроса, вонзил себе в живот и со стоном повалился на ложе.

— О Олимпий, — воскликнул он, — мне больно, невыносимо больно! Положи конец этой муке, Олимпий!

Но я не мог его убить, меня переполняла жалость.

И потому я осторожно извлек из него меч, остановил льющуюся кровь, прогнал любопытных, которые сгрудились у входа в зал смотреть, как будет умирать Антоний, и велел им бежать в мой дом возле дворцовых ворот и привести Атуа. Атуа тотчас же явилась со своими травами и снадобьями, возвращающими жизнь. Я дал их Антонию и послал Атуа к Клеопатре, пусть поспешит на своих старых ногах к ней в мавзолей и расскажет об Антонии.

Атуа пошла и спустя недолгое время вернулась и сказала нам, что царица еще жива и просит принести к ней Антония, он должен умереть в ее объятиях. Вместе с Атуа пришел и Диомед. Когда Антоний услышал весть, что принесла Атуа, силы вернулись к нему — так страстно он хотел еще раз увидеть Клеопатру. И вот я кликнул рабов — они выглядывали из-за занавеса и из-за колонн, уж очень им хотелось посмотреть, как умирает этот великий человек, — и мы бережно понесли Антония к мавзолею.

Но Клеопатра боялась измены и больше не позволяла отпирать дверь; она спустила из окна веревку, и мы обвязали Антония под мышками. Рыдающая горькими слезами Клеопатра, Хармиана и гречанка Ирада изо всех сил стали тянуть веревку вверх, а мы поддерживали умирающего Антония снизу, и вот он наконец поднялся в воздух, из зияющей раны капала кровь, он хрипло стонал. Дважды он чуть не сорвался на землю. Но Клеопатра удержала его, ибо любовь и отчаяние удесятерили ее силы, вот он наконец возле окна, вот она втаскивает его внутрь; все, кто смотрел на это душераздирающее зрелище, давились слезами и били себя в грудь —

все, кроме Хармианы и меня.

Когда Антоний был уже внутри, Хармиана снова спустила веревку и стала держать, а я поднялся по ней и втянул ее за собой. Антоний лежал на золотом ложе Клеопатры, а она, вся в слезах, с обнаженной грудью, с разметавшимися в диком беспорядке волосами, стояла возле него на коленях и страстно целовала, отрываясь на миг, чтобы вытереть текущую из раны кровь своим одеянием или волосами. Мне стыдно, и все же я признаюсь: когда я стоял и глядел на нее, во мне проснулась прежняя любовь к ней, мое сердце чуть не разорвалось от ревности, ибо я был властен убить и его, и ее, но не в моей власти было убить их любовь.

— О мой Антоний! Мой возлюбленный, мой муж, мой бог! — задыхаясь от рыданий, шептала она. — Как ты жесток, ты не пожалел меня и решил умереть один, оставить меня в моем позоре! Но я тотчас же последую за тобой в могилу. Очнись, Антоний мой, очнись!

Он приподнял голову и попросил вина, в которое я подмешивал снадобье, утишающее боль, а он страдал невыносимо. Он выпил кубок и попросил Клеопатру лечь рядом с ним на ложе и обнять его; и она легла и обняла его. Теперь Антоний снова почувствовал себя мужчиной, он забыл свое бесславие и свою боль и принялся наставлять ее, что она должна делать, чтобы спасти себя, но она не стала его слушать.

— У нас так мало времени, — прервала она его, — давай же будем говорить о нашей великой любви, которая длилась так долго и будет длиться бесконечно за чертой Смерти. Ты помнишь ночь, когда ты в первый раз обнял меня и сказал, что любишь? О, ночь невыразимого счастья! Если Судьба подарила человеку такую ночь, значит, он не зря прожил жизнь, пусть даже конец этой жизни так горек!

— Да, моя египтянка, мне ли забыть эту ночь, она всегда со мной, хотя с той ночи Фортуна отвернулась от меня — я утонул в моей бездонной любви к тебе, прекраснейшая. О, я все помню! — шептал он. — Помню, как ты в своей безумной прихоти выпила жемчужину и как потом твой звездочет провозгласил: «Час наступает — час, когда на тебя падет проклятье Менкаура». Все эти годы его слова преследуют меня, даже сейчас, в эти последние мгновенья, они звучат в моих ушах.

— Любимый мой, он давно умер, — прошептала она.

— Если он умер, значит, он рядом со мной. Что означали его слова?

— Этот презренный негодяй умер, зачем его вспоминать? О, милый, поцелуй меня, твое лицо бледнеет. Конец близок.

Он поцеловал ее в губы долгим поцелуем, и до самого последнего мгновения они то целовались, то лепетали друг другу на ухо слова любви,

точно влюбленные новобрачные. Мое сердце терзала ревность, но я заворуженно глядел на них, исполненный неведомым волнением.

Но вот я увидел, что на его лицо легла печать Смерти. Голова откинулась на ложе.

— Прощай, моя египтянка, прощай! Я умираю...

Клеопатра приподнялась на руках, безумным взглядом впиалась в его серое, как пепел, лицо, дико вскрикнула и упала без чувств.

Но Антоний был еще жив, хотя говорить уже не мог. Я приблизился к нему и, опустившись на колени, взял вино со снадобьем и поднял, как бы желая дать ему глоток. И в этот миг я прошептал ему на ухо:

— Антоний, прежде чем полюбить тебя, Клеопатра была моей любовницей. Я — тот Гармахис, тот астролог, что стоял за твоим ложем в Тарсе. И это я погубил тебя. Умри, Антоний, на тебя пало проклятье Менкаура!

Он поднял голову и в ужасе уставился мне в лицо. Он не мог вымолвить ни слова, с уст срывались лишь невнятные звуки, он протянул ко мне дрожащий перст. Потом протяжно застонал, и дух покинул его тело.

Так я отомстил римлянину Антонию, который был когда-то властелином мира.

Мы привели Клеопатру в чувство, ибо ее время умирать еще не пришло. Получив согласие цезаря, мы с Атуа поручили Антония заботам самых искусных бальзамировщиков, чтобы похоронить его по обычаям Египта, накрыли лицо золотой маской, которая в точности повторяла черты Антония. Я написал на груди мумии поверх пелен его имя и титулы, на внутренней крышке гроба его имя и имя его отца и нарисовал на ней богиню Нут, распростершую над мертвым свои охранительные крылья.

Клеопатра повелела с великой пышностью отнести гроб в заранее приготовленную усыпальницу и опустить в алебастровый саркофаг. Саркофаг этот был необычно больших размеров, его вытесали для двух гробов, ибо Клеопатра решила упокоиться рядом с Антонием.

И вот как развивались события дальше. Прошло немного времени, и я узнал о намерениях цезаря, мне сообщил о них один из приближенных Октавиана, римский патриций Корнелий Долабелла, который пленился красотой женщины, покоряющей сердца всех, кто хоть раз взглянул на нее, и пожалел Клеопатру в ее несчастьях. Он попросил меня предупредить ее — мне, как ее врачу, было позволено выходить из мавзолея, где она жила, и

возвращаться к ней, — что через три дня ее отправят в Рим вместе с оставшимися в живых детьми, ибо Цезариона Октавиан уже убил, и все они пройдут в цепях по улицам Рима, который будет приветствовать триумфатора-цезаря. Я сразу же пошел к Клеопатре и увидел, что она, как и всегда теперь, сидит оцепенело в кресле, и на коленях у нее то платье, которым она вытирала кровь Антония. Она целыми днями глядела на эти пятна крови.

— Смотри, Олимпий, как они выцвели, — сказала она, поднимая ко мне скорбное лицо и указывая на бурые разводы, — а он ведь только что умер! Даже благодарность живет дольше. Какие новости ты мне принес? Дурные, судя по выражению твоих больших темных глаз — они всегда тревожат меня каким-то смутным воспоминанием, но это воспоминание вечно ускользает.

— Да, новости дурные, о царица, — ответил я. — Мне сообщил их Долабелла, а Долабелла узнал от секретаря цезаря. На третий день, считая от нынешнего, цезарь отправляет тебя, царевичей Птолемея и Александра, а также царевну Клеопатру в Рим, чтобы на вас глазела римская чернь, когда Октавиан под ее приветственные клики торжественно проследует к Капитолию, где ты клялась воздвигнуть свой трон.

— Нет, никогда! — вскричала она, вскакивая с кресла. — Никогда я не пойду в цепях за колесницей цезаря-триумфатора! Что же мне делать? Хармиана, помоги, скажи, есть ли спасение?

И Хармиана встала перед Клеопатрой, глядя на нее сквозь длинные опущенные ресницы.

— Есть, о царица: ты можешь умереть, — тихо произнесла она.

— Ах да, конечно, как же я забыла, ведь можно умереть! Олимпий, ты приготовил яд?

— Нет, но если царица пожелает, завтра утром он будет к твоим услугам — яд, действующий столь быстро и надежно, что выпивших его даже боги не смогут пробудить от сна.

— Ну что ж, готовь его, владыка Смерти.

Я поклонился Клеопатре и покинул мавзолей; и всю ту ночь мы с Атуа трудились, готовя смертоносный яд. И вот он наконец готов, и Атуа наливает его в хрустальный фиал и подносит к огню светильника: жидкость прозрачна, как чистейшая вода.

— Ах-ха! Питье, поистине достойное царицы! — пропела она своим пронзительным хриплым голосом. — Когда Клеопатра поднесет эту прозрачную воду, над которой я столько колдовала, к своим алым губам и выпьет пятьдесят капель, твоя месть свершится, о мой Гармахис! Ах, если



бы я могла быть там, с тобой, и видеть, как погубившая тебя погибнет! Ах-ха! Какое сладостное зрелище!

— Мечь — это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил,  
— ответил я, вспомнив слова произнесенные Хармианой.

## **Глава VIII , повествующая о последнем ужине Клеопатры; о том, как Хармиана пела ей прощальную песнь; как Клеопатра выпила смертельный яд; как Гармахис открыл ей свое имя; как вызвал перед нею духов из царства Осириса; и о том, как Клеопатра умерла**

Утром Клеопатра, получив согласие Октавиана, отправилась в усыпальницу Антония и долго плакала, сетуя, что боги Египта оставили ее. Поцеловала гроб, осыпала его цветами лотоса и, вернувшись, погрузилась в бассейн, после чего ее умастили благовониями, облекли в роскошный из ее нарядов, и вместе с Ирадой, Хармианой и со мной она села ужинать. Во время ужина она вдруг загорелась безудержным весельем — так порою ярко вспыхивает закатное небо; она опять смеялась, блистательно шутила, как в былые времена, рассказывала о пирах, которые устраивали они с Антонием. Никогда не была она столь прекрасной, как в тот последний роковой вечер перед свершением моей мести. И так случилось, что, вспоминая о пирах, она заговорила о том пире в Тарсе, когда растворила и выпила жемчужину.

— Как странно, — сказала она, — как странно, что в последние минуты перед смертью из всех пиров Антоний вспомнил именно этот и повторил слова Гармахиса. Ты помнишь, Хармиана, того египтянина?

— О да, царица, я его помню, — помедлив, ответила Хармиана.

— А кто был этот Гармахис? — спросил я, ибо мне хотелось знать, хранит ли ее сердце печаль обо мне.

— Я расскажу тебе. Странная тогда случилась история, но теперь, когда все счеты с жизнью кончены, ее можно рассказать, ничего не страшась. Этот Гармахис был потомок древних фараонов Египта по прямой линии, его тайно короновали на царство в Абидосе и послали сюда, в Александрию, возглавить могучий заговор, который составили египтяне, желая свергнуть нас, царственных Лагидов. Он приехал, проник во дворец и занял должность моего астролога, ибо обладал великими познаниями в

древнем искусстве магии — как и ты, Олимпий, — и к тому же был удивительно красив. Он должен был убить меня и стать фараоном. Да, это был могущественный враг, ибо его поддерживал почти весь Египет, а у меня сторонников было мало. Но в ту самую ночь, когда ему надлежало осуществить свой замысел, за несколько минут до его прихода ко мне явилась Хармиана и рассказала о заговоре, тайна которого открылась ей случайно. Я ничего тебе не говорила, Хармиана, но очень скоро усомнилась, что ты и в самом деле узнала о заговоре случайно: клянусь богами, я уверена: ты любила Гармахиса и предала его из мести, потому что он тебя отверг, и по той же причине потом не захотела стать женой и матерью, а это противно природе женщины. Признайся, Хармиана, я угадала? Сейчас, когда в глаза нам глядит Смерть, можно признаваться во всем без боязни.

Хармиана задрожала.

— Да, это правда, о царица; я тоже принадлежала к заговорщикам, и когда Гармахис отверг мою любовь, я предала его; из-за моей великой любви к нему я осталась на всю жизнь одна. — Она взглянула на меня, встретилась со мною взглядом и смиренно опустила ресницы.

— Ага, я не ошиблась. Кто поймет сердце женщины? Не думаю, однако, что твой Гармахис был благодарен тебе за твою любовь. А ты, что скажешь ты, Олимпий? Ах, Хармиана, Хармиана, значит, и ты оказалась предательницей. Поистине, монархов на каждом шагу подстерегает измена. Но я прощаю тебя, ибо с тех пор ты служила мне верно и преданно.

Но мы отвлеклись от Гармахиса. Убить его я не посмела — боялась, что огромная армия его сторонников в ярости поднимется против меня и сбросит с трона. Но события приняли неожиданный оборот. Нужно сказать, что, хотя Гармахис готовился меня убить, он, сам того не понимая, полюбил меня, а я довольно скоро об этом догадалась. Конечно, я с самого начала постаралась завоевать его, ведь он был так хорош собой и образован; а если Клеопатра захотела, чтобы ее полюбили, ни одно мужское сердце не могло перед ней устоять. И потому когда он пришел ко мне с кинжалом в складках своего одеяния, чтобы убить, я пустила в ход все свои чары обольщения, желая отнять у него волю, и кто усомнится, что в этом поединке женщина победила мужчину? О, забыть ли мне взгляд, каким глядел на меня этот поверженный царевич, этот нарушивший священные обеты жрец, этот утративший свою законную корону фараон, когда я дала ему маковый отвар и он беспомощно проваливался в сон, который навеки отнимал у него честь и славу! Однако я увлеклась Гармахисом, хотя любовью это чувство не назовешь, но потом он мне

наскучил — уж очень он был учен и мрачен, больная совесть и вина мешали ему предаваться веселью. А он — он любил меня, поистине забыв обо всем на свете, тянулся ко мне, как пьяница к вину, которое его губит. В надежде, что я стану его супругой, он открыл мне тайну сокровища, спрятанного в пирамиде Менкаура, ибо в то время мне были необходимы средства, и мы вместе с ним спустились в ужасную гробницу и извлекли сокровище из груди мертвого фараона. Смотрите, вот этот изумруд тоже лежал там! — И она указала на огромного скарабея, которого извлекла из груди божественного Менкаура. — И вот я, испугавшись тех страшных слов, которые были начертаны в усыпальнице, и чудовища, которое мы видели в гробнице, — ах, почему это омерзительное воспоминание явилось мне сейчас? — а также из политических соображений, ибо мне хотелось завоевать любовь Египта, решила стать супругой Гармахиса и объявить всему миру, что он — истинный законный потомок фараонов и коронованный на царство фараон, а потом с его помощью защищать Египет от Рима. Ведь как раз в то время Деллий привез мне от Антония послание, в котором триумвир требовал, чтобы я явилась к нему на суд, и после долгих размышлений решила объявить Антонию войну. Но как раз когда служанки убирали меня для выхода в тронный зал, где я должна была дать ответ Деллию, явилась Хармиана, и я ей все рассказала, ибо хотела знать, что она думает о моем решении. Ты и представить себе не можешь, Олимпий, какая великая сила — ревность: с помощью этого крошечного клина можно расщепить могучее древо империи, этот тайный молот выковывает судьбы монархов! Как, мужчина, которого Хармиана любит, станет моим мужем?! Станет мужем женщины, которую он сам так самозабвенно любит? Этого Хармиана допустить не могла, попробуй опровергнуть мои слова, Хармиана, тебе это не удастся, ибо теперь я знаю все! И потому она принялась убеждать меня тончайшими, изощреннейшими доводами, что брак с Гармахисом был бы величайшей ошибкой и что мне следует плыть к Антонию, и сейчас, когда жить мне осталось какой-нибудь час, я признаюсь тебе, Хармиана: я бесконечно благодарна тебе за твой совет. Я и сама сомневалась, а ее слова окончательно склонили чашу весов в пользу Антония — я поплыла к нему. И чем все кончилось, что породила злая ревность красавицы Хармианы и страсть мужчины, который был послушен мне, как струны арфы пальцам музыканта? Октавиан захватил Александрию; Антоний потерял свои владения, свою былую славу и умер; и я сегодня ночью тоже умру! Ах, Хармиана, Хармиана, за многое тебе придется держать ответ — ведь ты изменила ход истории. И все-таки даже сейчас, в эти последние минуты, я

повторю: какое счастье, что все случилось так, а не иначе!

Она умолкла и закрыла глаза рукой; я поднял взгляд и увидел, что по щеке Хармианы медленно катится огромная слеза.

— А что ж Гармахис? — спросил я. — Где он сейчас, моя царица?

— Где он сейчас? Увы, в Аменти — наверно, искупает свою вину перед Исидой. В Тарсе я увидела Антония и полюбила его, и с этого мгновения мне стал ненавистен египтянин, я даже видеть его не могла без отвращения и поклялась убить — это лучший способ избавиться от опостылевшего любовника. А он, воспламененный ревностью, предрек мне гибель во время пира, когда я выпила жемчужину; и тогда я решила подослать к нему убийц в ту же ночь, но опоздала — он успел бежать.

— Куда же он бежал?

— Того не знаю. Бренн — он был начальником дворцовой стражи и всего год назад уехал к своим соплеменникам на север — так вот, Бренн клялся, что собственными глазами видел, как Гармахис улетел в небо; но я не верю Бренну: мне кажется, он питал к Гармахису дружбу. Гармахис бежал, его судно потерпело крушение неподалеку от Кипра, и он утонул. Быть может, Хармиана расскажет, как ему удалось бежать?

— Я ничего не знаю, о царица; знаю только одно: Гармахис погиб.

— К счастью для всех, Хармиана, ибо он нес людям зло — да, он был моим возлюбленным, и все же я рада его гибели. Он помог мне в тяжкие времена, но я не любила его истинной любовью и боялась, я даже сейчас его боюсь; мне кажется, во время битвы при Акциуме я сквозь шум и крики услышала его голос, он приказал мне бежать. Возблагодарим же богов, что он погиб, как ты уверяешь, Хармиана, и пусть он во веки не воскреснет.

Но после этих слов я сосредоточил свою волю и, применив приемы искусства, которым я владею, окутал тенью моего духа дух Клеопатры, так что она почувствовала рядом с собой присутствие Гармахиса.

— О, боги, что это? — воскликнула она. — Клянусь Сераписом! Мне страшно, страшно! Клянусь Сераписом, Гармахис здесь, я это чувствую, хотя уж десять лет, как он умер! Воспоминания о нем нахлынули на меня, точно волны, вот-вот затянут в водоворот! О, в такой миг это просто святотатство!

— Не бойся, о царица, — сказал я, — ибо если он умер, его дух разлит повсюду, и в этот миг — миг твоей смерти, Гармахис может приблизиться к тебе, чтобы приветствовать твой дух, когда он отлетит от тела.

— Не говори так, Олимпий! Я не желаю больше видеть Гармахиса; слишком велика моя вина перед ним, в ином мире нам, быть может, легче

будет встретиться. Ну вот, ужас отступает! Я просто поддаюсь малодушию. Что ж, история этого злосчастного глупца помогла нам скоротать самый страшный час нашей жизни — час, который обрывает Смерть. Спой мне, Хармиана, голос твой нежен, он волеет покой в мою душу и усыпит ее. Странно, этот выплывший из прошлого Гармахис почему-то меня растревожил. Ты столько лет услаждала мой слух своими чудесными песнями. Теперь спой последнюю.

— В столь горький час петь нелегко, о царица! — сказала Хармиана, но все-таки подошла к арфе и запела. Она выбрала плач по возлюбленной сладкогласного сирийца Мелеагра и пела его тихо, проникающим в самое сердце голосом:

Моя возлюбленная умерла, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.  
Владычица души и сердца умерла, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.  
О слезы, выжгите глаза мне, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.  
Проникните сквозь мрак к любимой, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.  
Навеки я в плену страданья без исхода, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.  
Остались только память и печаль мне, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.  
Цветами осыпаю я твою могилу, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.  
Не видишь ты цветов благоуханных, нежных, -  
Лейтесь слезы, лейтесь.  
Не слышишь горьких песен, что пою я, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.  
Земля, баюкай мой цветок в своих объятьях, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.  
Лелей нежнейшую из роз — любимую мою, -  
Лейтесь, слезы, лейтесь.

Последние звуки нежной, печальной музыки замерли, Ирада плакала, даже в грозových глазах Клеопатры сверкали слезы: один я не плакал — мои слезы давно иссякли.

— Печальна твоя песня, Хармиана, — произнесла царица. — И ты

права: в столь горький час петь нелегко, но ты спела не песню, а плач. Когда я буду лежать мертвая, Хармиана, спой его надо мною еще раз. А сейчас простимся с музыкой, не будем заставлять Смерть ждать. Олимпий, возьми этот пергамент и напиши то, что я сейчас продиктую.

Я взял кусок пергамента и тростниковое перо и написал по-латыни:

Клеопатра — Октавиану.

Приветствую тебя. Наступил час, когда мы наконец почувствовали, что больше не в силах выносить постигшие нас несчастья, душе пора расстаться с брэнной оболочкой и улететь туда, где нет памяти о прошлом. Цезарь, ты победил: возьми добычу, которая принадлежит тебе по праву. Но Клеопатра не пойдет за твоей колесницей в том триумфальном шествии, к которому сейчас готовится Рим. Когда все погибло, мы сами должны идти навстречу гибели. И потому в пустыне одинокого отчаяния мужественные обретают решимость. Клеопатра не уступит Антонию в своем величии духа, и ее смерть не умалит ее славы. Рабы согласны жить и в унижении, но цари гордо входят через ворота унижения в Царство Смерти. Об одном лишь просит цезаря царица Египта: пусть он позволит положить ее в саркофаг рядом с Антонием. Прощай!

Я запечатал послание, Клеопатра приказала мне отдать его кому-нибудь из стражи, чтобы он отнес цезарю и вернулся. Я вышел из мавзолея, кликнул солдата, который только что сменился, дал ему денег и велел доставить письмо цезарю. Потом вошел в мавзолей — три женщины молча стояли в комнате. Клеопатра приникла к плечу Ирады, Хармиана смотрела на них.

— Если ты в самом деле решила расстаться с жизнью, о царица, то не медли, — сказал я, — ибо скоро здесь будут люди цезаря, он их пришлет, едва получит твое письмо. — И я поставил на стол фиал с сильнейшим ядом, прозрачным, как ключевая вода.

Она взяла фиал в руки и стала рассматривать.

— Как странно, стало быть, это моя смерть, — сказала Клеопатра, — а с виду никогда не заподозришь.

— Это не только твоя смерть, царица. Здесь хватит яда, чтобы убить еще десятерых. Довольно нескольких капель.

— Я боюсь... — Ее голос прервался. — Кто поручится, что он убьет мгновенно? Столько людей умирало на моих глазах от яда, и почти все мучились. А некоторые... о, даже вспомнить страшно!

— Не бойся, — проговорил я, — я мастер в своем искусстве. Впрочем,

если страх твой так велик, вылей яд и живи. Быть может, в Риме тебя еще ожидает счастье: ты пойдешь за колесницей триумфатора-цезаря по римским улицам, и смех римлянок, глядящих на тебя с презрением, заглушит звон твоих золотых цепей.

— Нет, нет, Олимпий, смерть, только смерть. О, если бы кто-нибудь указал мне путь!

Ирада высвободила руку и шагнула ко мне.

— Налей мне своего яду, врач, — сказала она. — Я пойду первой и встречу там мою царицу.

— Да, вот истинная верность, — сказал я, — но ты сама выбрала свою судьбу! — И налил немного жидкости из фиала в маленький золотой кубок.

Ирада подняла его, низко поклонилась Клеопатре, подошла к ней и поцеловала в лоб, потом поцеловала Хармиану. Молиться она не стала, ибо была гречанка, и, не медля ни мгновенья, выпила яд, подняла руку ко лбу, тотчас же упала и умерла.

— Ты видишь, — сказал я, прервав долгое молчание, — теперь ты видишь, как быстро он действует.

— Вижу, Олимпий; ты истинно велик в своем искусстве. Теперь мой черед утолить жажду; налей мне кубок, Ирада уже ждет меня у ворот царства Осириса, и ей там одиноко!

Я снова налил яду, но на сей раз, ополаскивая кубок, оставил там немного воды, ибо перед смертью Клеопатра должна была узнать меня.

И царственная Клеопатра, взяв кубок в руки, подняла к небу свои прекрасные глаза и стала говорить:

— О боги Египта, вы покинули меня, и потому я не стану вам молиться, ведь ваши уши глухи к моим стенаниям, а глаза не видят моих слез! Я взываю к тому единственному другу, которого боги, отворачиваясь от обездоленных, нам оставляют. Спешите ко мне, о Смерть, ты, осеняющая своими сумеречными крыльями весь мир, и выслушай меня! Я жду тебя, владыка всех владык, уравнивающая в своем царстве баловней судьбы и несчастнейших рабов, своей десницей пресекающая трепет нашей жизни на этой горестной земле. Укрой меня там, где не дуют ветры и где остановились воды, где не бывает войн и куда не придут легионы цезаря! Отнеси меня в иные миры и коронуй на царство в Стране Покоя! Ты моя державная владычица, о Смерть, поцелуй меня! Моя душа сейчас рождается заново, видишь: она стоит у черты Времени! Все, прощай, Жизнь! Здравствуй, Вечный Сон! Здравствуй, мой Антоний!

И, взглянув еще раз на небо, она выпила яд и бросила кубок на пол.

И вот тут наконец настал миг, которого я столько лет дожидался — миг



моей мести, мести поруганных богов Египта, мести Менкаура, проклятие которого обрушилось на совершившую кощунство.

— Что это? — вскричала Клеопатра. — Я вся похолодела, но я жива! Ты обманул меня, мой мрачный врач, ты меня предал!

— Терпенье, Клеопатра! Ты скоро умрешь и изведешь всю ярость богов! На тебя пало проклятье Менкаура! Мсть свершилась! Вглядись в меня, о женщина! Вглядись в это погасшее лицо, взглядишь в эти иссохшие руки, взглядишь в это живое воплощение скорби! Смотри внимательно! Ну что, узнала?

Она не могла оторвать от меня расширенных в смертельном ужасе глаз.

— О, боги! — закричала она, выбрасывая перед собой руки. — Да, наконец-то я тебя узнала! Ты — Гармахис, тот самый Гармахис, ты пришел ко мне из царства мертвых!

— Да, я Гармахис, и я пришел к тебе из царства мертвых, чтобы увлечь тебя туда на вечные терзания! Так знай же, Клеопатра: это я погубил тебя, как ты много лет назад погубила меня! Долго я трудился, скрытый тьмою, разгневанные боги помогали мне, и вот теперь я признаюсь тебе — я тайная причина всех твоих несчастий. Это я наполнил твое сердце страхом во время битвы при Акциуме; это я лишил тебя поддержки египтян; это я отнял все силы у Антония; я показал знамение твоим военачальникам, и потому они перешли на сторону Октавиана! И от моей руки ты сейчас умираешь, ибо великие боги избрали меня своим мстителем! Гибель за гибель, измена за измену, смерть за смерть! Подойди ко мне, Хармиана, заговорщица, предавшая меня, но искупившая потом свою вину, подойди ко мне и раздели мое торжество: мы будем вместе смотреть, как умирает эта презренная распутница.

Услышав мои слова, Клеопатра опустилась на золотое ложе и прошептала:

— И ты, Хармиана!

Она умолкла, но потом ее царственный дух вознесся в недостижимые, ослепительные высоты.

Она с трудом поднялась с ложа и, протянув ко мне руки, прокляла меня.

— О, если бы судьба мне даровала один только час жизни! — воскликнула она. — Единственный короткий час! Ты умер бы в таких мучениях, какие не приснятся в самом страшном сне, — и ты, и эта лживая потаскуха, предавшая и тебя, и меня! И ты любил меня, ты! А, вот она, твоя казнь! Смотри, коварный, лицемерный, плетущий заговоры жрец! — Она

разорвала на груди свое роскошное одеяние. — Смотри, на этой прекрасной груди много ночей покоилась твоя голова, ты засыпал в объятиях этих рук. Забудь меня, если сможешь! Не сможешь, я вижу это в твоих глазах! Все мои муки ничто в сравнении с той пыткой, которая терзает твою мрачную душу, ты вечно будешь жаждать, и никогда тебе не утолить твоей жажды! Гармахис, жалкий раб, как мелко твое торжество по сравнению с моим: я, побежденная, победила тебя! Прими мое презрение, ничтожный! Я, умирая, обрекаю тебя на пытки твоей неиссякаемой любви ко мне! О Антоний, я иду к тебе, мой Антоний, я спешу в твои объятия! Мы скоро встретимся и, осененные нашей божественной любовью, вместе поплывем по бескрайним просторам вселенной — уста к уста, глаза в глаза, и с каждым глотком напитков страсти будет казаться нам все слаще! А если я не найду тебя там, в потустороннем царстве, то я уйду в поля маков и среди них засну. Ночь станет нежно баюкать меня на груди, а мне в моих грезах будет казаться, что я лежу у тебя на груди, мой Антоний! Я умираю... приходи, мой Антоний, даруй мне покой!

О, я полыхал гневом, но гнев не выдержал ее презрения, слова царицы, точно стрелы, вонзились мне в сердце. Увы, случилось то, что и предсказывала Хармиана: моя месть поразила меня самого — никогда еще я не любил Клеопатру так мучительно, как сейчас. Мою душу терзала ревность, и я поклялся, что так просто она не умрет.

— Ты жаждешь покоя? — воскликнул я. — Да разве ты заслужила покой? О, боги священной триады, молю вас, услышьте меня! Осирис, распахни врата преисподней и выпусти тех, к кому я взываю! Явись, Птолемея, отравленный своей сестрой Клеопатрой; явись, Арсиноя, убитая в святилище своей сестрой Клеопатрой; явись, божественный Менкаура, чье тело Клеопатра растерзала, презрев из алчности угрозу мести и проклятье богов; явитесь все до одного, кто умер от руки жестокой Клеопатры! Покиньте колыбель Нут и встаньте перед той, что умертвила вас! Духи, взываю к вам именем мистического единства и всего сущего великим знаком жизни — явитесь!

Я произнес заклинание; Хармиана в ужасе вцепилась в мое платье, умирающая Клеопатра медленно раскачивалась, опираясь руками о край ложа, и глядела перед собой ничего не видящими глазами.

И вот боги ответили на мой призыв. С шумом распахнулись створки окна, и в комнату влетела та огромная седая летучая мышь, которая висела, вцепившись в подбородок евнуха, когда мы с Клеопатрой были в сердце пирамиды фараона Менкаура. Она трижды облетела комнату, повисла, трепеща крылами, над трупом Ирады, потом устремилась туда, где стояла

умирающая Клеопатра. Седое чудовище село ей на грудь, вцепилось в изумруд, который столько тысячелетий покоился в мумии божественного фараона Менкаура, трижды пронзительно крикнуло, трижды взмахнуло огромными костлявыми крылами и исчезло, как будто его и не было.

И вдруг мы увидели, что комнату заполнили тени умерших. Вот красавица Арсиноя, зарезанная ножом подосланного убийцы. Юноша Птолемей с искаженным мукой лицом, умирающий от яда. Божественный Менкаура с золотым уреем на лбу; скорбный Септа, весь истерзанный крючьями палачей; отравленные рабы, бесчисленное множество ее жертв, страшных, призрачных; они набились в небольшую комнату и молча стояли, вперив остекленевшие глаза в ту, что отняла у них жизнь!

— Смотри же, Клеопатра! — приказал я. — Вот какой покой тебя ожидает! Взгляни и умри!

— Да! — подхватила Хармиана. — Взгляни же и умри, о ты, укравшая у меня достоинство, а у Египта — его царя!

Клеопатра подняла глаза, увидела ужасные тени — быть может, ее покидающий тело дух услышал слова, которых я не мог уловить. На ее лице застыл невыразимый ужас, огромные глаза словно выцвели, Клеопатра пронзительно закричала, упала и умерла: сопровождаемая своей зловещей свитой, она полетела туда, где ее уже ждали.

Так я, Гармахис, совершил месть, которую столь долго лелеяла моя душа, восстановил справедливость, как повелели мне боги, но сердце мое было пусто, в нем не мелькнуло ни блески радости. Пусть самое дорогое для нас существо несет нам гибель, ибо Любовь более жестока, чем Смерть, и мы, когда приходит час, оплачиваем за наши муки той же монетой, — мы все равно не можем перестать любить, мы с тоской протягиваем руки к тому, что было предметом наших страстных желаний, и кровь нашего сердца льется на алтарь развенчанного божества.

Ибо Любовь — веяние Мирового Духа, она не знает Смерти.

## **Глава IX , повествующая о прощании Хармианы с Гармахисом; о смерти Хармианы; о смерти старой Атуа; о возвращении Гармахиса в Абидос; о его признании в Зале Тридцати Шести Колонн; и о приговоре, который вынесли Гармахису верховные жрецы**

Хармиана выпустила мою руку, которую все это время судорожно сжимала.

— Как страшна оказалась твоя месть, о сумрачный Гармахис, — хрипло прошептала она. — О Клеопатра, Клеопатра, ты совершила много преступлений, но ты была поистине великая царица!... А теперь помоги мне, царевич: положим эту брэнную оболочку на ложе и уберем по-царски, пусть эта последняя царица Египта своим безмолвием скажет посланцам цезаря все, что может сказать царица.

Я ничего ей не ответил, на сердце была каменная тяжесть, и теперь, когда все свершилось, я чувствовал, что у меня нет сил. Но мы вместе с Хармианой подняли мертвую Клеопатру и положили на золотое ложе. Хармиана надела на ее матовый, как слонобая кость, лоб венец в виде золотого урея, расчесала волосы цвета безлунной и беззвездной ночи, в которых не было ни единой серебряной пряди, закрыла навсегда глаза, в которых еще совсем недавно синело и бушевало переменчивое море. Она сложила похолодевшие руки на груди, в которой оттрепетала страсть, выпрямила согнувшиеся в коленях ноги, расправила складки роскошного вышитого платья, поставила в головах цветы. Сейчас, в холодном величии смерти, Клеопатра была еще прекраснее, чем в лучезарном сиянии полноты жизни и счастья.

Мы отошли и посмотрели на нее, на мертвую Ираду у ее ног.

— Все, конец, — проговорила Хармиана, — мы отомстили, Гармахис, и что теперь? Пойдем за ней? — Она кивнула в сторону фиала, стоявшего на столе.

— Нет, Хармиана. Я умру, но умру куда более мучительной смертью.

Мой срок земного искупления еще не кончился, а сам я не могу его прервать.

— Ты лучше знаешь, как тебе поступить, Гармахис. А я — я сейчас уйду из этой жизни, и крылья смерти унесут меня легко и быстро. Я свою игру сыграла. И тоже искупила свою вину. О, какая горькая мне выпала судьба — я принесла несчастье всем, кого любила, и вот теперь я умираю, и ни одна душа не вспомнит обо мне с любовью! Я искупила свою вину перед тобой, Гармахис; я искупила вину перед разгневанными богами; теперь мне надо заслужить прощенье Клеопатры там, в аду, где она сейчас и куда я последую за ней. Гармахис, ведь она меня любила; и теперь, когда ее нет, я поняла, что после тебя я любила ее больше всех на свете. И потому я наполню сейчас кубок, из которого она пила с Ирадой! — Хармиана взяла фиал и недрогнувшей рукой вылила в кубок остатки яда.

— Подумай, Хармиана, — сказал я, — ведь ты еще так молода, перед тобою вся жизнь; ты спрячешь эти горестные воспоминания глубоко в сердце и будешь жить много, много лет.

— Да, я могла бы, но не хочу. Жить, терзаемая памятью о сотворенном зле, носить в душе незаживающую рану скорби, которая будет год за годом кровоточить бессонными ночами, жить, умирая от стыда, жить под невыносимым бременем любви, которую я не в силах вырвать из сердца, жить одиноко, точно искалеченное бурей дерево на краю пустыни, которое скрипит от ветра и ждет, когда в него ударит молния, а молния все медлит, — нет, Гармахис, такая жизнь не для меня! Моя душа давно умерла, я лишь продолжала существовать, чтобы служить тебе; теперь я тебе больше не нужна и потому умру. Прощай, прощай навек! Никогда больше я не увижу твоего лица. Тебя не будет там, куда я ухожу. Ведь ты не любишь меня, ты по-прежнему любишь эту царственную женщину, которую ты загнал до смерти, как гончая. Но ее ты никогда не завоеуешь, как мне никогда не завоевать тебя, — как беспощадно распорядилась нами Судьба! Послушай, Гармахис, пока я еще не умерла и не превратилась для тебя в постыдное воспоминанье, я хочу молить тебя о милости. Скажи мне, что ты простил меня, насколько это в твоей власти — прощать, и в знак прощения поцелуй меня, не как влюбленный, о нет, просто поцелуй в лоб, и тогда я отойду с миром.

Она подошла ко мне и протянула руки, губы ее дрожали от сдерживаемых слез, глаза не отрывались от моего лица.

— Хармиана, в нашей воле выбрать путь добра или зла, — ответил я, — но я уверен, что нашими судьбами управляет иная, высшая Судьба, она, точно ураган, принесшийся неведомо откуда, вдруг подхватывает наши

утлые ладьи, и, как бы мы ни боролись с ветром, разбивает их и топит. Я прощаю тебя, Хармиана, как, надеюсь, когда-нибудь боги простят меня, и этим поцелуем, первым и последним, скрепляю мир между тобой и мной. — И я коснулся губами ее лба.

Она молчала, только стояла неподвижно, и долго, печально смотрела на меня. Потом подняла кубок.

— Царственный Гармахис, этот яд я пью за твое здоровье. Мне надо было выпить его раньше, до того, как я увидела тебя! Прощай же, фараон! Когда минуют сроки искупления, ты будешь править высшими мирами, куда мне нет пути, и скипетр в твоих руках будет скипетром божества, царский жезл, которого я тебя лишила, — пустая игрушка рядом с ним. Прощай, навек прощай!

Она выпила яд, бросила кубок и осталась стоять, глядя широко открытыми глазами в пустоту, словно искала в ней Смерть. И Смерть пришла, египтянка Хармиана упала ничком на пол, бездыханная. А я остался один среди мертвых. Потом я тихо приблизился к ложу Клеопатры, сел рядом с ней — никто ведь нас теперь не видел, — и положил ее голову к себе на колени, как много лет назад под сенью извечной пирамиды, в ту ночь, когда мы совершили святотатство. Я поцеловал ее ледяной лоб и покинул дом Смерти — отмщенный, но раздавленный отчаяньем.

— Эй, врач, — окликнул меня начальник стражи, когда я выходил из ворот, — что происходит в мавзолее? Я слышал крики, не умер ли там кто-нибудь?

— Там ничего не происходит, все уже произошло, — ответил я ему и ушел прочь. Скоро в темноте я услышал голоса и быстрые шаги людей цезаря.

Я побежал домой и у ворот увидел Атуа, она ждала меня. Атуа тотчас же увлекла меня в дальнюю комнату в заперла засовы.

— Ну что, все кончено? — спросила она, вглядываясь в меня при свете светильника, лучи которого падали на ее иссохшее лицо и белые, как соль, волосы. — Глупая, зачем мне спрашивать — я и так знаю, что кончено.

— Да, Атуа, все кончено, мы не напрасно трудились. Все умерли: Клеопатра, Ирада, Хармиана, один лишь я остался жить.

Старуха выпрямила свои согбенные плечи и воскликнула:

— Ну вот, теперь позволь и мне отойти с миром, ибо исполнились мои желанья: твои враги и враги Кемета мертвы. Ах-ха! Не зря я жила на этом свете больше срока, отпущенного людям! Я выполнила назначенное мне богами: долго я собирала росу Смерти, и вот твои враги ее наконец выпили! Упала корона с этого надменного лба! Повержена в прах та, что

столько лет бесславила Кемет! Ах, почему я не видела, как умирает эта распутница!

— Довольно, Атуа, довольно! Мертвые принадлежат царству мертвых. Осирис тотчас призывает их к себе, и вечное молчание смыкает их уста. Не надо оскорблять великих после того, как они пали. Давай лучше поспешим, нам надо плыть в Абидос, ведь еще не все завершено.

— Плыви, Гармахис, плыви, мой внук, я уже не буду сопровождать тебя. Я не могла позволить моей жизни оборваться лишь потому, что жаждала покарать твоих врагов. Теперь я развяжу узел, который держит мою жизнь, и отпущу мой дух на свободу. Прощай, царевич, паломница закончила свой путь. Гармахис, мое дитя, я любила тебя всю жизнь, с колыбели, люблю с такой же нежностью и сейчас, но больше в этом мире я не смогу делить с тобой твои невзгоды — иссякли мои силы. Прими мой дух, Осирис! — Ее дрожащие колени подогнулись, она медленно опустилась на пол.

Я подбежал к ней, поднял на руки, стал вглядываться в ее лицо. Она была мертва, я остался один на этом свете, без единого друга, который поддержал бы меня.

Я вышел из дому и пошел по улицам, никто меня не остановил, ибо весь город был в смятении, добрался до гавани, где меня ждало заранее приготовленное судно, и покинул Александрию. На восьмой день я высадился на берег и зашагал пешком мимо возделанных полей туда, где должна была решиться моя судьба — к священным храмам Абидоса. Я знал, что здесь, в святилище божественного Сети, возобновилось служение богам, это Хармиана убедила Клеопатру смягчиться и отменить запрет, а также вернуть храму земли, которые когда-то отняла, хотя с его богатствами Клеопатра не пожелала расстаться. Храм подвергся очищению, и вот сейчас, во время мистерий, посвященных Осирису и Исиде, здесь собрались верховные жрецы всех древних храмов Египта, чтобы отпраздновать возвращение богов в их священный дом.

Я вошел в город. Был седьмой день празднеств в честь Осириса и Исиды. По улицам, которые я так хорошо помнил, вилась нескончаемая процессия. Я влился в нее, и когда мы прошли сквозь храмовые ворота между могучими пилонами и вступили в не подвластные разрушительной силе Времени залы, я вместе со всеми запел торжественные слова призывания. Как хорошо я их знал!

Несем свою скорбь мы в залы великого храма,

Несем свою скорбь в семь его древних святилищ.  
Пламенно молим светлого бога: «Воскресни!  
Вернись к нам, Осирис, из мрачного царства Смерти!  
Вернись, благодатный, даруй нам надежду и радость!»

И вот священное песнопение смолкло, и, как прежде, едва лишь божественный Ра скрылся за горизонтом, верховный жрец взял статую воскресшего Осириса и поднял высоко перед толпой.

С радостными возгласами: «Осирис! Наша надежда, Осирис!» — люди сбросили с себя черные балахоны, под которыми оказались белые одежды, и все, как один, склонились перед великим богом.

Потом все разошлись по домам, где их ждал праздничный ужин; один лишь я остался во дворе храма.

Немного погодя ко мне подошел один из младших жрецов и спросил, какое дело привело меня сюда. Я объявил ему, что прибыл из Александрии и хочу предстать перед Советом верховных жрецов, ибо мне ведомо, что великие жрецы собрались сейчас и обсуждают события, которые произошли в Александрии.

Жрец ушел, а верховные жрецы, услышав, откуда я приплыл, велели ему тотчас же привести меня к ним, во второй Зал Колонн и Статуй, и жрец меня повел. Уже стемнело, между огромными колоннами горели светильники, как в ту ночь, когда меня короновали фараоном Верхнего и Нижнего Египта. Как и тогда, в резных креслах, поставленных длинным рядом, сидели духовные владыки и беседовали. Все было как прежде, те же бесстрастные лики богов и царей взирали с не подвластных Времени стен своими пустыми глазами. Но это еще не все! Среди собравшихся на совет было пятеро сановников из верхушки великого заговора, они присутствовали на моей коронации, и только им одним удалось избежать расправы Клеопатры и разящей косы Времени.

Я встал на то же место, где стоял, когда на меня возлагали корону, и с горечью в сердце, которую невозможно описать, приготовился к тому, что презрение этих достойнейших граждан Египта сейчас испепелит меня.

— Да это же врач Олимпий, — сказал кто-то из верховных жрецов. — Тот самый, что долго жил отшельником в гробнице фараона близ Тапе, а потом стал приближенным Клеопатры. Скажи, врач, это правда, что царица умерла, что она совершила самоубийство?

— Да, великие духовные наставники, я тот самый врач, кого называют Олимпием, это правда; правда и то, что Клеопатра умерла, но она не совершала самоубийства — ее убил я.



— Ты?! Как это возможно? Но все равно: мы истинно ликуем, что этой отвратительной блудницы больше нет.

— Выслушайте меня, о великие духовные наставники, я все вам расскажу, для того я и явился к вам сюда. Быть может, кто-то из вас сидел здесь, в этом зале одиннадцать лет назад, на тайной коронации некоего Гармахиса, который был провозглашен фараоном Кемета? Мне кажется, я вижу несколько знакомых лиц.

— Да, верно! — раздались возгласы. — Но как, Олимпий, может быть тебе такое ведомо?

— Вас всего пять, — продолжал я, не отвечая на их вопрос, — а было тридцать семь знатнейших и достойнейших. Иные умерли, как умер Аменемхет; иных казнили, как казнили Септа; иные, может быть, и по сей день надрываются в шахтах, как последние рабы; иные бежали в чужие края, опасаясь мести.

— Все так, — сказали они, — увы, все это так. Подлый изменник Гармахис предал наш заговор и все позабыл ради этой распутной Клеопатры!

— Да, это правда, — сказал я и поднял голову. — Гармахис предал заговор и все забыл ради Клеопатры. Достойнейшие из достойных, этот Гармахис — я.

Ошеломленные жрецы и сановники воззрились на меня. Кто-то вскочил с кресла, начал взволнованно говорить, другие молчали.

— Да, я тот самый Гармахис! Тот самый изменник, трижды клятвопреступник, предавший моих богов, мою отчизну, мои священные обеты! И я пришел сюда сказать все это вам. Я учинил божественное правосудие над той, что погубила меня и отдала Египет Риму. Много лет я упорно трудился и терпеливо ждал, и вот теперь, когда моя мудрость и вдохновение разгневанных богов помогли мне совершить возмездие, я принес на ваш суд мои преступления и мой позор, я готов принять кару, которая должна постигнуть предателя!

— Ты знаешь ли, какая казнь ждет нарушившего священную клятву, ту клятву, которую не должно нарушать? — зловеще спросил меня тот из жрецов, который первым узнал во мне Олимпия.

— Да, знаю, — ответил я, — я жажду этой казни.

— О ты, который был Гармахисом, рассказывай же нам, как все произошло.

И я спокойно, ясно поведал им о своих злодеяниях, не утаив ни одного. И с каждым моим словом их лица все мрачнели, я понял, что милости ко мне у них не будет; да я ее и не просил, а если б попросил, они

бы вознегодовали.

И вот я наконец закончил свой рассказ; жрецы велели мне удалиться и стали решать мою судьбу. Потом снова призвали к себе, и самый старший среди них, всеми почитаемый девяностолетний верховный жрец храма божественной Хатшепсут из Тапе, торжественно возгласил:

— Гармахис, мы обсудили все, что ты нам сейчас рассказал. Ты совершил три самых тяжких преступления, какие только может совершить на этом свете человек. Ты вверг в несчастья наш Кемет, поработенный ныне Римом. Ты нанес жестокое оскорбление небесной матери Исиде. Ты нарушил священную клятву. Тебе известно, что для всех этих преступлений есть лишь одна кара, и мы приговариваем тебя к ней. Да, ты лишил жизни распутницу, которая соблазнила тебя на путь бесчестия; ты назвал себя самым гнусным злодеем, который когда-либо стоял среди этих стен, но все это не смягчило наш приговор. О ты, нарушивший священные обеты жрец, продавший свою отчизну египтянин, лишившийся своей законной диадемы фараон, и на тебя падет проклятие Менкаура! Здесь, где мы венчали твою главу Двойной Короной, мы приговариваем тебя к казни! Иди в темницу и жди, когда падет меч Судьбы! Сиди там и вспоминай, какое тебе было уготовано величие, и сравнивай утраченный блеск с бесславным концом, который тебя постиг! Быть может, боги, которым по твоей вине скоро перестанут поклоняться в этих святынях, проявят к тебе милосердие — от нас его не жди! Уведите его!

Меня схватили и повели прочь. Я шел, опустив голову, не поднимая взгляда, и все же чувствовал, как жгут меня их горящие гневом глаза.

Такого мучительного позора я за всю свою жизнь не переживал.

## Глава X , повествующая о последних днях потомка египетских фараонов Гармахиса

Меня отвели в тюремную камеру, что находится высоко в привратной башне храма, и здесь я дожидаясь часа моей казни. Мне неизвестно, когда опустится меч Судьбы. Течет неделя за неделей, месяц сменяется месяцем, а Судьба все медлит. Но я каждую минуту чувствую, что меч занесен над моей головой. Он упадет, я знаю, не знаю лишь — когда. Быть может, я проснусь в глухой час ночи и услышу шаги крадущихся ко мне убийц. Быть может, убийцы уже близко, рядом. Меня повлекут в тайную гробницу! Потом настанет непереносимый ужас! Меня положат в безымянный гроб! И наконец все кончится! О, скорее! Смерть, я жду тебя, спеши!

Я кончил свою повесть и ничего в ней не утаил — ни преступлений, которые я совершил, ни мести, которой покарал виновников. Теперь все поглотила тьма, все обратится в прах, я готовлюсь к тем мукам, что предстоят мне в иных мирах. Я уйду из этого мира, но уйду с надеждой: увы, я больше не вижу великую Исиду, она не отзывается на мои молитвы, но я знаю, что она со мной, она никогда меня не оставит, мы с нею встретимся, я снова увижу ее лик. И тогда наконец, в тот далекий день, мне будет даровано прощение; тогда с меня спадет тяжесть содеянного мною зла и чистота души вернется, озарит меня и принесет божественный покой.

О дорогая сердцу страна Кемет, сколь ясно я провижу твое будущее! Я вижу, как чужеземцы, народ за народом, утверждают на берегах священного Сихора свои знамена, как надевают на твою шею ярмо. Я вижу, как на твоей земле одна вера сменяется другой, третьей, десятой... как твой народ зовут молиться иным богам. Я вижу, как твои храмы — твои великие святыни — обращаются в руины, и те, кому когда-то еще только предстоит родиться, дивятся их несравненной красоте, проникают в священные гробницы и подвергают поруганию останки твоих великих фараонов. Я слышу, как профаны глумятся над божественными таинствами твоих знаний, как твоя древняя мудрость развеивается по ветру, точно пески пустыни. Я вижу, как римский орел ломает крылья и разбивается о камни, хотя с его клюва еще каплет кровь его жертв; я вижу, как пляшут отблески костров на копьях варваров, которые придут на смену римским легионам...

И вот наконец ты снова обретешь величие, о мой Кемет, ты снова обретешь свободу, к тебе вернутся твои боги, — да, твои истинные боги, хотя у них будет иной облик, иные имена, но все же это будут боги, которые хранили тебя в древности!

За Абидосом садится солнце. Закатные лучи Ра зажгли огнем крыши храмов, облили красным сиянием зеленые поля пшеницы, окрасили в пурпурный цвет воды бескрайнего животворящего Сихора. Вот так же в детстве я наблюдал закат, вот так же последний луч Ра с прощальной лаской касался хмурого чела пилона, и та же тень ложилась на гробницы. Ничто не изменилось! Изменился лишь я, один только я, я стал совсем другим — и все-таки я прежний!

О Клеопатра! Клеопатра, погубившая меня! Если бы я мог вырвать твой образ из моего сердца! Среди всех моих несчастий ты — самое горькое: я никогда не разлюблю тебя. Я обречен вечно лелеять этот укус змеи в моем сердце. В моих ушах будет вечно звучать твой тихий торжествующий смех... журчанье струй фонтана... песнь соло...

(На этом записи в третьем свитке обрываются.

Есть основания предположить, что к пищущему в это мгновенье пришли палачи, чтобы вести его на казнь.)



**Жемчужина  
Востока**





# ЖЕМЧЕЖИНА ВОСТОКА

## I. В тюрьмах Кесарии

Два часа ночи, но в Кесарии, на Сирийском побережье, многие еще не спали. Агриппа, милостями Рима ставший царем всей Палестины, достигший апогея своей власти, давал великолепный праздник в честь императора Клавдия. На его призыв поспешили все важные и влиятельные лица страны и десятки тысяч прочих палестинцев. Город был переполнен людьми, прибывшими со всех концов страны. Берег моря пестрел палатками и шалашами, в которых ютились те, кому не нашлось места ни в гостиницах, ни в заезжих дворах, ни в частных домах обывателей. Весь город кипел жизнью, как муравейник. Даже сейчас, ночью — хотя разноголосый оглушающий шум и стих над городом — толпы отпировавших гостей в венках из роз, теперь уже помятых и поблекших, возвращаясь к себе на ночлег, проходили по улицам с громкими песнями и смехом, а те, что были еще достаточно трезвы, обсуждали подробности игр в цирке, которые они только что наблюдали.

На холме возвышались мрачные каменные здания тюрьмы, разделенной на несколько крытых дворов, обнесенных общей высокой стеной и глубоким рвом. Заключение могли слышать, как работали там, внизу, у подножия храма, в амфитеатре, чернорабочие, готовя цирк и арену к завтрашнему зрелищу; доносившиеся звуки волновали несчастных: они должны были стать действующими лицами на этой арене.

На переднем дворе тюрьмы толпилось около сотни человек, называемых преступниками или злодеями, — по преимуществу иудеев, обвиненных в каких-нибудь политических проступках. Завтра они сражаются в цирке с двойным против них числом диких арабов, детей пустыни, захваченных во время их пограничных набегов. Арабы вооружаются громадными копьями и мечами. На протяжении двадцати минут безоружные, но одетые в тяжелые панцири и снабженные большими щитами иудеи должны будут бороться против вооруженных арабов. Тем из них, кто останется жив и не проявит трусости или малодушия в бою, равно арабам и иудеям, была обещана свобода. Действительно, милостивым указом царя Агриппы, не любившего бесполезного кровопролития, вопреки обычаям того времени, даже раненым даровали жизнь, если находились

люди, желающие взять на себя уход за ними.

В другом большом дворе в пустынной зале находилось не более пятидесяти человек заключенных. В глубоких нишах и гротах этой обширной залы отдельные группы имели полную возможность уединиться друг от друга. Здесь были женщины и дети разного возраста, а также около десятка мужчин, старых и хилых; остальные мужчины, сильные и молодые, были предназначены для роли гладиаторов. Все они, за немногим исключением, принадлежали к новой секте христиан, последователей некоего Иисуса. Он, гласила молва, был распят — как человек беспокойный, возмущавший народ и восставший против власти, — лет пятнадцать тому назад по приказанию римского правителя Иудеи Понтия Пилата, впоследствии впавшего в немилость и сосланного в Галилею, где он покончил жизнь самоубийством. Этот Пилат не пользовался большой популярностью среди иудеев, так как завладел сокровищами Иерусалимского храма и употребил их на сооружение акведуков, что вызвало сильное возмущение в народе, и во время бунта многие были убиты. Но теперь о нем почти забыли. Зато память и слава о распятом им демагоге Иисусе росла и распространялась повсюду: многие делали из него какого-то бога, проповедуя от его имени некое новое учение, совершенно противное всем законам и обычаям страны и крайне ненавистное существующим сектам иудеев.

Фарисеи и саддукеи, зилоты, когены и левиты — все единогласно восстали против этого учения, убеждая Агриппу истребить вероотступников, проповедовавших народу, что обещанный иудеям Мессия, небесный Царь, долженствующий ниспровергнуть владычество Рима и сделать Иерусалим столицей мира, уже приходил в образе простого плотника-проповедника, но его не признали, и он погиб, как преступник,

Агриппа же, подобно высокообразованным римлянам того времени, с которыми он постоянно поддерживал самые тесные отношения и среди которых постоянно вращался, лично не исповедовал никакой религии. В Иерусалиме в угоду народу он украшал храм и приносил жертвы Иегове, а в Берите украшал храм и делал жертвоприношения Юпитеру. С каждым человеком он был тем, кого тому приятно видеть, с самим же собой — ленивым и сладострастным сыном своего века. О христианах он никогда много не думал и нисколько не интересовался ими, но так как влиятельные и приближенные к нему иудеи прожужжали ему все уши и так как среди христиан не было ни одного сколько-нибудь уважаемого и знатного лица — а все какие-то незначительные, жалкие людишки, которых можно было безнаказанно преследовать — он и решил, в угоду иудеям, преследовать их,



но делал это без всякой злобы, без всякого желания. По настоянию иудеев одного из этих христиан, Иоанна — ученика распятого, он приказал схватить и распять в Иерусалиме. Другого, по имени Петр, известного проповедника, горячего и убежденного, бросил в тюрьму, а многих из их последователей убивал или держал в тюрьмах для цирковых игр. Женщин, если они были молоды и красивы, продавал в рабство, пожилых же матрон и старух кидал диким зверям.

Именно эта участь ожидала на следующий день бедные жертвы, что находились во втором дворе в большой мрачной зале тюрьмы. В программе увеселений на наступающий день было объявлено, что после битвы гладиаторов и других цирковых игр шестьдесят взрослых христиан, престарелых, хилых и ни к чему не пригодных, и малых ребят, которых никто не желает купить, выгонят на арену амфитеатра и выпустят на них тридцать голодных львов и других диких зверей, уже заранее разъяренных запахом крови. Но и тут Агриппа не преминул выказать свою мягкосердечность, приказав, чтобы все, кого львы и другие дикие звери откажутся растерзать, были наделены одеждой, небольшой суммой денег и выпущены на свободу.

Такие зрелища, как кормление диких животных живыми женщинами, старцами и детьми, являлись излюбленным развлечением. Большие суммы денег ставились в заклад относительно того, сколько из несчастных останется в живых и сколько будет растерзано зверями. При этом стоявшие за то, что уцелеют лишь очень немногие, подкупали солдат и сторожей, и они опрыскивали волосы и платье несчастных жертв валериановым отваром или настойкой — существовало мнение, что запах валерианы возбуждает аппетит этих громадных кошек. Другие, составлявшие сравнительно большое число, заставляли тех же солдат и тюремщиков путем более крупных подкупов проделывать над несчастными жертвами иного рода манипуляции, будто бы возбуждающие отвращение у львов, причем личность осужденного, конечно, не играла в глазах этих азартных игроков никакой роли.

В тени одного из сводов второго двора, близ железной решетки ворот, у которых мерным шагом расхаживали часовые с длинными копьями в руках, сидели две женщины. Одна из них, несомненно еврейка, еще совсем молодая, красивая, но исхудавшая и измученная, с явными признаками знатного происхождения, была Рахиль, вдова Демаса, богатого греко-сирийца, и единственная дочь известного всей стране родовитого иудея Бенони, богатейшего торговца в Тире. Другая женщина, уже немолодая, родом с Ливийских берегов, в юности была похищена иудейскими

торговцами и продана в рабство. Это была чистейшего происхождения арабка без малейшей примеси негритянской крови, о чем свидетельствовали ее стройное, гибкое, сильное сложение, медно-желтый цвет кожи, густые, прямые, черные, как смоль, волосы и огненные глаза с гордым и непокорным взглядом. Все ее лицо дышало гордостью и неустрашимостью, что-то дикое и свирепое было в нем, но когда взгляд ее останавливался на молодой красавице, невыразимая нежность и тревога отражались в ее чертах. Эту женщину звали Нехушта (по-еврейски «медь»). Имя придумал Бенони, когда много лет тому назад купил ее на базарной площади Тира. На родине же она носила другое имя: там ее звали Ноу, и покойная госпожа, супруга Бенони, и дочь его, прекрасная Рахиль, всегда называли ее так.

Сидя на земле, Рахиль мерно раскачивалась из стороны в сторону, закрыв лицо руками, — она молилась. Нехушта же, сидевшая подле нее на корточках, неподвижно смотрела куда-то в пространство.

Ночь была тихая, лунная.

— Это наша последняя ночь на земле, Ноу! — проговорила Рахиль, отняв наконец руки от лица и взглянув на звездное небо. — Странно подумать, что мы никогда больше не увидим ни этого ясного месяца, ни этих мерцающих звезд!

— Как знать, госпожа, — отозвалась Ноу, — но я, во всяком случае, не намерена умереть завтра, да и тебе дать умереть не намерена. Я не страшусь львов, они — дети моей родной пустыни, они мне братья, и их рев убаюкивал меня, когда я была ребенком. Мой отец, вождь нашего племени, назывался повелителем львов, так как умел укрощать их, и я ребенком кормила их из рук, они ходили за мной как псы!

— Но ведь тех львов давно нет, а другие тебя не знают!

— Все равно, они почуют родную кровь, почуют дочь повелителя львов! Говорю тебе, госпожа, они могут растерзать всех, но нас с тобой не тронут!

— Нет, Ноу, я не могу этому поверить, и завтра мы умрем ужасной смертью, чтобы Агриппа мог почтить своего господина, цезаря!

— Госпожа, если ты не веришь, что звери пощадят нас, то лучше умереть сейчас, по своей доброй воле, чем быть растерзанными ими для увеселения подлой толпы. Смотри: у меня в волосах спрятан смертельный яд, он действует и быстро, и безболезненно! Выпьем его — пусть все будет кончено!

— Нет, Ноу, я не могу наложить на себя руки, да если бы и захотела это сделать, то не вправе распорядиться жизнью моего еще не родившегося

ребенка!

— Умрешь ты, госпожа, — умрет и он. Не все ли равно, случится это сегодня или завтра?

— Да, но кто может предвидеть, что случится завтра? Быть может, Агриппа будет мертв, а мы с тобой живы, и мой ребенок будет жить: все в воле Божьей, пусть же Бог решит его участь!

— Ради тебя я стала христианкой и верю, как могу, в то, чему нас научили. Но в моих жилах течет буйная кровь: я горда, сильна и не хочу покоряться судьбе. Пока я жива, когти льва не коснутся твоего нежного тела, я скорее заколю тебя своим ножом, а если у меня отнимут нож, расшибу твою голову о столб на арене на глазах у всех!...

— Не принимай греха на свою душу, Ноу! — сказала кротко ее госпожа.

— Что мне эта душа?! Моя душа — это ты, свет очей моих, ты, которую я качала в колыбели, которой я своими руками готовила брачное ложе. Своими руками я хочу дать тебе легкую, быструю смерть, чтобы спасти от худшей смерти, а затем скажу себе, что честно исполнила долг, и умру подле твоего бездыханного трупа, до конца верная клятве, данной твоей покойной матери. А тогда пусть Бог или сам сатана делают с моей душой, что им угодно. Мне все равно!

— Ты не должна так говорить, Ноу! Я бы охотно умерла, чтобы скорей соединиться с моим возлюбленным супругом. Только бы мое дитя получило жизнь, хоть на час. Тогда я знала бы, что мы все трое или, вернее, четверо, пребудем вместе в веках в царстве Божиим; я говорю «четверо», так как ты, Ноу, мне дорога наравне с моим мужем и ребенком...

— Не может этого быть, и не хочу я этого! — пылко воскликнула Нехушта. — Я — рабыня, собака, лежащая под столом у ног своих господ... О, если бы я могла спасти тебе жизнь! С какой радостью потом показала бы я, как презирает своих мучителей и как сумеет умереть дочь пустыни, дочь моего отца! — Глаза арабки загорелись гневным огнем, она заскрипела зубами в бессильной злобе, но, охваченная внезапным порывом страстной нежности к своей госпоже, стала покрывать ее лицо, руки и плечи горячими поцелуями, а затем разразилась тихими, сотрясающими душу рыданиями.

— Слышишь ли, Ноу, — сказала Рахиль, ласково проведя рукой по ее волосам, — как ревут львы в своих логовищах, в пещере над этой залой?

Нехушта подняла голову, прислушалась, и лицо ее просветлело: сотрясающие своды залы могучие звуки львиного рыка воскрешали в ее душе картины далекой родины, будили дорогие воспоминания, говорили ей

о свободе.

— Их — девять, — сказала Нехушта уверенно, — и все бородатые, царственные львы, старые самцы, могучие и величественные. Слушая их, я молодею, я чую запах родной пустыни и вижу порог отцовского шатра... Ребенком я охотилась на них, теперь они отплатят мне тем же: настал их час!

— Воздуха! Мне душно! Душно! — вдруг вскрикнула молодая женщина и без чувств упала на землю. Служанка подняла ее, как малого ребенка, и со своей драгоценной ношей направилась к фонтану, плескавшемуся посреди двора. Его холодная струя вскоре оживила Рахиль. Мрачная тюрьма некогда была дворцом, и это место у фонтана было красиво и удобно, в его прохладе были устроены каменные скамьи, и на одной из них расположилась теперь Рахиль. Нехушта опустилась на землю у ее ног. Вдруг чугунная решетка калитки, проделанной в тюремных воротах, раскрылась, и несколько мужчин, женщин и детей вошли во внутренний двор, понукаемые свирепыми стражами.

Позади всех с трудом переступала, опираясь на костыль, седая сгорбленная старуха в темной одежде.

— Спешите попасть на завтрак львам, друзья христиане! — издевался очередной тюремщик, пропуская в калитку вновь прибывших. — Спешите вкусить последнюю вечерю по вашему обычаю. Вы найдете вина и хлеба вдоволь, наедитесь перед тем, как сами будете съедены без остатка!

— Не кощунствуй, — подняла голову старуха, — я, Анна, которую Бог наградил даром прорицания, говорю тебе, вероотступнику, который сам был раньше последователем Христа, что ты уже вкусил свою последнюю трапезу здесь, на земле, и вскоре предстанешь пред судом Божиим!

Вне себя от бешенства, тюремщик выхватил из-за пояса нож и хотел ударить им старую Анну, но одумался и, сердито хлопнув калиткой, вышел. Он знал, что Анна обладала даром пророчества, и слова ее звучали у него в ушах смертным приговором. Старуха же поплелась дальше вслед за своими спутниками.

— Мир тебе! — проговорила Рахиль, подымаясь и приветствуя Анну, когда та проходила мимо фонтана. Нехушта последовала ее примеру.

— Именем Христа, мир вам! — ответила старая женщина.

— Мать Анна, разве ты не узнаешь меня? Я — Рахиль, дочь Бенони!

— Рахиль?! Как же ты, дочь моя, попала сюда?

— Тем путем, каким идут все последователи Христа! Но ты утомлена, присядь!

— Спасибо! — Анна медленно, с помощью Ноу, опустилась на

каменные ступеньки фонтана. — Дай мне напиться, дочь моя, путь наш был долог, и меня томит жажда!

Рахиль зачерпнула горсть воды своими тонкими, красивыми руками и из ладоней напоила Анну.

— Хвала Богу за эту живительную влагу и за то, что я вижу дочь Бенони прозревшей и уверовавшей во Христа! Мне говорили, что ты стала женой купца Демаса!...

— Теперь уже вдовой: они убили его шесть месяцев тому назад в амфитеатре в Берите! — И молодая женщина залилась горькими слезами.

— Не плачь, дочь моя, скоро ты свидишься с ним, смерть не должна страшить тебя!

— Смерти я не боюсь, мать Анна, но ты сама видишь, что я готова стать матерью, и о нем, моем ребенке, все мое горе. Я плачу о том, что ему не суждено увидеть света Божьего. Будь он уже рожден, я знала бы, что все мы вместе пребудем в славе и вечном блаженстве. Но теперь этому не бывать!

Анна взглянула на нее своим глубоким, пронизательным взглядом и проговорила:

— Разве и ты, дочь моя, обладаешь даром прорицания, что с такой уверенностью говоришь «этого не будет»? Будущее в руках Господа! И царь Агриппа, и твой отец, и римляне, и жестокие иудейские начальники, и мы, обреченные стать пищей хищным зверям, — все в руках Божиих, и что Им назначено, то и будет! Прославим же и возблагодарим Господа!

— Дух бодр, но плоть немощна! — скорбно проговорила Рахиль. — Но слышите: братья и сестры зовут нас к Трапезе любви и принятию Святого Причастия! Пойдемте! — И она встала и направилась под тень мрачных сводов залы.

Нехушта осталась, чтобы помочь Анне подняться на ноги, и, когда госпожа уже не могла ее слышать, верная служанка, наклонившись к самому уху пророчицы, прошептала:

— Мать, тебе дан Богом дар пророчества, скажи же мне, должен ее ребенок родиться на свет?

Анна возвела глаза к небу и затем тихо и вдумчиво произнесла:

— Младенец родится и проживет многие годы. Завтра, думается мне, никто из нас не умрет от кровожадности хищных львов, но твоя госпожа все-таки в самом скором времени вновь соединится со своим супругом, поэтому я и не высказала ей того, что у меня было на душе.

— Тогда лучше всего умереть и мне! Я умру и буду там служить своей госпоже! — сказала Нехушта.

— Нет, — возразила Анна строго и наставительно. — Ты останешься охранять ребенка, ты воспитаешь его вместо матери и после дашь ей отчет во всем!

## II. Глас Божий

Высока была цивилизация Рима. Его законы, его гений не умерли и сейчас, его военное искусство и теперь еще возбуждает удивление, его великолепные, грандиозные здания, развалины которых уцелели местами, служат образцами красоты строительного искусства, а между тем этот самый Рим не знал ни жалости, ни сострадания. В числе великолепных и величественных развалин мы не видим ни одного госпиталя или богадельни, приюта для престарелых и сирот. Эти человеческие чувства были совершенно незнакомы народу Рима, находившему удовольствие, забаву и наслаждение в муках и страданиях подобных себе.

Царь Агриппа по своим мыслям и понятиям, по вкусам и привычкам был настоящий римлянин. Рим был его идеалом, а идеалы Рима были его идеалами!

Стояло жаркое время года — и по распоряжению Агриппы игры в цирке должны были начаться рано, а окончиться за час до полудня. Уже с полуночи толпы народа устремились в амфитеатр занимать места, и несмотря на то, что последний вмещал свыше двадцати тысяч человек, очень многим места не досталось. За час до рассвета все было уже заполнено. Только ложи, предназначенные для Агриппы и его приближенных, да почетных гостей, оставались пока еще не занятыми.

\* \* \*

Между тем под темными сводами большой залы тюрьмы, вокруг длинного, ничем не покрытого стола собрались осужденные христиане. Старые и малые сидели на скамьях, остальные, стоя, толпились вокруг них.

На главном месте помещался почтенный старец; то был христианский епископ, которого долгое время щадили преследователи из уважения к преклонным летам и высоким душевным качествам, но теперь, видно, пришел и его час.

Хлеб и вино, смешанное с водой, были освящены, все вкусили от них. Затем епископ благословил собрание и растроганным голосом возгласил: «Радуйтесь, братья и сестры мои во Христе! Сегодня — день великой

радости, мы вкусили истинную Трапезу любви и, подобно Господу нашему, можем сказать теперь: «Мы не будем пить от плода сего виноградного, пока не будем пить новое вино в царстве Отца нашего Небесного!» Мы сбросим с себя тяготы жизни земной, все тревоги, волнения и страдания и вступим в вечное блаженство! Возблагодарим, прославим Бога и возрадуемся великой радостью! Пусть когти и пасти львов не страшат вас, пусть расставание с жизнью не смущает покоя ваших душ; другие возьмут из рук ваших светоч спасения и понесут его вместо вас — и разольется свет учения Христа на весь мир. Возрадуемся же и возвеселимся в этот день!»

И все воскликнули: «Возрадуемся!», даже дети. Затем они совершили молитву и славили, и благодарили Бога, а в заключение епископ благословил их во имя Святой Троицы. Едва окончили приговоренные свое богослужение, как железная решетка ворот распахнулась и главный тюремный страж со своими помощниками приказал им идти в амфитеатр. У ворот тюремщики передали осужденных солдатам, под конвоем которых те двинулись попарно, с епископом во главе, по узкой темной улице между двумя высокими каменными стенами к боковому входу, ведущему на арену цирка. По слову епископа христиане, проходя в узкую калитку, запели хвалебный псалом. С пением вышли они на арену и заняли предназначенные им места за особой загородкой в противоположном царскому балкону конце амфитеатра, на специальном низком помосте.

До восхода солнца оставалось еще около часа, луна уже зашла, весь амфитеатр был погружен во мрак. Лишь там и здесь, на далеком друг от друга расстоянии, горели стоячие факелы да два больших бронзовых светильника по обе стороны пышного трона Агриппы, остававшегося еще не занятым. Этот мрак как-то подавляюще действовал на присутствующих, никто не шумел, не пел и даже не смел громко говорить. Вместо обычных в таких случаях криков «Песье мясо!» и насмешливого требования чудес при появлении христиан собрание безмолвно следило за ними глазами, и только шепотом зрители передавали друг другу: «Смотрите, это — христиане!»

Разместившись, христиане снова запели свой тихий гимн, и собравшийся народ, точно заколдованный, слушал их почти с благоговением. Когда осужденные допели хвалебную песнь и последний звук замер в густом полумраке амфитеатра, старец епископ, движимый вдохновением свыше, встал и обратился к собравшемуся народу, и, как это не странно, вся многочисленная толпа слушала его, ни один голос не поднялся, чтобы прервать или осыпать насмешками и издевательствами, как это обычно бывало в подобных случаях.

Быть может, его слушали только потому, что так сокращалось время



томительного ожидания и сглаживалось удручающее впечатление от мрака... Но так или иначе все внимание было обращено на невидимого оратора, голос которого звучал ласково и призывно.

— Замолчишь ли ты, старик? — вдруг крикнул тот вероотступник, которому пророчица Анна предсказала близкую смерть. — Не смей проповедовать свою проклятую веру!

— Оставь его, пусть говорит! — слышалось из толпы. — Мы хотим слушать его рассказ! Говорят тебе, оставь, не мешай!

И старик продолжал свою простую, но трогательную речь. Он говорил с поразительным красноречием и удивительным по силе убеждением почти целый час, и никто не решился прервать его.

— Почему эти люди, которые лучше нас, должны умереть? — выкрикнул вдруг кто-то из дальних рядов.

— Друзья, — ответил проповедник, — мы должны умереть потому, что такова воля царя Агриппы. Но вы не сожалеете о нас: это день нашего радостного возрождения для новой, вечной жизни; сожалеете лучше о нем, так как с него взыщется кровь наша и вся кровь, пролитая им в дни царствования. Смерть, которая теперь так близка к нам, быть может, еще ближе к некоторым из вас! Меч Господень каждый час может оставить этот трон пустым. Глас Господень может призвать царя к ответу! Какой же ответ даст он Всевышнему Судии? Оглянитесь кругом, уже беды, о которых Тот, Кого вы распяли, говорил вам, висят над головами вашими; близко время, когда из вас, собравшихся здесь, ни одного не останется в живых. Покайтесь же, пока не поздно! Говорю вам, последний суд ваш близок! И теперь, хотя вы не можете этого видеть, Ангел Господень летает над вами и вписывает ваши имена в книгу жизни или книгу смерти. Еще есть время, я буду молиться, братья, за вас, за царя вашего! Мир вам, братья мои и сестры мои, мир вам!

Пока старец говорил, впечатление, производимое его словами на толпу, было так неотразимо, так сильно, что тысячи голов поднялись вверх, чтобы увидеть Ангела. И вдруг сотни голосов воскликнули, указывая на небо, бледным шатром нависшее у них над головами:

— Смотрите! Смотрите! Вот он, его Ангел!

Действительно, что-то белое бесшумно парило в небе, то появлялось, то скрывалось, затем как будто спустилось над тронном, и исчезло.

— Безумные! Да это просто птица! — крикнул кто-то.

— Да будет угодно богам, чтобы то был не филин! — некоторые голоса.

Все знали историю Агриппы и филина, знали о предсказании, что дух

в образе этой птицы вновь явится царю в его последний час, как явился в час торжества.

Но вот со стороны дворца Агриппы слышались звуки трубы, и глашатай с высоты большой восточной башни возвестил, что солнце поднимается из-за гор, и царь Агриппа со своим двором и гостями сейчас прибудет в амфитеатр. Проповедь епископа и предсказанные им бедствия были мгновенно забыты, наэлектризованная толпа, привыкшая трепетать при имени Агриппы, замерла в радостном ожидании.

Скоро тяжелые бронзовые ворота триумфальной арки широко распахнулись. Громкие, торжественные звуки труб слышались все ближе и ближе. Агриппа в роскошном царственном одеянии, в сопровождении своих легионеров, вошел в амфитеатр. По правую его руку шел Вибий Марс, римский проконсул Сирии, а по левую — Антиох, царь Коммагены, за ним следовали другие цари и принцы, затем влиятельнейшие люди страны и соседних государств.

Агриппа воссел на свой золотой трон под громкие крики приветствующей его толпы, гости разместились подле и позади него. Снова затрубили трубы. Это был знак, чтобы гладиаторы, следующие за «эквитами», то есть конными, которые должны были сражаться верхом на лошадях, выстроились и прошли церемониальным маршем мимо царской ложи или, вернее, балкона, перед смертью приветствуя своего повелителя. Осужденных христиан тоже вывели на подиум и приказали им встать по двое позади пешеходов, выждать очереди и пройти вслед за ними, чтобы приветствовать, согласно установленному обычаю, царя словами: «Ave, Caesar, morituri, te salutant!». Царь отвечал на это безучастной улыбкой, толпа же кричала, выражая свое одобрение. Когда наконец стали проходить христиане, эта жалкая вереница хилых старцев, испуганных детей, цеплявшихся за платье матерей, бледных растрепанных женщин в жалких рубищах, та самая толпа, что в полумраке темного амфитеатра безмолвно внимала им, теперь, ободренная бледным светом народившегося дня, звуками трубы и присутствием могущественного Агриппы, начала осыпать их насмешками и издевательствами. Вот христиане поравнялись с царским местом, и толпа закричала: «Приветствуйте Агриппу!» Епископ возвел руки к небу и взглянул на царя, остальные молчали.

— Царь, мы, идя на смерть, прощаем тебя! Да простит тебя Бог, как мы тебя прощаем! — слышался его тихий голос.

Минуту назад толпа еще смеялась, но вдруг все смолкло. Агриппа нетерпеливым жестом дал понять, чтобы они проходили дальше. Старая Анна, будучи очень слаба, не могла поспеть за остальными; наконец,

поравнявшись с царским балконом, она совсем остановилась. Хотя стражи кричали ей: «Проходи, старуха! Ну, живее!», — она стояла неподвижно, опершись на длинную палку и упорно глядя в лицо Агриппы. Почувствовав на себе ее взгляд, он повернулся, и глаза их встретились. При этом все заметили, что царь побледнел. Анна с усилием выпрямилась и, стараясь удержаться на дрожащих ногах, подняла свой костыль и указала им на золотой карниз балдахина над головой Агриппы.

Все присутствующие обратили туда взоры, но никто не мог ничего различить — карниз все еще оставался в тени. Но казалось, будто Агриппа увидел что-то, так как, поднявшись, чтобы объявить игры открытыми, он вдруг тяжело опустился на свое место и погрузился в глубокое раздумье, которого никто не смел нарушить. А Анна, медленно ковыляя и опираясь на свой костыль, поплелась вслед за остальными, которых теперь вновь водворили на прежние места. Они должны были присутствовать при гибели своих родных, христианских борцов-гладиаторов.

Наконец с видимым усилием Агриппа поднялся на ноги, и в этот момент первые лучи восходящего солнца упали на него. Это был высокий, благородного вида мужчина, величественный, великолепно сложенный, одяние его было прекрасно и богато. Многотысячной толпе, все взоры которой были теперь прикованы к нему, он казался лучезарно прекрасным, сияющим в своем серебряном венке, серебряном панцире и белой, затканной серебром тоге, весь залитый солнцем.

— Именем великого цезаря и во славу цезаря, объявляю игры открытыми! — произнес он звучно и громко.

И точно под влиянием какого-то неудержимого порыва, вся многотысячная толпа закричала, опьяняясь звуками собственных голосов: «То — голос бога! Голос божественного Агриппы!»

Царь не возражал, упиваясь этим поклонением. Он стоял в лучах восходящего солнца, гордый и счастливый. Милостивым жестом он простер свои руки вперед, как бы благословляя эту боготворившую его толпу. Возможно, в эти минуты в памяти его воскресло воспоминание о том, как он, жалкий, бездомный, изгнанный отцом, вдруг вознесся на такую высоту, и на мгновение мелькнула безумная мысль, что, быть может, он в самом деле бог.

Вдруг Ангел Господень сразил его в его гордыне: невыносимая боль сжала, точно тисками, сердце, и Агриппа вдруг понял, что он смертный человек и смерть стоит за его спиной

— Увы, народ мой! Я — не бог, а простой человек, и общая человеческая участь готова постигнуть и меня! — воскликнул он. В этот

самый момент большая белая сова, слетев с карниза балдахина над его головой, пролетела над ареной амфитеатра.

— Видите! Видите! — продолжал он. — Тот добрый гений, что приносил мне счастье, покинул меня! Я умираю! Народ мой, видишь, я умираю!... — И, опрокинувшись на золотой трон, этот человек, еще минуту назад принимавший как должное божеские почести, теперь корчился в муках агонии и плакал, как женщина, как дитя. Да, Агриппа плакал!

Слуги и приближенные подбежали к нему и подняли на руки.

— Унесите меня отсюда! — простонал он.

И глашатай громким голосом возгласил:

— Царя постиг жестокий недуг! Игры закрыты! Люди, расходитесь по домам!

Сначала все оставались неподвижными, пораженные страхом, не находя слов для выражения своих чувств, но вдруг по рядам зрителей пробежал шепот, точно шелест листьев перед сильной бурей, шепот этот разрастался, пока наконец сотни голосов не огласили воздух: «Христиане! Христиане! Это они напрогночили смерть царю, и накликali на нас беду! Они — колдуны и злодеи! Убейте их! Пусть они умрут! Смерть, смерть христианам!»

Словно волны моря, огромная толпа хлынула на арену к тому месту, где находились осужденные христиане. Но стены арены были высоки, а все входы и выходы закрыты. Толпа волновалась и бушевала, но добраться до христиан не могла. Люди напирали друг на друга, лезли на стены, срывались, падали, другие наступали на них, топтали, давили и, в свою очередь, падали, а их опять давили другие.

— Пришел наш смертный час! — воскликнул кто-то из христиан.

— Нет, мы еще живы! — отозвалась Нехушта. — Все за мной, я знаю выход! — И увлекая Рахиль за собой, она ринулась к маленькой дверке, которая оказалась незапертой и охранялась только одним тюремным сторожем, тем самым вероотступником, который накануне издевался над христианами.

— Назад! — крикнул он грозно и занес свое копье над Нехуштой, но та проворно пригнулась, так что копье скользнуло высоко над ее спиной, и ударила его ножом. Страж повалился на землю с громким криком, но христиане уже хлынули в узкий проход и затоптали его в безумном страхе ногами. Далее за проходом находился *вомиториум* — вход в римские амфитеатры, оттуда христиане уже беспрепятственно вырвались на улицу и смешались с многотысячной толпой, бежавшей из амфитеатра. Некоторые

падали и были затоптаны, других же уносил своим течением людской поток. В конце концов Нехушта и Рахиль очутились на широкой террасе, обращенной к морю.

— Ну, куда же теперь? — простонала Рахиль.

— Иди за мной, не останавливайся, спеши! — молила Нехушта.

— Что же будет с остальными? — тихо вымолвила молодая женщина, оглядываясь назад на расвирепевшую толпу, избивавшую попадавших ей в руки христиан.

— Храни их Бог! Мы не можем им помочь!

— Оставь меня, Ноу, беги, спасайся!... Я выбилась из сил... Больше не могу! — И в изнеможении молодая женщина упала на колени.

— Но я сильна! — прошептала Нехушта. Она подхватила лишившуюся чувств Рахиль на руки и кинулась вперед, выкрикивая громко и повелительно:

— Дорогу! Дорогу для моей госпожи, благородной римлянки, ей дурно!

И толпа расступалась, давая ей дорогу.

### III . Уговор

Благополучно миновав всю выходявшую на море террасу, Нехушта со своей драгоценной ношей очутилась на узкой боковой улице, пролежавшей вдоль старой городской стены, местами разрушенной и обвалившейся, и здесь на минуту остановилась, чтобы перевести дух и обдумать, что делать и куда «бежать». Пронести на руках свою госпожу через весь город до ближайшей окраины, даже если бы у нее на то хватило сил, было невозможно: обе они около двух месяцев содержались в местной тюрьме и, как было принято в Кесарии, все городское население, когда не предвиделось лучших развлечений, посещало тюрьму и позволяло себе забавы ради издеваться над заключенными, рассматривая их сквозь решетку тюремных ворот или же свободно расхаживая между ними, с разрешения тюремных стражей, за небольшое денежное вознаграждение. Таким образом, жители Кесарии прекрасно знали в лицо всех заключенных, и мудрено было, чтобы рослая темнокожая Нехушта и ее госпожа остались неузнанными теперь, когда толпа искала христиан по всему городу. Ни близких, ни друзей у них здесь найти не могло, так как незадолго перед тем все христиане были изгнаны из города. Им оставалось только укрыться где-нибудь в надежном месте, хоть на некоторое время. Нехушта огляделась вокруг: в нескольких шагах от нее находились древние ворота городской стены, под этими воротами часто ночевали бездомные бродяги, днем же обычно здесь было пусто. Туда и направилась Нехушта, надеясь хоть ненадолго спрятаться в полумраке широкого свода.

На их счастье, они не встретили никого, но тлевшие угли потухшего костра и разбитая амфора с водой свидетельствовали о том, что здесь еще совсем недавно были люди. «К ночи они, конечно, вернуться!» — размышляла верная служанка, опустив на землю свою бесчувственную ношу. Вдруг ее наблюдательный глаз заметил узкую каменную лестницу в стене. Ни минуты не задумываясь, взбежала она по ней и очутилась перед тяжелой дубовой дверью с железными оковами. Постояв секунду в нерешительности, арабка уже хотела вернуться назад, но вдруг глаза ее сверкнули, и она с диким отчаяньем изо всех сил толкнула дверь. К ее удивлению, дверь подалась, а затем и вовсе распахнулась настежь. За дверью оказалось большое просторное помещение, заваленное мешками зерна, его освещали круглые бойницы, сделанные в толще стены и служившие некогда для военных целей. Как птица слетела арабка вниз и,

подхватив на руки Рахиль, внесла ее по лестнице.

Здесь она бережно опустила свою госпожу на сложенные у стены овечьи бурдюки, затем, спохватившись, еще раз сбежала вниз и принесла оттуда разбитую амфору, до половины еще наполненную свежей чистой водой. Благодаря воде молодая женщина скоро пришла в чувство. Только было она принялась расспрашивать свою верную служанку, как чуткий слух арабки уловил какие-то звуки внизу, под сводом ворот. Тщательно заперев дверь, она приложила ухо к замочной скважине и стала прислушиваться. Там внизу разговаривали трое солдат.

— Ведь старик уверял, что видел, как ливийка со своей госпожой свернули на эту улицу, другой темнокожей не было среди христиан. Она же, кажется, и пырнула ножом Руфа! — сказал один голос.

— Э, кто их разберет! Во всяком случае, здесь — ни души! Чего нам тут еще толкаться? — пробурчал другой.

— Эй, ребята, я нашел лестницу! Не мешало бы посмотреть...

— Полно, тут зерновой амбар Амрама финикийца, а он не такой человек, чтобы оставлять ключ в дверях! Впрочем, если охота, походи посмотри!

И Нехушта услышала тяжелые шаги. Ближе... Ближе...

Солдат подошел и попробовал толкнуть дверь.

— Заперта крепко! — крикнул он вниз и стал спускаться. — А надо бы взять у Амрама ключ да проверить на всякий случай!

— Ну, и беги за ключом, если тебе охота! Финикиец живет на том конце города, а сегодня его и с собаками не сыскать...

— Хвала Богу, ушли! — произнесла наконец Нехушта, отходя от двери.

— Но они, быть может, опять вернуться! — промолвила Рахиль.

— Не думаю, а вот хозяин этого помещения, вероятно, придет сюда наведаться: нынче на его товар большой спрос!

Не успела она договорить, как ключ заскрипел в замке и, прежде чем Нехушта успела отскочить, дверь отворилась и вошел Амрам

Обе женщины застыли на месте, не выдавая ни единым звуком своего присутствия.

Амрам был средних лет финикийцем с худощавым лицом и пронзительным взглядом, одетым в скромную одежду темного цвета, но из дорогой ткани; по-видимому, безоружным. Этот известный всему городу, уважаемый и богатый человек успешно занимался торговлей, как большинство финикийцев того времени. Зернохранилище, где он теперь находился, было лишь одним — и не самым значительным — из складов

его громадных зерновых запасов.

Заперев дверь на ключ, Амрам сделал шаг к столу, где хранились его таблицы и записи отпуска и приема зерна, и вдруг очутился лицом к лицу с Нехуштой, которая тотчас же проскользнула к двери и выдернула ключ из замка.

— Во имя Молоха, скажи, кто ты? — спросил купец, невольно отступив назад, при этом он заметил полулежавшую у стены на куче порожних бурдюков Рахиль. — А ты? — добавил он. — Вы духи? Приведения? Или воры? Госпожи, ищущие пристанища и приюта в этом запруженном людьми городе, или, быть может, те две христианки, которых повсюду ищут солдаты?!

— Да, те самые христианки, — сказала Рахиль, — мы бежали из амфитеатра и укрылись здесь, где нас чуть было не нашли легионеры!

— Вот что получается, когда человек не запирает дверей, — произнес Амрам, — но это произошло не по моей вине, а по вине одного из моих подчиненных, с которым я серьезно поговорю по этому поводу, и поговорю сейчас же! — И он направился к двери.

— Ты не уйдешь отсюда! — решительным тоном произнесла Нехушта, загораживая ему дорогу и выставляя напоказ свой нож.

Купец испуганно попятился.

— Чего ты требуешь от меня?

— Я требую, чтобы ты дал нам возможность покинуть Кесарию с полной для нас безопасностью, а иначе мы умрем здесь все трое. Прежде чем кто-нибудь дотронется до моей госпожи или до меня, этот нож пронзит твое сердце! Некогда твои братья продали меня, княжескую дочь, в рабство, и я буду рада случаю отомстить за это тебе! Понимаешь?

— Понимаю. Только напрасно ты так гневаешься! Поговорим лучше, как говорят между собою деловые люди: вы хотите покинуть Кесарию, а я хочу, чтобы вы покинули мое зернохранилище. Так дай же мне выйти отсюда и устроить все по нашему обоюдному желанию!

— Ты выйдешь отсюда не иначе, как в сопровождении нас обеих, — сказала Нехушта, — но советую тебе, не трать слов по-пустому! Госпожа моя — единственная дочь Бенони, богатейшего купца в Тире. Ты, наверное, слышал о нем? Ручаюсь тебе, что он щедро заплатит тому, кто спасет его дочь от смертельной опасности!

— Может быть, но я не вполне в этом уверен. Бенони — человек, полный предрассудков, притом ревностный иудей, не терпящий христиан! Это я знаю!

— Пусть так, но ты — купец и знаешь, что даже сомнительный барыш



лучше, чем нож в горле!

— Не спорю! Но никаких барышей мне с этого дела не надо. Таким товаром, — он указал на нее и на Рахиль, — я не торгую. Поверь мне, женщина, я всей душой готов исполнить ваше желание: я не питаю к христианам ненависти! Те из них, с кем мне случилось иметь дело, были люди хорошие, честные!

— Однако не трать лишних слов, — сурово повторила арабка. — Время дорого!

— Что же мне делать? Разве только вот что: сегодня под вечер одно из моих судов отправляется в Тир, и если вы хотите, я буду рад предложить вам место на нем. Согласны?

— Конечно, но при условии, что ты будешь сопровождать нас!

— Я не имел намерения плыть сейчас в Тир!

— Но ты можешь изменить свое намерение, — сказала Нехушта. — Слушай, вот мое последнее слово: мы требуем у тебя, чтобы ты спас двух ни в чем не повинных женщин, дав им возможность бежать из этого проклятого города. Скажи, согласен ты это сделать? Если да, то пусть так, если же нет, — я воткну тебе этот нож в горло и зарю тебя в твоем же зерне!

— Согласен! Когда стемнеет, я отведу вас на мое судно, оно отправляется через два часа после захода солнца с вечерним ветром я буду сопровождать вас и в Тире сдам твою госпожу на руки ее отцу. А теперь... Здесь жарко и душно, крыша же окружена высоким парапетом, который не позволяет видеть тех, кто сидит или стоит на ней. Пойдем, там нам будет лучше!

— Только иди первым. И если ты вздумаешь крикнуть, то знай что нож у меня всегда наготове!

— О, в этом я вполне уверен! К тому же, раз я дал слово, то не возьму его назад! Будь что будет, но я останусь верен своему слову!

Наверху было действительно приятно сидеть под небольшим навесом, служившим некогда для защиты часовых от зноя или непогоды.

Здесь было так хорошо, дышалось так свободно, что Рахиль, измученная всеми событиями дня, вскоре заснула под навесом. Нехушта же, которая не соглашалась отдохнуть, стала вместе с Амрамом следить за тем, что делалось в городе, лежавшем у ног, словно пестрый движущийся ковер. Тысячи людей с женами и детьми сидели на площадях и на улицах прямо на земле и посыпали себе головы придорожной пылью, в один голос воссылая к небу усердную мольбу, доходившую до слуха Нехушты и Амрама, как рокот волн во время прибою.

— Они молят, чтобы царь остался жив! — сказал Амрам.

— А я хочу, чтобы он умер! — воскликнула ливийка.

Финикиец только пожал плечами: ему было все равно, лишь бы дела торговли от этого не пострадали.

Вдруг толпа разразилась громкими жалобными воплями.

— Царь умер или кончается! — сказал финикиец. — Так как сын его еще младенец, то вместо него поставят над нами правителем какого-нибудь римского прокуратора с бездонными карманами, и я думаю, что ваш старик епископ был прав, когда говорил, что всем нам грозят беды и несчастья!

— А что стало с ним и остальными? — спросила Нехушта.

— Одни были затоптаны народом, других иудеи побили камнями, а некоторые, без сомнения, успели спастись и, подобно вам, скрываются теперь где-нибудь!

Нехушта внимательно посмотрела на свою госпожу, которая спала крепким сном, опустив голову на тонкие бледные руки.

— Мир безжалостен и жесток к христианам! — проговорила она.

— Он жесток ко всем, сестрица, — отозвался Амрам, — если бы я рассказал тебе мою повесть, то даже ты согласилась бы со мной! — И он тяжело вздохнул. — Вы, христиане, имеете хоть то утешение, что для вас смерть — это только переход из мрака жизни к светлому бытию. Я готов поверить, что вы правы... Госпожа твоя кажется мне болезненной и слабой. Она больна?

— Она всегда была слаба здоровьем, а тяжкое горе и страдания сделали свое дело; мужа ее убили полгода назад в Берите, а теперь ей пришлось разрешиться от бремени!

— Я слышал, что кровь ее мужа лежит на старом Бенони: он предал его. Кто может быть так жесток, как иудеи? Даже мы, финикийцы, о которых говорят так много дурного, не способны на это. У меня тоже дочь... но зачем вспоминать! — прервал он себя. — Так вот, видишь ли, я рискую многим, но все, что будет в моих силах, сделаю для твоей госпожи и для тебя, сестрица! Не сомневайся во мне, я не выдам, не обману. Слушай, мое судно небольшое, беспалубное, а сегодня ночью отсюда в Александрию уходит большая галера, которая зайдет в Тир и Иоппию. На этой галере я устрою вам проезд, выдав твою госпожу за мою родственницу, а тебя — за ее служанку. Советую вам отправляться прямо в Египет, где много христиан и есть христианские общины, которые примут вас на время под свою защиту. Оттуда твоя госпожа напишет отцу, и если он пожелает принять ее в свой дом, то она сможет вернуться, в противном же случае она будет в безопасности в Александрии, где иудеев не любят и

куда власть Агриппы не распространяется!

— Совет твой кажется хорошим! — сказала Нехушта. — Только бы моя госпожа согласилась!

— Она должна согласиться, у нее нет другого выхода. Ну, а теперь отпусти меня, до наступления ночи я вернусь за вами с запасом пищи и одежды и провожу вас на галеру. Да не сомневайся же, сестрица, неужели ты не можешь поверить мне?

— Нет, я верю, потому что вынуждена тебе верить, но ты пойми, в каком мы положении и как странно найти истинного друга в человеке, которому я еще так недавно угрожала ножом!

— Забудем это, и пусть дальнейшее покажет, можно ли мне доверять. Спустись со мною вниз и запри дверь. Когда я вернусь, ты увидишь меня перед воротами на открытом месте, я буду с рабом и сделаю вид, будто у меня развязался мешок, а я стараюсь его завязать. Тогда ты сойди вниз и отопри!

После ухода Амрама Нехушта села подле своей госпожи и с тревогой ожидала возвращения финикийца. «Если Амрам предаст, — думала она, — у меня есть нож, и я прежде, чем нас успеют схватить, заколю госпожу и себя». Пока же ей оставалось только молиться, и она молилась страстно и бурно, молилась не за себя, а за свою госпожу и ее ребенка, который, по словам пророчицы Анны, должен был родиться и жить. Но при мысли, что ее госпожа должна будет умереть, Нехушта закрыла лицо руками и горько заплакала, глотая слезы.

## IV. Рождение Мириам

Медленно тянулось время до вечера, но никто не тревожил несчастных женщин. Часа в три пополудни Рахиль проснулась: ее мучил голод. Но у них не было другой пищи, кроме зерна в зернохранилище. Нехушта рассказала своей госпоже, как она договорилась с Амрамом и как доверилась ему.

За час до заката Нехушта, не спускавшая глаз с открытого пространства перед воротами стены, увидела, что двое людей, один из них Амрам, а другой, очевидно, его раб, нагруженные узлами, подходят к воротам. Вдруг узел у них развязался, и Амрам стал возиться около него, затягивая бечевку. Нехушта поспешила вниз и отомкнула дверь.

— Где же твой раб? — спросила она, впуская Амрама и принимая из его рук тяжелый узел.

— Сторожит внизу. Ты его не бойся, он — человек верный. Но вы обе, должно быть, голодны, я принес вам еду и вино. Оно подкрепит силы твоей госпожи, ведь ваша вера не запрещает употребления вина? Здесь и одежда для вас обеих, — перекусив, можете сойти сюда и переодеться. А вот еще, — он подал Нехуште кошелек, полный золота. — Это самое необходимое! — сказал он. — Не благодари меня, я дал тебе слово спасти вас, сделать для вас все, что могу, и сделаю. Когда-нибудь, когда настанут лучшие дни, вы возвратите мне все, а я могу подождать. Проезд на галере я вам оплатил, только смотрите, не дайте никому заметить, что вы — христиане: моряки думают, что христиане навлекают несчастья на суда. Теперь помоги мне отнести вино и еду наверх. Госпожа твоя, верно, нуждается в подкреплении сил!

Минуту спустя они были на крыше.

— Мы хорошо сделали, госпожа, что доверились этому человеку! Смотри, он вернулся и принес все, в чем мы нуждались! — проговорила арабка.

— Да почит на нем благословение Всевышнего за то, что он делает для нас, беззащитных! — отвечала Рахиль, бросив благодарный взгляд на финикийца.

— Пей и ешь, — сказал Амрам, — тебе нужны силы! — И он подвинул вино, мясо и другие принесенные им вкусные блюда.

После госпожи поела и Нехушта, затем обе они возблагодарили Бога и выразили свою признательность Амраму. После этого женщины сошли

вниз и переоделись: одна — в богатые одежды знатной финикийской госпожи, а другая — в белое одеяние с пестрой каймой, обычное для приближенных рабынь.

День начал угасать, но они ждали, пока совсем стемнеет, и только тогда вышли на улицу, где их ожидал хорошо вооруженный раб. В сопровождении раба обе женщины и Амрам направились к набережной, выбирая самые безлюдные улицы. Теперь, когда стало известно, что болезнь Агриппы смертельна, солдаты восстали против властей, проявляя во всем наглое своеволие: врывались в дома, грабили, убивали тех, кто им сопротивлялся.

У набережной беглянок ожидала лодка с двумя гребцами финикийцами. В шлюпку поместились обе женщины, Амрам и его раб, и она довезла их до стоявшей невдалеке от берега галеры, готовившейся к отплытию. Амрам представил капитану Рахиль как свою близкую родственницу, гостившую у него и теперь возвращавшуюся в Александрию, а Нехушту назвал ее рабыней. Проводив женщине предназначенную для них каюту, добрый купец простился с ними, пожелав счастливого пути.

Четверть часа спустя галера снялась с якоря и, пользуясь благоприятным ветром, вышла в море. По прошествии некоторого времени ветер вдруг стих, и судно продолжало идти только на одних веслах. Свинцовое небо низко нависло над морем, предвещая сильную бурю. Капитан хотел было бросить якорь, но место оказалось слишком глубоким, и якорь не достал до дна. За час до рассвета вдруг поднялся страшный северный ветер, вскоре разыгралась настоящая буря. Когда рассвело, Нехушта увидела вдали белые стены Тира, но капитан сказал ей, что зайти туда нет возможности и что он пойдет прямо в Александрию.

Около полудня буря перешла в ураган. У судна сломало мачту, затем оторвало руль и с невероятной силой понесло на прибрежные рифы, где, пенясь, с ревом разбивались громадные волны.

— Это все из-за проклятых христианок! — кричали моряки. — Клянусь Вакхом, мы видели эту желтолицую женщину в амфитеатре.

Заслышав такие речи, Нехушта поспешила вниз, в каюту к своей госпоже, жестоко страдавшей от качки. Наверху же царила настоящая паника: не только экипаж судна, но даже невольники-гребцы кинулись к запасам спиртного и старались хмелем отогнать ужас близкой смерти. Раза два эти возбужденные вином люди пытались ворваться в каюту, угрожая выбросить в море христианок, виновниц их гибели. Но Нехушта, стоя в угрожающей позе у самой двери, грозила убить первого, кто сунется в

каюту. Так прошла ночь, а когда рассвело, серая полоса берега уже вырисовывалась менее чем в полумиле от судна, которое быстро несло на прибрежные скалы. Близость опасности отрезвила людей, они стали спускать шлюпки и вязать плоты из досок палубы. Видя, что все готовятся покинуть судно, Нехушта стала просить спасти их тоже, но женщину грубо оттолкнули, пригрозив смертью. Вдруг громадный вал подхватил галеру и бросил ее на скалы. Со страшным треском она врезалась носом между двумя рифами и засела на большой плоской скалистой мели.

Плот и шлюпка уже удалялись от судна, а Нехушта, полная отчаяния, смотрела им вслед. Вдруг страшный, нечеловеческий вопль покрыл рев бури и шум волн — плот и шлюпка, брошенные на скалы, разбились в щепки. С минуту несколько несчастных беспомощно барахтались в волнах, но скоро все исчезло — как будто и не бывало. Тогда Нехушта, воссылая благодарение Богу, еще раз сохранившему им жизнь, вернулась в каюту и рассказала своей госпоже о случившемся.

— Да простит им Господь прегрешения их! — сказала Рахиль. — Что же касается нас, то не все ли равно, утонуть там, на плоту, или здесь, на галере?!

— Мы не утонем, госпожа, в этом я уверена! — возразила Нехушта

— Что дает тебе эту уверенность? Видишь, как бушует море! — заметила Рахиль.

Как раз в этот момент новый вал с бешеной силой подхватил галеру и не только приподнял ее с мели, на которой она засела, но даже перенес через гряду рифов, о которые разбились плот и шлюпка, выбросив на мягкую песчаную отмель, где она и осталась, глубоко врезавшись в мокрый песок на расстоянии нескольких десятков саженей от берега. Затем, как бы закончив свое дело, ветер разом спал, и на закате море совершенно утихло, как часто бывает на Сирийском побережье. Теперь Рахиль и Нехушта, если бы были в силах, могли беспрепятственно достигнуть берега, но об этом не стоило и думать: то, что должно было случиться и чего Нехушта с тревогой ждала с часу на час, теперь ожидалось с минуты на минуту. Перед закатом у Рахили родилась дочь...

— Дай мне поглядеть на ребенка! — попросила молодая мать, и Нехушта показала ей при свете уже зажженного в каюте светильника хорошенького младенца, правда очень маленького, но белокожего, с большими синими глазами и темными вьющимися волосиками.

Долго и любовно смотрела на своего ребенка Рахиль, затем сказала: «Принеси сюда воды: пока еще есть время, надо окрестить младенца».

И во имя Святой Троицы, освятив воду, мать дрожащей рукой,

смоченной в этой воде, трижды осенила крестным знаменем девочку, дав ей имя Мириам.

— А теперь, — прошептала Рахиль, — проживет ли она один час или целую жизнь, все равно, она крещена мною и будет христианкой... Тебе, Ноу, я поручаю дочь, как приемной матери. Передай ей также завещание ее покойного отца, чтобы она не смела брать себе в мужья человека, который не исповедует Христа Распятого; такова и моя воля!

— О, зачем ты говоришь такие слова, госпожа?!

— Я умираю, Ноу, я это чувствую... Теперь, когда мой ребенок рожден для жизни временной и вечной, я с радостью иду к тому, который ждет меня в новом загробном мире, и к Господу нашему Богу... Дай мне вина, оно восстановит мои силы — мне надо сказать тебе еще многое, а я чувствую, что слабею!

Рахиль отпила несколько глотков и затем продолжала:

— Как только меня не станет, возьми ребенка и иди в ближайшее селение, пусть она там подрастет. Деньги у тебя есть, их хватит надолго. Когда дитя окрепнет, не возвращайся с ним в Тир, где мой отец воспитает ребенка в строгом иудействе, а найди селение ессеев на берегу Мертвого моря. Там живет брат моей покойной матери Итиэль. Расскажи ему все без утайки. Хотя он не христианин, но человек добросердечный и искренне сочувствующий христианам. Ты знаешь, как он упрекал отца за его жестокий поступок и пытался сделать все возможное, чтобы спасти нас. Ты ему скажи, что я, умирая, просила именем его покойной сестры, которую он так нежно любил, принять к себе мою дочь, заменить ей отца, а тебе стать другом, защитить вас обеих. Тогда мир и счастье снизойдут на него и на весь дом его...

Последние слова Рахиль произносила с трудом, силы ее уходили. Затем она стала молиться, едва шевеля губами, и вскоре уснула. Проснувшись на заре, она знаками попросила принести к ней младенца и, возложив руки на его головку, благословила его, затем Нехушту и как будто снова забылась сном, но уже на этот раз — сном вечным. С громким криком отчаяния кинулась Нехушта на труп своей госпожи, страстно целовала ее руки, клянясь, что будет служить ее ребенку, как служила ей. Тут она вспомнила, что ребенок еще не ел и скоро почувствует голод — надо спешить на берег. Но дорогую покойницу Нехушта не хотела оставлять акулам и решила устроить ей царские похороны по обычаю своей страны. А какой костер мог быть грандиознее и величественнее этой большой галеры? С этой мыслью она вынесла тело покойной госпожи на палубу и, разостлав дорогой ковер, посадила ее, прислонив к обломку

мачты. Затем вошла в каюту капитана, захватила из забытой на столе шкатулки золотые драгоценности и попрятала все это на себе. Найдя в углу амфору гарного масла, Нехушта разбила ее, разлила масло по каюте и подожгла. Укутав ребенка в теплое одеяло и выбежав с младенцем на руках на палубу, она опустилась на мгновение подле своей мертвой госпожи и, страстно целуя, простилась с ней. Пламя начинало уже охватывать судно, когда Нехушта осторожно спустилась по веревочной лестнице, оставленной за бортом спасавшимися моряками, и, очутившись по пояс в воде, пошла к берегу, унося на себе все золото и драгоценности, какие только были на судне. Выйдя на сушу, арабка взошла на высокий песчаный холм и с вершины его оглянулась назад на зажженный ею костер. Яркое пламя восходило высоко к небесам, так как в трюме на галере было много масла.

— Прощай! Прощай! — громко воскликнула Нехушта, посылая последний привет своей любимой госпоже, и затем быстро стала спускаться с холма, спеша дойти до ближайшего селения.



## V . Водворение Мириам

Спустившись с холма, Нехушта очутилась среди возделанных полей ячменя и плодовых садов, огороженных низкими каменными стенами. Там и здесь виднелись дома, но большинство их было разрушено пожаром, а поля и сады смяты и вытоптаны, точно здесь только что прошел неприятель.

Но Нехушта смело шла вперед по главной улице селения до тех пор, пока не увидела смотревшую на нее из-за стены сада молодую женщину. На вопрос, что здесь случилось, женщина с плачем рассказала, что в их селение нагрянули римляне, все сожгли и разорили, стариков и старух убили, здоровых же молодых людей, кого могли изловить, увели в рабство — и все это только за то, что старейшина их селения поспорил с римским сборщиком податей из-за несправедливого вторичного сбора налогов и отказался уплатить слугам великого цезаря...

— Неужели, — воскликнула Нехушта, — я не найду здесь ни одной женщины, которая могла бы выкормить ребенка? Я готова щедро заплатить за это!

— Но скажи мне, откуда ты? Откуда у тебя этот младенец? — осведомилась женщина.

Нехушта рассказала женщине то, что считала нужным, и та предложила себя в кормилицы. Римляне убили ее дитя, она же и муж ее успели скрыться в подвале, где их не нашли. Дом тоже случайно уцелел, и муж теперь ушел на поле собрать то, что осталось от урожая. Нехушта возблагодарила Бога и согласилась поселиться у этой женщины.

Муж кормилицы Мириам оказался трудолюбивым виноградарем, добрым хозяином и надежным заступником для Нехушты и маленькой питомицы его жены. В доме этих славных людей, которым Нехушта каждый месяц давала по золотому, она и младенец пробыли целых шесть месяцев, ребенок окреп, поздоровел и мог без всякого риска вынести самое дальнейшее путешествие. Поэтому, помня завещание покойной госпожи, верная Нехушта обещала дать этим добрым людям денег на покупку двух волов и на наем работника и, кроме того, еще три золотых, если они согласятся проводить ее и ребенка в окрестности Иерихона. Сверх того она обещала оставить им в полную собственность вьючного осла и мула, которых поручила приобрести для путешествия. Хозяева не только согласились проводить их до окрестностей Иерихона, но даже обещали

пробыть там около трех месяцев, до того времени, когда ребенка можно будет отнять от груди.

Скалистый берег, где галера, на которой Мириам увидела свет, потерпела крушение, находился всего в пяти лигах от Иоппии и в двух днях пути от Иерусалима, откуда в такой же срок можно было дойти до берегов Мертвого моря.

Путешествие Нехушта с маленькой Мириам и своими двумя спутниками совершила благополучно и беспрепятственно, быть может потому, что их скромный вид не привлекал внимания ни разбойников, которыми тогда кишели все большие дороги, ни римских воинов, разосланных начальством для поимки этих разбойников и нередко бравшихся за их ремесло.

На шестой день пути путешественники спустились наконец в долину Иордана, а в два часа пополудни на седьмые сутки подошли к селению ессеев. Оставив своих вьючных животных и мужа кормилицы за околицей селения, Нехушта с младенцем, который теперь уже размахивал ручонками, смеялся и лепетал, в сопровождении самой кормилицы смело вошла в селение, где, по-видимому, жили только одни мужчины, так как женщин нигде не было видно.

Попавшегося навстречу старого человека, одетого в чистые белые одежды, Нехушта попросила помочь найти брата Итиэля. Почтенный старец, отворачивая от нее свое лицо, точно лик женщины казался ему опасным, весьма вежливо отвечал, что брат Итиэль работает в поле и возвратится не раньше, чем к ужину. Но если у нее спешное дело, она может дойти до зеленых ив, растущих по берегу Иордана, и оттуда непременно увидит Итиэля, который пашет в соседнем поле на паре белых волов.

Выслушав эти указания, обе женщины направились к реке и действительно вскоре увидели вдали на пашне двух белых волов и шедшего за сохой немолодого пахаря. Нехушта приказала кормилице остаться в некотором отдалении, а сама с младенцем на руках подошла к Итиэлю.

— Скажи, прошу тебя, — обратилась к нему арабка, — вижу ли я перед собой Итиэля, священника высшего сана среди ессеев, брата покойной госпожи моей Мириам, жены иудея Бенони, богатейшего купца в городе Тире?

— Меня зовут Итиэль, и госпожа Мириам, жена Бенони, пребывающая ныне в стране вечного блаженства за гранью океана, была моей сестрой!

— Хорошо. Так ты, верно, знаешь, что у госпожи моей Мириам была дочь Рахиль, которой я служила до последней ее минуты. Она умерла в

родах — вот младенец, которому она умирая дала жизнь! — И Нехушта показала ему спящую малютку. Итиэль долго вглядывался в маленькое личико, а затем, растроганный, с нежностью поцеловал ребенка, улыбнувшегося ему во сне. Ессеи, хотя и мало видят детей, любят их, как и все люди.

— Поведай мне, добрая женщина, эту печальную повесть! — сказал Итиэль. И Нехушта рассказала ему все, передав в точности последние предсмертные слова своей молодой госпожи.

Дослушав, Итиэль отошел в сторону и застыл в скорби об усопшей, затем сотворил молитву — ессеи не предпринимают ничего, даже и самого пустячного дела, не помолившись предварительно Богу о помощи и вразумлении — и только после этого вернулся к Нехуште со словами:

— Добрая и верная женщина, в которой, думается мне, нет ни коварства, ни лукавства, ни женского тщеславия, как у остальных сестер твоих! Ты загнала меня в угол; я не знаю, как мне теперь быть и что делать. Законы моего братства воспрещают нам иметь какое-либо дело с женщинами, будь они стары или молоды. Суди сама, как могу я принять тебя и младенца в мой дом?

— Законы твоей общины мне неизвестны, — несколько резко возразила Нехушта, — но общечеловеческие законы природы для меня ясны, а также и некоторые заповеди Божий. Я, подобно госпоже и ее ребенку, тоже христианка. Все эти законы говорят, что прогнать от себя сироту-младенца родственной тебе крови, которого горькая судьба привела к твоему порогу, — жестокий и дурной поступок. За это тебе придется когда-нибудь дать ответ Тому, Кто превыше всех законов земных!

— Я не стану спорить, особенно с женщиной, — огорченно сказал Итиэль. — Мои слова правдивы, но правда и то, что наши законы предписывают нам самое широкое гостеприимство и строжайше воспрещают отказывать в помощи обездоленным и беспомощным!

— А тем более ребенку, в жилах которого течет родная вам кровь. Если вы оттолкнете его, он попадет в руки деда и будет воспитан среди иудеев и зилотов, будет приносить в жертву живые существа, мазаться маслом и кровью жертвенных животных!

— О, одна мысль об этом приводит меня в ужас! — воскликнул Итиэль. — Пусть уж лучше она будет христианкой!

Ессеи считали употребление масла нечистым и более всего испытывали отвращение к приношению в жертву животных и птиц. Хотя они не признавали Христа и не хотели слышать ни о каком новом учении, но, тем не менее, многому из того, что завещал своим ученикам Христос,

сочувствовали.

— Но решить этот вопрос один я не могу, — продолжал Итиэль, — а должен представить его на обсуждение собрания ста кураторов. Как они решат, так и будет! На вынесение решения потребуется не менее трех дней, я имею право предложить на это время тебе с ребенком и тем людям, которые пришли с тобой, кров и пищу в нашем странноприимном доме. К счастью, этот дом стоит как раз на том конце селения, где живут наши братья низших степеней, для которых допускается брак. Там вы найдете нескольких женщин — они не могут показываться среди нас в другой части селения!

— Прекрасно, — сказала Нехушта, — только я назвала бы этих братьев — братьями высших степеней, так как они исполняют завет Божий, которым заповедано людям плодиться и множиться!

— Об этом я не стану спорить, нет, нет... Но, во всяком случае, это — прелестный ребенок. Вот она открыла глазки, и эти глазки — точно васильки! — Старик снова склонился над малюткой и поцеловал ее, затем добавил со вздохом: — Грешник я, грешник. Я осквернил себя и должен теперь очиститься и покаяться.

— Почему? — спросила Нехушта.

— Я нечаянно коснулся твоей одежды и дал волю земному чувству, поцеловав ребенка дважды. Согласно нашему правилу, я осквернился!

— Осквернился! — воскликнула негодующим тоном Нехушта. — Ах ты, старый сумасброд! Нет, ты осквернил этого чистого младенца своими мозолистыми руками и щетинистой бородой! Лучше бы ваши священные правила учили вас любить детей и уважать честных женщин-матерей, без которых не было бы на свете и вас, ессеев!

— Я не смею спорить с тобой, не смею спорить! — нервно отозвался Итиэль, ничуть не возмущаясь резкостью речи Нехушты. — Все это должны решить кураторы, а пока пойдем, я погоню своих волов, хотя еще не время выпрягать их из ярма, а ты и спутница твоя идите немного позади меня. Впрочем, нет, не позади, а впереди, чтобы я мог видеть, что вы не уроните ребенка. Право, личико его так прекрасно — жаль расстаться с ним, прости мне, Господи, это прегрешение... Дитя напоминает мне покойную сестру, когда она была еще ребенком и я держал ее на руках... Да, да... Прости, Господи, мои прегрешения!

— Уронить ребенка! — воскликнула было Нехушта, возмущенная словами этой «жертвы глупых правил», как она мысленно назвала его. Но угадав своим женским чутьем, что этот человек успел уже полюбить младенца, она смягчилась и полушутя заметила: — Смотри сам не пугай

малютку своими огромными волами. Вам, мужчинам, так презиращующим женщин, еще многому следовало бы поучиться у нас!

Затем, подозревав кормилицу, она молча пошла впереди Итиэля. Так они дошли до большого прекрасного дома на самом краю селения. Это был странноприимный дом ессеев, где они оказывали своим гостям самый радушный прием, окружая их всеми возможными удобствами и предоставляя все, что у них было лучшего. Дом этот оказался незанятым. Призвав женщину, жену одного из низших братьев-ессеев, Итиэль, закрыв лицо руками, чтобы не видеть ее лица, и говоря с нею издали, поручил ей позаботиться о Нехуште, младенце и их спутниках. Затем старик удалился доложить обо всем кураторам.

— Что, все они такие полоумные? — презрительно спросила Нехушта у женщины.

— Да, сестра, — ответила та, — все они таковы, даже мужа своего я вижу мало, и он каждый раз твердит мне о том, что женщины полны всяких пороков, что они — искушение для человека праведного, ловушка и многое другое, столь же лестное...

В этом странноприимном доме гости прожили несколько дней.

На четвертые сутки собрался совет кураторов, и Нехушта должна была явиться на собрание вместе с ребенком. Сто почтенных, убеленных сединами старцев в белых одеждах разместились на длинных скамьях; на противоположном конце залы было приготовлено особое место для арабки. По-видимому, Итиэль уже заранее изложил все обстоятельства дела, так как кураторы сразу же приступили к расспросам. Нехушта отвечала вполне ясно и точно, после чего кураторы стали совещаться между собой. Большинство оказались согласны принять и воспитать ребенка, но нашлись и такие, которые считали, что так как и младенец, и приемная мать его женского пола, то им здесь не место, или же что если оставить здесь ребенка, то все полюбят и привяжутся к нему, тогда как они должны любить только одного Бога! Другие на это возражали, что они должны любить и всех обездоленных, и все человечество. Затем Нехуште предложили удалиться. Встав со своего места, она высоко подняла улыбающегося младенца — так что все могли видеть его прелестное личико — и умоляла собрание не отвергать просьбы умирающей женщины, не лишать ребенка попечений единственного родственника, не отказывать бедной сиротке в наставлениях и мудром руководстве ее дяди Итиэля и всей святой общины ессеев.

Затем она вышла в смежную комнату, где оставалась довольно долго в ожидании решения собрания. Наконец ее вновь призвали в залу совета; при

одном взгляде на сиявшее радостью лицо Итиэля Нехушта поняла: решение кураторов благоприятно. Действительно, председатель собрания объявил, что большинством голосов решено принять младенца Мириам на попечение общины до достижения ею восемнадцатилетнего возраста, когда девушке придется покинуть селение. За это время никто не попытается отвлечь ее от веры родителей. Мириам и ее приемной матери даны будут дом и все лучшее для их удобства и безбедного существования. Дважды в неделю к ним будут приходить выборные из кураторов, чтобы убедиться, что ребенок здоров и ни в чем не испытывает нужды. Когда девочка подрастет, ее будут обучать полезным наукам и познаниям мудрейшие и ученейшие из братьев.

— А теперь пусть все знают, что мы приняли этого ребенка на наше попечение, — сказал председатель. — Мы все в полном составе проводим вас до предназначенного вам дома, а брат Итиэль, как ближайший родственник ребенка, понесет девочку на руках. Ты, женщина, пойдешь рядом с ним и будешь давать ему необходимые указания, как обращаться с ребенком!

И вот организовалось целое торжественное шествие с председателем совета кураторов и их священниками во главе, с младенцем, которого нес брат Итиэль, в центре, и длинной вереницей кураторов и простых братьев-есеев. Шествие это проследовало через все селение и остановилось на дальней окраине села, у одного из лучших домов, предназначенного служить жилищем малютке Мириам и ее верной хранительнице Нехуште.

Таким образом это дитя, которое впоследствии стало называться «царицей есеев», в сопровождении «царского эскорта» было водворено в свой домик — и не только в домик, но и в сердца всех этих добрых людей, воздвигших ему там трон.

## VI. Халев

Вряд ли какой-нибудь другой ребенок мог похвастать более своеобразным воспитанием и более счастливым детством, чем Мириам. Правда, у нее не было матери, но это с избытком возмещалось любовью и заботами, которыми ее окружала Нехушта и несколько сотен отцов — каждый любил ее как родное дитя. «Отцами» она не смела их называть, но зато всех звала «дядями», прибавляя для отличия имена тех, кого знала.

С появлением Мириам в общине ессеев между почтенными братьями нередко стали проявляться чувства зависти и ревности: все они наперебой старались приобрести ее расположение, прибегая нередко к тайным друг от друга подаркам девочке, прельщая ее лакомствами и игрушками. Комитет, в обязанности которого входили ежедневные посещения домика Мириам, состоявший из выборных кураторов, в том числе и Итиэля, был вскоре расформирован. Теперь депутация составлялась так, что каждый из братьев, по очереди, имел возможность посещать девочку и любоваться их общей питомицей.

К семи годам, когда девочка уже успела стать обожаемым божеством для каждого из братьев-ессеев, она захворала лихорадкой, весьма распространенной в окрестностях Иерихона и Мертвого моря. Хотя среди братьев было несколько весьма искусных и опытных врачей, лихорадка не оставляла больную, и они день и ночь не отходили от ее кровати. Вся же остальная братия была в такой горе, что все селение наполнилось воплями и стонами, вознося молитву Господу Богу об исцелении девочки. Три дня всё пребывали в непрестанной молитве, и многие за это время не дотрагивались до пищи. Никогда еще ни один монарх на свете не был окружен во время болезни такой любовью и тревогой своих подданных, и никогда еще его выздоровление не было встречено такой единодушной радостью и искренней благодарностью Богу, как выздоровление маленькой Мириам.

И неудивительно, ведь она была единственной радостью их бесцветной, однообразной жизни, единственным молодым, веселым существом, щебетавшим как птичка среди угрюмых и молчаливых братьев, вся жизнь которых являлась полным отречением от всех радостей земных.

Когда девочка подросла и настало время подумать о ее обучении, совет ессеев после долгих обсуждений решил возложить эту обязанность на трех ученейших мужей из своей среды.

Один из них был родом египтянин, воспитанный в Коллегии жрецов в Фивах. От него Мириам узнала многое о древней цивилизации Египта и даже многие тайны их религии и объяснения этих тайн, известные одним только жрецам. Вторым был Феофил, грек, живший долгие годы в Риме и изучивший язык, нравы и литературу римлян, как свои собственные. Третий, посвятивший жизнь изучению животных, птиц, насекомых и всей природы; а также и движению небесных светил, передавал с полным старанием эти познания своей возлюбленной ученице, стараясь пояснять все живыми и наглядными примерами.

Впоследствии, когда Мириам стала постарше, ей дали еще четвертого учителя. Новый преподаватель был художник. Он научил девушку искусству лепки из глины и валяния из мрамора, а также употреблению пигментов, или красок. Этот в высшей степени талантливый человек был сверх того искусным музыкантом и охотно занимался с ней музыкой и пением в свободные от других занятий часы. Таким образом, Мириам получила образование, о каком девушки и женщины ее времени не имели даже представления, и ознакомилась с науками и познаниями, о которых те даже и не слыхали. Таинства религии она постигала частью с помощью Нехушты, частью же благодаря заходящим христианам — они приходили и сюда проповедовать учение Христа; особенно заслуживал внимания один старик, узнавший это учение из уст самого Иисуса и видевший Его распятым. Но главным наставником девочки была сама природа, которую она научилась страстно любить.

Светлый, ясный ум и чуткая, поэтическая натура рано стали заметны в этом и внешне привлекательном создании. Прелестная девочка была миниатюрного и несколько хрупкого сложения, на бледном тонком личике светились огромные темно-синие глаза, черные волосы густыми кудрями ниспадали на плечи. Руки и ноги изящные, движения грациозные. Нежная душа ее была полна любви ко всему живущему; сама она росла всеми любимой, даже птицы и животные, которых она кормила, видели в ней друга, цветы как-то особенно расцветали под ее уходом и улыбались ей.

Столь серьезные и регулярные занятия девочки не очень нравились Нехуште. Долгое время она молчала, но наконец высказалась на одном из собраний, как всегда несколько резко и с упреком:

— Вы хотите прежде времени сделать из девочки старуху? На что ей все эти знания? В ее годы другие дети еще беззаботны, как мотыльки, и думают только об играх и забавах, свойственных их возрасту, она же не знает иных товарищей, кроме седобородых старцев, которые пичкают ее юную головку своей старческой премудростью, преждевременно делая



чуждой всех молодых радостей жизни! Ребенок растет, точно одинокий цветок среди угрюмых темных скал, не видя ни солнца, ни зеленого луга!

После долгого обсуждения решили дать Мириам в товарищи кого-нибудь из сверстников. Но, увы! У ессеев не было выбора: в целом селении не оказалось ни одной девочки, а среди принимаемых и призреваемых общиной мальчиков, из которых ессеи готовили будущих последователей своего учения, всего лишь один оказался равным Мириам по рождению. Несмотря на то, что в среде ессеев не существовало кастовых предрассудков и вопрос происхождения не имел никакого значения, им казалось, что для Мириам, которая со времени должна покинуть их тихое убежище и вступить в жизнь, общение с детьми низкого происхождения нежелательно. Этот единственный мальчик, ровесник Мириам, круглый сирота, призреваемый ессеями, был сыном очень родовитого и богатого иудея по имени Гиллиэль. Мальчик родился в тот год, когда после смерти царя Агриппы Куспий Фад стал правителем Иудеи. Отец ребенка не то был убит римлянами, не то погиб в числе двадцати тысяч затоптанных насмерть и смятых лошадьми в день праздника Пасхи в Иерусалиме, когда прокуратор Куман приказал своим солдатам атаковать народ.

Зилот Тирсон, считавший Гиллиэля предателем — тот нередко становился на сторону Римской партии — сумел присвоить все его имущество. Матери ребенка уже не было в живых. Халев остался бездомным сиротой и был привезен одной женщиной в окрестности Иерихона и передан на попечение ессеям.

Халев был красивый, черноволосый мальчик, с темными пытливыми глазами, умный и отважный, но при этом горячий и мстительный. Если он чего-нибудь хотел, то всегда старался добиться этого во что бы то ни стало; как в любви, так и в ненависти своей он был тверд и непоколебим. Одним из ненавистных ему существ была Нехушта. Эта женщина со свойственной ей проницательностью сразу разгадала характер мальчика и открыто высказалась о том, что он может стать во главе любого дела, если только не изменит ему, и что, когда Бог мешал его кровь из всего лучшего, чтобы сам цезарь мог найти в нем себе соперника, Он забыл примешать в нее соль честности и долил чашу вином страстей и злобы.

Когда эти слова были пересказаны ему Мириам, думавшей подразнить своего нового товарища, тот не пришел в бешенство, как она того ожидала, а только сощурил глаза и стал мрачен, как туча над горой Нево.

— Ты скажи, госпожа Мириам, этой старой темнокожей женщине, что я стану во главе не одного дела — так как намерен быть первым везде — и чего уж Бог точно не забыл примешать к моей крови, так это хорошую

долю памяти!

Нехушта, услышав это возражение, рассмеялась и сказала, что все это очень может быть и правдой, но только не мешало бы ему знать, что кто разом взбирается на несколько лестниц, обыкновенно падает на землю, и что, когда голова распростилась со своими плечами, то даже самая лучшая память теряет свое значение!

Халев нравился Мириам, но не так, как любила она своих старых дядей-есеев или Нехушту, которая для нее была дороже всего в жизни. Между тем по отношению к Мириам мальчик никогда не проявлял своего гнева, а всегда старался не только угодить и услужить ей во всем, но даже предугадать ее желания и порадовать, чем только можно. Он положительно обожал ее. Хотя в характере Халева было много лжи и фальши, но его чувство к девочке было искренним и непритворным. Сначала он любил ее, как ребенок любит ребенка, а затем — как юноша любит девушку, но Мириам его никогда не любила, и в этом-то и заключалось все несчастье. Будь это не так, вся жизнь обоих сложилась бы иначе.

Особенно странным было то, что Халев, кроме Мириам, не любил решительно никого, разве только самого себя. Каким-то путем мальчик узнал свою печальную повесть и возненавидел римлян, завладевших его родиной и попиравших ее ногами. Но еще больше он возненавидел иудеев, лишивших его состояния и земель, принадлежавших ему по праву после смерти отца. Что же касается есеев, которым был обязан всем, то он, достигнув того возраста, когда самостоятельно может судить о подобного рода вещах, стал относиться к ним с презрением, прозвав их «общинной прачек и судомоек» за частые омовения и особенно усердное соблюдение чистоты. Халев говорил Мириам, что, по его мнению, люди должны принимать жизнь такой, как она есть, а не мечтать непрерывно о какой-то иной, к которой они еще не принадлежат, и не нарушать общих законов существующей жизни.

Слушая его и видя, что он не сочувствует учению есеев, Мириам вздумала было обратить его в христианство, но старания ее не увенчались успехом, так как по крови он был иудей из иудеев и не мог преклоняться перед Богом, позволившим распять Себя! Его Мессия за которым он пошел бы охотно, должен быть великим завоевателем, победителем всех врагов Иудеи, сильным и могучим царем, способным низвергнуть ненавистное иго римлян!

Быстро проходили годы. Над Иудеей проносились восстания, в Иерусалиме случались погромы. Ложные пророки смущали легковерных, которые тысячами шли за ними, но римские легионы скоро рассеивали в

прах эти толпы. В Риме воцарялись и свергались цезари. Великий Иерусалимский храм был наконец достроен и красовался в полном своем великолепии. Век был богат многими знаменательными событиями, и только в селении ессеев на берегу Мертвого моря жизнь текла своим чередом, и никаких особенно выдающихся происшествий в ней не замечалось, разве только умирал какой-нибудь престарелый брат или новый испытываемый бывал принят в число братии.

День за днем эти добрые, кроткие и скромные люди вставали до зари и возносили свои моления солнцу, а затем брались каждый за свою работу — возделывали поля, сеяли хлеб и были благодарны, если он хорошо родился; если же плохо родился, то были благодарны и за это, и по-прежнему совершали свои омовения и творили молитвы, скорбя о злобе мирской и об испорченности людей.

Так шло время. Мириам уже исполнилось семнадцать лет, когда первая туча появилась над мирной общиной ессеев, как предвестница предстоящих бед.

Время от времени первосвященник Иерусалимский, ненавидевший ессеев как еретиков, присылал к ним требование установленной подати на жертвоприношения в храм. От уплаты этой подати ессеи всегда упорно отказывались, так как всякого рода жертвоприношения были ненавистны им, и сборщики податей каждый раз возвращались ни с чем. Но когда первосвященнический престол занял Анан, он послал к ессеям вооруженных людей силой взять с них десятинный сбор на храм. Тем было отказано в добровольной уплате этой подати, и они обрушились на житницы, амбары и погреба общины, своевольно взяли сколько хотели, а то что не могли увезти с собой рассыпали растоптали и развеяли по ветру.

Случилось так, что во время этого погрома Мириам в сопровождении неразлучной с ней Нехушты находилась в Иерихоне, куда они иногда отправлялись с посильной лептой для бедных. Возвращаясь к себе, Мириам и Нехушта пробирались руслом пересохшей реки, заваленном камнями и поросшим кустами терновника. Здесь их встретил Халев, ставший теперь довольно красивым, сильным и энергичным юношей. В руках у него был лук, а за спиной висел колчан с шестью стрелами.

— Госпожа Мириам, — сказал он, приветствуя женщин, — я искал тебя, желая предупредить, чтобы вы не шли домой большой дорогой. Там разбойники и грабители, которых прислал первосвященник, чтобы ограбить житницы ессеев. Они могут обидеть или оскорбить тебя, так как все они пьяны. Видишь, один меня ударил! — И он указал на большую ссадину на плече.

— Что же делать? Идти назад в Иерихон?

— Нет, они могут нагнать вас в пути! Идите вот этим руслом, а затем пешей тропой, которая приведет к околице селения. Таким образом вы избежите встречи с ними!

— Это правда, — сказала Нехушта, — пойдём, госпожа!

— А ты куда, Халев? — спросила Мириам, удивленная тем, что юноша не идет за ними.

— Я? Я притаюсь здесь, между скалами, пока эти люди не пройдут. Затем буду выслеживать ту гиену, которая напала на овцу, я уже приметил ее, и мне, может быть, удастся ее поймать. Потому-то я и захватил лук и стрелы!

— Пойдем! — торопила Нехушта. — Этот парень сумеет сам за себя постоять!

— Смотри, Халев, будь осторожен! — предостерегла его Мириам. — Странно, — добавила она, догоняя Нехушту, — что Халев выбрал именно сегодняшний вечер для охоты...

— Если не ошибаюсь, он задумал охотиться за гиеной в человеческом образе! — проговорила Нехушта. — Ты слышала, госпожа, что один из этих людей ударил его? Мне думается, он хочет омыть свой ушиб в крови этого человека!

— Ах, нет, Ноу, — воскликнула девушка, — ведь это было бы мстью, а месть — дурное дело!

Нехушта только пожала плечами. «Увидим!» — прошептала она, и действительно — они увидели. В какой-то момент тропа взбежала на вершину холма, и им хорошо стало видно, что по дороге движется небольшой отряд людей с вьючными мулами. Эта кучка людей только спустилась в овраг иссохшего русла реки, как вдруг раздался крик, начался переполох, люди бросились в разные стороны, как бы разыскивая кого-то, в то же время четверо подняли на руки одного, который, по-видимому, был ранен или убит.

— Как видно, Халев пристрелил свою гиену, — многозначительно заметила Нехушта. — Но я ничего не видела, и ты, госпожа, если хочешь быть благоразумной, тоже ничего никому не скажешь! Ты знаешь, я не люблю Халева, но не тебе накликать беду на своего товарища!

Мириам только кивнула головой вместо ответа.

Вечером того же дня, когда Нехушта и Мириам стояли на пороге своего дома, при свете полного месяца они увидели Халева, который направлялся к ним по главной улице селения.

Юноша зашел к ним и здесь, отвечая на расспросы ливийки, должен

был признаться, что действительно смыл удар кровью обидчика.

В разговор их вмешалась девушка. Халев в вызывающем тоне повторил свой рассказ, затем, не найдя сочувствия, быстро сменил тему и стал клясться Мириам в своей любви. Тщетно девушка останавливала его, он ничего не слушал и ушел, повторяя: «Я люблю тебя, Мириам, так, как никто никогда не будет любить».

## VII. Марк

В эту ночь кураторам не удалось помолиться спокойно: с полпути вернулся отряд первосвященника, накануне разграбивший селение. Командующий отрядом явился с обвинением, что один из его людей был убит кем-то из ессеев по дороге в Иерихон, но виновника не нашли. Ему пытались объяснить, что временами здесь пошаливают разбойники, что ни один из ессеев никогда не решится обогреть свои руки кровью, и попросили показать им стрелу, которой был ранен пострадавший. После тщательного исследования определили, что это была боевая стрела несомненно римского изготовления.

Возмущенные явной клеветой и выведенные из терпения кураторы в конце концов выгнали наглеца, предложив ему рассказать свою басню первосвященнику Анану, такому же вору, как он сам, или еще худшему вору и разбойнику, римскому прокуратору Альбину.

В результате всех этих событий в селение пришел приказ явиться на суд Альбина представителям общины ессеев. Советом решено было послать Итиэля и двух других старших братьев. Они отправились в Иерусалим, но там их продержали совершенно бесполезно целых три месяца, под разными предлогами оттягивая суд. В то же время ессеям дали понять, что обвинение можно признать недобросовестным, если они согласятся дать прокуратору взятку, но те отказались. Альбин подождал немного, а потом, видя, что с ессеев нечего взять, приказал им убраться из Иерусалима, сказав, что пришлет офицера, который расследует это дело на месте.

Прошло еще два месяца, и наконец прибыл офицер в сопровождении двадцати солдат. Одним прекрасным зимним утром Мириам с Нехуштой вышли погулять по дороге, ведущей в Иерихон, как вдруг увидели небольшой отряд вооруженных римлян. Они хотели свернуть и притаиться в кустах, но римлянин, бывший, по-видимому, начальником отряда, пришпорил коня, явно намереваясь пересечь им дорогу. Волей-неволей пришлось остановиться.

Всадник обратился к ним с просьбой показать ему дорогу в селение, и женщины согласились. Спешившись и отдав отряду приказание следовать несколько поодаль, офицер пошел рядом с Мириам, расспрашивая ее об ессеях, их жизни и прочем.

На вид ему было не более двадцати трех или двадцати четырех лет.

Роста выше среднего, стройный, но крепкой красиво сложенный, с живыми и энергичными жемами. Его густые темно-каштановые волосы, коротко остриженные, вились крутыми кольцами, золотистый загар покрывал тонкую нежную кожу, а большие серые широко расставленные глаза смотрели смело, открыто из-под резких черных бровей, придававших лицу выражение твердости и решимости.

Красиво очерченный, хотя и несколько крупный рот, обнажавшиеся в улыбке ровные белые зубы и слегка выдающийся, чисто выбритый подбородок дополняли его лицо. Он производил впечатление смелого воина, человека, привыкшего повелевать, но при этом великодушного и добросердечного.

С первого же взгляда офицер понравился Мириам, понравился больше, чем кто-либо из молодых людей, которых она видела до сих пор, да и несравненно больше Халева, ее товарища детства.

Покончив с распоряжениями, римлянин отрекомендовался девушке:

— Я — Марк, — сказал он, — сын Эмилия, это имя было известно Риму в свое время. Я же могу лишь надеяться, что и мое, быть может, тоже станет со временем известно. Пока же я ничем не могу похвастаться перед тобой — разве только дядюшке моему Каю вздумается умереть и оставить мне свои громадные богатства, выжатые из испанцев. В настоящее время я — простой центурион под начальством достопочтенного и высокочтимого прокуратора Иудеи, благородного Альбина! — добавил Марк с оттенком сарказма в голосе. — Я послан расследовать дело по обвинению ваших уважаемых покровителей-есеев в убийстве или в соучастии в убийстве одного недостойного иудея, который в числе других был послан сюда грабить житницы этой общины! Ну, а теперь я желал бы услышать что-нибудь о тебе, прекрасная госпожа!

Мириам с минуту молчала в нерешимости, не зная, следует ли ей быть столь откровенной с мало знакомым человеком. Нехуште же казалось, что молодой римлянин — человек влиятельный и сильный здесь, в Иудее, и заслуживает полного доверия, поэтому она отвечала за свою молодую госпожу:

— Девушка, которую ты видишь, господин, — моя госпожа, единственное дитя высокорожденного греко-сирийца Демаса и благородной супруги его Рахили, дочери богатейшего купца в Тире Бенони!

— Бенони! Я знавал его в Тире, где служил до последнего времени, — произнес Марк. — Я не раз обедал за его столом. Это знатный иудеи и, как утверждают, зилот, богаче его нет купца в Тире, не считая Амрама финикийца!

— Отец госпожи моей умер в амфитеатре Берита, а мать умерла от родов!

— В амфитеатре? — воскликнул молодой римлянин. — Разве он был злодеем или преступником?

— Нет, господин, — вмешалась Мириам, — он был христианином!

— Христианином! — повторил Марк. — О христианах говорят много дурного, но я знаю о них только то, что они мечтатели... Однако если я не ошибаюсь, ты сказала мне, госпожа, что принадлежишь к общине ессеев?

— Я — христианка, как мой отец и мать, но нашла приют у ессеев, и они не пытались отвратить меня от той веры, в которой я была крещена ребенком!

— Это дело опасное — быть христианкой! — заметил ее собеседник.

— Пусть так! Меня ничто не пугает! — ответила Мириам. — Я готова на все!

— Господин, — вмешалась теперь Нехушта, — быть может, госпожа моя и я сказали больше, чем было надо. Но мы доверяем тебе и, хотя ты водишь дружбу с Бенони, все же надеемся, что ты сохранишь в тайне все сказанное и не откроешь ему убежище его внуки!

— Вы не напрасно оказали мне доверие! Но обидно, что все его богатства, которые по праву принадлежат внучке, не достанутся ей!

— Высокое положение и богатство — еще не все, свобода личности и свобода веры значат больше, а моя госпожа ни в чем здесь не нуждается. Теперь я сказала тебе все, господин! — закончила Нехушта.

— Не все! Ты не сказала мне имени твоей госпожи, — возразил молодой римлянин.

— Ее зовут Мириам.

— Мириам, — повторил он, — какое красивое и милое имя. А вот уже видно и селение! Это оно и есть?

— Да, господин, это селение ессеев, — сказала Мириам, — вон в том доме зала совета, а это — странноприимный дом...

— А домик, что стоит так особняком от других? — спросил Марк.

— Это, господин, наш домик, там живем мы с Нехуштой!

— Я угадал! Этот прекрасный сад может принадлежать только женщинам!

Тем временем они подходили к селению. Марк шел подле молодой девушки, ведя лошадь в поводу за собой и удивляясь, что эта полуеврейская девушка так же свободно отвечает на все его вопросы, как любая египтянка, римлянка или гречанка.

Вдруг из кустов справа выступил на дорогу Халев и остановился как



раз перед ними.

— А, друг Халев, — сказала Мириам. — Римский сотник Марк прибыл сюда посетить кураторов! Проводи его и других воинов в залу совета, да предупреди дядю моего Итиэля и остальных о его прибытии. Нам же с Нехуштой пора домой!

— Римляне всегда сами прокладывали себе дорогу, им не требуется, чтобы иудей указывал им путь! — мрачно проговорил Халев и снова скрылся в кустах по другую сторону дороги.

— Друг твой, госпожа, неприветлив, — сказал Марк, провожая его глазами, — недобрый у него вид. Если кто-либо из ессеев и мог совершить поступок, из-за которого я сюда приехал, так, кажется, только он!

— Этот мальчик не убил даже хищной птицы! — сказала Нехушта.

— Халев не любит чужих людей! — заметила, как бы извиняясь, Мириам.

— Я это вижу и могу признаться, что и мне не по душе этот Халев!

— Пойдем, Нехушта, — сказала Мириам, — нам — сюда, а тебе с твоими людьми, господин, надо идти вон туда! Прощай!

— Прощай, госпожа, спасибо, что указала мне путь! — ответил Марк и пошел указанной ему дорогой.

Домик, отведенный ессеями Мириам и ее пестунье Нехуште, находился на краю селения подле странноприимного дома и даже был построен на земле этого последнего, но отделен от него широкой канавой и довольно высокой живой изгородью из гранатовых кустов, увешанных в это время года золотисто-красными плодами. Гуляя с Нехуштой вечером в своем садике, Мириам услышала знакомый голос дяди Итиэля, окликавший ее из-за изгороди.

— Что тебе угодно, дядя? — спросила Мириам.

— Я хотел предупредить тебя, дитя мое, что благородный Марк, римский центурион, будет жить в странноприимном доме все время, пока пожелает быть нашим гостем. А потому не пугайся, если увидишь в этом саду или дворе воинов. Я тоже буду жить здесь, чтобы заботиться о нашем госте. Он, как мне кажется, для римлянина весьма вежливый и приятный человек!

— Я ничуть не боюсь его, дядя, — сказала девушка, — мы с Нехуштой уже успели познакомиться с этим римским центурионом сегодня утром! — И она, слегка краснея, рассказала о своей встрече с Марком на Иерихонской дороге.

— Ну, спокойной ночи, дитя мое, — проговорил старик, — завтра мы с тобой увидимся, а теперь пора на покой!

Мириам послушно вернулась в дом и легла спать. Во сне ей снился молодой римский сотник.

Встав поутру, Мириам принялась за свое любимое занятие, лепку из глины. Ваяние давалось ей легко, так как у нее был природный дар, и работы ее удивляли путешественников, заглядывавших в селение ессеев, и всегда находили покупателей. Деньги, вырученные за эти работы, шли на поддержку бедных. Мастерской служил небольшой тростниковый навес в саду у стены, где Мириам ежедневно проводила по нескольку часов и куда заходил ее старый учитель, теперь уже весьма преклонных лет старец. Под его руководством Мириам исполнила несколько художественных вещей из мрамора и теперь работала над мраморным бюстом своего дяди в натуральную величину. Исходным материалом послужил обломок старой мраморной колонны, привезенной из развалин дворца близ Иерихона. Но сегодня утром Мириам работала с глиной. Нехушта прислуживала ей.

Вдруг чья-то тень заслонила ей свет солнца, проникающий под навес. Подняв глаза, она увидела перед собой дядюшку Итиэля и с ним молодого римлянина.

— Не смущайся, дочь моя, — начал старик, — я привел сюда нашего гостя, чтобы показать ему твою работу.

— Ах, дядя, посмотри на меня! Разве я могу показываться кому-нибудь в таком виде? — воскликнула Мириам, стыдясь своих мокрых рук и испачканного глиной платья.

— Смотрю и ничего решительно не вижу! — сказал старик. — Разве что-нибудь неладно?

— Я тоже смотрю и восхищаюсь! — сказал Марк. — Хорошо было бы, если бы мы чаще заставляли женщин за таким прекрасным занятием.

— Ты смеешься, господин, — возразила Мириам, — возможно ли восхищаться незаконченной работой новичка в деле искусства? Тем более тебе, выдавшему лучшие произведения великих греческих мастеров, о которых я только слыхала!

— Клянусь троном цезаря, госпожа, — воскликнул он искренне, — хотя я сам не художник, но выдающийся ваятель нашего времени Главк не создал бы подобного бюста!

— О, конечно! — улыбнулась Мириам. — Главк помешался бы, увидев его!

— Да, от зависти! Но скажи, что ты делаешь с этими произведениями искусства? — И он указал рукой на целый ряд работ, расставленных на полке под навесом.

— Я продаю их желающим, или, вернее, дяди мои продают, а

вырученные деньги идут на бедных.

— Не будет ли нескромно с моей стороны спросить, за какую цену вы их продаете?

— Иногда путешественники давали мне по серебряному сиклю, а однажды за группу верблюдов с арабом-проводником я получила целых три сикля!

— Один сикль! Три сикля! О, я куплю их все! Нет, это просто грабеж! Ну, а этот бюст, сколько он стоит?

— Это не для продажи, — сказала Мириам, — это мой скромный дар дяде или, вернее, дядям, которые хотят поставить бюст в своей зале совета.

Вдруг счастливая мысль озарила Марка.

— Я пробуду здесь несколько недель, — сказал он, — не согласишься ли ты, госпожа, исполнить мой бюст в такую же величину, и сколько это может стоить?

— О, много, очень много, — отвечала девушка, — мрамор здесь стоит дорого, да и резцы изнашиваются... Это будет (она говорила очень медленно, мучительно напрягаясь, так как не знала даже, что ей можно спросить)... Это будет стоить... пятьдесят сиклей... Да, пятьдесят сиклей! — повторила она неуверенно.

— Я не богатый человек, — воскликнул Марк, — но охотно дам двести сиклей!

— Двести, — пробормотала Мириам. — Нет, это безумие! Я не могу, не смею взять такой суммы... После этого ты, господин, вправе будешь сказать, что попал к разбойникам, которые ограбили тебя... Нет, если мои дяди разрешат принять этот заказ и у меня хватит времени, я постараюсь сделать все, что могу, за пятьдесят сиклей, но только я должна сказать, господин, что тебе придется просидеть немало часов, чтобы получилось хоть слабое сходство с оригиналом!

— Пусть так! Но как только я снова попаду в какую-нибудь цивилизованную страну, я доставлю тебе столько заказов, что ваши нищие превратятся в состоятельных людей. А пока я к твоим услугам, начинай, госпожа, сейчас же, если угодно!

— Я не имею разрешения, а без этого не смею приступить к такой работе!

— Это дело должно быть рассмотрено на совете кураторов, которым принадлежит право решать, может ли она исполнить твоё желание, — вмешался Итиэль. — Но я не вижу ничего предосудительного в том, что моя племянница начнет моделировать из глины твой бюст уже сегодня. Если совет не даст согласия, его можно будет уничтожить!

— Благодарю, почтенный Итиэль, за твое разрешение. Где прикажешь мне сесть, госпожа? Ты увидишь, я буду самой послушной моделью!

— Сядь здесь, господин, и смотри вот сюда, в мою сторону.

## VIII. Марк и Халев

На другой день Итиэль, выполняя свое обещание, предложил на обсуждение совета вопрос, можно ли позволить Мириам исполнить заказ римского центуриона. Ессеи по обыкновению долго совещались по поводу всего, что касалось их возлюбленной питомицы — но наконец разрешение приступить к работе было получено, при условии, однако, что сеансы будут проходить не иначе как в присутствии трех старейших братьев ессеев, в том числе престарелого учителя Мириам.

Таким образом, когда Марк явился в назначенный Итиэлем час в мастерскую, он застал там трех седобородых старцев в белых одеждах, а позади них темную фигуру Нехушты с приветливо улыбающимся лицом. При появлении Марка старцы поднялись со своих мест и поклонились ему, на что и он отвечал низким, почтительным поклоном, а затем приветствовал Мириам.

— Скажи мне, госпожа, эти почтенные отцы ожидают своей очереди служить тебе моделями или же это критики? — спросил римлянин.

— Это критики, господин! — сухо ответила девушка, снимая мокрый холст с глыбы сырой глины и принимаясь за работу.

Так как старцы сидели все трое в глубоких креслах, стоявших в ряд у задней стены, в глубине мастерской, и вставать со своих мест считали неудобным, то следить за ходом работы им било невозможно. А между тем из-за привычки, свойственной всем ессеям, вставать до зари, стариков, попавших в этот жаркий полдень в тень навеса, невольно клонило ко сну, и вскоре все трое заснули крепким, блаженным сном.

— Посмотрите на них, — сказал Марк, — какой прекраснейший сюжет для любого художника!

Мириам сочувственно кивнула головой и, взяв три куска глины, проворно слепила портреты трех спящих старцев, а когда те проснулись, показала им свою лепку. Добродушные старички от души посмеялись.

Каждый день сеансы повторялись тем же порядком, и славные старики-кураторы каждый раз засыпали, так что молодые люди, в сущности, оставались наедине. Ничто не мешало их взаимному обмену мыслей и чувств. Марк рассказывал молодой художнице о войнах, в которых принимал участие, о странах, которые он имел случай посетить, об известных ему народах, их нравах и обычаях; девушка же передавала ему различные подробности своей жизни среди ессеев. Наконец разговор

коснулся религии. Марк был знаком со многими верованиями как западных, так и восточных народов, и все они, по-видимому, не удовлетворяли его, не внушали большого уважения. Тогда Мириам решилась изложить ему, как умела, основы своей религии, новой религии — христианства, о котором в то время непосвященные имели лишь смутное представление.

— Все, что говоришь ты, госпожа, кажется мне прекрасным! — отвечал Марк. — Но объясни, как примирить это учение с требованиями жизни? Твоя христианская вера чиста и высока. Но почему-то все народы в одинаковой мере ненавидят и презирают христиан, да и какой смысл верить в этого Распятого, который обещал всем верующим в него воскресить их в последний день! В чем тут смысл религии?

— Это ты поймешь, господин, когда все остальное изменит тебе!

— Да, ты права. Эта ваша христианская религия — религия тех, кому все остальное в жизни изменяло, религия несчастных, обездоленных. Но теперь давай поговорим о чем-нибудь более веселом, вопросы вечности мне представляются туманными: кроме вечной красоты искусства, я не знаю пока ничего вечного!

В этот момент престарелый учитель Мириам пробудился и протер глаза.

— Подойди сюда, великий учитель мой, — воскликнула Мириам, — помоги твоей неопытной ученице справиться с этим капризным изгибом линии губ!

— Дочь моя, Мириам, когда-то я был искусен в этом деле, — отвечал старец. — Но теперь я — простой каменщик, а ты — гениальный ваятель. У меня было дарование, у тебя — божественный талант! Не мне помогать тебе!

Тем не менее старик подошел к бюсту и, восхищенный, залюбовался работой девушки.

— Да, — добавил он, — тут вот, как сама ты говоришь, не совсем верно... Но попробуй сделать вот так... Нет, нет, я не возьму резца из твоих рук, сделай сама... Видишь, теперь — прекрасно!... О, дитя, теперь не тебе у меня учиться!...

— Не говорил ли я, что ты гениальна в своем искусстве, госпожа! — воскликнул Марк.

— Ты, господин, много говоришь, и я боюсь, что очень многие из твоих слов находятся не в согласии с твоими мыслями. Но теперь, прошу тебя, не говори вовсе: я хочу изучить твои губы!

И работа продолжалась некоторое время в полном безмолвии.

Не всегда, однако, сеансы проходили в разговорах. Иногда Мириам принималась петь вполголоса, а когда заметила, что голос ее приятен молодому римлянину и убаюкивающе действует на старцев, стала петь часто. Кроме того она рассказывала сказки и легенды иорданских рыбаков, и Марк слушал ее с видимым удовольствием. Иногда ее сменяла старая Нехушта, и тогда молодые люди жадно внимали полудиким сказаниям о далекой и знойной Ливии, о тамошних кровавых потехах и о чудесах белой и черной магии.

Так проходили часы работы, и дни следовали за днями счастливой чередой.

Но не всем они казались светлыми днями тихого счастья — для Халева это были бурные дни жгучей ревности, зависти и ненависти. Он готов был в любой момент вонзить нож в сердце блестящего молодого римлянина. И Мириам поняла это, поняла, что отныне горе тому человеку, который полюбит ее. Теперь она боялась Халева, боялась за Марка, хотя, в сущности, молодой римлянин был для нее никем в это время; но она знала, что Халев думал иначе. В последнее время она редко видела друга детства, однако тот находил возможность узнавать до мельчайших подробностей все о Мириам или молодом центурионе. Марк не раз говорил ей, что куда бы он ни пошел, где бы ни был, везде и всюду встречает он этого красивого странного юношу, которого она назвала «друг Халев».

Однажды во время сеанса, когда гипсовый слепок был уже готов, и Мириам работала над мрамором, Марк сказал ей:

— Я должен сообщить тебе новость, госпожа. Теперь я знаю, кто убил того плута иудея. Это твой друг Халев, как доказывают свидетельские показания!

Мириам невольно содрогнулась, так что резец выпал у нее из рук.

— Ш-ш! — прошептала она, оглядываясь на спящих кураторов. (В этот самый момент один из них начал просыпаться.) — Ведь они еще не знают об этом? — шепотом спросила она, наклонившись к Марку.

Он отрицательно покачал головой и казался изумленным.

— Я должна поговорить с тобой об этом деле, только не здесь и не теперь!

Вдруг Нехушта, как нельзя более некстати, уронила какой-то сосуд с металлическими инструментами.

Шум этот разбудил и остальных кураторов, но Мириам уже успела шепнуть:

— Встретимся в моем саду, в час после заката; калитка будет незаперта!

— Хорошо! — ответил Марк. — Но, боги, что это за шум? Друг Нехушта, ты неосторожно потревожила сон наших уважаемых кураторов, хотя, впрочем, на сегодня сеанс, кажется, закончен? — добавил он, обращаясь к Мириам.

— Я не буду задерживать теперь тебя дольше! — ответила та.

Солнце уже зашло, и мягкий лунный свет залил все вокруг. Олеандры, лилии и нежные цветы апельсиновых деревьев наполняли воздух нежным благоуханием. Кругом все стихло, разве только кое-где лаяли собаки, да вдали завывал одинокий голодный шакал.

Марк явился минут за десять до назначенного времени и, найдя калитку незапертой, вошел в сад. Вдоль высокой каменной стены, служившей оградой, шел длинный ряд деревьев, где царила густая тень. Середина же сада, сравнительно открытая, была освещена луной. Марк встал в тени. Крадучись, точно кошка за намеченной добычей, Халев за спиной Марка также пробрался в сад и притаился у стены.

Марк ожидал назначенного свидания, не помышляя о том, что ему могла грозить опасность. Вон там, впереди, мелькнуло белое платье, и молодой римлянин сделал несколько поспешных шагов навстречу девушке и ее неизбежной спутнице Нехуште. Теперь они стояли Достаточно далеко от Халева, так что он хотя и мог ясно различать их фигуры и движения, но разговора, который происходил шепотом, слышать не мог.

— Господин, — начала Мириам, глядя на римлянина своим ласковым, тихим взглядом, напоминавшим спокойную синеву небес, — прости, что я потревожила тебя в такой необычный час.

— Полно, госпожа Мириам, я всегда рад тебе служить! — отвечал Центурион. — Да не называй меня господином, а зови Марком, мне будет приятнее!

— Дело в том, что эта история с Халевом...

— Пусть бы все духи ада побрали этого Халева, что, как я полагаю, вскоре и должно случиться!

— Нет, этого-то именно и не должно случиться! — воскликнула Мириам. — Мы встретились здесь для того, чтобы поговорить о Халеве! Скажи же, господин Марк, что ты узнал о нем?

Марк рассказал, что нашлись свидетели из числа окрестных жителей, которые присутствовали при убийстве, и упомянул о долге, обязывающем арестовать Халева.

Мириам стала просить пощадить его. Но римлянин ревниво заметил, что он видит, как Халев любит Мириам, и спросил, не отвечает ли она взаимностью. Мириам пылко запротестовала против такого



предположения, и смягченный римлянин уступил ее мольбам.

Между тем подслушивающий Халев не расслышал ни слова; до него доносился только смутный шепот двух голосов, но зато ни один жест, ни одно движение обоих не укрылось от его ревнивого взгляда. Нет сомнения, он присутствовал при страстном свидании влюбленных. Ему казалось, что сердце разорвется в его груди от ревнивой злобы, он готов был броситься на римлянина и тут же на месте убить его. Но минуту спустя чувства благоразумия и самосохранения взяли верх: он хотел убить, но не быть убитым! Если он убьет римлянина, Нехушта, эта старая кошка, подкупленная римским золотом, вонзит ему в спину нож, с которым она никогда не разлучается! Тогда Мириам достанется кому-нибудь другому, а он не получит никакого удовлетворения. Так рассуждал Халев, не спуская глаз с освещенной луной площадки сада.

Вот они расстались, и Мириам, не оглядываясь, исчезла в дверях дома. Марк, точно в полусне, прошел мимо юноши так близко, что чуть не коснулся его одежд. Только Нехушта оставалась неподвижной на том месте, где стояла, точно в глубоком раздумье. Халев, крадучись, последовал за Марком, прячась в тени деревьев. В десяти шагах от калитки сада Мириам в стене была другая калитка, ведущая в сад странноприимного дома. В тот момент, когда центурион обернулся, чтобы запереть за собой калитку, перед ним, точно из-под земли, выросла какая-то человеческая фигура.

— Кто ты? — спросил римлянин, отступив на шаг, чтобы лучше разглядеть своего посетителя.

Халев между тем переступил через порог калитки и запер ее за собой на засов.

— Я — Халев, сын Гиллиэля; я хочу говорить с тобой!

— Какое же у тебя дело ко мне, Халев, сын Гиллиэля? — спросил Марк.

— Дело о жизни и смерти, Марк, сын Эмилия! Мы оба любим одну девушку. Я видел все! Двоим нам она принадлежать не может. Я рассчитываю, что со временем она будет моей, если только глаз и рука не изменят мне сейчас. Из этого, полагаю, ясно, что один из нас должен сегодня умереть!

Тщетно Марк взывал к его разуму — пылкий юноша оставался непоколебим в своем намерении. Тогда центурион принял вызов. Драться решили на коротких мечах.

С минуту соперники стояли друг против друга. Римлянин гордо и смело ждал нападения, зорко следя за малейшим движением своего

противника, иудей же присел, как тигр, готовящийся к прыжку, выжидая удобного момента. И вот с тихим отрывистым криком Халев кинулся на Марка, глаза его сверкнули дикой яростью. Но Марк проворно отскочил в сторону в тот момент, когда удар готов был его поразить. Меч Халева запутался в складках плаща соперника, и Марк, поймав его, возвратил удар, но, не желая нанести юноше серьезную рану, направил удар на руку и отсек ему один из пальцев, поранив остальные; Халев выронил свое оружие. Тогда Марк, наступив ногой на меч противника, обернулся к нему и проговорил:

— Юноша, ты сам того хотел! Это тебе урок, и ты до самой смерти не забудешь его. Ну, а теперь иди!

Халев заскрежетал зубами.

— Мы дрались на смерть. Слышишь, насмерть!... Ты победил, убей же меня! — И окровавленной рукой он распахнул на груди одежду, чтобы противник сразу мог пронзить его мечом.

— Оставь такие шутки лицедеям! — сказал Марк. — Иди, но помни: если ты когда-нибудь осмелишься на какой-либо предательский поступок по отношению ко мне или к любимой тобой девушке, то я убью тебя, как воробья!

Издав нечто похожее на стон или проклятие, Халев скрылся во мраке. Марк, пожав плечами, готовился уже войти в дом, как вдруг чья-то тень пересекла его путь. Он обернулся и увидел подле себя Нехушту.

— Ах, друг Нехушта, каким путем ты очутилась здесь?

— Вот этим! — ответила та, указывая на живую изгородь, отделявшую их сад от сада странноприимного дома. — Оттуда я все видела и слышала!

— Если так, то, надеюсь, ты похвалишь меня за ловкость в бою и за добродушный нрав?

— В бою ты ловок, это правда, хотя тут нечем похвалиться при таком безумном противнике. Ну, а что касается твоего добродушия, господин, то скажу тебе, что оно достойно глупца!

— Так вот какова награда за добродетель! — воскликнул Марк. — Скажи, пожалуйста, почему ты так говоришь?

— Да потому, господин, что этот Халев станет опаснейшим в Иудее человеком, и всего более опасным для госпожи моей Мириам и для тебя самого. Тебе следовало убить его теперь, когда представился благоприятный случай это сделать. А в будущем может повезти и ему!

— Ты права, добрая Нехушта, но я последнее время вращался среди христиан и, быть может, невольно заразился их взглядами. Это, кажется, славный меч, возьми его, друг Нехушта, и храни у себя. Спокойной ночи!

На следующий день при перекличке юных воспитанников ессеев Халев не отозвался, и ни на второй, ни на третий день его нигде не могли разыскать.

## IX. Праведный суд Флора

Много дней спустя на имя кураторов было получено короткое послание от Халева, в котором он говорил что, сознавая в себе полное отсутствие призвания стать последователем учения ессеев, он покинул их приют и нашел убежище у друзей своего покойного отца, но где именно, об этом в послании не упоминалось. Принимая во внимание разнесшийся в окрестностях слух о том, что виновником убийства был не кто иной, как Халев, почтенные старцы есσει нашли в этом достаточное объяснение внезапного бегства юноши и, так как он не подавал блестящих надежд, то о нем не особенно жалели.

Прошла неделя со времени исчезновения Халева. Мириам за это время почти не видела Марка, так как надобности в дальнейших сеансах не было и она могла работать по глиняной модели, которая была уже полностью закончена. Теперь же и сам бюст был готов и даже почти отполирован. Однажды поутру, когда Мириам заканчивала свою работу, чья-то тень заслонила широкою полосу солнечного света, врывавшуюся в ее мастерскую через открытую дверь. Она подняла глаза и, к немалому удивлению своему, увидела перед собой Марка в полном боевом одеянии, в кольчуге, панцире и дорожном плаще.

Мириам была одна в мастерской, так как Нехушта вышла распорядиться по хозяйству. Увидав Марка, девушка слегка покраснела и выронила из рук тряпку, которой она полировала мрамор.

— Прости, госпожа Мириам, — начал римлянин, — что я осмелился нарушить так неожиданно твое уединение, но время не терпит!

— Ты покидаешь нас, господин? — прошептала она.

— Да, в три часа пополудни я должен выехать отсюда. Дело мое здесь завершено, мой отчет о непричастности ессеев к убийству и их лояльности по отношению к властям окончен, и меня спешно вызывают в Иерусалим через гонца, прибывшего сюда с час тому назад!

— В три часа пополудни, — повторила девушка. — Что же, работа моя готова, и если ты, господин, хочешь, возьми ее!

— Конечно, я возьму ее с собой, а относительно цены мы сговоримся с уважаемыми старцами.

— Да, да, — промолвила Мириам, кивнув головой, — но если ты позволишь, я желала бы сама упаковать этот мрамор, чтобы он не пострадал в дороге. Кроме того, разреши мне оставить у себя модель, она

по праву должна принадлежать тебе, но я не совсем довольна этим мраморным бюстом и хотела бы сделать другой!

— Мне кажется, что мрамор безупречен, но модель я оставлю в твоём распоряжении, госпожа, и скажу больше — я очень рад, что ты хочешь оставить ее у себя! Ноты не спрашиваешь, госпожа, почему меня вдруг так спешно вызывают в Иерусалим, или тебе не интересно?

— Если тебе угодно будет сказать, то я буду рада!

— Помнится, я упоминал как-то, госпожа Мириам, о дяде моем Кае, проконсуле римского императора в нашей богатейшей провинции, Испании, где он нажил большое состояние. Так вот, старик занемог, и болезнь его смертельна; быть может, он уже умер, хотя врачи уверяли, что он может протянуть еще с полгода или даже больше. Во время своей болезни он вдруг вспомнил обо мне и пожелал увидеть племянника, хотя в течение многих лет совершенно не вспоминал о моем существовании. Мало того, в своем письме он выражает намерение сделать меня наследником, а пока послал весьма крупную сумму на путевые издержки, прося поспешить к нему, насколько только возможно. Одновременно с его письмом к прокуратору Альбину пришло приказание цезаря Нерона немедленно отпустить меня к дяде, снабдив всем необходимым. Вот почему я срочно должен ехать, госпожа Мириам!

— Да, конечно, — сказала молодая девушка, — через два часа этот мраморный бюст будет закончен и упакован! — И она протянула ему руку на прощание.

Марк взял ее руку и удержал в ладонях.

— Мне тяжело прощаться с тобой так!

— Мне кажется, что иного прощания не может быть!

— Проститься можно и так, и этак, но всякое прощание с тобой мне тяжело, больно и ненавистно!

— Стоит ли тебе, господин, терять время на такие слова?! Мы встретились на час и расстаемся навек. К чему тут пустые слова?

— Я не хочу этой вечной разлуки с тобой, госпожа! — воскликнул Марк. — Вот почему я и сказал тебе это!

— Отпусти, господин, мою руку, мне надо еще кончить работу!

— Тебе надо кончить, мне надо начать! — сказал Марк каким-то загадочным, взволнованным тоном. — Мириам, я тебя люблю!

— Я не должна выслушивать от тебя, Марк, такие слова! — смущенно сказала девушка.

— Почему же нет? До сих пор они считались позволительными между мужчиной и женщиной, когда намерения их чисты. В моих устах они

значат одно: я предлагаю тебе быть моей женой, если только и ты любишь меня!

— Едва ли ты говоришь серьезно...

— Клянусь своей честью, Мириам, это мое самое искреннее желание!  
— воскликнул молодой воин.

— В таком случае, Марк, тебе придется теперь же отказаться от него,  
— печально проговорила она, тогда как глаза ее глядели ласково и с любовью. — Между нами лежит целая пропасть!

— И зовут эту пропасть Халев? — с горечью подхватил Марк.

— Нет, у нее другое название, и ты сам хорошо это знаешь. Ты — римлянин и поклоняешься богам Рима, а я — христианка и верую в Бога и во Христа Распятого. Вот что разлучает нас навек!

— Почему же? Очень часто муж христианин или жена христианка обращают своего супруга или супругу в свою веру. Ведь это дело убеждения, дело времени.

— Да, но что касается меня, то даже если бы я того хотела, все равно я не могла бы стать женой человека иной веры, чем моя!

— Почему же? — спросил Марк.

И Мириам рассказала ему о завете покойных родителей.

— Как бы я ни любила человека, все равно, я должна помнить этот завет!

Марк пытался было указать на необязательность этого завета для нее. Но девушка была непоколебима. Тогда центурион выразил предположение, что, может быть, и он станет в ряды последователей Христа, но просил дать ему время подумать, пока же обещал писать ей из Рима. Лицо девушки озарилось лучезарной улыбкой...

Долго еще говорили молодые люди. Наконец пришло время расставаться.

— Прощай, Марк, — проговорила девушка, — и пусть любовь Всевышнего сопутствует тебе!

— А твоя любовь, Мириам? — спросил он.

— Моя любовь всегда с тобой, Марк! — просто отвечала Мириам.

— О, я жил не даром! — воскликнул римлянин. — Знай, что как я ни люблю тебя, а еще более уважаю! — И опустившись перед ней на колени, он поцеловал ее руку и кайму ее платья, потом быстро вскочил на ноги, повернулся и вышел.

Когда стемнело, Мириам смотрела с крыши своего дома, как Марк во главе отряда тихим шагом выезжает из селения ессеев. На вершине холма, с которого открывался вид на окрестности, он придержал коня и, пропустив

мимо себя солдат, повернулся лицом к селению и долго смотрел в ту сторону, где стоял домик Мириам. Серебристый свет луны играл на его боевых доспехах, он казался светлой точкой в окружающем мраке ночного пейзажа. Мириам не могла оторвать глаз от этой светлой точки, сердце ее слышало его немой привет и посылало ему такой же привет, такое же нежное слово любви.

Но вот он быстро повернул коня и исчез. Все мужество бедной девушки разом оставило ее: припав головою к перилам, Мириам залилась слезами.

— Не плачь, дитя, и не горюй! Тот, кто исчез теперь во мраке ночи, вернется к тебе в сиянии дня! Верь мне! — произнес за ее плечом ласковый голос Нехушты.

— Но, увы, дорогая Ноу, что из того, если он вернется? Ведь я же связана этим зарокон, нарушить который не могу без того, чтобы не навлечь на себя проклятия неба и людей!

— Я знаю только то, дитя мое, что и в этой стене, и во всякой другой найдется калитка. Не тревожь же себя — все в руках Божиих, и верь — он вернется. Ты можешь гордиться любовью этого римлянина: он честен, верен и чист сердцем, несмотря на то, что вырос и воспитан в развратном Риме. Подумай об этом и будь благодарна Богу, так как многие женщины прожили свою жизнь, не встретив и не испытав любви, не изведав этой земной радости!

— Ты права, дорогая Ноу, — сказала девушка, — твои слова придали мне силы!

— Ну, а теперь, когда ты немного успокоилась, — продолжала Нехушта, — я сообщу тебе об одном важном деле. Когда ессеи приняли нас с тобой в свою общину, то поставили при этом строжайшее условие, что ты останешься у них только до достижения тобою восемнадцатилетнего возраста. Но этот срок минул уже почти год тому назад, и, хотя ты ничего об этом не знала, вопрос основательно обсуждался на совете. Слова «полных восемнадцать лет» были истолкованы так, что эти восемнадцать лет исполнятся тогда, когда тебе минет девятнадцать, иначе говоря, ровно через полгода, считая от сегодняшнего дня!

— И тогда мы должны будем покинуть этот дом, Ноу?! — воскликнула девушка, для которой это затерявшееся в пустыне селение было целым светом, а добродушные старцы — единственными друзьями. — Куда же мы с тобой пойдем, Ноу? Ведь у нас нет ни дома, ни родных, ни денег!

— Не знаю, дитя. Но, без сомнения, и в этой стене отыщется калитка. У христианки много братьев, и для нее всегда найдется приют. Кроме того,

с твоим искусством ты всегда сумеешь в Иерусалиме или любом другом большом городе заработать себе на пропитание. Да и у меня сбережено на черный день немало денег: почти все золото, данное Амрамом, цело, да и те деньги и драгоценности, которые капитан погибшей галеры оставил в своей каюте, тоже хранятся у меня. Наконец, и ессеи не допустили бы, чтобы ты терпела нужду. Итак, дитя, не мучь себя заботой, ты без того утомлена сегодня, тебе нужно отдохнуть. Ложись-ка спать, уж поздно!

\* \* \*

С тяжелым сердцем покидал Халев тихую деревеньку ессеев за час до рассвета после поединка с Марком. Дойдя до вершины холма, он обернулся назад и долго-долго смотрел на домик, где жила Мириам. В любви и в бою он был несчастлив. Побезденный, униженный тем, что надменный римлянин подарил ему жизнь, угадывая в душе, что счастливый соперник овладел сердцем Мириам, Халев невыносимо страдал. Но самое страдание рождало в нем злобу, а злоба — силу.

Мало-помалу тени ночи бледнели, восток начинал алеть, и скоро дневное светило торжественно взошло на горизонте, озарив все своим золотым светом.

— О! — воскликнул Халев. — Я еще восторжествую над всеми, как солнце восторжествовало над сумрачной мглой! Теперь я рад, что этот римлянин сохранил мне жизнь: настанет день, когда я отниму у него и жизнь, и Мириам! — И юноша, забыв про боль израненной руки, полный злобного торжества и зародившейся в нем надежды, чуть не бегом спустился с холма в долину и, бодро шагая, направил свой путь к Иерусалиму.

Дорогой он много размышлял и вступал в длинные беседы со всеми встречными, стараясь разузнать положение дел в Иерусалиме. Прибыв сюда, он разыскал дом своей бывшей покровительницы. Ее уже не было в живых, но сын этой женщины принял его, обласкал и снабдил хорошим платьем и небольшой суммой денег, чтобы он мог подыскать себе какое-нибудь занятие. Однако Халев, как только залечилась его рана, стал ежедневно ходить к дворцу Гессия Флора римского прокуратора, ища случая поговорить с ним.

Три дня ожидал он напрасно по четыре-пять часов кряду, и в конце



концов его прогоняла дворцовая стража. Но это не смущало Халева, и на четвертый день, когда он снова явился туда, Флор, приметивший его, приказал своим приближенным спросить юношу, чего он так терпеливо ожидает. Офицер возвратился с ответом, что этот иудей имеет просьбу к благородному Флору.

— Так пусть он выскажет ее! — сказал управитель. — Я на то и сижу здесь, чтобы чинить суд и расправу по милости и именем цезаря!

Халев очутился перед Флором, одним из худших людей и худших правителей, каких когда-либо имела Иудея.

— Чего ты хочешь от меня, иудей? — спросил прокуратор Халева.

— Того, что, наверное, получу от тебя, благороднейший Флор! Справедливости! Ничего, кроме справедливости!

— Что ж, это можно получить, но за соответствующую цену! — с усмешкой сказал правитель.

— Я согласен заплатить надлежащую цену!

— Если так, то расскажи свое дело!

И Халев рассказал, как отец его был случайно убит во время бунта, и как некие иудеи-зилоты захватили все имущество, поделив между собой на том основании, что его отец был сторонником римлян. Таким образом он, Халев, единственный сын и наследник всех земель и капиталов, был оставлен нищим и воспитан из милости добрыми людьми, а те иудеи-зилоты или их наследники владеют всем его достоянием.

Маленькие бегающие глазки Флора заискрились корыстной радостью.

— Называй имена твоих обидчиков! — приказал он.

Но Халев был не так прост: он предварительно настоял на формальном договоре относительно того, что достанется ему, законному наследнику, и что должно быть уступлено правителю. После долгих препирательств было наконец решено, что все земли и дворец в Тире, с прилежащими к нему складами и магазинами, а также половина доходов за истекшее время передаются ему, Халеву, все же недвижимое имущество его отца, находящееся в Иерусалиме, и другая половина доходов достанется на долю правителя или, по выражению Флора, на долю цезаря. В этом, как и во всем, Халев оказался предусмотрителен: «Дома, — думал он, — могут сгореть или быть разрушены во время какого-нибудь бунта, поместье же и земли всегда будут в цене». Потом условие было оформлено и подписано. Тогда только он назвал имена своих обидчиков и представил свои доказательства.

Спустя неделю названные им лица были уже заключены в тюрьму, а все имущество их отобрано. Потому ли, что Флор радовался такой

непредвиденной наживе, или потому, что он угадал в Халеве человека многообещающего и со временем могущего стать ему полезным, но только на этот раз, вопреки обыкновению, римский прокуратор в точности выполнил свой договор.

Вот так, спустя несколько месяцев после бегства из селения ессеев, бездомный и униженный сирота Халев стал богатым и влиятельным человеком. Солнце счастья взошло теперь и для него.

## Х . Бенони

По прошествии некоторого времени Халев, теперь уже не бездомный сирота, а состоятельный молодой человек, владелец богатых поместий и земель, выезжал из Дамасских ворот Иерусалима на дорогом коне, в богатой одежде и в сопровождении нескольких слуг.

Выехав за город и поднявшись на холмистую возвышенность, по которой лежал его путь, он оглянулся на Иерусалим и промолвил про себя:

— Придет срок, и римляне будут изгнаны отсюда, а я стану властителем Великого города!

Честолюбивый юноша уже не желал довольствоваться своим богатством и положением, которое оно создало ему, — теперь Халеву хотелось большего. Он направился в Тир, чтобы вступить во владение теми домами с прилежащими к ним землями, которые некогда принадлежали его отцу. Кроме того, у него была еще и другая цель: в Тире жил старый иудей Бенони, дед Мириам, о котором он слышал от нее самой, еще когда оба они были детьми. Этого-то Бенони Халев и желал повидать.

В колоннаде портика одного из богатейших и великолепнейших дворцов Тира в послеобеденное время возлежал на роскошном ложе красивый старик. Он отдыхал после дневных трудов, прислушиваясь к монотонному рокоту синих волн Средиземного моря. Дворец его стоял в той части города, что расположена на острове, а не на материке, где расселилось большинство богатых сирийцев.

Темные, полные жизни и энергии глаза старика, его тонкий орлиный нос, длинные, седые как лунь волосы и серебристая борода делали его положительно красивым, несмотря на его далеко уже не молодые годы. Одет он был в богатое и роскошное платье, кроме того, так как время года было зимнее и даже в Тире было довольно холодно, на нем был дорогой меховой плащ. Сам дворец был достоин своего владельца: выстроен из чистого мрамора, убран великолепно и изысканно. Драгоценная мебель, лучшие ковры, редкая утварь и художественные произведения лучших мастеров делали этот дом настоящим музеем.

Покончив с подсчетами и приемом товара с только что прибывшего из Египта торгового судна, старик Бенони прилег отдохнуть на своей мраморной террасе, выходившей на море. Но сон его был тревожен, скоро он вскочил на ноги и, схватившись за голову, воскликнул;

— О, Рахиль, дитя мое! Почему ты преследуешь меня днем и ночью?

Почему образ твой не покидает меня даже во сне, стоит пред глазами и укоряет меня... Пощади, Рахиль!... Впрочем, это не ты, это мой грех преследует меня, совесть не дает мне покоя! — Присев на край ложа, старик закрыл лицо руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, громко застонал.

Вдруг он снова вскочил и принялся ходить большими шагами взад и вперед по портику.

— Нет, то не был грех! — бормотал он. — А только справедливость! Я принес ее в жертву Иегове, как некогда отец наш Авраам готов был принести в жертву Исаака. Но я чувствую, что проклятие этого лжепророка тяготеет надо мной, и все по вине Демаса, этого ублюдка, который вкрался в мой дом, вкрался в душу моей голубки, а я, безумец, позволил дочери взять его в мужья. Я ли виноват, если меч, который должен был пасть только на его голову, сразил их обоих! — И измученный, обессилевший старик упал на шелковые подушки своего ложа.

В этот момент в нескольких шагах от него появился араб-привратник в богатой одежде, вооруженный громадным мечом. Убедившись, что хозяин не спит, он молча сделал низкий, почтительный салам.

— Что такое? — коротко спросил Бенони.

— Господин, там внизу ожидает молодой человек по имени Халев, сын Гиллиэля, и желает говорить с тобою.

— Халев, которому римский правитель, — при этом старик плюнул на пол, — возвратил его собственность. Да, я уже слышал о нем. Проводи его сюда!

Араб снова отвесил поклон и удалился, а спустя немного времени ввел благородного вида юношу в богатой одежде. Бенони приветствовал его поклоном и просил садиться. Халев, в свою очередь, отвесил ему низкий поклон, коснувшись по восточному обычаю лба рукой. При этом хозяин заметил, что у гостя на руке не доставало пальца.

— Я готов служить тебе, господин! — произнес старик сдержанно, но вежливо.

— Я — твой раб, господин, и готов повиноваться тебе! — ответил Халев. — Мне говорили, что ты знавал моего отца, и я при первом удобном случае явился к тебе засвидетельствовать свое почтение. Моего отца звали Гиллиэль, и он погиб много лет тому назад в Иерусалиме, о чем ты, вероятно, слышал!

— Да, — сказал Бенони, — я знал Гиллиэля. Умный был человек, но он попал в конце концов в ловушку... Я по тебе вижу, что ты его сын!

— Я рад тому, что ты говоришь, господин! — отозвался Халев, и хотя

по тону хозяина понял, что между ним и его покойным отцом не было большой дружбы, тем не менее, продолжал:

— Имущество мое, как ты, господин, верно, знаешь, незаконно отнятое, теперь отчасти возвращено мне...

— Гессием Флором, римским прокуратором, не так ли, который по этому случаю заключил многих совершенно ни в чем не повинных иудеев в тюрьму?!

— Неужели?! Вот именно относительно этого Флора я и пришел спросить твоего мудрого совета. Он удержал в свою пользу добрую половину моей собственности. Неужели нет такого закона, который принудил бы его возвратить все, принадлежащее мне по праву? Не можешь ли ты, такой сильный и влиятельный среди нашего народа, помочь мне в этом?

— Нет, — сказал Бенони, — ты должен почитать себя счастливым, что Флор оставил себе только половину твоего достояния, а не все. Права имеют только римские граждане, а иудеи — только то, что сумеют добыть сами. Относительно меня ты тоже ошибаешься: я не силен и не влиятелен, я — просто старый, скромный купец, не имеющий ни в чем никакого авторитета!

— Как видно, настали тяжелые времена для нас, иудеев! — заметил Халев после некоторого молчания. — Что ж, попробую довольствоваться тем, что имею, и постараюсь простить моим врагам!

— Лучше попробуй быть довольным, но постарайся уничтожить своих врагов! — поправил его Бенони. — Ты был голоден и наг, а теперь богат, за это должен благодарить Бога!

Наступило молчание.

— Что же, ты намерен поселиться здесь в доме Хезрона — то есть в твоём доме?

— На время, быть может, пока не подыщу подходящего нанимателя. Я не привык к городам, так как вырос среди ессеев в пустыне близ Иерихона, хотя сам я не ессей и их учение ненавистно мне!

— Почему же? Они не дурные люди. Ты, может быть, знал среди них брата моей покойной жены Итиэля? Добродушнейший старец!

— Да, конечно, я хорошо знаю его, а также его внучатую племянницу, госпожу Мириам!

Бенони чуть не подскочил при последних словах своего собеседника.

— Прости меня, но я не понимаю, как может эта девушка быть ему племянницей? Я знаю, что у него другой родни, кроме покойной жены моей, не было!

— Точно не скажу, — небрежно отозвался Халев, — но, кажется, лет девятнадцать или двадцать тому назад ее принесла в селение ессеев еще грудным младенцем ливийская рабыня по имени Нехушта. Она рассказала, что мать девочки, попав в кораблекрушение на пути в Александрию, родила младенца на разбитом судне и умерла в родах, завещав отнести ребенка к старику Итиэлю, чтобы тот вырастил и воспитал ее!

— Так, значит, эта госпожа Мириам — последовательница учения ессеев? — спросил Бенони.

— Нет, она — христианка, как того желала ее покойная мать, которая сама принадлежала к этой секте!

Старик не выдержал, поднялся со своего ложа и принялся ходить взад и вперед по портику.

— Ну, а какова эта госпожа Мириам? — продолжал расспрашивать старый Бенони.

— О, она прекраснее всех девушек Иудеи, хотя несколько миниатюрна и худощава. Мила, кротка, приветлива и образованна, как ни одна женщина!

— Весьма восторженные похвалы! — заметил старик.

— Быть может, я несколько пристрастен, но мы росли вместе, и надеюсь, что когда-нибудь она станет моей женой!

— Ты разве обручен с нею, господин? — осведомился Бенони.

— Нет, мы еще не обручены, — сказал Халев несколько смущенно, — но я не смею злоупотреблять твоей любезностью и отнимать твое драгоценное время, господин, рассказами о своих сердечных делах! Позволь просить тебя пожаловать завтра ко мне на ужин. Если ты почтишь меня своим посещением, то я буду тебе за это крайне признателен!

— Я буду у тебя на ужине, господин, — проговорил Бенони, — так как хотел бы знать, что теперь делается в Иерусалиме, откуда ты только что прибыл, если не ошибаюсь. А ты, я вижу, из числа тех людей, которые умеют держать глаза и уши всегда широко раскрытыми!

— Я стараюсь и видеть, и слышать! — скромно ответил Халев. — Но еще так неопытен и несведущ, что сильно нуждаюсь в мудром руководителе, каким мог бы быть ты, господин, если бы того пожелал. А пока прощай, господин, буду ожидать тебя завтра!

Бенони проводил глазами своего посетителя и затем снова стал ходить взад и вперед, размышляя:

— Не доверяю я этому Халеву, но он богатый и способный юноша. Быть может, он сумеет быть полезным нашему делу... Но кто же эта госпожа Мириам?... Неужели дочь Рахили?! Конечно, это очень

возможно... Она не велела отвезти ребенка ко мне, желая, чтобы он был воспитан в ее проклятой вере! Хороша, образованна, говорил он, но христианка! Как видно, проклятие родителей падает на голову детей... Ну, что тебе еще? Разве ты не видишь, что я хочу остаться один?! — грозно прикрикнул старик на вновь появившегося араба-привратника.

— Прости меня, господин, но римский воин Марк пришел побеседовать с тобой. Он говорит, что нынче ночью отплывает в Рим!

— Ну, ну,пусти его, — проворчал Бенони. — Быть может, он явился уплатить свой долг!

Под портиком слышались звучные, мерные, уверенные шаги, и молодой римский центурион подошел к Бенони.

— Привет тебе, Бенони! — произнес он со своей обычной приятной улыбкой. — Как видишь, вопреки твоим опасениям, я еще жив, и твои деньги не пропали!

— Очень рад это слышать!

— Но я явился к тебе сделать новый заем!

Бенони отрицательно покачал головой.

— На этот раз я могу представить, друг Бенони, самые лучшие гарантии! — И Марк вручил старому иудею послание своего дяди Кая и рескрипт цезаря Нерона.

— Что же, рад за тебя, благородный Марк, и верю, что тебя ожидает самая блестящая будущность! Но все ж Италия далеко отсюда, и все твои надежды — плохая порука за целостность моих денег!

— Неужели ты думаешь, старик, что я тебя обману?

— Нет, господин, но возможны всякие случайности.

— Ну, тогда покончим с этим! У меня есть к тебе более важное дело, чем презренные деньги!

— Что же это такое? — осведомился Бенони.

— Вот что: когда я был командирован на следствие к ессеям на берега Иордана, то близко познакомился с этими людьми и, можно сказать, даже подружился с одним из них. Это — славные люди, которые каким-то образом читают будущее, и вот они предсказывают, что случатся великие волнения, смуты, голод, чума и мор по всей вашей стране!

— О, старая история! — произнес Бенони. — Это пророчества проклятых христиан!

— Не называй их проклятыми, друг Бенони, — заметил Марк, — тебе менее, чем кому-либо, пристало так называть христиан. Возможно, принесенные мною вести неверны. Но то же говорят и пророчества ессеев. Я готов верить, что и те и другие не ошибаются. Итак, тот старец, с

которым я подружился, говорил, что в Иудее будет великое восстание против римского владычества и что большинство иудеев, которые примут участие в этом восстании, погибнут, в том числе и ты, друг Бенони. Ты выручал меня и делил со мной свои хлеб-соль, поэтому я, хотя и римлянин по крови, заехал сюда в Тир предупредить тебя держаться в стороне от всех этих восстаний и волнений!

Старик молча слушал своего гостя и, когда тот кончил, отвечал спокойно и наставительно:

— Все, что ты говоришь, быть может, правда, но если мое имя написано на скрижалях смерти, то мне не избежать разящего меча Господня. К тому же, я стар и, право, лучше умереть, сражаясь с врагами отечества, чем хилым старцем в постели. С этим, вероятно, согласишься и ты! Но вот что странно, — прибавил Бенони, немного помолчав, — ты говорил сейчас о пророчествах ессеев, а часом раньше у меня был гость, который вырос среди ессеев, хотя сам не ессей. Он говорил мне, что в их селении живет красавица девушка, зовущаяся «царицей ессеев». Правда ли это?

— Да, правда, я сам видел ее, она прекраснее и образованнее всех женщин, каких я когда-либо знал. Кроме того, она такой скульптор, с которым могут сравниться только величайшие мастера нашего времени! Если пожелаешь последовать за мной на корабль, я открою ящик и покажу тебе ее работу, большой мраморный бюст, сделанный с меня. Но прежде скажи, не заметил ли ты, что на правой руке твоего посетителя недостает одного пальца?

— Да, заметил!

— Его зовут Халев! Я сам отсекал этот палец, конечно, в честном бою. Это молодой негодяй, готовый на убийство и на всякое зло, но ловкий и способный. Я раскаиваюсь, что сохранил тогда ему жизнь!

— А-а, — сказал Бенони, — как видно, я еще не утратил способности различать людей. Именно такое впечатление и произвел на меня этот юноша. Но что тебе известно о девушке?

— Мне многое известно — в некотором роде я помолвлен с ней!

— Как? Неужели и ты? То же самое говорил мне Халев!

— Он лжет! — воскликнул Марк, вскочив со своего ложа. — Она отвергла его, это мне хорошо известно через Нехушту, кроме того, есть еще и другие доказательства!

— Иначе говоря, девушка дала слово быть твоей женой, благородный Марк?

— Нет, друг Бенони, не совсем так, — грустно возразил молодой



центурион, — но я знаю, что она любит меня, и если бы я был христианином, то была бы вскоре моей женой!

— Вот как! Но Халев, как будто, сомневался в ее любви к тебе, господин!

— Он лжет! — воскликнул с негодованием римлянин. — И я говорю тебе, друг Бенони: остерегайся, не доверяй ему.

— Мне-то почему его остерегаться? — спросил старик.

— Я говорю это потому, что госпожа Мириам, которую я люблю и которая любит меня, — твоя родная внучка, Бенони, и наследница всего твоего состояния. Я говорю тебе это, так как ты все равно узнал бы от Халева...

Старик на мгновение закрыл лицо руками, и когда, немного погодя, отнял руки, лицо его было взволнованно, хотя говорил он совершенно спокойно.

— Я так и подозревал, а теперь уверен! Но прошу заметить, благородный Марк, что если кровь этой девушки — моя кровь, то мое состояние — моя собственность!

— Без сомнения, и делай ты с ним, что тебе угодно, оставляй его, кому вздумаешь! Мне же нужна только Мириам, денег мне совсем не нужно!

— Ну, а Халев, полагаю, хотел бы получить и ее, и мои деньги, как человек предусмотрительный. И почему бы мне не отдать ему и то, и другое? Он — иудей хорошего, знатного происхождения и, кажется, пойдет далеко!

— А я — римлянин более знатного рода и пойду дальше, чем он!

— Да, ты — римлянин, а я, дед этой девушки, — иудей, который не любит римлян!

— Но Мириам — не иудейка и не римлянка, а христианка, воспитанная не вами, а ессеями! И она любит меня, хотя и не соглашается стать моей женой, потому что я — не христианин!

Бенони пожал плечами.

— Да, все это такая сложная задача, над которой надо хорошенько подумать, а затем уже решить!

— Не тебе, Бенони, решать и не Халеву, а только ей самой! — воскликнул Марк, и глаза его сверкнули угрозой. — Понимаешь?

— Ты как будто угрожаешь мне!

— Да, и в известном случае сумею привести свои угрозы в исполнение. Мириам достигла теперь совершеннолетия и должна покинуть селение ессеев. Вероятно, ты пожелаешь взять ее к себе, на что, конечно, имеешь право. Но смотри, друг, как ты будешь обращаться с ней! Если она

пожелает по доброй воле стать женой Халева, пусть будет ему женой, но если ты принудишь ее к тому или позволишь заставить ее, то клянусь твоим Богом, моими богами и ее Богом, я вернусь и так отомщу и ему, и тебе, Бенони, и всему твоему народу, что об этом будут помнить сыны, внуки и правнуки ваши. Веришь мне?

Бенони посмотрел на молодого римлянина, стоявшего перед ним во всей красе силы и молодости, с глазами, искрившимися благородным гневом, с лицом открытым и честным, и невольно отступил на шаг, но не от страха, а от удивления: он никогда не думал, чтобы этот пустой, как ему казалось, и легкомысленный римлянин мог обладать такой стойкостью намерений, такой нравственной мощью. Теперь он впервые понял, что это — истинный сын того грозного народа, который покорил половину вселенной.

— Я думаю, что сам ты веришь сейчас своим словам, но останешься ли тверд в намерениях после того, как прибудешь в Рим, где немало женщин, столь же прекрасных и образованных, как эта воспитанница ессеев, — вот в чем дело!

— Это касается только меня!

— Совершенно верно. Теперь скажи, что ты хочешь еще прибавить к тем требованиям, которые возложил на смиренного слугу твоего и заимодавца, купца Бенони?

— Вот что: во-первых, скажу тебе, что когда я уйду отсюда, ты уже не будешь более моим заимодавцем, а я — твоим должником. Я привез с собой достаточно денег, чтобы уплатить тебе всю сумму с надлежащими процентами, а речь о новом займе повел только для того, чтобы перейти к разговору о Мириам. Во-вторых, скажу тебе еще вот что: Мириам — христианка, и ты не посягай на ее веру, я сам не христианин, но требую, чтобы ты не притеснял ее веры, не насилдовал убеждений. Я знаю, что отца ее и мать ты предал на страшную и позорную смерть в амфитеатре! Посмей только поднять на нее палец, и сам будешь растерзан львами в римском амфитеатре. За это я тебе ручаюсь. Хотя меня не будет здесь, но я все узнаю: у меня тут остаются друзья и соглядатаи. Кроме того, я и сам вернусь вскоре. А теперь я спрашиваю тебя, Бенони, согласен ли ты дать торжественную клятву именем Бога, которому служишь и поклоняешься, исполнить мои требования?

— Нет, римлянин, я не согласен! — воскликнул взбешенный Бенони, вскочив на ноги. — Кто ты такой, что смеешь диктовать в моем собственном доме предписания, как мне действовать и поступать с моей собственной внучкой? Уплати долг и не затемняй более собой света,

входящего в мою дверь!

— А-а... — проговорил Марк. — Как видно, тебе пришло время пуститься в путь, Бенони, — люди, побывавшие в чужих странах, всегда становятся более терпимыми к другим и более свободомыслящими! Вот, прочти эту бумагу! — И он выложил на стол перед стариком какой-то документ.

Бенони взял пергамент и прочел:

Марку, сыну Эмилия, привет! Сим повелеваем тебе, если найдешь нужным, по своему усмотрению, схватить иудейского купца Бенони, пребывающего в Тире, и препроводить в качестве пленника в Рим для суда перед Римским Трибуналом по обвинениям, возводимым на него как на участника тайного заговора, мечтающего свергнуть владычество всемогущего римского цезаря в подвластной ему провинции иудейской.

Далее следовала подпись: *Гессий Флор, Прокуратор*. Бенони так и обмер от страха, но в следующий момент схватил со стола бумагу и изорвал ее в клочья.

— Ну, римлянин, где теперь твои полномочия? — воскликнул он.

— В кармане! — спокойно ответил Марк. — Это была только копия. Не зови своих слуг, не трудись. Видишь этот серебряный свисток? Стоит мне поднести его к губам — и те пятьдесят воинов, что стоят у ворот твоего дома, ворвутся сюда!

— Не делай этого, я готов дать клятву, которую ты от меня требуешь, хотя, право, она бесполезна. Зачем бы мне принуждать внучку к замужеству или причинять ей какое-либо зло за ее веру и убеждения?

— Зачем? Затем, что ты — фанатик и ненавидишь меня, как и всех римлян! Потому клянись!

Старик поднял руку и произнес требуемую от него клятву.

— Этого не достаточно, — сказал Марк, — теперь напиши все собственной рукой и подпиши полным именем!

Не возразив ни слова, Бенони подчинился, Марк подписался вслед за ним в качестве свидетеля.

— А теперь, Бенони, выслушай меня: мне предоставляется право, как ты сам видел, отвезти тебя в Рим и поставить перед судом. Но я могу сказать, что не нашел достаточных причин. Тем не менее, помни, что эта бумага у меня в руках и она пока что не теряет своей силы! Помни также, что за тобой неотступно следят, и чтобы пророчество ессеев не сбылось, откажись от участия в заговорах и волнениях. Это — мой тебе добрый

совет! Теперь прикажи позвать сюда моего слугу, который ждет внизу с мешками золота, и возьми их все, а затем прощай! Где и когда мы с тобой снова встретимся, не знаю, но будь уверен — мы еще встретимся с тобой!

Марк встал и тем же твердым, уверенным шагом вышел из дома Бенони. Старый иудей посмотрел ему вслед, и в глазах его зажегся недобрый огонек.

— Теперь — твой час, но придет и мой, и тогда мы посмотрим, благородный Марк! Клятву же свою я должен исполнить, да и зачем мне причинять зло бедной девочке? Зачем отдавать ее в жены Халеву, который даже хуже римлянина? Этот, по крайней мере, смел и отважен, честен и не лжив. Но я хочу видеть эту девушку, я немедленно отправляюсь в Иерихон! — решил старик и, призвав слугу, приказал проводить к себе казначея центуриона Марка.

## **XI. Ессеи лишаются своей царицы**

Весь совет ессеев собрался для обсуждения вопроса об удалении их воспитанницы Мириам за пределы селения. После долгих споров решено было призвать ее саму в зал совета и услышать из ее уст, чего бы, собственно, желала она для себя.

Мириам вошла в сопровождении Нехушты, и при ее появлении седые, белобородые старцы встали и приветствовали девушку низким поклоном, после чего председатель совета взял ее за руку и проводил к специально подготовленному почетному месту. Только когда она заняла свое место, сели и все присутствующие.

В словах старшего из братьев-ессеев, обращенных к общей любимице, звучала глубокая печаль от неизбежной близкой разлуки. В конце своей речи председатель объяснил, что они из своих скромных доходов определили на ее содержание некоторую сумму, которая обеспечит ей возможность безбедного существования.

Мириам, в свою очередь, от всего сердца благодарила собрание, своих любимых наставников и опекунов за все, что они делали для нее с самого раннего ее детства и по сей час, и выразила желание поселиться в одном из приморских городов, где найдутся добрые люди, известные кому-нибудь из ессеев, или родственные им семейства. Ведь в Иерусалиме слишком часто происходят волнения, смуты и беспорядки, грозящие бедой всем, даже и самым скромным обитателям города.

Некоторые из братьев тотчас же пожелали письменно снестись со своими родственниками и друзьями, и предложение каждого обсуждалось всем советом.

Вдруг кто-то постучал в дверь зала собрания, и когда — после предварительного опроса — послушник получил разрешение войти, то объявил, что прибыл с большим караваном богатый иудей Бенони, купец из Тира, и желает говорить с кураторами о внучке своей Мириам, которая, как ему известно, находится на их попечении.

С общего согласия решено было просить Бенони в зал совета. Спустя несколько минут старый иудей, в богатой шелковой одежде, расшитой серебром и золотом, в драгоценных мехах, вошел и поклонился председателю собрания. Тот ответил ему и ждал, пока гость заговорит.

— Уважаемые, — сказал Бенони, прерывая молчание, — я явился сюда потребовать девушку, которую имею основание считать своей внучкой и о

существовании которой недавно случайно узнал от посторонних людей, но о которой вы заботились с самых ранних лет. Скажите мне, здесь ли еще эта девушка?

— Госпожа Мириам сидит среди нас, — ответил председатель совета. — Она действительно твоя внучка, и все мы знали об этом с тех пор, как она здесь!

— В таком случае почему же мне не было известно об этом до сих пор? — спросил Бенони.

— Мы не считали нужным выдать ребенка, который был поручен нашим попечениям умирающей матерью, человеку, предавшему ее родителей на смерть и муки! — При этом почтенный старец негодуя посмотрел на надменного, богатого иудея.

То же сделало и все собрание, так что смущенный Бенони невольно опустил голову под этим немым укором. Но вскоре к нему вернулось обычное самообладание и, гордо выпрямившись, он сказал:

— Я здесь не за тем, чтобы держать ответ за свои поступки, а для того только, чтобы потребовать мою внучку. Она теперь, как вижу, уже вполне взрослая, да и естественным опекуном ее являюсь я!

— Это так, но прежде чем принять это во внимание, мы, бывшие все эти годы ее защитниками, требуем от тебя некоторых гарантий и обязательств!

— Каких гарантий? Каких обязательств?

— Во-первых, ей должна быть завещана достаточная сумма, обеспечивающая безбедное существование в случае твоей смерти; во-вторых, предоставлена полная свобода веры и выбора супруга в случае, если бы она пожелала выйти замуж!

— А если я отвергну эти условия?

— Тогда ты видишь внучку твою Мириам последний раз в жизни! — твердо и смело ответил председатель совета ессеев. — Мы — люди смиренные, но знай, купец, что мы не бессильны, и хотя по правилам нашим госпожа Мириам не может более оставаться среди нас, но где бы она ни была, до последней минуты жизни наше попечение о ней не прекратится, и наша власть будет всегда охранять ее. Какое бы зло ни приключилось с ней, мы тотчас же узнаем и отомстим! Ты свободен принять или отвергнуть наши требования, но в последнем случае она исчезнет для тебя навсегда, и никто и ничто на свете не поможет тебе разыскать ее. Мы сказали!

— Мы сказали! — подтвердили в один голос все сто старцев и смолкли.

— Ты слышал их слова, господин, — сказала Нехушта среди

воцарившегося молчания, — и я, которая знаю этих людей, говорю тебе, что они сдержат свое слово!

— Пусть моя внучка решит, прилично ли ставить мне такие обидные условия?

— Высокочтимый господин, — сказала девушка, — я не могу восставать против того, что делается для моего блага! Деньги меня не прельщают, я боюсь потерять свободу и не хочу для себя участи, постигшей моих родителей. Я говорю и думаю, как эти люди, которые любят меня и которых я с детства привыкла уважать.

— Гордый ум! — пробормотал старик и с минуту молчал, поглаживая свою седую бороду.

— Дай нам ответ, господин, время близится к закату. А мы должны все решить прежде, чем настанет час молитвы! — сказал председатель собрания. — Не понимаю, что смущает тебя в наших условиях? Ведь мы не требуем от тебя ничего иного, кроме того, в чем ты уже дал клятву и расписку римскому центуриону, благородному Марку!

Вздвогнув, Мириам удивленно перевела глаза с деда на собрание белобородых старцев.

Бенони побледнел от злобы и разразился желчным смехом:

— Да-а... теперь я понял...

— Что руки ессеев достаточно длинны, раз могут дотянуться до Рима? — докончил фразу старейший из кураторов.

— Берегитесь, чтобы римские мечи не оказались еще длиннее ваших рук и не достали из Рима до ваших голов! — заметил Бенони. — А теперь выслушайте мой ответ. Я готов был бы вернуться домой, предоставив вам делать с вашей воспитанницей все, что вздумается, но она — единственное существо, в котором течет моя кровь, другой родни у меня нет. Я уже стар и потому соглашаюсь на все ваши требования и беру Мириам с собой в Тир в надежде, что она когда-нибудь сумеет полюбить меня!

— Хорошо, — сказал председатель собрания, — завтра все бумаги будут готовы, ты подпишешь их, а до тех пор будь нашим гостем!

На следующий день вечером все бумаги были оформлены, все условия подписаны, и старый Бенони не только назначил Мириам известную сумму на случай своей смерти, но еще и определил ей некоторый ежегодный доход при своей жизни, обеспечив таким образом ее полную материальную независимость.

Спустя три дня Мириам простилась со своими добрыми покровителями, которые в полном своем составе проводили ее за селение. На вершине холма, в минуту расставания, девушка не выдержала и

залилась горячими слезами.

— Не плачь, дорогое дитя, — проговорил Итиэль, — мы расстаемся здесь телесно, но духовно все неразлучно будем с тобой и в этой жизни, и за ее пределами!

— Не бойся за воспитанницу, Итиэль! — сказал Бенони. — Ваши обязательства и гарантии надежны, но еще надежнее любовь деда к внучке!

— Если так, — воскликнула Мириам, — то и внучка не останется в долгу, высокочтимый господин! — Затем она снова стала прощаться с ессеями.

Прощание вышло самым трогательным. Когда караван Бенони двинулся дальше по дороге к Иерихону, ессеи печально возвратились в свое селение, но Итиэль утверждал, что они не только в будущей, но еще и в этой жизни свидятся с Мириам.

Путешествуя не спеша, Бенони, его внучка, Нехушта и весь караван под вечер на второй день пути разбили свои шатры вблизи Дамасских ворот Иерусалима, вне новой городской стены, воздвигнутой Агриппой. Бенони опасался, что караван будет ограблен римскими солдатами, если войдет в самый город.

Пока рабы готовили ужин, Нехушта взяла Мириам за руку и указала ей на скалистую гору, довольно крутую, но не особенно высокую:

— Там, на горе, был распят Господь!

Услыхав эти слова, девушка благоговейно опустилась на колени и склонилась в тихой молитве. Вдруг за ее спиной раздался голос деда приказывавший ей подняться с колен.

— Дитя, — сказал он, — Нехушта сказала правду. Этот ложный Мессия умер там, на кресте, смертью злодея между злодеями. И хотя я обещал, что не буду препятствовать тебе следовать учению и обрядам твоей веры, но все же прошу: не молись так, на глазах у всех, этому твоему Богу. Посторонние люди могут оказаться менее терпимыми, чем я, и предать тебя на страшную смерть и муки!

Мириам кивнула головой и вместе со стариком вернулась в шатер, где их ожидал ужин.

Через четыре дня путешественники благополучно прибыли в Тир, этот богатый, цветущий и великолепный город. Мириам увидела то море, на котором родилась. До сих пор оно представлялось ей похожим на Мертвое море, на берегах которого прошли все ее детство и ранняя молодость. При виде же искрящихся и пенящихся волн Средиземного моря сердце ее дрогнуло от восторга, и с этого момента она полюбила его всей душой.

Еще из Иерусалима Бенони отправил гонцов в Тир, чтобы



предупредить своих слуг и управляющего, что он прибудет с почетной гостьей, и потому к приезду Мириам весь дом принял праздничный вид, а стол был приготовлен, как для брачного пира.

Этот роскошный дворец, служивший в течение многих веков жилищем для царственных особ, своим изысканным и богатым убранством восхитил девушку. Старый Бенони внимательно наблюдал за внучкой, следуя за ней по пятам.

— Довольна ли ты, дочь моя, своим новым домом? — спросил он наконец.

— Ах, дедушка, это просто великолепно! — ответила Мириам. — Мне никогда даже не снился такой дворец, такая сказочная роскошь и богатство. Но скажи, позволишь ли ты мне заниматься моим искусством в одном из этих больших залов?

— Отныне, Мириам, ты — хозяйка в этом доме, а со временем станешь его владелицей. Дитя мое, не было надобности стольким посторонним думать о том, как обеспечить тебя всем необходимым! Все, что у меня есть, — твое! Но я был бы счастлив, если бы ты и мне уделила хоть малую долю своей любви, мне, бездетному и одинокому!

— И я готова... но...

— Не говори! — прервал ее старик. — Не говори, я знаю, что ты хочешь сказать. Я горько каюсь в том, что для меня твоя вера — ничто и твой Бог — посрамление, но еще горше мысль, что посылать за веру на смерть и муку жестоко и несправедливо. Мало того, я прибегну даже к одной из заповедей Распятого. Он, кажется, учит прощать обиды?

— Да, так нас учит Христос, и потому христиане любят все человечество!

— Так внеси же это учение в стены этого дома и люби меня, нанесшего тебе обиду в лице родителей твоих, обиду, в которой я теперь горько каюсь!

Вместо ответа Мириам впервые обвила шею старика руками и одарила его поцелуем.

С этого времени старый Бенони с каждым днем все больше привязывался к внучке, ревнуя ее ко всем и каждому, особенно к Нехуште, которую девушка любила, как мать.

## XII. Ожерелье, кольцо и письмо

Мириам жилось хорошо и спокойно в Тире, в доме деда, который не отказывал ей ни в чем, даже не запрещал общаться с другими христианами, жившими в Тире. Впрочем тогда христиане подвергались сравнительно меньшей опасности, чем иудеи, ненавидимые сирийцами и греками за их богатства и жившие под непрестанной угрозой убийства и ограбления. Среди великих волнений и смут того времени скромные, разноплеменные и сравнительно немногочисленные христиане оставались мало замечаемыми.

Дни проходили однообразно и несколько тоскливо, так как Мириам редко показывалась на улице, сидя почти безвыходно дома. Несмотря на усердные занятия излюбленным искусством, у нее оставалось много времени для размышлений и воспоминаний о прошлом, и среди этих дорогих воспоминаний наряду с добрыми старцами-ессеями ярко выступала в каком-то лучезарном блеске фигура молодого римского воина Марка.

О, как страстно ждала она вести о нем!

Тоскуя взаперти в роскошном дворце Бенони и желая хоть сколько-нибудь рассеяться, Мириам выпросила у деда разрешение посетить принадлежавшие ему в северной части города великолепные сады и в сопровождении Нехушты и многочисленных слуг отправилась туда.

Обойдя богатые владения Бенони, девушка присела отдохнуть на обломок мраморной колонны, остаток древнего храма, некогда стоявшего на этом месте. Вдруг послышались чьи-то торопливые шаги, и Мириам увидела перед собой римского воина в полном походном снаряжении, в сопровождении одного из слуг Бенони.

— Госпожа, — произнес он, склоняясь перед нею, — меня зовут Галл. У меня к тебе поручение! — С этими словами он достал из-под дорожного плаща пергамент, перевязанный шелковой нитью и запечатанный большой печатью, и небольшой сверток, которые вручил Мириам.

— Кто и откуда прислал мне это? — спросила девушка.

— То и другое я привез из Рима, а посылает это тебе благородный Марк, прозванный теперь Фортунатом (Счастливым)!

— Ах, — воскликнула Мириам, — скажи мне, господин, здоров ли он и хорошо ли ему живется?

— Я оставил его в добром здравии, госпожа, но божественный Нерон возлюбил его так сильно, что не может обойтись без него. А любимцы

цезаря часто бывают недолговечны. Впрочем, не печалься, госпожа! Мне думается, что пока благородному Марку не грозит никакая опасность. А теперь поручение мое исполнено, госпожа, и я должен спешить, ты же все узнаешь из послания! — И Галл откланялся и удалился так же поспешно, как пришел.

— Перережь скорей эту нитку, Ноу! — воскликнула Мириам, протягивая свиток Нехуште. — Скорее, дорогая, у меня не хватает терпения!

Нехушта улыбаясь поспешила исполнить приказание молодой госпожи, и та, развернув свиток, принялась читать.

Марк писал, что благополучно прибыл в Рим, где застал своего дядюшку Кая на смертном одре, уже готового в отсутствие племянника завещать все свои богатства императору Нерону. «Тем не менее, — писал Марк, — я пришелся дядюшке по вкусу, и он сделал меня своим наследником, а спустя месяц после его смерти, я стал одним из богатейших людей в Риме. Конечно, Нерон не знал о намерении Кая, не то я лишился бы не только своего наследства, но и головы под каким-нибудь пустым предлогом. Я собирался вернуться в Иудею немедленно, но случилось нечто, чего я никак не мог предвидеть».

Оказалось, что, вступив во владение домом Кая, Марк поставил на самом видном месте в вестибюле свой бюст работы Мириам и пригласил друга Главка и некоторых других знаменитых скульпторов Рима полюбоваться им. Художники пришли в неописуемый восторг и в последующие дни не говорили ни о чем другом, как только об этом бюсте.

Слава этого произведения дошла до самого Нерона, и однажды, не предупредив никого о своем посещении, император явился в дом Марка. Долгое время он стоял, безмолвно любуясь мраморным бюстом, затем воскликнул:

— Какая страна имела несказанное счастье породить того гения, который создал это произведение?

Узнав, что то была Иудея, император поклялся сделать художника правителем Иудеи. Когда ему сказали, что художник — женщина, он сказал, что все равно заставит всю Иудею и весь Рим поклоняться ей. Но прежде автора нужно разыскать и доставить ко дворцу.

Услыхав эти слова, Марк так и обмер и поспешил уверить императора, что гениальной художницы уже нет в живых. Тогда император разразился слезами, но все еще не уходил. Один из его приближенных шепотом посоветовал хозяину преподнести мраморный бюст императору в подарок, дружески предупредив: «Иначе не пройдет и нескольких дней, как ты

лишишься своего сокровища, а может быть и состояния и даже головы». После этого Марк поднес бюст Нерону который сперва заключил в свои объятия скульптуру, затем молодого римлянина и приказал тотчас же отнести подарок во дворец.

По прошествии двух дней Марк получил императорский указ, гласивший, что несравненное произведение искусства, вывезенное им из Иудеи, поставлено в таком-то храме и все желающие угодить императору приглашаются для поклонения гениальному творению и духу той, которая создала этот мрамор. Кроме того по воле императора Марк назначался хранителем собственного изображения, и ему вменялось в обязанность дважды в неделю неотлучно проводить день в этом храме подле своего бюста, чтобы поклоняющиеся могли видеть и модель. Такова была воля всемогущего цезаря, правящего Римом.

Далее в письме Марк рассказывал, что сейчас он в милости у Нерона, и поэтому ему удастся оказывать значительные услуги христианам, иногда даже избавлять их от смерти. Однажды Нерон лично явился в храм, где стояло изображение Марка, и высказал мысль принести в жертву духу умершей художницы нескольких христиан, которых он хотел обречь на самую мучительную и ужасную смерть.

Но когда Марк сказал ему, что это едва ли будет угодно художнице, которая при жизни сама была христианкой, то Нерон воскликнул: «Боги! Какое преступление я готов был совершить!» — и тотчас же отменил свой приговор, на некоторое время совершенно оставив христиан в покое.

Дорогая, возлюбленная Мириам, я страшно несчастен, что не могу теперь же вернуться в Иудею, так как Нерон ни за что не выпустит меня живым из Рима. Но я денно и ночью думаю о тебе и мучаюсь мыслью, что другие, в том числе и Халев, видят твое дорогое лицо, упиваются твоим голосом. Скажу тебе еще, что я разыскал здесь, в Риме, ваших лучших проповедников, беседовал с ними и приобрел за большие деньги их рукописи, в которых изложены все ваше учение и все догматы, вашей веры. Книги эти я намерен изучить основательно, но пока откладываю, опасаясь, что уверую и стану христианином, а затем, подобно многим десяткам римских христиан, буду обращен в факел, чтобы освещать в ночное время сады Нерона.

Далее упоминалось, что кольцо с изумрудом, на котором вырезаны профили Марка и Мириам (изображая профиль последней, автор воспользовался маленькой статуэткой, подаренной девушкой Марку, на

которой она была изображена склонившейся над ручьем), работы Главка, и жемчужное ожерелье имеют свою историю, которую Марк со временем расскажет.

Кольцо и ожерелье он просил ее носить, не снимая, и при случае предлагал написать ему хоть несколько слов или, по крайней мере, вспоминать о том, который только о ней одной и думает и т.д.

Дочитав это послание, Мириам поцеловала его и спрятала у себя на груди, а Нехушта между тем раскрыла шкатулочку слоновой кости, из которой молодая девушка достала кольцо с дивной красоты изумрудом и жемчужное ожерелье.

— Посмотри же, Ноу! Посмотри! — воскликнула Мириам в восторге.

— Да, есть на что полюбоваться! Этот жемчуг — целое состояние! Счастливая девочка, снискавшая себе любовь такого человека!

— Несчастливая, — возразила Мириам, — которая никогда не будет женой этого человека! — И глаза ее наполнились слезами.

— Не горюй раньше времени и не говори того, о чем знать не можешь, — сказала Нехушта, надевая ей на шею ожерелье. — Ну, а теперь давай сюда твой палец. Тот, на котором носят обручальное кольцо! Вот видишь, как оно пришлось, словно по мерке!

— Нехушта, я не должна этого делать, — прошептала Мириам, но кольца с пальца не сняла.

— Пойдем домой, дитя, сегодня у господина будут гости на ужине!

— Гости? Какие гости?

— Все заговорщики! Отведи Господи от нас беду! Слыхала ты, что Халев возвратился?

— Нет!

— Вчера прибыл в Тир и сегодня будет в числе гостей Бенони. Он воевал в пустыне и, говорят, участвовал во взятии крепости Масада, весь римский гарнизон которой перебит!

— Так Халев восстал против римлян?

— Да, он надеется стать правителем Иудеи!

— Я его боюсь, Ноу! — сказала Мириам.

Когда Мириам вошла в большой зал, где был приготовлен ужин для гостей, то, выполняя желание деда, она выглядела ослепительно — в великолепном наряде греческого покроя, богато украшенном золотым шитьем, с золотым поясом, унизанным камнями, и золотыми обручами в волосах. Все эти мрачные, суровые иудеи с решительными лицами встали и один за другим поклонились ей, как госпоже и хозяйке этого дома.

Она отвечала низким поклоном на приветствие каждого и,

вглядывалась в лица, с невольной тревогой искала среди них Халева, но его не было в числе гостей. Вдруг занавеси зала отдернулись, и вошел Халев.

О, как он изменился за эти два года! Теперь это был великолепный, блестящий юноша, могучий, гордый и самоуверенный. Присутствующие почтительно кланялись ему, как человеку, добившемуся высокого и завидного положения и способному выдвинуться со временем еще дальше. Даже сам Бенони сделал несколько шагов ему навстречу, чтобы приветствовать его. На все эти поклоны и приветствия Халев отвечал небрежно, даже несколько надменно, как вдруг взгляд его упал на Мириам, стоявшую в тени. Тогда, не обращая ни на кого внимания, он двинулся прямо к ней и занял место подле нее, хотя оно собственно говоря, предназначалось старейшему из гостей. Заметив происшедшее вследствие этого замешательство, Бенони поспешил посадить лишившегося места гостя подле себя.

— Вот мы и встретились вновь, Мириам! — начал Халев несколько растроганно, и жестокие, надменные черты его лица мгновенно смягчились. — Рада ты меня видеть?

— Конечно, Халев! Кто не рад встрече с товарищем детских игр? — сказала Мириам. — Откуда ты теперь?

— С войны, — ответил он, — мы бросили вызов Риму, и Рим принял этот вызов!

Она вопросительно взглянула на него.

— А хорошо ли вы сделали?

— Как знать! Трудно сказать наперед, — отозвался Халев. — Что касается меня, то я долго колебался, но твой дед восторжествовал надо мной, и теперь я, волей-неволей, должен идти навстречу судьбе!

В этот момент в зал вошел гонец. Все встали, на всех лицах отразилась тревога.

— Какие вести? — спросил кто-то.

— Галл, римлянин, был отброшен от стен Иерусалима, и отряд его уничтожен на перевале Бет-Хорана!

— Хвала Богу! — воскликнули присутствующие в один голос.

— Хвала Богу! — повторил за ними и Халев. — Проклятые римляне наконец пали!

Но Мириам не сказала ничего.

— Что же ты молчишь? Что у тебя на уме?

— Думается мне, что они восстанут с большей силой, чем прежде! — сказала она. — И тогда...

В этот момент Бенони сделал знак, и девушка, поднявшись со своего

места, вышла из зала. Она прошла под портик и, сев у мраморной балюстрады террасы, выходящей на море, стала прислушиваться к рокоту волн, разбивавшихся внизу о мраморный цоколь дворца. В голове ее роились самые разные мысли.

Как недавно еще и она, и Марк, и Халев были скромными, маленькими, незначительными людьми без средств, а теперь все трое поднялись высоко, все достигли богатства и высокого положения. — Но надолго ли? — думалось молодой девушке. — Судьбы человеческие капризны, как волны моря, они шумят, бурлят, с минуту искрятся на солнце, улыбающемся им, затем со стоном разбиваются о стену, и наступают ночь и забвение...

Мечты девушки нарушил Халев, незаметно подошедший к ней. Раскрыв перед Мириам свои честолюбивые планы, — он мечтал ни больше и ни меньше, как о царском троне в Иудее, — юноша вновь просил Мириам быть его женой, но получил отказ. Узнав, что Мириам любит Марка, он заскрежетал зубами и поклялся убить соперника.

— Это не поможет тебе! — коротко сказала Мириам. — Почему нам нельзя быть друзьями, Халев, как в прежние дни?

— Потому, что я хочу того, что больше дружбы, и рано или поздно, так или иначе, но, клянусь, добыюсь своего!

— Друг Халев, — вдруг раздался голос Бенони, — мы ожидаем тебя. А ты, Мириам, что делаешь здесь? Ступай, дочь моя, в свою комнату, речь идет о делах, в которых женщины не должны принимать участия!

— Но, увы, нам придется нести свою долю тяжести! — прошептала она и, поклонившись, удалилась.

## XIII. Горе тебе, Иерусалим!

Прошло еще два года, два кровопролитных и ужасных года для Иудеи и особенно для Иерусалима, где различные секты уничтожали друг друга. В то время как в Галилее, — невзирая на все усилия иудейского вождя Иосифа, под началом которого сражался Халев, — Веспасиан и его военачальники брали штурмом город за городом, уничтожая население тысячами и десятками тысяч, в прибрежных городах и во многих других торговых центрах сирийцы и иудеи поднимались друг против друга и беспощадно избивали одни других. Иудеи осаждали Гадару и Голонитис, Себасту и Аскалон, Анфедов и Газу, истребляя огнем и мечом сирийцев, а там настала и их очередь, сирийцы и греки восстали против них и также не знали пощады.

До описываемого момента в Тире еще не было кровопролития, но все ждали его со дня на день. Ессеи, изгнанные из своего селения у берегов Мертвого моря, искали себе убежища в Иерусалиме; они посылали к Мириам посла за послом, увещевая ее бежать, если возможно, куда-нибудь за море, так как в Тире ожидалась погромы и пожары, а Иерусалим, как они полагали, был обречен на гибель. Христиане, со своей стороны, уговаривали ее бежать вместе с ними в Пеллу, где они собирались не только из Иерусалима, но и из Тира, и со всей Иудеи. Но Мириам и тем, и другим отвечала, что не оставит деда — он всегда был добр к ней, и она поклялась не покидать его.

Послы ессеев возвратились тогда обратно, а христиане, помолившись вместе с ней об общем спасении, покинули Тир.

Простившись с ними, Мириам пошла к деду, которого застала взволнованно расхаживающим по комнате. Увидев ее, он поднял голову и спросил:

— Что с тобой, дочь моя? Отчего ты так печальна? Верно, твои друзья предупредили, что нам грозят новые невзгоды?

— Да, господин, — проговорила Мириам и передала все, что ей было известно.

Старик выслушал ее до конца и сказал:

— Я не верю всем этим предсказаниям христианских книг! Напротив, многие знамения указывают, что время явления Мессии близко, того настоящего Мессии, который сразит врагов страны и воцарится в Иерусалиме, сделав его великим и могучим. Если ты веришь, что бедствия



обрушатся на Иерусалим и на избранный народ божий, и боишься, то беги с друзьями, а меня оставь одного встречать бурю!

— Я верю в предсказания христиан и их священных книг, верю, что гибель Иерусалима и всего народа нашего близка, но я ничего не боюсь! Я знаю, что и волос с головы нашей не упадет без воли Отца, и что из нас, христиан, никто не погибнет в эти дни! Но за тебя я боюсь и буду с тобой, где бы ты ни остался!

— Я не брошу дом и богатство даже для того, чтобы спасти свою жизнь! Не могу покинуть свой народ во время его священной войны за независимость и свободу дорогой родины. Но ты беги, дитя! Я не хочу, чтобы ты могла упрекнуть меня, что я довел тебя до гибели!

Но Мириам была непоколебима.

Так они и остались в Тире. А спустя неделю гроза действительно разразилась. В последнее время иудеям уже небезопасно было показываться на улицах города: тех, кто, крадучись, появлялся вне своего дома, избивала разъяренная толпа, которую возбуждали тайным образом против них римские эмиссары. Бенони воспользовался этим временем для того, чтобы сделать громадные запасы продовольствия и снарядов и привести свой дворец, бывший некогда грозной крепостью, в готовность к серьезной обороне.

Одновременно он послал известить Халева, находившегося в это время в Иоппии, где командовал иудейскими военными силами, о грозящей жителям Тира опасности. До ста семейств наиболее знатных и богатых иудеев перебрались в дом Бенони, так как другого, более надежного убежища поблизости не было.

Но вот однажды ночью страшный шум и вопли разбудили Мириам. Она вскочила с кровати. Нехушта была уже подле нее.

— Что случилось, Ноу? — спросила девушка.

— Эти псы сирийцы напали на иудеев и громят их жилища! Видишь, половина города объята пламенем! Люди бегут из огня, но их беспощадно добивают тут же, в двух шагах от порога дома. Пойдем на крышу! Оттуда все видно! — И накинув плащи, обе женщины побежали вверх по мраморной лестнице. Опершись на перила, Мириам взглянула вниз и тотчас отшатнулась, закрыв лицо руками.

— О, Христос! Сжался над ними! Пощади свой народ!

— А они, эти иудеи, разве пощадили Его, ни в чем не повинного?! — воскликнула Нехушта. — Теперь настал час возмездия... Не так ли избивали иудеи греков и сирийцев во многих городах? Но если хочешь, госпожа, будем молиться за них, особенно за их детей, которые теперь

гибнут за грехи отцов!

После полудня, когда все беднейшее и беззащитное иудейское население города было перебито и только несколько каким-то чудом уцелевших несчастных бродили, как бесприютные псы, по окраинам города, прячась ото всех и пугаясь своей тени, толпа с бешенством атаковала укрепленный дворец Бенони, в котором собрались большинство богатых иудеев с женами и детьми.

Но в первый день все усилия атакующих оставались безуспешными: ни поджечь, ни разгромить этой мраморной крепости они не могли. Три последовательных атаки на главные ворота дома Бенони были отбиты, а в течение ночи осаждающие не произвели ни одного нападения, хотя защитники дворца все время оставались наготове. Когда рассвело, стало ясно, почему целую ночь враги их не тревожили: как раз против ворот была поставлена громадная стенобитная машина, а со стороны моря подошла и встала против дворца большая сирийская галера, сильно вооруженная, с которой матросы с помощью катапульта собирались засыпать осажденных градом стрел и камней.

И вот началась борьба — страшная, кровавая борьба, не на жизнь, а на смерть. Защитники дворца Бенони осыпали с крыши стрелами людей, работавших у стенобитной машины, и перебили огромное число прежде, чем те успели придвинуться настолько близко, что стрелы перестали достигать их. Когда наконец первые ворота были разбиты, защитники во главе с Бенони, выжидавшие этого момента, устремились на осаждающих и перебили всех до одного вблизи ворот, не дав никому ворваться внутрь. Затем, прежде чем новая гурьба подоспела на смену перебитых, иудеи кинулись за ров и на глазах у атакующих уничтожили за собой деревянный подъемный мост, отрезав им путь. Теперь стенобитная машина, которую не было возможности перетащить через ров, сделалась бесполезной, а иудеи за второй стеной дворца могли считать себя в сравнительной безопасности. Зато галера, стоявшая на якоре в нескольких сотнях шагов, стала засыпать дворец камнями и стрелами.

Так продолжалось до полудня. Все время иудеи заботились лишь о том, чтобы враги не перешли рва, хладнокровно убивая каждого, кто пытался отважиться на этот шаг. Тем не менее Бенони отлично сознавал, что ночью неприятель перекинет мост через ров, и тогда им трудно будет продержаться еще одни сутки. Созвали на совет всех присутствующих и решили в последнюю минуту убить друг друга, жен и детей, но не отдаться живыми в руки врага. Узнав о таком решении, женщины и дети подняли страшный вопль. Нехушта схватила Мириам за руку и шепнула ей:

— Пойдем, госпожа, на верхнюю крышу! Туда ни стрелы, ни камни не попадают. В случае необходимости мы можем броситься вниз, вместо того чтобы быть зарезанными, как бараны! — Они пошли и молились там, как вдруг Нехушта вскочила на ноги, воскликнув-

— Смотри, дитя! Видишь, галера идет сюда на всех веслах и парусах? Это наше спасение! Это иудейское судно, я знаю, на ней не римский орел, а финикийский флаг. Смотри, видишь, это сирийская галера подняла якорь и готовится к бою... Видишь?

Действительно, сирийская галера повернула и двинулась навстречу иудейской, но течение подхватило ее и развернуло так, что она пришлась бортом к неприятельскому судну, которое теперь со всего маха налетело на нее, врезавшись носом в самую середину сирийской галеры и ударив ее с такой силой, что та тут же перевернулась килем кверху.

Крики торжества и отчаяния огласили воздух, на море зарябили черные точки: то были головы утопающих, искавших спасения. Мириам закрыла лицо руками, чтобы не видеть всех этих ужасов.

— Смотри! — продолжала Нехушта. — Иудейская галера бросила якорь и спускает лодки, они хотят спасти нас! Бежим скорее вниз к решетке, выходящей на море!

На лестнице они столкнулись со стариком Бенони, который спешил за ними. Маленькая каменная пристань за решеткой была переполнена несчастными, искавшими спасения. Две больших лодки с галеры уже пристали в тот момент, когда Мириам с Нехуштой и дедом выбежали на пристань. На носу первой лодки стоял благородного облика молодой воин и громким, звучным голосом кричал:

— Бенони, госпожа Мириам, Нехушта, если вы еще живы, выступите вперед!

— Это — Халев! Халев, который явился спасти нас! — воскликнула Мириам.

— Идите смело в воду! Ближе мы не можем подойти! — крикнул он снова.

Они послушно пошли к лодке, десятки и сотни других двинулись за ними. Лодки принимали людей до тех пор, пока не переполнились и едва могли держаться на воде. Люди в лодках обещали сейчас же вернуться за оставшимися — и действительно, высадив на галеру первых, они вернулись и снова, почти переполненные, привезли новых пассажиров на галеру, опять вернулись ко дворцу, и опять мужчины, женщины и дети устремились к лодкам. Но в этот момент над портиком показалась лестница, и сирийцы потоком хлынули во дворец. Теперь уже лодки были

до того полны, что каждый лишний человек мог затопить их, а между тем матери с грудными младенцами на руках бежали в воду, плача и прося о помощи. Многие плыли за лодками, пока не выбивались из сил и не тонули.

— О, спасите, спасите их! — молила Мириам, кидаясь лицом вниз на палубу, чтобы не видеть этих надрывающих душу сцен.

— О, мой дом, мой дом! — стонал старый Бенони. — Имущество мое разграблено! Богатство в руках этих псов... Братья мои убиты, слуги разогнаны...

— Разве христиане не говорили тебе, что все это будет? Но ты не верил! — сказала Нехушта. — Увидишь, господин, все сбудется, все до последнего!

В этот момент к ним подошел Халев, гордый, самоуверенный и довольный своим подвигом.

— Взгляни на своего спасителя! — воскликнул старик, взяв Мириам за плечо и заставляя ее встать на ноги.

— Благодарю тебя, Халев, за то, что ты сделал! — произнесла Мириам.

— Я доволен тем, что мне удалось в счастливый для меня день потопить эту большую сирийскую галеру и спасти любимую девушку!

— Что клятвы и обещания! — воскликнул Бенони, обнимая спасителя и желая доказать ему свою благодарность. — Та жизнь, которую ты спас, принадлежит тебе по праву. Если только будет это в моей власти, ты, Халев, получишь ее и все, что еще уцелело от ее наследства!

— Время ли теперь говорить о таких вещах! — воскликнула негодующая девушка. — Смотрите, наших слуг и друзей гонят в море и топят, а кто не идет, тех убивают! — И она горько расплакалась.

— Не плачь, Мириам, мы сделали все, что могли! — проговорил Халев. — Я не могу еще раз послать лодки, матросы не слушают меня — это судно не мое. Нехушта, уведи госпожу в приготовленную для нее каюту. Зачем ей смотреть на все это? Но что ты теперь думаешь делать, Бенони? — повернулся он к старику.

— Я хочу обратиться к двоюродному брату моему, Матфею, иерусалимскому первосвященнику, который обещал мне приют и поддержку, насколько то и другое возможно в эти трудные времена!

— Нет, лучше нам искать спасения в Александрии! — сказала Нехушта.

— Где также избивают иудеев сотнями и тысячами, так что улицы города утопают в крови! — произнес Халев с насмешкой. — К тому же я не могу отвезти вас в Египет. Я должен вернуть судно владельцу,

доверившему его мне и ожидающему меня в Иоппии, откуда я отправлюсь в Иерусалим, куда меня вызывают!

— Я хочу попасть только в Иерусалим и никуда больше, — заявил Бенони, — Мириам же свободна отправляться, куда ей угодно!

Все судно было переполнено стонами и воплями спасенных, потерявших в это день свои дома, богатства, близких, родных и дорогих друзей, убитых или утонувших на их глазах. Всю ночь никто не знал покоя.

На рассвете галера бросила якорь, и Мириам в сопровождении Нехушты вышла из своей каюты на палубу.

— Видишь длинную гряду рифов, госпожа? Там, на этих самых скалах, разбилось наше судно, а ты впервые увидела свет Божий! Там я схоронила ее, твою мать, незабвенную госпожу мою!

— Как странно, Ноу, что мне суждено вернуться к этому месту!... Кажется, Халев зовет нас?

— Мы будем добираться до берега на лодках. Здесь мелко, и судно не может подойти ближе! — проговорил тот, подходя к ним.

Когда все собрались на берегу, Халев, передав галеру другому иудею, которому поручено было идти с ней навстречу римским судам с грузом хлеба, также сошел на берег, и все беглецы из Тира, числом около шестидесяти человек, направились к Иерусалиму.

Довольно скоро путники пришли в бедную деревушку, ту самую где некогда Нехушта поселилась с маленькой Мириам, и где жила кормилица ребенка. Здесь они решили запастись пищей. Пока Халев и другие хлопотали, к Нехуште подошла старуха, положила ей руку на плечо, внимательно поглядела в лицо и спросила:

— Скажи мне, добрая женщина, та красавица, что сидит там, не то ли самое дитя, которое я выкормила своею грудью?

Когда Нехушта признала бывшую кормилицу и ответила утвердительно на ее вопрос, старая женщина обвила шею девушки руками и, поцеловав, сказала, что теперь умрет спокойно, так как повидала ее. Больше ничего отрадного у нее в жизни не остается: муж ее умер, она стара и одна на свете. Старуха благословила девушку, а когда путешественники стали собираться в путь, подарила ей мула и дала с собой всяких припасов. Они расстались, чтобы уже больше никогда не встретиться.

Путешествие прошло спокойно. Благодаря сопровождавшему беглецов конвою Халева, состоявшему из двадцати воинов, они были в безопасности от нападения разбойников, грабивших на больших дорогах. Хотя носился слух, что Тит со своим войском прибыл из Египта и в настоящее время подступил к Кесарии, беглецы не видели еще ни одного римского отряда.

Они страдали только от холода, особенно во вторую ночь пути, когда расположились на ночлег на высотах, господствующих над Иерусалимом. Холод был так силен, что приходилось всю ночь оставаться на ногах и согреваться движением.

В это время в небе над Иерусалимом и над Сионом были видения, предвещавшие гибель Иерусалима: комета в виде огненного меча и облако, похожее на сражающихся воинов.

А с рассветом все стало спокойно, священный город казался мирно уснувшим, хотя он давно уже превратился в место взаимного избиения и страшной братоубийственной войны. Спустившись в долину Иерусалима, путешественники заметили, что все окрестности опустошены и разорены. Подойдя к Иоппским воротам, беглецы нашли их запертыми; дикого вида солдаты со свирепыми лицами окликнули пришельцев:

— Кто вы такие и что вам тут надо?

Халев назвал свой чин и положение, но так как это, по-видимому, не удовлетворило суровых стражей, то Бенони выступил вперед, назвал себя и сказал, что все они беглецы из Тира, где было страшное избиение иудеев.

— Беглецы! Стало быть, изменники и заслуживают смерти. Лучше всего прикончить их! — сказали солдаты.

Халев вспылал гневом и спросил, по какому праву они осмеливаются преграждать путь ему, человеку, оказавшему столь крупные услуги своему отечеству.

— По праву сильного! — отвечали ему. — Кто впустил Симона — имеет дело с Симоном, а вы, быть может, из сторонников Иоанна или Элеазара...

— Неужели, — воскликнул Бенони, — мы дожили до того, что иудеи избивают иудеев в стенах Иерусалима, в то время как римские гиены и шакалы рыщут вокруг его стен?! Слушайте, люди, мы не сторонники ни того, ни другого, ни третьего и хотим только, чтобы нас провели к первосвященнику Матфею, который призвал нас сюда, в Иерусалим!

— Матфей — первосвященник, — сказал начальник стражи, — это другое дело, он впустил нас в город, где мы нашли поживу, в благодарность за это и мы, в свою очередь, можем впустить его друзей. Ну, так и быть, проходите все! — И он раскрыл ворота. Беглецы вошли в город и направились по узким пустынным улицам к площади Иерусалимского храма. Было самое оживленное время дня, а между тем город казался в запустении; там и здесь лежали на мостовой тела убитых в одной из ночных схваток женщин или мужчин. Из-за ставен домов боязливо выглядывали сотни глаз, но ни одно окно не отворилось, и никто не

показывался на улице, никто не приветствовал вновь прибывших и не спрашивал их, откуда они. Всюду царили гробовое молчание и могильная тишина. Вдруг издали донесся одинокий жалобный голос, выкрикивавший слова, значение которых еще трудно было уловить на таком расстоянии. Все ближе и ближе слышались эти вопли, и вот, свернув на узкую, темную улицу, беглецы увидели в конце ее высокого, исхудалого человека, обнаженного до пояса, а ниже пояса едва прикрытого какой-то пеленой. Все тело несчастного носило следы жестоких побоев и было покрыто шрамами и рубцами. Длинная седая борода и волосы развевались по ветру. Воздевая руки к небу, он восклицал: «Слышу голос с востока! Слышу голос с запада! Слышу голос со всех четырех ветров! Горе, горе Иерусалиму! Горе, горе храму Иерусалимскому!... Горе женихам и невестам!... Горе всему народу!... Горе тебе, Иерусалим, горе!»

В этот момент он поравнялся с беглецами и, как будто не замечая их и продолжая выкрикивать свои прорицания, прошел между ними. Когда Бенони окликнул его в гневном ужасе: «Что это значит? Что ты каркаешь, старый коршун?» — человек этот, не обратив на него внимания и вперив свои бледные, почти бесцветные глаза в небо, прокричал:

— Горе, горе тебе, Иерусалим! Горе и вам, пришедшим в Иерусалим! Горе! Горе!... — И он прошел дальше.

— Да, — сказала Нехушта, — град этот обречен на погибель, и жители его должны погибнуть!

Все молчали, объятые ужасом, только Халев старался казаться спокойным.

— Не бойся, Мириам, — произнес он, — я знаю этого человека, он — безумный!

— Как знать, где кончается разум и начинается безумие?! — прошептала Нехушта.

Беглецы продолжили свой путь к воротам храма.

## XIV. Опять среди ессеев

Те ворота, через которые Бенони и его спутники должны были войти в храм, чтобы отыскать жилище первосвященника, находились в южной части Царской ограды. К ней они могли пройти долиной Тиропеон

И вот, когда они уже приблизились, ворота вдруг распахнулись, и из них хлынула, словно поток, толпа вооруженных людей. С бешенством потрясая оружием и оглушая воздух неистовыми криками, злодеи устремились на беззащитных. Те разбежались в разные стороны, словно овцы перед стаей волков, стараясь укрыться в развалинах обгорелых и разрушенных домов, черневших кругом.

— Люди Иоанна нападают на нас! — раздался чей-то голос. Прежде чем вооруженная толпа успела добежать до развалин, из них выскочили десятки и сотни других вооруженных людей, и завязалась схватка.

Мириам увидела, как Халев уложил на месте одного из воинов Иоанна, и как на него тотчас же набросились несколько воинов Симона. Видимо, все жаждали крови, даже не разбирая, кого и за что убивают.

Девушка видела также, как эти обезумевшие люди схватили ее деда и как старик Бенони вскочил на ноги и снова упал. Затем все скрылось от ее взоров — Нехушта потащила ее за собой, не давая оглянуться, все дальше и дальше, пока Мириам окончательно не выбилась из сил. Шум и крики битвы замерли в отдалении.

— Бежим! Бежим! — подгоняла Нехушта.

— Ноу, я не могу... Я чем-то поранила ногу, видишь кровь?

Нехушта оглянулась. Здесь было тихо и пустынно, они находились уже за второй городской стеной, в Новом городе, Везефе, недалеко от старых Дамасских ворот. Немного позади возвышалась башня Антония, а здесь кругом были навалены кучи всякого мусора и между камней и комков глины росли тощие колосья. Нигде вблизи не было видно никакого жилья, в самой же стене кое-где виднелись расщелины, поросшие диким бурьяном. В одну из таких расщелин Нехушта и затащила свою госпожу, и тут бедняжка в изнеможении упала на землю. Прежде чем ливийка успела справиться с перевязкой ее распухшей ноги, вероятно, ушибленной камнем, пущенным из пращи, девушка уже крепко заснула.

Нехушта села подле нее и стала обдумывать, что ей делать дальше, как и где укрыть свою госпожу от опасности.

Но она задремала, пригретая теплыми солнечными лучами, прежде



чем успела что-либо придумать. Ей приснилось, будто из-за ближайшей груды камней на нее глядит чье-то знакомое седобородое лицо. Нехушта открыла глаза, осмотрелась кругом, но нигде не было ни души. Она снова задремала, и снова ей привиделось то же лицо, а подле него еще чье-то. Вдруг она узнала в одном из них брата Итиэля.

— Брат Итиэль! — радостным шепотом воскликнула она. — Зачем ты прячешься от меня?

— Сестра Нехушта, неужели это ты? А это госпожа Мириам, дорогое дитя наше? Что, она крепко спит?

— Как убитая! — отвечала Нехушта.

— Хвала Творцу, мы нашли вас! Брат, — обратился Итиэль к своему товарищу, — доползи-ка до стены и посмотри, не может ли кто увидеть нас оттуда, сверху?

Второй ессей возвратился с ответом, что на стенах никого нет и что их оттуда нельзя увидеть. Тогда есσει подняли почти бесчувственную девушку на руки и понесли к одной из щелей в стене, совершенно заросшей чахлыми кустами и бурьяном. Тут они осторожно опустили ее на землю и с большими усилиями сдвинули с места громадную глыбу камня, закрывавшую небольшое отверстие в стене, похожее на нору шакала. В эту черную дыру сперва спустился ногами вперед брат Итиэль и втащил за собой Мириам, за ними последовала Нехушта и, наконец, второй ессей.

Очутившись в узком, темном подземелье, один из братьев высек огонь кремнем из огнива и зажег маленький факел, с которым пошел вперед, освещая путь, по разным подземным ходам и залам, некогда служившими водохранилищами. Сырой воздух подземелья заставил девушку очнуться.

— Где я? Неужели я умерла? — спросила она, раскрыв глаза.

— Нет, нет, ты сейчас все узнаешь, госпожа! — успокоила ее Нехушта.

— Я вижу лицо дядюшки Итиэля! — воскликнула Мириам. — Это его дух пришел ко мне!

— Не дух, а я сам, дитя мое! Иди за мной, я проведу тебя к остальным братьям, и ты опять будешь среди нас в полной безопасности от злых людей!

— Что это за место? — спросила девушка.

— Это подземелье — та самая шахта или, вернее, каменоломня, из которой царь Соломон добывал камень для постройки Иерусалимского храма. Здесь же этот камень и обтесывали: вот чем объясняется, что при сооружении храма не слышно было ни стука молота, ни звука топора или пилы!

Наконец Итиэль и его спутники подошли к потайной двери,

казавшейся с первого взгляда глухой стеной; при нажатии на определенное место громадная плита отошла в сторону, обнаружив вход в большой зал. Здесь горел яркий костер из каменного угля, у которого один из членов общины был занят стряпней, а вдоль стен сидело около пятидесяти старцев в белых одеждах ессеев.

— Братья, — проговорил Итиэль, — я привел вам ту, о которой все мы грустили, я привел наше возлюбленное дитя, госпожу Мириам!

— Неужели?! Неужели это она?! — воскликнули разом десятки голосов. Обрадованные ессеи стали приветствовать один за другим свою названную царицу, подносили ей пищу, воду и вино для подкрепления сил и, пока она ела, рассказывали обо всем, что произошло с ними в ее отсутствие.

Более года тому назад римляне, подступая к Иерихону, разорили их селение, некоторых убили, некоторых увели в плен, большинство же успели бежать в Иерусалим. Но и здесь многие погибли от руки сторонников различных враждующих группировок и разбойников, расплодившихся в осажденном городе. Видя, что всем им грозит неминуемая гибель, мирные ессеи решили укрыться в этом подземелье, тайна существования которого была известна одному из братьев. Мало-помалу они стали собирать здесь в большом количестве припасы — запастись топливом, одежду, разную домашнюю утварь и даже кое-что из мебели. Управившись с этим, они окончательно переселились сюда и теперь только изредка, поодиночке или по двое, выходили наверх узнать о том, что происходит в Иерусалиме и в Иудее, и вместе с тем пополнить свои запасы.

Кроме прохода, которым пришли сюда Мириам и Нехушта, существовал еще другой выход из подземелья, который Итиэль обещал им впоследствии показать.

Когда Мириам поела и отдохнула, а ушибленная нога ее была обмыта и перевязана, ессеи повели ее показывать свои подземные владения. Кроме большого зала, были еще отдельные маленькие сводчатые кельи, совершенно без света, как и общий зал; воздух здесь был чист. Одну из таких келий отвели женщинам, предоставив им все удобства, возможные в этой обстановке. Некоторые кельи служили кладовыми и складами, а в одной, довольно большой, находился глубокий колодец. Очевидно, на дне колодца был родник. Вода из родника имела выход наверх, на поверхность земли, и в течение многих веков колодец содержал в себе свежую, вкусную воду. Вдоль стены этой кельи шла крутая каменная лестница, сильно истертая, но еще вполне надежная.

— Куда ведет эта лестница? — спросила Мириам.

— Наверх, в разрушенную башню! — ответил Итиэль и обещал в другой раз отвести ее туда.

Мириам вернулась в свою комнатку и, поужинав, заснула крепким сном. Поутру к ней вернулась острая тревога за деда и мысль, что если он остался жив, то наверное мучается неизвестностью относительно внучки. Поэтому девушка попросила как-нибудь известить его о том, что она находится в безопасности.

После долгих обсуждений было решено, что брат Итиэль в сопровождении другого брата совершит вылазку и постарается передать Бенони записку от Мириам. Однако ессеи просили девушку не указывать места своего пребывания, а только успокоить старика, что ей не грозит никакая опасность и что она скрывается у надежных людей.

Через день Итиэль и его спутник возвратились невредимыми, но принесли известие об ужаснейших избиениях, происходящих на улицах города и даже в самой ограде Иерусалимского храма, где обезумевшие враждующие партии беспощадно истребляли друг друга.

— Жив ли мой дед? — спросила девушка.

— Да, успокойся! Бенони благополучно добрался до дома первосвященника Матфея, а с ним вместе и Халев. Теперь они укрываются в стенах храма... Все это я узнал от одного из слуг первосвященника, который за сикль серебра поклялся, что немедленно вручит твою записку Бенони. Однако он подозрительно взглянул на меня, и вторично я не решусь исполнить такое поручение... Но кроме этих известий, я имею еще и другие! — продолжал Итиэль. — Из Кесарии Тит с громадным войском приближается к Иерусалиму и, как я слышал из достоверных источников, в числе его военачальников есть один воин, который, кажется, скорее предпочтет взять тебя, чем святой город!

— Кто? — прошептала девушка, и кровь разом прилила к ее лицу.

— Один из префектов всадников Тита, благородный римлянин Марк, которого ты некогда знавала на берегах Иордана!

Теперь кровь ее прилила к сердцу, и Мириам до того побледнела, что казалась белее своего белого платья.

— Марк, — прошептала она, оправившись немного, — он клялся, что возвратится сюда, но это мало чем поможет ему! — добавила она чуть слышно и, встав, удалилась к себе.

С того времени как Мириам получила от Марка письмо, кольцо и ожерелье, она ничего не знала и не слыхала о нем, хотя прошло уже два года. Дважды за это время она писала ему, отправляла письма с

надежными, как ей казалось, послами, но не знала, дошло ли хоть одно из них по назначению. Иногда ей казалось даже, что его уже нет в живых, — и вдруг он здесь! Да, но увидит ли она его? Кто может знать, что будет?!

И девушка встала на колени и долго и горячо молилась, чтобы Господь даровал ей счастье еще хоть раз увидеть его и поговорить с ним. Эта надежда увидеть Марка поддерживала ее в течение всех этих страшных, долгих месяцев испытаний.

Между тем прошло больше недели с того времени, как она узнала о приближении армии Тита.

Ушиб ее давно зажил, но Мириам словно цветок увядала без света и солнца.

— Ей надо хоть немного подышать свежим воздухом и посмотреть на голубое небо, — говорила Нехушта ессеям. — Иначе она заболит здесь.

Тогда брат Итиэль взялся показать дорогу в ту старую заброшенную башню, куда вела лестница из кельи с колодцем. Башня, некогда составлявшая часть дворца, теперь уже давно была заброшена, и даже ход в нее был заложен кирпичами, чтобы воры и бродяги не могли по ночам укрываться там. Для военных целей она была непригодна, так как стояла особняком, а не на городской стене.

О потайном ходе из кельи-колодца давно забыли, и никто не подозревал о его существовании. Здесь находился целый ряд потайных дверей, перекидных мостиков и таинственных затворов, известных одним только ессеям.

Башня достигала приблизительно ста футов высоты, диаметр ее был около сорока футов. Крыша давно обрушилась, но каменная лестница и такие же четыре внутренних галереи, освещенные бойницами, были еще в полной исправности.

На следующее утро еще солнце не успело взойти, как Мириам проснулась и стала уговаривать Нехушту подняться в башню.

— Потерпи немного, госпожа, — сказала Нехушта, — дай ессеям окончить утреннюю молитву, сейчас мы их потревожим!

И Мириам покорно ждала, пока не пришел Итиэль и не провел их на башню.

Девушка чуть не вскрикнула от восторга, когда впервые после столь долгого времени увидела над своей головой лазурное небо. Когда же они поднялись на верхнюю галерею, находившуюся на расстоянии не более восьми футов от вершины башни, открывшаяся отсюда панорама восхитила девушку. Там, к югу, блестели на солнце великолепные здания Иерусалимского храма, с его мраморными дворцами и грандиозными

ходами и воротами. Несмотря на то, что ежедневно происходили кровопролитные схватки, там все еще курился в каминыцах фимиам и приносились жертвы. За храмом раскинулись Верхний и Нижний города, пестревшие тысячами домов. К востоку лежала долина Иерусалима, за ней возвышалась Масличная гора, зеленевшая своими роскошными маслинами, которые вскоре должны были пасть под топорами римлян. К северу расположился Новый город, Везефа, опоясанный третьей стеной, а да ней расстилалась скалистая местность. Неподалеку, несколько влево, возвышалась грандиозная Антониева башня, в которой теперь засел со своими приверженцами-зилотами Иоанн Гисхальский. На западе, позади громадной городской площади, вздымались башни Гиппика, Фасаила и Марнаммы, за ними стоял великолепный дворец Ирода. А дальше шел целый ряд стен, крепостных зданий, укреплений, площадей, домов и дворцов — нескончаемое море крыш с островами садов и дворов.

И в то время как Мириам, Нехушта и Итиэль смотрели на всю эту пеструю великолепную панораму, вдали, на северо-востоке показалось серое облако пыли.

— Римляне! — воскликнула Нехушта, указывая на это облако, и у всех невольно дрогнули сердца.

Очевидно, не они одни заметили их, так как все стены, башни и крыши мгновенно покрылись людьми, засуетившимися подобно муравьям в потревоженном муравейнике.

Вдруг тот же жалобный и вместе с тем грозный голос раздался среди всеобщей тишины на опустевших улицах города:

— Горе, горе тебе, Иерусалим! Горе граду сему, горе храму сему! Горе всем!

Теперь на каменистой почве пыль как будто рассеялась, и можно было различить отдельные отряды огромной армии римлян.

Впереди всех двигался многотысячный отряд сирийских союзников, за ними целая туча стрелков и разведчиков, далее шли саперы и квартирьеры, вьючные животные, военные повозки и фуры с многочисленной прислугой. За этим обозом следовал Тит со своей блестящей свитой, телохранителями, оруженосцами, копейщиками и всадниками. Еще дальше тяжело и медленно двигались бесчисленные громадные, страшного вида, стенобитные машины, баллисты, катапульты, за ними трибуны и командиры когорт со своей гвардией, предшествуемые знаменами и римскими орлами в окружении трубачей, которые время от времени оглашали воздух громкими торжественными звуками. А там, дальше, бесконечной лентой тянулась армия Тита, двигавшаяся в строгом порядке,

разделенная на легионы, с конными отрядами воинов и квартирьерами; в хвосте ее — нескончаемые обозы с амуницией, провиантом и всякими припасами. На холме Саула римляне стали разбивать лагерь, а спустя час отряд всадников в пятьсот или шестьсот человек выехал из лагеря по большой дороге, ведущей прямо к стенам Иерусалима.

— Это сам Тит, — сказал Итиэль, — видите, перед ним императорский штандарт!

Мириам впивалась глазами в блестящую свиту Тита, стараясь угадать, который из этих блестящих всадников Марк.

И вот в тот момент, когда римляне поравнялись с Башней Женщин, городские ворота вдруг распахнулись, и изо всех прилежащих улиц и домов, где они до сих пор сидели в засаде, тысячи иудейских воинов и вооруженных горожан устремились на римлян, вытянувшись длинной линией, прорвали ее и отрезали конец от остальной цепи, многих перебив. Мириам видела, как раненые падали с коней, как упал императорский штандарт, тотчас же снова поднялся, а затем все скрылось в облаке пыли. Казалось, все римляне уничтожены. Но нет, вот они один за другим поворачивают от города, направляясь обратно к холму Саула. Правда, теперь их стало меньше, но они все-таки смогли пробиться сквозь тысячную толпу нападающих. Но кто из них возвращался в лагерь, а кто остался на месте? Этого Мириам не знала... С сильно бьющимся, тяжелым сердцем покинула она башню, вернувшись в свое темное подземелье.

## XV. Что произошло в башне

Прошло еще четыре месяца. Можно сказать, что во всей мировой истории никогда не было и, вероятно, не будет таких страшных бедствий, таких беспримерных ужасов, какие переносили в это тяжелое время жители Иерусалима или, вернее, последние остатки иудейского народа, искавшие убежища в стенах Иерусалима. Отбросив в сторону внутренние распри, иудейские партии общими силами ополчились на врага, но, увы, было слишком поздно. Правда, все, что только в человеческих силах, было сделано. Десятки и сотни тысяч римлян погибли от рук защитников города, они отбивали и уничтожали стенобитные машины и катапульты, взрывали или сжигали гигантские деревянные башни, сооруженные Титом для штурма. Но несмотря на все это Тит овладел третьей стеной и Новым городом, затем удачно штурмовал вторую стену и, разрушив ее, отправил к иудеям историка Иосифа Флавия, чтобы тот убедил их сдаться. Возмущенные этим предложением, собратья иудеи чуть не побили ренегата Иосифа камнями, и война продолжалась.

Убедившись, что приступом взять Иерусалим невозможно, Тит решил принудить его сдаться голодом. Он окружил еще не взятую первую городскую стену другой стеной, за которой и засел, выжидая, когда его союзник голод сделает свое дело. Вначале Иерусалим был хорошо снабжен съестными припасами и мог бы выдержать продолжительную осаду, но вскоре обезумевшие от отчаяния враждующие партии принялись уничтожать друг друга, отбивать и предавать огню продовольствие своих противников, громить их склады, так что припасы, которых могло бы хватить на многие месяцы, быстро таяли в этих безумных оргиях взаимной ненависти, и население Иерусалима вымирало сотнями и тысячами от голода.

Трудно описать, до каких ужасов, до каких невероятных зверств доходили люди под влиянием этого страшного голода. Страшное пророчество сбывалось теперь: матери поедали своих собственных детей, дети вырывали последний кусок хлеба изо рта умиравших от голода родителей, и никто не знал в те дни ни жалости, ни сострадания. Люди уподобились диким зверям, стали даже хуже диких зверей.

Весь город, казалось, обезумел. Тысячи людей гибли ежедневно, и каждую ночь тысячи других бежали к римлянам, которые ловили несчастных и распинали на крестах перед городской стеной. Не хватало

уже и леса на кресты, не хватало места этим крестам.

Все это знала и видела Мириам со своей старой башни — видела улицы Иерусалима, усеянные мертвыми, так что местами невозможно было пройти, видела, как несчастных выгоняли с семьями и детьми из домов, подвергали ужасным пыткам и затем тут же убивали за то, что те якобы не хотели отдать свои спрятанные припасы. Вся долина Кедрона и нижние склоны Масличной горы были покрыты крестами, на которых корчились в предсмертных муках плененные иудеи. Девушка ежедневно видела кровавые стычки и битвы; затем у нее больше не стало сил выносить эти зрелища, и она часами лежала на галерее башни, закрыв лицо руками, чтобы не видеть, и заткнув уши, чтобы не слышать, что делалось кругом.

У ессеев еще сохранялись большие запасы пищи и всего необходимого, никто до сего дня не тревожил их, не подозревая о существовании подземелья. Время от времени тот или другой из членов общины выползал на поверхность земли и пробирался в город. Некоторые так и не возвращались, другие же возвращались и рассказывали о том, что им удавалось узнать.

Так все узнали, что после убийства первосвященника Матфея и его сыновей вместе с шестнадцатью членами синедриона по обвинению в сношениях с римлянами старый Бенони был избран на его место и многих заподозренных в измене и приверженности Риму предал смерти; что Халев стоял во главе сильной партии и всюду был впереди. Говорили, что он поклялся во что бы то ни стало убить римского префекта всадников Марка и что они уже однажды встретились на поле битвы.

Между тем настал август месяц, и ко всем остальным бедствиям злополучного города прибавилась страшная зараза, распространяемая разлагавшимися на улицах трупами, которые валялись повсюду сотнями и тысячами и которых никто не успевал и не хотел хоронить. Теперь Тит установил свои военные машины у самых стен Иерусалимского храма и с каждым днем, хотя и медленно, но упорно прокладывал себе путь во внешние дворы храма.

Однажды ночью, еще за час до рассвета, Мириам пробудилась и стала просить Нехушту выйти наверх в старую башню — она задыхалась в этом подземелье.

Обычным путем обе женщины достигли верхней галереи башни и, сев на верхней ступени против одной из бойниц, долго молча следили за огнями в римском лагере, раскинувшемся на громадном пространстве вокруг городских стен и даже среди развалин домов, под самой башней, так как эта часть города была уже во власти римлян. Но вот первый луч солнца,



словно огненная стрела, прорезав туман, упал с вершины Масличной горы через долину Иосафата прямо на золоченые кровли храма и его мраморные дворы. И, словно это был условный сигнал, северные ворота храма широко распахнулись, и из них хлынул целый поток истощенных, свирепого вида воинов и с дикими криками устремился вперед. Римские пикеты старались остановить их, но были смяты и опрокинуты из-за своей малочисленности. Теперь иудеи оцепили одну из деревянных башен Тита. Его стрелки встретили неприятеля градом стрел. Завязалась серьезная битва, но не прошло и десяти минут, как башня была уже в огне. При свете зарева пожара Мириам видела, как римские солдаты, находившиеся в башне, кидались вниз с ее высоты чтобы спастись от огня. С криками торжества иудеи ворвались сквозь брешь во второй стене и, оставив слева от себя остатки дворца Антония, рассыпались на открытом пространстве среди развалин уничтоженной Титом части города, непосредственно у подножия старой башни, где находились Мириам и Нехушта.

Уцелевшие римляне старались добраться до главного лагеря, иудеи преследовали их, но встретили сильный отпор и, отброшенные обратно ко второй стене, пытались укрыться от римлян в развалинах. Внезапно в начальнике конного отряда, атакующего иудеев, Мириам сначала угадала, а потом и точно узнала Марка.

— Смотри, Ноу, смотри, ведь это он! — воскликнула молодая девушка, и сердце в груди ее сильно забилося.

— Да, госпожа, это он! Ну, а теперь, когда ты его видела, пойдём вниз: не те, так другие могут с минуту на минуту взять башню. Ты видишь, бой кипит кругом. Нас могут найти!

— Нет, нет, Ноу! Быть может, ты права, но я не уйду отсюда. Я хочу видеть все до конца!

Нехушта не стала возражать. «Все равно, — думала она, — Бог одинаково может хранить нас и здесь, на башне, и там, в подземелье!»

Между тем римляне вновь построились в ряды и под предводительством префекта Марка двинулись со своих позиций на неприятеля, который, получив подкрепление из храма, на полпути столкнулся с ними. Среди подкрепления оказался и Халев. Вот какой-то иудей кинулся на Марка и убил под ним лошадь. Но молодой префект проворно высвободил ноги из стремян и продолжал биться пешим. Этого, казалось, и ожидал Халев. Точно дикий зверь, накинулся он на римлянина сзади и ударил его плащом мечом по спине. Такого оскорбления не мог снести ни один римлянин. Марк обернулся, и враги очутились лицом к лицу.

В это время, пользуясь небольшим перерывом в сражении, кто-то из иудейских начальников приказал своим людям проломить заложенный кирпичами ход в башню, на которой находились обе женщины. Иудеи с горячностью принялись за дело.

— Видишь, госпожа! — сказала Нехушта.

— Ах, Ноу, ты была права! Я вовлекла тебя в беду, что же нам теперь делать?

— Сидеть здесь смиренно, пока не придут и не возьмут нас, а там, если дадут время, объяснимся с ними, как сумеем!

Но навверх никто не явился. Иудеи опасались внезапного нападения римлян в тот момент, когда начнут взбираться по незнакомой им, быть может, разрушенной лестнице. Поэтому, взломав вход, они воспользовались только низом башни, чтобы втащить в нее и укрыть на время раненых.

Тем временем Марк с мечом в руке устремился на Халева. Иудей успел вовремя отскочить в сторону и нанес Марку такой страшный удар по голове, что, не будь на том массивного шлема, наверно, череп римлянина раскололся бы надвое. Теперь же он раздробил только шлем и нанес Марку глубокую рану, от которой молодой префект пошатнулся и упал, широко раскинув руки и выронив свой меч. Халев подскочил к нему, чтобы прикончить, но Марк вдруг очнулся и, видя, что он теперь безоружен, бросился на Халева, стараясь схватить его голыми руками за горло. Халев успел нанести еще один удар по плечу, но Марк как будто даже не почувствовал его. Спустя минуту меч Халева валялся в стороне, а оба противника в бешеной схватке катались по земле. Тогда из рядов римских воинов раздался крик: «Спасем его!», на который иудеи отвечали: «Хватай его!» И те и другие хлынули на место борьбы, завязался кровавый бой. Обе стороны дрались с остервенением. Где люди стояли, там они и падали мертвыми, никто не хотел отступить. Римляне, хотя и были малочисленнее своих врагов, предпочитали умереть все до единого, но не оставлять в руках неприятеля своего любимого раненого командира. Иудеи же слишком хорошо понимали цену такой добычи, как римский префект, любимец Тита, чтобы дать вырвать его из своих рук. С каждой минутой новые отряды иудеев спешили на подмогу своим собратьям, число же римлян, не получавших подкрепления, заметно таяло, но они упорно продвигались вперед, сражаясь грудь с грудью и щит со щитом.

Вдруг во фланг римлянам с криком торжества ворвался новый отряд иудеев, числом до четырехсот человек. Римский офицер, вовремя заметив опасность и решив, что лучше дать префекту умереть вместе с павшими товарищами, чем сознательно уложить на месте весь легион и посрамить

оружие цезаря, скомандовал отступление. В строгом порядке, словно на параде, римская дружина отступила к своим укреплениям, унося с собой раненых, несмотря на град копий и стрел, непрерывно сыпавшихся на нее.

Видя, что им теперь ничего более не остается делать, иудеи отступили к стене старой базарной площади в тридцати или сорока шагах от старой башни и принялись укреплять ее. Солнце уже клонилось к закату, и день медленно угасал. Раненые римляне, оставшиеся на поле сражения, видя, что их товарищи отступили, кидались на свои мечи или копья и умирали от собственной руки, чтобы не попасть живыми в руки иудеев, которые, подвергнув жестоким пыткам, все равно распяли бы их на кресте. Кроме того, Титом был издан указ, что всякий солдат, попавший живым в руки неприятеля, будет всенародно предан посрамлению, лишен звания солдата и навсегда вычеркнут из списка легиона, а будучи вновь пойман своими, предан смерти или обречен на пожизненное изгнание.

Как охотно последовал бы Марк примеру своих товарищей, но — увы! — у него не было на то ни силы, ни оружия. Когда их с Халевом вытащили из груды раненых и убитых, он был в глубоком обмороке от потери крови и истощения сил. В первую минуту его приняли за мертвого, но оказавшийся тут врач заявил, что Марк жив, и если дать ему отлежаться, то он очнется и придет в себя. Поэтому, желая сохранить этого префекта живым у себя в руках, иудеи втащили его в старую башню и оставили там, приставив на случай, если он очнется стражу ко входу.

Мириам с замирающим сердцем следила за всем происходящим вокруг нее на поле сражения и у подножия башни. Временами ей казалось, что она сейчас умрет от нестерпимой душевной муки и тревоги за своего возлюбленного.

— Успокойся, госпожа, благородный Марк жив! — говорила ей Нехушта. — Иначе его оставили бы на поле сражения с остальными убитыми. Он нужен им пленный, иначе Халеву позволили бы пронзить его мечом, как он намеревался это сделать!

— О, тогда он будет повешен на кресте, подобно тем римлянам, которых мы видели вчера на стенах храма! — воскликнула Мириам.

— Это, конечно, возможно, — ответила Нехушта, — если Марк не найдет возможности покончить с собой или не будет спасен кем-нибудь!

— Спасен! Они не могут спасти его, Ноу! — Бедная девушка упала на колени, всхлипывая в порыве отчаяния. — Христос! Христос, научи меня, как спасти его! Если же нужно, чтобы кто-нибудь умер, возьми лучше мою жизнь!

— Полно, госпожа, — утешала ее Нехушта, — попробуем сделать что-

нибудь! Смотри, они положили его в нескольких шагах от нашей подъемной каменной двери, у самых ступеней лестницы, стража стоит снаружи, в башне же никого нет. Я видела, как иудеи вынесли своих раненых, оставив там разве только мертвых. Если благородный Марк в сознании и может хоть чуть-чуть держаться на ногах, мы стащим его вниз и опустим за собой каменную дверь!

— Но нас могут увидеть и открыть убежище ессеев. И тогда их замучают и убьют за то, что те утаили пищевые запасы!

— Полно! Когда мы останемся за дверью, никто не найдет дороги в подземелье. Ты знаешь, что снаружи дверь поднять нельзя. Кроме того, ессеи все предвидели, приняв на всякий случай все меры предосторожности, за них ты не бойся!

Тогда Мириам обвила шею старухи руками и, страстно целуя ее, вся в слезах, молила:

— О, Ноу! Попробуем спасти его! А если не удастся, лучше умрем вместе с ним!

— Так пойдем скорее, пока еще есть хоть немного света, а то, когда стемнеет, здесь, на этой лестнице, шею сломишь. Иди за мной!

И они осторожно стали спускаться по старой каменной лестнице, где мимо них шныряли потревоженные ими совы и летучие мыши. Вот и та площадка с дверью, ведущей внутрь башни. Опустившись на колени, Нехушта стала ощупывать руками почву. В башне было темно, как в могиле, но слабый отблеск вечерних сумерек падал сквозь брешь в стене, пробитую недавно. Внезапно в лунном свете блеснул панцирь Марка, лежавшего так близко от Нехушты, что она могла коснуться его рукой. Склонясь над ним, ливийка внимательно прислушалась.

— Марк жив! — проговорила она, обернувшись к Мириам. — Он дышит и, как мне показалось, даже пошевелил рукой. Я боюсь, что он испугается, если я заговорю с ним! Твой же голос он, вероятно, узнает!

Тогда девушка осторожно заняла место Нехушты и, склонясь к самому лицу Марка, прошептала чуть слышным, нежным, ласковым голосом:

— Проснись, Марк, слушай меня, но не шевелись: нас могут услышать! Я — та Мириам, которую ты знавал на берегах Иордана!

При ее имени раненый слегка содрогнулся.

— Мириам, — прошептали его губы, — сладкая греза... дивный сон...

— Не сон и не греза! Я и Нехушта пришли попытаться спасти тебя. Ты ранен и в плену... Можешь ты подняться на ноги? Тогда мы проведем тебя в такое место, где тебе не будет грозить никакая опасность!

— О, сладкий сон... — прошептал Марк.

— Марк, это не сон, это действительность! — воскликнула шепотом девушка. — Чувствуешь ты мой поцелуй? — И она, наклонившись, прижала свои губы к его губам. — Дай руку, ощупай твое ожерелье на моей груди, твое кольцо на моей руке. Верись теперь, что это не сон?

— Да, возлюбленная! Да! Скажи, что я должен делать?

— Постарайся подняться и встать на ноги, если можешь! Нехушта, ты сильнее, поддержи его, пока я отворю дверь! Живо! Я слышу, стража подходит сюда и сейчас заглянет в брешь!

Нехушта опустила на колени подле раненого и, пропустив руки под его спину, сказала:

— Ну, готово! Вот ключ, возьми!

Мириам взяла из ее рук ключ, повернула его в замке, и так как дверь была очень тяжела, то она всей силой, всем корпусом налегла на каменную плиту двери, чтобы удержать ее.

— Ну! — сказала она. — Быстрее, я слышу, стража входит сюда!

Поддерживаемый Нехуштой, Марк сделал три шага и очутился у открытой двери, но здесь, на самом пороге, силы изменили ему, так как кроме тяжелой раны в голову он получил еще рану в ногу, и со стоном «Не могу!» он грузно упал, увлекая за собою старую ливийку. При этом его стальной нагрудник зазвенел о каменный порог. Часовой снаружи услышал этот звук и позвал товарища, чтобы тот дал светильник. Мигом Нехушта вскочила на ноги и, схватив Марка за руку, потащила его в отверстие, между тем как Мириам, подпирая спиной каменную плиту, служившую дверью, проталкивала его ноги.

Вот замигал светильник во входном отверстии, где была проломана заложённая кирпичами наружная входная дверь. Нехушта изо всех сил тянула тяжелое беспомощное тело римлянина, хорошо понимая, что если свет светильника упадет на его латы, все погибло. Страж-иудей со светильником в руке торопливо вошел, но споткнулся о лежавшее на дороге мертвое тело и упал на одно колено. В этот момент Мириам, собрав все свои силы, широко распахнула каменную дверь и отскочила к стене. Прежде чем иудей успел подняться, она ударила ключом от двери, зажатым у нее в руке, по светильнику, который мгновенно разбился и погас. Затем она кинулась к двери надеясь бежать, зная, что теперь каменная дверь должна уже сама собой захлопнуться. Но, увы! Две железные руки обхватили ее поперек туловища, и сколько она ни отбивалась, сколько ни наносила ударов тяжелым железным ключом своему врагу, все усилия были тщетны. Тяжелая каменная плита с глухим звуком захлопнулась, и теперь ей уже не было спасения. Она сразу поняла это и, опасаясь, чтобы

ключ не послужил уликой, зашвырнула его в самый дальний угол башни, где, как она знала, были навалены целые груды мусора и птичьего помета.

При звуке захлопнувшейся двери сердце ее радостно дрогнуло, она знала теперь, что Марк спасен: дверь не могла захлопнуться, пока он еще лежал поперек порога. Мириам знала также, что страж, державший ее, ничего не видел и не мог рассказать; отпереть же дверь без другого такого ключа невозможно ни с той, ни с другой стороны.

Теперь уже несколько человек с фонарями вбежали в башню. С ними был Халев.

— Что тут такое? — крикнул он.

— Не знаю, только я вбежал на шум и схватил какого-то здоровенного парня, с которым порядком-таки повозился и сейчас крепко держу, хотя он не переставал все время наносить мне удары своим мечом!

Подшли люди с фонарями и увидели красавицу-девушку с распущенными волосами, стройную и на вид хрупкую, как ребенок, и расхохотались над мнимым геройским подвигом бдительного стража.

— Э, да это девушка! Неужели ты каждый раз зовешь на помощь, когда попадаешься девушке в лапки? — со смехом спрашивали они.

— А римлянин? Где римлянин? — раздался чей-то грозный голос, и все бросились искать пленника в темной башне, заваленной бревнами, кирпичом и мусором. Но римлянина нигде не было, и целый град ужаснейших проклятий сыпался из уст иудеев, только, Халев стоял неподвижно, вперив глаза в молодую девушку.

— Мириам! — прошептал он.

— Да, Халев, это я! — спокойно ответила она. — Странная встреча, не правда ли? Зачем вы вломились в мое убежище?

— Женщина! — воскликнул он вне себя от бешенства. — Где ты спрятала римлянина Марка? Говори сейчас же!

— Марка? — спросила она. — А разве он здесь? Я этого не знала, я видела, как какой-то человек выбежал отсюда, быть может, то был он. Тогда спеши, может быть, ты его догонишь!

— Ни один человек не выходил отсюда! — заявил часовой. — Берите эту женщину, она укрыла его где-нибудь в потайном месте!

Ее схватили, связали и, точно обезумев, с фонарями бросились обыскивать все углы и все щели башни.

— Здесь лестница! — крикнул кто-то. — Смотрите, друзья, видно, он ушел туда! — И с фонарями в руках они поднялись на самый верх башни, но там никого не было. Вдруг раздался звук трубы, в отверстии входной двери показался начальник отряда и второпях крикнул:

— Бегите скорее в храм, сам Тит идет на нас во главе двух легионов отомстить за своего префекта!... Бегите и тащите пленника за собой, слышите?

— Он исчез! — мрачно отозвался Халев, и при этом взгляд его, полный непримиримой ненависти, упал на Мириам. — А на его месте мы нашли вот эту девушку, внучку Бенони, которая некогда была возлюбленной этого римлянина!

— Слышишь, женщина, скажи нам сейчас же, что ты сделала с твоим любовником, или умрешь здесь, сейчас же!

— Я ничего не сделала! Я видела, как отсюда вышел человек и прошел мимо часового, а больше я ничего не знаю!

— Она лжет! Заколите изменницу!

Меч над ее головой был уже занесен, но Халев успел сказать несколько слов начальнику, и тот изменил свое приказание.

— Нет, лучше отведите ее в храм: пусть дед учинит ей допрос в присутствии всего синедриона. Но живо, живо, не то все мы очутимся в руках римлян!

Мириам схватили и утащили из старой башни, которая час спустя была уже во власти римлян, поспешивших разрушить ее, равно как и все соседние строения.

## XVI. Синедрион

Иудейские воины вели Мириам по узким темным улицам с обгоревшими и разгромленными домами, усеянным десятками и сотнями трупов. Они спешили как только могли, ведь римляне, оттесненные в течение дня из этой части города, теперь вновь занимали ее, предавая огню и мечу все, что встречалось на их пути.

Северный и восточный внешние дворы храма были уже во власти римлян, и потому, чтобы проникнуть в ограду храма, приходилось далеко ее обходить. Однажды отряду, уводившему Мириам, пришлось выжидать в укрытии, когда мимо них пройдет многочисленный отряд римлян, затем ждать у каждых ворот, которые лишь после долгих переговоров отпирались для них. Только под утро Мириам очутилась наконец во внутренней ограде храма. По приказанию начальника отряда ее втолкнули в тесную, темную и сырую келью одного из больших зданий и, заперев за ней дверь, оставили там одну. Несмотря на страшную усталость, она не могла заснуть: события этого ужасного дня преследовали ее, как кошмар, среди которого, подобно светлому лучу солнца, ей улыбалось одно воспоминание — то были слова Марка: «Мириам, возлюбленная моя... Это сладкий сон, это чудная греза...» Значит, он не забыл ее, любил, несмотря на то, что в Риме сотни прекраснейших женщин окружали его, стремясь назвать его своим супругом. О, она верила в его любовь и была счастлива ею! Счастлива тем, что Бог помог ей спасти его жизнь. Правда он был ранен, тяжело ранен, но ессеи — такие искусные врачи, они вылечат его! И, опустившись на колени, Мириам стала горячо молиться. Вдруг до нее донесся странный звук, точно слабый вздох, исходивший из дальнего угла кельи. Вглядевшись пристальнее, девушка различила в полумраке смутное очертание человеческой фигуры с длинной седой бородой. Что-то знакомое почудилось ей в этой фигуре, и она приблизилась к месту, откуда послышался вздох. То был не человек, а скелет, обтянутый кожей, и одни лишь глаза горели на лице этого живого мертвеца. Девушка узнала его, это был Феофил, возглавляющий совет ессеев. Десять дней тому назад он, несмотря на увещания братьев, вышел из своего убежища и больше не возвратился; его ходили искать, но не нашли, думали, что он убит кем-то из людей Симона. И вдруг Мириам нашла его здесь. Оказывается, иудеи захватили его в плен.

— Есть у тебя какая-нибудь пища, дитя? — простонал старик, узнав



девушку.

— Да, господин, вот кусок сушеного мяса и ячменный хлеб. Я случайно захватила это с собой, когда шла на башню. Возьми, поешь!

— Нет, нет, дочь моя! Это значило бы только продлить мои муки. Я хочу умереть и рад, что скоро для меня все кончится, но ты сбереги еду для себя, спрячь так, чтобы ее у тебя не отняли. Вот тут, в кувшине есть вода, они давали ее мне, заставляя пить, чтобы продлить мучения. Пей сколько можешь теперь, быть может, завтра они не дадут тебе воды!

Некоторое время продолжалось молчание, старик постепенно слабел, а Мириам, глядя на него, горько плакала.

— Не плачь, дитя, обо мне, я скоро успокоюсь. Лучше скажи, за что тебя заперли здесь?

Девушка вкратце рассказала обо всем.

— Ты — отважная женщина, и твой римлянин многим тебе обязан! Я умираю, но в этот последний час призываю благословение Бога на вас!

После этого Феофил закрыл глаза и уже больше не мог или не хотел говорить.

Прошло немного времени, и вдруг дверной засов заскрипел. В келью вошли два тощих, злобного вида человека. Один из них грубо толкнул старика.

— Проснись, видишь, мясо, — и он ткнул ему кусок мяса под нос, — что, вкусно? Так вот, скажи нам, где хранятся твои припасы, и ты получишь весь этот кусок мяса!

Ессей только отрицательно покачал головой.

— Я не стану есть и ничего вам не скажу! Я умру, и все вы умрете, а Бог воздаст каждому по делам.

Тогда посетители принялись поносить и проклинать несчастного мученика, не обращая внимания на прижавшуюся к стене Мириам.

Едва они ушли, девушка тихонько приблизилась к старцу, но, взглянув в его лицо, увидела, что он уже умер. Тихая улыбка скользнула по ее лицу — она была рада, что мучения старика кончились.

Спустя немного времени дверь снова отворилась — теперь пришли за ней.

Мириам встала и пошла на допрос. Проходя через внутренний двор храма, она заметила, что повсюду на мраморных плитах лежат еще не убранные трупы, а за стеной слышался шум битвы и сотрясающие храм удары стенобойных машин.

Ее ввели в громадный зал с белыми мраморными колоннами, в котором было множество голодных, истощенных до предела людей, в том

числе женщин и детей с ввалившимися щеками и глубоко запавшими глазами. Одни бесцельно бродили, другие безмолвно и неподвижно сидели группами на полу, а в дальнем конце зала, под богатым балдахинном, на возвышении восседали человек двенадцать-четырнадцать почтенного вида старцев в богатых резных креслах художественной работы. По обе стороны от них стояло еще много таких же, но пустых кресел. Старцы были одеты в дорогие великолепные одежды, висящие на них, как на вешалках, а лица их, бескровные и сморщенные, пугали своей худобой. То были члены иудейского синедриона.

В тот момент, когда Мириам вошла в зал, один из членов синедриона произносил приговор над каким-то несчастным, измученным человеком. Девушка взглянула на судью и узнала в нем деда своего Бенони, но то была лишь тень прежнего Бенони. Некогда высокий, прямой старик с гордой, уверенной осанкой стал теперь дряхлым, сгорбленным старцем, из-под тонких бесцветных губ виднелись желтые зубы, длинная серебристо-седая борода старика висела клочьями, руки дрожали, голова тряслась и была лишена волос. Даже глаза его приняли какое-то злобное выражение, словно взгляд голодного волка.

— Обвиняемый, что ты хочешь сказать в свое оправдание? — спросил он глухим, дребезжащим голосом.

— Да, я действительно утаил небольшой запас пищи, приобретенный мною на последние крохи состояния! Твои гиены схватили мою жену, мучили и истязали ее, пока она не указала, где у меня были спрятаны запасы, которыми я надеялся поддержать жизнь семьи. Эти люди накинулись на пищу и уничтожили почти все на моих глазах. Жена умерла от нанесенных ей ран, а все дети умерли с голоду, кроме младшей, шестилетней малютки, которую я кормил последними крохами. Когда и она стала умирать у меня на руках, я упросил римлянина, отдав ему все драгоценности, какие у меня были, камни и жемчуг, чтобы он отвез ее в свой лагерь и там кормил, за что обещал указать ему слабое место в стене храма. Он накормил ребенка при мне и дал ей хороший запас с собой, обещал держать ее у себя, кормить каждый день — и я указал ему место, где легко проникнуть через ограду в храм. Но, как тебе известно, я был пойман, и то место в стене было укреплено, так что моя измена не имела никаких дурных последствий. Однако я готов еще двадцать раз повторить свой поступок, если это поможет спасти жизнь моего ребенка. Вы убили мою жену и моих детей, убейте и меня! Что мне жизнь!

— Презренный, что значит жизнь твоей жены и детей в сравнении с неприкосновенностью этого святилища, которое мы отстаиваем от врагов

Иеговы?! Уведите его, и пусть его казнят на стене, на глазах римлян, его друзей!

Несчастливого увели, а чей-то голос приказал: «Введите следующего изменника». Подвели Мириам. Бенони взглянул на нее и сразу узнал.

— Мириам! — простонал он, поднявшись со своего кресла, и тотчас же упал обратно. — Тут какое-нибудь недоразумение... Эта девушка не может быть виновна... Отпустите ее!...

— Сперва выслушай обвинение, — сказал угрюмо и подозрительно один из судей, тогда как другой прибавил:

— Это как будто та самая девушка, которая жила в твоём доме, рабби Бенони? Говорят, она христианка!

— Скажи нам, женщина, ты принадлежишь к секте христиан?

— Да, господин, я — христианка! — спокойно ответила Мириам.

— Мы собрались здесь не для того, чтобы разбирать вопросы веры. Теперь не время заниматься этим! — вмешался Бенони.

— Пусть так, — произнес один из судей, — оставим вопросы веры. Кто обвиняет эту женщину и в чём?

Вперед выступил человек, за спиной которого, как заметила Мириам, стояли Халев, расстроенный и взволнованный, и тот иудей, который сторожил Марка.

— Я обвиняю ее в том, что она дала возможность бежать римскому префекту Марку, захваченному в плен Халевом. Мы оставили его в старой башне, пока он не пришел в себя от ран.

— Римский префект Марк! — проговорил один из членов синедриона. — Он — ближайший друг Тита и один стоит сотни других римлян! Скажи нам, женщина, помогла ты ему бежать? Впрочем, ты, конечно, не скажешь! Обвинитель, изложи свои основания и доказательства!

Тот поверил обо всем, что произошло в башне. За ним был допрошен страж и, наконец, Халев.

— Я ничего не знаю, кроме того, что ранил и взял в плен римлянина, которого на моих глазах снесли бесчувственного в старую башню. Когда же я вернулся после новой атаки, римлянин исчез, а эта госпожа находилась в башне и утверждала, что он ушел через дверь. Вместе я их не видал! — кратко дал отчет Халев.

— Это — ложь! — грубо крикнул один из судей. — Ты говорил, что префект был ее возлюбленным!

— Я сказал это потому, что много лет тому назад, на берегах Иордана, она сделала его бюст из камня. Она — скульптор!

— Разве это доказывает, что она была его возлюбленной? — спросил

Бенони.

Халев молчал, но один из членов синедриона, по имени Симеон, друг Симона, сидевший подле него, крикнул:

— Перестаньте препираться! Эта дочь сатаны прекрасна, и, по видимому, Халев желает взять ее в жены. До этого нам нет дела! Но он старается утаить истину!

— Никаких улик против нее нет! Отпустите эту женщину! — воскликнул Бенони.

— Ничего удивительного — таково решение ее родного деда, — с едким сарказмом заметил Симеон. — Тяжелые настали времена, недаром рука Господня тяготеет над нами, если рабби укрывают христиан и потворствуют им, а воины лжесвидетельствуют потому только, что виновная прекрасна! Я же говорю, что она достойна смерти, так как укрыла римлянина, не то зачем бы она загасила светильник?!

— Быть может для того, чтобы самой укрыться от стражей! — сказал кто-то. — Только каким образом очутилась она в этой башне?

— Я жила в ней! — ответила девушка.

— Одна, без воды и без пищи, словно сова или летучая мышь! Ведь до вчерашнего дня башня была заложена кирпичами! Значит, ей известен какой-нибудь потайной ход, которым она и спровадила римлянина, а сама не успела уйти за ним! Вот и все! По-моему, она достойна смерти!

Тогда старый Бенони встал и гневно начал:

— Не достаточно ли крови льется здесь изо дня в день, чтобы нам искать и крови невинных?! Мы давали клятву чинить справедливый суд. Где же тут доказательства или улики? Многие годы она даже не видала этого римлянина. Именем Всевышнего протестую против этого приговора!

— Весьма естественно, что ты протестуешь: ведь она тебе не чужая! — сказал кто-то, и затем все стали спорить и пререкаться. Вдруг Симеон поднял голову и приказал обыскать ее.

Двое из архиерейских слуг принялись обыскивать девушку, разорвав одежду на ее груди.

— Вот жемчуг! — воскликнул один. — Взять его?

— Безумец, что мы, воры, что ли? Куда нам эти безделушки?! — окрикнул его сердито Симеон.

— А вот и еще кое-что! — сказал другой из слуг, вынув письмо Марка, которое девушка постоянно носила у себя на груди.

— Не троньте, отдайте! — взмолилась Мириам.

— Подать это сюда! — сказал Симеон, протянул свою тощую, костлявую руку и, развязав шелковую нитку, прочел начальные строки

письма: «Госпоже Мириам от Марка, римлянина, через посредство благородного Галла». Ну, что скажешь на это, рабби Бенони? Тут целое послание, но читать все у нас нет времени, а вот конец: «Прощай, твой неизменно верный друг и возлюбленный Марк». Пусть читает остальное тот, кому охота, что же касается меня, то я удовлетворен: эта женщина — изменница, и я подаю голос за предание ее смерти!

— Это письмо было писано мне из Рима два года тому назад! — ответила было Мириам, но по-видимому, никто не слышал ее слов, все говорили разом.

— Я требую, чтобы это письмо было прочтено от начала и до конца! — заявил Бенони.

— У нас нет времени заниматься такими пустяками! — ответил Симеон. — Другие обвиняемые ждут очереди, а римляне разбивают наши ворота. Нам некогда тратить драгоценные минуты с этой христианкой, шпионкой римлян. Увести ее!

— Увести ее! — подтвердил и Симон Зилот, остальные утвердительно закивали головами.

Затем все собрались и стали обсуждать, какой смертью девушка должна умереть. После долгих споров и пререканий, после того как Бенони тщетно просил и убеждал, проклинал и заклинал их, вынесен был следующий приговор: как всех предателей и изменников вообще, девушку нужно отвести к верхним воротам храма, называемым вратами Никанора, которые отделяют двор Израиля от двора Женщин, и приковать цепями к центральному столбу над воротами, где она будет видна и римлянам, и всему народу израильскому. Там она умрет голодной смертью или как Бог ей судил.

— Таким образом, — заявил Симон Зилот, — мы не обагрим свои руки кровью женщины. Кроме того, ввиду особого снисхождения к просьбам брата нашего, рабби Бенони, мы решили отсрочить исполнение приговора до заката солнца и заявить изменнице, что в случае, если она за это время одумается и пожелает открыть нам убежище римлянина Марка, мы возвратим ей свободу. Отведите ее обратно в тюрьму! — приказал он, обращаясь к страже.

Мириам схватили и, проведя сквозь толпу голодных людей, останавливавшихся, чтобы плюнуть в нее или послать ей вслед проклятие или камень, отвели обратно в темную келью.

Мириам села на пол и принялась есть спрятанный ею кусок сушеного мяса и ячменный хлеб. Вскоре, измученная и обессиленная, она заснула крепким сном. Спустя четыре или пять часов ее разбудил какой-то

посторонний звук. Она раскрыла глаза и увидела перед собой старого Бенони.

— О, дитя мое! Я пришел проститься с тобой и попросить у тебя прощения! Душа моя разрывается!

— Прощения? У меня? Да в чем же, дедушка? Ведь, с их точки зрения, приговор справедлив, и, если хочешь знать, я надеюсь, что мне действительно удалось спасти жизнь Марка, за что я и должна заплатить своей жизнью!

— Но как ты могла это сделать?

— Не спрашивай меня об этом, господин!

— Но еще не поздно спасти и твою жизнь! Ведь они вряд ли смогут вторично захватить его. Теперь иудеев оттеснили от старой башни, которая в руках римлян!

— Да, но иудеи вновь могут овладеть ею. Кроме того, я подвергла бы опасности и другие жизни, жизни дорогих своих друзей! Нет, я не могу!

— В таком случае ты должна будешь умереть позорной смертью, я бессилён спасти тебя! Не будь ты моею внучкой, они распяли бы тебя на кресте, поступив с тобой так, как поступают римляне с нашими братьями!

— Если на то воля Божия, я умру. Что значит одна моя жизнь там, где ежедневно гибнут тысячи жизней?! Не будем больше говорить об этом!

— О чем же говорить, Мириам?! — простонал старик. — Кругом горе, горе и горе... Ты была права, когда убеждала меня бежать. А ваш Мессия, которого я отвергал и теперь отвергаю, да, он обладал даром прорицания: Иерусалим погиб, и наш храм тоже погибнет. Римляне уже завладели внешними дворами, а в Верхнем городе жители поедают друг друга и мрут. Хоронить мертвецов некому, все мы погибнем или от голода, или от меча, или от болезней, и не останется в живых никого. Народ иудейский будет попан и поруган, Иерусалимский храм разорен, от него не останется и камня на камне! Да, все сбудется!

— Но вы могли бы сдаться! Тит пощадил бы вас!

— Нет, дитя, лучше уж всем погибнуть! Сдаться, чтобы нас повлекли на поругание целому Риму, как жалких рабов, за колесницей победителя по улицам их пышной столицы! Нет, мы будем просить пощады у Иеговы, а не у Тита! Ах, зачем я не послушал тебя тогда, сейчас ты была бы в Египте или Пелле. Я погубил тебя, кровь от крови моей и плоть от плоти, я своими руками навлек на тебя этот приговор!

— И несчастный старик долго и безутешно ломал руки и стонал от нестерпимой душевной муки.

— Полно, дедушка, — успокаивала его Мириам, — умоляю тебя, не

упрекай себя ни в чем! Для меня смерть не страшна. Да может быть, я даже и не умру!

Старик поднял голову и вопросительно посмотрел на нее:

— Разве у тебя есть какая-нибудь надежда уйти отсюда? Бежать? — спросил он. — Халев...

— Нет, не Халев, хотя я благодарна, что тогда, на суде он пытался оправдать меня, но я предпочла бы скорее умереть, чем бежать с ним!

— В таком случае... Почему же ты думаешь?...

— Я не думаю, господин, а только надеюсь на Бога и верю, что Он может спасти меня. Одна из наших женщин, которую почитают как святую, предсказала мне долгую жизнь!

В тот момент, когда она произнесла эти слова, раздался звук, подобный громовому раскату, и они почувствовали, как земля содрогнулась.

— Рабби Бенони, — крикнули снаружи, — стена упала! Не мешкай, рабби Бенони, ради всего святого, спеши!...

— Увы, дитя мое, я должен идти! Какой-то новый ужас и несчастье обрушились на нас и призывают меня вернуться. Прощай, возлюбленная дочь моя, прощай и прости меня за все то зло, которое я навлек на тебя, видит Бог, против воли!

И обняв и поцеловав ее, старик вышел, оставив девушку в слезах.

## XVII. Врата Никанора

Прошло еще часа два, близилось время заката. Вдруг железные болты и засовы тюрьмы Мириам загремели, и в полутемную келью вошел Халев. На нем были помятые в бою и иссеченные во многих местах латы, а в руке сверкал обнаженный меч.

— Ты пришел сюда привести в исполнение приговор синедриона? — спросила девушка.

Он молча опустил голову.

— Не мешкай, друг Халев! Когда мы с тобой были детьми, ты нередко опутывал мои руки цветами, теперь же свяжи их веревками, как тебе повелевает долг!

— Ты жестока, Мириам, я пытался выгородить тебя на суде, а если у меня там, в старой башне, вырвались против воли слова горькой обиды, то только потому, что любовь и ревность довели меня до безумия! — И Халев стал убеждать девушку бежать с ним к римлянам, говоря, что из любви к ней готов наложить на себя пятно измены родине. Но девушка отказалась.

Мало того, он предлагал даже креститься, но девушка была непоколебима.

С тоской вышел от нее Халев. Сразу вслед за этим явились четверо воинов и повели Мириам к воротам Никанора между двором Женщин и двором Израиля, украшенным серебром и золотом, над которыми возвышалось квадратное здание, высотой около пятидесяти футов. Здесь священнослужители хранили свои священные трубы и другие музыкальные инструменты. На плоской кровле этого здания возвышались три мраморных столба, украшенных золочеными капителями и шпильями.

У ворот осужденную ожидал один из членов синедриона, тот самый Симеон, который приказал обыскать Мириам и отказался прочесть все письмо Марка.

— Не призналась эта женщина, где скрывается римлянин? — спросил он.

— Нет! — отвечал Халев. — Она говорит, что ничего об этом не знает!

— Так ведите ее наверх.

Поднявшись по узкой каменной лестнице, Мириам и сопровождающие вышли на кровлю здания, где ее подвели к среднему из трех столбов, к которому была прикована тяжелая железная цепь футов десяти длиной. По приказанию Симеона Мириам связали руки за спиной, а на грудь повесили



надпись, гласившую: «Мириам, христианка и изменница, приговорена умереть здесь, как ей Бог судил, пред лицом друзей ее, римлян». Далее следовали подписи нескольких членов синедриона, в том числе и деда ее Бенони, которого принудили таким образом дать восторжествовать чувству патриотизма над чувством кровного родства. Затем ее приковали цепью к столбу, после чего Симеон и остальные собрались удалиться и оставить ее одну. Но прежде чем покинуть эту кровлю, Симеон обратился к осужденной:

— Стой здесь, презренная изменница, пока кости твои не распадутся в прах! Стой под грозой и бурей, под палящими лучами знойного солнца, стой, проклятая, при свете дневном и во мраке ночи, на поругание и посмеяние римлян и иудеев. Дочь сатаны, возвратись к сатане, и пусть тот Сын плотника спасет тебя, если может!

— Пощади, не оскорбляй эту девушку, рабби! Или ты не знаешь, что проклятия — стрелы, которые обрушиваются на голову того, кто их мечет? — вступился Халев.

— Будь моя воля, первая стрела предназначалась бы тебе, дерзкий юнец, осмеливающийся учить старших! Но знай, мне известно больше, чем ты полагаешь! Быть может, и ты хочешь вступить в дружбу с римлянами? Что же, скатертью дорога!... А теперь уходи!

Халев не ответил ни слова, только печально взглянул на осужденную и тихо произнес: «Прощай! Ты сама этого хотела!»

И Мириам осталась одна в красных лучах огненного заката, прикованная к столбу, с позорной надписью на груди и связанными за спиной руками. С минуту она стояла неподвижно, затем подошла к краю стены и заглянула вниз, во двор Израиля, где иудейские военачальники, старейшины и зилоты собрались посмотреть на осужденную. Целый град камней и обломков мрамора с ругательствами и проклятиями полетел в нее, и девушка поспешила отойти к противоположному краю стены, выходящему на двор Женщин. Весь этот двор теперь был превращен в военный лагерь, так как внешний двор, двор Язычников, был уже занят римлянами, и их стенобойные машины почти непрерывно громили стены двора Женщин.

Настала ночь, но и она не принесла с собой обычной тишины и покоя. Римляне вновь пытались взять стены приступом — тараны и стенобойные машины оказались бессильными. Однако иудеи были все время настороже и сбрасывали приставные лестницы римлян, как только отважные и неустрашимые легионеры взбирались по ним. Однажды двум знаменосцам удалось взобраться на стену под громкие торжествующие крики римлян, но

смельчаки были тотчас же окружены и убиты, а знамена с насмешкой сброшены со стен разодранными в клочья.

Наконец легионеры принялись подтаскивать горючий материал к воротам, сделанным из драгоценного кипариса и окованным листами серебра, и разводили под ними и подле костры. До этого времени Тит хотел сохранить невредимыми как сам храм, так и все его дворы, но видя, что ничто другое не поможет, решился прибегнуть к огню. Вскоре серебряные листы на воротах расплавились, а дерево вспыхнуло ярким пламенем. Когда огонь сделал свое дело, римляне бросились тушить пламя там, где им нужен был проход, и через эту брешь, словно река, прорвавшая плотину, мгновенно заполнили двор Женщин. Сам Тит въехал в него во главе большого отряда всадников. Иудеи бежали, ища спасения на уступах ворот Никанора, на стене и на кровле здания, где была прикована Мириам. Но на нее теперь никто не обращал внимания, над каждым висела смерть.

Римляне же снизу заметили ее, и какой-то воин пустил стрелу просвистевшую над самой головой девушки. Этот поступок не укрылся от зорких глаз Тита, который тут же приказал привести к себе виновного и, очевидно, выразил ему свой гнев, так как после этого больше никто не пытался причинить ей вред. Но зато августовское солнце теперь беспощадно палило ее своими жгучими лучами, и несчастная девушка нигде не могла укрыться от них. У нее не было ни капли воды, чтобы утолить мучительную жажду. Мириам безропотно выносила эту пытку и только ждала вечера с его живительной прохладой.

В этот день римляне не предприняли новых атак, а иудеи не делали вылазок. Во дворе Женщин установили несколько стенобойных машин и баллист, которыми метали громадные камни во двор Израиля по ту сторону стены.

Многие из этих камней с глухим звуком падали на мраморные плиты двора, дробя их и вздымая облака пыли, другие попадали в густую толпу иудеев и ранили или убивали разом десятки людей. Тогда вопли и стоны подымались и снова смолкали.

Среди притихшей, пораженной смертельным ужасом толпы бродил тот же безумный Иисус, сын Анны, который встретил Мириам при въезде в Иерусалим, и, как тогда, этот грозный пророк взывал все тем же пронзающим душу голосом:

— Горе, горе тебе, Иерусалим! Горе граду сему и храму сему! Горе народу сему! — И вдруг, смолкнув на мгновение, воскликнул как-то особенно громко: «Горе и мне!», — и не успел еще звук его голоса замереть в воздухе, как громадный камень, перелетев из двора Женщин, упал на него

и отскочил, продолжая свое дело уничтожения и разрушения, но пророк, предсказавший в последний момент жизни и свою собственную участь, остался нем и недвижим.

Весь день жилые помещения, примыкающие к стене, горели, поджигаемые римлянами. Чад и смрад стояли в воздухе.

Наконец последние лучи заката погасли над вершиной Масличной горы, и белые палатки римлян и бесчисленные кресты с корчившимися на них в предсмертных муках страдальцами, кресты, которыми были утыканы и склоны, и подножие горы, и вся долина Иосафата, насколько только хватало глаз, — все это окуталось легкой дымкой расстилавшегося тумана. Настал благословенный, вожделенный час ночи, обильная роса своей живительной влагой обдала изнемогавшую, измученную зноем девушку и утолила ее жажду. Да, теперь, когда обильная роса оседала на мраморный столб, к которому была прикована Мириам, она могла слизывать ее и охлаждать прилипший к гортани язык. Освеженная, обновленная ночной росой, Мириам заснула.

## XVIII. Последний бой Израиля

Начало светать, но в этот день люди напрасно ждали появления дневного светила. Густой туман наполнил воздух. Мириам благословила этот туман, зная, что ей не пережить второго дня под палящими лучами солнца. Она сильно ослабела, так как не получала никакой пищи уже вторые сутки и не утоляла жажды ничем, кроме росы, но пока туман скрывал солнце, она чувствовала, что жизнь еще не покидает ее.

Под покровом того же тумана Халев ухитрился подойти к воротам Никанора и, хотя ворота охранялись и были заперты тяжелыми болтами, все же нашел возможность, привязав к стреле небольшой холщовый мешок, в котором лежала кожаная фляга с водой и корка черствого хлеба, забросить все это на крышу здания, и так ловко, что стрела с мешком упала к самым ногам Мириам. Девушка зубами развязала шнурки мешка и с жадностью принялась грызть черствый хлеб. Но воспользоваться живительным напитком она не могла, так как руки ее были связаны за спиной. Мучимая целыми тучами насекомых, мошек и мух, несчастная девушка не могла даже защитить себя от них, будучи лишена возможности шевелить руками. Вдруг она заметила, что в мраморный столб, к которому она была прикована, вбиты несколько железных кольев. Один из них, очень острый, немного выдавался, и Мириам пришла мысль, что об него можно перетереть веревку, связывающую ее руки.

Встав спиной к столбу, она принялась за работу, но это движение чрезвычайно утомляло ее, тем более, что силы были уже на исходе. Затекие, вспухшие руки страшно болели, и от прикосновения к железу кожа на них лопалась, причиняя новые мучения. Девушка плакала от боли, но все-таки продолжала тереть веревку. Настала ночь, а работа ее все еще не была окончена, но силы ее уже иссякли. Под прикрытием тумана римляне, движимые любопытством, приблизились к воротам и стали расспрашивать ее, за какое преступление она тут привязана. Она ответила им по-латыни, что ее осудили за спасение одного римлянина от смерти. Но прежде, чем римляне успели спросить ее еще о чем-нибудь, целый град стрел и копий заставил их отступить от ворот. Однако ей показалось, будто один из них добежал до своего начальника и что-то сообщил ему, а тот отдал какое-то приказание.

Между тем иудеи готовились к бою. Четыре тысячи человек столпились во дворе Израиля. Вдруг ворота распахнулись, в том числе и

ворота Никанора. и при звуках труб, словно река, прорвавшая плотину, иудеи устремились во двор Женщин, смяв римских часовых, форпосты и сторожевую цепь римлян. Но легионеры были наготове и, сомкнув стальные ряды своих щитов в сплошную стену, отразили натиск иудеев, как непоколебимая скала отражает стремительный поток. Однако иудеи не хотели отступать и отчаянно бились до тех пор, пока сам Тит не двинулся на них с отрядом всадников и не погнал, как стадо овец, за пределы двора Женщин. Всех раненых и отставших римляне тут же прикончили, но во двор Израиля ворваться не пытались.

Некоторые военачальники подъехали к самым воротам и крикнули, что Тит желает пощадить храм и дарует им жизнь, если они сдадутся. На это осажденные отвечали насмешками, издевательствами и оскорблениями. Однако, несмотря на такой ответ осажденных, Тит желал спасти храм, и по его приказанию несколько тысяч римлян были отправлены тушить пожар в оградах и жилых строениях храма. Между тем защитники последнего уже не нападали и на новые вылазки не отваживались. Укрываясь там, где они были в сравнительной безопасности от стрел и камней, которые метали во двор катапульты и баллисты римлян, одни лежали в унылом безмолвии под прикрытием стен, другие громко стонали, ударяя себя в грудь и раздирая на себе одежды. Женщины и дети выли от голода, ужаса и нестерпимых мучений, проклиная судьбу и посыпая головы пеплом или землей.

Мириам видела все, и душа ее содрогалась от ужаса. Она знала, что Халев еще жив, видела, как после безумной атаки он одним из последних вернулся во двор Израиля весь в пыли и крови. В течение многих месяцев она теперь не увидит его...

Наконец и этот последний день долгой осады подошел к концу. Под вечер туман рассеялся, и яркие лучи солнца в последний раз заискрились на золоченой кровле и шпилях великолепного Иерусалимского храма. Никогда, казалось, не был он так величественен и великолепен, как в этот последний вечер, окруженный почерневшими развалинами разрушенного города. Все стихло, даже стоны и вопли голодных иудеев. В римском лагере тоже было спокойно: солдаты варили ужин, даже грозные стенобитные машины и баллисты прекратили свою разрушительную работу. Но стаи стервятников стали слетаться со всех сторон, садясь на стены храма. И вспомнились Мириам слова: «Где будет труп, туда соберутся и орлы», — и страх наполнил ее измученную душу, томительно захотелось вырваться на свободу и бежать отсюда, бежать, куда глаза глядят. Снова принялась она за свою изнуряющую работу, силясь перетереть веревку, которой были связаны руки, и вдруг почувствовала, что свободна. Чувство невыразимой

радости охватило все ее существо, хотя затекшие руки причиняли ей страшную боль, а когда она попробовала поднять их, то чуть не лишилась чувств. Немного погодя, с невероятным усилием она все-таки подняла их, и кровь стала постепенно приливать к окоченевшим, посиневшим пальцам. Тогда она протянула обе руки к фляге и, развязав зубами тряпку, удерживавшую пробку, с жадностью припала пересохшими губами к живительному напитку. Дитя пустыни, она знала, что пить вволю, когда человек истомился жаждой, грозит смертельной опасностью, и потому медленными, маленькими глоточками отпила половину фляжки воды, смешанной с вином.

Девушка была настолько слаба и изнурена, что даже эта смесь подействовала на нее опьяняюще: у нее зашумело в ушах и в голове и, не будучи в состоянии удержаться на ногах, она впала в забытие.

Очнувшись, она почувствовала себя несколько бодрее, и хотя голова была тяжела, она вполне могла рассуждать. Теперь ею владело непреодолимое желание освободиться от цепи, и она стала прилагать все усилия, но цепь была крепка, и вскоре она убедилась в тщетности своих попыток. Обессиленная, Мириам упала на колени и, закрыв лицо руками, заплакала, как ребенок.

Вдруг глухой шум и легкое сотрясение привлекло ее внимание, она встала и взглянула вниз. Иудеи столпились у ворот, которые теперь тихо распахнулись, и среди ночной тишины, словно стая черных воронов, устремились во двор Женщин на последнюю отчаянную схватку. Они хотели перебить тех солдат, которые по приказанию Тита все еще силились потушить пожар, и затем врасплох обрушиться на спящий лагерь.

Но это им не удалось: из-за ограды, воздвигнутой Титом перед лагерем, хлынули тысячи римлян, разя и уничтожая все перед собой. Паника охватила несчастных сынов Израиля, с воплями отчаяния они бросились врассыпную, закрывая лицо руками, затыкая уши, чтобы не видеть и не слышать, словно не римляне, а какие-то всемогущие духи-истребители преследовали их.

На этот раз легионеры уже не довольствовались тем, что прогнали их во двор Израиля, а и сами бросились туда за ними, некоторые даже опередили бежавших. Мигом ворота были заняты римскими караулами, новые легионы все прибывали и прибывали; вскоре римляне заполнили весь двор, проникнув даже к самому святилищу и беспощадно убивая каждого на своем пути. Теперь уже никто не старался остановить их, битвы не было, даже храбрейшие из иудейских воинов сознавали, что час их настал и Иегова отрекся от своего избранного народа. Они бросали оружие

и бежали, сами не зная куда. Некоторые искали спасения в храме, но римляне последовали за ними туда с факелами в руках. Мириам, вне себя от ужаса, смотрела вниз. Вдруг в одном из окон храма, с северной стороны, показался огненный язык; минута — и вся стена вспыхнула ярким заревом. Все ярче и ярче разгоралось оно, и глаза не могли более выносить этого моря пламени, а тем временем римляне сплошным потоком врываются во двор Израиля через врата Никанора, пока наконец не раздался крик: «Дорогу! Дорогу!» Мириам увидела человека в белой одежде с обнаженной головой и без вооружения, на великолепном коне; впереди него знаменосцы несли орлов римских легионов. То был Тит, который, въехав во двор, крикнул центурионам, чтобы они скомандовали отбой, вернули легионеров назад и дали приказ тушить пожар. Но кто мог теперь повернуть обезумевших от жажды крови и грабежей солдат? Никакая сила в мире не могла образумить их и привести к повиновению.

Пламя уже охватило храм во многих местах. Золотые двери были взломаны и раскрыты, и Тит со своей свитой вошел в храм, чтобы в первый и последний раз взглянуть на жилище Иеговы, Бога иудеев. Из придела в придел шествовал Тит, до самой Святой Святых, куда также вошел и отдал приказ вынести золотые светильники, жертвенные сосуды и золотой стол.

И вот великолепный Иерусалимский храм, простоявший тысячу сто тридцать лет на священной вершине горы Мория, сам стал величайшей жертвой всеожжения, какая когда-либо приносилась на этой горе. В жертвах не было недостатка: в своем безумном исступлении римляне беспощадно избивали людей, томившихся во дворе Израиля, так что трупами, точно сплошным ковром, был усыпан весь двор. В эту ночь погибло более десяти тысяч воинов, женщин, детей и священнослужителей, кругом все утопало в крови. Многие римляне с награбленными сокровищами падали и задыхались от недостатка воздуха.

Громадными снопами, на сотни футов в высоту вздымалось необъятное пламя пожара, воздух кругом накалился, как в плавильной печи. Страшные стоны избиваемых, крики торжества победителей, громкие вопли жителей, наблюдавших все это с кровель домов Верхнего города, слились в один протяжный звук.

Несколько тысяч иудеев успели, однако, бежать в Верхний город. Уничтожив за собой мост, они стали следить оттуда за происходящим по эту сторону долины и оглашали воздух непрерывными стенаниями. Мириам, видевшая разрушения и избиения, уже не могла долее выдержать зрелища всех ужасов и, упав за мраморным столбом, задыхаясь от жара и смрада, стала молить Бога о смерти. Вдруг вспомнив, что во фляге

оставалось немного воды с вином, она с жадностью припала губами к горлышку и, выпив все до последней капли, снова легла у столба и лишилась сознания.

Когда она пришла в себя, было уже светло, из груды развалин храма Иродова, великолепнейшего здания в мире, вздымался густой столб дыма и пламени, а весь двор Израиля был сплошь устлан трупами, по которым римляне прокладывали себе дорогу.

На жертвеннике теперь развевался римский штандарт, и легионеры приносили ему жертвы. Но вот к ним подъехал статный воин в сопровождении блестящей свиты, и они приветствовали его громкими криками: «Тит-император!» Здесь, на месте его торжества, победоносные легионеры провозгласили своего полководца цезарем.

Однако и теперь борьба была не совсем окончена, потому что на крышах горевших стен ограды собрались некоторые из уцелевших и самых отчаянных защитников храма Иерусалимского и, по мере того как эти ограды рушились, отступали к воротам Никанора, еще нетронутым огнем. Римляне, которые уже пресытились кровью, предлагали им сдаться, но те не соглашались, и Мириам, к несказанному своему ужасу, узнала в одном из отступавших своего деда Бенони.

Так как иудеи не сдавались, римляне стали стрелять и перебили их всех одного за другим, кроме старого Бенони.

— Перестаньте стрелять! — раздался чей-то властный голос. — Несите скорее лестницу! Это смелый и отважный старик, к тому же один из членов синедриона. Захватите его живым!

Римляне приставили лестницу, и по ней взобрались на стену. Бенони при виде их отступил к самому краю обрушившейся стены, охваченной пламенем, но внезапно обернулся — и в этот момент увидел Мириам. Он стал ломать руки и раздирать на себе одежды, думая, что внучка уже умерла. Мириам угадала его горе, но до того обессилела, что не могла сделать ни малейшего движения, не могла произнести ни одного звука, чтобы утешить несчастного старика.

— Сдавайся! — кричали между тем римляне, боясь приблизиться к горящим развалинам. — Сдавайся, безумец, Тит дарует тебе жизнь!

— Для того, чтобы протащить меня за своей колесницей победителя по улицам Рима? — гневно возразил старый иудей. — Нет, я не сдамся, а умру, моля Бога, чтобы Он с лихвой воздал Риму за Иерусалим и его детей! — И подняв с земли валявшееся копьё, он метнул им в группу римлян с такой ловкостью и силой, что копьё, пробив щит одного из воинов, пронзило насквозь и руку, державшую щит.



— Пусть бы это оружие так же пронзило твое сердце и сердца всех римлян! — воскликнул Бенони и, бросив последний, прощальный взгляд на развалины храма и Иерусалима, бросился в пламя горящих развалин и погиб, гордый и смелый, не изменив себе даже в час смерти.

При виде этого Мириам снова лишилась чувств, а когда очнулась, то вдруг увидела, как дверь, что вела на кровлю из потайной комнаты квадратного здания над воротами Никанора, распахнулась, и из нее выбежал с обнаженной головой, в разодранной одежде, весь в крови и копоти человек с глазами затравленного зверя. Мириам вгляделась и узнала в нем Симеона, осудившего ее на ужасную смерть.

Следом, цепляясь за полы его одежды, выбежали римляне, в том числе офицер, лицо которого показалось Мириам знакомым.

— Держите его! — крикнул он. — Надо же показать римскому народу, на что похож живой иудей!

Стараясь вырваться из рук врагов, Симеон поскользнулся и упал плашмя.

Только теперь римский офицер заметил Мириам, лежавшую у подножия столба.

— Ах, я ведь забыл про эту девушку, которую нам приказано спасти! Уж не умерла ли она, бедняжка? Клянусь Бахусом, я видел где-то это лицо. Ах да, вспомнил! — И он наклонился над ней и прочел надпись на груди.

— Смотри, господин, какое ожерелье, ценный жемчуг, прикажешь снять его? — проговорил один легионер.

— Снимите с нее цепь, а не ожерелье! — приказал начальник, затем, склонившись к девушке, спросил. — Можешь ты идти?

Мириам только отрицательно покачала головой.

— Ну, тогда я понесу тебя! — И бережно, словно ребенка, офицер поднял ее на руки и стал спускаться со своей ношей вниз, во двор. Солдаты вели за ним Симеона.

Во дворе Израиля, где еще уцелела часть жилых помещений, в кресле перед одним из сводчатых входов, сидел человек, рассматривающий священные сосуды и всякую драгоценную утварь, в окружении своих военачальников и префектов. Это был Тит. Подняв глаза он увидел Галла со своей ношей и спросил:

— Что ты несешь, центурион?

— Ту девушку, которая была прикована к столбу на воротах!

— Жива она еще?

— Да, цезарь! Но зной и жажда сделали свое дело!

— В чем заключалась ее вина? — спросил Тит.

— Тут все написано, цезарь!

— Хм... «христианка», мерзкая секта, хуже самих иудеев, как утверждал покойный Нерон. Но кто осудил ее?

Мириам с трудом подняла голову и указала на Симеона.

— Говори мне всю правду, — приказал Тит, — и знай, что я все равно ее узнаю!

— Она была осуждена синедрионом, — сказал Симеон, — среди них был и ее дед Бенони, вот тут его подпись!

— За какое преступление? — спросил Тит.

— За то, что она помогла бежать одному римскому пленнику — пусть душа ее вечно горит в геенне огненной!

— Судя по твоей одежде, ты тоже был членом синедриона, — сказал Тит. — Как твое имя?

— Меня зовут Симеон. Это имя ты, верно, слышал уже не раз?

— А-а, да, вот оно здесь, на этом приговоре, стоит первым! Ты приговорил эту девушку к страшной смерти за то, что она спасла жизнь одному римскому воину. Так испей же сам сию чашу. Отведите его на башню над воротами и прикуйте к тому столбу, к которому была прикована девушка. Храм твой погиб, святилища твоего не стало, и ты, как верный его служитель, должен желать себе смерти!

— Да, в этом ты прав, римлянин, — проговорил Симеон, — хотя я предпочел бы более легкую кончину!

Его увели, и цезарь Тит занялся Мириам.

— Отпустить девушку на свободу нельзя: это все равно, что обречь ее на смерть, кроме того, она — изменница и, вероятно, заслужила свою участь. Но она прекрасна и украсит собою мой триумф, если боги удостоят меня этого, а пока... Кто возьмет ее на свое попечение? Но помните, пусть никто не смеет причинить ей вреда, девушка эта — моя собственность!

— Будь спокоен, цезарь, я буду обращаться с ней как с дочерью! — сказал ее освободитель. — Отдай ее мне!

— Хорошо, — сказал Тит, — теперь унесите ее отсюда, нам надо заняться другими, более важными делами, а в Риме, если будем живы, ты дашь мне отчет!

## XIX. Жемчужина

Время шло, битвы и сражения продолжались, так как иудеи держались в Верхнем городе. Во время одной из схваток Галл, тот римский начальник отряда, который вызвался принять на свое попечение Мириам, был тяжело ранен в ногу. Тит вполне доверял этому человеку, поэтому по приказанию цезаря он должен был отплыть в Рим с другими больными и ранеными и доставить в столицу Империи большую часть захваченных в храме Иерусалимском сокровищ. По желанию цезаря, Галл должен был направиться в Тир, откуда отплывало судно, предоставленное в его распоряжение.

Мириам Галл поселил в особой палатке разбитого на Масличной горе лагеря, и поручил старухе, прислуживавшей раньше ему самому, ухаживать за девушкой и беречь ее как зеницу ока.

Долгое время девушка находилась между жизнью и смертью, но мало-помалу благодаря хорошему питанию и тщательному уходу силы ее вернулись и физическое здоровье было восстановлено. Однако душевное потрясение, испытанное ею, не прошло бесследно — казалось, бедная девушка навсегда останется с помутившимся рассудком. В продолжение многих недель она не переставала бредить, а речь ее оставалась бессвязной и неразумной.

Всякому другому на месте Галла надоело бы возиться с бедной помешанной, и он предоставил бы ее жестокой судьбе — десятки и сотни иудейских женщин теперь бродили по всей стране, как бездомные голодные собаки, отыскивая случайные крохи пропитания или погибая от голода.

Галл же, как и обещал Титу, относился к молодой пленнице с нежностью, любовью и заботливостью родного отца. Каждую свободную от служебных обязанностей минуту он проводил с ней, а после ранения — целые дни. В конце концов бедная безумная так привязалась к Галлу, что стала называть «дядей» и просиживала иногда целыми часами подле него, обвив его шею руками и забавляя своей несвязной речью. Кроме того, она привыкла узнавать солдат его легиона, которые полюбили бедняжку за ее милый, кроткий нрав и приветливую улыбку. Чтобы порадовать девушку, они постоянно приносили ей то фрукты, то цветы и оберегали ее, как ребенка.

Когда Галл получил от Тита приказ отправляться в Тир, он, забрав с

собой вверенные ему иерусалимские сокровища и молодую пленницу, вместе с рабыней-служанкой тронулся в путь — с большой осторожностью, избегая утомления в пути для Мириам и окружая ее всевозможными удобствами и заботами. Таким образом, на восьмые сутки они прибыли в Тир.

Случилось так, что судно, на котором Галлу предстояло отплыть из Иудеи, не было готово к отплытию, и Галл приказал разбить лагерь на окраине Старого Тира — по странной случайности, в саду, принадлежавшем некогда старому Бенони.

Палатка Мириам и ее старой рабыни была раскинута на берегу моря, подле шатра ее покровителя. Эту ночь Мириам спала хорошо и, пробудившись на рассвете и заслышав рокот волн, вышла в сад. Весь лагерь еще отдыхал, и море и все кругом было спокойно. Вот, прорвав дымку тумана, дневное светило всплыло над горизонтом, заливая своим светом сверкающую синеву моря и темную линию его берегов. И вдруг в мозгу бедной больной просветлело, разум возвратился к ней, так что, когда проснувшийся Галл подошел к ней, она признала сад и гордые линии древнего Тира, расположенного на острове. Вон пальма, под которой она с Нехуштой любила отдыхать, вон скала, близ которой растут лилии и где она получила послание от Марка. Инстинктивно она поднесла руку к ожерелью. Да, ожерелье и теперь было у нее на шее, и на нем она нащупала свой перстень, который старая рабыня нашла в ее волосах и для сохранности надела на ожерелье.

Мириам надела его на палец. Затем дошла до скалы и, сев на большой камень, принялась припоминать, что с ней произошло. Но вскоре все ее воспоминания потонули в каком-то кровавом хаосе...

Встав поутру, Галл как всегда прошел к палатке Мириам, чтобы осведомиться, как она спала, и узнал от ее прислужницы, что девушка уже вышла. Осмотревшись кругом, он увидел ее у скалы и, опираясь на свой костыль, так как рана еще не зажила и нога не действовала, побрел к ней.

— С добрым утром, дочь моя, — сказал он, — как ты провела ночь?

— Благодарю тебя, господин, я сегодня хорошо спала! Но скажи мне, этот город, который я там вижу, не Тир? А этот сад — не деда моего Бенони, где я бродила много дней тому назад? С тех пор случилось так много разных ужасных событий, которых я теперь не могу припомнить... Да, не могу! — она приложила руку ко лбу и тихо застонала.

— Не надо, не припоминай их! — весело сказал Галл. — В жизни много такого, о чем лучше забыть совсем... Да, это — Тир, а это — сад Бенони! Вчера, когда мы прибыли сюда, ты не узнала этих мест, было уже

темно!

Говоря это, он следил за ней, не веря своим ушам, не веря, что к ней вернулся рассудок. Мириам, во своей стороны, не спускала глаз с его лица, точно стараясь уловить в них нечто знакомое ей, и вдруг воскликнула:

— Да, теперь я вспомнила! Ты — римлян Галл, тот римский военачальник, который привез мне письмо... — И она стала искать у себя на груди это письмо. — Оно пропало! Куда оно могло деваться?... Дайте мне вспомнить...

— Нет, нет не надо вспоминать! — поспешил прервать ее мысли Галл. — Да, я действительно тот самый человек, который несколько лет тому назад привез тебе письмо от моего друга Марка, прозванного Фортунатом — что, как тебе известно, означает «Счастливым», — а также и эти безделушки, что вижу на тебе. Но мы обо всем этом поговорим после, а теперь тебе пора подкрепиться, а мне — перевязать рану. А там мы с тобой побеседуем!

Но в это утро Галл не показывался, боясь, чтобы Мириам не переутомилась, напрягая свои мысли. Не видя его, она до самого обеда пробродила одна по саду, любуясь синим простором моря и прислушиваясь к однообразному плеску волн.

Мало-помалу в ее мозгу воскресли воспоминания о том ужасном прошлом, которое поначалу, казалось, совершенно изгладилось из памяти. Наконец старая служанка пришла звать ее обедать и повела в столовую. На пути к этой палатке она увидела несколько десятков римских солдат, как будто преграждавших ей дорогу.

Мириам испугалась и готова была бежать, но старуха успокоила ее:

— Не бойся, они ничего тебе не сделают, потому что любят свою Жемчужину и собрались здесь, чтобы приветствовать тебя: они слышали, что ты поправилась, и очень этому рады!

— Жемчужину? Что это значит?

— Так они тебя называют из-за жемчужного ожерелья!

Действительно, при ее приближении эти грубые, суровые воины осыпали Мириам приветствиями и хлопали в ладоши, выражая свою радость, а один из них даже поднес ей пучок полевых цветов, которые так редки в это время года. Услыхав из своего шатра радостные крики и приветствия легионеров, Галл вышел и, чтобы почтить день выздоровления их общей любимицы, приказал выдать солдатам бочонок доброго ливанского вина.

Затем, взяв девушку за руку, Галл повел ее в палатку, где был накрыт стол. За обедом Мириам рассказала Галлу свою историю и спросила, что

ожидает ее в Риме.

— До возвращения Тита ты останешься у меня, — отвечал тот, — а затем пойдешь за его триумфальной колесницей. А там, если он не изменит своего решения, чего трудно ожидать — Тит гордится тем, что никогда не отменял ни одного своего декрета, не изменял суждения или решения, как бы поспешно оно ни было принято — ты будешь продана с публичного торгового рынка на форуме!

— Продана в рабство, как скотина на базаре! Продана с публичного торгового рынка! О, Галл, какая печальная, какая позорная участь!

— Не думай об этом, дитя мое, будем надеяться, что и в этом, как во всем остальном, судьба будет благоприятствовать тебе!

— Я желала бы только, чтобы Марк узнал о том, что меня ожидает в Риме!

— Но как это сделать, даже если он жив? Завтра, перед наступлением ночи, наше судно уходит в море. Что же могу я сделать?

— Пошли гонца к Марку с вестью от меня!

— Гонца? Но кто же сумеет отыскать его? Я могу отправить только одного из моих солдат, но он не найдет убежища ессеев, о котором ты говорила мне!

— У меня есть друзья в Тире, ессеи и христиане, и, если бы я могла увидеться с ними, то нашла бы подходящего человека, который сумел бы исполнить поручение.

Галл призадумался, а затем решил послать старую невольницу в город с поручением отыскать кого-нибудь из христиан или ессеев, пообещав ей в награду свободу.

Ловкая и хитрая старуха пустилась бродить по городу и перед закатом возвратилась, заявив, что христиан в городе не осталось, но ей после долгих поисков удалось наконец встретить одного молодого ессея. Он обещал прийти в римский лагерь, когда совсем стемнеет.

Действительно, спустя два часа после заката ессей явился и был проведен старой рабыней в шатер Мириам.

Это был брат Самуил. Он отсутствовал в селении на берегу Иордана в то время, когда ессеи были вынуждены бежать оттуда, потому что отпросился в Тир проститься со своей умирающей матерью. Брат Самуил, узнав о бегстве братства в Иерусалим и не зная, где именно они укрылись, но слыша об ужасах, происходивших в этом городе, решил остаться с матерью, которая тогда еще была жива и не отпускала его от себя. Таким образом ему удалось избежать всех ужасов осады Иерусалима, а теперь, схоронив мать, он собирался разыскать свое братство, если только кто-

нибудь из него еще уцелел.

Убедившись в том, что брат Самуил действительно ессей, Мириам рассказала ему все, что ей было известно о тайном убежище ессеев, и вручила кольцо — подарок Марка, — прося передать кольцо римлянину, пленнику ессеев, если он жив, а также сообщить ему об участи, ожидающей ее в Риме. Если же пленника по имени Марк уже нет в живых или среди ессеев, то нужно отдать кольцо и сообщить ту же весть старой ливийской женщине Нехуште, а если и ее он не найдет — то дяде Итиэлю или тому человеку, который в данный момент будет считаться главой совета братства ессеев.

Чтобы брат Самуил не забыл просьбы, Мириам изложила все в письме, которое и вручила ему. Письмо было подписано: «Мириам, из дома Бенони», но она умолчала о том, к кому оно писано, из боязни, как бы письмо не попало в чужие руки и не навлекло беды на тех, к кому оно было обращено.

Когда обо всем переговорили, в шатер Мириам вернулся Галл и осведомился, сколько брату ессею нужно денег на путевые издержки и сколько он желает получить за свои труды. Римлянин был крайне поражен, когда услышал, что никакого вознаграждения не нужно, что это противно правилам братства, предписывающим оказывать безвозмездно всякую услугу каждому, кто в ней нуждается.

После этого брат Самуил удалился, и Мириам уже никогда более не видала его, но, как оказалось впоследствии, он добросовестно исполнил возложенное на него поручение и тем самым оказал ей громадную услугу. После его ухода Галл по просьбе Мириам также написал письмо к одному своему товарищу по службе, с вложением письма к Марку и просьбой доставить ему это письмо, если только Марк вернется в армию.

— Ну, дочь моя, мы теперь сделали все, что от нас зависело! Остальное надо предоставить судьбе.

В тот же вечер они сели на большую римскую галеру и на тридцатые сутки пришли в Регий, откуда сухим путем двинулись к Риму.

## XX. О Марке и Халеве

В то время как Нехушта, напрягая все свои силы, старалась втолкнуть бесчувственное тело Марка в тайный ход старой башни, она не видела, как Мириам отскочила от камня, чтобы выбить светильник из рук стража, и поэтому, услышав глухой звук захлопнувшейся двери, со вздохом облегчения воскликнула:

— Ну, как раз вовремя! Кажется, никто нас не видел!

Но ответа не было, и у Нехушты вырвался вопль отчаяния:

— Госпожа! Где ты, отзовись, Христа ради! Где ты, госпожа?! Но опять то же безмолвие могилы, опять ни звука.

— Что случилось? — спросил пришедший в себя Марк. — Где я, Мириам?

— Случилось то, что Мириам в руках иудеев, проклятый римлянин! Чтобы спасти тебя, она пожертвовала собой! Они распнут ее за то, что она помогла бежать тебе, римлянину!... Дверь захлопнулась за ней, и теперь мы ничего не можем поделать! — хриплым от бешенства и отчаяния голосом воскликнула верная служанка.

— О, не говори так! Отопри эту дверь, я еще жив, могу отстоять ее...

— Но, вспомнив, что у него нет меча, добавил: — Или хоть умереть вместе с ней!

— Отпереть дверь? Ключ у нее! Я ничего не могу сделать!

— Так я помогу тебе выломать ее!

— Выломать эту дверь?... Каменную плиту в три фута толщиной...

Ха! Ха!

Но, выкрикивая эти слова, несчастная женщина, как безумная, старалась засунуть в узкую скважину свои тонкие пальцы, те хрустели, кожа была сорвана до мяса. В то же время Марк пытался сдвинуть плечом тяжелую глыбу, но, сознавая свою немощность, в отчаянии упал.

— Погибла! Из-за меня, о боги!... Из-за меня! — И он принимался рыдать и дико хохотал в бреду, пока не лишился сознания.

«Убить бы его! — мелькнуло в озлобленном сердце Нехушты. — Проклятый римлянин, из-за него... Нет, нет, она его любила, лучше мне покончить с собой, без нее на что мне жизнь? Пусть это грех, мне все равно!»

И измученная, разбитая опустилась Нехушта на каменную ступень лестницы, бессмысленно уставившись глазами в одну точку. Вдруг впереди



замигал огонек. То был брат Итиэль. Нехушта встала и посмотрела ему в лицо.

— Ну, хвала Богу! — произнес старик. — Вы здесь, а я уж третий раз прихожу сюда искать вас, мы беспокоимся, почему Мириам не идет!

— Она никогда больше не придет! — с рыданием воскликнула несчастная женщина. — Взамен себя она оставила нам этого проклятого римлянина, римского префекта Марка!

— Что?! Что ты говоришь?! Где Мириам?

— В руках иудеев! — И она рассказала ему все...

— Помочь ей, увы, мы не можем. Пусть ей поможет Бог! — простонал Итиэль.

— А что мы будем делать с этим человеком?

— Все, что в наших силах, ведь она, пожертвовавшая собой ради него, рассчитывала, что мы поможем ему. Кроме того, много лет назад он был нашим гостем и другом!

Итиэль ушел и призвал более сильных и молодых братьев, которые отнесли Марка в келью, обжитую Мириам, где бедный больной пролежал не одну неделю без сознания, в бреду, не подавая надежды на выздоровление. Только благодаря необычайному врачебательному искусству братьев и неусыпному уходу Нехушты удалось спасти ему жизнь.

Скоро ессеям пришлось узнать, что и Иерусалим, и гора Сион пали, что Мириам была осуждена синедрионом и прикована к позорному столбу на вратах Никанора.

К этому времени их запасы стали подходить к концу, и так как стража римлян теперь была не очень бдительна, а иудеи, если они были не в плену и не в тюрьме, прятались, как совы, боясь показаться на свет Божий, и их опасаться не было нужды, ессеи решили покинуть свое подземное убежище и попытаться вернуться к берегам Иордана.

Однажды ночью вереница бледных людей (среди них несколько больных, которых несли на носилках) осторожно вышла из подземелья и направилась по дороге к Иерихону. Местность вокруг, всегда довольно пустынная, теперь окончательно вымерла, и они с трудом могли найти пропитание в пути, собирая коренья, деля последние крохи из своих запасов.

Ни при выходе из подземелья, ни в дороге никто не остановил и не потревожил их.

Прибыв в Иерихон, ессеи убедились, что города нет, есть только груда развалин, и, не останавливаясь, пошли к своему бывшему селению. Почти

все дома и сады были сожжены и разрушены, но несколько пещер в песчаном холме позади селения — их амбары и склады — остались нетронутыми, и к великой их радости запасы, хранившиеся там, уцелели.

Здесь ессеи временно поселились, принявшись вновь возделывать заброшенные поля, виноградники и отстраивать дома. Но теперь их было почти вполовину меньше прежнего, и работа шла медленно.

Пленника своего Марка они принесли с собой. Рана на голове его теперь зажила, но повреждение колена было так серьезно, что он не мог ходить без костыля и вообще был слаб и беспомощен, как ребенок. Кроме того, душевное состояние его казалось безнадежным, он часами неподвижно просиживал в бывшем садике Мириам, не спуская глаз с того навеса, где прежде располагалась ее мастерская. Он почти ни с кем не говорил, никогда не улыбался и, видимо, неутешно горевал о любимой девушке.

Ходили слухи, что Тит, окончательно разорив и разрушив Иерусалим, двинулся со своими войсками к Кесарии, где зимовал, устраивая великолепные зрелища в амфитеатре, почти ежедневно обрекая на смерть на арене десятки и сотни иудейских пленников. Но Марк не имел возможности, да и не хотел дать знать о себе Титу отчасти из опасения навлечь беду на своих благодетелей ессеев, а отчасти еще и потому, что для римлянина считалось позором быть захваченным в плен живым, как это случилось с ним.

Между тем брат Самуил прибыл в Иерусалим с намерением исполнить поручение Мириам. Там он застал только груды трупов, развалины и стаи хищных птиц. Верный своему обещанию, брат Самуил приложил все старания, чтобы отыскать убежище ессеев, но несмотря на упорство, это ему не удавалось. От тех примет, о которых ему говорила Мириам, уже не осталось и следа, повсюду валялись груды камней и обломков скал, шакалы успели прорыть столько нор, что разобраться в них не было никакой возможности. В конце концов он был схвачен римским патрулем, которому показался подозрительным, и подвергся допросу. После чего его включили в число пленных невольников, работавших над разрушением остатков Иерусалимских стен — Тит решил сравнять их с землей. Здесь он промучился более четырех месяцев, получая только насущный хлеб да бесчисленные побои и брань. Среди его товарищей, работавших подобно ему под кнутом победителей, был один брат-ессей, который сообщил, что их единоверцы вернулись на берега Иордана. Когда Самуилу удалось бежать из-под надзора римлян, он направился прямо в бывшее селение ессеев близ Иерихона. Благополучно прибыв к своим братьям, он

осведомился, у них ли еще находится раненый римлянин, префект Марк, к которому он имеет поручение от Мириам, внучки Бенони, прозванной царицей ессеев.

Разузнав о ней все, что мог сообщить Самуил, ессеи сопроводили его в бывший садик Мириам, где Марк проводил целые дни в обществе старой Нехушты, которая теперь ни на шаг не отходила от него. Она первой заметила приближавшегося Самуила.

— Кого ты ищешь? — спросила она.

— Благородного Марка, римского префекта, к которому я имею поручение от Мириам, внучки старого Бенони! — ответил Самуил.

При этих словах и Марк, и Нехушта вскочили на ноги.

— Какое ты представишь тому доказательство? — воскликнул Марк, весь бледный, едва держась на ногах.

— Вот это! — промолвил Самуил, подавая ему кольцо. После этого брат передал все, что было ему поручено, добавив, что у него было собственноручное письмо Мириам к Марку, но его отняли римские солдаты.

— А давно ли ты видел ее? — спросила Нехушта.

— Около пяти месяцев тому назад! — сказал Самуил.

— Около пяти месяцев! А Тит покинул Иудею? — тревожно осведомился Марк.

— Да, я слышал, что он отплыл из Александрии в Рим!

— Женщина, нам нельзя терять ни минуты! — воскликнул Марк. — Тит на пути в Рим!

— Да! — отозвалась Нехушта. — Нам остается только поблагодарить человека, который принес эту весть, и так как мы не в силах вознаградить его за эту услугу, сказать, что Бог вознаградит его за нас!

— Да, пусть боги вознаградят тебя, добрый человек, а мы благодарим от всей души! — сказал Марк и, опережая Самуила, бросился с Нехуштой сообщить радостную и вместе с тем тревожную весть умирающему Итиэлю.

Выслушав их, старец возблагодарил Бога за Его беспредельное милосердие и в ответ на высказанные Марком опасения тихо сказал:

— Бог, спасший ее на вратах Никанора, спасет и от позора на форуме... Но у тебя какая-то просьба, благородный Марк?

— Я прошу братьев ессеев — не ради себя, а ради нее — даровать мне свободу и отпустить немедленно в Рим, чтобы я мог спасти Мириам от продажи на торжище или хоть купить ее, если только не опоздаю!

— Купить себе в невольницы?

— Нет, чтобы даровать свободу!

— Сейчас мы созовем совет и обсудим твою просьбу, — сказал старик.

После взволнованного обсуждения совет ессеев решил даровать Марку свободу и даже снабдить его необходимыми на время путешествия деньгами, поручив передать Мириам их благословение.

После этого Марк и Нехушта сердечно простились со всей общиной ессеев и отдельно со стариком Итиэлем.

— Я умираю, друзья мои, и прежде чем вы прибудете в Рим, меня уже не будет в живых! — проговорил Итиэль. — Передайте Мириам, возлюбленной племяннице моей, что дух мой всегда невидимо будет охранять ее в ожидании радостного свидания в ином, лучшем мире!

Простившись с ним, Марк и Нехушта в ту же ночь на лошадях отправились в Иоппию, где, на их счастье, застали судно, готовившееся к отплытию в Александрию. А в этом крупном портовом городе было немало всяких судов, и на одном из них римлянин и старая ливийка в самый день прибытия в Александрию отплыли в Регий.

\* \* \*

В страшную ночь пожара Иерусалимского храма Халев вместе с Симоном Зилотом и несколькими сотнями других уцелевших защитников храма скрылся в Верхнем городе, где, разрушив за собой мост, еще долго держались последние сыновья иудейского народа. Во время поспешного бегства из горящего храма Халев несколько раз пытался вернуться назад к воротам Никанора и, рискуя жизнью, спасти, если еще не поздно, любимую девушку. Но римляне уже заняли эти ворота и мост, который иудеи спешили уничтожить, чтобы отрезать Верхний город от собственно Иерусалима и храма, занятых неприятелем. Тогда у Халева появилась уверенность, что Мириам погибла, и такое горькое отчаяние овладело его душой при мысли об утрате той, которая была ему всего дороже на свете, что в продолжение шести дней он непрестанно искал себе смерти. Но смерть бежала от него. Как назло, кругом умирали сотни и тысячи людей, а он оставался жив. На седьмые сутки Халев получил вести о той, которую оплакивал: одному иудею, долго скрывавшемуся в развалинах храма, удалось бежать в Верхний город. От этого человека Халев узнал, что женщина, прикованная к столбу на воротах Никанора, отдана Титом на попечение одному из

военачальников.

С этого момента Халев решил отступить от дела иудеев и бежать из Верхнего города. Но сделать это было не так-то легко, так как здесь все защитники были наперечет, а Халев был слишком выдающимся борцом, чтобы его исчезновение могло остаться незамеченным. В конце концов он все-таки бежал и, переодевшись в платье убитого крестьянина, ночью добрался до тайника, где у него были зарыты деньги. На эти деньги у встретившегося ему поселянина, получившего от римлян разрешение продавать зелень и овощи в римском лагере, он купил и это разрешение, и овощи и отправился вместо него продавать товар. Таким образом он обходил один за другим лагерь различных легионов, стараясь разузнать, в каком из них находилась иудейская пленница.

Разговорившись с одним воином в долине Кедрона против развалин бывших Золотых ворот, Халев узнал, что в лагере на Масличной горе находилась молодая пленница-еврейка, отданная на попечение старому Галлу самим цезарем Титом и прозванная «Жемчужиной» за ее красоту и драгоценное жемчужное ожерелье, которое носила на шее. От него же Халев узнал, что несколько дней тому назад Галл со своей пленницей и значительной частью сокровищ, взятых в Иерусалимском храме, покинул лагерь и отправился в Тир, откуда должен отплыть, согласно распоряжению Тита, в Рим.

— Быть может, ты пожелаешь отправиться туда продавать свой лук и капусту? — насмешливо добавил римлянин, уловив то волнение, с каким торговец выслушал весть об отъезде иудейской пленницы в Рим.

— Да, пожалуй! Когда вы, римляне, уйдете отсюда, то нам, огородникам, будет плохое житье: здесь после вас, кроме сов и летучих мышей, не останется ни одного живого существа, а летучие мыши и совы — плохие потребители овощей!

— Ты прав! — согласился римлянин. — Цезарь знает, как обращаться с метлой и выметает все начисто! — И он с самодовольным видом указал на развалины храма и Иерусалима. — Так сколько же тебе полагается за эту корзину овощей?

— Ничего не надо, возьми так! — сказал Халев и быстро скрылся в роще олив.

Еще долго смотрел ему вслед римлянин, пытаясь понять, что побудило иудея отдать что-нибудь даром, да еще римлянину, и наконец решил, что, вероятно, этот торговец овощами — возлюбленный или жених «Жемчужины».

Между тем Халев, не теряя ни минуты, за громадные деньги купил

коня и во весь опор помчался по холмам и долинам в Тир в надежде застать там Мириам и успеть повидать ее.

Но, увы! Когда он к закату въезжал в Тир, красивая римская галера с белоснежными парусами плавно выходила из гавани в открытое море. У первого встречного он справился, что это за галера, и узнал, что на ней отправляется в Рим римский военачальник Галл с сокровищами Иерусалимского храма.

Горько стало на душе у Халева при мысли, что он прибыл сюда слишком поздно. Но не такой это был человек, чтобы падать духом и признать себя побежденным. По природе своей предусмотрительный и рассудительный, он еще в начале войны, в ту пору, когда успех был на стороне иудеев, побеспокоился все свое недвижимое имущество обратить в деньги и драгоценные камни, которые зарыл в укромном месте в Тире. Впоследствии он еще несколько раз добавлял к этим скрытым сокровищам новые — его военную добычу, в том числе и один весьма крупный выкуп, полученный за богатого римского всадника, его пленника.

Теперь, отрыв свои сокровища, Халев тщательно упаковал их в тюки персидских ковров, и затем крестьянин, прибывший в Тир по делу о смерти брата, бесследно исчез, а вместо него появился богатый египетский купец Деметрий, который закупил много всякого товара и с первым же отправлявшимся из Тира судном отплыл в Александрию. Здесь он накупил еще больше товара для Римского рынка и нагрузил им галеру, стоявшую в гавани близ Фароса и отправлявшуюся в Сиракузы, а оттуда — в Регий.

Наконец судно вышло в море, держа курс на Крит, но в пути было захвачено сильной бурей и прибито к Кипру, где, несмотря на все усилия купца Деметрия, капитан галеры, а равно и весь его экипаж упорно отказались выйти в море до наступления весны. Перезимовав на Кипре и должным образом отпраздновав весенний праздник Венеры, галера вышла в море и, зайдя на Родос и Крит, а оттуда в Ситеры и Сиракузы на Сицилии, наконец вошла в гавань Регия. Здесь Деметрий перегрузил свой товар на судно, следовавшее в порт *Centum Cellae*, оттуда по суше доставил его в Рим, сопровождая лично свой караван.

До Рима было около сорока миль пути. И это было уже почти ничто в сравнении с тем долгим путешествием, которое Халев совершил от Иерусалима до Рима в надежде узнать что-нибудь о Мириам и, если возможно, вырвать ее из рук римлян.

## XXI. Цезари и Домициан

Приблизившись к окрестностям Рима, Галл остановился, не желая, чтобы Мириам шла днем по улицам, возбуждая любопытство толпы. В первую очередь он послал гонца разыскать в городе свою супругу Юлию, если она еще жива, — Галл семь лет не видал жены и не имел известий о ней, находясь все время в иудейской армии. Еще не стемнело, когда гонец вернулся, и вместе с ним прибыла Юлия, женщина старше средних лет, седая, но все еще красивая и величественная.

Мириам была растрогана сердечной встречей супругов, так долго не видавших друг друга, причем девушку поразило одно обстоятельство: в то время как Галл, воздевая руки к небу, благодарил римских богов за счастливую встречу, Юлия только воскликнула:

— И я благодарю Бога! — И она коснулась пальцами груди и плеч.

Затем взгляд ее упал на девушку, стоящую несколько поодаль, и подозрение шевельнулось в ее груди.

— Какими судьбами очутилась эта красивая девушка на твоём попечении, супруг?

— По приказу цезаря Тита, которому я обязан представить ее тотчас по его возвращении в Рим. Она была осуждена на смерть за измену своему народу и за то, что она — христианка!

Теперь Юлия вторично взглянула на девушку:

— Ты действительно этой веры, дочь моя? — И, как бы случайно, сложила руки крестообразно на груди.

— Да, мать! — ответила девушка, повторяя ее жест.

— Хорошо, супруг мой! — обратилась тогда Юлия к мужу. — Не наше дело, в чем она виновата, но теперь бедняжка на твоём попечении, и потому я рада принять ее! — Подойдя к Мириам, стоявшей с поникшей головой, Юлия запечатлела поцелуй на ее лбу.

— Приветствую тебя, дочь моя, столь прекрасная на взгляд и столь несчастная, во имя Того, Которого ты знаешь! — чуть слышно сказала она.

Мириам поняла, что попала к такой же христианке, как и она сама, и возблагодарила Бога — пока цезари правили в Риме, христиане всех народов и всех сословий были единой семьей. Когда стемнело, они вошли в Рим через Аппиевы ворота. Здесь Галл, снабдив женщин надлежащим эскортом, сам со своими солдатами отправился сдавать привезенные им сокровища в государственную сокровищницу. Затем ему требовалось

отвести солдат в предназначенные для них казармы. Тем временем Юлия и Мириам пришли к небольшому чистенькому домику, стоявшему на узкой улице над Тибром близ *Porta Flaminia*, и здесь Юлия отпустила солдат, сказав, что ручается за сохранность пленницы.

Заперев за собой двери, хозяйка ввела гостью через маленький внутренний двор в опрятную, но скромно обставленную комнату, освещенную висячими бронзовыми светильниками.

— Это мой собственный дом, доставшийся мне после смерти отца, и здесь я жила все эти годы в отсутствие супруга. Небогатое жилище, но в нем ты найдешь мир, спокойствие и безопасность, а быть может, и утешение, дитя мое! — ласково сказала Юлия. — Я тоже христианка, хотя супруг мой еще ничего не знает об этом. Итак, приветствую тебя во имя Христа, Господа нашего.

Затем по знаку Юлии обе женщины опустились на колени и возблагодарили Бога — одна за то, что увидела своего мужа живым и здоровым, а другая за то, что нашла друзей и покровителей в далеком и чуждом ей Риме. После этого Юлия провела девушку в небольшую, опрятную, чисто выбеленную комнатку с каменным полом и белоснежным ложем, приготовленную для нее.

— Тут когда-то спала другая девушка, — подавляя вздох, сказала Юлия. — Живи и будь счастлива, дочь моя!

— Девушку звали Флавия? Это было твое единственное дитя? Не так ли? — спросила Мириам.

— Как, ты это знаешь? Неужели Галл говорил тебе о ней? Он не любит вспоминать об этом!

— Говорил. Он всегда был так добр, да благословит его Господь за все, что он делал для меня! — добавила Мириам.

— И да благословит Господь всех нас, живых и умерших! — сказала Юлия и, поцеловав Мириам родственным поцелуем, удалилась.

На другой день поутру, выйдя из своей комнаты, Мириам застала старого Галла в панцире и при полном вооружении.

— Как это понять, Галл? Ты, в таком одеянии, здесь, в мирном Риме? — спросила девушка.

Тот отвечал ей, что получил приказ немедленно явиться к цезарю Веспасиану, чтобы дать отчет о ходе дел в Иудее и о привезенных сокровищах.

Спустя три часа Галл возвратился и застал обеих женщин, ожидавших его в сильной тревоге, так как от воли цезаря могла зависеть дальнейшая участь Мириам: он мог потребовать ее к себе немедленно и таким образом



лишить ее искренних друзей. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Из расспросов мужа Юлия узнала, что цезарь Веспасиан навсегда уволил Галла с военной службы, так как врачи признали его безнадежно хромым до конца жизни. Сверх обычной награды за заслуги цезарь назначил пожизненно половинное содержание. Но старый Галл был опечален тем, что ему больше не бывать в бою.

— Полно тебе, Галл, — сказала Юлия, — тридцать лет ты воевал и проливал кровь. Теперь пора и отдохнуть. Я в твое отсутствие успела сберечь немного денег, на наш с тобой век хватит, и благодаря милостям цезаря мы проживем безбедно. Но скажи, что решил Веспасиан относительно Мириам?

— Когда я доложил о ней цезарю, то Домициан, сын цезаря, из любопытства стал побуждать своего родителя приказать привести ее сейчас же во дворец, и цезарь чуть было не отдал приказание. Но я доложил ему, что девушка эта была очень больна и сейчас еще нуждается в уходе. Я сказал, что если цезарю угодно, жена моя будет опекать ее до возвращения цезаря Тита, который считает девушку своей военной добычей. Домициан снова хотел что-то возразить, но цезарь остановил его, заявив:

— Эта иудейская девушка не твоя невольница, Домициан, и не моя, она пленница твоего брата Тита, пусть же остается у этого доблестного воина, которому Тит поручил ее! — Он махнул рукой в знак того, что вопрос решен, и стал говорить о другом.

— Итак, Мириам, до возвращения Тита ты останешься у нас! — сказала Юлия.

— До возвращения Тита, а затем? — спросила Мириам.

— А там одни боги знают, что будет, — досадливо отозвался Галл. — Но до того времени ты, Мириам, должна дать мне честное слово, что не сделаешь попытки бежать из моего дома, тогда можешь считать себя здесь свободной; помни, я отвечаю за тебя головой!

— Будь спокоен, Галл! Куда мне бежать?! Да и потом, я скорее соглашусь умереть, чем навлечь на тебя хотя бы самую малую беду!

Так прожила Мириам в доме Галла и Юлии целых шесть месяцев, и если бы не мысль об ожидающей ее участи, то она могла бы считать себя счастливой среди этих добрых людей, любивших ее, как родное дитя.

Иногда Юлия брала девушку с собой побродить по улицам Рима, и, затерявшись в толпе, Мириам видела богатых патрициев в колесницах или на конях, или в носилках и паланкинах, на плечах рабов, — таких жирных, откормленных, наглых и самодовольных. Видела и суровых, с жестким выражением лица и гордой осанкой государственных людей, сановников и

судей. Встречала закаленных в бою, грубых, жестоких воинов. Наблюдала разнузданных юношей в ярких, крикливых одеждах, надушенных франтов с наглым взглядом и пренебрежительной улыбкой. С невольным трепетом размышляла бедная девушка о том, что придет день, и она станет невольницей одного из этих людей.

Однажды, переходя через площадь, Юлия и Мириам должны были остановиться, чтобы дать дорогу целой веренице пышно и пестро одетых рабов с длинными тростями в руках, расчищавших кому-то дорогу, за слугами шли ликторы со своими фасциями, а за ними следовала великолепная колесница, запряженная белыми лошадьми, которыми правил небольшого роста красивый кудрявый возница. На самой же колеснице не сидел, а стоял — для того, чтобы толпа могла лучше видеть его — высокий молодой человек с румяным лицом, в царском одеянии, с как бы потупленным от смущения взором. Наблюдательный глаз легко мог уловить, что он все время пытливо разглядывал толпу своими бледно-голубыми, точно выцветшими глазами из-под опущенных век, лишенных ресниц. На секунду взгляд этих тусклых голубых глаз остановился на Мириам, и она угадала, что послужила поводом к какой-то грубой шутке этого краснощекого юноши — его возница не мог удержаться от смеха. Мириам почувствовала, что ненавидит этого человека всей душой.

— Кто этот румяный молодой человек? — спросила она у Юлии.

— Кто же, как не Домициан, сын одного цезаря и брат другого, ненавидящий одинаково обоих! Дурной человек, которого все боятся и никто не любит!

Так шло время. Галл постоянно справлялся у прибывающих из Иудеи воинов о Марке, но никто не видел его, даже не слышал ничего, так что Мириам решила, что его, вероятно, нет уже в живых.

Однако в своей горькой судьбе бедная девушка находила утешение в молитве — в царствование Веспасиана христиане не терпели гонений и могли свободно вздохнуть. Мириам вместе с Юлией часто ночью посещали катакомбы на Аппиевой дороге и там получали благословение священнослужителя. Хотя в то время святые апостолы Петр и Павел уже претерпели мученическую смерть, но они оставили после себя многих последователей, ставших теперь наставниками, и христианская община в Риме росла и увеличивалась с каждым днем. Со временем Галл узнал, что жена его — христианка. Сначала он был как бы пришиблен этим известием, но затем, когда ему изложили истины христианского учения, стал слушать их с вниманием и даже с непритворным сочувствием, а потом сказал, что Юлия, конечно, в таких летах, когда сама может судить, что для

нее лучше.

Наконец в Рим прибыл Тит. Сенат, который еще задолго до его приезда объявил о том, что цезарь заслужил триумф, встретил его за городом и с соблюдением известных, издревле установленных правил сообщил ему о своем решении. Кроме того было решено, что его триумф разделит с ним цезарь Веспасиан, его отец, отличившийся своими подвигами в Египте. Так что этот триумф, как говорили, должен стать величайшим торжеством, какое когда-либо видел Рим.

По приезде в Рим Тит поселился в своем дворце и недели три прожил как частный гражданин, так как сильно нуждался в отдыхе. Однажды утром Галла потребовали во дворец. Вернувшись оттуда, он потирал руки, улыбался и старался казаться очень веселым и довольным.

— Что такое, супруг мой? — спросила Юлия, зная, что это дурной признак.

— Ничего, ничего, милая... Только наша Жемчужина должна сегодня явиться со мной во дворец к цезарям Веспасиану и Титу, которые желают ее видеть. Надо решить, какое место она займет в триумфальном шествии. Если ее найдут достаточно красивой, то поведут отдельно, в самом начале процессии, перед колесницей Тита. Что же ты не радуешься, жена? А какой дивный наряд готовят, все будут заглядываться на нее: на груди у нее должно быть изображение ворот Никанора, вышитое самым искуснейшим образом.

Мириам залилась слезами.

— Полно, девушка, не надо слез, — строго остановил ее Галл. — Чего тебе бояться? Это не более чем продолжительная прогулка при криках восторженной толпы, а затем последует то, что предназначил для тебя твой Бог! Ну, а пока собирайся! Пора на смотр к цезарям, нас ждут!

После обеда Мириам в закрытых носилках понесли во дворец, с ней отправились Юлия и Галл. Но ее носилки намного опередили носилки супругов, и рабы тотчас же поспешили высадить и провести девушку в большой приемный зал, наполненный воинами и патрициями, ожидавшими аудиенции.

— Смотри, это Жемчужина Востока!, — сказал кто-то, и все, столпившись вокруг, стали пристально рассматривать ее, громко критикуя рост, лицо, фигуру, обсуждая ее достоинства.

— Люций говорит, что она — совершенство! Значит, так и есть!

— Да, конечно, вы посмотрите только, какое у нее тело, твердое и упругое! Видите, мой палец не оставил даже следа!

— Но зато мой кулак оставляет след! — послышался в этот момент

гневный бас, и в следующий момент кулак Галла врезался меж глаз ценителя женской красоты с такой силой, что тот покатился на пол, и кровь ручьем хлынула из носа.

Большинство присутствующих захохотали, а Галл, взяв Мириам за руку, пошел вперед, говоря:

— Дорогу, друзья, дорогу! Я должен представить ее цезарю с ручательством, что ни один мужчина не дотронулся до нее даже пальцем. Дорогу, друзья, а если этот франт, что валяется на полу, пожелает рассчитаться со мной, то он знает, где найти Галла. Мой меч нанесет ему метку лучше, чем кулак!

Толпа, видимо, одобряя поведение Галла, с шутками и извинениями расступилась, давая дорогу. Пройдя ряд красивых залов и вестибюлей, они остановились у большой арки, задернутой драгоценной занавесью, у которой стояли два офицера. Одному из них Галл что-то сказал, и тот, выйдя из зала, вскоре вернулся, пригласив их следовать за собой в большую круглую комнату, высокую, светлую и прохладную; свет в ней падал сверху.

Здесь находились три человека: Веспасиан, которого нетрудно было узнать по его крупному, спокойному лицу и по волосам с сильной проседью, Тит, сын его, «Любимец Человечества», тонкий, деятельный, энергичный, выглядевший немного аскетом, но с приятным выражением темных серых глаз и саркастической усмешкой, мелькавшей в углах губ, и Домициан, наружность которого уже была описана. Ростом значительно выше отца и брата, он был одет роскошнее их и смотрел надменно и самодовольно. Перед цезарями стоял церемониймейстер, предлагая на их усмотрение проекты триумфального шествия и отмечая на табличках их желания и изменения в плане.

Кроме церемониймейстера здесь присутствовали хранитель сокровищницы, несколько военачальников и наиболее приближенные из друзей Тита.

Веспасиан поднял голову и взглянул на вошедших.

— Привет тебе, достойный Галл! — приветствовал он ласковым, дружеским тоном человека, прошедшего, как и он, большую половину жизни в военном лагере. — И жене твоей, Юлии, тоже привет! Так вот она, эта «Жемчужина», о которой так много говорят! Что же, я, конечно, не ценитель и не знаток женской красоты, а все же должен сознаться, что эта иудейская девушка заслуживает свое прозвище. Узнаешь ее, Тит?

— Нет, отец! Когда я ее видел в последний раз, она была худа, бледна, измучена, но теперь я согласен с тобой, она заслуживает наилучшего места в шествии. А затем, вероятно, пойдет за весьма высокую цену, так как и

жемчужное ожерелье пойдет с ней в придачу, и также стоимость ее весьма значительного имущества в Тире и иных местах, которые она, в виде особой милости, унаследует после своего деда, старого рабби Бенони, одного из членов синедрiona, погибшего добровольно в пламени Иерусалимского храма!

— Как же может невольница наследовать имущество, сын мой? — спросил Веспасиан.

— Не знаю! — ответил Тит, улыбаясь. — Быть может, Домициан сумеет объяснить тебе это, ведь он, говорят, изучал законы. Но я так решил и так приказал!

— Невольница, — сказал Домициан, — не имеет никаких прав и не может владеть никакой собственностью, но цезарь Востока, конечно, может объявить, что известные земли и имущество перейдут вместе с личностью невольницы к тому, кто предложит за нее наивысшую сумму на торгах. Так, вероятно, и пожелал сделать, если я не ошибаюсь, цезарь Тит, мой брат?

— Да, именно! — сказал Тит спокойно, хотя краска бросилась ему в лицо. — А разве не достаточно моей воли?

— Покоритель и завоеватель Востока, разрушитель твердыни Сиона, истребитель бесчисленных племен фанатиков, заблуждающихся фанатиков, для чего твоей воли может быть не достаточно? — возразил Домициан. — Но прошу милости, цезарь! Ты велик — так будь же и великодушен! — И насмешливым движением он опустил на одно колено перед Титом.

— Какой милости хочешь ты, брат, от меня? Ты знаешь, что все мое будет принадлежать тебе!

— Ты уже даровал мне твоими драгоценными словами, Тит! Из всего, что ты имеешь, желаю только эту «Жемчужину Востока», которая околдовала меня своей красотой. Я хочу только ее! А имущество в Тире или где бы то ни было можешь оставить себе, если хочешь! — Веспасиан приподнял брови, но прежде чем успел вымолвить слово, Тит поспешил ответить брату сам:

— Я сказал, Домициан, что все мое будет принадлежать тебе, но эта девушка не моя, а потому слова мои к ней не относятся. Я издал указ, что сумма, вырученная от продажи пленницы, будет разделена поровну между ранеными солдатами и бедняками Рима, значит, невольница принадлежит им, а не мне!

— О, добрейший Тит! Неудивительно, что легионеры боготворят тебя, если ты не можешь даже для родного брата обделить их одной невольницей из тысячи! — насмешливо воскликнул Домициан.

— Если ты желаешь получить эту девушку, то кто же мешает тебе

купить ее на торгах?! Это мое последнее слово!

Тут Домициан пришел в бешенство, его напускное почтение к брату мигом исчезло, он выпрямился во весь рост и повел кругом своими злыми выцветшими глазами.

— Взываю к тебе, Цезарь, на цезаря малого, к тебе, Цезарю Великому, на убийцу и истребителя благородного, мужественного племени, к тебе, Завоевателю Вселенной! Этот Тит сейчас говорил, что все его будет моим, а когда я прошу у него одну пленницу, отказывает мне. Прикажи ему, прошу тебя, держать свое слово!

Присутствующие взглянули на Веспасиана. Дело становилось серьезным. Тайная вражда завистливого Домициана к брату была давно известна всем, но до этого времени он старался скрывать ее, теперь же по пустячному случаю она вдруг выплыла наружу и проявилась на глазах у всех.

Лицо Тита приняло жестокое и суровое выражение, как у статуи оскорбленного Иова.

— Прикажи, отец, прошу тебя, — сказал он медленно и твердо, — чтобы брат мой не смел более говорить мне того, что для меня оскорбительно! Прикажи ему также перестать обсуждать мою волю и мои распоряжения, как в малом, так и в большом. Пока он не цезарь, не подобает ему судить дела цезаря.

Веспасиан обвел вокруг себя беспокойным взглядом, как бы ища выхода — и не находя его. Он предчувствовал за этой ссорой нечто глубокое и серьезное.

— Сыновья мои, вас только двое, и оба — вместе или один за другим — вы должны наследовать царства половины вселенной. Плохо, если между вами возникнет разлад, вражда приведет к вашей гибели и гибели вашего царства и подвластных вам народов. Примиритесь, прошу вас! Ведь вам обоим всего довольно, всего хватит с избытком. А об этом деле таков мой суд: как вся военная добыча иудейского народа, эта девушка — законная и неотъемлемая собственность Тита. Тит, который гордится тем, что никогда не отменял и не изменял ни одного своего плана, решил ее продать, а вырученные от продажи деньги отдать раненым солдатам и бедным. Следовательно, она уже действительно не принадлежит ему, и он не может распоряжаться ею, даже в угоду брату. Я, как и Тит, говорю тебе: если хочешь владеть, купи ее на торгах!

— Э, да я и куплю ее! Но клянусь, рано или поздно Тит заплатит за нее такой ценой, которая покажется ему слишком дорогой! — И повернувшись, Домициан вышел из зала в сопровождении своего секретаря и

приближенных офицеров.

— Что он хотел этим сказать? — спросил Веспасиан, тревожно глядя ему вслед.

— Он хотел сказать... — начал Тит. — Ну, да время и судьба покажут миру, что он хотел сказать. Что же касается тебя, «Жемчужина Востока», то ты столь прекрасна, что займешь одно из лучших мест во время триумфа, а затем желаю, ради тебя самой, чтобы нашелся в Риме такой человек, который на торгах перебил бы тебя у Домициана! — С этими словами Тит сделал знак рукой, что аудиенция окончена. Галл с пленницей удалились.

## XXII. Триумф

Прошла неделя — наступил канун триумфа. После полудня швеи принесли Мириам наряд, который она должна была надеть завтра. Наряд был поистине великолепен: из дорогого белого шелка, весь вышитый серебром и жемчугом, с изображением ворот Никанора, но при всем своем великолепии платье было так низко вырезано на груди и на плечах, что Мириам посчитала позорным для себя надеть его.

— Ничего, ничего! — успокаивала ее Юлия. — Они сделали это для того, чтобы толпа могла видеть жемчужное ожерелье, из-за которого ты получила свое прозвище «Жемчужина»!

Так говорила добрая женщина, но в душе проклинала развратную толпу, которая могла наслаждаться позором бедной, беззащитной девушки.

Галл получил предписание, куда и к какому времени представить вверенную ему девушку и кому ее сдать. Посланный, доставивший предписание, принес еще сверток: в нем оказался драгоценный золотой пояс с аметистовой застежкой, на которой была сделана надпись: «Дар Домициана той, которая завтра будет его собственностью!»

Мириам отшвырнула от себя этот драгоценный пояс, как будто он унижал ее.

— Я не надену его! — воскликнула она. — Сегодня я еще принадлежу себе!

Вечером, когда уже стемнело, Мириам посетил епископ Кирилл, глава христианской церкви в Риме, бывший некогда другом и учеником апостола Петра.

Пока Галл сторожил, чтобы никто не вошел невзначай и не потревожил их, Кирилл долго утешал и ободрял бедную девушку, затем, благословив Мириам и напутствовав ее словами утешения, он простился с ней.

— Я должен теперь покинуть тебя, дочь моя, но на мое место заступит невидимо Тот, Кто не покинет тебя до конца и спасет, как спасал уже несколько раз. Веришь ли этому?

— Верю, отец! — убежденно и искренне ответила Мириам. И действительно, в те времена, когда еще были люди, знавшие и видевшие самого Иисуса Христа, когда слова его еще были живы в их памяти и звучали над миром, глубокая убежденная вера Его последователей была достаточно сильной, чтобы заставить их временами ощущать Его



присутствие на земле.

В эту ночь во многих катакомбах Рима возносились горячие молитвы за Мириам. Она, успокоенная и утешенная, спала крепким сном до самого рассвета. На рассвете Юлия разбудила ее, нарядила в великолепные одежды и, когда все было готово, со слезами простилась:

— Дитя мое, ты мне стала дорога, как дочь, а теперь я не знаю, увижу ли тебя когда-нибудь!

— Быть может, даже очень скоро, а если нет, то призываю благословение Бога на тебя и на Галла, которые любили и берегли меня, как родную!

— И которые надеются и впредь оберегать тебя, дорогая! — сказал подошедший Галл. — Клянусь римскими орлами, пусть Домициан остерегается того, что он задумал! Кинжал мщения может пронзать и сердца князей!

— Но пусть то будет не твой кинжал, Галл, — сказала ласково Мириам, — надеюсь, тебе не будет надобности мстить!

Во двор внесли носилки, в которых поместилась Мириам с Галлом, чтобы отправиться к месту сборища. Было еще темно, повсюду мигали факелы и огни, из всех домов доносился шум голосов, местами толпа была до того густа, что солдаты с трудом прокладывали дорогу для паланкина. После довольно продолжительного пути носилки остановились наконец у ворот большого здания, и Мириам пригласили выйти. Здесь девушку ожидали несколько должностных лиц, которые приняли ее от Галла, выдав ему расписку в получении ее, точно ценной вещи. Получив расписку, Галл повернулся и вышел, не простившись с ней и даже не взглянув на нее.

— Ну, пойдем, что ли, поворачивайся! — сказал один из служителей.

— Эй, ты, слышишь, поосторожнее с этим сокровищем! Это — «Жемчужина»! Та пленница, из-за которой поссорились цезари с Домицианом, теперь о ней весь Рим говорит. Помни, что теперь многие наши патрицианки стоят меньше, чем она сейчас! — заявил кто-то служителю.

Тогда раб с низким почтительным поклоном попросил Мириам следовать за ним в приготовленное помещение. Она послушно последовала через толпу пленных в небольшую комнату, где ее оставили одну. Снаружи до нее доносились звуки голосов, прерываемые по временам приглушенными рыданиями, вздохами и жалобными воплями. Но вот дверь отворилась, слуга внес кувшин молока и хлеб. Мириам была этому очень рада, так как почувствовала, что силы ее нуждаются в поддержке. Но едва

только она принялась за еду, как явился раб в ливрее императорского двора и поставил перед нею поднос, на котором в серебряных сосудах и на серебряных блюдах находились самые изысканные яства и напитки.

— «Жемчужина Востока», — сказал он, — господин мой, Домициан, посылает тебе привет и вот этот дар: эти ценные сосуды и блюда чистого серебра твои, их сохраняют для тебя, а сегодня вечером ты будешь ужинать на золотых тарелках!

Мириам ничего не ответила, но едва только раб вышел, как она ногой опрокинула все серебряные сосуды и блюда и продолжала есть хлеб и пить молоко из глиняного кувшина. Вскоре явился офицер и вывел ее наружу, на большую квадратную площадь. Солнце уже взошло, и она ясно увидела перед собой великолепное, грандиозное здание, а перед ним — весь римский сенат в богатых тогах и лавровых венках и множество вооруженных всадников в блестящих доспехах. Перед зданием располагались длинные величественные колоннады, занятые знатными дамами, а впереди стояли два слоновой кости кресла, никем не занятые. По обе стороны кресел, насколько можно было разглядеть, тянулись бесконечные ряды войск. И вот из колоннады в богатых шелковых одеждах и с лавровыми венками на голове появились цезари Веспасиан и Тит в сопровождении Домициана и их свиты. Солдаты при виде их разразились громкими криками, и голоса их, сливаясь в общий рев, подобно рокоту моря, долгим раскатом звучали в воздухе, пока Веспасиан не подал рукой знак смолкнуть.

Цезари заняли свои места и, среди всеобщей тишины, накрыв головы плащами, казалось, произносили тихую молитву. Затем Веспасиан встал и, выступив вперед, обратился с речью к солдатам, благодаря их за мужество и воинские подвиги и обещая награды. Когда он закончил, его речь снова приветствовали громкие крики, после чего легион за легионом прошли мимо императоров туда, где для них был приготовлен богатый пир.

Затем цезари и свита удалились, и церемониймейстеры стали выстраивать процессию. Ни начала, ни конца этой процессии Мириам не могла видеть, она заметила только, что впереди нее вели около двух тысяч пленных иудеев, связанных по восемь в ряд, за ними шла она одна, а за нею, также один, но в сопровождении двух стражей, в белой одежде и пурпурном плаще, с вызолоченной цепью на шее и кандалами на руках, шел знаменитый иудейский военачальник Симон, сын Гиора, тот самый свирепый воин, которого иудеи пустили в Иерусалим, чтобы одолеть зилота Иоанна Гисхальского. С того самого дня, когда Симон заседал в синедрионе и в числе других осудил Мириам на страшную смерть, девушка

не видела его; несмотря на это, теперь, когда судьба снова столкнула их, он сразу узнал ее.

Вскоре торжественная процессия двинулась по Триумфальному пути.

За пленными иудеями, за «Жемчужиной Востока» и Симоном несли на подставках и столах золотую утварь и сосуды Иерусалимского храма, золотые семисвечники, светильники, а также и священную книгу иудейского закона. Далее следовали люди, несущие высоко над головой богинь победы из слоновой кости и золота. Когда это шествие подошло к *Porta Triumphalis*, Триумфальным воротам, в него вступили цезари, каждый в сопровождении своих ликторов, фасции которых были увиты лаврами.

Впереди двигался цезарь Веспасиан на великолепной золотой колеснице, запряженной четверкой белоснежных коней, которых вели под уздцы солдаты-ливийцы. За спиной цезаря стоял чернокожий раб в темной одежде, чтобы отвращать дурной глаз и влияние завистливых божеств.

Раб держал над головой императора золотой венок из лавровых листьев и время от времени наклонялся к его уху, шепча знаменательные слова: *Respice post te, hominem memento te*.

За Веспасианом, цезарем-отцом, следовал Тит, цезарь-сын, на блестящей колеснице с изображением Иерусалимского храма, охваченного пламенем.

Подобно отцу, он был одет в *toga picta palmata* — расшитую золотом тогу и тунику, окаймленную серебряными листьями. В правой руке он держал лавровую ветвь, а в левой — скипетр. За его спиной также стоял раб, державший над ним лавровый венок и нашептывавший те же слова.

За колесницей Тита, вернее, почти на одной линии с ней, в богатейшем наряде ехал верхом на великолепном коне Домициан, за ним трибуны и всадники, затем легионеры, числом около пяти тысяч, с копьями, увитыми лаврами.

Медленно продвигаясь вперед, процессия приближалась к храму Юпитера Капитолийского. Десятки тысяч людей толпились на пути шествия, окна и крыши домов были переполнены зрителями, громадные трибуны, наскоро воздвигнутые из досок, были сплошь заполнены народом. Куда ни падал взор, всюду волновалось нескончаемое море голов, так что в глазах начинало рябить. Вдали это море было спокойным и безмолвным, но едва приближалась процессия, как оно начинало волноваться, поднимался шум, подобный рокоту волн, постепенно переходивший в настоящую бурю и потрясавший воздух, словно раскаты грома.

Время от времени шествие останавливалось — либо кто-нибудь из

пленных падал от изнеможения, либо другие участники чувствовали потребность подкрепить силы несколькими глотками вина. Тогда крики толпы смолкали, и зрители начинали обмениваться критическими замечаниями, едкими шутками и насмешками над виденным Мириам невольно уловила замечания относительно себя: почти все люди знали ее под именем «Жемчужины Востока» и без церемоний указывали друг другу на ее жемчужное ожерелье; многим была отчасти знакома ее печальная история, и они всматривались в изображение ворот Никанора на ее груди; большинство же цинично разбирали ее красоту, передавая из уст в уста слух о Домициане и его споре с цезарями, а также о выказанном им намерении купить ее на публичных торгах.

Близ бань Агриппы на улице дворцов шествие остановилось. Внимание Мириам было привлечено величественного вида дворцом, все окна которого были закрыты ставнями, а кровля и крыльцо безлюдны и ничем не украшены, в отличие от всех остальных зданий и домов на пути шествия.

— Чей это дворец? — спросил кто-то из толпы.

— Он принадлежит одному богатому патрицию, павшему в Иудее, и теперь заперт — неизвестно, кто будет его наследником!

Глухой стон и громкий смех отвлекли внимание Мириам от этого разговора. Оглянувшись, она увидела, что Симон, измученный и изможденный, лишился чувств и упал лицом на землю. Стражи, забавлявшиеся все время тем, что стегали его плетью для увеселения толпы, теперь прибегнули к тому же средству, чтобы привести его в чувство. Мириам с болезненно сжавшимся сердцем отвернулась от этого возмутительного зрелища и увидела перед собой высокого человека в богатой одежде восточного купца, стоявшего к ней спиной и спрашивавшего у одного из церемониймейстеров: «Правда ли, что эта девушка, «Жемчужина», будет продаваться сегодня на публичных торгах на форуме?» Получив утвердительный ответ, незнакомец скрылся в толпе.

Теперь Мириам впервые за этот день почувствовала, что падает духом, что мужество покидает ее, и при мысли о той судьбе, которая ожидала ее сегодня вечером, у нее возникло желание упасть обессиленной, изнемогающей на землю и не подниматься до тех пор, пока плети погонщиков не добьют ее на месте. Но вдруг, как луч света во мраке, сладкое чувство надежды проникло в ее грудь, она стала искать среди окружающих ее лиц то, которое могло ей внушить вновь эту бодрость. Но не в толпе ей следовало искать этот источник внезапной светлой надежды. Вот взгляд ее случайно остановился на том мраморном дворце по левую ее

руку, и ей показалось, что одно из окон этого дворца, которое раньше было закрыто ставнями, теперь открыто, но задернуто изнутри тяжелой голубой шелковой занавесью. Вдруг тонкие темные пальцы показались в складках этой занавеси, и сердце Мириам почему-то дрогнуло. Теперь она не спускала глаз с этого окна. Занавесь медленно разделилась, и в окне появилось лицо темнокожей старой женщины с седыми как лунь волосами, красивое и благородное, но скорбное. Мириам чуть не лишилась сознания — то было дорогое лицо Нехушты, которую она считала навсегда потерянной для себя.

Мириам не верила своим глазам, ей думалось, что это видение — игра ее расстроенного воображения. Но, нет! Вот Нехушта осенила ее крестом и, приложив палец к губам в знак молчания и осторожности, скрылась за голубой занавесью. У Мириам подкашивались ноги, и она чувствовала, что сейчас упадет, что не в силах сделать ни шагу, а между тем ликторы уже понукали идти вперед. В этот момент какая-то старая женщина из толпы поднесла к ее губам чашу с вином, грубо промолвив:

— Выпей, красавица! Твои бледные щеки порозовеют, и знатным людям веселее будет смотреть на тебя!

Готовая оттолкнуть чашу, Мириам взглянула на говорившую и узнала в ней христианку, часто молившуюся вместе с ней в катакомбах. Она послушно сделала несколько глотков и, с благодарностью взглянув на старуху, продолжала идти вперед.

За час до заката шествие, миновав бесконечное множество улиц, украшенных колоннами и статуями, поднялось на крутой холм, где возвышался великолепный храм Юпитера Капитолийского. При подъеме на холм стражи схватили Симона и, волоча за золоченую цепь, увели куда-то из рядов процессии.

— Куда и зачем они тебя уводят? — спросила Мириам.

— На смерть! — мрачно ответил он. — Я так желаю ее!

Цезари сошли со своих колесниц и встали на вершине лестницы у алтаря, на остальных ступенях позади них становились по порядку другие участники триумфа. Затем наступило продолжительное ожидание чего-то, но чего, Мириам не знала. Вдруг показались люди, бегущие по направлению от форума, для которых в толпе царедворцев была предусмотрительно оставлена свободная дорога. Один из людей, бежавший впереди всех, нес какой-то предмет, завернутый в материю.

Представ перед цезарями, он сбросил ткань и поднял перед ними вверх, так что мог видеть весь народ, отрубленную седую голову Симона, сына Гиора.

Этим всенародным убийством мужественного неприятельского полководца завершался триумф римлян. При виде этого кровавого доказательства трубы загудели, знамена стали развеваться высоко в воздухе, а из полумиллиона глоток вырвался громкий крик торжества, крик толпы, опьяненной своей славой, своей жестокой местью!

Затем перед алтарем всемогущего божества цезари принесли жертвы благодарности за дарованную им и их оружию победу.

Так завершился триумф Веспасиана и Тита, а вместе с ним и печальная история борьбы иудейского народа против железного клюва и когтей римского орла.

## XXIII. Невольничий рынок

Незадолго перед рассветом в самый день триумфа, в тот момент, когда паланкин, где находилась Мириам, в сопровождении Галла и стражи проходил мимо храма Исиды, в город въезжали на измученных конях двое всадников, одним из которых была женщина под густым покрывалом.

— Судьба благоприятствует нам, Нехушта! — произнес мужчина взволнованным голосом. — Мы, по крайней мере, не опоздали ко дню триумфа! Видишь, войска собираются у садов Октавиана!

— Да, да, господин, не опоздали, но скажи, куда мы теперь направимся и что станем делать? Быть может, ты пожелаешь явиться Титу?

— Нет, женщина! Я не знаю, какой прием ожидает меня, пленника иудеев!

— Но ведь ты был пленен в бессознательном состоянии, благородный Марк, и не виноват в этом!

— Конечно, но закон гласит, что ни один римлянин не должен поддаваться врагу, а будучи пленен во время бесчувствия, должен заколоть себя, придя в сознание, как должен был сделать и я, и что я и сделал бы, увидя себя в руках иудеев. Но ты знаешь, что все сложилось иначе. Однако, если бы не Мириам, я не задумываясь наложил бы на себя руки. Теперь же постараемся добраться до моего дома близ бань Агриппы. Триумфальное шествие должно пройти перед окнами этого дома, и если Мириам будет в числе пленниц, то мы увидим ее, если же ее не будет, то или она умерла, или отдана цезарем в дар кому-нибудь из его друзей!

Здесь толпа была так велика, что они с трудом прокладывали себе путь, пока наконец Марк не остановился перед мрачного вида мраморным зданием на *Via Agrippa* — Агрипповой дороге.

Дом этот казался совершенно вымершим. Посмотрев на запертые наглухо ставни и двери, Марк объехал кругом и постучался в боковую калитку дома. Долго никто не отзывался, но наконец сквозь узкую щель раздался дребезжащий старческий голос:

— Уходите! Здесь никто не живет. Это дом Марка, павшего на иудейской войне. Кто ты такой, что пришел тревожить меня?

— Отвори, Стефан! — повелительно произнес Марк. — Что ты за слуга, если не узнаешь своего господина?

Маленький сморщенный старичок в коричневой одежде писца глянул в щель на говорившего и, всплеснув рукам», в радостном удивлении

воскликнул:

— Клянусь копьем Марса, да это сам благородный Марк! Добро пожаловать, господин мой, добро пожаловать!

Нехушта ввела коней во двор, затем вернулась к калитке и заперла ее на все засовы.

— Почему же ты думал, Стефан, что я убит?

— Потому, господин, что о тебе не было вестей, а так как я знал, что ты никогда не опозоришь ни чести своего славного имени, ни римских орлов, которым служишь, допустив, чтобы тебя взяли в плен, то решил, что ты с честью пал в бою!

— Слышишь, женщина, что говорит мой слуга и вольноотпущенный? — обратился Марк к Нехуште. — Тем не менее, Стефан, то, что и ты, и я считали невозможным, случилось: я был захвачен в плен, хотя не по своей вине!

— О, утаи это, господин, от всех, утаи! Двое таких же несчастных осуждены идти нынче в шествии триумфа со связанными за спиной руками и позорной доской на груди, надпись на которой гласит: «Я — римлянин, который предпочел позор смерти!» И тебе, господин, может грозить та же участь!

— Молчи, старик! — воскликнул Марк, весь бледный. — Молчи и прикажи рабам приготовить ванну и обед: мы нуждаемся и в омовении, и в питании!

— Рабов здесь нет: я отослал их на работы в поля, а лишних продал. Здесь остались только я да одна старая невольница, которая все приготовит!

— А деньги у нас есть?

— О, денег много, я даже не знаю, куда их девать!

— Они могут мне понадобиться сегодня! — сказал Марк. Старик поклонился и вышел.

Время было около полудня. Марк, выкупавшийся, натертый благовонными маслами, одетый во все новое, стоял теперь в одном из великолепных залов своего дома и смотрел сквозь просвет в ставне на двигавшееся мимо окон торжественное шествие триумфа.

К нему подошла Нехушта, переодетая в чистые белые одежды, омывшаяся и прибравшаяся после продолжительного пути.

— Узнала ты что-нибудь о ней, Нехушта? — спросил Марк.

— Кое-что, господин! Она должна следовать перед колесницей триумфатора, и затем ее продадут на торгах в форуме. Из-за нее, говорят, произошла страшная ссора между цезарями и Домицианом, который хотел



получить ее себе в дар!

— Ссора из-за нее? Боги, вы восстали против меня, если дали мне в соперники Домициана! — воскликнул Марк.

— Почему, господин? Твои деньги не хуже его денег!

— Я отдам за нее все до последнего обола, но это не спасет меня от ненависти и мести Домициана!

— К чему тревожиться раньше срока?! В свое время успеешь нагореваться! — сказала Нехушта.

Между тем мимо них тянулось бесконечную вереницей торжественное шествие: колесницы с изображением сцен взятия Иерусалима, фигуры Виктории, богини победы, драгоценные вавилонские гобелены, золотая утварь Иерусалимского храма, модели судов и кораблей, взятых у неприятеля, толпы пленных и те двое несчастных римских воинов, плененных иудеями, о которых говорил Стефан. Один из них грубый, суровый воин с громадной черной бородой, смотрел зверем и равнодушно относился к ругани толпы; другой же, голубоглазый, с тонкими благородными чертами лица, по-видимому, доходил до безумия от злобных издевательств народа. Он дико озирался, как бы ища выхода, лицо его выражало невыносимую муку. Вдруг какая-то женщина из толпы, подняв черепок, швырнула им в лицо несчастного со словами: «Трус! Собака, а еще римлянин!» Этого позора он не мог вынести, его блуждавшие глаза остановились, он обернулся и громко крикнул:

— Я не трус! Я своей рукой убил десятерых врагов, и пять из них — в бою один на один! Я не трус, на меня напали пятнадцать человек, когда я был ранен, и одолели, а когда я очутился в тюрьме безоружным, я хотел удавиться, но подумал о жене и детях и остался жить. А теперь я умру, и пусть кровь моя падет на ваши головы!

И прежде, чем кто-либо успел его упредить, он кинулся под колеса громадной колесницы, запряженной восьмью белыми быками, и был раздавлен на месте.

— О-о! — застонал Марк и закрыл лицо руками. Нехушта, воздевая руки, молилась за душу несчастного и за эту дикую бесчеловечную толпу, которая теперь восхищалась подвигом, признавая его все же доблестным римлянином.

Пока убирали тело и приводили все в надлежащий порядок, процессию остановили. Против дома Марка за толпой пленных отдельно шла девушка в роскошном наряде, шитом золотом и серебром, с низко опущенной головой, вся залитая яркими лучами солнца, с дорогим жемчужным ожерельем на шее.

— Смотрите! Смотрите! — кричала толпа. — Это «Жемчужина Востока»!

— Видишь, господин?! — воскликнула Нехушта, схватив Марка за плечо. — Это она!

Марк задрожал при виде той, которую любил больше всего на свете.

— Как она истомлена и измучена! Душа ее исстрадалась, а я должен стоять здесь и смотреть на нее, ничем не смея помочь, не смея показаться! — стонал он.

Нехушта оттолкнула его и, встав на его место и осторожно раздвинув ставни и голубые занавеси окна, на одно мгновение выглянула так, что ее можно было видеть с улицы.

— Она заметила меня и узнала! — проговорила Нехушта, задерживая занавеси и закрывая ставни. — Теперь она знает, что здесь, в Риме, у нее друзья!

— Я хочу, чтобы она видела и меня! — сказал Марк.

— Поздно! Шествие уже тронулось! Да она и не в силах была бы сдержать волнения при виде тебя!

Марк занял теперь свое прежнее место у просвета ставень и не спускал глаз с Мириам, пока та не скрылась вдали.

Солнце быстро клонилось к закату, окрашивая багровыми пятнами мраморные храмы и колонны форума. Теперь здесь было довольно безлюдно, так как многотысячная толпа, насладившаяся великолепным зрелищем триумфа, разошлась по домам подкреплять свои силы пищей; только подле публичного рынка невольниц толпилось несколько десятков покупателей и праздных зевак, привлеченных любопытством. Позади мраморной площадки, места торгов, обведенного канатом, ютилось низенькое строение, где помещались предназначенные для продажи невольницы. Некоторые счастливицы, пользуясь милостью сторожей, допускались осматривать невольниц прежде, чем тех выводили на каменный помост. В числе последних, благодаря золотому, сунутому в руки привратника, очутилась и старая поселянка с большой корзинкой фруктов за спиной. На этот раз выбор невольниц был невелик: всего пятнадцать самых красивых девушек, выбранных из нескольких тысяч плененных иудейских женщин. В помещении, где находились предназначенные для продажи пленницы, было уже темно, при свете факелов опытные и предусмотрительные покупатели заранее осматривали живой товар, не стесняясь ощупывать его и обсуждая достоинства и недостатки. Большинство девушек сидели неподвижно с выражением тупой покорности на красивых лицах. Перед старой крестьянкой обходил невольниц,

соблюдая очередь, жирный самодовольный человек, в волосах которого уже пробивалась седина. Он имел вид восточного купца и всячески старался убедить смуглую красавицу-еврейку показать ему ступню. Но та, делая вид, что не понимает, оставалась неподвижна. Тогда он наклонился и поднял ее юбку. Но едва он успел коснуться подола, как красавица наделила его такой звонкой пощечиной, что самодовольный нахал при общем смехе присутствующих покотился на землю и затем встал с окровавленным лбом.

— Хорошо, хорошо, красавица! Не пройдет и десяти часов, как ты мне заплатишь за это! — прошипел он злобно. Но девушка не шевельнулась.

Большинство публики толпились вокруг Мириам, однако стража воспрещала не только касаться ее, но даже заговаривать с ней. Покупатели подходили к ней один за другим; перед Нехуштой шел высокий мужчина в одежде восточного купца, и ливийке показалось, что этот человек ей знаком. Наклонившись к Мириам, он хотел что-то сказать ей, но страж воспретил ему.

— С «Жемчужиной Востока» никому не позволено вступать в разговор! — строго произнес он. — Проходи, очередь подходить и другим!

Высокий купец махнул рукой, и Нехушта заметила, что у него не хватает пальца на руке.

«А-а, и Халев в Риме! — подумала старуха. — У Домициана еще один соперник!»

— Разве сейчас время для торга! Теперь не красоток покупать, а собак, ведь совсем темно!

— Ба-а! — отозвался другой. — Домициан спешит заполучить свою красоту!

— Так он решил купить ее?

— Конечно, я слышал, что Сарториусу приказано дать за нее до миллиона сестерций, если будет нужно! Но кто же будет соперничать с принцем, кому своя голова надоела? Надо думать, что она ему дешево достанется!

И они пошли дальше. Теперь к Мириам подошла Нехушта.

— Вот тоже покупательница! — насмешливо заметил кто-то.

— Не суди об орехе по шелухе, господин! — ответила старуха, и при звуке ее голоса невольница «Жемчужина Востока» вздрогнула и подняла голову, но тотчас же снова ее опустила.

— Ничего себе девушка, только в мое время девушки бывали красивее! Подними-ка головку, красотка! — продолжала она, подбадривая ее движением руки, причем перед глазами девушки мелькнул знакомый ей

перстень с изумрудом. И по этому перстню Мириам поняла, что Марк жив и что Нехушта пришла сюда от его имени.

В этот момент стража стала просить посетителей удалиться, а на площади аукционист, ласковый сладкоречивый человек, уже взошел на *rostrum* — кафедру и произнес длинную витиеватую речь, приглашая покупателей не скупиться, так как деньги, вырученные от продажи пленниц, поступят в пользу бедных Рима и пострадавших на войне солдат.

Зажгли факелы и стали выводить пленниц на помост. Номером первым была девушка, почти ребенок, лет шестнадцати, с темными кудрями и глазами испуганной лани. За пятнадцать тысяч сестерций она была продана какому-то греку, который тут же увел ее, плачущую навзрыд. После нее было продано еще четыре девушки. Шестым номером шла смуглая красавица-еврейка, ударившая по лицу престарелого купца. Едва выступила она на помост, как он первым предложил за красавицу двадцать тысяч. Девушка была так величественна, горделива и красива, что цену стали быстро набивать, но в конце концов она все же пошла старому ловеласу за сумму в шестьдесят две тысячи сестерций, при общем смехе собравшейся толпы, среди которой уже разнесся слух о поступке красавицы с этим человеком.

— Ну, теперь пожалуй за мной в свое новое жилище, голубушка! Нам надо еще сегодня свести с тобой кое-какие счеты! — насмешливо проговорил старик и, схватив купленную рабыню за руку, потащил ее за собой.

Девушка шла гордой мерной поступью, не сопротивляясь, но в глазах ее горел огонь мрачной решимости. Минуту спустя и красавица, и купивший ее ловелас скрылись в тени зданий. На помост вызвали номер седьмой, «Жемчужину Востока». Аукционист начал было свою хвалебную речь ее красоте и совершенству, как вдруг страшный крик огласил воздух, он исходил оттуда, где скрылся новый владелец красавицы-еврейки со своей невольницей. Толпа хлынула туда, выхватив факелы из рук служителей торжища, и в испуге остановилась перед распростертым на земле трупом богатого купца, над которым стояла, гордо выпрямившись во весь рост, точно каменное изваяние, смуглая красавица с окровавленным кинжалом, который она выхватила из-за пояса своей жертвы.

— Хватайте ее! Держите убийцу! Запорите ее на смерть! — слышались голоса, и служители форума кинулись, чтобы схватить ее. Она подпустила их близко и вдруг, не произнеся ни слова, занесла высоко над головой сильную руку и вонзила кинжал себе в грудь. С минуту она стояла все так же гордо, затем широко раскинула руки и как подкошенная упала на

землю подле того, кто оскорбил и купил ее.

Толпа, пораженная, стояла молча, даже крик ужаса замер на устах, только один молодой тщедушный, болезненного вида патриций воскликнул:

— О, теперь я не жалею, что пришел сюда! Какая девушка! Какая картина! Пусть боги благословят тебя, красавица, за то, что ты доставила Юлию такое наслаждение!

Спустя несколько минут аукционист уже снова взобрался на *rostrum* и, упомянув в нескольких трогательных словах о «печальном случае», продолжал нахваливать достоинства представленного присутствующим бесценного сокровища — «Жемчужины Востока».

## XXIV. Господин и рабыня

Толпа теснилась вокруг помоста, обступая его со всех сторон. Ближе всех выделялись фигуры Деметрия, александрийского купца, старухи под густым покрывалом и Сарториуса, дворецкого и поверенного Домициана, который, вопреки правилам, обходя кругом помоста, разглядывал девушку с видом строгого критика.

Аукционист между тем объявил о том, что в силу особого декрета императора Тита весьма значительное имущество и в Тире, и в других местностях Иудеи переходят вместе с пленницей, прозванной «Жемчужиной Востока», к ее новому владельцу, равно и ее жемчужное ожерелье, и в заключение сказал, что чем выше будут суммы, предлагаемые за эту девушку, тем больше останется доволен доблестный цезарь Тит, тем больше довольны будут бедняки Рима и раненые воины, тем больше довольна будет сама девушка, польщенная, что ее так высоко ценят.

— Тем больше буду доволен и я, — заключил аукционист, — ваш покорный слуга, так как я не получаю определенного вознаграждения, а только комиссионный процент, почтенные господа! Итак, для начала, скажем, миллион сестерций. Не правда ли, господа?

Кто-то предложил всего пятьдесят, затем сто, двести, пятьсот, шестьсот, восемьсот, наконец аукционист обратился к одному из присутствующих:

— Что же, благородный Сарториус, или ты заснул?

— Девятьсот тысяч! — промолвил как бы нехотя тот, кого называли этим именем.

— Я даю миллион! — сказал Деметрий, купец из Александрии подходя ближе к помосту.

Сарториус с негодованием взглянул на смельчака, осмелившегося идти против Домициана, и предложил один миллион сто тысяч, но тотчас же Деметрий перебил его.

— Один миллион двести тысяч, один миллион триста тысяч, один миллион четыреста тысяч! — сыпались цифры.

— Слышишь, благородный Сарториус, за красавицу дают один миллион четыреста тысяч. Не скупись, ведь у тебя бездонный кошелек, черпай из него, сколько угодно, все доходы Римской империи к твоим услугам! А-а, ты предлагаешь один миллион пятьсот тысяч! Ну, вот! Что ты на это скажешь, приятель?

Деметрий, к которому относились последние слова, только махнул рукой и, подавляя стон, отошел в сторону.

— Ну, кажется, твоя взяла, благородный Сарториус, и хотя сумма эта не слишком велика для такой ценной «Жемчужины», все же я, по видимому, не могу ожидать...

Вдруг старая женщина с корзиной выступила вперед и спокойным, деловым тоном произнесла:

— Два миллиона сестерций.

Сдержанный смех покотился по рядам присутствующих.

— Почтенная госпожа, позволь спросить, не ослышался ли я, не ошиблась ли ты?

— Два миллиона сестерций! — повторила женщина деловитым тоном.

— Ты слышишь, благородный Сарториус, за невольницу дают два миллиона сестерций. Это больше того, что предлагаешь ты!... Я должен принять это во внимание!

— Пусть так! — сердито пробормотал поверенный Домициана. — Видно, все государи мира зарятся на эту девушку! Я и так уже превысил назначенную сумму, больше я не решусь рискнуть. Пусть достается другому!

— Два миллиона сестерций, граждане! Кто больше? Никто! Так вот, госпожа, если деньги при тебе, бери ее!

— Деньги у меня с собой, и если никто не дает больше, то потрудись оставить ее за мной!

— Два миллиона сестерций за номер седьмой, пленницу императора Тита, прозванную «Жемчужиной Востока», никто больше? Ну, так идет... идет... пошла! Объявляю ее проданной этой уважаемой госпоже... Теперь попрошу тебя следовать за мной к приемщику, где ты уплатишь всю сумму полностью в моем присутствии — этого требует установленный порядок!

— Да, да, господин, только уж ты позволь увести мою собственность с собой: такую «Жемчужину» не годится оставлять без присмотра!

Согласно ее желанию Мириам была введена в помещение приемщика денег и здесь, при закрытых дверях, в присутствии аукциониста и его письмоводителя Нехушта отсчитала полностью всю сумму золотыми из корзин, висевших у нее и ее раба (переодетого Стефана) за спиной.

— Теперь, — обратилась Нехушта к присутствующим, — здесь у вас есть другая дверь помимо той, в которую мы вошли! Разрешите мне, прошу вас, выйти в эту дверь, чтобы моя невольница не привлекла к себе внимания толпы, и мы могли удалиться отсюда незамеченными. Да, вот еще что! Я вижу здесь чей-то темный плащ. Уступите его мне за пять

золотых, надо чем-нибудь прикрыть эту девушку, ведь она совсем нагая. А теперь потрудитесь закрепить полагающееся мне, в силу указа цезаря Тита, имущество этой невольницы за Мириам, дочерью Демаса и Рахили, родившейся в год смерти Агриппы. Так, благодарю вас, теперь позвольте мне взять этот документ и примите в знак признательности эту горсть золотых... Да, у меня есть еще одна просьба к вам, не согласится ли этот господин проводить нас из форума, на улице я буду чувствовать себя в сравнительной безопасности!

Писец согласился, и несколько минут спустя две женщины, Стефан и письмоводитель, никем не замеченные, прошли по темным мраморным колоннадам форума и вверх по широкой мраморной лестнице на тихую, пустынную улицу. Здесь письмоводитель простился со странной старухой и ее свитой и еще долго стоял и смотрел им вслед.

Когда он обернулся, чтобы уйти, то очутился лицом к лицу с высоким мужчиной, в котором узнал александрийского купца.

— Друг, — сказал тот, — куда пошли эти женщины?

— Не знаю! — отвечал письмоводитель.

— Постарайся припомнить, — продолжал Деметрий, — быть может, это поможет твоей памяти! — добавил купец, сунув ему в руку пять золотых.

— Нет, нет! И это не поможет, — прошептал письмоводитель, желая остаться верным своему обещанию.

— Безумец, вот что уж наверняка поможет! — воскликнул Александрийский купец, и в руке его сверкнул кинжал.

— Они пошли направо! — сказал оробевший помощник аукциониста. — Это правда, но покарай тебя боги за то, что ты угрожаешь ножом честному и мирному человеку, вынуждая его делать то, чего он не хочет!

Но Деметрий уже не слышал его, он был далеко и спешил, не оглядываясь, в том направлении, куда направились женщины.

Когда помощник аукциониста вернулся на свое место, там уже продавали номер тринадцатый, очень привлекательную и красивую девушку. Невольницу приобрел Сарториус, рассчитывая подсунуть ее Домициану вместо «Жемчужины Востока».

Тем временем Нехушта с Мириам и Стефаном спешили ко дворцу Марка на *Via Agrippa*, держась за руки. Стефан всю дорогу ворчал и не мог успокоиться, что за одну невольницу отдали такую уйму денег, сбережение нескольких лет...

— Успокойся, — сказала ему наконец Нехушта, — имущество этой невольницы стоит больше того, что за нее заплачено!



— Да, да! Но какая от этого прибыль моему господину? Ведь ты же записала все на ее имя!

Теперь они были уже у ворот, и Нехушта торопила старика:

— Скорей, скорей! Я слышу чьи-то шаги!

Дверь отперлась, и едва успели они проскользнуть в нее, как Стефан тотчас же задвинул засов, затем долго еще возился с ее запорами-цепями и болтами. Женщины, пройдя небольшой перистиль, вошли в слабо освещенную прихожую, где Нехушта порывистым движением сорвала с себя плащ и покрывало, с подавленным криком обвила шею Мириам своими длинными, сильными руками и принялась целовать ее бесчисленное множество раз, захлебываясь от счастья.

— Скажи мне, Ноу, что все это значит? — спросила Мириам.

— Это значит, что Господь внял моим молитвам и дал мне средства и возможность спасти тебя!

— Чьи средства? Где я, Ноу?

Нехушта, не отвечая, сняла с нее плащ и, взяв за руку, повела через ярко освещенный коридор в большой, великолепно убранный дорогими коврами и мраморными статуями зал, уставленный ценной мебелью. В дальнем конце его, у стола, освещенного двумя светильниками, сидел мужчина, опустивший голову на руки и казавшийся спящим. При виде его Мириам, вся дрожа, прижалась к Нехуште.

— Тише! — шепнула старуха и остановилась в неосвещенном конце зала. В этот момент мужчина, сидевший у стола, поднял голову, и свет упал ему прямо на лицо. Мириам чуть не вскрикнула: это был Марк, сильно постаревший, исстрадавшийся, с прядью седых волос на том месте, где удар Халева рассек ему голову, — но все тот же, прежний Марк.

— Нет, я больше не в силах терпеть! — произнес он, не замечая вошедших. — Уже три раза я выходил к воротам, и никого! Быть может, она теперь уже во дворце Домициана! Пусть будет, что будет. Пойду и постараюсь все разузнать! — И он направился к ложу в нише окна, где лежал темный плащ. Взяв его, Марк обернулся — и увидел Мириам, стоявшую в полосе света, нежную и прекрасную.

— Что это, сон? Я брежу!

— Нет, Марк! — сказала та. — То не сон, не бред, это я стою перед тобой!

В следующий момент он уже сжимал ее в объятиях, и она не сопротивлялась, объятия Марка казались ей родным кровом, надежным убежищем.

— Пусти меня, — сказала наконец девушка, — я чувствую, что силы

изменяют мне, я не могу устоять на ногах!

Он осторожно опустил ее на подушки ближайшего ложа и присел подле.

— Ну, теперь расскажи мне все... все...

— Я не могу, спроси Нехушту! — прошептала Мириам, почти теряя сознание.

Нехушта подросла к ней и осторожно принялась растирать ей виски и руки.

— Полно тебе расспрашивать, господин! Ты видишь, она здесь, и довольно с тебя. Лучше позаботься о том, чтобы дать ей поесть, ведь у бедняжки с утра ни крошки во рту!

Марк засуетился, придвигая стол, на котором стояли изысканно приготовленные рыба, мясо, плоды и доброе старое вино. Нехушта заставила девушку отпить несколько глотков вина и проглотить несколько кусочков дичи, после чего Мириам немного оправилась и ожила.

— Какого бога должен я благодарить за то, что он внушил моему старому Стефану скопить эти деньги! Они мне оказались нужнее самой жизни! — воскликнул Марк, выслушав рассказ Нехушты. — Как необходимы оказались теперь сбережения!

— Какие сбережения? Твои, Марк? Значит, ты купил меня? Значит, я теперь твоя раба?

— Нет, Мириам! Нет, не ты, а я твой раб, ты это знаешь! И я молю тебя только об одном, согласишься стать моей женой!

— Ах, Марк! Ведь ты же знаешь, что этого не может быть! — почти стоном вырвалось у нее из груди.

Марк побледнел, как мертвец.

— И ты говоришь это после всего, что было? После того, как ты готова была отдать за меня жизнь? Хорошо, если уж это так необходимо, я готов стать христианином!

— Нет, Марк, этого недостаточно, — печально произнесла девушка. — Не в том дело, что ты будешь называться христианином, ты должен им стать по духу, по убеждениям. А если Господь не призовет тебя, этого никогда не случится!

— Что же в таком случае должен я сделать?

— Что? Ты должен отпустить меня... Но я — твоя невольница!

— Да! — воскликнул он, точно обрадовавшись последнему слову. — Да, ты моя невольница! Так почему мне не оставить тебя? Зачем мне отпускать тебя?... Нет, я хочу, чтобы ты оставалась здесь!

— Ты можешь не отпустить меня, да, но этим погресишь против

своей чести, Марк!

— Где же тут грех? Ты не соглашаешься стать моей женой не потому, что этого не хочешь, а потому, что на тебя положен обет, любовь же твоя свободна. Мы так многим жертвовали друг для друга: ты жертвовала для меня своею жизнью, а я — даже больше, чем жизнью, своей честью, Мириам!

— Честью? Как честью? — спросила девушка с недоумением.

— Тот, кто имел несчастье быть взятым в плен, считается у римлян жалким трусом. Если узнают, что это случилось со мной и я не покончил счеты с жизнью, как должен был сделать, то меня ждет позор, хуже которого нет для римлянина! Но я остался жить ради тебя, ради тебя, Мириам, пошел навстречу позору!

— О, что же делать! Что делать! Горе мне! — воскликнула Мириам, ломая руки в порыве отчаяния

— Что делать? — повторила Нехушта. — Отпусти ее, Марк, не унижай себя в ее глазах положением господина, а любимую — положением невольницы, не оскверняй ни ее, ни свою душу! Не говори, что стать возлюбленной господина не грех! Возьми ее имущество в Тире в уплату за сегодняшний выкуп и отпусти ее, а сам посвяти себя изучению писания, и тогда, быть может, ты назовешь ее своей женой!

— Да, — произнес Марк, бледный как смерть, — Нехушта права. Мне не надо злоупотреблять настоящим положением Мириам. Я возвращаю ей свободу, никаких документов не нужно, никто не знает, что она принадлежит мне. Имущество же в Тире пусть остается на ее имя — мне неудобно переводить его на себя. Ну, а теперь прощайте! Нехушта отведет тебя в свою комнату, а на рассвете вы уйдете, куда захотите! — И он круто повернулся к ним спиной.

— О, Марк, что ты хочешь сделать? — воскликнула Мириам.

— Вероятно то, о чем тебе лучше не знать!... Быть может, впрочем, я последую совету Нехушты и стану изучать писание. Прощайте!

## XXV. Награда Сарториуса

Тем временем в одном из дворцов цезарей, вблизи Капитолия, происходила другая сцена. Речь идет о дворце Домициана, куда по окончании торжеств поспешил удалиться младший сын Веспасиана в весьма дурном настроении. В этот день случилось многое такое, что сильно уязвило его самолюбивый, завистливый нрав. Во-первых, как он ясно чувствовал, слава этого дня всецело принадлежала не ему и даже не отцу его, а брату Титу, который был ему всегда ненавистен. Этого Тита настолько все любили за добродетели, насколько ненавидели его, Домициана. И вот теперь Тит вернулся после блистательной, победоносной кампании и коронован цезарем, принят в соправители отца, и теперь был превозносим толпой, тогда как он, Домициан, должен был ехать за его колесницей почти незамеченный. Ведь восторженные крики толпы, поздравления сената и приветствия подвластных Риму правителей и иностранных царей — все это относилось к Титу, и зависть доводила Домициана до бешенства. Правда, предсказания говорили, что настанет и его час, но когда?

Кроме того, многие мелочи, как нарочно, сложились так, чтобы задеть его самолюбие. Во время великого жертвоприношения в храме Юпитера его место оказалось так далеко, что народ не мог даже видеть Домициана, а во время пира, последовавшего за жертвоприношением, главный распорядитель забыл налить чашу в его честь.

Затем, красавица «Жемчужина» явилась на триумфальном торжестве без пояса, посланного ей в дар. Наконец, различные вина, которые он пил из-за духоты и жары, вызвали сильную головную боль и тошноту, чему он вообще был очень подвержен.

Под предлогом нездоровья Домициан рано покинул пир, в сопровождении слуг и музыкантов вернулся во дворец и стал ожидать возвращения Сарториуса, который должен был привести прекрасную еврейку, завладевшую его воображением. Он приказал своему домоправителю купить ее на публичных торгах за какую угодно цену, хотя бы даже за миллион сестерций. Да и кто осмелился бы оспаривать невольницу, которую пожелал для себя Домициан?

Узнав, что Сарториус еще не возвратился с торгов, Домициан удалился в свои личные апартаменты, приказал призвать туда красивейших невольниц и заставил их танцевать перед ним, а сам в это время упивался

вином из любимых им лоз. По мере того как он пьянел, головная боль начала проходить. Вскоре он сильно захмелел и, как всегда в этих случаях, совершенно озверел. Одна из танцовщиц споткнулась и сбилась с такта, за что повелитель приказал ее подругам избить бедную полуобнаженную девушку на его глазах. Но, к счастью для провинившейся, прежде чем повеление Домициана успели привести в исполнение, вошел раб с докладом, что Сарториус вернулся и ждет разрешения войти.

— Он один? — вскричал Домициан, вскакивая с места.

— Нет, господин, с ним женщина! — ответил раб.

При таком известии дурное расположение Домициана вмиг пропало.

— Отпустить ее на этот раз! — приказал он, говоря о танцовщице.

— Да чтобы впредь была осторожнее. Прочь, вы все, вся орава, я желаю остаться наедине! А ты, раб, иди и прикажи почтенному Сарториусу войти сюда вместе со спутницей!

Занавесь отдернулась, и вошел Сарториус, лукаво улыбаясь и нервно потирая руки, за ним шла женщина, окутанная длинным, темным плащом, под густым покрывалом. Согласно установленному порядку, домоправитель принялся отвешивать поклоны и бормотать хвалебные приветствия, но Домициан прервал его на полуслове:

— Перестань, старик! Все это прекрасно при свидетелях, а теперь не нужно! Так ты привел ее? — И он окинул жадным, сластолюбивым взглядом женскую фигуру, стоящую в глубине комнаты. — Я не забуду твоей услуги, ты не останешься без награды. Сколько ты дал за нее? Пятьдесят тысяч сестерций? Кто смел перебивать ее у меня? Что за неслыханная наглость! Впрочем, за красивых рабынь давали и больше! — добавил он, затем, обращаясь к невольнице, продолжал: — Ты полагаю, утомилась, дорогая красавица, после этого безумного торжества?

Но красавица безмолвствовала, и Домициан продолжал:

— Скромность украшает девушку, но прошу тебя, забудь об этом на время! Скинь свое покрывало, красавица, и дай мне увидеть божественные черты, по которым истомилась моя душа. Впрочем, нет, я сам хочу снять твое покрывало! — И он нетвердой поступью приблизился к девушке.

Сарториус, убедившись, что его господин настолько пьян, что вряд ли поймет какие бы то ни было объяснения, думал воспользоваться удобным случаем и улизнуть, а потому сказал:

— Благороднейший и державный повелитель мой, позволь мне удалиться. Теперь, когда мое дело сделано, я более не нужен вашей милости!

— Нет, нет, — икая, произнес Домициан. — Я знаю, какой ты великий

знаток женской красоты, твое суждение мне нужно сегодня. Ты знаешь, возлюбленный мой Сарториус, что я не эгоист, к тому же, говоря правду, — ты, конечно, не обидишься — кто может ревновать к такой старой обезьяне, как ты? Уж, конечно, не я, которого все считают первым красавцем в Риме, несравненно более красивым, чем Тит, хотя он и называется цезарем... Ну, где тут завязка? Сарториус, отыщи мне завязки ее покрывала. И зачем вы укутали бедную девушку, точно египетского покойника, так что господин не может увидеть ее?!

В это время один из рабов развязал покрывало, и девушка предстала с открытым лицом. Эта девушка была очень красива и лицом, и фигурой, но крайне утомлена и испугана.

— Как странно! — пробормотал Домициан. — Она как будто совершенно изменилась! Мне казалось, что у той были синие глаза, а волосы черные, вьющиеся, а теперь у нее темные глаза и гладкие волосы. А где ожерелье? Где ожерелье?... Что ты сделала со своим ожерельем, «Жемчужина Востока»? Да и почему ты не надела сегодня того пояса, что я прислал тебе в подарок?

— Я, господин, никогда не имела ожерелья и не получала никакого пояса! — робко произнесла невольница.

— Господин мой, благороднейший Домициан, тут есть маленькое недоразумение, которое я должен разъяснить! — вмешался Сарториус с нервным смешком. — Девушка эта — не «Жемчужина Востока»: та пошла за такую баснословную цену, что я не мог купить ее даже для тебя... — И он смолк, точно замер.

Лицо Домициана сделалось ужасным, весь хмель разом вылетел у него из головы. Выражение зверской жестокости исказило черты; это был наполовину дьявол, наполовину сатир.

— А-а, вот как! Недоразумение?! И ты посмел сказать мне это, сказать, что кто-то другой выхватил у меня, Домициана, из-под носа девушку, которую я приберегал для себя!... — скрежеща зубами, с адским шипением, выкрикивал взбешенный тиран. — Ты осмелился привести мне эту шлюху вместо «Жемчужины Востока»! Эй, рабы! — крикнул он, ударив в ладоши.

Немедленно сбежались десятки рабов.

— Возьмите эту женщину и убейте ее сейчас же! — приказал он. — Впрочем, нет, это может вызвать неприятность: ведь она была одной из пленниц Тита. Не убивайте ее, а выгоните на улицу!

Девушку схватили и потащили вон из залы.

— Схватите его! — Тиран указал на бледного домоправителя. —

Бейте, пока не выбьете дух... О, я знаю, что ты — римский гражданин, не раб, свободный. Но что из того, если ты через час станешь гражданином Гадеса!

И это приказание рабы не замедлили исполнить; среди полной тишины не слышно было теперь ничего, кроме тяжелых ударов длинных тростей и глухих, подавленных стонов несчастной жертвы.

— Негодяи! — завопил Домициан. — Да вы шутите, что ли? Погодите, я вам покажу, как надо бить, чтобы он чувствовал! — И, выхватив трость у одного из рабов, он кинулся к распростертому на полу домоправителю.

Сарториус понял, что взбешенный Домициан разом выбьет из него дух. Поднявшись на колени, он простер к нему руки с мольбой.

— Выслушай меня, господин, прежде чем ударить! Ты, конечно, можешь убить меня в своем праведном гневе, и я должен быть счастлив умереть от твоей руки, но, грозный господин, помни: убив меня, ты никогда не разыщешь «Жемчужины Востока», которую так страстно желаешь!

— А-а, — воскликнул Домициан, — «розга — мать благоразумия». Итак, ты можешь разыскать ее?

— Конечно, если у меня будет время. Человеку, который мог уплатить два миллиона сестерций за одну невольницу, нелегко укрыться!

— Два миллиона сестерций? Это любопытно! Расскажи мне об этом. Эй, рабы, отдайте ему одежды, да отойдите, только не слишком далеко!

Сарториус дрожащими руками накинул на свои окровавленные плечи и спину одежды и затем рассказал, как проходили торги.

— Что я мог сделать? — закончил он. — У тебя, господин, было слишком мало наличных денег!

— Что делать, дуралей?! Ты должен был купить ее в кредит и затем предоставить мне сговориться о цене. А Тита я бы обошел и перехитрил. Но теперь вопрос в том, как поправить дело. Как ты его поправишь?

— Это я увижу завтра, господин! Я постараюсь разузнать, куда девалась эта девушка, а там, тот, кто ее купил, может и умереть, тогда остальное уже не трудно!

— Умереть он, конечно, должен, раз осмелился похитить у Домициана его любимицу! — воскликнул царственный тиран. — На этот раз я пощажу тебя, Сарториус, но знай, если ты вторично не сумеешь исполнить моего желания, то и ты умрешь, и даже еще худшей смертью, чем полагаешь! О боги! Почему вы так немилостивы ко мне?! Душа моя уязвлена и нуждается в утешении поэзией. Эй, рабы, разбудите этого грека, вытащите его из кровати и приведите сюда, пусть он прочтет мне о гневе Ахиллеса, когда у него похитили его Бризеиду. Судьба этого героя сходна с моей

судьбой!

И новый Ахиллес удалился в свою опочивальню, чтобы там урочевать бессмертными стихами Гомера свою уязвленную душу: Домициан в те часы, когда не был просто зверем, мнил себя поэтом. Хорошо, что удаляясь, тиран не видел выражения лица Сарториуса, прикладывавшего какой-то целебный бальзам к своим исполосованным плечам и спине, и не слышал той клятвы, с которой его верный и услужливый клеветчик ложился спать в эту ночь, ложился лицом вниз (от жестоких побоев он в течение многих дней не мог лечь на спину). Тогда, быть может, Домициан увидел бы себя лысым, тучным, на тонких поджарых ногах, в императорской мантии цезаря, катающимся по полу своей опочивальни в отчаянной борьбе за жизнь с неким Стефаном, между тем как этот самый Сарториус вонзал в его спину свой кинжал, приговаривая с дьявольской усмешкой:

— Ага, цезарь! Вот это тебе за те побои тростью! Помнишь, цезарь, «Жемчужину Востока»? Это тебе за те побои! И это, и это!...

Но сейчас Домициан еще и не помышлял о чем-либо возмездии. Наплакавшись досыта над горестной судьбой богоподобного Ахиллеса, он заснул крепким сном.

\* \* \*

На другой день после триумфальных торжеств Тита александрийский купец Деметрий, который раньше звался Халевом, сидел в конторе своего огромного склада товаров на одной из самых оживленных торговых улиц Рима. Он был красив, облик его, надменный и благородный, прекрасно шел к его осанке и положению, а между тем лицо его было озабочено и печально. С какими невероятными усилиями прокладывал он вчера себе дорогу на улицах Рима, чтобы пробраться поближе к Мириам, когда она шла позорным путем вслед за колесницей триумфатора. А затем вечером, на публичном торжище в форуме, куда явился Халев, обратив в деньги почти весь свой наличный товар, так как знал, что ему придется оспаривать Мириам у Домициана, он предлагал за нее все, что имел, все до последней монеты, но, несмотря на это, она попала в чьи-то другие руки. Даже и сам Домициан не мог угнаться за этим таинственным соперником, интересы которого представляла странного вида женщина в платье крестьянки, под густым покрывалом. Как ни невероятно это должно было казаться, но



Халев был уверен, что эта женщина — не кто иная, как ненавистная Нехушта. Но как могла она располагать такой громадной суммой денег? Для кого, как не для Марка, могла она в таком случае покупать Мириам? Между тем Халев наводил справки, и по ним оказывалось, что Марка в Риме не было. Кроме того, есть полное основание думать, что его уже нет в живых и что его кости, подобно костям многих тысяч славных воинов, стали добычей голодных шакалов в развалинах священного города. Если же он жив, то почему не участвовал в триумфе Тита? Он один из выдающихся соратников цезаря и один из богатейших патрициев Рима!

С отчаянием наблюдал Халев, как таинственная женщина, нагруженная корзинами, увела с собой Мириам. Тщательно скрываясь, он успел проследить, как они скрылись в узенькой калитке в стене одного сада. На минуту у него явилась мысль постучать в эту калитку, но его обычная осторожность шепнула ему, что те, кто покупает невольницу за такую громадную сумму, как два миллиона сестерций, конечно, держат наготове добрый меч для таких посетителей. Он обошел вокруг дома и прилегающего к нему сада и убедился, что то был богатый мраморный дворец, по-видимому, никем не занятый, хотя однажды ему показалось, что за ставнями мелькнул огонь. Халев осмотрелся кругом и узнал это место. Поутру шествие тут было приостановлено: римский солдат, бывший в плену у иудеев, чтобы уйти от публичного позора и насмешек толпы, вздумал покончить с жизнью, бросившись под колеса колесницы триумфатора. Да, это было то самое место! У Халева мелькнула мысль, что подобная участь могла бы ждать и его соперника Марка, который также был захвачен в плен живым. Дьявольская усмешка исказила его черты. До сего времени две всепоглощающие страсти руководили жизнью Халева: беспредельное честолюбие и любовь к Мириам. Честолюбие его не было удовлетворено, он мечтал стать правителем, даже царем Иудеи, но Иудея пала и не могла подняться вновь. Однако судьба каким-то чудом пощадила его жизнь. Теперь одна только любовь к Мириам побуждала его заботиться о самосохранении, чтобы следовать за ней хоть на край света. У него были деньги, предусмотрительно зарытые перед началом войны, с помощью этих денег он сумел из предводителя военного отряда превратиться в зажиточного купца. Теперь он может, конечно, стать богачом, но будучи иудеем, никогда не займет высокого положения, не достигнет славы и власти, о которых так мечтал. Ну, а Мириам? Она никогда не любила его, и все из-за Марка, этого проклятого римлянина, которого он ненавидел всей душой. Но теперь у него было хоть то утешение, что если Мириам не досталась ему, Халеву, то не попала и Марку.

Всю ночь Халев бродил вокруг мрачного, видимо, безлюдного дома. Наконец стало светать, там и здесь на великолепной, широкой улице появлялись группы запоздалых пешеходов, возвращавшихся с пира, опьяненных вином мужчин и растрепанных женщин. Скромные труженики, ремесленники и мастеровые тоже вышли из домов, спеша приняться за свой дневной труд, в том числе и метельщики, ожидающие в это утро ценных находок после вчерашнего триумфального шествия. Двое подметали вблизи того места, где стоял Халев, и принялись подшучивать над ним, осведомляясь, найдет ли он дорогу домой. Халев сказал, что ждет, когда откроются двери этого дома.

— Ну, так тебе долго придется прождать! Владелец этого дома умер, убит на войне в Иудее, и никто еще не знает, кто будет его наследником.

— А как звали владельца? — спросил Халев.

— Его звали Марком. Это был любимец Нерона и потому был прозван здесь, в Риме, Фортунатом.

Халев повернулся и пошел домой.

## XXVI. Суд Домициана

Прошло два часа, а Халев по-прежнему сидел в своей конторе в бессильном бешенстве против Марка, которого он теперь больше, чем когда-либо, хотел бы задушить своими руками. Теперь он был уверен, что Марк жив и находится в Риме, а Мириам — в его объятиях. «О, лучше бы уж она досталась Домициану, этому развратному негодяю, его она, по крайней мере, ненавидела бы, тогда как Марка любит!» — с завистью думал Халев. Конечно, он мог выследить Марка и убить его, мог купить наемных убийц, но тогда его собственная жизнь подверглась бы опасности. Он знал, какая участь ожидает всякого, кто осмелился бы поднять руку на римского патриция, а умереть Халев вовсе не желал — теперь жизнь казалась ему единственным оставшимся ему благом. Кроме того, пока он жив, есть надежда, что Мириам будет принадлежать ему. Нет, он не станет рисковать, а подождет...

Выжидать ему пришлось недолго: как всегда в такого рода моменты, дьявол является усердным помощником всем, замышляющим зло против своего ближнего.

Кто-то постучал в дверь, и Халев злобно воскликнул: «Войдите!», раздосадованный тем, что нарушили его уединение.

Вопреки неласковому приглашению хозяина, в комнату вошел низенький, коротко остриженный человек с юрким, пронизательным взглядом маленьких бегающих глаз. Под одним глазом у него был большой синяк с кровоподтеком, а на виске виднелась рана, залепленная пластырем, он сильно хромал и поминутно передергивал плечами, как будто его что-то беспокоило. Это был домоправитель Домициана, и Халев тотчас же узнал его.

— Привет тебе, благородный Сарториус, садись, прошу тебя! Тебе, я вижу, трудно стоять!

— Да, да, со мной произошел весьма неприятный случай! — отвечал тот. — Но и вы, уважаемый Деметрий, тоже как будто провели бессонную ночь!

— Я действительно несколько взволнован другого рода неприятным случаем. Но чем могу я быть полезен тебе, благородный Сарториус? Я человек занятой и попросил бы тебя не откладывая приступить к делу!

— Да, да, конечно... Вчера на торгах ты был весьма заинтересован той красивой иудейской невольницей, которая теперь известна всему Риму под

именем «Жемчужина Востока», а я был представителем одного очень знатного лица.

— Которое, по-видимому, не менее меня заинтересовалось этой невольницей! — добавил Халев. — Но, увы! Третье лицо оказалось счастливее нас всех!

— Вот именно, и та высокая личность, о которой я говорю, была до того огорчена этим обстоятельством, что разразилась слезами и даже упрекала меня, которого любит более, чем родного брата...

— И вот тогда-то с вами случился неприятный случай, благородный Сарториус?

— Да, горе моего августейшего господина так поразило меня, что я поспешил к нему, поскользнулся и упал...

— Подобные случаи нередки в домах великих мира сего, где полы так скользки. Но все это к делу не относится, я полагаю...

— Нет, дело заключается в том, что мне надо узнать имя человека, купившего «Жемчужину Востока». Быть может, тебе оно известно?

— А на что тебе имя, благороднейший Сарториус?

— Мне нужно его имя, так как Домициану нужна его голова! — прямо отвечал домоправитель, отбросив намеки.

В этот момент Халева озарила яркая мысль: вот он — случай отомстить Марку, случай избавиться от него навсегда.

— Ну, допустим, я мог бы представить Домициану, притом без всякого скандала, случай добраться до головы того человека. Согласится ли он за эту услугу уступить мне эту невольницу? Я знал ее еще ребенком и питаю к ней самые нежные братские чувства!

— Да, да, так же, как и Домициан! Я, право, не вижу, почему бы моему августейшему господину не согласиться на это, ведь ему нужна голова того человека, а не рука этой девушки!

— Но во всяком случае было бы лучше иметь полную уверенность в этом! Основываясь же на одних предположениях, я не особенно расположен вмешиваться в такое неприятное дело!

— Прекрасно, быть может, ты пожелаешь, уважаемый Деметрий, изложить свои условия письменно и получить на них письменные ответы?

Халев взял пергамент, перо и написал:

Полное помилование и неотъемлемое право свободно путешествовать и вести торговлю везде, в пределах всей Римской Империи, засвидетельствованное подписью всех надлежащих властей, пусть будет выдано некоему Халеву, сыну Гиллиэля, участвовавшему в иудейской

войне против римлян; затем, письменное обязательство за собственноручной подписью того лица, которое в этом заинтересовано, что, если голова, которую он желает, будет предоставлена в его руки, то иудейская невольница, прозванная «Жемчужиной Востока», будет немедленно передана Деметрию, купцу из Александрии, и станет его неотъемлемой собственностью.

— Вот и все! — сказал Халев, передавая пергамент Сарториусу. — Халев, о котором я здесь упоминаю, мой ближайший друг, без его помощи я совершенно не могу обойтись в этом деле. А без помилования и гарантий, я знаю, он не тронется с места. Конечно, потребуется подпись самого цезаря Тита, должным образом засвидетельствованная. Но это только дань дружбе, я же собственно заинтересован тем, чтобы эта девушка была отдана мне.

— Да, да! Надеюсь вскоре возвратиться сюда с желаемым ответом, уважаемый Деметрий! — с двусмысленной гримасой проговорил Сарториус. — А что касается Халева, то пусть он не беспокоится. Кому охота связываться с грязным, жалким иудеем, отступником своей веры и народа?! Цезарь не воюет с подпольными крысами и летучими мышами... Прощай, высокочтимый Деметрий, жди меня вскоре обратно.

— Буду ждать, благородный Сарториус, и в интересах нас обоих прошу тебя не забывать, что во дворцах полы скользкие, так что при вторичном падении ты, пожалуй, и головы не унесешь!

«Брошу еще раз кости, — думал Халев после ухода гостя, — посмотрим, не улыбнется ли мне на этот раз счастье!»

Спустя некоторое время склонившийся в низком поклоне Сарториус докладывал своему августейшему господину о результатах поисков и исследований.

Страдавший в это время от жестокого приступа болезни желчных камней Домициан, обложенный подушками, вдыхал розовую эссенцию и смачивал голову водой, смешанной с уксусом. Довольно равнодушно слушал он отчет своего верного слуги, но, вникнув в условия таинственного Александрийского купца, воскликнул с негодованием:

— В уме ли ты, старый дуралей? Он хочет взять себе «Жемчужину Востока», а мне предоставить только голову наглеца, осмелившегося перебить ее у меня! И ты смеешь передавать мне подобные условия!

— Божественный Домициан, позволю себе заметить, что рыба идет только на приманку! — ответил хитрый управитель. — Если не потетишь его приманкой, этот человек ничего не скажет нам. Думал я призвать его сюда и пыткой вымучить из него правду, но эти иудеи такой упорный

народ. Не скоро у него вымучишь то, чего он не хочет сказать, а тем временем тот, другой, успеет скрыться с девушкой. Лучше уж обещать ему все, чего он просит.

— Ну, а затем?...

— А затем забыть о своих обещаниях, чего проще?

— Но ведь он требует их в письменном виде!

— Пусть он получит их письменно, написанные моей рукой, которую твоя божественная светлость может отвергнуть. Но помилование этому Халеву, который, если не ошибаюсь, тот же Деметрий, надо выдать за подлинной подписью цезаря Тита. Для тебя же, божественный Домициан, безразлично, если еще один иудей будет иметь право пребывать в Риме и торговать в пределах империи!

— Ты не так глуп, Сарториус, как я думал, очевидно, вчерашняя расправа придала тебе ума! Но прошу, перестань передергивать плечами и замажь этот синяк под глазом, я не выношу черного цвета. Затем отправляйся и сделай все, что нужно, чтобы удовлетворить этого Деметрия, или Халева.

Тремя часами позже Сарториус вторично явился к александрийскому купцу.

— Высокочитимый Деметрий, — сказал он, — все, что ты хотел, исполнено! Вот помилование Халеву, подписанное самим цезарем Титом, хотя это было не так легко: цезарь сегодня отправляется в свой загородный дом на берегу моря, где, по предписанию врача, в течение трех месяцев не должен заниматься государственными делами, так как нуждается в полном отдыхе. Доволен ты, уважаемый Деметрий?

Халев внимательно взгляделся в подпись и печати и сказал:

— Мне кажется, этот документ в порядке!

— А вот и письмо от божественного или, вернее, полубожественного Домициана к александрийскому купцу Деметрию, засвидетельствованное мной, в котором мой августейший господин обязуется уступить тебе «Жемчужину Востока», если ты выдашь ему голову того человека!

Халев взял письмо и долго рассматривал его.

— Странно, — проговорил он, — подпись Домициана и твоя, благородный Сарториус, очень похожи!

— Весьма возможно, высокочитимый Деметрий, весьма возможно. При дворе высочайших особ принято, чтобы их приближенные, в том числе и домоправители, подражали руке своих августейших повелителей.

— А также и их нравственности! Впрочем, если тут есть какой-нибудь подлог, тем хуже для виновника, так как Домициану, вероятно, будет

неприятно видеть это письмо предъявленным на суде!

— Конечно, конечно, — поспешил поддакнуть Сарториус. — Но теперь прошу назвать имя виновного.

— Его зовут Марк! Он был префектом всадников у Тита в походе на Иудею. С помощью старой ливийской женщины по имени Нехушта он купил невольницу на публичных торгах на Форуме, и старуха привела ее в дом на Via Agrippa, где она, вероятно, и сейчас находится.

— Марк? Но его считают умершим, и вопрос о его наследстве возбуждает теперь большие толки! Как наследник проконсула Кая он обладает громадным состоянием, кроме того, в последние годы он был любимцем божественного Нерона. Это — знатная особа, с которой даже Домициану не так-то легко справиться! Но каким образом это тебе известно?

— Через Халева, который выследил, куда старая карга увела девушку, и которому достоверно известно, что Марк еще в бытность свою в Иудее был ее возлюбленным!

— Все это прекрасно и, хотя, конечно, не вполне прилично соперничать с сыном и братом цезаря, но все же на публичных торгах это законно, он имел на то право...

— Ну, а если Марк совершил тяжкое преступление?...

— Преступление? Какое?

— Он был взят в плен живым при осаде Иерусалима и пленным брошен в старую башню, откуда успел бежать.

— Но кто может доказать это?

— Кто? Да тот же Халев! Он захватил его в плен и бросил в ту башню!

— Да, но где этот трижды проклятый Халев?

— Здесь, перед тобой, трижды благословенный Сарториус! — воскликнул мнимый Деметрий.

— Это великолепно, друг Деметрий, но что же нам следует делать теперь?

— Арестовать Марка, поставить его перед судом и осудить за упомянутое преступление, а мне передать «Жемчужину Востока», которую я тотчас же увезу из Рима!

— Прекрасно! Теперь, в отсутствие цезаря Тита, военные дела переданы Домициану, хотя ни одно из его решений не может быть приведено в исполнение без утверждения и подписи Тита. Но уж это там будет видно, а пока — счастливо оставаться.

— Благодарю, да позаботься, главное, о том, чтобы девушка была передана мне! Ты от этого не останешься в убытке, уважаемый Сарториус,

на пятьдесят тысяч сестерций при получении невольницы можешь рассчитывать.

— О, как угодно, высокочтимый Деметрий, дары скрепляют дружбу, это несомненно... А я из этих денег задам тебе и той госпоже славный ужин! Еще раз, счастливо оставаться! — И старик удалился.

На следующий день поутру Халева потребовали во дворец Домициана для свидетельских показаний. Идя по улицам Рима, он торжествовал, что одолел наконец своего недруга. Но на душе было беспокойно — что-то подсказывало ему, что не так, не такими средствами следовало ему восторжествовать над ним, не доносом и клеветой, а в честной борьбе. Но что из того! Все же он вырвет Мириам из его объятий, и даже если она не забудет Марка, он займет его место. Девушка будет его рабыней, хотя он предоставит ей место жены в своем доме, и она при виде его нежности, быть может, и полюбит его.

Но вот и вход во дворец. В переднем зале Халева встретил Сарториус, и рабы, сопровождавшие свидетеля, отступили в сторону.

— Ну, что? Они теперь в ваших руках? — спросил Халев.

— Только он один, девушка исчезла.

— Исчезла? Тогда зачем я буду давать показания?

— Этого я тебе сказать не могу, но теперь поздно отказываться. Эй, рабы, введите свидетеля в зал суда!

Движением руки Халев отстранил рабов и добровольно последовал за Сарториусом.

Они вошли в небольшой, но высокий зал, светлый и красивый. В высоком кресле сидел Домициан, облаченный в пурпурную тогу, по обе стороны его стояли узкие столы, вокруг которых собрались пять-шесть римских офицеров из личной гвардии Домициана, в латах и доспехах, но без шлемов, два писца с табличками и человек в платье судьи, исполнявший, по-видимому, обязанности прокурора. В глубине зала стояли солдаты.

Домициан, несмотря на свой юный и цветущий вид, казался крайне не в духе.

Он сурово встретил Марка и полностью поверил наветам Халева, подтвержденным лжесвидетельством одного солдата, когда-то служившего под начальством Марка и неоднократно подвергавшегося от него наказаниям за разного рода проступки.

Тщетно Марк, возмущенный недобросовестным обвинением, протестовал, его не слушали. Тогда обвиняемый на правах римского патриция потребовал суда самого Веспасиана. Домициан не мог отказать



ему в этом, а пока велел опять отвести в тюрьму.

## XXVII. Епископ Кирилл

На другой день после триумфа, рано утром Юлия, жена Галла, сидела в своей комнате, задумчиво глядя на мутно-желтые волны Тибра. Вчера Галл, затерявшись в толпе, присутствовал на торгах на Форуме и, вернувшись домой, рассказал обо всем жене. И та возрадовалась в душе, что ее возлюбленная «Жемчужина» не досталась развратному Домициану, хотя, по словам мужа, купившая ее женщина была похожа на ведьму.

Теперь Галл снова отправился по городу разузнать что-нибудь о Мириам, Юлия же, оставшись одна, встала на колени и молилась. Вдруг чья-то тень упала на нее. Она подняла голову и увидела перед собой ту, о которой она молилась.

— Как ты пришла сюда? — спросила она шепотом.

— По милости Божией и благодаря содействию Нехушты, о которой я часто говорила тебе, мать Юлия, мне удалось избежать когтей Домициана!

— Расскажи мне все, как было!

Мириам исполнила ее желание. Когда же она окончила свой рассказ, старуха призвала благословение небес на Марка, и девушка сделала то же от всей души, добавив, что и сама желала бы вознаградить Марка за доброту и благородство.

— Ты бы и вознаградила его, если бы я тебя не остановила! — вмешалась Нехушта.

— Кто из нас не впадал в искушение? — заметила Юлия.

— Я первая никогда не впадала в такого рода искушения и молю Бога, чтобы Он охранил от них и эту девушку. Я также молю Бога, чтобы Он охранил благородного Марка от руки Домициана! — сказала старуха.

При последних словах Мириам вздрогнула и побледнела.

В это время вернулся Галл, и пришлось рассказать ему все сначала.

— Невероятное дело, непонятное для меня, — проговорил старый воин. — Чтобы двое любящих друг друга людей после стольких испытаний, когда судьба, наконец, соединила их, добровольно разошлись из-за каких-то вопросов веры! Даже менее того, в угоду давно умершей женщине, которая не могла всего предвидеть. Нет, на месте Марка я поступил бы иначе!

— Как же поступил бы ты, супруг? — спросила Юлия.

— Я бы как можно скорее, не теряя ни одной минуты, покинул Рим вместе с любимой девушкой и где-нибудь, очень далеко от Рима,

предоставил бы ей потворствовать своим предрассудкам. Ведь Домициан не христианин, так же как и Марк, и между ними есть только та разница, что Домициана Мириам не любит, а Марка любит. Но дело сделано, и я того мнения, что теперь вы, христиане, можете прибавить к своим святым еще двух святых... Да, кстати, Мириам, видел вас кто-нибудь входящими в этот дом?

— Нет, калитка была только прикрыта, а служанки не было дома, она и сейчас еще не вернулась.

— Это хорошо. Когда она вернется, я сам отопру ей калитку и отошлю надолго!

— Зачем? — спросила жена.

— Чтобы никто не знал, что Мириам была нашей гостьей, и не видел, куда она пошла!

— Пошла? Куда же она пойдет? Разве ты отпустишь ее из своего дома, Галл?

— Да, ради ее безопасности и спасения! Куда прежде всего бросятся искать «Жемчужину Востока»? Сюда. И хотя она теперь, благодаря Марку, свободная женщина, но скажи мне, Юлия, какая женщина в Риме свободна, если Домициан пожелал иметь ее? А потому, Юлия, накинь плащ и разыщи нашего епископа Кирилла, который любит и жалеет эту девушку! Расскажи ему все и попроси укрыть где-нибудь Мириам до того времени, когда представится возможность посадить ее на корабль и отправить из Рима.

Это предложение было единогласно одобрено всеми тремя женщинами. Спустя какой-нибудь час Мириам с неразлучной Нехуштой очутились в одном из дальних, населенных ремесленным и рабочим людом кварталов Рима, в доме плотника Септима. Хозяин сидел в это время со своей семьей за скромной трапезой. В грубом плотнике никто не узнал бы епископа римской христианской церкви Кирилла, главу местной христианской общины.

Узнав Мириам, добрый старик ахнул от удивления, затем, выслушав все внимательно, призадумался.

— Знаешь ли ты какое-нибудь ремесло, Мириам? — спросил он.

Она отвечала, что занималась когда-то скульптурой и не безуспешно, даже римский император Нерон так высоко ценил ее работу, что приказал воздавать сделанному ее руками бюсту божеские почести. Оказалось, что Кирилл видел этот бюст. Он осведомился, согласится ли она лепить из глины сосуды и светильники. Получив утвердительный ответ, хозяин пообещал что-нибудь придумать.

В трех минутах ходьбы от мастерской плотника Септима помещалась

мастерская художественных сосудов, светильников, чаш, амфор и тому подобного. Люди, посещавшие эту мастерскую, по большей части оптовые торговцы, видели, что в дальнем конце мастерской у окна работала девушка, насколько они могли судить, молодая и красивая, а подле нее стояла, помогая ей, сурового вида старая женщина.

То была Мириам, работавшая в мастерской с утра до вечера, а на ночь уходившая со своей неразлучной Нехуштой наверх, в небольшую комнатку на третьем этаже в доме, смежном с мастерской. Все ремесленники, трудившиеся здесь, были христиане, хотя никто вокруг этого не подозревал. Все их заработки поступали в общую казну, из которой они в равной мере наделялись всем необходимым, остальное же шло на нужды бедных и неимущих.

Никому не приходило в голову разыскивать блестящую красавицу «Жемчужину Востока» среди этих грубоватых, простых и бедных людей, и потому Мириам жилось тут спокойно.

Неделя проходила за неделей, временами в их скромное жилище доходили вести извне, потому что христиане обо всем знали, постоянно передавая все новости друг другу. Так, встречаясь по воскресеньям в катакомбах с другими христианами, Мириам и Нехушта узнали от Юлии, что едва только они успели покинуть дом Галла, туда явились — прежде чем Юлия успела вернуться — стражи Домициана и стали допытываться у Галла, не видел ли он иудейской пленницы «Жемчужины Востока», которую им поручено разыскать — она бежала от человека, который приобрел ее на публичном торгу на Форуме.

Галл, не будучи христианином, смело отвечал, что не видал девушки с самого дня триумфа и ничего о ней не знает, и стражи, не заподозрив его в обмане, удалились и уже более не беспокоили его.

Что касается Марка, то его из дворца отвели прямо в военную тюрьму близ храма Марса, где ему было отведено прекрасное помещение, приставили для услуг его же дворецкого, старого Стефана и, взяв честное слово, что он не попытается бежать, разрешили гулять в саду, расположенном между храмом и тюрьмой, и принимать друзей и посетителей.

Одним из этих посетителей был совершенно незнакомый арестованному человек. Он был одет в скромное платье мастерового, руки его были грубы и мозолисты, зато благородные черты лица сильно противоречили его внешнему облику, а разговор его и обхождение выдавали в нем человека воспитанного и образованного.

— Присядь, друг! — ласково сказал Марк, — и расскажи, какое у тебя

дело и чем я могу служить тебе.

— Мое дело — утешать скорбящих и облегчать души страждущих! — отвечал странный посетитель.

— В таком случае, ты явился сюда в добрый час. Уж не христианин ли ты? Не бойся сознаться мне в этом, у меня есть близкие друзья среди христиан, и я никому не желаю зла, а тем более христианину!

— Я ничего не боюсь, благородный Марк! Да и теперь дни царствования Нерона миновали. Если ты хочешь знать, то я Кирилл, епископ христианского братства в Риме. Я пришел сюда с тем, чтобы преподать тебе утешения нашей веры, если ты пожелаешь меня выслушать.

— Прекрасно! — согласился Марк. — Но какую же плату хочешь ты получить за это преподавание мне новой религии?

— Откажись, господин, если предложение мое тебе не душе, но не обижай меня насмешками. Я не продаю за деньги учение Христа и Господа моего.

— Прости, — сказал Марк, — я не хотел оскорбить тебя, но я знал немало священнослужителей, которые брали деньги за свои услуги! Правда, они были не вашей веры. Скажи, кто говорил тебе о Марке, кто направил тебя сюда?

— Некто, с кем ты был великодушен и благороден в своем поведении, — ответил Кирилл.

— Неужели?...

— Да, та, о которой ты думаешь... Не тревожься за нее, и она, и спутница ее теперь под моим покровительством и под защитой братьев во Христе, им не грозит никакая опасность. Утешься этим и не старайся узнать больше! Не благодари меня за нее, оказывать помощь и покровительство нуждающимся в них — наш долг и наша отрада!

— Ах, друг Кирилл! — воскликнул Марк. — Ей грозит страшная опасность! Я только что узнал, что соглядатаи и шпионы Домициана разыскивают ее по всему городу, подстерегая на всех перекрестках. Пусть она бежит из Рима в Тир, там у нее есть друзья и имущество!

Кирилл отрицательно покачал головой.

— Я уже сам думал об этом! Но должностным лицам в портах и гаванях отдано строжайшее предписание осматривать все пассажирские суда и при малейшем сходстве кого-нибудь с разосланными им приметами «Жемчужины Востока» задерживать и препровождать немедленно в Рим.

— Неужели нет никакой возможности увезти ее отсюда? — с тоской спросил Марк.

— Я знаю только одно такое средство, но оно стоит слишком дорого, а

мы, христиане, недостаточно состоятельные люди, чтобы осуществить его. Надо купить на имя какого-нибудь известного купца небольшую галеру и, снарядив ее, нагрузить товаром, находящим сбыт в Сирии, а затем ночью посадить девушку на это судно!

— Подыщите-ка такую галеру и надежных людей, друг Кирилл, а деньги я достану! — воскликнул с жаром Марк.

— Постараюсь!

— Ну, а теперь научи меня вере, друг Кирилл. Расскажи о вашем Боге, столь далеком от нас, бедных смертных.

— Но, в сущности, столь близком к каждому из верующих, что мы почти ощущаем его присутствие!

И епископ Кирилл принялся толковать римлянину истины христианского учения и беседовал с ним, пока не настало время запирать тюремные ворота.

— Приходи ко мне еще, друг Кирилл! — проговорил, прощаясь с ним, Марк. — Мы снова побеседуем с тобой!

Четыре дня спустя епископ Кирилл опять навестил Марка, сообщив, что Мириам здорова и невредима и шлет ему привет, а также, что он, Кирилл, отыскал бывшего капитана, некоего грека по имени Гектор, который намеревается отплыть в Сирию с грузом товаров. Гектор этот христианин и вполне надежный человек, он брался набрать экипаж для судна из христиан и иудеев и, по наведенным справкам, мог указать на несколько небольших галер, которые можно приобрести за сравнительно скромную цену, особенно одну из них — «Луну».

Кроме того епископ Кирилл сообщил Марку, что Галл и его жена Юлия из любви к Мириам, которая стала им дорога, как родная дочь, решили покинуть Рим вместе с ней и поселиться где-нибудь в Сирии, обратив свое имущество в деньги.

Узнав от епископа, какая на все это потребуется сумма, Марк призвал своего верного Стефана и приказал вручить все требуемые деньги судовому плотнику Септиму, получив с него расписку. Старый слуга выразил полную готовность, полагая, что деньги пойдут на выкуп его господина.

## XXVIII. Последнее свидание

В то время как Домициан наконец устал разыскивать и преследовать несчастную «Жемчужину Востока», Халев продолжал свои поиски страстно и неутомимо. Полагая, что если Мириам осталась в Риме, то, наверное, будет хоть изредка посещать своих друзей Галла и Юлию, он окружил их дом шпионами, которые денно и ночно сторожили всех входящих и выходящих из дома старого Галла. Но напрасно. Юлия и Мириам виделись только в катакомбах, в часы молитв, а туда Халев и его соглядатаи не могли проникнуть. Когда Галл и его жена покинули Рим и временно переселились в Остию в ожидании отплытия «Луны», Халев последовал за ними, но убедившись, что о Мириам не было даже помина, вернулся в Рим и здесь совершенно случайно открыл ее убежище.

Выбирая для себя светильник художественной работы у одного из лучших торговцев, Халев внезапно наткнулся на вещицу необычной красоты. Светильник этот был исполнен в виде двух сплетенных между собой финиковых пальм, вершины которых расходились врозь. Вглядываясь внимательно в эту вещь, Халев смутно почувствовал нечто родное и знакомое. Он разглядел, что у подножия пальм лежит большой плоский камень и тут же протекает река. Теперь в его мозгу разом воскресло воспоминание о далеких берегах Иордана, он узнал этот плоский камень, на котором мальчиком просиживал целые вечера, бок о бок с Мириам, занимаясь ловлей рыбы на удочку. Да, да... Вот подле камня лежит и рыба!

— Этот светильник нравится мне! — сказал он торговцу. — Я беру его, но скажи мне, друг, не знаешь ли ты, чьей он работы?

— Не могу сказать, господин! — отвечал купец. — Мы получаем эти вещи оптом от одного посредника. Ходят слухи, он епископ христиан и у него работает много его единоверцев в ремесленном квартале Рима.

Уплатив за купленную им вещь, Халев прямо от торговца направился в квартал ремесленников и здесь разыскал мастерскую художественных светильников и сосудов. Но увы! Он явился слишком поздно, рабочие уже разошлись, и мастерские запирались. Тем не менее от одной девушки, запиравшей двери какого-то рабочего помещения, он узнал, что художница, изготовившая светильник, который он держал в руках, живет в смежном доме, на третьем этаже, под самой крышей и что, вероятно, ее можно теперь застать дома.

Поблагодарив девушку, Халев поспешил подняться на третий этаж указанного дома и, остановившись на узкой темной площадке, увидел перед собой плохо притворенную дверь, из которой пробивалась узкая полоса света. Подкравшись к этой двери, Халев увидел Мириам, стоявшую у маленького низкого окошка в белой праздничной одежде, и Нехушту, которая, согнувшись над огнем очага, готовила ужин.

— Подумай только, Ноу! — радостно воскликнула девушка. — Ведь, это наша последняя ночь в этом ненавистном городе! Завтра, вместо душной мастерской, простор безбрежного моря... и палуба «Луны»...

— В уме ли ты, госпожа, что говоришь так громко о таких вещах? — окликнула ее старуха.

Вдруг Халев порывистым движением распахнул дверь и вошел в комнату.

— Кто мог думать, Мириам, что расставшись у врат Никанора в Иерусалиме, мы встретимся с тобою здесь, а с тобой, Нехушта, на торгах в Форуме?! — произнес он, обращаясь к испуганным женщинам.

— Халев, зачем ты пришел сюда? — спросила Мириам упавшим голосом, словно предчувствуя беду.

— Я пришел заказать второй экземпляр этого светильника, вышедшего из твоих рук! — начал было он.

— Не лукавь, злой коршун! — воскликнула Нехушта. — Ты пришел сюда, чтобы схватить свою добычу и повлечь ее на позор и унижение, от которых она ушла!

— Не всегда я был злым коршуном для нее! Вспомни осаду Тира, вспомни про врата Никанора. Теперь я пришел вырвать ее из когтей Домициана!

— И захватить ее в свои! — воскликнула Нехушта. — О, ты не думай обмануть меня! Я все знаю, знаю о твоём уговоре с Сарториусом, дворецким Домициана. У нас, христиан, везде есть глаза и уши... Знаю, что ценой жизни купившего ее ты хотел получить невольницу, знаю, как ты клятвой скрепил клевету, позорящую честь твоего соперника, и как ты, словно коршун, выслеживал свою добычу, чтобы в конце концов вцепиться в нее своими когтями!... Она беспомощна и беззащитна, да, но за нею стоит Некто, Кто силен. Пусть гнев Его обрушится на тебя!

— Молчи, злая женщина! — воскликнул Халев. — Если я много погрешил, то потому, что сильно любил...

— И еще сильнее ненавидел! — докончила Нехушта.

— О, Халев, если правда то, что ты говоришь, зачем же ты так жесток ко мне и так безжалостен? — умоляюще произнесла Мириам. — Ты



знаешь, что я не люблю тебя той любовью, о какой ты мечтаешь, и не могу полюбить. Знаешь, что сердце мое уже не принадлежит мне! Неужели ты хочешь сделать жалкой невольницей меня, твою подругу юности! Оставь же меня в покое и не преследуй больше!...

— Оставить тебя, позволить уплыть на галере «Луна»?

— Да! — решительно подтвердила девушка, хотя внутренне содрогнулась при мысли, что ему все известно. — Ведь много лет тому назад ты клялся, что никогда не навяжешь себя мне насильно, против моей воли! Зачем же ты теперь хочешь нарушить эту клятву, Халев?

— Я клялся также, что плохо придется тому человеку, который встанет между тобой и мной, и не намерен нарушать этой клятвы! Отдайся мне добровольно, Мириам, и спаси этим своего возлюбленного Марка. Если же ты откажешься, то я предам его на смерть. Выбирай же между мной и его смертью!

— Разве ты подлец, Халев, что предлагаешь мне подобный выбор?

— Называй, как хочешь, но решай сейчас же!

Мириам в порыве отчаяния всплеснула руками и подняла глаза к небу, словно прося помощи свыше, затем глаза ее вспыхнули огнем внезапной решимости, и она твердо произнесла:

— Я решила, Халев! Делай, что хочешь, жизнь и судьба Марка и моя не в твоих руках, а в руках Господа моего. Без Его воли ни ты, ни Домициан не можете ничего сделать. Но честь моя принадлежит мне, и на мне лежит долг блюсти ее, за нее я должна дать ответ Богу и Марку, который отвернулся бы от меня, если бы я такую ценой согласилась купить его жизнь.

— И это твое последнее слово?

— Да, последнее! Делай что хочешь и с Марком, и со мной.

— Так пусть же так и будет! — воскликнул Халев с горьким смехом.  
— Пусть же на «Луне» недосчитаются одной прекрасной пассажирки!

Мириам опустилась на колени и закрыла лицо руками, а Халев дошел до дверей и остановился. Вдруг лицо его приняло совершенно иное выражение.

— Нет, Мириам! Я не могу этого сделать! — произнес он, медленно выговаривая слова. — Я погрешил и против тебя, и против того человека и теперь искуплю свою вину. Тайны твоей я никому не выдам, а так как ты ненавидишь меня, то даю тебе слово, что это наше последнее свидание и ты никогда больше меня не увидишь. Даю тебе обещание сделать все, что в моих силах, для освобождения римлянина, даже оказать ему содействие разыскать тебя в Тире. Прощай!

С этими словами он вышел из комнаты.

Халев сдержал свое слово, на другой день судно «Луна» благополучно и беспрепятственно вышло из порта Остии, увозя Мириам, Нехушту, Галла и Юлию.

Спустя неделю после этого цезарь Тит вернулся в Рим, и дело Марка было назначено к разбору. Внимательно выслушав обвинение, Тит высказал следующее решение.

— Я рад, что Марк, которого я долго оплакивал как мертвого, жив, и глубоко сожалею о том, что его подвергали допросу в мое отсутствие, чего бы, конечно, не случилось, если бы он тотчас же по прибытии в Рим явился ко мне. Я отрицаю всякого рода обвинения, касающиеся его чести и испытанной в боях храбрости. Но, несмотря на все это, я не могу обойти вниманием тот факт, что Марк был захвачен в плен и не лишил себя жизни, как это предписывалось каждому римскому воину в подобном случае, за что и был обвинен и признан виновным военным судом под председательством Домициана. Сделать для него исключение было бы несправедливым в глазах всего Рима и оскорбительным для Домициана. Все, что теперь возможно сделать для старого товарища и соратника — это подвергнуть его как можно более легкому наказанию.

Таким образом, Титом было объявлено, что Марк будет выпущен из тюрьмы и ночью, под охраной небольшой стражи, направится прямо в свой дом на *Via Agrippa*, чтобы избежать стечения народа и всякого рода демонстраций. Здесь ему будет предоставлено необходимое для устройства его денежных и домашних дел время, а затем в десятидневный срок он покинет Рим и Италию на три года, если по каким-либо соображениям или причинам срок этот не будет сокращен особым приказом. По прошествии же назначенного срока Марку предоставлялось право вернуться в Рим и пользоваться всеми правами римского гражданина и префекта гвардии Тита.

Случилось так, что этот императорский декрет был сообщен Марку не кем иным, как коварным Сарториусом, который прямо из дворца прибежал к заключенному с этой вестью.

— Вообрази, благородный Марк! — говорил он. — Даже все имущество твое, вопреки всяким правилам и обычаю, не будет отобрано в казну, а останется неприкосновенным, так что ты будешь иметь возможность вознаградить твоих друзей и доброжелателей, хлопотавших за тебя о милостивом приговоре цезаря!

— Почему же Тит решил мою судьбу, даже не допросив и не повидав меня? — спросил Марк.

— Почему? Потому что Домициан заявил ему, что, если он уничтожит его допрос по этому делу, то это послужит поводом к явному разрыву между ним и цезарем. А так как Тит опасается брата и не желает окончательной ссоры с ним, то решил не видеть тебя, чтобы не поддаться влиянию старой дружбы и не изменить своего решения.

— Значит, Домициан и по сей час питает ко мне вражду?

— Да, тем более, что он нигде не может отыскать «Жемчужину Востока», а потому прими мой совет и покинь Рим как можно скорее, чтобы не приключилось с тобой чего-нибудь худшего!

— Об этом не беспокойся, а относительно девушки скажи своему господину, что пусть он ищет ее не здесь, а далеко за морем. Ну, а теперь убирайся отсюда, лиса, и оставь меня в покое!

— Так это вся моя награда?

— Нет! Если ты останешься здесь еще дольше, то получишь от меня такую награду, которой вовсе не желаешь и которую не скоро забудешь! — сказал Марк.

Сарториус поспешил уйти, но, выйдя за дверь, злобно погрозил Марку кулаком.

Дорога ко дворцу Домициана проходила мимо торгового помещения купца Деметрия. Взглянув на его вывеску, старый дворецкий приостановился и подумал: «Может быть этот окажется более щедрым», — и решил зайти к нему.

Халев сидел один у своей конторки, опустив голову на руки, в глубоком раздумье. Сарториус поместился в кресле против него и сообщил то, что было известно относительно решения Тита, а в заключение прибавил, что только благодаря его неусыпным стараниям удалось подвигнуть цезаря принять столь строгое решение по отношению к Марку, которого он любит и уважает.

— Надеюсь, — добавил Сарториус, — мои труды не останутся без вознаграждения!

— Не беспокойся! Тебе будет хорошо заплачено! — сказал Халев совершенно спокойно.

— Премного благодарен за это, друг Деметрий, — проговорил дворецкий, с довольным видом потирая руки. — Кроме этого приговора Тита, дерзкий безумец накликал на себя еще новую беду. Он проговорился, что девушка, из-за которой вышла вся эта история, переправлена им куда-то за море. Когда Домициан узнает об этом, то придет в такое бешенство, что наверняка пожелает примерно отомстить вырвавшему у него из рук «Жемчужину Востока». Марку она, во всяком случае, не достанется, так

как Домициан прикажет преследовать ее везде и вернуть ее сюда, вам, достопочтенный Деметрий.

— В таком случае Домициану придется разыскивать эту девушку не за морем, а на дне моря. Мне известно, что она покинула Италию с месяц тому назад на галере «Луна», а сегодня я от капитана и людей экипажа галеры «Императрица» узнал, что во время страшной бури близ Регия на их глазах судно затонуло и пошло ко дну. Один из людей с погибшего судна был спасен, и от него узнали, что судно это — галера «Луна».

— Вот как! — произнес удивленный Сарториус. — Значит, женщина, обладать которой стремились многие, была предназначена Нептуну. Ну, так как Домициан не может отомстить этому богу, он отомстит тому, по чьей вине она очутилась в объятиях Нептуна. Я сейчас же поспешу к своему августейшему повелителю сообщить ему обо всем!

— После чего ты, конечно, вернешься сюда, друг Сарториус!

— О, без сомнения... Ведь наши счета еще не сведены.

— Да, да, наши счета еще не сведены...

Спустя два часа дворецкий Домициана снова появился в торговом помещении александрийского купца Деметрия.

— Ну, что? — спросил его Халев.

— Никогда в жизни я не видал своего августейшего господина в таком гневе. Когда он узнал, что «Жемчужина Востока» бежала из Рима и стала добычей волн, бешенство его не знало границ. Оставаться подле него было положительно опасно! Он проклинал всех и вся, плакал, рыдал и скрежетал зубами в бессильной злобе на Марка. Но мне удалось наконец успокоить его, указав надлежащий выход его гневу и, вместе с тем, угодить и тебе, высокочтимый Деметрий. Видишь ли, сегодня после заката солнца, то есть часа через два, Марк будет выпущен из тюрьмы и препровожден в свой дом, где в данное время нет никого, кроме его старого слуги Стефана и дряхлой старушки-невольницы. Так вот, прежде чем Марк явится в свой дом, несколько надежных людей, которым можно вполне довериться и которых Домициан всегда умеет находить, когда они ему нужны, проберутся в дом Марка и, связав и заперев Стефана и старую рабыню, будут подстерегать хозяина под сводами арок перистиля. Об остальном ты, конечно, догадываешься...

— Не возбудит ли этот поступок подозрения?

— Кто осмелится подозревать Домициана? Это будет простое частное преступление, ничего более... Марк так богат, а у богатых людей всегда много ненавистников!

Однако Сарториус забыл добавить, что Домициана никто не

заподозрит в этом убийстве потому, что наемникам велено сказать Стефану и старой рабыне, что они подкуплены богатым александрийским купцом Деметрием или, иначе говоря, иудеем Халевом, у которого с Марком давние счеты!

— Ну, а теперь мне пора идти! Еще надо кое за чем приглядеть, а времени уже остается немного. Так не покончим ли мы теперь наши расчеты?

— Да, да, конечно! — И, достав сверток золотых монет, Халев подвинул его через конторку Сарториусу.

Тот печально покачал головой.

— Я рассчитывал на вдвое большую сумму! Подумай только, какое блестящее удовлетворение чувства мести я доставил тебе! Ведь большего невозможно желать.

— Верно, но ведь Марк еще жив, а пока он жив, нельзя считать дело свершившимся!

— Да, конечно, жив, но через несколько часов будет уже мертв!

— Тогда ты получишь и вторую половину той суммы, на которую рассчитывал, но не раньше, чем я увижу его труп!

Делать было нечего. Со вздохом Сарториус удалился, мысленно рассуждая о том, как бы ему получить остальные деньги, прежде чем этого иудея схватят по подозрению в убийстве римского гражданина.

После его ухода Халев взял перо и написал короткое письмо, затем, призвав одного из своих слуг, приказал отнести это письмо по назначению, но не раньше чем через два часа после заката.

Потом он обернул свое послание во вторую, наружную обертку, чтобы никто не мог прочесть на нем адреса, и после этого некоторое время оставался совершенно неподвижен, только губы его как будто шептали молитвы.

Но вот он взглянул в окно и увидел, что солнце садится. Встав, Халев завернулся в широкий темный плащ, подобный тем, какие носили римские воины, и вышел из дома.

## XXIX. Как Марк стал христианином

Не один Халев узнал о крушении и гибели судна «Луна» близ Регия, слух об этом дошел и до епископа Кирилла. Убедившись в его справедливости из уст самого капитана галеры «Императрица», Кирилл прямо от него направился в военную тюрьму близ храма Марса. Когда он явился туда, привратник не хотел было пропустить его, так как Марк не желал никого видеть и приказал не допускать к себе посетителей. Но Кирилл, невзирая на запрещение, толкнул дверь и вошел в комнату заключенного. Марк стоял посредине с коротким римским мечом в руке. При виде вошедшего он с досадой бросил меч на стол, и тот упал рядом с письмом, адресованным на имя Марка в Тир.

— Мир тебе! — произнес обычным ласковым голосом епископ, глядя на Марка испытующим взглядом.

— Благодарю, друг! — с загадочной улыбкой ответил Марк. — Я нуждаюсь в мире и жажду примирения!

— Скажи, сын мой, что ты хотел сейчас сделать, когда я вошел и помешал тебе?

— Я собирался покончить с собой! Добрые люди принесли мне этот меч с плащом, спасибо им — они позаботились о моей чести...

Кирилл молча взял меч со стола и швырнул его в дальний угол.

— Благодарение Господу! Он привел меня сюда вовремя, чтобы удержать тебя от страшного греха. Разве ты вправе лишать себя жизни только потому, что Господь пожелал взять ее жизнь?

— Ее жизнь? Что значат эти страшные слова? Чью жизнь?!

— Жизнь Мириам! Я пришел сказать тебе, сын мой, что она утонула в море со всеми своими спутниками. Галера «Луна», застигнутая бурей, пошла ко дну.

С минуту Марк стоял раскачиваясь из стороны в сторону, точно пьяный. Затем схватился за голову и, упав лицом на стол, глухо застонал.

— Уйди, друг, оставь меня одного! Если ее не стало, на что мне эта жизнь? Я потерял свою честь и заклеямен позорным званием труса. Тит скрепил это своим решением и отсылает меня в изгнание.

— Полно, сын мой, как может пострадать твоя честь от декрета, основанного на ложных показаниях и вынесенного по политическим соображениям? Неужели ты утратил свою честь потому, что другие бесчестно поступили с тобой? Ты хочешь бежать с поля битвы и доказать,

что ты действительно трус?

— Могу ли я жить с таким позором! Друзья поняли это, прислав мне меч!

— Нет, сам сатана прислал его тебе, чтобы под влиянием своего ложного самолюбия ты совершил греховный и малодушный поступок. Подумай, какими словами встретит тебя Мириам в загробной жизни, если ты явишься к ней с руками, обгагранными собственной кровью! Нет, благородный Марк, вспомни Христа, который принял позор и понес крест свой. Поступи и ты так же и, верь мне, ты найдешь утешение в сознании своей чистоты и правоты. Неужели я тщетно убеждал тебя все время в высоких истинах учения Христа? Неужели дух твой не воспринял их, не постиг всем сердцем, как я было надеялся!...

Кирилл еще долго увещевал и наставлял Марка. Тот слушал его с благоговейным вниманием и наконец произнес:

— Все это я знал и раньше, эти высокие истины давно воспринял душой, полюбил и поверил, но не хотел принять Святого Крещения из опасения, что она подумает, и я сам порой стану сомневаться, не сделался ли я христианином только из желания обладать ею. Теперь же другое дело, я готов сейчас же креститься и стать членом христианской общины!

— Господь взыскал и вразумил тебя, хвала Ему за это! — радостно сказал Кирилл и тут же, взяв воды, совершил обряд Святого Крещения.

— Что же мне делать? — спросил Марк. — Некогда мной повелевал цезарь, теперь ты говоришь голосом цезаря, и я готов повиноваться тебе!

— Не мне, а голосу Божьему! Я же просто брат, а советник и наставник твой только потому, что старше и опытнее. Слушай же. Александрийская церковь призывает меня по делам веры в Египет, куда я отправляюсь на этих днях. Не хочешь ли и ты, так как тебе все равно нельзя оставаться в Риме, отправиться вместе со мной? Там я найду для тебя дело.

— Благодарю тебя, высокочтимый Кирилл! Видишь, солнце уже заходит. Теперь я свободен! Не откажись пойти со мной в мой дом, где меня ожидает немало серьезных дел, в которых мне необходим твой совет!

В следующий момент двери тюрьмы отворились, и они вышли в сопровождении нескольких стражников и направились, никем не замеченные, ко дворцу Марка на улицу Агриппы.

— Вот твои ворота, благородный Марк! — сказали солдаты. — Прощай, и дай тебе бог всего доброго!

Простившись с ними, Марк и его спутник вошли в ворота, которые почему-то стояли, распахнутые настежь, затем, заперев их за собой, перешли в перистиль.

— Для такого дома, где столько ценного, это непорядок! — заметил Кирилл. — В Риме у каждой открытой двери необходим привратник.

— Мой слуга Стефан должен был встретить меня! Удивляюсь, почему его не видно! — проговорил Марк и вдруг, впотьмах споткнувшись обо что-то, неловко упал.

— Что это? — спросил Кирилл.

— Если не ошибаюсь, пьяный или мертвый человек! — ответил Марк. — Вероятно, какой-нибудь нищий приютился здесь, чтобы проспаться от хмеля.

— Вон в том окне горит свет, проводи меня туда, Марк! Потом мы можем вернуться сюда со светильником!

Марк поднялся на ноги и пошел вперед через двор к флигелю, в котором помещалась прислуга. И здесь дверь была отперта; они вошли в комнату старого Стефана. На столе горел светильник, и при его свете вошедшим предстала странная картина. Окованный железом ларец, прикрепленный тяжелыми цепями к стене, был взломан, и все содержимое разграблено, мебель в комнате была частью опрокинута, частью поломана, что свидетельствовало о происходившей здесь борьбе, а в дальнем углу комнаты, под тяжелым мраморным столом, лежали две связанные по рукам и ногам человеческие фигуры.

— Это ты, Стефан? — спросил Марк.

Да, то были Стефан и старая невольница. Марк выхватил свой меч и перерезал им веревки. Бедный старик очнулся только теперь.

— Это ты, господин мой? — пролепетал он. — А я думал, что они убили тебя. Они сказали, что явились сюда убить тебя по приказанию иудея Халева, который обещал им хорошее вознаграждение.

— Они? Кто они? — спросил Марк.

— Не знаю, четверо мужчин, лица которых были скрыты под масками! Они связали меня и старуху и, награбив здесь всего, что могли найти, пошли подстерегать тебя под арками перистиля. Вскоре я услышал шум борьбы и чуть не умер от горя, так как был уверен, что ты погибаешь под ножами убийц, а я не могу ни защитить, ни предупредить тебя.

Марк, не дослушав его, схватил светильник и кинулся в перистиль. Здесь, наклонившись над человеком, лежащим лицом вниз, он приподнял его так, что свет упал на его лицо, и невольно отпрянул назад: то был Халев.

— Как видно, он попал в им же самим расставленную для меня ловушку! — сказал Марк, не отводя глаз от мертвого лица. — Я знаю, что он ненавидел меня и не раз пытался убить, но никогда я не думал, чтобы



этот человек мог прибегнуть к убийству! Судьба хорошо отплатила ему, предателю!

— Не суди, да не судим будешь! — произнес Кирилл. — Разве ты можешь знать, каким образом смерть настигла этого человека? Быть может, он пришел сюда предупредить тебя об опасности!

— От нанятых им самим убийц! Едва ли!

Затем они молча внесли тело убитого в дом и стали обсуждать, что им делать.

В это время послышался стук в ворота.

— Я пойду отпереть! — сказал Стефан. — Чего мне бояться? Я стар и никому не нужен!

Через минуту он возвратился, передав Марку письмо.

— От кого? — спросил Марк.

— Посланный сказал, что от Деметрия, александрийского купца, у которого он служит.

— Под этим именем проживал здесь в Риме Халев! — произнес Марк и, вскрыв письмо, прочел:

Благородному Марку от Халева.

Раньше я желал твоей гибели и не раз пытался лишить тебя жизни, но теперь до сведения моего дошло, что Домициан, ненавидящий тебя еще больше, чем я, подговорил убийц заколоть тебя на пороге твоего дома. И вот, испытывая угрызения совести за то ложное свидетельство, которое я произнес против тебя, исказив истину и запятнав твою честь, я решил явиться в твой дом в плаще, подобном тому, какие носите вы, римские офицеры. Весьма возможно, что прежде чем ты прочтешь эти строки, все уже будет кончено для меня. Но не сожалей обо мне и не называй меня великодушным, мне было легко это сделать потому, что Мириам умерла, и я спешу последовать за ней в загробную жизнь, где надеюсь на более счастливую долю или хотя бы на забвение. Правда, я предпочел бы умереть в открытом бою и под твоим мечом, благородный Марк, но судьба решила иначе, и я паду под ножом наемных убийц, призванных лишить жизни другого человека. Пусть так. Ты остаешься здесь, я же спешу к Мириам. Мне ли роптать на пути, по которому я иду к ней?!

Писано в Риме в день моей смерти.

Халев.

— Смелый он был человек и несчастный! Теперь я завидую ему больше, чем кому бы то ни было, так как, не послушай я тебя, он нашел бы

меня подле Мириам! — проговорил Марк, прочтя это послание.

— Ты рассуждаешь как язычник, — остановил его епископ, — в будущей жизни души не женятся и замуж не выходят. Там земные страсти молчат, а пока мы живы, надо позаботиться о твоих делах и покинуть Рим прежде, чем Домициан успеет узнать, что Халев пал вместо Марка.

\* \* \*

Прошло около трех месяцев со времени только что описанных нами событий. Большая галера медленно вошла в гавань Александрии в тот момент, когда над морем зажглись огни Фароса. Плавание этой галеры было трудным и продолжительным. Когда она наконец пришла в Александрийскую гавань, вода и продовольствие на ней были на исходе. И теперь епископ Кирилл, римлянин Марк и некоторые другие христиане воздавали благодарение Богу, стоя на вечерней молитве в своей каюте на баке. О том, чтобы еще в эту ночь съехать на берег, нечего было и думать, а потому, совершив молитву, все вышли на палубу. Так как ни есть, ни пить было нечего, они стали смотреть на море и на берег, где зажигались тысячи огней. На расстоянии выстрела от их галеры стояло на якоре другое судно, откуда доносились звуки тихого пения. Марк и Кирилл стали прислушиваться к этим звукам и вскоре различили слова христианского гимна.

— Там, на судне, должны быть христиане! — сказал Марк. — Они, наверное, не откажут нам в куске хлеба и глотке воды! Попросим капитана дать нам шлюпку и подведем туда!

Спустя четверть часа шлюпка, в которой сидели Кирилл и Марк, пристала к судну, часовой на корме окликнул их. После обычных расспросов и переговоров они были приняты на незнакомое судно. Сам капитан встретил их и узнав, что они христиане, повел под холщовый навес, эта часть палубы под ним была ярко освещена фонарями. В середине стояла девушка, вся в белом, и, молитвенно сложив руки, пела тот гимн, который они слышали с палубы своей галеры. Звуки этого голоса показались как-то особенно знакомы Марку. Вдруг девушка обернулась на звук шагов вновь прибывших, и свет одного из фонарей ударил ей прямо в лицо, Марк не удержался и громко воскликнул:

— Это Мириам или ее дух!

Теперь и она узнала его и, слабо вскрикнув, упала без чувств.

Так встретились они на палубе незнакомого судна. Вскоре Марк и Кирилл узнали, что весть о гибели «Луны» была ошибочной. Спасенный экипажем «Императрицы» матрос погибшего судна или перепутал от страха название своего корабля, или же то была другая галера «Луна» — в то время это было весьма распространенное среди судов название.

Судно же, на котором находились Мириам и ее друзья, благополучно избежало всех опасностей и своевременно пришло в Александрию без всяких повреждений.

В тот же вечер Мириам узнала, как Халев сдержал данное ей обещание, как Кирилл удержал Марка от самоубийства и, наконец, как Марк был приобщен к христианской Церкви. Так как он принял крещение, считая Мириам умершей, то это исключало для нее всякие подозрения в том, что он принял христианство из желания стать мужем любимой девушки.

Таким образом, Бог неисповедимыми путями привел их к благу и счастью. На другой день после этой счастливой и неожиданной встречи Марк и Мириам были повенчаны тут же, на галере «Луна», в присутствии седой Нехушты, старого Галла и его супруги Юлии. Нехушта от имени усопшей матери невесты дала свое благословение Мириам, возблагодарив Творца за то, что завет покойной не был нарушен ее дочерью, несмотря ни на что.



«TEPPA» - «TERRA»

